This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

This "O-P Book" is an Authorized Reprint of the
Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography
by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1967

Zelinskiĭ, V. A.
145/45 Ф 1.61/1139

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

58118
D1F0F4

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. — 3

Біографическія свѣдѣнія о Ѳ. М. Достоевскомъ.—Общая характеристика литературной дѣятельности Ѳ. М. Достоевскаго.—Критика „Бѣдныхъ Людей“.—Критическіе разборы повѣстей и разсказовъ Ѳ. М. Достоевскаго.

СОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Публ. библ. имени В. И. Ленина С.С.С.Р.
Ф. И. 18850.
ЈРК

МОСКВА.
Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, домъ Воейковой.
1894.

PG3328
Z6Z4
1894a

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Выступая въ прошломъ году съ изданіемъ въ свѣтъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева", я чувствовалъ нѣкотораго рода робость. Хотя самъ я лично и не сомнѣвался въ томъ, что моя книга далеко не лишняя для людей, изучающихъ литературу, но однако не могъ навѣрно предвидѣть, какъ на самомъ дѣлѣ примутъ ее *другіе*. Мнѣ оставалось только надѣяться, что общество, несмотря на свое равнодушіе къ критикѣ, все же таки не пропуститъ совсѣмъ безъ вниманія затѣяннаго мною дѣла—собранія соотвѣтственныхъ критическихъ статей для изученія произведеній нашихъ популярнѣйшихъ писателей. И дѣйствительно, сравнительный успѣхъ двухъ выпусковъ упомянутой книги оправдалъ мои надежды, и тѣмъ самымъ заставилъ меня приняться съ большею энергіей и смѣлостью за дальнѣйшую работу въ этомъ направленіи.

Цѣль настоящаго „Критическаго комментарія"—разъяснить главный смыслъ произведеній Ѳ. М. Достоевскаго путемъ безпристрастнаго сопоставленія различныхъ критическихъ о нихъ отзывовъ.

Въ первую часть *комментарія* вошли выдержки изъ критикъ: Анненкова П. В., Арсеньева К., Бѣлинскаго, Булича Н. (проф. Каз. университета), „Вѣстника Европы" (А. В.), Добролюбова, Леонтьева К., Миллера О., Михайловскаго Н., „Московск. Вѣдомостей", Оболенскаго Л., „Руси", „Русскаго Вѣстника", „Русскаго Богатства" (Созерцатель), Страхова Н., Соловьева Влад., Тарасова И. Т. (проф. Демид. юридич. лицея, нынѣ Моск. унив.), Чижа В. Ѳ. (орд. проф.).

В. Зелинскій.

Второе изданіе предлагаемой первой части „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго" перепечатано съ перваго изданія безъ перемѣнъ.

В. З.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

стр.

Біографическія свѣдѣнія о Ѳ. М. Достоевскомъ 1

Оцѣнка идей, таланта, направленія и вообще характеристика литературной дѣятельности Ѳ. М. Достоевскаго съ точки зрѣнія разныхъ критикъ 25

Разборъ сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго:

„Бѣдные Люди" 137

Повѣсти и разсказы:

„Двойникъ" 162, 171, 178, 193, 201

„Господинъ Прохарчинъ" 168, 184, 202

„Хозяйка" . . . . 169—170, 171

„Слабое сердце" 172, 186, 195, 203

„Чужая жена" 205

„Честный воръ" 174

„Ревнивый мужъ" 205

„Бѣлыя ночи" 205

„Неточка Незванова" 199, 206

„Село Степанчиково" 193

„Дядюшкинъ сонъ" 196

„Скверный анекдотъ" 195

„Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ" 198

„Записки изъ подполья" 194, 197

„Игрокъ" 196

„Вѣчный мужъ" 205

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Выступая въ прошломъ году съ изданіемъ въ свѣтъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева", я чувствовалъ нѣкотораго рода робость. Хотя самъ я лично и не сомнѣвался въ томъ, что моя книга далеко не лишняя для людей, изучающихъ литературу, но однако не могъ навѣрно предвидѣть, какъ на самомъ дѣлѣ примутъ ее *другіе*. Мнѣ оставалось только надѣяться, что общество, несмотря на свое равнодушіе къ критикѣ, все же таки не пропуститъ совсѣмъ безъ вниманія затѣяннаго мною дѣла—собранія соотвѣтственныхъ критическихъ статей для изученія произведеній нашихъ популярнѣйшихъ писателей. И дѣйствительно, сравнительный успѣхъ двухъ выпусковъ упомянутой книги оправдалъ мои надежды, и тѣмъ самымъ заставилъ меня приняться съ большею энергіей и смѣлостью за дальнѣйшую работу въ этомъ направленіи.

Цѣль настоящаго „Критическаго комментарія"—разъяснить главный смыслъ произведеній Ѳ. М. Достоевскаго путемъ безпристрастнаго сопоставленія различныхъ критическихъ о нихъ отзывовъ.

Въ первую часть *комментарія* вошли выдержки изъ критикъ: Анненкова П. В., Арсеньева К., Бѣлинскаго, Булича Н. (проф. Каз. университета), „Вѣстника Европы" (А. В.), Добролюбова, Леонтьева К., Миллера О., Михайловскаго Н., „Московск. Вѣдомостей", Оболенскаго Л., „Руси", „Русскаго Вѣстника", „Русскаго Богатства" (Созерцатель), Страхова Н., Соловьева Влад., Тарасова И. Т. (проф. Демид. юридич. лицея, нынѣ Моск. унив.), Чижа В. Ѳ. (орд. проф.).

В. Зелинскій.

Второе изданіе предлагаемой первой части „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго" перепечатано съ перваго изданія безъ перемѣнъ.

В. З.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ст

Біографическія свѣдѣнія о Ѳ. М. Достоевскомъ . . . .

Оцѣнка идей, таланта, направленія и вообще характеристика литературной дѣятельности Ѳ. М. Достоевскаго съ точки зрѣнія разныхъ критикъ . . . .

Разборъ сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго:

„Бѣдные Люди“ 1

Повѣсти и разсказы:

„Двойникъ“ , ... 162, 171, 178, 193, 2
„Господинъ Прохарчинъ“ 168, 184, 2
„Хозяйка“. . . . . 169—170, 1
„Слабое сердце“ 172, 186, 195, 2
„Чужая жена“ 2
„Честный воръ“ 1
„Ревнивый мужъ“ 2
„Бѣлыя ночи“. 2
„Неточка Незванова“. 199, 2
„Село Степанчиково“ 1
„Дядюшкинъ сонъ“. 1
„Скверный анекдотъ“ 1
„Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“. 1
„Записки изъ подполья“. 194, 1
„Игрокъ“. 1
„Вѣчный мужъ“ 2

БІОГРАФИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ

о Ѳ. М. Достоевскомъ.

*) 30 октября 1821 г., въ 9-мъ часу вечера, въ Москвѣ, въ Марьинской больницѣ для бѣдныхъ, у доктора Михаила Андреевича Достоевскаго и у жены его, Марьи Ѳеодоровны, родился второй сынъ, котораго назвали Ѳеодоромъ.—Въ одинъ изъ декабрьскихъ дней 1849 г., въ 9-мъ же часу вечера, въ Петербургѣ изъ Петропавловской крѣпости вывезли отставного инженеръ-поручика, государственнаго преступника и извѣстнаго литератора Ѳеодора Достоевскаго, для препровожденія его въ Омскую губернію, на каторжныя работы.—28-го января 1881 г., въ 9-мъ часу вечера, въ Петербургѣ, въ скромной квартирѣ на углу Кузнецкой и Ямской ул., скончался знаменитый русскій писатель и мыслитель Ѳеодоръ Михайловичъ Достоевскій, на похоронахъ котораго русское общество, главнѣйшимъ образомъ—въ лицѣ русской молодежи, торжественно признало великія общественныя заслуги усопшаго русскаго человѣка.

Позднѣе у родителей Ѳ. М. Достоевскаго родился третій сынъ, Андрей. Всѣ три брата провели свое дѣтство дома вмѣстѣ, причемъ двухъ старшихъ братьевъ связывала тѣсная дружба, несмотря на большую разницу въ темпераментахъ: старшій Михаилъ былъ сдержаннымъ, сосредоточеннымъ мальчикомъ, тогда какъ Ѳеодоръ, по выраженію его родителей, былъ „настоящій огонь".

Время дѣти проводили самымъ регулярнымъ образомъ.

---

*) И. Т. Тарасовъ. „Ѳ. М. Достоевскій". Харьковъ. 1884 г.

Утромъ—уроки, въ полдень—прогулка, а вечеромъ—игры, чтеніе и разсказы. Азбукѣ учила ихъ сама мать, разумѣется, по старой методѣ. Законъ Божій преподавалъ діаконъ, который, благодаря блестящему дару слова, умѣнью приноровиться къ складу дѣтскаго ума и глубокому религіозному чувству, имѣлъ огромное вліяніе на дѣтей Достоевскихъ, и навсегда оставилъ по себѣ благоговѣйную память, какъ о добромъ сѣятелѣ. Также чрезвычайно удаченъ былъ выборъ учителя французскаго языка, Николая Ивановича Драшуса, не ограничивавшагося, впрочемъ, однимъ только своимъ предметомъ, такъ какъ главнѣйшимъ образомъ на его обязанности лежало приготовленіе дѣтей въ тотъ пансіонъ, куда хотѣли отдать ихъ родители. Этотъ учитель, будучи французомъ, имѣлъ душу русскую и, относясь очень серьезно и добросовѣстно къ своему дѣлу, онъ вліялъ самымъ благотворнымъ образомъ на своихъ учениковъ. Латинскій языкъ преподавалъ самъ отецъ, по книгѣ Бантыша, и хотя онъ былъ весьма вспыльчивымъ человѣкомъ, въ особенности во время уроковъ, тѣмъ не менѣе его обхожденіе съ дѣтьми было въ высшей степени мягкое, принципіально устранявшее примѣненіе тѣлесныхъ наказаній до такой степени, что это обстоятельство было одною изъ главнѣйшихъ причинъ, отчего дѣтей не отдали въ гимназію, гдѣ тогда сѣкли. Также смотрѣла на это средство воспитанія и Марья Ѳеодоровна Достоевская.

Обыкновенно днемъ дѣтей водили гулять, лѣтомъ же иногда съ ними совершали путешествія въ Марьину Рощу, къ Троицѣ и т. п., а въ 1831 г. Достоевскими куплено было небольшое имѣніе въ Тульской губерніи, и съ этого времени дѣти начали ѣздить каждый годъ на лѣто въ деревню. При этихъ поѣздкахъ Ѳеодоръ обнаружилъ огромную наблюдательность; въ деревнѣ же ему особенно полюбилась роща, которая поэтому и прозвана была Ѳединой рощей. Въ этой рощѣ происходили игры дѣтей,— которыя придумывалъ Ѳедя, удивляя своихъ братьевъ находчивостью, изобрѣтательностію и тѣмъ пыломъ, который онъ вносилъ въ общую забаву. Стоило только Ѳедѣ про-

читать какой-нибудь дѣтскій романъ или разсказъ, чтобы прочитанное было въ большей или меньшей мѣрѣ пріурочено къ игрѣ: такъ, напримѣръ, любимая игра въ дикихъ была результатомъ чтенія разсказовъ Купера, игра въ Робинзона, разумѣется, навѣяна была Робинзономъ-же и т. п.—Въ деревнѣ маленькій Ѳедя, до крайности впечатлительный, сблизился чрезвычайно съ крестьянами, которые сразу разгадали въ молодомъ баринѣ въ высшей степени отзывчивое сердце; молодого-же барина тянуло къ сѣрому люду. Многія изъ дѣйствующихъ лицъ въ романахъ Достоевскаго взяты изъ дѣтскихъ воспоминаній о деревенской жизни: такъ, напримѣръ, Елизавета Смердящая въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ напоминаетъ собою деревенскую дурочку Аграфену, съ которою случился такой именно эпизодъ, какой описанъ въ романѣ. Впрочемъ, имена многихъ лицъ изъ семейной обстановки также попали въ романы и повѣсти Достоевскаго, какъ, напримѣръ, няня Алена Ѳеодоровна и другіе.

Вечера дѣти проводили въ комнатныхъ играхъ, чтеніи и разсказахъ. Карточная игра въ короли имѣла при этомъ немаловажное значеніе, такъ какъ Ѳеодоръ очень любилъ эту игру и нерѣдко прибѣгалъ къ разнаго рода изворотамъ, чтобы попасть въ короли (замѣчу кстати, что родители Достоевскаго никогда въ карты не играли). Въ театръ дѣтей возили очень рѣдко, тщательно выбирая пьесы, между тѣмъ какъ масляничные балаганы посѣщались часто, но, разумѣется, не всѣ, а съ разборомъ. Чтеніе, въ которомъ всегда принимали большое участіе отецъ и мать, было чрезвычайно разнообразное, приноровленное къ возрасту и развитію дѣтей;—читали Робинзона, разсказы Купера, романы Вальтеръ Скотта, исторію Карамзина, стихи Державина, Ломоносова, Жуковскаго, Пушкина и др., и, благодаря этому обстоятельству, Михаилъ и Ѳеодоръ въ раннемъ возрастѣ были уже весьма начитанными мальчиками. Сказки разсказывали кормилицы младшихъ дѣтей, горничныя и другая прислуга, а не няня Алена Ѳедоровна, незнакомая съ русскими сказками и былинами и вооб-

ще плохая разсказчица. По праздникамъ дѣтей очень часто водили въ церковь.

Въ 1834 г. старшихъ братьевъ отдали въ пансіонъ Леонтія Ивановича Чермака, помѣщавшійся на Басманной, въ домѣ кн. Касаткина. Пансіонъ этотъ существовалъ тогда уже 20 лѣтъ и пользовался большою извѣстностью, какъ прекрасное воспитательное заведеніе, руководимое честнымъ, умнымъ и преданнымъ дѣлу человѣкомъ. Обстановкѣ приданъ былъ вполнѣ семейный характеръ, и въ пансіонъ принимали только интерновъ, не болѣе 100 учениковъ. Въ настоящее время живы еще нѣкоторые изъ бывшихъ учениковъ этого пансіона и до сихъ поръ вспоминаютъ они съ чувствомъ глубокаго уваженія и благодарности имя почтеннаго Леонтія Ивановича Чермака *).

Личный составъ учителей въ пансіонѣ былъ въ высшей степени удачный. Изъ этихъ учителей особенно сильное вліяніе имѣлъ на братьевъ Достоевскихъ учитель русскаго языка, какъ превосходный наставникъ и человѣкъ. Благодаря этому учителю, оба брата имѣли возможность глубоко и основательно изучить русскихъ писателей, въ особенности же Жуковскаго, причемъ оба брата увлекались наиболѣе первымъ, хотя Жуковскій въ то время пользовался вообще большимъ авторитетомъ.

Живя въ пансіонѣ, дѣти возвращались домой по праздникамъ и дома проводили время приблизительно такъ-же, какъ и прежде, т. е. въ постоянномъ общеніи съ родителями, среди занятій, чтенія, игръ и разсказовъ. Къ прежнимъ занятіямъ присоединилось еще обученіе младшаго брата, Андрея, которому Ѳеодоръ и Михаилъ задавали уроки на цѣлую недѣлю, а въ субботу спрашивали эти уроки, причемъ Ѳеодоръ училъ исторіи и русскому языку. Возвратившись изъ пансіона, дѣти разсказывали родителямъ о всѣхъ пансіонскихъ происшествіяхъ, и родители внимательно прислушивались къ этимъ разсказамъ, порицая одно, хваля другое. При упоминаніи о лѣности, отецъ постоян-

*) Нынѣшній министръ финансовъ, Н. Х. Бунге, былъ однимъ изъ воспитанниковъ *пансіона Л. И. Чермака.*

но повторялъ, что онъ самъ труженикъ и желаетъ видѣть своихъ сыновей такими-же тружениками; въ этихъ случаяхъ онъ любилъ приводить въ примѣръ двухъ сыновей больничнаго священника Баршева, которые тогда только-что вернулись изъ заграничной командировки, куда были посланы для приготовленія къ профессорскому званію и, по возвращеніи, дѣйствительно скоро сдѣлались профессорами въ университетѣ. Если изъ разсказовъ обнаруживались какіе-нибудь рѣзкіе поступки Θеодора, то отецъ нерѣдко говорилъ: „Эй, Θедя, уймись! быть тебѣ подъ красной шапкой!“—Михаилъ Андреевичъ не позволялъ сыновьямъ отлучаться куда-либо изъ дому безъ спроса, устранялъ посѣщенія товарищей, такъ что за все время пребыванія въ пансіонѣ только однажды какой-то Кудрявцевъ зашелъ въ гости къ братьямъ Достоевскимъ.

Въ 1837 г. скончалась Марья Θеодоровна Достоевская, и въ этомъ-же году Михаила и Θеодора отвезли въ Петербургъ, въ инженерное училище, причемъ отъѣздъ этотъ нѣсколько замедлился, вслѣдствіе внезапной горловой болѣзни Θеодора Михайловича, лишившей его вдругъ голоса. Странная болѣзнь эта была до того упорна, что Михаилъ Андреевичъ, исчерпавъ въ качествѣ доктора-аллопата всѣ аллопатическія средства, прибѣгъ даже къ помощи гомеопатіи, но безуспѣшно: болѣзнь прошла сама собой въ Петербургѣ, оставивъ однако слѣдъ на всю жизнь, такъ какъ съ этого времени голосъ Θеодора Михайловича всегда звучалъ нѣсколько странно.

Черезъ два года послѣ смерти жены въ 1839 г., умеръ и Михаилъ Андреевичъ, такъ что Достоевскіе остались круглыми сиротами, далеко не достигнувъ еще того возраста, когда опора родителей перестаетъ быть необходимою.

Въ 1841 г. Θеодоръ Михайловичъ Достоевскій окончилъ курсъ въ инженерномъ училищѣ и выпущенъ былъ на службу въ чинѣ подпоручика.

Такимъ образомъ, будущій писатель выступилъ въ самостоятельную жизнь, хотя и круглымъ сиротой, но съ такимъ нравственнымъ наслѣдствомъ, завѣщаннымъ ему ро-

дителями, которое дай Богъ всякому. Дома видѣлъ онъ только хорошую сторону семьи; эта семья была ему не мачихой, а въ самомъ дѣлѣ родною матерью, научившею его вѣрить, трудиться, любить и уважать ближняго, отличать дурное отъ хорошаго, изучать прекрасное и восторгаться имъ. Жизнь въ деревнѣ сблизила его съ природой и съ народомъ. Общеніе съ умными, честными и любящими родителями спасло его отъ вреднаго вліянія порочныхъ товарищей и развило въ немъ глубокую сыновнюю любовь, не оставлявшую его до послѣднихъ дней жизни: за нѣсколько дней до смерти, Θеодоръ Михайловичъ, говоря о своихъ родителяхъ, отзывался о нихъ съ чувствомъ глубочайшаго благоговѣнія, какъ о людяхъ замѣчательно честныхъ, добрыхъ и „передовыхъ". Въ пансіонѣ, послѣ нѣкоторой подготовки къ этому дома, Θеодоръ Михайловичъ научился понимать русскую литературу и любить ее. Въ пансіонѣ-же онъ научился сообщаться съ людьми, пріобрѣтать знанія, передавать ихъ другимъ и подчиняться установленному порядку. Въ инженерномъ училищѣ, разумѣется, Θеодоръ Михайловичъ неизбѣжно долженъ былъ познакомиться съ военной дисциплиной, съ тою суровою дисциплиной, которая получила названіе николаевской и которая воспитала севастопольскихъ героевъ.

Свѣдѣнія о пребываніи Θеодора Михайловича въ инженерномъ училищѣ скудны и малозначительны; относительно-же ближайшаго времени по выходѣ изъ училища, свѣдѣнія не только скудны, но и противорѣчивы. По разсказамъ однихъ, Достоевскій отдалъ нѣкоторую дань увлеченіямъ молодости, пристрастившись, между прочимъ, къ карточной игрѣ. Въ другихъ свѣдѣніяхъ объ этомъ обстоятельствѣ умалчивается, быть можетъ, потому только, что, какъ говоритъ Сентъ-Бевъ, „большинство людей не любятъ истины, т. е. безпорядочной смѣси достоинствъ и недостатковъ, добродѣтелей и пороковъ, составляющихъ человѣческую личность. Они хотятъ видѣть въ своемъ любимцѣ, въ своемъ героѣ, личность цѣльную, — какъ бы изъ одного куска,—либо ангела, либо демона". Но при такихъ

условіяхъ, разумѣется, всегда будешь имѣть кумиры, а человѣка—никогда.—Не имѣя данныхъ рѣшить, въ какой мѣрѣ вышеупомянутое свѣдѣніе согласуется съ дѣйствительностью, ограничимся указаніемъ на свѣдѣніе несомнѣнно достовѣрное, что Достоевскій, по выходѣ изъ училища, продолжалъ усиленно заниматься всегда интересовавшими его литературой, философіей и исторіей; службой-же своей тяготился настолько, что въ 1844 г., т. е. черезъ 3 года, онъ подалъ въ отставку, рѣшивъ сдѣлаться литераторомъ.

Въ этомъ новомъ періодѣ изученія литературы Достоевскій увлекся Шиллеромъ, Гете, Гофманомъ и Диккенсомъ, въ особенности-же Бальзакомъ, романъ котораго – Pere Goriot—произвелъ на Ѳеодора Михайловича столь сильное впечатлѣніе, что онъ невольно и съ восторгомъ воскликнулъ; „Такъ надо писать романы!“

Въ 1846 г. появилась въ печати первая повѣсть Достоевскаго „Бѣдные люди“, помѣщенная въ „Сборникѣ“ Некрасова. Повѣсть эта сразу обратила на себя общее вниманіе и встрѣчена была весьма одобрительно.

* * *

*) Необычайный успѣхъ „Бѣдныхъ людей“ ослѣпилъ, поразилъ молодого автора, хотя онъ и прежде вѣрилъ въ свое произведеніе.

— „Я чрезвычайно доволенъ романомъ моимъ. Непарадуюсь“,—писалъ онъ брату еще въ 1844 г., не только до напечатанія, но даже до окончанія „Бѣдныхъ людей“. „Моимъ романомъ“, — читаемъ мы въ письмѣ 24 марта 1845 г., **)—я серьезно доволенъ... Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочемъ, ужасные недостатки“. Послѣ восторженнаго одобренія, встрѣченнаго романомъ въ лите-

*) К. Арсеньевъ. „Многострадальный писатель“. „Вѣстн. Европы“ 1884 г., № 1.

**) Письма, изъ которыхъ г. К. Арсеньевъ приводитъ цитаты, помѣщены въ „Полномъ собр. соч. Ѳ. М. Достоевскаго. 14 томовъ. С.-Пб. 1882—1883 гг.

Примѣч. В. Зелинскаго.

ратурныхъ сферахъ, о недостаткахъ его въ перепискѣ больше уже нѣтъ рѣчи. Сообщая брату хвалебныя отзывы, доносящіеся до него со всѣхъ сторонъ, Достоевскій прибавляетъ къ нимъ собственное восхищеніе новыми твореніями, уже оконченными („Романъ въ девяти письмахъ") или приближающимися къ окончанію („Двойникъ").—„Вотъ ты самъ увидишь, хуже-ли это „Тяжбы" Гоголя... Голядкинъ выходитъ превосходно—это будетъ мой chef-d'oeuvre" (письмо отъ 16-го ноября 1845 г.). Въ концѣ письма сдѣлана приписка: „я перечелъ мое письмо и нашелъ, что я, во первыхъ, безграмотенъ, а во вторыхъ, самохвалъ". Самохвальство продолжается и въ позднѣйшихъ письмахъ, но уже безъ оговорокъ.—„Во мнѣ находятъ новую оригинальную струю, состоящую въ томъ, что я дѣйствую анализомъ, а не синтезомъ, т. е., иду въ глубину и, разбирая по атомамъ, отыскиваю цѣлое; Гоголь-же беретъ прямо цѣлое и оттого не такъ глубокъ, какъ я. Прочтешь и самъ увидишь. А у меня будущность преблистательная, братъ!.. Голядкинъ (т. е. „Двойникъ") въ десять разъ выше „Бѣдныхъ людей". Наши говорятъ, что послѣ „Мертвыхъ душъ" не было ничего подобнаго, что произведеніе геніальное! Тебѣ онъ понравится даже лучше „Мертвыхъ душъ", я это знаю" (письмо отъ 1-го февраля 1846 г.). — „Слава моя достигла до апогея. Въ два мѣсяца обо мнѣ, по моему счету, было говорено около 35-ти разъ въ различныхъ изданіяхъ... Я пишу двѣ повѣсти, обѣ съ потрясающимъ трагическимъ интересомъ... Явилась цѣлая тьма новыхъ писателей.—Иные—мои соперники. Первенство остается за мной покамѣстъ, и надѣюсь, навсегда" (1-го апр. 1846 г.). —„Я пишу мою „Хозяйку". Уже выходитъ лучше „Бѣдныхъ людей". „Перомъ моимъ водитъ родникъ вдохновенія, выбивающійся прямо изъ души" (1847 г.).—Наивному увлеченію автора весьма скоро перестаетъ соотвѣтствовать внѣшній успѣхъ, не только въ публикѣ, но и въ тѣхъ самыхъ литературныхъ кружкахъ, которые такъ горячо привѣтствовали „Бѣдныхъ людей".—„Вотъ что гадко и мучительно,—пишетъ Достоевскій уже 1-го апрѣля 1846

г.:—свои, наши, Бѣлинскій и всѣ мною недовольны за Голядкина. Первое впечатлѣніе было безотчетный восторгъ, говоръ, шумъ, толки; второе—критика. Именно: всѣ, всѣ съ общаго говору, т. е. *наши* и вся публика нашли, что до того Голядкинъ скученъ и вялъ, до того растянутъ, что читать нѣтъ возможности".—Правда, авторъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что хулители Голядкина все-таки „читаютъ и перечитываютъ его на пропалую"; но это не мѣшаетъ ему по собственному его признанію, „впадать въ уныніе".

— „У меня есть ужасный порокъ: неограниченное самолюбіе и честолюбіе. Идея о томъ, что я обманулъ ожиданія и испортилъ вещь, которая могла бы быть великимъ дѣломъ, убивала меня. Мнѣ Голядкинъ опротивѣлъ. Многое въ немъ писано наскоро и въ утомленіи. Первая половина лучше послѣдней. Рядомъ съ блистательными страницами, есть скверность, дрянь, изъ души воротитъ, читать не хочется. Вотъ это создало мнѣ на время адъ, и я заболѣлъ отъ горя". Уже въ концѣ 1846 г. отношенія Достоевскаго къ ближайшимъ для него за годъ передъ тѣмъ лицамъ представляются совсѣмъ иными.—„Теперь они (т. е. Некрасовъ и его кружокъ) выпускаютъ, что я зараженъ самолюбіемъ, возмечталъ о себѣ",—пишетъ онъ въ ноябрѣ 1846 г.—„Что-же касается до Бѣлинскаго, то это такой слабый человѣкъ, что даже въ литературныхъ мнѣніяхъ у него пять пятницъ на недѣлѣ. Только съ нимъ я сохранилъ прежнія добрыя отношенія. Онъ человѣкъ благородный". —„Мнѣ все кажется,—читаемъ мы въ письмѣ отъ 17-го декабря того-же года,—что я завелъ процессъ со всею нашею литературою, журналами и критиками, и устанавливаю и за этотъ годъ мое первенство на зло недоброжелателямъ моимъ".—Счастье Краевскаго и мое, — говоритъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя,—что романъ мой печатается въ концѣ года. Онъ завершитъ годъ, пойдетъ во время подписки, и, главное, будетъ, если не ошибаюсь теперь, капитальною вещью въ году и утретъ носъ друзьямъ „Современника", которые рѣшительно стараются похоронить меня". Къ авторскимъ разочарованіямъ, къ

обиженному самолюбію рано присоединяется еще одна язва, отъ которой Достоевскій страдалъ почти всю жизнь; это— необходимость работать на срокъ изъ за насущнаго хлѣба. Уже въ апрѣлѣ 1846 г. онъ жалуется на то, что долженъ былъ „на 1000 руб. асс. продать впередъ своего товару". —„Я взялъ уже у Краевскаго 100 руб. сер., — пишетъ онъ въ октябрѣ того же года,—и теперь отъ него бѣгаю... Система всегдашняго долга, которую такъ распространяетъ Краевскій, есть система моего рабства и зависимости литературной." У него нѣтъ теплой шинели, платье его, по его выраженію, „неприличное", онъ проситъ денегъ взаймы у брата, такого же почти бѣдняка, какъ и онъ самъ, лишь бы только избѣжать журнальной кабалы. Братъ исполняетъ его просьбу, но не спасаетъ его отъ неотвратимаго зла.—„Я плачу всѣ долги мои посредствомъ Краевскаго", говоритъ онъ два мѣсяца спустя, когда то я выйду изъ долговъ. Бѣда работать поденщикомъ! Погубишь все—и талантъ, и юность, и надежду, омертвѣетъ работа, и сдѣлаешься, наконецъ, пачкуномъ, а не писателемъ".— „Вотъ уже третій годъ моего литературнаго поприща,— я какъ въ чаду"—такъ оканчивается письмо, написанное весною 1847 г.—„Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходитъ за невременьемъ. Хочется установиться. Сдѣлали они мнѣ извѣстность сомнительную, и я не знаю, до которыхъ поръ пойдетъ этотъ адъ; тутъ бѣдность, срочная работа,—кабы покой!" Неудивительно, что при такомъ прожиганіи жизни, при постоянной смѣнѣ унынія и надежды, не могло не поколебаться и здоровье Достоевскаго, никогда, повидимому, не отличавшееся большою крѣпостью; жалобы на разстройство нервовъ встрѣчаются уже въ письмахъ 1846 г.

***

*) Въ Юрьевъ день, 23-го апрѣля 1849 г., ночью, Ѳ. М. Достоевскій и нѣкоторыя другія лица были арестованы

*) П. Т. Тарасовъ. „Ѳ. М. Достоевскій". Харьковъ. 1884 г.

за участіе въ политическомъ заговорѣ Буташевича-Петрашевскаго *).

Надо замѣтить, что въ то время въ Петербургѣ, подъ вліяніемъ сильнѣйшаго гнета, которому подвергалось всякое стремленіе къ самомалѣйшей свободѣ, и подъ вліяніемъ острой книгобоязни, которою одержимо было тогдашнее правительство, въ культурномъ классѣ общества образовались различные кружки, которые занимались, между прочимъ, болѣе или менѣе рѣзкимъ осужденіемъ существовавшихъ порядковъ и изысканіемъ способовъ къ борьбѣ со зломъ, причемъ новѣйшія событія въ западно-европейскихъ государствахъ встрѣчали сочувствіе нѣкоторыхъ членовъ этихъ кружковъ. Интензивность протестующихъ элементовъ въ этихъ кружкахъ была весьма различна, причемъ первенствующее мѣсто принадлежало, несомнѣнно, кружку Петрашевскаго, вслѣдствіе чего на членовъ этого именно кружка, выданнаго агентомъ III-го отдѣленія, нѣкіимъ Антонелли, и обрушилась жестокая кара закона. Къ этому-то кружку принадлежалъ Ѳ. М. Достоевскій и, какъ свидѣтельствуютъ очевидцы, въ собраніяхъ кружка онъ постоянно выступалъ человѣкомъ, горячо сочувствующимъ людямъ наиболѣе приниженнымъ и угнетеннымъ.

Арестованный Достоевскій былъ тотчасъ же увезенъ въ III-е отдѣленіе, гдѣ ему пришлось встрѣтиться съ многими знакомыми, не безъ горькой ироніи обращавшимися другъ къ другу съ восклицаніемъ: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!" — Вскорѣ послѣ этого, арестованъ былъ по ошибкѣ младшій братъ Достоевскаго, Андрей Михайловичъ, а затѣмъ и старшій братъ; но оба они выпущены были потомъ на свободу.

Послѣ перваго допроса, арестованные заключены были въ крѣпость. Слѣдствіе, производившееся особою коммиссіей, подъ предсѣдательствомъ г. Набокова, продолжалось

*) До ареста, кромѣ „Бѣдныхъ людей," Достоевскій написалъ еще нѣсколько повѣстей, какъ, напримѣръ, „Двойникъ," „Господинъ Прохарчинъ," „Хозяйка" и проч. Послѣднимъ изъ нихъ по времени было произведеніе „Неточка Незванова."

Примѣч. В. Зелинскаго.

8 мѣсяцевъ, а за тѣмъ послѣдовалъ приговоръ, на основаніи котораго Петрашевскій, Достоевскій, поэтъ Дуровъ и нѣкоторыя другія лица приговорены были къ смертной казни за распространеніе противоправительственныхъ сочиненій (въ особенности—извѣстнаго письма Бѣлинскаго къ Гоголю по поводу его „Переписки съ друзьями"), осужденіе правительства и высокопоставленныхъ должностныхъ лицъ, тайныя сборища и сношенія.

Послѣ 8-ми — мѣсячнаго заключенія въ крѣпости, гдѣ Достоевскій успѣлъ написать повѣсть „Маленькій герой", въ одинъ изъ пасмурныхъ дней декабря мѣсяца, Петрашевскій и его товарищи стояли на мѣстѣ казни. Достоевскій разсказываетъ, что, увидя свою обстановку, онъ не сомнѣвался въ томъ, что доживаетъ послѣднія минуты въ жизни; но когда, во время чтенія весьма длиннаго приговора, вдругъ выглянуло солнышко на сѣромъ небѣ, онъ невольно сказалъ одному изъ своихъ товарищей: „Не можетъ быть, чтобы насъ казнили". Однако, всѣ обычныя формальности, предшествующія совершенію самой казни, слѣдовали одна за другой; осужденнымъ предложено было исповѣдываться у священника; они приложились къ кресту. Оставалось только послѣднее, и... Россія лишилась бы на вѣки извѣстнаго автора „Бѣдныхъ людей", не узнавъ безсмертнаго автора „Записокъ изъ мертваго дома", „Преступленія и наказанія", „Дневника писателя" и „Братьевъ Карамазовыхъ". Но лучъ солнца не обманулъ: настало мгновеніе не смерти, а помилованія. Всѣмъ осужденнымъ дарована была жизнь, причемъ въ отношеніи къ Достоевскому смертная казнь замѣнена была ссылкой въ Сибирь на 4 года въ каторжныя работы и поступленіемъ затѣмъ въ военную службу рядовымъ въ Сибири-же. Каторжныя работы Достоевскій отбылъ безъ всякаго снисхожденія.

* * *

*) Каторжникамъ переписка была, безъ сомнѣнія, воспрещена; въ напечатанномъ теперь сборникѣ писемъ нѣтъ ни одного, относящагося къ этому періоду. Первое, за то, письмо, написанное по окончаніи каторги (отъ 30 іюля 1854 г.), показываетъ, что Достоевскій именно ей приписываетъ болѣзнь, отъ которой онъ такъ ужасно страдалъ до самой смерти. Положимъ, что онъ ошибался, что зародыши болѣзни таились въ немъ еще до суда и ссылки; несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что развила и ожесточила ее именно каторга — и никому изъ читателей „Мертваго дома" это, конечно, не покажется страннымъ. Еще знаменательнѣе, въ нашихъ глазахъ, слѣдующее мѣсто письма къ брату, помѣченнаго 6-мъ ноября 1854 г.: „вотъ уже скоро десять мѣсяцевъ, какъ я вышелъ изъ каторги и началъ мою новую жизнь. *А тѣ четыре года считаю я за время, въ которое я былъ похороненъ живой и закрытъ въ гробу. Что за ужасное было это время, не въ силахъ я разсказать тебѣ.* Это было страданіе невыразимое, безконечное, потому что всякій часъ, всякая минута тяготѣла какъ камень у меня на душѣ. Во всѣ четыре года не было мгновенія, въ которое бы я не чувствовалъ, что я въ каторгѣ. Но что разсказывать! Даже если бы я написалъ къ тебѣ сто листовъ, то и тогда бы ты не имѣлъ понятія о тогдашней жизни моей. Это нужно, по крайней мѣрѣ, видѣть самому, — я уже не говорю испытать"! Изъ того же письма мы узнаемъ, что во все время пребыванія въ каторгѣ Достоевскій не получилъ ни одной вѣсточки о своихъ: „я былъ какъ ломоть отрѣзанный", восклицаетъ онъ. Въ письмахъ А. Н. Майкову (18-го января 1856 г.) онъ указываетъ еще на одинъ источникъ страданій, вынесенныхъ имъ въ каторгѣ: „Не могу вамъ выразить, сколько я мукъ терпѣлъ оттого, что не могъ въ каторгѣ писать — а между прочимъ внутренняя работа кипѣла". Освобожденіемъ изъ каторги бѣдствія Достоевскаго не закончились; пять лѣтъ, проведенныхъ имъ въ Семипалатинскѣ (до осени 1856 г. — рядовымъ), принадлежатъ,

*) К. Арсеньевъ. „Многострад. писатель". „Вѣстн. Евр." 1884 г., № 1.

какъ видно изъ его переписки, къ числу самыхъ тяжелыхъ періодовъ его жизни. „О, дай Богъ вамъ счастія,—пишетъ онъ другу въ 1856 г.,—а не тѣхъ ужасовъ, которые иногда могутъ быть—говорю по опыту!.. Дѣла мои ужасно плохи, и я почти въ отчаяніи. Трудно перестрадать, сколько я выстрадалъ! Всего передать не могу; я одинъ совершенно съ своей безвыходной тоской".—„Не дай вамъ Богъ,—говоритъ нѣсколькими мѣсяцами позже,—испытать то, что я испытываю". Одиночество, непосильный и нелюбимый трудъ, крайняя трудность добывать книги, усиливающаяся болѣзнь, бѣдность, или, лучше сказать, нужда (тѣмъ болѣе чувствительная, что въ 1857 г. онъ женился на вдовѣ и взялъ на себя воспитаніе ея сына) — все это давитъ и душитъ его съ страшной силой. Единственная его надежда—литературный талантъ; но онъ долго не знаетъ, позволятъ ли ему что-либо печатать. Чтобы добиться этого позволенія, онъ пишетъ стихи по поводу восточной войны, пишетъ статью политическаго содержанія, наполненную „самыми патріотическими идеями", готовится писать письма объ искусствѣ; „лучше начать серьезной статьей и на нее просить разрѣшенія печатать, ибо на романъ до сихъ поръ смотрятъ, какъ на пустяки" (письмо 13 апрѣля 1856 г.). „Если печатать не позволятъ еще годъ,—восклицаетъ онъ въ концѣ 1856 г.—я пропалъ. Тогда лучше не жить! Никогда въ жизни моей не было для меня такой критической минуты, какъ теперь". Когда разрѣшеніе печатать, наконецъ, получено (повидимому—въ концѣ 1857-го или въ началѣ 1858 г.), для автора сразу возобновляются прежнія терзанія, обусловливаемыя необходимостью писать изъ за денегъ. Ему напоминаютъ о старомъ долгѣ, требуютъ уплаты или отработки (см. письмо 1-го марта 1858 г.); между тѣмъ обстановка его не благопріятствуетъ крупному труду, онъ отлагаетъ мысль о большомъ романѣ до возвращенія въ Европейскую Россію и пишетъ двѣ повѣсти, „которыя будутъ только что сносны" (письмо отъ 31 мая 1858 г.). Условія, на которыхъ онъ пристроиваетъ ихъ въ журналахъ, кажутся ему крайне невыгодными. „Я очень хорошо

знаю,—говоритъ онъ въ письмѣ отъ 9 мая 1859 г.,—что я пишу хуже Тургенева, но вѣдь не слишкомъ же хуже, и, наконецъ, я надѣюсь написать совсѣмъ не хуже. За что же я-то, съ моими нуждами, беру только 100 р. (съ листа), а Тургеневъ, у котораго 2000 душъ, по 400. Отъ бѣдности я принужденъ торопиться и писать для денегъ, слѣдовательно непремѣнно портить". Одному изъ журналовъ даже плата въ сто рублей показалась слишкомъ большой; такъ, по крайней мѣрѣ, объясняетъ Достоевскій непринятіе „Русскимъ Вѣстникомъ" повѣсти: „Село Степанчиково" (письмо отъ 11 октября 1859 г.)...

* * *

*) Только по переходѣ въ военную службу, когда Өеодоръ Михайловичъ произведенъ былъ въ унтеръ-офицеры, нашелся въ Петербургѣ вліятельный ходатай за него, въ лицѣ генерала Тотлебена, товарища Ө. М. по инженерному училищу. Съ воцареніемъ государя Александра Николаевича, Достоевскій произведенъ былъ въ офицеры, а въ 1859 г. ему дозволено было возвратиться въ Европейскую Россію. Будучи офицеромъ, Ө. М. женился въ Сибири на вдовѣ офицера же Исаева, которая имѣла сына отъ перваго брака, кажется, до сихъ поръ живущаго въ Петербургѣ, гдѣ онъ поддерживалъ сношенія съ своимъ отчимомъ. Жена Ө. М. скончалась черезъ два года послѣ возвращенія въ Россію.

Какъ относился Достоевскій къ суровому наказанію, которому подвергся, можно судить, между прочимъ, по слѣдующему разсказу И. С. Аксакова. У г. Аксакова сидѣлъ Достоевскій и велъ разговоръ объ Императорѣ Николаѣ I, о которомъ отзывался съ величайшимъ уваженіемъ. Въ это время вошелъ извѣстный англичанинъ, путешественникъ Меккензи Уоллесъ, котораго Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ тутъ же познакомилъ съ Достоевскимъ, продолжавшимъ свою

*) Н. Т. Тарасовъ. „Ө. М. Достоевскій". Харьковъ. 1884 г.

характеристику покойнаго Императора. „Вы говорите, что это Достоевскій?“ спросилъ г. Аксакова англичанинъ, когда ушелъ Өеодоръ Михайловичъ.—„Да.“—„Авторъ Мертваго Дома?“—„Именно онъ.“—„Не можетъ быть. Вѣдь онъ былъ сосланъ на каторгу“?—„Былъ, ну, что-же?“—„Да какъ же онъ можетъ хвалить человѣка, сославшаго его на каторгу?“ —„Вамъ, иностранцамъ, это трудно понять, отвѣчалъ И. С. Аксаковъ, а намъ это понятно, какъ черта вполнѣ національная...“

Вспомните, какъ въ извѣстномъ разсказѣ графа Льва Толстого „Чѣмъ люди живы“, незнакомецъ отвѣчаетъ сапожнику Семену:—„Никто меня не обидѣлъ, меня Богъ наказалъ.“ Семенъ-же вполнѣ удовлетворяется этимъ отвѣтомъ и замѣчаетъ: „Извѣстно, все Богъ.“ Такъ смотрѣлъ и Достоевскій на постигшую его кару, и это подтверждается его всегдашнимъ опасеніемъ, когда онъ публично читалъ выдержки изъ своего „Мертваго Дома“, какъ бы публика не подумала, что онъ жалуется. „Всякій предъ всѣми за всѣхъ и за все виноватъ“, постоянно говорилъ и писалъ Достоевскій. Впрочемъ, приведу слова самого Өеодора Михайловича, указывающія на то, какъ онъ смотрѣлъ на свою каторгу. Когда, по возвращеніи Ө. М. изъ Сибири, на одномъ вечерѣ одинъ изъ его старыхъ пріятелей обратился къ нему съ замѣчаніемъ: „Какое, однако, несправедливое дѣло было эта ваша ссылка.“—„Нѣтъ, коротко, какъ всегда, обрѣзалъ Достоевскій, нѣтъ, справедливое. Насъ-бы осудилъ русскій народъ. Это я почувствовалъ тамъ только, въ каторгѣ. И почемъ вы знаете — можетъ быть, тамъ, на Верху, т. е. Самому Высшему, нужно было меня привести въ каторгу, чтобы я тамъ что-нибудь узналъ, т. е. узналъ *самое главное*, безъ чего нельзя жить, иначе люди съѣдятъ другъ друга, съ ихъ матеріальнымъ развитіемъ; ну-съ, и чтобы это *самое главное* я вынесъ оттуда, потому что оно пока скрывается только въ народѣ, хоть онъ гадокъ, воръ, убійца, пьяница; такъ чтобы я вынесъ это оттуда и другимъ сообщилъ, и чтобъ другіе (хоть не всѣ, хоть очень немногіе) лучше стали хоть на крошечку—

хоть частичку бы приняли, хоть бы поняли, что въ бездну стремятся, и этого довольно. И этого ужъ много. И изъ-за этого стоило пойти на каторгу." Послѣ этого, пріятель принялъ Достоевскаго за сумасшедшаго.

Такое отношеніе великаго писателя къ вынесенному имъ наказанію, по общему мнѣнію—чрезмѣрно суровому, тѣмъ болѣе знаменательно, что съ каторги Достоевскій привезъ страшную болѣзнь, извѣстную подъ названіемъ падучей, которая не покидала его до конца жизни и, разумѣется, причиняла ему ужасныя страданія, хотя, какъ свидѣтельствуетъ Милюковъ, здоровье большей части другихъ сосланныхъ петрашевцевъ, въ особенности же поэта Дурова, пострадало сильнѣе, а Ѳ. М. Достоевскій, благодаря своей энергіи и никогда не покидавшей его вѣрѣ въ лучшую судьбу, счастливѣе другихъ перенесъ тяжкое испытаніе каторжной жизни...

* * *

*) Ѳ. М. Достоевскому, по возвращеніи его въ Петербургъ, не надолго улыбается судьба; онъ находитъ кружокъ близкихъ людей, горячо принимается за работу и скоро становится главнымъ сотрудникомъ или, лучше сказать, фактическимъ редакторомъ журнала („Времени"), основаннаго въ 1861 г. его братомъ Михаиломъ. Журнальное дѣло, сильно его интересующее, идетъ успѣшно; третій годъ своего существованія „Время" начинаетъ съ четырьмя тысячами подписчиковъ—цифрой, по тогдашнему времени весьма крупной. Въ перепискѣ, вошедшей въ составъ „Біографіи", имѣется только одно письмо, относящееся къ этому періоду (отъ 6 іюня 1862 г.); другое (отъ 26 іюня того же года) напечатано въ той части „Біографіи", которая составлена г. Страховымъ. Оба письма отличаются спокойнымъ, отчасти даже веселымъ тономъ, столь рѣдкимъ въ корреспонденціи Достоевскаго; видно однако, что онъ не свободенъ отъ заботъ и опасеній за

*) К. Арсеньевъ.

будущее. „Мы надѣлали долговъ за прошлый годъ, — пишетъ онъ брату Андрею,—и только развѣ третій и четвертый годъ журнала дадутъ намъ спокойствіе и устойчивое положеніе.“ Надеждамъ этимъ не суждено было осуществиться. Въ апрѣльской книгѣ „Времени“ за 1863 г. помѣщена была статья г. Страхова: „Роковой вопросъ“, вызванная польскимъ возстаніемъ, тогда находившимся въ полномъ разгарѣ. Мысль статьи, по словамъ самого автора (Біографія, стр. 247), была та, что „намъ слѣдуетъ бороться съ поляками не одними вещественными, но и духовными орудіями, и что окончательное разрѣшеніе дѣла наступитъ лишь тогда, когда мы одержимъ надъ поляками духовную побѣду. На дѣлѣ, въ жизни, мы безконечно превосходимъ поляковъ; нужно привести эту нашу мощь къ сознанію, нужно почерпнуть изъ нея ясныя формы умственнаго и культурнаго развитія.“ Вслѣдствіе одного изъ самыхъ колоссальныхъ недоразумѣній, какія только представляетъ столь богатая недоразумѣніями исторія русской печати, статья г. Страхова показалась неблагонамѣренною, опасной; такою выставили ее въ особенности извѣстныя московскія изданія, уже тогда присвоивавшія себѣ монополію патріотизма. Когда стали носиться слухи объ опасности, угрожающей журналу, редакція, какъ и авторъ статьи, не вдругъ могла этому повѣрить: „совѣсть у насъ была совершенно чиста“, замѣчаетъ г. Страховъ. Необходимость обороны была сознана слишкомъ поздно; замѣтка, написанная Достоевскимъ въ разъясненіе и защиту „Роковаго вопроса“ — замѣтка, скажемъ мимоходомъ, проникнутая негодованіемъ и не щадившая ни „Русскаго Вѣстника“, ни „Московскихъ Вѣдомостей“—была принята „С.-Петербургскими Вѣдомостями“ (состоявшими тогда подъ редакціей В. Ѳ. Корша), но запрещена цензурой, потому что дѣлу о злосчастной статьѣ былъ данъ уже оффиціальный ходъ. „Время“ было запрещено, и оправдательныя письма г. Страхова къ гг. Аксакову и Каткову не измѣнили участи журнала... Запрещеніе „Времени“ тяжело отразилось на обоихъ Достоевскихъ. Правда, М. М. Достоевскому дано было, восемь мѣсяцевъ

спустя, разрѣшеніе основать новый журналъ, подъ именемъ „Эпохи" (прежде предлагавшіяся заглавія: „Правда" и „Дѣло" признаны неудобными!); но изгладить послѣдствія перерыва оказалось невозможнымъ, подписка шла вяло: до уровня „Времени" новая „Эпоха" ни въ какомъ отношеніи не поднялась. Для Ѳ. М. Достоевскаго еще лѣтомъ 1863 года возобновились прежнія мытарства — хлопоты о займахъ, запродажа еще неначатой работы, на этотъ разъ имѣвшая особенно непріятныя послѣдствія (см. письма отъ 13 и 15 апрѣля 1864 г. и приложенную къ послѣднему копію съ письма отъ 14 апрѣля; стр. 153—160). Въ началѣ 1864 г. положеніе Достоевскаго было по-истинѣ трагическое; жена его медленно умирала, онъ самъ постоянно и сильно хворалъ, жить приходилось въ Москвѣ, вдали отъ родныхъ и друзей—и все-таки нужно было писать, писать къ сроку, вымучивая изъ себя каждую страницу. Письма его за это время (стр. 141—158) производятъ удручающее впечатлѣніе. „Положеніе мое,—говоритъ онъ отъ 5-го апрѣля,—до того тяжело, что *никогда не бывалъ я въ такомъ* (подчеркнуто въ подлинникѣ). Жизнь угрюмая, здоровье еще слабое, жена умираетъ совсѣмъ; но по ночамъ отъ всего дня у меня раздражены нервы. Нуженъ воздухъ, моціонъ, а и гулять некогда и негдѣ. Мое теплое (слишкомъ ватное) пальто мнѣ уже тяжело (вчера было 17 градусовъ въ тѣни). Да что описывать! Слишкомъ тяжело. А главное слабость и нервы разстроены. Къ ночи я дѣлаюсь ужасно слабъ и не работаю, что очень худо; прежде лучшая работа была по ночамъ." Немногимъ легче была жизнь Достоевскаго и тогда, когда онъ, послѣ смерти жены, возвратился въ Петербургъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ скончался М. М. Достоевскій, и вся тяжесть редакціонной и издательской работы легла на его брата. Хуже всего было то, что для продолженія изданія Достоевскій вошелъ въ большіе долги (до 15,000 руб.)—и все-таки могъ довести „Эпоху" только до февральской книжки 1865 г. Число подписчиковъ упало до 1,300—и дѣло, стоившее столькихъ жертвъ, должно было навсегда прекратиться. Этотъ ударъ былъ выдержанъ

Достоевскимъ съ замѣчательной бодростію; сообщая одному изъ друзей грустную повѣсть послѣднихъ лѣтъ (14 апрѣля 1865 г.), онъ восклицаетъ: „а между тѣмъ все мнѣ кажется, что я только-что собираюсь жить. Смѣшно, не правда ли? Кошачья живучесть“! Смутная надежда отчасти оправдалась; въ томъ же 1865 г., Достоевскій создаетъ лучшее, быть можетъ, произведеніе свое—„Преступленіе и Наказаніе“,—а въ началѣ 1867 г. находитъ, во второмъ бракѣ, высоко цѣнимое имъ семейное счастье. Вслѣдъ за тѣмъ его постигаетъ новая бѣда; онъ вынужденъ оставить Россію, потому что кредиторы грозятъ ему долговой тюрьмой. Для него настаетъ четырехлѣтній, крайне тягостный періодъ скитаній за границей, окончившійся лишь во второй половинѣ 1871 года.

* * *

*) Ѳ. М. провелъ за границей, будучи уже женатъ во второй разъ, причемъ женитьба эта состоялась при условіяхъ довольно исключительныхъ. Достоевскій часто нуждался въ деньгахъ, зарабатывать которыя было очень тяжело, не смотря даже на громкое имя. Дѣло дошло однажды до того, что нѣсколько редакцій болѣе или менѣе распространенныхъ журналовъ отказали ему въ выдачѣ впередъ 300 руб. за обѣщанный романъ, хотя извѣстно было, что только крайняя нужда заставила Достоевскаго обратиться къ этимъ редакціямъ съ такою просьбой. Выручила редакція „Русскаго Вѣстника“ приславшая 500 руб., безъ которыхъ нашъ знаменитый писатель рисковалъ очутиться въ чрезвычайно непріятномъ положеніи, тѣмъ болѣе, что онъ находился тогда за границей. Въ другой разъ, именно въ 1866 г. Достоевскій вынужденъ былъ заключить съ книгопродавцемъ-издателемъ Стелловскимъ столь невыгодный договоръ, что рисковалъ попасть на всю жизнь въ своего рода кабалу, такъ какъ обязался доставить издателю къ опредѣленному сроку оригинальный романъ, въ

---

*) И. Т. Тарасовъ.

случаѣ-же неисполненія этого обязательства, къ Стелловскому переходило право на перепечатку всѣхъ прежнихъ и новыхъ сочиненій Достоевскаго. Между тѣмъ, до срока оставался всего 1 мѣсяцъ, а Достоевскій еще и не начиналъ писать романа. Тогда одинъ изъ пріятелей Ѳеодора Михайловича, г. Милюковъ, посовѣтовалъ ему взять стенографистку. Эта стенографистка, Анна Григорьевна Сниткина, записывая то, что диктовалъ ей Достоевскій, дѣйствительно помогла ему окончить къ сроку обѣщанный романъ, а чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, 15-го февраля 1867 года, она сдѣлалась супругой Ѳеодора Михайловича и умной управительницей его разстроеннаго хозяйства, вслѣдствіе чего одна изъ сферъ обыденной жизни, часто причинявшая Достоевскому много безпокойства, была упорядочена любящею женою, въ лицѣ которой Ѳеодоръ Михайловичъ нашелъ также умную цѣнительницу его таланта. Отъ этого брака Достоевскій имѣлъ 4 дѣтей, изъ которыхъ остались въ живыхъ двое.

* * *

*) Трудно повѣрить, чтобы авторъ „Преступленія и Наказанія", окончательно укрѣпившій за собою этимъ романомъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ русской литературѣ, могъ—при небольшой семьѣ и самомъ скромномъ образѣ жизни—страдать отъ бѣдности, доходить иногда, подъ ея гнетомъ, почти до отчаянія. Переписка Достоевскаго не оставляетъ въ этомъ, однако, никакого сомнѣнія. Чтобы понять причины такого страннаго факта, нужно прочесть исторію продажи Достоевскимъ права изданія его сочиненій (Біогр. стр, 291.) и познакомиться съ цифрами журнальнаго его гонорара (Біографія, стр. 303; Письма, стр. 201, 206 и др.). Не только отъ „Зари", журнала начинающагося, но и отъ „Русскаго Вѣстника" Достоевскій получилъ, въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, не болѣе 150 руб. за печатный листъ, т. е. меньше того, что уже тогда пла-

*) К. Арсеньевъ.

тили другіе журналы романистамъ менѣе крупнымъ. Повышеніемъ гонорара Достоевскій обязанъ былъ „Отечественнымъ Запискамъ", заплатившимъ ему за „Подростка" по 250 р. съ листа. За „Братьевъ Карамазовыхъ" онъ получилъ, наконецъ, и отъ „Русскаго Вѣстника" по 300 руб. съ листа. Если принять, затѣмъ, въ соображеніе, что много писать не всегда позволяло Достоевскому здоровье, что долговременное отсутствіе изъ Россіи также затрудняло его литературную дѣятельность, то бѣдственное положеніе его за границей сдѣлается вполнѣ понятнымъ.— „Ваши 125 руб.—пишетъ онъ одному изъ друзей въ сентябрѣ 1867 г.,—рѣшительно насъ спасли; теперь вздохну немного и опять за романъ".—Передъ вами я преступникъ,—говоритъ онъ годъ спустя, въ письмѣ къ тому же другу,—ваши двѣсти руб. до сихъ поръ за мной! Отдамъ; не обвиняйте меня! Если бы вы знали, сколько я вынесъ, но отдамъ!" Работа меня измучила и истощила. "Вотъ уже годъ почти, какъ я пишу по $3^1/_2$ листа каждый мѣсяцъ; это тяжело" (письмо отъ 26 октября 1868 г.).— „Если онъ (издатель „Зари") будетъ согласенъ исполнить мою просьбу о деньгахъ, то пусть вышлетъ первые 75 р. сейчасъ, нимало не медля; пусть вникнетъ и пойметъ, что для меня время и срокъ помощи чуть не важнѣе самихъ денегъ.... Двѣ-три сторублевыя вещи, у насъ бывшія, уже давнымъ-давно заложены; теперь придется продать бѣлье, пальто и, пожалуй, сюртукъ" (письмо отъ 17 сентября 1869 г.).—„Неужели онъ не могъ сообразить послѣ двухъ моихъ писемъ, что у меня ни копейки нѣтъ денегъ, *буквально* ни копейки? Если бъ онъ только зналъ, какъ я досталъ два талера, чтобъ ему телеграфировать... Развѣ я могу писать въ эту минуту? Я хожу и рву на себѣ волосы, а по ночамъ не могу заснуть! Я все думаю и бѣшусь! Я жду! О, Боже мой! ей Богу, я не могу описать всѣ подробности моей нужды: мнѣ стыдно ихъ описывать!" (письмо отъ 16 октября 1869 г.).—„Я опять въ такой нуждѣ, что хоть повѣситься" (письмо отъ 12 февраля 1870 г.).—Къ крупнымъ тяготамъ, выпавшимся въ этихъ

отчаянныхъ крикахъ, присоединялись мелкія, раздражавшія и оскорблявшія Достоевскаго. Онъ пишетъ для „Зари" — и иногда не можетъ добиться, чтобы ему высылали журналъ, хотя и готовъ платить наравнѣ съ подписчиками. Въ 1868 г., напечатавъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ" „Преступленіе и Наказаніе" и печатая въ немъ „Идіота", онъ все еще не знаетъ, дорожитъ ли этотъ журналъ его сотрудничествомъ, и сѣтуетъ на то, что редакція никогда ему не отвѣчаетъ (Письма, стр. 201). Еще замѣчательные слѣдующіе отрывки изъ письма, отъ 19-го августа 1868 г.: „Я слѣпо вѣрю, что письмо мое пропало. Вѣрю потому еще, что имѣю причины такъ думать: я слышалъ, что за мной приказано слѣдить. Петербургская полиція вскрываетъ и читаетъ всѣ мои письма... Я получилъ анонимное письмо о томъ, что меня подозрѣваютъ (чортъ знаетъ въ чемъ), велѣно вскрывать мои письма и ждать меня на границѣ, чтобы строжайше и нечаянно обыскать. Но каково же вынесть человѣку чистому, патріоту, предавшемуся имъ до измѣны своимъ прежнимъ убѣжденіямъ, обожающему государя, — каково вынести подозрѣніе въ какихъ нибудь сношеніяхъ съ какими нибудь полячишками или съ „Колоколомъ"... Руки отваливаются невольно служить имъ. Кого они не просмотрѣли у насъ изъ виновныхъ, а Достоевскаго подозрѣваютъ!". Съ возвращеніемъ Достоевскаго въ Россію и начинается послѣдняя эпоха его жизни, мало разъясняемая и матеріалами для его біографіи и перепиской. Письма, относящіяся къ этому времени, крайне бѣдны фактическими деталями, да и къ исторіи его мысли прибавляютъ немногое. Матеріальное положеніе его, по словамъ Страхова, постепенно улучшалось; послѣдняя запродажа труда относится къ 1878 г., съ тѣхъ поръ никакихъ займовъ уже не дѣлалось, и началось собираніе небольшаго капитала. Что именно было причиной выхода Достоевскаго изъ „Гражданина", въ которомъ онъ началъ свой „Дневникъ писателя" (въ 1873 г.), что заставило его прекратить отдѣльное изданіе „Дневника", пользовавшееся (въ 1876 и 1877 гг.) большимъ успѣхомъ, и возобновить его

лишь въ эпоху „новыхъ вѣяній“—объ этомъ въ біографіи не говорится ни слова. Мы узнаемъ только, что „Дневникъ писателя“ выходилъ подъ предварительной цензурой, потому что авторъ его не имѣлъ средствъ внести требуемаго отъ безцензурныхъ изданій залога. Еще въ послѣдніе дни жизни Достоевскій страшно волновался опасеніемъ, пропуститъ ли цензура нѣсколько строкъ въ томъ номерѣ „Дневника“, которому суждено было сдѣлаться посмертнымъ. Хорошее расположеніе духа возвратилось къ нему только тогда, когда его обнадежилъ начальникъ главнаго управленія по дѣламъ печати (Н. С. Абаза), сказавъ, что у цензуры не поднимется рука ни на одну его мысль. До свободы печати Достоевскому, такъ много потерпѣвшему отъ цензуры (см., напр., Біографію, стр. 271; письма, стр. 178), дожить не пришлось—но онъ видѣлъ, по крайней мѣрѣ, тотъ короткій и блѣдный ея проблескъ, который кажется свѣтомъ сравнительно съ предшествующею и послѣдующею тьмою.

*
* *

*) Въ 1880 г. Ѳ. М. участвовалъ въ Москвѣ на праздникѣ по случаю открытія памятника Пушкину. На этомъ праздникѣ онъ произнесъ рѣчь, которая вызвала единодушно восторгъ всѣхъ слушателей. Въ то-же время эта замѣчательная рѣчь была какъ-бы лебединою пѣснью Достоевскаго, такъ какъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ его не стало, а промежутокъ времени, между рѣчью и кончиною, Ѳ. М. вынужденъ былъ посвятить опроверженію тѣхъ лжетолкованій, которымъ подверглась его рѣчь...

Кончина Ѳеодора Михайловича Достоевскаго была неожиданнымъ ударомъ для семьи его, для друзей и для всей Россіи. До какой степени, въ самомъ дѣлѣ, смерть подкралась въ то время, когда ее никакъ не ожидали, хотя здоровье Ѳ. М. было вообще надломлено, можно судить по тому, что за нѣсколько дней передъ смертью Достоев-

*) И. Т. Тарасовъ.

скій участвовалъ въ репетиціи драмы „Борисъ Годуновъ“, которая должна была быть разыграна въ любительскомъ спектаклѣ въ одномъ семействѣ, а въ первыхъ числахъ января у него обѣдали родные, и на этомъ обѣдѣ самъ Θеодоръ Михайловичъ, будучи въ наилучшемъ настроеніи духа, хотя и говорилъ о своей недолговѣчности, но далекъ былъ отъ мысли, что смертный часъ ударитъ такъ скоро.

Какъ извѣстно, Достоевскій не оставилъ никакого состоянія, вслѣдствіе чего покойнымъ Государемъ назначена была пенсія его женѣ и дѣтямъ и послѣднимъ предоставлено право поступленія въ учебныя заведенія на казенный счетъ.

Оцѣнка идей, таланта, направленія и вообще характеристика литературной дѣятельности Θ. М. Достоевскаго съ точки зрѣнія разныхъ критиковъ.

Слѣдующая критическая выдержка, заимствуемая нами изъ „Историко-литературнаго очерка“ профессора Казанскаго университета Н. Булича, характеризуетъ состояніе нашей литературы того времени, въ которое выступилъ на литературное поприще Θ. М. Достоевскій.

*) „Въ тѣ годы, когда Достоевскій жилъ безъ дѣла въ Петербургѣ, переходя изъ одной „комнаты отъ жильцовъ“ въ другую и знакомясь такимъ образомъ наглядно съ печальною жизнію бѣдняковъ столицы, вся русская умственная жизнь, весь духовный прогрессъ нашъ сосредоточивался въ литературѣ. Она существовала для большинства образованныхъ людей. Наука въ серьезномъ видѣ не могла интересовать это большинство, да въ ней, за исключеніемъ нѣкоторыхъ потребныхъ для государства практическихъ свѣдѣній, никто не нуждался. Науку ничто не вызвало;

*) Н. Буличъ. „Θ. М. Достоевскій и его сочиненія“. Казань. 1881 г.

ей не было мѣста въ обществѣ, которое посылало свое молодое поколѣніе *въ науку* лишь исключительно для того, чтобъ пріобрѣтеніемъ свѣдѣній, а главное—дипломомъ начать приличнымъ образомъ служебную карьеру. Университеты, гдѣ только и могла существовать наука, стояли, по своему вліянію, особенно въ провинціи, гораздо ниже литературы. Въ ничтожномъ только меньшинствѣ юношей могли они пробудить научное стремленіе и жажду знанія. Идеальнымъ порывамъ большинства тогдашняго молодого поколѣнія всего больше отвѣчала литература съ ея расширившимся въ тѣ годы содержаніемъ. Въ ней разомъ появилось тогда нѣсколько талантливыхъ именъ. Главнѣйшимъ органомъ тогдашняго литературнаго, да можно сказать и умственнаго движенія, стали „Отечественныя Записки", съ того времени, какъ отдѣлъ критики поступилъ въ распоряженіе Бѣлинскаго. Съ нетерпѣніемъ ожидалась каждая новая книжка журнала, и тогдашній студентъ, послѣ безцвѣтныхъ, скучныхъ по своей риторикѣ или по очевиднымъ уступкамъ господствующей дѣйствительности лекцій, съ страстнымъ молодымъ трепетомъ, погружался въ чтеніе новой статьи критика, казавшейся откровеніемъ. Горячія слова наполняли душу честными стремленіями, звали къ честной дѣятельности.

Имя, выше всѣхъ стоявшее въ тогдашней литературѣ, было имя Гоголя, и Бѣлинскій былъ великимъ объяснителемъ геніальнаго писателя. Мы убѣждены, что безъ его критики глубокій, жизненный, историческій смыслъ Гоголевскихъ созданій, являвшійся для большинства лишь забавнымъ малороссійскимъ жартомъ, не скоро бы усвоился сознаніемъ общества. Горькій смѣхъ Гоголя нарушилъ продолжительное праздничное ликованье, смутилъ торжество, освѣтилъ настоящимъ, хотя и зловѣщимъ свѣтомъ, огромное историческое пространство, счастливые острова, гдѣ, казалось, жили только доблестные герои. Вмѣсто нихъ, мы разглядѣли Чичиковыхъ и Ноздревыхъ, Коробочекъ и Маниловыхъ и большую компанію другихъ лицъ, съ которыми скоро пришлось переживать тяжелыя историческія

испытанія. Чтобы ни говорила современная славянофильская школа, объясняя мысль отрицательныхъ типовъ Гоголя какимъ то психическимъ актомъ самоочищенія и искупленія, какъ говорилъ впрочемъ и самъ нравственно больной подъ конецъ жизни писатель, — его типы выросли и окрѣпли въ обществѣ; они — его характеристика и созданіе.

Но Гоголь, какъ и современный намъ великій русскій сатирикъ, не дающій заснуть и одеревенѣть мысли и чувству посреди явленій, способствующихъ тому, звалъ впередъ, указывалъ идеалы. Гоголемъ было воспитываемо въ то время гуманное и мягкое чувство въ обществѣ. Подъ вліяніемъ его произведеній люди измѣнялись; Божья искра западала въ готовую очерствѣть душу, какъ случилось это съ тѣмъ молодымъ человѣкомъ, который позволилъ было себѣ грубую шутку надъ героемъ „Шинели“. „Все перемѣнилось предъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ: какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свѣтскихъ людей. Въ проникающихъ словахъ: „оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете?“ звенѣли другія слова: „я братъ твой“! И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже, даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ“. Гоголь увлекалъ въ широкое человѣческое движеніе: „Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ, юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточенное мужество, говорилъ онъ современному молодому поколѣнію, — забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ по дорогѣ—не подымете потомъ“.

Вполнѣ было естественно, что все молодое и талантливое въ нашей литературѣ того времени, все, что смотрѣло впередъ и сознательно относилось къ своей дѣятельности, должно было примкнуть къ этому направленію. Высокая

художественность Гоголевскихъ созданій и глубокій нравственный смыслъ ихъ сдѣлали Гоголя главою школы. Литература стала въ главѣ нравственнаго развитія общества; она сдѣлалась воспитательницей его, совѣстью. Какъ бы почувствовавъ свою силу и внутреннее значеніе, она расширила кругъ своего дѣйствія, стала касаться такихъ слоевъ общества, куда не желали спускаться прежніе писатели, и тамъ искала людей. Это былъ уже значительный успѣхъ съ ея стороны. Конечно, немного сторонъ и вопросовъ дѣйствительной русской жизни, вслѣдствіе безправнаго положенія русскаго общества, было доступно литературѣ. Цензура зорко слѣдила за нею, преслѣдовала всякое ея отклоненіе и загоняла назадъ, въ привычный заколдованный кругъ, заставляя ее вертѣться въ бѣличьемъ колесѣ исключительно сердечныхъ волненій и любовныхъ приключеній. Новое направленіе не нравилось въ высшихъ сферахъ, не нравилось между старыми писателями и въ такъ называемыхъ славянофильскихъ кружкахъ, гдѣ подъ громкими фразами царило старое преданіе. Но литература дѣлала свое дѣло.

Прекрасно характеризуетъ это дѣло новой литературы и ея отношеніе къ тогдашнему обществу Бѣлинскій: „Представьте себѣ человѣка обезпеченнаго, можетъ быть, богатаго: онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поваръ у него прекрасный), усѣлся въ спокойныхъ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкою кофе, передъ пылающимъ каминомъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ,—и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея листы, и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ живутъ такъ хорошо, какъ онъ, что есть *углы*, гдѣ подъ лохмотьями дрожитъ отъ холоду цѣлое семейство, можетъ быть, недавно еще знавшее довольство,—что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нищету,—что послѣдняя копейка идетъ на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ

отчаянія. И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣстно своего комфорта. А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для своего удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку. Прочь ее!.. Представьте теперь въ такомъ же положеніи другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было; управляющій его, Никита Ѳедорычъ, что-то замѣшкался высылкою. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать: съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежитъ онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать руки его лѣниво протягиваются къ книгѣ. Опять та же исторія! Проклятая книга разсказываетъ ему подвиги его Никиты Ѳедорыча, подлаго холопа, съ дѣтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему то, незнакомому ни съ какимъ человѣческимъ чувствомъ, поручена судьба и участь всѣхъ Антоновъ... Скорѣе прочь ее скверную книгу! Представьте теперь еще въ такомъ комфортномъ состояніи человѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ подъ пятьдесятъ какъ-то очутился въ чинахъ, имѣетъ „малую толику". Всѣ читаютъ—надо и ему читать; но что находитъ онъ въ книгѣ?—свою біографію, да еще какъ вѣрно разсказанную, хотя, кромѣ его самого, темныя похожденія его жизни—тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю не откуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшенъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: „Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ до чего дошло вольнодумство! Такъ ли писали прежде? Штиль ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или о возвышенныхъ „читать сладко и обидѣться нечѣмъ!" (*Сочин. Бѣлинск.* XI, 343—345).

Мы привели эти слова Бѣлинскаго для того, чтобъ показать новое отношеніе литературы къ обществу, созданное Гоголемъ и содержаніемъ его произведеній. Новое направленіе получило тогда названіе *натуральной школы*, названіе, какъ это часто случается, не точно опредѣляю-

щее его; оно дано было, какъ кажется, Бѣлинскимъ. Толки о натуральной школѣ, сдерживаемые, разумѣется, цензурой, наполняли тогдашніе журналы, раздѣливъ представителей литературы на два противоположные и враждебные лагеря. Подъ натуральною школою надобно разумѣть болѣе живое пониманіе дѣйствительности, болѣе глубокое отношеніе къ ней, больше простора въ пониманіи окружающей жизни и совершенное отчужденіе отъ риторики, то есть отъ того лганья, которымъ преисполнена была жизнь и литература. Весь успѣхъ этой послѣдней и ея движеніе впередъ, какъ справедливо замѣтилъ Бѣлинскій, „зависятъ больше *отъ объема и количества предметовъ*, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Въ натуральной школѣ было уже это расширеніе границъ.

Надобно замѣтить, что годы 1843—1848 были, говоря относительно, довольно благопріятны для успѣховъ мысли и для развитія литературы у насъ въ теченіе всей однообразной и послѣдовательной тридцатилѣтней системы. Поводья какъ будто ослабли; мысль и сознаніе, бродившія въ обществѣ, не смотря на случайное появленіе свое, стали получать тогда болѣе опредѣленную форму и выраженіе. Цензура сдѣлалась какъ бы благодушнѣе, смотрѣла иногда сквозь пальцы. Это была передышка въ нѣкоторомъ родѣ, и очень скоро, съ 1848 года, эта цензура съ усиленною дѣятельностью принялась за хирургическую операцію вылущиванія мысли. Какъ ни много было заказано вообще путей русской литературѣ, все же, въ эти льготные годы, мы слышимъ въ ней толки о самобытности, о дѣйствительности, о болѣе широкомъ и вѣрномъ изображеніи жизни; мы видимъ появленіе двухъ литературныхъ партій, въ основѣ которыхъ была сознательная мысль и зародыши политическихъ убѣжденій. Нравственное чувство и умственные интересы пробуждаются и растутъ въ обществѣ. Главное содержаніе этого возбужденія давалось

европейскими вліяніями. Высока и крѣпка была та китайская стѣна, которая поднималась на западной нашей границѣ, но для крылатыхъ свойствъ человѣческой мысли она не была безусловнымъ препятствіемъ, а въ Европѣ въ это время, послѣ спокойныхъ годовъ, слѣдовавшихъ за паденіемъ Наполеона и только на короткое время прерванныхъ іюльскими днями, развивалось и крѣпло умственное движеніе. Мысль зрѣла, дѣлалась интенсивнѣе; она стала касаться самыхъ существенныхъ и коренныхъ сторонъ человѣческаго общества и, недовольная ходомъ исторіи, результатами продолжительной и жестокой борьбы, только что пережитой Европою, осуждала эту исторію. Содержаніе этой европейской мысли, недоступное массѣ, необходимо должно было войти въ сознаніе незначительнаго меньшинства русскаго общества, которое шло по историческому пути, проложенному Петромъ В. Это образованное меньшинство, конечно, принадлежало литературѣ. Мы видѣли, что она развивалась. Анализъ окружающихъ ее явленій былъ необходимъ. Неизбѣжнымъ явленіемъ анализирующей мысли было критическое недовольство. Счастлива та страна, гдѣ не засыпаетъ этотъ критическій процессъ мысли и, возбуждая дѣятельность сознанія, раскрывая „несовершенства и бѣдность“, работаетъ безостановочно для лучшаго будущаго. Мысль можно изуродовать, пустить ее по кривымъ путямъ, но она не заглохнетъ, не успетъ на вѣки.

На Гоголя, какъ основателя школы, на молодыхъ талантливыхъ его продолжателей въ литературѣ, какъ извѣстно, долго падали обвиненія за *отрицательное* или, какъ стали потомъ выражаться — за *обличительное направленіе*, за то, что они постоянно изображаютъ все „бѣдность да бѣдность, да несовершенства человѣческой жизни“, но въ изображеніи отрицательныхъ явленій, если въ нихъ была жизненная правда, и заключался успѣхъ литературы. Она разсталась съ ложью и фразою, если бъ даже въ нихъ и заключался „насъ возвышающій обманъ“; она стала однимъ изъ существенныхъ факторовъ духовнаго развитія страны: она дѣлала гражданскій подвигъ. За отталкивающими явле-

ніями, ею изображаемыми, носились впереди, какъ цѣль, свѣтлые идеалы; она призывала ихъ, ждала ихъ осуществленія; отрицаніе являлось сознаніемъ того, что должно быть вмѣсто того, что на самомъ дѣлѣ было. Говорить поэтому объ односторонности этого направленія, даже оскорбляться имъ, какъ это часто случалось въ полемикѣ тѣхъ годовъ — было совершенно несправедливо. „Натуральная школа" имѣла будущее.

Въ эпоху первой литературной дѣятельности Достоевскаго, то есть до 1849 года, это направленіе имѣло уже нѣсколькихъ талантливыхъ представителей. Упомянемъ прежде всего о Григоровичѣ, товарищѣ по Инженерному училищу Достоевскому. Его „Деревня", его „Антонъ Горемыка", написанные въ то время съ теплою любовію къ русскому крестьянину въ его безправномъ положеніи, и съ замѣчательнымъ талантомъ, были какъ бы откровеніемъ новой стороны русской жизни, совсѣмъ неизвѣстной прежде или представляемой чрезвычайно фальшиво. Не смотря на нѣкоторую молодую идеализацію свою, совершенно необходимую въ виду той высокой и благородной цѣли, которая присутствовала въ созданіи автора, повѣсти эти вносили въ общество міръ новыхъ и плодотворныхъ идей, затрогивали, хотя и робко, крестьянскій вопросъ, строго запрещенный для литературы. „По прочтеніи трогательной повѣсти „Антонъ Горемыка", въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя"—сказалъ о ней Бѣлинскій. Тургеневъ, этотъ величайшій послѣ Гоголя нашъ художникъ, тогда же отъ первоначальныхъ поэтическихъ попытокъ, гдѣ его мысль еще бродила между портретами и сценами русской провинціальной и помѣщичьей жизни и общими человѣческими идеалами, обратился къ тому, что онъ наблюдалъ, что хорошо знаетъ, чему горячо сочувствуетъ его сердце,—къ русской природѣ и той же печальной дѣйствительности, которую затронулъ и Григоровичъ. Рядъ великолѣпныхъ очерковъ „Записки Охотника", останется навсегда однимъ изъ драгоцѣнныхъ достояній русской литературы, гдѣ образы дѣйствительности схва-

чены глубокимъ чувствомъ поэта и тонкимъ умомъ наблюдателя. По другой дорогѣ шелъ Гончаровъ, но и его первый романъ „Обыкновенная исторія“, хотя и не касающаяся общественныхъ вопросовъ, принадлежитъ также къ натуральной, или лучше сказать, къ реальной школѣ, основателемъ которой былъ Гоголь. Лица Гончарова, обрисованныя съ холоднымъ увлеченіемъ настоящаго художника, стоятъ предъ читателемъ, какъ живыя, будятъ его мысль, но не заставляютъ задумываться о той общественной средѣ, къ которой они принадлежатъ. Къ этимъ главнымъ представителямъ „натуральной школы“, необходимо присоединить еще одного, произведенія котораго относятся къ тѣмъ же годамъ и часто появлялись тогда въ нашихъ журналахъ. Мы говоримъ объ авторѣ весьма замѣчательной повѣсти „Кто виноватъ?“, нѣкоторыхъ другихъ разсказовъ, затрогивающихъ, какъ „Сорока-воровка“, напримѣръ, въ высшей степени любопытные вопросы русскаго общественнаго сознанія, и цѣлаго ряда статей научнаго содержанія по исторіи философіи и по философіи исторіи, отличающихся глубиною смѣлой и самостоятельной мысли и изложенныхъ такимъ блестящимъ, оригинальнымъ и остроумнымъ слогомъ, какой изъ всѣхъ русскихъ писателей того времени принадлежалъ исключительно ему. О значеніи критики Бѣлинскаго, какъ для объясненія Гоголя и его школы, такъ и для указанія цѣлей и стремленій для всей русской литературы, мы уже говорили. Это былъ великій и благородный учитель для всѣхъ писателей.

Въ этихъ главныхъ представителяхъ въ то время нашей литературы заключался успѣхъ общественнаго сознанія. Они были отраженіемъ этого сознанія. Литература измѣнила радикальнымъ образомъ и содержаніе и тонъ свой. Повѣсти великосвѣтскаго содержанія, безъ которыхъ не обходилась ни одна книжка прежнихъ журналовъ, съ ходульными героями и эффектно-невозможными страстями, историческіе романы, гдѣ изображались въ совершенно ложномъ свѣтѣ и съ напыщенною риторикою, придуманныя патріархальныя добродѣтели русскаго чело-

вѣка, quasi-патріотическія драмы Кукольника и Полевого и много другихъ того же рода явленій сдѣлались теперь невозможными. Литература оставила блестящій салонъ и пошла въ бѣдную избу, въ мрачный петербургскій „уголъ"; она поднималась на „вершины" многоэтажныхъ петербургскихъ домовъ, спускалась въ сырые и затхлые подвалы, гдѣ гнѣздятся люди, обойденные судьбой, падшіе и несчастные, „униженные и оскорбленные", но все таки люди и братья. Съ участіемъ и любовью, съ глубокимъ уваженіемъ нравственнаго человѣческаго достоинства, подъ лохмотьями нищеты, литература искала человѣка и, изображая его страданія, старалась показать, на сколько это было возможно для нея въ ея несвободномъ состояніи, на чемъ и на комъ лежитъ вина часто незаслуженнаго страданія, съ кого взыскать обиду. Извѣстно, что тогдашнее общество было значительно проникнуто благотворительнымъ или филантропическимъ направленіемъ; для однихъ это было дѣломъ христіанскаго убѣжденія и чувства, для другихъ— дѣломъ подражанія и моды. „Общество посѣщенія бѣдныхъ въ Петербургѣ" основано было въ тѣ годы на очень широкихъ и разумныхъ основаніяхъ. Его любопытная исторія закончилась закрытіемъ по распоряженію высшей власти, но оно отвѣчало требованіямъ времени. Бѣлинскій говоритъ, что все это направленіе общества должно было необходимо отразиться въ литературѣ, какъ его выраженіи. Но литература, по словамъ его, сдѣлала едва ли не больше: „она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него" (*Сочин. Бѣлинск.* XI, 349—350).

Участникомъ этого крайне любопытнаго и плодотворнаго литературнаго движенія сдѣлался и Достоевскій.

Сужденія о литературныхъ заслугахъ Достоевскаго большею частью основываются на прежнихъ приговорахъ нашей критики. Первыя произведенія его были встрѣчены и оцѣнены Бѣлинскимъ; другой періодъ его дѣятельности, когда Достоевскій заговорилъ сознательно объ „унижен-

ныхъ и оскорбленныхъ", старался опредѣлить Добролюбовъ. Но при жизни писателя всякая критика его произведенія не будетъ окончательно вѣрнымъ приговоромъ: въ живой, развивающейся дѣятельности писателя такъ много силъ вообще для того, чтобъ подорвать вѣрность всякаго сужденія о немъ. Оба лучшіе критики наши смотрѣли каждый съ своей точки зрѣнія на сочиненія Достоевскаго, оба были правы въ условіяхъ своего времени. Но ни для того ни для другого критика не существовало большихъ послѣднихъ романовъ Достоевскаго, имъ былъ совершенно неизвѣстенъ писатель, какъ публицистъ, какъ судья современнаго общества и его явленій, какъ мыслитель и пророкъ, указывающій на будущее, призывающій къ опредѣленной дѣятельности, ставящій впереди идеалы и цѣли стремленій. А между тѣмъ, именно эта послѣдняя литературная дѣятельность и нуждается въ положительномъ историческомъ опредѣленіи. Пока она вызываетъ лишь разнообразныя, иногда крайне противоположныя мнѣнія и заключенія. Если въ талантѣ Достоевскаго была дѣйствительная сила, если въ его мысли, въ самомъ дѣлѣ, заключены отвѣты на тѣ мучительные вопросы, которые поднимаются въ груди современнаго общества и страстно волнуютъ насъ, то понятно, что положительное заключеніе о литературной дѣятельности его станетъ возможнымъ только въ будущемъ, когда смолкнетъ современная борьба, когда ходъ нашего общественнаго развитія и сама исторія покажутъ, на сколько были правы современные намъ поклонники и противники Достоевскаго".

* * *

Въ 1846 году, при появленіи въ печати первыхъ двухъ произведеній Достоевскаго („Бѣдныхъ людей" и „Двойника"), Бѣлинскій въ своей критикѣ на нихъ, помѣщенной въ „Очеч. Зап.", между прочимъ, опредѣляетъ талантъ Достоевскаго въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

*) „Талантъ г. Достоевскаго не сатирическій, не опи-

*) Соч. В. Бѣлинскаго, т. 10.

сательный, но въ высокой степени творческій, и преобладающій характеръ его таланта—юморъ. Онъ не поражаетъ тѣмъ знаніемъ жизни и сердца человѣческаго, которое дается опытомъ и наблюденіемъ: нѣтъ, онъ знаетъ ихъ, и при томъ глубоко знаетъ, но à priori, слѣдовательно, чисто-поэтически, творчески. Его знаніе есть талантъ, вдохновеніе. Мы не хотимъ его сравнивать ни съ кѣмъ, потому что такія сравненія вообще отзываются дѣтствомъ и ни къ чему не ведутъ, ничего не объясняютъ. Скажемъ только, что это талантъ необыкновенный и самобытный, который съ разу, еще первымъ произведеніемъ своимъ, рѣзко отдѣлялся отъ всей толпы нашихъ писателей, болѣе или менѣе обязанныхъ Гоголю направленіемъ и характеромъ, а потому и успѣхомъ своего таланта. Что же касается до его отношеній къ Гоголю, то если его, какъ писателя съ сильнымъ и самостоятельнымъ талантомъ, нельзя назвать подражателемъ Гоголя, то и нельзя не сказать, что онъ еще болѣе обязанъ Гоголю, нежели сколько Лермонтовъ обязанъ былъ Пушкину. Во многихъ частностяхъ обоихъ романовъ г. Достоевскаго („Бѣдныхъ людей" и „Двойника") видно сильно вліяніе Гоголя, даже въ оборотѣ фразы; но со всѣмъ тѣмъ, въ талантѣ г. Достоевскаго такъ много самостоятельности, что это теперь очевидное вліяніе на него Гоголя, вѣроятно, не будетъ продолжительно и скоро исчезнетъ съ другими, собственно ему принадлежащими недостатками, хотя тѣмъ не менѣе Гоголь навсегда останется, такъ сказать, его отцомъ по творчеству. Продолжая эту риторическую фигуру сравненія, прибавимъ, что тутъ нѣтъ никакого даже намека на подражательность: сынъ, живя своею собственною жизнію и мыслію, тѣмъ не менѣе все-таки обязанъ своимъ существованіемъ отцу. Какъ бы ни великолѣпно и ни роскошно развился впослѣдствіи талантъ г. Достоевскаго, Гоголь навсегда останется Коломбомъ той неизмѣрной и неистощимой области творчества, въ которой долженъ подвизаться г. Достоевскій. Пока еще трудно опредѣлить рѣшительно, въ чемъ заключается особенность, такъ сказать,

индивидуальность и личность таланта г. Достоевскаго, но что онъ имѣетъ все это, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Судя по „Бѣднымъ людямъ", мы заключили было, что глубоко-человѣчественный и патетическій элементъ, въ сліяніи съ юмористическимъ, составляетъ особенную черту въ характерѣ его таланта; но прочтя „Двойника", мы увидѣли, что подобное заключеніе было бы слишкомъ поспѣшно. Правда, только нравственно слѣпые и глухіе не могутъ не видѣть и не слышать въ „Двойникѣ" глубоко-патетическаго, глубоко-трагическаго колорита и тона; но, во-первыхъ, этотъ колоритъ и тонъ въ „Двойникѣ" спрятались, такъ сказать, за юморъ, замаскировались имъ, какъ въ „Запискахъ сумасшедшаго", Гоголя... Вообще, талантъ г. Достоевскаго, при всей его огромности, еще такъ молодъ, что не можетъ высказаться и выказаться опредѣленно. Это естественно: отъ писателя, который весь высказывается первымъ своимъ произведеніемъ, многаго ожидать нельзя. Какъ ни хорошъ „Герой нашего времени", но если бы кто подумалъ, что Лермонтовъ впослѣдствіи не могъ бы написать чего-нибудь несравненно лучшаго, тотъ этимъ показалъ бы, что онъ не слишкомъ высокаго мнѣнія о талантѣ Лермонтова. Мы сказали, что въ обоихъ романахъ г. Достоевскаго замѣтно сильное вліяніе Гоголя, и это должно относиться только къ частностямъ, къ оборотамъ фразы, но отнюдь не къ концепціи цѣлаго произведенія и характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ послѣднихъ двухъ отношеніяхъ, талантъ г. Достоевскаго блеститъ яркою самостоятельностью. Если можно подумать, что Макару Алексѣевичу Дѣвушкину, старику Покровскому и г-ну Голядкину старшему г. Достоевскаго нѣсколько сродни Поприщинъ и Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ Гоголя, то въ то же время нельзя не видѣть, что между лицами романовъ г. Достоевскаго и повѣстей Гоголя существуетъ такая же разница, какъ и между Поприщинымъ и Башмачкинымъ, хотя оба эти лица созданы однимъ и тѣмъ же авторомъ. Мы даже думаемъ, что Гоголь только *первый навелъ всѣхъ* (и въ этомъ его заслуга, которой

подобной уже никому болѣе не оказать) на эти забитыя существованія въ нашей дѣйствительности, но что г. Достоевскій самъ собою взялъ ихъ въ той же самой дѣйствительности". *)

* * *

Черезъ 15 лѣтъ послѣ приведенныхъ словъ Бѣлинскаго, именно въ 1861 году, другой знаменитый нашъ критикъ, Добролюбовъ, разбирая на страницахъ „Современника" (№ 9) произведенія Достоевскаго до романа „Униженные и Оскорбленные" включительно, между прочимъ, такъ характеризуетъ литературное направленіе его:

**) „Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ, или наконецъ даже не въ правѣ быть человѣкомъ, настоящимъ, полнымъ самостоятельнымъ человѣкомъ, самимъ по себѣ. „Каждый человѣкъ долженъ быть человѣкомъ, и относиться къ другимъ, какъ человѣкъ къ человѣку",—вотъ идеалъ, сложившійся въ душѣ автора помимо всякихъ условныхъ и партіальныхъ воззрѣній, повидимому, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то à priori, какъ что-то составляющее часть его собственной натуры. И между тѣмъ, вступая въ жизнь и оглядываясь вокругъ себя, онъ видитъ, что исканія человѣка сохранить свою личность, остаться самимъ собою, никогда не удаются, и кто изъ ищущихъ не успѣетъ рано умереть въ чахоткѣ или другой изнурительной болѣзни, тотъ въ результатѣ доходитъ только—или до ожесточенія, нелюдимства, сумасшествія, или до простого, тихаго отупѣнія, заглушенія въ себѣ человѣческой природы, до искренняго признанія себя чѣмъ-то гораздо ниже человѣка. Есть много такихъ, которые какъ будто родятся съ этимъ послѣднимъ сознаніемъ, которыхъ мысль о своемъ человѣ-

*) Впослѣдствіи Бѣлинскій, какъ читатель увидитъ дальше, нѣсколько разочаровался въ Достоевскомъ.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) *Сочин. Добролюбова. т. III. „Забитые люди".*

ческомъ значеніи какъ будто никогда съ роду не посѣщала. Это—точно существа другого міра, точно въ нихъ ничего нѣтъ общаго съ остальнымъ человѣчествомъ... Что за причина такого перерожденія, такой аномаліи въ человѣческихъ отношеніяхъ? Какъ это происходитъ? Какими существенными чертами отличаются подобныя явленія? Къ какимъ результатамъ ведутъ они? Вотъ вопросы, на которые естественнымъ и необходимымъ образомъ наводятъ читателя произведенія г. Достоевскаго. Правда, разрѣшенія всѣхъ предложенныхъ вопросовъ у него нѣтъ; но если бы онъ ихъ рѣшилъ, то, конечно, и не сталъ бы писать о нихъ повѣсти. Литературное произведеніе искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее рѣшеніе взятаго факта составляетъ еще вопросъ, разгадка котораго занимаетъ самого автора. Но у сильныхъ талантовъ самый актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланной художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою. У г. Достоевскаго не достало на это силы дарованія, его разсказанъ нужны дополненія и комментаріи. Но тѣмъ не менѣе вопросъ у него поставленъ, и никто изъ читателей не можетъ самъ избавиться отъ этого вопроса послѣ прочтенія его повѣстей. Самый тонъ каждой повѣсти мрачный, унылый, болѣзненный, — такъ и вышибаетъ изъ сердца раздражительный вопросъ. такъ и подымаетъ въ васъ какую-то нервную боль... Подобное впечатлѣніе очень не нравилось многимъ; одинъ критикъ прямо обвинялъ г. Достоевскаго именно за мрачный колоритъ его повѣстей: критику, неизвѣстно почему, казалось, что русской литературѣ нужны разсказы веселенькіе, граціозные, розовые. Желаніе его исполнилось скоро, послѣ отзыва его о г. Достоевскомъ (въ началѣ 1849 г.). *) Дѣйствительно—русская литература вдалась въ разсказы великосвѣтской жизни, изъ нравовъ древней Аркадіи, перенесенной въ Костромскую губернію, изъ

*) Очевидно, Добролюбовъ намекаетъ на Анненкова. См. „Воспоминанія и критическія замѣтки“ Анненкова. Ч. II. Примѣч. В. Зелинскаго.

сферы супружескихъ непріятностей во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, изъ круга образованныхъ молодыхъ людей, очень много и неопредѣленно разсуждавшихъ о возвышенныхъ предметахъ... Много авторитетныхъ именъ (теперь—увы!—теряющихъ свое обаяніе!) создалось въ этотъ недолгій промежутокъ, до тѣхъ поръ, пока опять не завладѣлъ общимъ вниманіемъ новый родъ литературы — обличительный. Прошелъ и этотъ родъ—еще скорѣе, чѣмъ родъ щигровскихъ гамлетовъ, пошехонскихъ пастушекъ и подмосковныхъ графинь, — и прошелъ не потому, чтобы представители его бѣдны были талантами, а потому, что съ самаго начала пошли они по ложной дорогѣ. У однихъ по необходимости, вслѣдствіе внѣшнихъ требованій, а у другихъ и наивно, просто сердечно,—міросозерцаніе явилось чрезвычайно узкимъ и одностороннимъ; въ чиновникѣ такъ и видѣли только чиновника, въ бѣдѣ, происшедшей отъ взяточничества городничаго, такъ и видѣли только слѣдствіе его взяточничества, всякого становаго воображали, какъ конечную цѣль и крайнюю исходную точку существующихъ порядковъ: „быть или не быть благоденствію Россіи“—это зависѣло оттого, будетъ или не будетъ служить становымъ честный чиновникъ Фроловъ: на этой мысли была построена у насъ цѣлая комедія, не безъ успѣха игравшаяся на Александринскомъ театрѣ. Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумалъ заглянуть въ душу этихъ чиновниковъ-злодѣевъ и взяточниковъ, да посмотрѣть на тѣ отношенія, въ какихъ проходитъ ихъ жизнь. Никто не приступилъ къ разсказу объ ихъ подвигахъ съ простою мыслью: „Бѣдный человѣкъ! Зачѣмъ же ты крадешь и грабишь? Вѣдь не родился же ты воромъ и грабителемъ, вѣдь не изъ особаго же племени вышло, въ самомъ дѣлѣ, это такъ называемое *крапивное сѣмя?*“ Только у г. Щедрина и находимъ мы по мѣстамъ подобные запросы, и за то онъ до сихъ поръ остается не только выше всѣхъ своихъ сверстниковъ по обличительной литературѣ, но и вообще *выше* многихъ изъ литераторовъ нашихъ, *увлекавшихъ* нашу публику разсказами съ претен

зіей на широкое пониманіе жизни. Но нельзя не видѣть, что и у г. Щедрина „обличеніе" перетягиваетъ. Ни въ одномъ изъ „Губернскихъ очерковъ" его не нашли мы въ такой степени живого, до боли сердечной прочувствованнаго отношенія къ бѣдному человѣчеству, какъ въ его „Запутанномъ дѣлѣ", напечатанномъ 12 лѣтъ тому назадъ. Видно, что тогда были другіе годы, другія силы, другіе идеалы. То было направленіе живое и дѣйственное, направленіе истинно-гуманическое, не сбитое и не разслабленное разными юридическими и экономическими сентенціями. Тогда къ вопросу о томъ, отчего человѣкъ злится или воруетъ, относились такъ же, какъ и къ вопросу, зачѣмъ онъ страдаетъ и всего боится; съ любовью и болью начинали приниматься за патологическое изслѣдованіе подобныхъ вопросовъ; и если бы продолжалось это направленіе, оно, безъ сомнѣнія, было бы плодотворнѣе всѣхъ за нимъ послѣдовавшихъ. Нынѣ у насъ рѣшенія просты: если люди воруютъ, значитъ—полиція плохо дѣлаетъ свое дѣло; если взятки берутся, значитъ—начальникъ колпакъ... и т. п. А тогда выходило иной разъ: воруетъ человѣкъ оттого, что работы не нашелъ себѣ и съ голоду умиралъ; взятки беретъ, чтобы пятнадцать душъ семейства прокормить... Результаты очень не похожіе въ нравственномъ отношеніи: одинъ будитъ въ васъ человѣческое чувство и мужественную мысль, другой ведетъ васъ въ полицію и заставляетъ замирать на юридической формѣ.

Г. Достоевскій въ первомъ же своемъ произведеніи явился замѣчательнымъ дѣятелемъ того направленія, которое назвалъ я по преимуществу гуманическимъ. Въ „Бѣдныхъ людяхъ", написанныхъ подъ свѣжимъ вліяніемъ лучшихъ сторонъ Гоголя и наиболѣе жизненныхъ идей Бѣлинскаго, г. Достоевскій со всею энергіей и свѣжестью молодого таланта принялся за анализъ поразившихъ его аномалій нашей бѣдной дѣйствительности и въ этомъ анализѣ умѣлъ выразить свой высоко-гуманный идеалъ. Идеалъ этотъ не принадлежалъ ему исключительно и не имъ внесенъ въ русскую литературу. Въ видѣ сентенцій о томъ, какъ

[stamp]

„самый презрѣнный и даже преступный человѣкъ есть тѣмъ не менѣе братъ нашъ“ и т. п., гуманическій идеалъ проявлялся еще въ нашей литературѣ конца прошлаго столѣтія, вслѣдствіе распространенія у насъ въ то время идей и сочиненій Руссо. Но эти привозныя сентенціи плохо тогда ладили съ русскою жизнію, и мало было людей, которые бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться. Державинъ все воспѣвалъ людей вообще и величіе нѣкоторыхъ сановниковъ въ особенности; о правахъ же человѣческихъ думалъ такъ мало, что умиленно восторгался тѣмъ, какъ ему—

И знать и мыслить позволяютъ.

Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видѣть, до какой степени сознаніе общихъ человѣческихъ правъ и интересовъ было ему чуждо, довольно перелистовать его „Письма русскаго путешественника“, особенно изъ Франціи. У Пушкина проявляется кое-гдѣ уваженіе къ человѣческой природѣ, къ человѣку, какъ человѣку, но и то большею частію въ эпикурейскомъ смыслѣ. Вообще же онъ былъ слишкомъ мало серьезенъ, или, говоря словами эстетиковъ, слишкомъ гармониченъ въ своей натурѣ, для того чтобы заниматься какими-нибудь аномаліями жизни. Онъ во всемъ видѣлъ только прекрасное и рисовалъ только поэтическія стороны: прелесть роскошнаго пира, стройность колоннъ, идущихъ на битву, грандіозность падающей лавины, „благоуханіе словеснаго елея“, пролившагося на него съ какой-то „высоты духовной“, и проч. и пр. Только Гоголь, да и то не вдругъ, вноситъ въ нашу литературу гуманическіе элементы: въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ выразился онъ уже ясно, но, какъ видно, важность его не вполнѣ оцѣнилъ тогда самъ Гоголь. По крайней мѣрѣ, „Ревизоръ“ обработанъ въ этомъ отношеніи довольно слабо, что и подало поводъ нѣкоторымъ называть всю комедію фарсомъ и всѣ лица—каррикатурами. Но чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе выказывалась у Гоголя гуманическая сторона его таланта, и даже вопреки своей волѣ, въ ожиданіи *свѣтлыхъ* и чистыхъ идеаловъ, онъ все пло-

бражалъ своимъ могучимъ словомъ „бѣдность да бѣдность, да несовершенства нашей жизни“. По этому-то пути направился и г. Достоевскій.

Въ разныхъ видахъ и случаяхъ представилъ намъ г. Достоевскій недостатокъ уваженія къ человѣку другихъ людей. Кажется бы, дѣло простое — думается, когда читаешь эти повѣсти: — человѣкъ родился, значитъ, имѣетъ право на существованіе; это естественное право должно имѣть и естественныя условія для своего поддержанія, т. е. средства къ жизни. А такъ какъ эта потребность средствъ есть потребность общая, то и удовлетвореніе ея должно быть одинаково общее, для всѣхъ, безъ подраздѣленій, что вотъ, дескать, такіе-то имѣютъ право, а такіе-то нѣтъ. Отрицать чье-нибудь право въ этомъ случаѣ, значитъ отрицать право на жизнь. А если такъ, то въ предѣлахъ естественныхъ условій, рѣшительно всякій человѣкъ долженъ быть полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ и, вступая въ сложныя комбинаціи общественныхъ отношеній, вносить туда вполнѣ свою личность, и, принимаясь за соотвѣтственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тѣмъ не менѣе—никакъ не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямыя человѣческія права и требованія. Кажется, ясно. А между тѣмъ — отчего же этотъ Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ „прячется, скрывается, трепещетъ“, безпрерывно стыдится за свою жизнь, „да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову“, и единственное утѣшеніе находитъ въ томъ, что онъ человѣкъ маленькій, человѣкъ ничтожный?“ Отчего Горшковъ этотъ—„жалкій, хилой такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой? „Отчего это отецъ Покровскаго имѣетъ такой видъ, что „онъ чего-то какъ будто стыдится, что ему какъ будто самого себя совѣстно“, и въ разговорахъ съ сыномъ—„приподымается немного со стула, отвѣчаетъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ“? А отчего г. Голядкинъ въ *мучительныхъ* и безплодныхъ попыткахъ „быть въ своемъ

правѣ“ и „идти своей дорогой“ — съеживается до послѣднихъ уступокъ своего настоящаго права и, наконецъ, не выдержавъ въ слабой головѣ своей идеи, что подъ его право всѣ подкапываются, мѣшается въ разсудкѣ? Отчего также г. Прохарчинъ двадцать лѣтъ скряжничаетъ и бѣдствуетъ, все отъ мысли о необезпеченности, и наконецъ отъ этой мысли захварываетъ и умираетъ? Отчего этотъ молодой чиновникъ Шумковъ считаетъ себя извергомъ человѣчества и мѣшается на томъ, что его отдадутъ въ солдаты за то, что онъ, увлекшись нѣжностями съ невѣстою, не успѣлъ переписать къ сроку порученной отъ его превосходительства бумаги, которая къ тому-же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Неточка такъ уничтожается передъ Катей? Отчего Росталевъ отрекается отъ своей воли передъ Ѳомою Ѳомичемъ, и считаетъ себя рѣшительно недостойнымъ любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любитъ? Отчего Наташа теряетъ свою волю и разсудокъ и Иванъ Петровичъ почтительно сторонится передъ вертопрахомъ Алешею? Отчего старикъ Ихменевъ, перенося всевозможныя мученія отцовской любви, не хочетъ простить свою дочь, чтобъ не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли такъ дико принимаетъ одолженія Ивана Петровича и идетъ собирать милостыню, чтобы на собранныя деньги купить ему разбитую ею чашку? Гдѣ причина всѣхъ этихъ дикихъ, поразительно странныхъ людскихъ отношеній? Въ чемъ корень этого непонятнаго разлада между тѣмъ, что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тѣмъ, что оказывается на дѣлѣ?

Мы уже сказали, что прямого отвѣта на такіе вопросы не дастъ ни одно лицо, ни одна повѣсть Достоевскаго въ отдѣльности. Чтобы найти отвѣтъ, мы должны группировать ихъ и пояснять одни другими.“

* * *

Послѣ критическихъ отзывовъ Бѣлинскаго и Добролюбова, сравнительно *отдаленныхъ* отъ насъ по времени, перей-

демъ прямо къ тѣмъ, которые явились въ печати послѣ смерти Достоевскаго. Прежде другихъ, приведемъ выдержки изъ двухъ критическихъ обозрѣній, представляющихъ отголоски двухъ значительныхъ литературныхъ партій, характеризующихъ себя направленіемъ двухъ распространенныхъ журналовъ, выражающихъ ихъ тенденціи и міровоззрѣніе: „Вѣстника Европы" и прекратившихся „Отечественныхъ Записокъ". „Будучи далеки отъ мысли предполагать пристрастіе въ оцѣнкѣ ими литературныхъ заслугъ Достоевскаго, мы тѣмъ не менѣе сознаемъ, что люди этихъ двухъ партій, по своимъ воззрѣніямъ, въ очень многомъ расходились въ сферѣ идей и стремленій съ Достоевскимъ, въ особенности въ послѣдніе годы его жизни, а потому и не могли вполнѣ симпатизировать его литературной дѣятельности. Вотъ взглядъ на литературную дѣятельность Достоевскаго „Вѣстника Европы":

*) Передъ нами остается вопросъ, требующій опредѣленія,—вопросъ о значеніи литературной дѣятельности Достоевскаго, въ нѣкоторыхъ его пунктахъ рѣшаемый теперь двумя, прямо противоположными способами. Это — предметъ, довольно сложный и самъ по себѣ, по содержанію произведеній Достоевскаго, и по тому успѣху, какой имѣли въ послѣднее время его сочиненія не только беллетристическія, но и публицистическія. Талантъ Достоевскаго былъ, безъ сомнѣнія, однимъ изъ самыхъ сильныхъ въ нашей новѣйшей литературѣ; но это былъ талантъ, отчасти безсознательный (или, другими словами, превышающій ту теорію, которую подкладывалъ ему авторъ), какъ у Гоголя, отчасти крайне неровный. Когда этотъ талантъ впервые проявился въ „Бѣдныхъ Людяхъ", онъ поразилъ не только читателей обыкновенныхъ, но и такихъ требовательныхъ и умныхъ судей, какъ былъ Некрасовъ, и еще гораздо болѣе— Бѣлинскій. Повѣсть дѣйствовала на нервы. Когда первое впечатлѣніе улеглось, Бѣлинскій, восторгавшійся повѣстью, открылъ въ ней немалые художественные недостатки. По-

---

*) „Вѣстникъ Европы" 1881 г., № 3. Литературное обозрѣніе. (А. В.).

слѣдующіе разсказы, написанные Достоевскимъ до ареста и еще читанные Бѣлинскимъ, привели послѣдняго въ совершенное недоумѣніе (см. Соч. XI, стр. 53—57, 423—425). Бѣлинскій видѣлъ и здѣсь, въ этихъ вторыхъ повѣстяхъ (именно въ „Двойникѣ") „огромную силу творчества", глубину и смѣлость въ изображеніи характеровъ, „много ума, истины и художественнаго мастерства", —но рядомъ „страшное неумѣнье распоряжаться избыткомъ собственныхъ силъ, опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной идеи". Иначе говоря, писатель уже не повиновался здѣсь простымъ внушеніямъ дарованія и неподдѣльнаго чувства, но уже придумывалъ и искусственно подстраивалъ. Недостатки новыхъ разсказовъ Достоевскаго казались Бѣлинскому „чудовищными"; въ одной изъ повѣстей онъ видѣлъ попытку автора „помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши немного юмору въ новѣйшемъ родѣ и сильно натеревши все это лакомъ русской народности"; онъ не находилъ въ повѣсти „ни одного живого и простого слова", напротивъ, „все изыскано, натянуто, на ходуляхъ, поддѣльно и фальшиво". Не выписывая больше, довольно сказать, что разочарованіе Бѣлинскаго было крайнее. Довольно прочесть эти вторыя повѣсти, чтобы провѣрить выводы Бѣлинскаго и увидѣть справедливость его сужденій. Бѣлинскій вѣрно указывалъ и источникъ этихъ недостатковъ — неумѣнье громаднаго таланта справиться съ силами и найти художественную мѣру; онъ нехотя, осторожно указываетъ и другую причину—„упиичанье, претензію", т.-е. именно вмѣшательство теоретическаго придумыванія. Въ самомъ дѣлѣ, Достоевскій съ одной стороны увлекся обиліемъ фантазіи, не умѣлъ поставить художественныхъ границъ ея разливу; съ другой—онъ уже и не хотѣлъ, не считалъ нужнымъ ставить этихъ границъ. Первый успѣхъ, какой дѣйствительно рѣдко доставался только-что начинавшему писателю, преисполнилъ его крайней самоувѣренностью. Талантъ часто выручалъ его въ трудныхъ задачахъ, которыя онъ себѣ ставилъ, но самоувѣренность часто также самымъ существен-

нымъ образомъ вредила его произведеніямъ. Отсюда его вычурныя темы, выбираемыя, вѣроятно, не безъ расчета на эффектъ, въ которомъ онъ уже въ ту первую пору высказывалъ особенное пристрастіе; отсюда неровность развитія и изложенія этихъ темъ. Бѣлинскій такъ вѣрно понялъ большую силу и крупные недостатки въ дарованіи Достоевскаго, что его сужденія оправдываются на цѣломъ длинномъ рядѣ позднѣйшихъ произведеній Достоевскаго. Въ однихъ меньше, въ другихъ больше, но та же неровность, тѣ же преувеличенія фантастики или смѣшеніе Марлинскаго съ Гофманомъ, та же намѣренная игра на нервахъ читателя (напр., хоть извѣстное „рѣзаніе пальчиковъ“),—фальшивость, которую замѣчали даже самые благорасположенные изъ нынѣшнихъ критиковъ. Для Добролюбова (въ разборѣ романа „Униженные и Оскорбленные“) художественные недостатки Достоевскаго были предметомъ, который онъ даже не бралъ на себя труда подробно доказывать. Мы указываемъ сужденія двухъ художественныхъ критиковъ — замѣчательнѣйшихъ, какихъ имѣла наша литература,—потому что ни того ни другого нельзя укорить въ пристрастіи. Для Бѣлинскаго Достоевскій по первой повѣсти былъ одна изъ лучшихъ надеждъ русской литературы; Добролюбовъ въ романѣ Достоевскаго, какъ въ комедіяхъ Островскаго, нашелъ то общественное содержаніе, которое онъ такъ страстно искалъ въ нашей литературѣ, какъ матеріала для изслѣдованія русскаго общества и какъ средства—дѣйствовать на его сознаніе. Эти сужденія нужно вспомнить, чтобы избѣжать тѣхъ странныхъ преувеличеній, съ которыми такъ часто говорилось въ послѣдніе годы о значеніи таланта Достоевскаго и его „художественной“ силѣ. Съ ошибкой въ художественной оцѣнкѣ легко соединялась и ошибка въ оцѣнкѣ самого содержанія писателя*)... Въ новомъ періодѣ своей дѣятельности Достоевскій не ограни-

*) Самъ Достоевскій опровергалъ своихъ поклонниковъ, разсказывая — на чей-то упрекъ, что его произведенія отзываются тяжелой работой,—что, напротивъ, онъ писалъ иногда самымъ спѣшнымъ образомъ, какъ пишутся журнальныя статьи, когда типографія требуетъ „оригинала“.

чился романомъ и повѣстью. Его тянуло къ публицистикѣ; онъ имѣлъ въ этомъ отношеніи вліятельную роль въ журналѣ „Время-Эпоха“, потомъ принялъ участіе въ „Гражданинѣ“ кн. Мещерскаго, наконецъ, издавалъ „Дневникъ Писателя“. Публицистическія темы вступали болѣе или менѣе открыто въ его беллетристическія произведенія. Оставляя въ сторонѣ споръ о томъ, имѣетъ или не имѣетъ право такъ-называемая „тенденція“ въ художественномъ произведеніи, довольно замѣтить, что множество высочайшихъ произведеній всемірной художественной литературы бывали окрашены тенденціей, но что не всякая тенденція можетъ остаться безвредной для достоинства произведеній. Писатель можетъ одушевляться и дѣйствительными интересами человѣческаго развитія, совершенствованіемъ личности, стремленіемъ къ общественной свободѣ, но можетъ также подчинить свой талантъ тѣсному взгляду партіи, фанатически-исключительной теоріи. Чтобы остаться на высотѣ нравственной задачи искусства, писатель, который вмѣшивается въ сложныя, спорныя, въ концѣ-концовъ, трагическія отношенія общественнаго быта, обязанъ прежде всего глубокимъ изученіемъ этого быта и его условій, безпристрастнымъ отношеніемъ къ различнымъ сторонамъ его и смѣлостію— быть правдивымъ. Касаясь этого рода сложныхъ отношеній, писатель неизбѣжно вступаетъ въ область публицистики,— не прямо (въ этомъ можетъ не быть надобности), но косвенно, выборомъ картинъ, освѣщеніемъ характеровъ, изображеніемъ условій, въ которыхъ они движутся и развиваются. Онъ можетъ или остаться на той художественной высотѣ, о какой мы говорили, или явиться просто человѣкомъ исключительнаго кружка или партіи. Благо ему,— и обществу, которому онъ служитъ,—если въ его произведеніяхъ господствуетъ это возвышенное настроеніе любви и справедливости, поддерживаемое и талантомъ и знаніемъ жизни. И такъ, старые и новые критики признали въ Достоевскомъ великую силу въ изображеніи тѣхъ сторонъ жизни, которыя кончались страданіемъ и оскорбленіемъ человѣческой природы, умѣнье раскрыть достоинство человѣк

въ самомъ заброшенномъ людьми существѣ, войти въ его особый и трудно доступный міръ, найти сочувствіе къ забытой человѣческой природѣ. Впослѣдствіи, глубокій психологическій анализъ былъ всѣми признанъ, какъ господствующая у насъ, почти безпримѣрная особенность таланта Достоевскаго,—хотя этотъ анализъ далеко неровенъ... Но личная судьба описываемыхъ героевъ совершается въ общественной обстановкѣ,—какъ понималъ Достоевскій послѣднюю? Бѣлинскій не останавливался на этомъ предметѣ, вѣроятно, полагая, что Достоевскій понималъ предметъ совершенно такъ же, какъ онъ самъ (что, судя по свѣдѣніямъ о дѣлѣ Петрашевскаго, такъ и было). Добролюбовъ поставилъ этотъ вопросъ прямо, и, указавъ (въ приведенныхъ выше словахъ), на какія мысли объ аномаліяхъ человѣческихъ отношеній наводятъ произведенія Достоевскаго, и какіе вопросы естественно и необходимо возникаютъ у читателя, продолжаетъ: „Правда, разрѣшенія всѣхъ предложенныхъ вопросовъ у Достоевскаго нѣтъ; но если бы онъ ихъ рѣшилъ, то, конечно, и не сталъ бы писать о нихъ повѣсти. Литературное произведеніе искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее рѣшеніе взятаго факта составляетъ еще вопросъ, разгадка котораго занимаетъ самого автора. Но у сильныхъ талантовъ самый актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланныхъ художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою. У г. Достоевскаго не достало на это силы дарованія, его разсказамъ нужны дополненія и комментаріи. Но тѣмъ не менѣе, вопросъ у него поставленъ, и никто изъ читателей не можетъ самъ избавиться отъ этого вопроса послѣ прочтенія его повѣстей. Самый тонъ каждой повѣсти, мрачный, унылый, болѣзненный,—такъ и вышибаетъ изъ сердца раздражительный вопросъ, такъ и подымаетъ на васъ какую-то нервную боль". Такимъ образомъ, Добролюбовъ и не требовалъ отъ Достоевскаго рѣшенія; для искренняго произведенія, оно и могло оставаться вопросомъ, но у Достоевскаго не доставало, но

мнѣнію Добролюбова, той силы творчества, при которой жизненная правда явленій сама выступала бы изъ фактовъ и отношеній, изображаемыхъ художникомъ. Его произведеніямъ нуженъ былъ комментарій. Это было совершенно справедливо, и для позднѣйшихъ произведеній Достоевскаго комментарій еще нужнѣе. Тамъ въ постановкѣ фактовъ и отношеній былъ уже не одинъ недостатокъ ясности, но и слишкомъ большое вмѣшательство тѣхъ крупныхъ недостатковъ, которые были замѣчены на первыхъ же порахъ Бѣлинскимъ. Въ чемъ же состояла общественная точка зрѣнія писателя, съ какимъ образомъ мыслей приступалъ онъ къ своей работѣ? — Художникъ, даже обладающій той силой творчества, о какой говоритъ Добролюбовъ, не есть отвлеченное существо; онъ самъ живетъ въ средѣ своего общества, подчиняется вліяніямъ его внутреннихъ процессовъ. Въ ходѣ литературы, въ развитіи ея идей и направленій, идетъ логическій процессъ и тянется историческая связь, и въ этомъ смыслѣ Добролюбовъ относилъ Достоевскаго къ писателямъ того направленія, уже ранѣе сказавшагося въ нашей литературѣ, которое онъ назвалъ гуманическимъ. Въ „Бѣдныхъ Людяхъ", по его словамъ, Достоевскій былъ „подъ свѣжимъ вліяніемъ лучшихъ сторонъ Гоголя и наиболѣе жизненныхъ идей Бѣлинскаго" (соч. Добр. III, 553), — и, повидимому, также подъ вліяніемъ кружка Петрашевскаго. Но эти первыя вліянія, и особливо „наиболѣе жизненныя идеи Бѣлинскаго", скоро стали терять свою силу. „Униженные и Оскорбленные" были послѣднимъ отголоскомъ этихъ идей. „Записки изъ Мертваго Дома", сильно подѣйствовавшія потрясающимъ характеромъ самой изображенной жизни, внушены были непосредственнымъ чувствомъ, личнымъ опытомъ и наблюденіемъ, которымъ не нужна была бы никакая особая тенденція и теорія, чтобы произведеніе могло оказать свое сильное дѣйствіе. Но позднѣе, въ теоретическихъ понятіяхъ Достоевскаго совершился или ясно обнаружился поворотъ, который можно сравнить съ тѣмъ, какой совершился въ понятіяхъ Гоголя. Будущей литературной біографіи Достоевскаго предстоитъ задача

выяснить переходы его мнѣній, отразившіеся и на его поэтической дѣятельности. Мы упоминали, что времени ссылки онъ самъ приписывалъ отрезвляющее и благотворное вліяніе. „Отрезвленіе" могло состоять только въ отверженіи прежнихъ понятій. Какъ далеко оно простиралось? Что изъ старыхъ понятій было брошено; все ли въ нихъ было таково, чтобы надо было бросать ихъ, и не было-ли брошено что-нибудь и такое, что очень слѣдовало сохранить? Старыя понятія Достоевскаго въ литературѣ обозначались идеями Бѣлинскаго и его круга: для нихъ уже настаетъ исторія, и она не считаетъ ихъ лишенными благотворнѣйшаго содержанія, не считаетъ тѣмъ, что обществу нужно было бы отвергать для своего успѣха и благополучія... Какъ бы то ни было, старый складъ мнѣній испарился и смѣнился новымъ: Достоевскій сталъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ „Времени" и „Эпохи", памятныхъ извѣстными гуманными теоріями „почвы", полу-славянофильской философіей Аполлона Григорьева, и уже тогда заявленной вражды къ „либерализму". Затѣмъ, послѣ „Преступленія и Наказанія" нѣсколько лѣтъ,—принадлежавшихъ къ самымъ тяжелымъ, какія переживала наша литература,—Достоевскій провелъ за границей, не принимая участія въ публицистикѣ; и когда обратился къ ней вновь, поприщемъ его дѣятельности сталъ слишкомъ извѣстный „Гражданинъ" князя Мещерскаго, гдѣ была выставлена и проводима открыто реакціонная программа,—программа, какъ полагаемъ, самая враждебная драгоцѣннѣйшимъ интересамъ и настоятельнымъ нуждамъ русскаго народа—и дѣйствительно въ свое время возбуждавшая отвращеніе даже и не въ особенно „либеральныхъ" кружкахъ печати... Съ 1876 года началось отдѣльное изданіе „Дневника Писателя". Мы не будемъ останавливаться на теоріяхъ Достоевскаго, которыя, съ теченіемъ времени, стали принимать все болѣе самоувѣренное выраженіе и рѣдкій колоритъ, если не большую опредѣленность... Противникамъ точка зрѣнія Достоевскаго казалась мистическою; послѣдователи его очень негодовали на такое опредѣленіе,— но какъ можно иначе назвать те-

орію, гдѣ главнымъ основаніемъ было чувство, а доказательствомъ — предвѣщаніе? Теорія излагалась лирическими порывами—до конца оставалось неясно, въ чемъ, наконецъ, по идеямъ Достоевскаго, былъ-бы исходъ изъ современнаго общественнаго положенія, которое и ему казалось бѣдственнымъ и по поводу котораго онъ расточалъ столько нападеній на „либерализмъ“—нападеній, давно знакомыхъ нашей жизни и литературѣ и участникомъ въ которыхъ странно было видѣть крупнаго писателя. Повидимому, исходъ онъ находилъ въ томъ, въ чемъ дѣйствительно либеральная часть общества, ревнивая къ успѣхамъ нашего развитія, видѣла давно знакомые элементы историческаго застоя. На словахъ Достоевскій высказывалъ иногда этотъ исходъ — даже въ болѣе грандіозныхъ формахъ, чѣмъ какія казались возможными для самихъ „либераловъ“ (напр., въ церковныхъ неустройствахъ—вселенскій соборъ, въ гражданскихъ—нѣчто подобное); но въ печати не выяснилъ этого предмета,— а предметъ такъ мудренъ и сложенъ, что безъ очень многосторонняго опредѣленія и высказываемый одними мистическими фразами остается кимваломъ бряцающимъ, т. е. суесловіемъ. Дѣятельность Достоевскаго, такимъ образомъ, носила двойственный характеръ, на подобіе того, какъ дѣятельность Гоголя. Онъ не довольствовался быть художникомъ и слѣдовать однимъ внушеніямъ своего дарованія: онъ хотѣлъ быть прямо учителемъ и руководителемъ общества,—на что едва-ли доказалъ свое право“.

* * *

*) Добролюбовъ слишкомъ низко цѣнилъ талантъ Достоевскаго и слишкомъ высоко—„здравость“ его направленія. Онъ именно видѣлъ въ немъ „слабое, но здраво направленное художественное чутье“. Для своего времени этотъ приговоръ былъ вѣренъ или почти вѣренъ. Но Достоевскій продолжалъ писать и писать. При этомъ общая манера его писанія осталась та же самая: та же безпричинная неров-

*) „Отеч. Записки“ 1882 г., „Записки Современника“. Н. П. (Михайловскій.) Также соч. Михайловскаго, т. 6.

ность изложенія; тѣ же нехудожественныя длинноты и урѣзки; та же невѣроподобность дѣйствующихъ лицъ, которыя всѣ, даже самыя глупыя, необыкновенно проницательны, всѣ говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ и притомъ языкомъ автора и проч. Но Достоевскій писалъ въ этомъ родѣ такъ долго и упорно, что наконецъ заставилъ всѣхъ съ нимъ помириться. Всякій, принимаясь за новое произведеніе Достоевскаго, зналъ, что найдетъ тамъ много не додѣланнаго, передѣланнаго и невѣроподобнаго, и заранѣе принималъ это почти какъ должное. Но, оставаясь въ отношеніи, такъ сказать, благоустройства романа самымъ слабымъ изъ нашихъ крупныхъ художниковъ, Достоевскій со временъ Добролюбова значительно выросъ, какъ изобразитель внутренней, душевной драмы. „Преступленіе и Наказаніе"—(высшій моментъ развитія творческой силы Достоевскаго), по сложности мотивовъ и тонкости ихъ разработки, неизмѣримо выше всего, что имѣлъ подъ руками Добролюбовъ. Да и въ послѣдующихъ, гораздо уже болѣе слабыхъ вещахъ: въ „Идіотѣ", „Бѣсахъ", „Братьяхъ Карамазовыхъ", есть страницы такого огромнаго достоинства, что о „слабости художественнаго чутья" тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Даже одной „Кроткой" достаточно, чтобы видѣть, что художественное чутье этого человѣка было, напротивъ, очень сильно, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно неровно и условно: оно покидало его сплошь и рядомъ на десятки, на цѣлыя сотни страницъ, чтобы потомъ вдругъ блеснуть драгоцѣннымъ перломъ и опять исчезнуть. Но Достоевскій никогда не былъ, что называется, „чистымъ" художникомъ; меньше, чѣмъ кого-нибудь, можно его судить судомъ эстетическимъ, это значило бы *оставить его* со всѣмъ безъ оцѣнки. Мыслитель и публицистъ всегда рѣзко высовывались въ немъ изъ-за художника; а въ послѣдніе годы онъ и формально вступилъ на почву публицистики. И здѣсь опять приговоръ Добролюбова, почти вѣрный для своего времени, требуетъ теперь очень существенныхъ поправокъ и дополненій. . Съ теченіемъ *времени боль* объ униженномъ стала осложняться чувствомъ

совершенно противоположнымъ, какимъ-то жестокимъ чувствомъ почти радости, что человѣкъ униженъ; а тщательное изысканіе лежащаго на днѣ души чувства собственнаго достоинства и протеста замѣнилось проповѣдью смиренія и вольнаго или невольнаго (каторжнаго) страданія. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на перемѣну, какъ на поворотъ къ лучшему или худшему, но самый фактъ несомнѣненъ. Прежде Достоевскій съ особенною чуткостью ловилъ въ душѣ униженнаго и оскорбленнаго тотъ мотивъ, что и я, дескать, не хуже другихъ! И если этотъ мотивъ, благодаря запуганности и загнанности униженнаго, прорывался нескладно, комически безобразно, то авторъ съ очевидною болью въ сердцѣ отмѣчалъ этотъ желанный, но неумѣлый взрывъ. Впослѣдствіи, напротивъ, онъ сталъ даже съ гораздо большею жадностію искать въ человѣческой душѣ сознанія грѣховности, сознанія своего ничтожества и мерзости и соотвѣтственной жажды искупленія грѣха страданіемъ. Сообразно этому, измѣнилось въ Достоевскомъ и многое другое. Позвольте, для наглядности, такое сравненіе. Въ первую половину своей дѣятельности Достоевскій производилъ, такъ сказать, душевныя раскопки, какъ ученые производятъ раскопки археологическія. Во второй половинѣ онъ сталъ настоящимъ кладоискателемъ. Онъ именно искалъ душевнаго клада, со всею мистически затѣйливою, не нужною и даже вредною для дѣла, но традиціонно обязательною обстановкою этого занятія: онъ пробирался къ намѣченному мѣсту въ глубокую полночь, напряженно ждалъ, когда зацвѣтетъ на одно мгновеніе чудесный папоротникъ, и съ трепетомъ бормоталъ таинственныя „слова“, снимающія положенное на кладъ „заклятіе“ и отгоняющія демоновъ, которые охраняютъ кладъ. Онъ уже не просто искалъ, какъ всѣ люди ищутъ, а почти священнодѣйствовалъ, подзадоривая, „взвинчивая“ себя самымъ процессомъ священнодѣйствія и его фантастической обстановки. Разумѣется, эта перемѣна не вдругъ совершилась. Задатки ея, повторяю, можно найти и въ первой половинѣ дѣятельности Достоевскаго. Поворотъ происходилъ *съ извѣстною* постепенностью, выдвигая впередъ

то, что было первоначально едва замѣтно, и отодвигая назадъ то, что прежде ярче всего било въ глаза. И вотъ какъ, мнѣ кажется, этотъ поворотъ въ общихъ чертахъ происходилъ. Если есть униженные и оскорбленные, то, значитъ, есть унижающіе и оскорбляющіе. А если есть боль за униженныхъ и оскорбленныхъ, то какъ слѣдуетъ относиться къ унижающимъ и оскорбляющимъ? На этотъ вопросъ разные люди отвѣчаютъ разно, т. е. или прямо словами отвѣчаютъ, или своею дѣятельностью, даже, можетъ быть, не задавая себѣ точно формулированнаго вопроса. Можно, во имя возмездія, потребовать для унижающихъ кары, такого же униженія и оскорбленія, какое они сами раздаютъ направо и налѣво. Можно обратиться къ нимъ съ проповѣдью добра и правды, развернувъ передъ ними яркую картину причиняемаго ими страданія, пригрозивъ имъ муками ада или укорами совѣсти. Можно, наконецъ, подняться на очень, повидимому, высокую точку любви и всепрощенія и сказать: эти люди творятъ неправду. но они не вѣдаютъ, что творятъ, отпусти имъ, Боже! Какъ ни разнородны эти три рѣшенія, но всѣ они имѣютъ одну общую черту: всѣ они рѣшаютъ вопросъ въ предѣлахъ одинокой (хотя и многократно повторяющейся) личности. Возможность новыхъ и новыхъ униженій и оскорбленій, униженій и оскорбленій безъ конца—ни мало ими не колеблется даже въ идеѣ, потому что вся операція подобна рубкѣ лѣса, а не уничтоженію корней, вся она состоитъ въ индивидуально-психологическомъ рѣшеніи задачи. Но можно перенести вопросъ и на общественную почву, которая нисколько не препятствуетъ удовлетворенію личныхъ позывовъ къ возмездію и совершенствованію другихъ и себя. Широкая общественная реформа можетъ (по крайней мѣрѣ, въ идеѣ) вырвать самые корни униженія и оскорбленія, а затѣмъ съ выжившими отпрысками поступайте, пожалуй, какъ хотите: если въ васъ непреоборимо говоритъ чувство возмездія—карайте; если вы разсчитываете разбудить въ нихъ совѣсть — будите; если вы склонны къ всепрощающей *любви—прощайте.* Поступая такъ или иначе, вы удовле-

творяете законнымъ требованіямъ своего темперамента и своихъ взглядовъ на личную нравственность. И это прекрасно, коль скоро работа эта происходитъ не въ безвоздушномъ пространствѣ, коль скоро рядомъ съ ней идетъ движеніе общественной реформы. Но этого-то послѣдняго Достоевскій никогда не признавалъ и, кажется, даже просто органически не могъ понимать. Чтобы видѣть, до какого предѣла онъ въ этомъ отрицаніи или непониманіи, наконецъ, дошелъ, достаточно вспомнить августовскій номеръ „Дневника Писателя“ (единственный номеръ за 1880 годъ), въ которомъ онъ прямо говорилъ, что помѣщица Коробочка и ея крѣпостные могли бы устроить свои отношенія въ наивысшемъ нравственномъ видѣ, оставаясь помѣщицей и крѣпостными, если бы только прониклись идеями христіанской морали. Точно также онъ въ послѣднее время чрезвычайно горячо и язвительно возставалъ противъ новыхъ „учрежденій“, доказывая ихъ тщету и, напротивъ, единоспасающее значеніе личнаго совершенствованія... Ему даже такое соображеніе не приходило въ голову, что если всякія учрежденія безсильны, такъ зачѣмъ же выходить изъ себя, ратуя противъ того или другого изъ нихъ: ну пусть оно явится, это безсильное учрежденіе; если оно въ самомъ дѣлѣ безсильно, такъ тутъ и хлопотать не о чемъ. И все-таки Достоевскій хлопоталъ и выходилъ изъ себя, до такой степени ему была ненавистна идея общественной реформы. Онъ до такой степени вѣрилъ въ силу личной нравственной проповѣди (проще говоря, въ свою собственную силу вѣрилъ), что всякіе иные пути устраненія униженій и оскорбленій казались ему самымъ дерзкимъ возстаніемъ и противъ исторіи, и противъ народныхъ идеаловъ, и противъ Бога. Онъ это не разъ прямо говорилъ. Все это развилось до высшей степени уже подъ конецъ, но, оглядываясь теперь на начало дѣятельности Достоевскаго, можно замѣтить, что и въ этомъ началѣ, при всемъ сочувствіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, онъ точно не находитъ унижающихъ и оскорбляющихъ. Это, можетъ быть, свидѣтельствуетъ объ очень тонкомъ пони-

маніи „проникновенія“, какъ любилъ говорить покойникъ, — въ самую суть жизни. Дѣйствительно, если общій порядокъ вещей родитъ и заставляетъ трепетать униженныхъ и оскорбленныхъ, такъ что же ужъ тутъ обрушиваться на какого-то глупаго большого чиновника, который даже совсѣмъ нечаянно оскорбилъ глупаго малаго чиновника? Можетъ быть, Достоевскій такъ и понималъ дѣло, рисуя намъ цѣлую портретную галлерею обиженнаго мелкаго люда. Но общій порядокъ вещей былъ для него неприкосновененъ по глубочайшимъ, можетъ быть, интимнѣйшимъ требованіямъ его ума и сердца, и потому онъ съ своей жаждой личной нравственной проповѣди остался, какъ ракъ на мели, если позволена будетъ въ настоящемъ случаѣ столь вульгарная поговорка. Куда ее было дѣвать, эту жажду морализировать, карать, поучать, будить совѣсть, прощать? Пока Достоевскій выбиралъ для своихъ повѣстей и романовъ темы изъ жизни мелкаго чиновника, лишь изрѣдка захватывая другія, болѣе или менѣе родственныя сферы, не могло особенно рѣзко обнаружиться противорѣчіе между уваженіемъ къ общему порядку вещей и признаніемъ его же главнымъ виновникомъ униженій и оскорбленій. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ талантъ Достоевскаго росъ и опредѣлялся, по мѣрѣ того, какъ его творческая сила охватывала и такъ называемые интеллигентные слои общества, и народъ—противорѣчіе должно было такъ или иначе разрѣшиться. Надо было, наконецъ, либо рѣшительно обвинить общій порядокъ, либо найти иныхъ виновныхъ, личныхъ, съ которыми и поступить сообразно одному изъ трехъ вышеприведенныхъ рѣшеній. Достоевскій нашелъ виновныхъ... Однако, не вдругъ на нихъ обрушился съ внѣшнею карою, муками ада и ущемленной совѣсти и всепрощающей любовью...

Въ исключительномъ талантѣ Достоевскаго была одна черта, придававшая ему особенную силу, черта, которую я не умѣю иначе назвать, какъ жестокостью таланта. Припомните въ „Идіотѣ“ Настасью Филипповну, эксцентрическій женскій типъ, за который покойникъ не одинъ

разъ принимался (онъ и въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" повторяется—Грушенька) и который, однако и не дался ему. Эта странная женщина съ лихорадочною горячностью хватается за мысль нѣкоего Фердыщенки, а мысль въ томъ состоитъ, что каждый изъ присутствующихъ (собралось довольно многочисленное общество) долженъ разсказать вслухъ о самомъ себѣ что-нибудь такое, что онъ считаетъ самымъ подлымъ изъ своихъ поступковъ. Почти все общество возстаетъ противъ этой дикой мысли, но Настасья Филипповна настаиваетъ. „Можетъ быть, ей именно нравилась циничность и жестокость идеи", замѣчаетъ авторъ, очень склонный идеализировать Настасью Филипповну. Это самое надо и о самомъ Достоевскомъ сказать. Въ его талантѣ была какая-то жестокая, мучительская складка, которая, разумѣется, ему самому дорого стоила, но которая тѣмъ не менѣе побуждала его съ наслажденіемъ растягивать утонченнѣйшія описанія мученій и страданій, растягивать до нехудожественной длинноты и часто совсѣмъ безъ нужды. Мнѣ незачѣмъ напоминать читателю отдѣльныя сцены, потому что, что онъ самъ припомнитъ, будетъ навѣрное въ этомъ родѣ. Только ради ненужности многихъ подобныхъ мучительныхъ и мучительскихъ сценъ, я укажу на моментъ появленія Красоткина у постели умирающаго Илюшечки (въ „Братьяхъ Карамазовыхъ"). Красоткинъ лицо вводное, притомъ введенное подъ самый конецъ романа и не играющее въ немъ никакой существенной роли. Выкиньте Красоткина совсѣмъ, и въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" рѣшительно ничто не измѣнится, хотя можно, пожалуй, механически приставить къ фабулѣ романа даже двухъ Красоткиныхъ. И вотъ авторъ съ любовью и величайшимъ тщаніемъ вырисовываетъ (именно вырисовываетъ, а не просто рисуетъ) поразительную сцену, какъ Красоткинъ мучитъ умирающаго мальчика напоминаніями о его жестокомъ поступкѣ съ собакой Жучкой. Положимъ, что Красоткинъ продѣлываетъ это отчасти даже съ доброю цѣлью, ради болѣе эффектнаго сообщенія Илюшечкѣ, что собака Жучка *жива; онъ* и не подозрѣваетъ, что добивает

умирающаго. Но Достоевскій-то это понимаетъ, сцена совершенно невѣроподобна, но все-таки производитъ сильное впечатлѣніе, именно благодаря жестокой тщательности, съ которою ее отдѣлалъ авторъ. За что же онъ мучитъ Илюшечку, когда тотъ и безъ этого эпизода съ собакой все равно скоро умретъ?.. Все влекло Достоевскаго къ апоѳеозу страданія: и уваженіе къ общему порядку, и жажда личной проповѣди, и спеціальная жестокость таланта. Понятно поэтому, съ какою ненавистью долженъ былъ онъ относиться къ тѣмъ, кто самъ не хочетъ страдать и другихъ хочетъ избавить отъ страданій. Особенно важно послѣднее, т. е., что другихъ-то хочетъ избавить. Человѣкъ—животное, просто животное, ищущее наслажденій во что бы то ни стало, безъ мысли объ ихъ источникѣ, значеніи и послѣдствіяхъ — не занималъ Достоевскаго. Интересный въ общественномъ смыслѣ, этотъ типъ слишкомъ скуденъ личной психологіей, а въ ней только покойникъ и чувствовалъ себя, какъ въ родной стихіи, въ ней только онъ и былъ охочъ и смѣлъ. За то тѣмъ сильнѣе приглядывался онъ къ такимъ людямъ, которые, не желая сами страдать, не желаютъ, чтобы и другіе страдали или согласны принять крестъ, даже сами идутъ на него, но не ради самодовлѣющаго страданія, а ради именно того, чтобы другіе перестали страдать. Тѣмъ самымъ они переносятъ вопросъ объ униженіяхъ и оскорбленіяхъ на общественную почву, дерзостно покушаются на неприкосновенный общій порядокъ и потому становятся вдвойнѣ врагами Достоевскаго. Онъ съ ними и поступалъ, какъ врагъ, неумолимый, жестокій, мстительный. Онъ ихъ билъ, унижалъ, мучилъ всѣми возможными орудіями пытки, какія только находились въ арсеналѣ его богатой своей болѣзненностью и раздражительностью фантазіи. Впрочемъ, всѣ эти разнообразныя казни и пытки можно подвести подъ три главные типа. Въ „Идіотѣ“ нѣкто Евгеній Павловичъ доказываетъ, что кто у насъ нападаетъ „на существующіе порядки вещей“, тотъ нападаетъ „на самую сущность нашихъ вещей, на самыя *вещи, и не на одинъ* только порядокъ, не на русскіе по-

рядки, а на самую Россію". Эпилептическій же князь (въ томъ же „Идіотѣ"), вообще представляющій личные взгляды автора, высказываетъ его излюбленную мысль, что „кто отъ родной земли отказался, тотъ и отъ Бога своего отказался". Сообразно этому, обыкновеннѣйшій пріемъ наказанія дерзостныхъ враговъ общаго порядка и лично Достоевскаго состоитъ въ слѣдующемъ. Намѣтивъ подходящую жертву, Достоевскій отнимаетъ у нея Бога, и дѣлаетъ это такъ просто и механически, что точно крышку съ миски снимаетъ. Отыметъ Бога и смотритъ: какъ себя ведетъ въ этомъ положеніи жертва? Само собой разумѣется, что испытуемый немедленно начинаетъ совершать рядъ болѣе или менѣе гнустныхъ преступленій. Но это не бѣда: для преступленій есть искупающее страданіе и затѣмъ всепрощающая любовь. Не для всѣхъ однако и въ этомъ все дѣло. Если испытуемый, оставшись безъ Бога, начинаетъ корчиться въ судорогахъ ущемленной совѣсти, то Достоевскій поступаетъ съ нимъ сравнительно милостиво: проволочивъ жертву по цѣлому ряду гнусностей, онъ ее отправляетъ на каторгу или къ „монаху-совѣтодателю" и тамъ ее, самоуниженную и смиренную, осѣняетъ крыломъ всепрощающей любви (Раскольниковъ, Дмитрій Карамазовъ, дерзостный мужикъ Власъ). Если жертва упорствуетъ и до конца чинитъ „бунтъ", какъ называется одна характерная глава въ „Братьяхъ Карамазовыхъ", бунтъ противъ Бога, порядка вещей и обязательности страданія (изъ той же главы „Бунтъ" особенно ясно видно, что бунтъ надо понимать именно въ этихъ трехъ направленіяхъ заразъ), то Достоевскій заставляетъ ее повѣситься, застрѣлиться, утопиться, опять-таки прогнавъ предварительно сквозь строй подлости и преступленій (Свидригайловъ, Ставрогинъ, Кириловъ, Иванъ Карамазовъ, *) Смердяковъ). Наконецъ, если испытуемый, оставшись безъ Бога, даже и не упорствуетъ,

*) Какъ извѣстно, съ Иваномъ Карамазовымъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" ничего подобнаго не случилось. Помнится, почтенный критикъ гдѣ-то въ своихъ сочиненіяхъ самъ оговаривается въ невольномъ допущеніи этой незначительной неточности.

Прим. В. Зелинскаго

и чувствуетъ себя совершенно спокойно, то Достоевскій даруетъ ему жизнь и свободу, но казнитъ его при этомъ самою въ своемъ родѣ лютою казнью: онъ его дѣлаетъ мѣднымъ лбомъ и мерзавцемъ ниже самаго низкаго, какою-то гадиной. Таковы многія дѣйствующія лица „Бѣсовъ" и таковъ Ракитинъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ". Въ изображеніи этихъ людей и ихъ судьбы, злонамѣренность Достоевскаго чувствуется особенно сильно, и соотвѣтственныхъ страницъ истинно нельзя читать безъ брезгливости... О Достоевскомъ часто говорятъ, какъ о народномъ писателѣ или, по крайней мѣрѣ, какъ о такомъ, который глубоко постигалъ самую суть русскаго народа, его душу. Это одна изъ самыхъ странныхъ, по своей неосновательности, репутацій. Изъ всѣхъ блестящихъ представителей сороковыхъ годовъ она наименѣе приличествуетъ именно Достоевскому. Народомъ, какъ матеріаломъ для художественной обработки, онъ никогда не интересовался. Заинтересовался онъ имъ только подъ конецъ, но въ качествѣ публициста и мыслителя, а не художника. „Записки изъ мертваго дома" не въ счетъ. Это крупнѣйшее произведеніе покойника и одно изъ крупнѣйшихъ во всей русской литературѣ стоитъ совсѣмъ особнякомъ... Въ „Запискахъ изъ мертваго дома" нельзя искать настоящихъ народныхъ типовъ уже по самой исключительности сферы наблюденій автора. Очень бы ужъ это странно рекомендовало наши „общіе порядки", если бы въ самомъ дѣлѣ оказалось, что народъ, настоящій народъ, надо у насъ только на каторгѣ изучать. Затѣмъ, что касается глубокаго пониманія народной души, то оно исчерпывается въ Достоевскомъ двумя идеями: 1) народъ вѣритъ въ царя; эта идея не есть спеціальное открытіе Достоевскаго, она давно уже стала даже общимъ мѣстомъ; 2) народъ любитъ и хочетъ страдать; эта идея, дѣйствительно, оригинальная, лично Достоевскому принадлежащая, но понятно, что она получена не путемъ наблюденія и изученія, а непосредственно вытекаетъ изъ духа самого Достоевскаго. Чувство грѣха и соотвѣтственная жажда искупленія, какъ типа, не есть исключительная собственность Достоевскаго, но въ

постановкѣ вопроса и его разработкѣ она дѣйствительно оригинальна. Едва ли, однако, къ выгодѣ для дѣла. Однажды Достоевскій въ „Дневникѣ Писателя“ указалъ на некрасовскаго „Власа“, какъ на вещь сильную и глубоко проникающую въ народную душу. При этомъ онъ попытался и самъ создать своего собственнаго Власа. Сравните эти два образа. Грѣхи некрасовскаго Власа извѣстны: онъ „побоями въ гробъ жену свою вогналъ; промышляющихъ разбоями, конокрадовъ укрывалъ, у всего сосѣдства бѣднаго скупитъ хлѣбъ, а въ черный годъ не повѣритъ гроша мѣднаго, втрое съ нищаго сдеретъ; бралъ съ родного, бралъ съ убогаго.“ Заболѣлъ Власъ, страшно стало, муки адскія видятся. И разбуженная совѣсть наложила, наконецъ, на него крестъ. Все такое житейское, простое, прямо изъ народной жизни взятое. Къ такой простотѣ и жизненности Достоевскій былъ рѣшительно не способенъ. Разыскивая кладъ грѣховности темною ночью, единственно при свѣтѣ мистическаго расцвѣта папоротника, онъ заставляетъ своего Власа совершить вычурнѣйшее, фантастически затѣйливое преступленіе: Власъ, причащаясь, не проглотилъ причастія, а выплюнулъ въ руку, потомъ положилъ его въ огородѣ на землю и выстрѣлилъ въ него изъ ружья! Мнѣ кажется, что достаточно сопоставить этихъ двухъ Власовъ, чтобы убѣдиться, до какой степени скудно и одностороние было въ Достоевскомъ пониманіе народной души. *Вся* эта душа резюмировалась для него въ чувствѣ грѣха и жажды страданія, чего, конечно, на дѣлѣ нѣтъ; *только* русской душѣ усвоивалъ онъ эту жажду, что, конечно, тоже невѣрно. Затѣмъ грѣхъ онъ отрывалъ отъ его житейской, общественной почвы, отъ всѣхъ этихъ скупокъ хлѣба, дранья съ „родного и убогаго“ и проч., и переносилъ въ сферу фантастическую. И никогда не понималъ онъ той глубокой черты не только русскаго, а и всякаго народнаго духа, въ силу которой присутствіе грѣха обязываетъ не только къ пассивному подвигу личнаго страданія, а и къ активному подвигу борьбы съ зломъ за то, что оно другихъ *заставляетъ* страдать. Пусть другіе стра-

даютъ, пусть всѣ страдаютъ! не мѣшай! самъ смирись и страдай—вотъ все, что ты можешь сдѣлать; такъ говорилъ Достоевскій, повинуясь требованію своего собственнаго духа. Но такъ какъ опираться на свой собственный духъ въ подобномъ дѣлѣ немножко стыдно, то Достоевскій искалъ внѣшнихъ санкцій и, разумѣется, нашелъ: Богъ и русскій народъ—вотъ кто требуетъ страданія! Но, конечно, это не правда: просто Достоевскій требуетъ, и потому объ изученіи, наблюденіи, пониманіи тутъ даже и рѣчи быть не можетъ... Пусть Достоевскій скудно и односторонне понималъ народную душу, но онъ горячо любилъ народъ, желалъ ему добра и видѣлъ въ немъ надежду Россіи. Это правда. И великая честь за это покойнику. Подобно многимъ людямъ сороковыхъ годовъ, Достоевскій понималъ, что идетъ какая то еще неясная, но навѣрное грозная и грязная сила, одинаково враждебная и общимъ идеаламъ сороковыхъ годовъ и мужику. Понималъ это и Писемскій и выражалъ (въ „Ваалѣ“, „Просвѣщенномъ времени“, „Мѣщанахъ“), съ свойственною ему грубою, сухою и узкою опредѣлительностью. Понималъ и Достоевскій, но до конца дней своихъ не могъ установиться на рѣшеніи, откуда собственно гроза надвигается“?

* * *

Слѣдующія двѣ критическія статьи (одна взята изъ журнала „Русское Богатство“, а другая изъ „Мысли“), разбирающія творчество и общественные идеалы Достоевскаго съ иной точки зрѣнія, представляютъ противовѣсъ взглядамъ на Достоевскаго, выраженнымъ предыдущими критиками, особенно г. Михайловскимъ. Первая изъ этихъ статей разбираетъ Достоевскаго съ тѣхъ-же самыхъ сторонъ, что и г. Михайловскій въ своей критикѣ до того пункта, откуда онъ начинаетъ оцѣнку литературной дѣятельности Достоевскаго, какъ народнаго писателя; вторая же критическая статья Л. О. (если не ошибаемся, г. Оболенскаго) по преимуществу опредѣляетъ намъ міровоззрѣніе Достоевскаго, какъ народника.

Разсуждая о формахъ художественнаго вліянія на прогрессъ, въ какихъ проявляли себя музы Тургенева и Достоевскаго, критикъ „Русскаго Богатства“ говоритъ:

*) „Нечего и говорить, что ни тотъ, ни другой никогда не пытались, какъ и всѣ большіе художники, — рисовать намъ въ формѣ беллетристики своихъ идеаловъ общественныхъ формъ, т. е. не пытались написать чего-либо въ родѣ „Утопіи“ Томаса Мора, или „Солнечнаго Государства“ Кампанеллы, или „Икаріи“ Кабе, или даже „Что дѣлать“. Но это было бы, впрочемъ, для Тургенева даже довольно трудно, въ виду того, что его идеалы въ политикѣ не шли далѣе англійскаго строя,—что же касается области экономической, то онъ былъ строгимъ консерваторомъ. Что касается Достоевскаго, то, какъ очевидно изъ его „Дневника Писателя“, а также изъ рѣчей въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, у него былъ довольно опредѣленный соціально-религіозный идеалъ, основанный органически на томъ душевномъ свойствѣ людей, которое онъ, какъ художникъ, стремился открыть въ нихъ и о которомъ мы будемъ говорить далѣе. Онъ вѣрилъ, что благодаря этому свойству, если не всѣ люди, то по крайней мѣрѣ, русскіе люди, съ своими особыми общинными инстинктами и съ высоко развитой *способностью чувствовать чужія чувствованія* (любить ближняго), могутъ и должны образовать современемъ общества съ принципами діаметрально-противоположными западнымъ, т. е. общества, основанныя не на внѣшнемъ договорномъ или иномъ принужденіи, а на свободной любви, иными словами осуществить идеалъ Евангелія, который онъ называлъ въ одномъ изъ послѣднихъ №№ „Дневника Писателя“ православнымъ соціализмомъ. Особенности и различія отъ другихъ соціальныхъ ученій этого православнаго соціализма мы подробно объясняли въ нашихъ статьяхъ о Достоевскомъ („Мысль“ 1881 г.) **).

*) Созерцатель. „Муза Достоевскаго и муза Тургенева“. „Русское Богатство“ 1884 г., № 9.

**) Достоевскій самъ прекрасно объясняетъ эту разницу въ письмѣ къ г. Ковнеру, совершившему какое-то преступленіе и писавшему Θеодору Михайловичу, что онъ не *чувствуетъ* отъ этого раскаянія. Θеодоръ Михайловичъ

Теперь же скажемъ въ двухъ словахъ, что Достоевскій вѣрилъ въ идеалъ такого общества, гдѣ религіозная экстатическая любовь людей другъ къ другу могла бы замѣнить всѣ стимулы внѣшняго принужденія и *формальныя* обязанности, т. е. гдѣ человѣкъ былъ бы абсолютно свободенъ, потому что его воля сковывалась бы только собственнымъ внутреннимъ стимуломъ любви и альтрюизма, стоящимъ въ связи съ идеей Бога-любви, или Христа, воплощающагося въ этой любви, а черезъ нея и въ цѣломъ обществѣ. Попытки изобразить въ миніатюрѣ психологическій строй такого общества мы видимъ на отношеніяхъ старца Зосимы къ Алешѣ и другимъ его свободнымъ убѣжденнымъ послѣдователямъ. Трудно себѣ и вообразить идеалъ болѣе высокій *теоретически*, но практическое вліяніе его на прогрессъ русскій едва ли можетъ быть признано: во-первыхъ, онъ былъ изложенъ черезчуръ не ясно, черезчуръ мимоходомъ и отрывочно, и притомъ *экзотерически*; во 2-хъ, такіе отдаленные идеалы могутъ лишь не многимъ освѣщать путь; для массы всегда требуется что-нибудь болѣе близкое, конкретное. Кромѣ того, особыя условія нашей жизни породили въ обществѣ весьма несимпатичное отношеніе ко всему, что имѣло какую-либо связь съ проповѣдью любви, а тѣмъ болѣе христіанской любви; большинство подъ вліяніемъ раздражительнаго настроенія, обусловленнаго временными и исключительными причинами, видѣло источникъ прогресса въ эгоистической, утилитарной морали, въ борьбѣ и враждѣ. Это возбуждало и предубѣждало противъ Достоевскаго. По тѣмъ же причинамъ не важную службу прогрессу могли оказать и положитель-

ему отвѣчаетъ: „Есть нѣчто высшее доводовъ разсудка и невозможныхъ подошедшихъ обстоятельствъ, чему всякій обязанъ подчиниться. Если я васъ оправдаю по своему *въ сердцѣ своемъ* (какъ приглашу и васъ оправдать меня), то все же лучше, если „я“ васъ оправдаю, чѣмъ *вы сами себя оправдаете*. Кажется, это не ясно. N. B. Приведу маленькую параллель: христіанинъ, т. е. *полный, высшій, идеальный*, говоритъ: „Я долженъ раздѣлить съ меньшимъ братомъ мое имущество и служить имъ всѣмъ“. А коммунаръ говоритъ: „Да, *ты долженъ* раздѣлить *со мною*, меньшимъ нищимъ, твое имущество и *долженъ мнѣ служить*“. Христіанинъ будетъ правъ, а коммунаръ не правъ.
(*„Біографія, письма“ и т. д.*).

ѣ

ные или quasi-положительные типы, которые пытался дать Достоевскій въ лицѣ Алеши и Зосимы, какъ представителей той-же идеальной любви къ людямъ. Достоевскій говорилъ, что въ будущемъ готовится помѣстить своего Алешу въ условія дѣйствительной жизни. Что бы вышло изъ этого, мы не знаемъ, но, однако, можно полагать, что ему, какъ и всякому большому *художнику*, болѣе удались бы типы живые, практически работающіе для жизни, съ нѣкоторой идеализаціей въ духѣ его идей, и они могли бы принести большую пользу, чѣмъ черезчуръ трудный практически типъ Алеши или Зосимы".

Далѣе критикъ обрисовавъ, на основаніи біографическихъ данныхъ, портретъ Тургенева, сопоставляетъ ему портретъ Достоевскаго. „Передъ нами", говоритъ онъ, „другая фигура—нервная, раздражительная, кажущаяся маленькой, сутуловатой, болѣзненной передъ этимъ свѣжимъ и могучимъ на видъ гигантомъ, который сохранилъ тотъ же мощный видъ и тогда, когда его борода и голова были бѣлѣе снѣговъ его родины. Первый всю жизнь какъ будто и не зналъ, что такое насильственный трудъ, а тѣмъ болѣе физическое страданіе, исключая послѣднихъ дней своей жизни; второй былъ воплощенное страданіе, измученный непосильнымъ трудомъ, истерзанный припадками эпилепсіи и годами каторги; съ впалыми щеками и выдающимся лбомъ, съ глазами то безпокойно и подозрительно бѣгающими, то уходящими внутрь себя, быть можетъ, въ свои ужасныя воспоминанія, отъ которыхъ даже вчужѣ кровь леденѣетъ въ жилахъ,—этотъ больной человѣкъ, въ которомъ вы, конечно, узнали Достоевскаго, представлялъ діаметральную противоположность Тургеневу, не только по внѣшнимъ условіямъ жизни, но и по характеру своей музы, своего внутренняго настроенія; не даромъ же они были врагами.

Поищемъ же теперь отличительныхъ чертъ этой другой страдальческой музы. Прежде всего здѣсь бросается въ глаза, въ противоположность тургеневскому изяществу образовъ, *языка и картинъ*,—тяжелая, почти отвратительна

внѣшняя непривлекательность образовъ Достоевскаго и ихъ обстановки, душной, смрадной, одичалой, угарной. Но это только внѣшняя сторона. Что касается внутренней или субъективной, то мы сразу наталкиваемся на черту, которая на первый взглядъ кажется сходной съ тургеневской: у Достоевскаго, какъ и у Тургенева, основной мотивъ его музы — это мгновенія экстаза и энтузіазма, т. е. высокое настроеніе восторга, выходящаго изъ обыденныхъ рамокъ и заражающее читателя. Но при ближайшемъ анализѣ этотъ экстазъ героевъ Достоевскаго не имѣетъ ничего общаго съ тургеневскимъ: онъ, во-первыхъ, не говоритъ ни о какомъ „dahin“, не зоветъ никуда отъ этой сѣрой будничной жизни и отъ будничныхъ типовъ въ невѣдомую даль; онъ, наоборотъ, говоритъ о чудной способности этихъ самыхъ сѣренькихъ типовъ, даже наиболѣе несчастныхъ, забитыхъ и падшихъ, испытывать высочайшія настроенія любви (но не тургеневской, а совсѣмъ особой), чувства человѣческаго достоинства, чести, самопожертвованія и высокаго мужества. У Достоевскаго эти моменты экстаза возбуждаются не музыкой, не половою любовью, и выражаются не въ звукахъ или гармоническихъ словахъ, и не ограничиваются внутреннимъ созерцаніемъ, далѣе котораго не идетъ экстазъ тургеневскихъ героевъ. Экстазъ Достоевскаго есть пробужденіе въ душахъ, наиболѣе забитыхъ и погибшихъ, уцѣлѣвшей въ нихъ искры человѣчности, подавленной, поруганной, затоптанной въ грязь, и это пробужденіе совершается при извѣстномъ стеченіи внѣшнихъ или внутреннихъ условій сразу, вдругъ, являясь міру въ видѣ душевнаго порыва и поразительнаго подвига, точно бы душевная энергія, достигшая, какъ паръ въ замкнутомъ пространствѣ, наибольшаго своего сжатія, — вдругъ взорвала съ потрясающей мощью всѣ сдерживающія ее препоны и явилась во всемъ своемъ величіи, во всей красотѣ. Послѣ этого взрыва и у Достоевскаго, какъ и Тургенева, наступаетъ житейская будничная проза, но, однако, остается не *тоска* о какомъ то dahin, лежащемъ *невѣдомо гдѣ*, за предѣлами дѣйстви*тельности, остается не* пессимизмъ, не невѣріе въ возмож-

ность чего-либо идеально-лучшаго, иначе какъ на мгновеніе. Нѣтъ, послѣ душевнаго взрыва у жалкихъ, уродливыхъ героевъ Достоевскаго остается на долго восторженно-радостное воспоминаніе, какъ, напримѣръ, у Дмитрія Карамазова, полное удивленія и какого-то благоговѣнія къ своему собственному бывшему настроенію и къ душевнымъ скрытымъ силамъ человѣка, даже самаго ничтожнаго и преступнаго. То же впечатлѣніе остается и въ читателяхъ и въ зрителяхъ. Благодаря этимъ мгновеннымъ проявленіямъ внутренней силы и даже въ самыхъ отребьяхъ человѣчества, у читателя является вѣра въ возможность великаго грядущаго счастья среди человѣчества, зарождается страстное желаніе жить и работать для этой самой будничной, сѣренькой среды, для этихъ самыхъ отребій человѣчества, въ которыхъ подъ гноемъ, струпьями и ранами, причиненными невыносимыми условіями жизни, тлѣетъ искра Божія, великое зерно высшей душевной и сердечной красоты, которая ждетъ только своего освобожденія, ждетъ лишь благопріятныхъ условій, живого слова, живого тепла и свѣта, чтобы вспыхнуть зарей человѣческаго высшаго блаженства, блаженства любви, альтрюизма, братства.

Но, какъ-же такъ? спросятъ насъ: вѣдь тургеневская муза уже показала, что счастье на землѣ мимолетно, что любовь, молодость, красота суть лишь мгновенные цвѣтки, также быстро увядающіе, какъ быстро они расцвѣли, и даже сама жизнь есть только птичка, влетѣвшая на мгновеніе въ освѣщенный покой? Въ томъ-то и дѣло, что любовь, красота, вдохновеніе и молодость у героевъ Достоевскаго совсѣмъ не тѣ, что у героевъ Тургенева; эта любовь, эта красота не мимолетны, а такъ же вѣчны, какъ вѣчно человѣчество; они никогда не умираютъ, ибо оставляютъ свой слѣдъ и отпечатокъ въ жизни, который растетъ и развивается въ человѣчествѣ, пока оно живо. Возьмемъ два-три примѣра, чтобы не потеряться въ деталяхъ.

Вы помните, когда въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ Екатерина Ивановна, чтобы спасти отъ позора старика-отца у котораго *при сдачѣ кассы* не оказалось нѣсколькихъ ты

сячъ, является по приглашенію Дмитрія Карамазова на его холостую квартиру, чтобы получить эти деньги цѣною собственнаго позора. Вы помните, какъ этотъ развратный, наслѣдственно-испорченный человѣкъ, вдругъ, потрясенный чѣмъ-то въ ея лицѣ и фигурѣ, быть можетъ, величиной ея страданія и презрѣнія къ нему, быть можетъ, необъятностью ея жертвы, чувствуетъ въ себѣ неожиданно что-то небывалое, почти невѣроятное для самого себя: въ немъ куда-то исчезаетъ развратникъ и всплываетъ жажда подвига, жажда добраго дѣла. Послѣднія свои деньги, крайне необходимыя на другое, онъ молча отдаетъ ей съ низкимъ поклономъ. Дѣвушка также молча, вся блѣдная и дрожащая, едва вѣря себѣ и ему, поклонилась ему въ ноги и вышла, а онъ, когда она вышла, едва устоялъ на ногахъ, прислонился лбомъ къ холодному стеклу, затѣмъ выпулъ шпагу и хотѣлъ убить себя, чтобы умереть съ этимъ чувствомъ, съ этимъ восторгомъ, который носилъ въ себѣ,— но не убилъ, а только поцѣловалъ эту шпагу.

Что такое произошло? Человѣкъ проснулся въ оскотинившемся подобіи человѣка. Проснулась человѣческая способность понимать и чувствовать чужое горе, чужое страданіе, какъ свое. Отчего проснулась эта способность? Быть можетъ оттого, что ему впервые пришлось увидать горе такой величины, такой интенсивности, что оно дошло, наконецъ, до сердца, тронуло тамъ давно заснувшую струну и одно колебаніе этой струны освободило цѣлую массу альтруистической энергіи, долгое время сдавленной гнетомъ безпощадной, растлѣвающей жизни, съ ея дикимъ воспитаніемъ, предразсудками среды, наслѣдственнымъ растлѣніемъ и искусственнымъ развитіемъ волчьей животности. Повидимому, чѣмъ больше была сдавлена эта врожденная человѣчность, тѣмъ могучѣе ея порывы. Но это не значитъ, что такіе взрывы бываютъ только тамъ, гдѣ жизнь обставлена такъ безобразно и ужасно, какъ она была обставлена у Дмитрія Карамазова. Нѣтъ, Достоевскій только предпочитаетъ рисовать ихъ у наиболѣе забитыхъ и порочныхъ, чтобы этимъ дать большую вѣру въ человѣчество,

въ возможность его совершенства и воскрешенія къ лучшей жизни. Но у него-же мы видимъ Алексѣя Карамазова, мы видимъ Колю Красоткина, которыхъ жизнь не давила, не ломала, да и не могла еще ломать, ибо они юноши и почти еще не жили личной жизнію: у нихъ та же любовь къ человѣку-брату, тотъ же альтрюизмъ живутъ, какъ постоянная дѣятельная сила, работающая безостановочно и безъ взрывовъ, какъ работаетъ она у насъ на глазахъ ежедневно въ сотняхъ и тысячахъ юношей и дѣвушекъ, идущихъ на суровый трудъ для родной страны и для ближнихъ въ убогихъ, промерзлыхъ сельскихъ школахъ, въ баракахъ и госпиталяхъ, на поляхъ сраженій, въ глухихъ деревушкахъ, въ качествѣ врачей, фельдшерицъ, учительницъ и учителей, труженицъ и тружениковъ великаго дѣла облегченія страданій и проясненія тьмы, среди родного народа. Подвиги эти не видные, не громкіе, безъ треска и декорацій, стало быть, что-же въ нихъ является стимуломъ, какая постоянная живая сила поддерживаетъ этихъ людей въ борьбѣ съ холодомъ, голодомъ, тьмою и невѣжествомъ окружающихъ, съ оскорбленіями и насмѣшками тупоумія и рутины, съ враждой и похвалами обскурантовъ и ложныхъ людей? Эта сила есть та же самая, которая производитъ и мгновенный взрывъ, видѣнный нами у Дмитрія Карамазова; но эта сила дѣйствуетъ не порывами тамъ, гдѣ ей данъ просторъ дѣйствовать, т. е. постоянное полезное примѣненіе. Неполезнаго примѣненія эта сила не терпитъ, ибо она—сознательно разумная, нравственная сила. Тамъ, гдѣ она сознаетъ пользу для людей своего примѣненія, она растетъ постоянно на благо людей, какъ паръ въ локомотивѣ, какъ вода на мирной деревенской мельницѣ, какъ любовь матери у постели больного ребенка.

Но мы впали бы въ ошибку, если бы предположили, что одна лишь братская любовь является элементомъ энтузіазма у музы Достоевскаго, что она вдохновляется лишь одностороннимъ чувствомъ человѣчности, состоящимъ въ пониманіи чужого страданія, какъ своего. Нѣтъ, это только одинъ элементъ энтузіазма. Другой, излюбленный также

Достоевскимъ, состоитъ въ проснувшемся долго задавленномъ великомъ чувствѣ *человѣческаго достоинства.* „Вспомните сцену съ Макаромъ Алексѣевичемъ Дѣвушкинымъ у генерала и его послѣдующія разсужденія, „что не стоило уже очень-то принижать себя передъ всѣмъ этимъ блескомъ“; вспомните еще болѣе яркую сцену, когда Алеша Карамазовъ приноситъ нѣсколько сторублевыхъ бумажекъ несчастному, полунищему капитану, котораго Дмитрій Карамазовъ вывелъ за бороду изъ трактира и, такимъ образомъ, провелъ по городу.—Вспомните, что у этого несчастнаго, забитаго, приниженнаго капитана, на рукахъ цѣлая громадная голодная семья, съ сумасшедшей матерью, съ больнымъ нервнымъ, крайне чуткимъ сыномъ Илюшечкой, даже заболѣвшимъ отъ того, что онъ видѣлъ оскорбленіе отца,—съ дочерью-курсисткой, которая не могла уѣхать на курсы, потому что отдала семьѣ деньги, заработанныя на дорогу; вспомните, когда этотъ несчастный вдругъ съ гордостью, ему несвойственной, хотя съ лицомъ искаженнымъ и жалостью и какимъ-то испугомъ передъ своимъ собственнымъ подвигомъ, бросаетъ эти сотни рублей къ ногамъ Алеши Карамазова, потому что онъ—братъ оскорбителя, потому что капитанъ не можетъ продать своей обиды за деньги. Откуда такой порывъ? Какъ онъ могъ явиться въ этой давно забитой, давно приниженной душѣ? Много психическихъ причинъ тонко намѣчено тутъ Достоевскимъ: одна изъ главныхъ причинъ, этотъ самый сынишка Илюшечка, безумно любящій своего несчастнаго отца и страстно имъ любимый, этотъ Илюшечка, который видѣлъ позоръ своего отца и возмутился имъ больше самого обиженнаго. Съ этой поры ребенокъ сталъ мстителемъ за отца, подвергаясь страшнымъ побоямъ товарищей по школѣ; онъ нервный, больной, слабый мститъ имъ и зубами, и когтями, и ударами перочиннаго ножа за каждое шутливое напоминаніе о сценѣ съ отцомъ, котораго школьники за его вырванную бороду прозвали „мочалкой“. Этого-то Илюшу должны не пускать въ школу, чтобы его не убили товарищи, такъ онъ озлобился на нихъ и озлобилъ ихъ

противъ себя. И вотъ, онъ уходитъ гулять съ своимъ отцомъ далеко въ поле, чтобы никто ихъ не видѣлъ, никто изъ знающихъ объ ихъ позорѣ. Здѣсь-то ребенокъ и его отецъ изливаютъ другъ передъ другомъ свою накопившуюся муку; несчастный ребенокъ цѣлуетъ отца, плачетъ надъ нимъ, думая, что оскорбленіе такъ же чувствительно отцу, какъ и ему и его дѣтскому свѣжему сердцу. Онъ говоритъ ему о томъ, какъ бы хорошо было купить лошадь и телѣжку, уложить на нее всѣ пожитки, усадить мать и сестеръ и уѣхать далеко-далеко, гдѣ люди не такіе злые, и гдѣ бы никто не зналъ объ ихъ позорѣ и никто бы надъ ними не смѣялся, и зажили бы они новой, хорошей честной жизнію, и всѣ бы ихъ уважали, всѣ бы любили. Этотъ ребенокъ, можно сказать, заразилъ и своего забитаго отца этимъ чувствомъ человѣческаго достоинства; страстное возбужденіе въ немъ этого чувства за оскорбленнаго отца, вызванное дѣтскою любовью, пробудило и въ несчастномъ капитанѣ нѣчто давно уснувшее и забитое. Но не одинъ Илюша былъ такимъ невольнымъ возбудителемъ: дочь-курсистка, раздраженная и озлобленная нуждою, невозможностью уѣхать на курсы, потому что отдала свои деньги семьѣ, эта дочь на каждомъ шагу колетъ отца его приниженностью, его кривляньями, его жалкимъ, униженнымъ рабскимъ языкомъ. Она горда и раздражена, и потому можетъ только колоть и язвить, хотя въ глубинѣ и подъ этой озлобленностью кроется подавленная любовь къ несчастному отцу. И вотъ эти дѣти, это новое поколѣніе, они то и явились стимуломъ, пробудившимъ въ забитомъ *отцѣ* чувство достоинства *человѣка*. Вліяніе ихъ ясно выражено Достоевскимъ. Когда, напримѣръ, капитанъ бросилъ деньги и побѣжалъ, точно боясь, что не совладаетъ съ собою и вернется, и возьметъ деньги, хотя бы для того, чтобы осуществить мечту Илюшечки — уѣхать изъ упомянутаго для нихъ городка, — или для того, чтобы отдать дочери-курсисткѣ ея деньги, собранныя тяжкимъ трудомъ на дорогу, — когда онъ бѣжитъ и уже отбѣжавъ далеко, онъ вдругъ обернулся и съ лицомъ блѣднымъ, искаженнымъ,

точно извиняясь перед Алешей Карамазовым, прокричал: — „А что скажет Илюшечка?“ — Тут ясно, что в капитане его крайнее возбуждение поддерживается главным образом мыслью: „Не подумал бы, де, Илюшечка, что я взял деньги за мое оскорбление, что я продал мою честь!“

Но есть и еще мотивы, пробуждающие у героев Достоевскаго высокое настроение человечности. Припомните, например, в тех-же „Братьях Карамазовых“, побочнаго сына Карамазова, Смердякова, который убил своего отца, думая что этим он приобретет великую дружбу и уважение своего брата Ивана, перед которым он благоговеет за его идеи, ум, образование. Этот несчастный Смердяков набрел на мысль об убийстве отца, как о подвиге для того же Ивана, основываясь на общих отрицательных и философских речах Ивана, который, очевидно, не придавал своим словам никакого практическаго значения и не думал, что они, падая в узкую фанатически-преданную душу его побочнаго брата, перейдут прямо в действие, в практическое осуществление. И вот, когда несчастный убийца воображает, что тут-то ему и раскроются объятия этого, по его мнению, гения, но когда видит только презрение, угрозы, — он страшно потрясен и разочарован этой непоследовательностью, этой неожиданной, как ему кажется, слабостью своего кумира. Когда Иван, достаточно излив свое негодование, наконец уходит, — несчастный фанатик, полу-идиот вешается на первом гвозде, и вы начинаете понимать, какия могут быть высокия минуты самоотвержения, даже в этой изуродованной искалеченной душе! Вам вдруг становится понятным целый тип, целая полоса такой-же искалеченной уродливой преданности и способности жертвовать собой и, к прежнему негодованию, в вас зарождается еще чувство безконечной жалости к несчастному типу, обязанному своим уродством своей умственной придавленности и мраку, своей обстановке, не давшей никаких моральных основ, привычек, идей, — и вам страстно

хочется не только карать, но и внести лучъ свѣта въ души этихъ нравственныхъ и умственныхъ калѣкъ, ибо вы видите, что и подъ ихъ искалѣченностью кроются глубоко искры человѣческихъ стремленій, но только взрываютъ они нелѣпо, пагубно, братоубійственно, потому что помѣщены въ лабиринты изуродованнаго сознанія.

Можно пересмотрѣть всѣ произведенія Достоевскаго, начиная съ „Бѣдныхъ Людей“ или даже „Ползункова“, переходя черезъ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, „Бѣсовъ“, „Записки изъ Подполья“, „Записки изъ Мертваго Дома“ и кончая „Дневникомъ Писателя“, гдѣ вы, вѣроятно, помните того крестьянина, къ которому въ полѣ бросается его крѣпостной барчукъ, испугавшійся волка, — крестьянина, который какъ мать, нѣжно, любовно успокоиваетъ ребенка, ни на минуту не вспомнивъ, что это — дитя его мучителей, — вездѣ и всюду вы найдете тотъ-же основной мотивъ музы Достоевскаго, состоящій въ пробужденіи человѣчности.

Но Достоевскій не только *рисовалъ* эти моменты пробужденія, т. е. онъ не только пробуждалъ въ читателѣ *вѣру* въ способность человѣка къ человѣчности: это было бы только половиною его музы. Нѣтъ, онъ заставлялъ читателя самого переживать это пробужденіе человѣка, т. е. заставлялъ его самого страдать за другихъ, любить ихъ, плакать за человѣка и томиться за чужое человѣческое достоинство. Читатель являлся, такимъ образомъ, не простымъ *созерцателемъ* чужого пробужденія, но пробуждался и самъ, томясь и страдая вмѣстѣ съ униженными и оскорбленными, т. е открывая непосредственно и въ *себѣ самомъ* ту способность къ человѣческому порыву, которую рисовалъ ему Достоевскій въ другихъ. Говоря еще яснѣе, Достоевскій не только рисовалъ пробужденную человѣчность, но и поселялъ вѣру въ нее; что же было бы въ этой вѣрѣ, если бы мы вѣрили ему только на слово: „что вотъ, молъ, это бываетъ!“ нѣтъ, онъ тутъ-же и *убѣждалъ* насъ безповоротно, нашимъ-же собственнымъ внутреннимъ самоопытомъ, что такое пробужденіе есть дѣйствительный фактъ, чувствуемый нами въ *насъ самихъ*, а вовсе не фантазія и

капризъ его музы. Мы дѣйствительно плакали и называли отъ сострадания и жалости надъ страданиями его героевъ, надъ ихъ пробужденіемъ, и это уже не вѣра, только это *факты*. Такимъ образомъ, онъ намъ самимъ открывалъ невѣдомыя намъ сокровища нашего собственнаго внутренняго міра, заставлялъ осязать ихъ съ тѣмъ, чтобы уже никогда не забыть. И вотъ это-то было еще на дняхъ, въ одной изъ газетъ, со словъ другого критика,—названо „жестокостью“ его таланта! Жестокостью въ газетѣ, очевидно, названо то, что онъ зналъ,—на *собственномъ каторжномъ тѣлѣ* зналъ, какъ способенъ мучить человѣкъ человѣка, — какъ трудно расплавить жестокую кору его сердца, чтобы проснулась эта великая, присущая ему искра человѣчности, что онъ считалъ немыслимымъ расплавить эту кору легкими пріемами сострадания и жалости. И вотъ этотъ человѣкъ, который тѣмъ болѣе сострадалъ людямъ, чѣмъ болѣе онъ перестрадалъ самъ, — обвиняется въ жестокости за то, что вкладывая въ свой трудъ всю свою измученную душу, переживая самъ вновь чужія муки, чтобы дать ихъ глубже и сильнѣе прочувствовать другимъ, забывая себя, свой надорванный болѣзнью организмъ, который почти послѣ всякихъ такихъ строкъ падалъ пораженный ужаснымъ припадкомъ,—этотъ человѣкъ, писавшій сокомъ своихъ нервовъ и кровью сердца, дѣйствительно и буквально приносившій въ этихъ строкахъ въ жертву людямъ свою жизнь, свою кровь, свое послѣднее дыханіе, лишь бы убѣдить людей, что они люди, что они способны къ человѣчности и что въ этой человѣчности дѣйствительно лежитъ счастье, высшее самой жизни,—этотъ-то человѣкъ былъ „жестокій талантъ“!

Нужно ли прибавлять что-либо къ тому, что сказано нами объ этой чертѣ Достоевскаго? Неужели нужно? Неужели приходится и намъ думать, какъ думалъ Достоевскій, что не легко расплавить ледяную кору, наросшую на людскихъ сердцахъ, не легко открыть ихъ собственные непорченные глаза, на ихъ же собственныя душевныя сокровища. Нѣтъ, не легко; тяжелый личный опытъ и насъ

убѣдилъ въ этомъ, и потому, какъ мы не боимся растянутости, разовьемъ нашу мысль еще болѣе подробно и наглядно. Повторяемъ еще разъ, что Достоевскій любилъ людей и сострадалъ имъ не *идейно* только, а дѣйствительно всей плотью и кровью своей, ибо самъ зналъ, что такое страданія. Припомните только, что въ Сибири онъ перенесъ даже тѣлесное наказаніе. Страданіе такого человѣка уже не идейное состраданіе только, а страшная ужасающая ассоціація собственныхъ прошлыхъ чувствъ, собственнаго прошлаго ужаса, съ чужимъ созерцаемымъ страданіемъ. Такому человѣку должно казаться, что у него нѣтъ достаточныхъ словъ, достаточныхъ красокъ, чтобы передать людямъ тѣ страданія, какія ими причиняются своимъ братьямъ людямъ. И если при этомъ человѣкъ вѣритъ въ существованіе у каждаго искры Божіей, если при этомъ онъ знаетъ, какъ трудно разбудить эту искру, и какимъ чуднымъ пламенемъ загорается она, если сумѣешь ее раздуть, то ясно, что такой человѣкъ не будетъ ограничиваться легкими картинками чужихъ страданій. Посмотрите, какое ужасное страданіе долженъ былъ увидѣть Дмитрій Карамазовъ, чтобы проснулся въ немъ человѣкъ. Ну, а Достоевскій зналъ, что и страданія въ тысячу разъ болѣе ужасныя, могли не пробуждать въ человѣкѣ человѣка, а между тѣмъ онъ зналъ не менѣе того, что каждый человѣкъ все же человѣкъ, что тотъ-же самый его истязатель, придя домой, могъ ласкать своихъ дѣтей, горевать ихъ горемъ, что даже разбойникъ-звѣрь, заключенный съ нимъ въ каторгѣ, унывалъ и плакалъ при воспоминаніи о далекой деревнѣ, о родныхъ въ великій праздникъ и проч. и проч. Что даже отцеубійца Смердяковъ и тотъ въ глубинѣ сердца человѣкъ. Стало быть, что-же ему оставалось дѣлать? Что? Оставалось одно: глаголомъ жечь сердца людей, чтобы испепелить въ нихъ все наносное, звѣрское, безчеловѣчное и пробудить великую искру Божію. И это не все. Развѣ можно назвать жестокимъ, если человѣкъ заставляетъ насъ пережить то страданіе, которое называется *состраданіемъ?* Да кто-же не знаетъ, что состраданіе есть величайшее блаженство. Что-же гонитъ эти толпы

людей въ театръ смотрѣть великаго трагика? Что какъ не желаніе пережить нѣсколько мгновеній потрясающихъ слезъ и рыданій за другого? Что заставляетъ покупать и перечитывать сочиненія самого Достоевскаго? Развѣ кто-нибудь добровольно пойдетъ на пытку или позволитъ себя высѣчь? Вотъ въ томъ-то и дѣло, что мука состраданія есть величайшее блаженство, какъ и любовь къ человѣку, это родная сестра состраданія. Научить людей любить и сострадать, научить ихъ вѣрить въ себя самихъ и человѣчество, заставить ихъ пережить минуты душевной боли за другого, это не значитъ мучить ихъ, это значитъ открыть и дать имъ величайшее блаженство въ жизни, надѣлить ихъ безмѣрнымъ сокровищемъ, и этого мало: это значитъ дать не только личное блаженство, но и источникъ общественнаго блага, т. е. новый, могучій стимулъ для дѣятельности на благо другихъ, а стало быть, и для общественнаго развитія: такова жестокость Достоевскаго! Въ ней то и значеніе его для русскаго развитія. Но съ другой стороны, значеніе и великое значеніе Тургенева въ томъ, что его пессимизмъ переводилъ въ сознательную форму безсознательный пессимизмъ самой жизни нашихъ баръ: онъ заставлялъ томиться имъ, искать изъ него выхода. Тургеневъ указывалъ этотъ выходъ только въ художественномъ, любовномъ и умозрительномъ энтузіазмѣ. Но и это было великой заслугой для того времени. Показать прелесть художественныхъ чувствованій и интеллектуальныхъ ощущеній, научить поэзіи любви, которая была извѣстна лишь съ своей чувственной стороны, это значило подготовить мозгъ и нервы къ высшей стадіи эволюціи, развить въ немъ потребности значительно болѣе идеальныя и духовныя, чѣмъ были у нашей барской среды; и, такимъ путемъ, подготовить почву для *положительныхъ* сѣмянъ музы Достоевскаго. Тургеневъ можетъ въ воспитательномъ отношеніи считаться его предтечей, какъ и вообще идеи западной мысли, съ ихъ критикой, съ ихъ пессимизмомъ и презрѣніемъ къ русской жизни, съ ихъ идеализмомъ, позитивизмомъ и матеріализмомъ, служили лишь плугомъ, вспахивавшимъ русскую новь для иного самостоя-

тельнаго народнаго міросозерцанія, которое и должно теперь смѣнить періодъ западническаго отрицанія и пессимизма.

*) Разсмотримъ систему идей Достоевскаго сперва съ объективной точки зрѣнія, безъ всякаго ея разбора съ точки зрѣнія нашихъ личныхъ убѣжденій. Затѣмъ разберемъ ее съ этой второй точки зрѣнія. Мы прежде всего опредѣлимъ соціальное мѣсто системы идей Достоевскаго среди другихъ нашихъ литературныхъ и философскихъ направленій. Это мѣсто опредѣляется только отчасти самой задачей этой системы идей, задачей сознательно принятой и поставленной себѣ ея авторомъ. Задача эта состояла въ томъ, чтобы выразить, обрисовать, логически развить и защищать то, что понималъ Достоевскій подъ словами „русская народность". Но такія задачи ставились у насъ многими людьми въ ихъ литературной дѣятельности. Въ чемъ же особенность задачи Достоевскаго? Достоевскій смотрѣлъ на печать, какъ на общественную дѣятельность. Скажемъ больше, — только имѣя то своеобразное воззрѣніе на печать, какое онъ имѣлъ, онъ и могъ держаться того направленія, какого онъ держался. На печать онъ смотрѣлъ, какъ на „представительство", какъ на извѣстнаго рода „печатный соборъ", съ правомъ совѣщательнаго голоса въ дѣлахъ общихъ. Отъ этого съ своей рѣчью онъ обращался, по преимуществу, если не прямо къ власти, то къ господствующимъ классамъ, и старался стать „передъ ними", буквально представителемъ опредѣленной части или группы, цѣлой массы, цѣлой, такъ сказать, партіи русскаго народа, точно очерченной имъ для себя и про себя. При этомъ его особенность состояла въ томъ, что онъ поступалъ такъ, какъ поступалъ-бы настоящій уполномоченный извѣстной части общества, т. е. онъ постарался всецѣло представлять всѣ наличные интересы этой части не только матеріальные, но и нравственные и рели-

*) „Мысль" 1881 г., кн. 4. „Оцѣнка идей Достоевскаго" Л. О. (Оболенска

гіозные. И этого мало: онъ постарался, чтобы не быть никоимъ образомъ лицемѣромъ,—возвести понятія, чувства и идеи тѣхъ, кого онъ представлялъ въ основаніе и источникъ своего собственнаго міровоззрѣнія. А для этого онъ очистилъ воззрѣнія своихъ „представляемыхъ" отъ всего внѣшняго и случайнаго, опредѣливъ для себя ихъ сущность и возведя геніальнымъ творчествомъ въ „перлъ созданія", явился не простымъ, но убѣжденнымъ представителемъ данной группы во всей ея *цѣлости*, безъ урѣзокъ ея основного міросозерцанія, безъ ампутированія этого міросозерцанія по своему произволу. Какую же группу русскаго народа онъ избралъ въ качествѣ излюбленной, представлять которую онъ сдѣлалъ задачей своей жизни, отдавъ ей свой геніальный талантъ, свой высокій умъ? Эта группа или „партія" (какъ выразился бы европеецъ), которую онъ взялся представлять и защищать, была масса сѣраго *православнаго* крестьянства—*ни больше ни меньше*. Замѣтьте: сѣраго православнаго крестьянства; онъ не представительствовалъ на интеллигенцію, или за другія партіи нашего народа, напр., за раскольниковъ. Онъ точно очертилъ группу существъ, делегатомъ которыхъ назначилъ самъ себя, и чѣмъ дальше работалъ, тѣмъ яснѣе очерчивался для него этотъ кругъ, тѣмъ точнѣе выяснилъ онъ себѣ частные элементы того цѣлаго міровоззрѣнія, которыя онъ призванъ проповѣдывать, именно міровоззрѣнія своихъ избранныхъ, излюбленныхъ. Одинъ критикъ замѣтилъ, что Достоевскій меньше всего описывалъ народъ, а потому, молъ, странно его называть народникомъ. Если къ народничеству прилагать такой глубокомысленный критеріумъ, то наибольшимъ народникомъ, пожалуй, окажется актеръ Горбуновъ, ибо онъ описывалъ *только* народъ. Но читатели поймутъ, что можно проводить народный идеалъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, ограничившись по отношенію къ изображенію народа двумя-тремя основными типами; это Достоевскій и сдѣлалъ, какъ въ своемъ „Мертвомъ домѣ", такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ *произведеніяхъ*... Достоевскій, взявшись быть выразителемъ

простого православнаго люда, не умѣющаго даже читать, не могъ, конечно, утверждать такъ самоувѣренно, какъ это дѣлаютъ другіе, что онъ вполнѣ знаетъ народъ и можетъ во всѣхъ отношеніяхъ говорить за него. Пока дѣло шло о вопросахъ общихъ, нравственныхъ, философскихъ, религіозныхъ,— онъ смѣло говорилъ, вѣруя и исповѣдуя, что эту сторону народной жизни онъ знаетъ и понимаетъ, проживъ и пространдавъ съ народомъ много лѣтъ. Но когда касалось вопросовъ практическихъ, онъ, какъ мы видѣли, предлагалъ только одну мѣру: „*спросите*"... Милль въ этомъ отношеніи поступалъ совершенно такъ-же, какъ поступалъ Достоевскій, то есть онъ полагалъ также спасеніе въ одномъ: въ свободномъ заявленіи своихъ нуждъ рабочими классами, благодаря расширенію избирательнаго права. Онъ также полагалъ, что, когда эти классы выскажутъ свои нужды и взгляды, наука должна ихъ оформить, принять въ себя, какъ взгляды и потребности одного изъ обширнѣйшихъ и важнѣйшихъ классовъ общества. Здѣсь Достоевскій совершенно послѣдовательно думалъ относительно своего народа совершенно то-же, что думалъ Милль относительно англійскихъ массъ. При такой осторожности и крайней добросовѣстности, онъ въ своей совѣсти рѣшилъ, что такое этотъ народъ—какъ *характеръ*, какъ извѣстная идея, какъ коллективное „я",—каковъ онъ, чего онъ хочетъ и ждетъ, во что вѣритъ и любитъ и сообразно этому велъ свое дѣло, исполнялъ свою задачу въ тѣхъ тѣсно-очерченныхъ предѣлахъ, гдѣ признавалъ свою силу и право быть представителемъ народа. Но мы уже сказали, что у насъ въ послѣднее время развилась такая масса выразителей и делегатовъ народа, что и счетъ потеряли, а потому-то и надо прежде всего показать, на сколько Достоевскій отличался отъ другихъ нашихъ, такъ-называемыхъ, народниковъ. Отъ имени народа говоритъ и „Голосъ", и Катковъ, и Суворинъ, и Аксаковъ, — народниками называютъ себя и нѣкоторые наши петербургскіе ежемѣсячные органы печати. Въ чемъ же ихъ отличіе отъ Достоевскаго? Прежде всего въ томъ, что *Достоевскій* бралъ народъ всецѣло безъ ампут

цій, т. е. разница—въ болѣе широкомъ пониманіи самаго понятія „народъ", не какъ совокупность лишь какихъ-нибудь однихъ, напр., экономическихъ потребностей, но какъ цѣльную живую душу со всѣми ея элементами; отсюда являлась и особенность въ пониманіи имъ народныхъ идеаловъ,—въ томъ представленіи о народѣ, его потребностяхъ физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ, которыя имѣлъ Достоевскій и которыя онъ облекъ въ стройную, цѣльную систему, какъ мы видѣли раньше. Конечно, каждое изъ другихъ „народничествъ" должно было думать о себѣ то-же самое, должно было считать свое представленіе о народѣ, свое міровоззрѣніе, основанное на этомъ представленіи, наиболѣе правильнымъ. Весь вопросъ значитъ въ томъ, кто изъ нихъ дѣйствительно могъ считаться наиболѣе близкимъ и точнымъ, наиболѣе талантливымъ и глубокимъ выразителемъ народной физіономіи съ ея внутренней стороны. Намъ нечего говорить, что г. Катковъ, говорящій иногда отъ имени народа, во всѣхъ чисто-практическихъ вопросахъ былъ представителемъ только одной группы общества, той незначительной доли барства, которое еще плачетъ о крѣпостномъ правѣ, и хотя подъ маской патріотизма, но достаточно явно, чтобы это было нужно доказывать,—стремится и стремилось подорвать и теоретически и практически великія реформы прошлаго царствованія. Вся его дѣятельность, которой, конечно, не мѣсто касаться здѣсь подробно, есть ловкое подкапываніе подъ тотъ общественный строй, который возведенъ творчествомъ покойнаго Государя,—есть проведеніе мѣропріятій и принциповъ діаметрально противоположныхъ и стремленіе разочаровать общество какъ въ основной идеѣ этихъ реформъ, такъ и въ ея деталяхъ; насколько эта партія достигла своей цѣли—опредѣлитъ исторія и въ частности исторія нашихъ недавнихъ, ужасныхъ событій. Конечно, такое народничество есть только злая иронія злого шутника, страшная насмѣшка Мефистофеля надъ чистой, любящей и вѣрующей душой народа,—насмѣшка, которая не мало ввела, да еще введетъ въ заблужденіе своей патріотической маской, не имѣ-

ющей ничего общаго съ цѣлями, скрывающимися подъ этой маской. Искренній, отдавшійся весь народу, глубоко вѣрующій по народному и въ Христа и въ народный идеалъ Царя, Достоевскій, конечно, былъ діаметральною противоположностью этого олигархическаго или попросту крѣпостническаго направленія. Гдѣ оно ставило крѣпостническую олигархію и терроръ, тамъ Достоевскій ставилъ любовный, сердечный идеалъ власти, идеалъ простого, православнаго крестьянина. Вотъ въ двухъ словахъ ихъ діаметральная противоположность. Иными словами, идеалъ Достоевскаго— въ идеалѣ православнаго крестьянина, тогда какъ для нашихъ олигарховъ онъ олицетворился въ идеалѣ немногихъ поклонниковъ крѣпостного права, т. е. полновластномъ, суровомъ, свирѣпомъ крѣпостничествѣ во всѣхъ формахъ и видахъ, во всѣхъ вопросахъ, въ частной и государственной жизни, въ мѣропріятіяхъ общихъ столько же, какъ и въ рѣшеніяхъ вопросовъ частныхъ. Крѣпостное право всюду и притомъ наиболѣе свирѣпое, съ *полнымъ попраніемъ христіанства* въ человѣческихъ отношеніяхъ — вотъ идеалъ Каткова всюду и вездѣ. Любовь между народомъ и монархомъ (или, какъ выразился недавно Катковъ, „власть при посредствѣ *мнѣнія*“) ему ненавистны, тогда какъ, по Достоевскому, эта самая взаимная любовь, не насилуемая ничѣмъ, кромѣ любви-же и высочайшей нравственной правды власти — вотъ идеалъ и средство и въ общемъ, а въ частности мы уже видѣли: это — спросъ народа, это — любовь людей другъ къ другу, это—дѣйствіе всѣхъ и каждаго со всѣми и каждымъ по закону Христа: „люби ближняго своего, какъ самого себя“. Катковъ и Достоевскій—два полюса. Посмотримъ теперь на славянофиловъ. Я говорю о современныхъ славянофилахъ, совершенно оставляя въ сторонѣ прежнихъ, представлявшихъ, среди многихъ увлеченій, благороднѣйшія мысли и высокіе типы, теперь, къ сожалѣнію, обрызганные грязью, рядомъ безтактностей и крайней неразборчивостью въ средствахъ ихъ новаго представителя г. Аксакова. Идеи этого послѣдняго, на сколько онѣ связаны съ идеями *его благородныхъ* предшественниковъ, не

черпнуты отчасти изъ нѣмецкой философіи Шелинга и Гегеля, смѣшанной съ клочками русской археологіи и отголосками мирнаго французскаго соціализма 20-хъ и 40-хъ годовъ. Все это теперь такъ противоестественно перепутано, приправлено такими инсинуаціями на всякаго мыслящаго иначе, что изслѣдованіе этой каши требуетъ особаго спеціальнаго трактата... Достоевскій рѣзко отличается, конечно, и отъ этого народничества, хотя не имѣть съ нимъ ничего общаго онъ не могъ, ибо какъ ни мало выражаетъ наша археологія духъ современнаго русскаго народа, однако, все же выражаетъ отчасти, хотя бы въ нѣкоторыхъ его элементахъ, а потому въ аксаковскомъ амальгамѣ не могутъ не мелькать русскія лохмотья и растерзанные куски. Но вотъ и единственныя точки соприкосновенія. Далѣе все идетъ въ противоположныя стороны. Система Достоевскаго выражаетъ самую суть народной души и завѣтной религіи этой души—любовь, милосердіе, всепрощеніе. Аксаковщина выражаетъ, наоборотъ, душу и религію одной незначительной доли русскаго народа — незначительной группы изъ среды московскаго замоскворѣцкаго купечества, описаннаго Островскимъ: съ чисто-обрядовой религіозностью этой группы, съ противорѣчіемъ дѣла и жизни основнымъ заповѣдямъ Христовымъ,—съ проповѣдью кулака, вмѣсто христіанской любви, съ проповѣдью поста, вмѣсто добрыхъ дѣлъ,—съ проповѣдью насилія, вмѣсто того ученія, которое говорило: „люби ближняго своего, какъ самого себя" — съ постоянными ярыми нападками, полными инсинуацій, на людей мало-мальски расходящихся во мнѣніяхъ, причемъ, конечно, забывается основная истина того ученія, которое постоянно на языкѣ, а не въ сердцѣ: „подымающій мечъ отъ меча погибнетъ". Понятно, что это славянофильство на столько же діаметрально-противоположно ученію Достоевскаго, насколько діаметрально - противоположно и враждебно истинному православію и христіанству,—скажемъ болѣе,—даже истинному народному монархизму, по крайней мѣрѣ, какъ этотъ народный монархизмъ понимался Достоевскимъ. Обойдя совершенно народничество г. Суво-

рина, котораго мы, каемся, опредѣлить не въ состояніи, мы перейдемъ къ тѣмъ различіямъ, которыя имѣются между народничествомъ Достоевскаго и нашихъ остальныхъ народниковъ, которыхъ соединимъ всѣхъ въ одну группу подъ однимъ общимъ именемъ—„народниковъ-экономистовъ". Ихъ отличіе отъ Достоевскаго весьма глубоко: они изъ всей жизни, изъ всѣхъ потребностей народа выбирали однѣ экономическія потребности, поставили ихъ впередъ всѣхъ остальныхъ и являются исключительно и преимущественно представителями только этой стороны народнаго существованія, оторванной отъ всѣхъ остальныхъ его духовныхъ и нравственныхъ сторонъ. Ихъ публицистическія статьи, ихъ научныя изслѣдованія, ихъ беллетристика—все сосредоточивается или группируется прямо или косвенно около этихъ вопросовъ. Даже въ своихъ изслѣдованіяхъ объ обычномъ правѣ народа, о его религіозныхъ и политическихъ воззрѣніяхъ, ближайшая цѣль, которую они преслѣдуютъ—народно-экономическая. Лишь въ послѣднее время начала выдѣляться группа, такъ-сказать, народно-политическая, но и она теоретически ставитъ выше всего защиту экономическихъ интересовъ, и только для достиженія этихъ интересовъ мирится съ необходимостью ввести въ свои задачи и изслѣдованія элементъ народно-политическій; идеалы народа эта послѣдняя фракція черпаетъ, подобно славянофиламъ, отчасти изъ русской археологіи,—только отъ другихъ моментовъ этой археологіи, чѣмъ славянофильство,—а религіозные идеалы народа воспроизводитъ изъ воззрѣній нѣкоторыхъ религіозныхъ сектъ, составляющихъ въ народѣ меньшинство. Такимъ-то образомъ и оказывается, что какъ бы кто ни смотрѣлъ на идеалы Достоевскаго, признавая ихъ вѣрными или не вѣрными народному духу, но всякій долженъ признать, что онъ все же былъ единственнымъ человѣкомъ, стремившимся выражать и „представлять" народъ все-цѣло, а не въ одной какой-либо его части, и не археологическій народъ, а народъ живой, именно православный. Этимъ мы вовсе бы не хотѣли обидѣть нашихъ народниковъ-экономистовъ: они очень много сдѣлали для

изученія экономической стороны народнаго быта, его нуждъ и потребностей. На этомъ поприщѣ это были единственные работники, принесшіе не мало пользы странѣ своимъ изслѣдованіемъ и изученіемъ. Мы здѣсь только хотимъ указать, что Достоевскій или, вѣрнѣе, его народничество было совсѣмъ иное. Въ вопросахъ чисто-практическихъ, каковые вопросы экономическіе, онъ передавалъ свой голосъ самому народу; съ его точки зрѣнія, представительство народа въ экономическомъ отношеніи, только въ этомъ и должно было заключаться, т. е. въ стремленіи добыть народу право личнаго голоса въ такихъ вопросахъ, именно въ вопросахъ, гдѣ онъ долженъ знать больше любого ученаго, т. е. въ вопросахъ собственнаго быта. А за тѣмъ свое „делегатство", въ соборѣ нашей прессы онъ считалъ болѣе широкимъ по задачамъ: будь онъ выборный делегатъ, и онъ долженъ бы былъ выражать существо своихъ избирателей, по вопросамъ нравственнымъ, религіознымъ и другимъ. какіе только подымались бы въ томъ учрежденіи, въ которое онъ избранъ. Депутатъ долженъ воспринять въ свою душу всецѣло всю душу своихъ избирателей, или отказаться отъ своей роли депутата, если онъ съ ними не согласенъ. Иначе онъ не въ силахъ будетъ защищать ихъ идей, ихъ взглядовъ въ борьбѣ съ другими партіями. Достоевскій, избравшій самъ себя депутатомъ православнаго сѣряка въ нашъ печальный соборъ, именно такъ понималъ свою задачу, такъ онъ ее и проводилъ до конца: напр.: масса, отъ которой онъ говорилъ, была православна, и онъ проникся православіемъ; но, какъ человѣкъ съ высокимъ образованіемъ и умомъ, онъ очистилъ „народное православіе" и облекъ его сущность въ высоко-философскія формы, въ симпатичнѣйшіе типы, въ высочайшія и гуманнѣйшія идеи. Онъ, такъ сказать, переработалъ народную религію въ горнилѣ собственнаго творчества и своего геніальнаго ума, и эта народная религія вышла изъ этого горнила, не только сохранивъ свой основной типъ, свои существенныя великія черты, но она стала, благодаря художественному творчеству Достоевскаго, такъ сказать, типомъ, идеаломъ

религіи, совершенно такъ-же, какъ всякій геніальный художникъ возводитъ въ типъ и идеалъ разбросанныя черты человѣческихъ личныхъ типовъ и характеровъ; какъ въ этомъ процессѣ великій художникъ отыскиваетъ разбросанныя черты типа и даетъ намъ Фаустовъ, Манфредовъ, Гамлетовъ, такъ Достоевскій далъ намъ изъ разбросанныхъ чертъ того религіознаго типа, который живетъ въ душѣ нашего народа,—живой и поразительно чудный типъ народной религіи, развивавшійся и въ прежнихъ его произведеніяхъ по частямъ, но окончательно олицетворенный въ старцѣ Зосимѣ. Къ этому старцу народъ стекается со всѣхъ концовъ земли русской, видя въ немъ представителя на землѣ Божьей правды, какъ онъ, народъ, его понимаетъ. Тѣмъ же процессомъ художественнаго и философскаго творчества, возсоединенныхъ въ общей работѣ, Достоевскій далъ намъ типъ народныхъ представленій о царѣ, власти, государствѣ, хотя въ менѣе законченныхъ образахъ. Особенно ярко очерченъ этотъ типъ въ его послѣднемъ „Дневникѣ", но мы не разъ встрѣчаемъ отдѣльныя черты этого типа и въ другихъ произведеніяхъ. Поживи онъ дольше и мы, конечно, имѣли бы выраженіе этого типа или идеала народнаго, столь-же законченные, какъ мы имѣютъ относительно религіознаго типа. Типъ или идеалъ власти нашего православнаго народа олицетворяется народомъ въ царѣ, абсолютно любящемъ, абсолютно справедливомъ, безпредѣльно трудящемся для Россіи и защищающемъ народные интересы отъ всѣхъ другихъ общественныхъ партій,—въ царѣ абсолютно нравственномъ, милостивомъ, хотя и строгомъ, простомъ и въ то же время великомъ. Однимъ словомъ, это идеалъ того же Бога, который мы видѣли ранѣе, но только олицетворенный въ лицѣ царя. Собственно, въ народномъ представленіи, по мнѣнію Достоевскаго, на сколько это можно уловить въ рѣчахъ старца Зосимы, политическое и религіозное начало сливаются въ лицѣ царя. Замѣчательно, что многіе раскольники точно также не допускаютъ раздѣленія гражданской власти отъ религіозной. Это чисто народная черта, вполнѣ вѣрно подмѣченная Д

стоевскимъ. Если народъ идетъ къ старцу Зосимѣ, т. е. раздѣляетъ начало религіозное отъ политическаго, то лишь потому, какъ замѣчаетъ и Достоевскій, что на это существуютъ чисто внѣшнія причины... Зосимы суть единственные представители религіознаго начала, стоящіе ближе къ народу и вполнѣ доступные, къ которымъ народъ всегда можетъ обратиться со своими чисто личными духовными скорбями и нуждами. Зосимы, это — непосредственные избранники народнаго сердца, ибо народъ признаетъ ихъ своей духовной властью не въ силу чего иного, кромѣ ихъ религіозныхъ подвиговъ, и добровольно идетъ къ нимъ, ибо они оффиціально даже могутъ и не быть вовсе признаны...

Сдѣлаемъ теперь тѣ замѣчанія, которыя вызываются нашимъ личнымъ несогласіемъ съ нимъ. Эта часть нашей задачи можетъ быть исполнена скоро, ибо въ большинствѣ случаевъ мы съ Достоевскимъ или согласны, или не находимъ нужнымъ ему возражать въ виду незначительнаго разногласія. Главное же наше возраженіе касается одного важнаго пункта. Это — недостаточнаго значенія, которое придавалъ Достоевскій интеллигенціи. Съ его точки зрѣнія онъ, конечно, былъ правъ: разъ опредѣливъ себѣ задачу представителя нашего простого православнаго люда, онъ и долженъ былъ стоять на почвѣ его понятій, чувствъ и вѣрованій. Среди другихъ голосовъ, выражающихъ другія общественныя партіи и направленія мысли, его голосъ долженъ былъ заслуживать полнаго и особаго уваженія, какъ голосъ представителя не только наиболѣе обширной массы, безъ участія которой въ общихъ сужденіяхъ, никакой вопросъ не былъ бы обсужденъ цѣльно, органически-всестороннe, но и потому еще, что это—былъ голосъ отъ имени того класса нашего общества, который самъ за себя въ прессѣ говорить не могъ и другихъ „цѣльныхъ" выразителей не имѣлъ. Но сходя съ этой объективной почвы, нельзя не сказать, что мнѣніе и голосъ одной партіи, какъ бы она велика и почтенна ни была, не можетъ быть никогда полной и цѣльной истиной. Истина только въ согласіи

голосовъ всѣхъ здоровыхъ и здравыхъ общественныхъ партій, ибо каждая партія есть, такъ сказать, кусокъ, неотъемлемый органъ цѣлаго, живого общественнаго тѣла. Какъ въ отдѣльномъ человѣческомъ тѣлѣ не можетъ и не долженъ пользоваться преимущественнымъ вниманіемъ голосъ одного органа, преимущественно передъ другими, а наоборотъ, всѣ они: и мозгъ, и ноги, и руки, и легкія, и сердце—одинаково заслуживаютъ вниманія, одинаково выслушиваются мозгомъ, и всякое преобладаніе одного органа или одной части тѣла влечетъ непремѣнную болѣзнь организма,—такъ и въ обществѣ: интересы, потребности чувства и идеи цѣлаго класса не могутъ быть игнорированы вовсе, они должны быть только примирены съ другими. Вотъ почему мы, стоя всегда за развитіе цѣлаго въ чисто народномъ, органическомъ направленіи, въ то-же время ни коимъ образомъ не можетъ сойтись съ славянофилами, а также многими другими нашими народниками и даже Достоевскимъ въ томъ, что они хотѣли, желали бы подавить совершенно интеллигенцію и ея живыя насущныя потребности. Въ самомъ дѣлѣ, интеллигенція, съ ея идеями, потребностями, идеалами, есть *фактъ*, фактъ историческій, фактъ если не столь обширный, какъ предыдущая партія, т. е. народъ, то во всякомъ случаѣ, фактъ по меньшей мѣрѣ представляющій собой до милліона людей, наиболѣе просвѣщенныхъ, наиболѣе знакомыхъ съ наукой, искусствомъ, и пр., и пр. Куда же вы дѣваете этотъ фактъ? Повторимъ здѣсь то, что говорится въ другой нашей статьѣ о новой брошюрѣ г. Неплюева: „нигдѣ въ природѣ разъ потребленная энергія не пропадаетъ даромъ. Наша интеллигенція поглотила такую сумму энергіи, вложенной въ народный трудъ, что проповѣдывать, будто эта энергія должна погибнуть безплодно (для народа, а не возвратиться къ нему въ видѣ новой формы—труда умственнаго, нравственнаго и пр.), это значитъ — идти противъ основного закона природы“. Въ другомъ мѣстѣ той же статьи мы говоримъ, что интеллигенція, ея развитіе, ея идеи, ея научныя знанія суть *кристализовавшійся* трудъ народа. К

кимъ же образомъ дѣлать такую ампутацію, какъ устраненіе органа, на который употреблена самая большая масса народной жизни, труда,—употреблена почти цѣлая исторія! Это, значитъ, сдѣлать все прошедшее этого народа совершенно безплоднымъ. Но, не только объ совершенномъ устраненіи интеллигенціи нельзя говорить, нельзя даже говорить о необходимости полнаго *преобладанія* надъ нею въ политическомъ смыслѣ какого бы то ни было класса, даже народа: необходимо то, что въ физіологіи называется consensus, необходимо, чтобы ни интеллигенція не преобладала, ни народъ, а чтобы они уравновѣшивали другъ друга: вотъ идеалъ чисто органическій. Подавить цѣлый органъ въ обществѣ такъ-же нельзя, какъ и въ тѣлѣ. Нельзя подавить функціи мозга, сердца и легкихъ, не поразивъ весь организмъ величайшими и опаснѣйшими болѣзнями. Всякое насильственное преобладаніе или неравновѣсіе, т. е. перевѣсъ, не можетъ не сопровождаться насильственнымъ притѣсненіемъ многихъ потребностей, среди которыхъ могутъ и должны быть совершенно здравыя и совершенно естественныя. А такое подавленіе здоровыхъ и естественныхъ потребностей въ десяткахъ и сотняхъ тысячъ людей, сильныхъ своимъ образованіемъ и знаніями, не можетъ не имѣть печальныхъ болѣзненныхъ послѣдствій. По нашему мнѣнію, это можетъ произвести такое же зло, какъ и обратный фактъ, когда интеллигенція ломаетъ жизнь народа, только по своимъ интересамъ и тенденціямъ, не соображаясь съ народными чувствами и потребностями въ ихъ *цѣломъ*. Это слово мы потому подчеркиваемъ, что до сихъ поръ большинство нашей интеллигенціи, какъ мы видѣли, участвуя,—преимущественно словомъ, въ государственной жизни, воображала, будто-бы она вполнѣ народна, если беретъ какую-нибудь одну народную потребность, напримѣръ, экономическую и валитъ съ ней, что называется, напроломъ. Нечего и говорить, что здѣсь представляется такая же ошибка, такое же неуваженіе къ народности, какъ и въ тенденціи славянофиловъ —ломить напроломъ съ нѣкоторыми другими народными потребностями, также оторванными отъ цѣлаго.

Эти господа, т. е. первые и вторые, поступаютъ совершенно такъ-же, какъ тотъ ребенокъ, который, желая услужить бѣдной матери, и зная, что та любитъ апельсины, укралъ бы у нея же деньги и купилъ бы апельсины. Стремясь напроломъ къ удовлетворенію одной изъ народныхъ потребностей, игнорируя другія, или даже только дѣйствуя средствами, противными чувствамъ народа, интеллигенція всегда будетъ только увеличивать его неудовольствіе на себя и непроходимую рознь. Но невозможно, повторяю, заставить и интеллигенцію отказаться отъ того, что составляетъ ея здоровую, насущную потребность, нисколько не вредящую народу и не идущую въ разрѣзъ съ его основными чувствами и понятіями. А вотъ такое-то приниженіе, совершенно ни къ чему не ведущее, кромѣ зла, иногда проповѣдывалъ Достоевскій, отчасти съ голоса славянофиловъ, и тутъ онъ былъ абсолютно неправъ. Тутъ крылась просто или ошибка, или недостаточное знаніе, или черезчуръ большое увлеченіе своей задачей, а больше всего, повторяемъ, это было результатомъ вліянія славянофильства, которое несомнѣнно имѣло свое дѣйствіе на Достоевскаго при образованіи имъ, — теоретическимъ и творчески-художественнымъ путемъ,—его народнаго образа, которому онъ служилъ. Иными словами, Достоевскій думалъ, со словъ славянофиловъ, что нѣкоторыя изъ потребностей интеллигенціи (вполнѣ безвредныя и совершенно непротиворѣчащія народнымъ чувствамъ) будто-бы почему-то имъ должны противорѣчить. Впрочемъ, это—явственное свойство сильно увлекающагося чувства, начавъ разъ отрицать что-либо вредное (а таковы, дѣйствительно, нѣкоторыя анти-народныя стремленія интеллигенціи и вообще ея непривычка или неумѣніе соображаться съ духомъ народа)—задѣвать и такія стороны жизни, которыя только находятся въ ассоціаціи, въ какой-нибудь случайной связи съ вредными началами, будучи сами по себѣ полезными и даже необходимыми. Такъ рубя сухой лѣсъ, невольно топчутъ и сосѣдній живой кустарникъ. Такъ славянофилы, преслѣдуя совершенно справедливо недостатокъ *внимательности* интеллигенціи къ скла-

народнаго духа, часто инсинуируютъ совершенно напрасно и крайне вредно на то, что не имѣетъ съ такимъ игнорированіемъ ничего общаго... И такъ, этотъ вопросъ можетъ быть исчерпанъ, если мы предложимъ формулу, на которой слѣдовало бы сойтись и всей нашей интеллигенціи, и поклонникамъ Достоевскаго, и поклонникамъ славянофильства. Эта формула такова: интеллигенція и народъ суть лишь различные органы одного и того же тѣла, одинаково достойные вниманія въ своихъ здоровыхъ, естественныхъ потребностяхъ, конечно, тѣхъ, которыя не вредятъ цѣлому, и при томъ, которыя не вредятъ каждому изъ этихъ естественныхъ, исторически-сложившихся органовъ. Полагаю, если бы славянофилы держались этой формулы, если бы они хладнокровно и строго разбирали, какія потребности и нужды интеллигенціи не противны ни чувствамъ ни понятіямъ народа,—отъ тѣхъ, которыя прямо и рѣзко идутъ въ разрѣзъ съ ними,—то интеллигенція наша давно примирилась бы съ славянофильствомъ. И, наоборотъ, если бы интеллигенція признала, что въ славянофильствѣ есть доля правды, а именно идея „органичнаго развитія" (тутъ дѣло вовсе не въ органической теоріи обществъ), — признанная лучшими европейскими мыслителями и особенно прямо установленная Контомъ,—если бы интеллигенція признала, что нельзя служить одной какой-нибудь сторонѣ жизни народа и въ то же время прать противу основныхъ началъ народной психики въ ихъ *цѣломъ*, которыя суть фактъ, его-жъ не перескочишь, фактъ заявляемый ежедневно народомъ, но передъ которымъ интеллигенція привыкла только вопіять да ужасаться (это ужъ совсѣмъ нелѣпо: надо этотъ фактъ знать и помнить, что онъ фактъ, его-же не перескочишь),—и тогда у насъ не было-бы многой и многой путаницы и ерунды, совершающейся нынѣ".

* * *

Теперь обратимся къ тѣмъ русскимъ литературнымъ партіямъ, личные и общественные идеалы которыхъ рѣзко отличаютъ ихъ отъ прочихъ партій и къ которымъ въ томъ

или другомъ отношеніи не безъ основанія причисляли и Ѳ. М. Достоевскаго. Выразителями мнѣній, убѣжденій, идеаловъ и вообще міросозерцанія сказанныхъ партій служатъ преимущественно два извѣстные, выдающіеся органа печати, съ значительнымъ однако оттѣнкомъ разногласія между собою въ нѣкоторыхъ вопросахъ — это „Московскія Вѣдомости" съ „Русскимъ Вѣстникомъ" г-на Каткова и „Русь" г-на Аксакова.

Помѣщаемъ прежде отзывы о Достоевскомъ самыхъ редакцій органовъ гг. Каткова и Аксакова, а за ними послѣдуютъ критики гг. Влад. Соловьева, Н. Страхова и друг.

*) „Достоевскому воздается честь не просто какъ писателю, не просто какъ литературному таланту. Въ немъ особенно цѣнно, особенно дорого то духовное направленіе, которое въ немъ выработалось его жизнью. Онъ принадлежалъ къ числу избранныхъ душъ, которыя неутомимо ищутъ правды, ищутъ Бога. Вотъ въ чемъ, въ этомъ исканіи Бога, истинный прогрессъ и человѣка и человѣчества! Какъ бы въ этомъ исканіи ни заблуждался человѣкъ, оно спасетъ его, оно выведетъ его на путь, если только исканіе правды само правдиво и идетъ изъ глубины души. Въ комъ живетъ это животворящее духовное начало, тотъ выдержитъ всякое испытаніе, тотъ не изнеможетъ ни въ какой борьбѣ. Много тяжкаго перенесъ Достоевскій въ своей жизни. Буря застигла его на самомъ расцвѣтѣ его жизни. Въ своихъ молодыхъ великодушныхъ, но еще неопредѣленныхъ порывахъ къ добру и правдѣ, онъ оступился, подпалъ подъ ударъ суроваго закона — и очутился на каторгѣ. Не будь въ немъ Бога, онъ бы озлобился, ожесточился бы и упалъ бы безповоротно съ высоты своихъ мечтаній. Но для него страшное бѣдствіе стало путемъ истиннаго, глубокаго совершенствованія; оно зародило въ немъ духовнаго человѣка. Быть можетъ, онъ не вышелъ бы тѣмъ, чѣмъ онъ сталъ въ своей дѣятельности, если бы Богъ не судилъ ему этого испытанія. Талантъ его не получилъ бы такого развитія, и

*) „Московскія Вѣдомости" 1881 г., № 33 и „Русскій Вѣстникъ" 1881 г., №

не выработался бы въ немъ тотъ духовный строй, который характеризуетъ его по преимуществу, въ которомъ заключается его главное достоинство, какъ писателя. Изъ неопредѣленныхъ и смутныхъ исканій, онъ мало-по-малу вышелъ на тотъ узкій и единственный путь, который ведетъ къ истинѣ. Онъ обратился на самого себя, онъ вступилъ въ борьбу съ самимъ собой, въ борьбу упорную, неутомимую; въ себѣ самомъ, а не въ другихъ, казнилъ онъ безпощадно все дурное и порочное человѣческой природы, и чѣмъ болѣе онъ очищался и овладѣвалъ собой, тѣмъ глубже становился онъ сыномъ своего народа и христіаниномъ вѣрующимъ въ простотѣ сердца. Въ русскомъ народномъ чувствѣ обрѣлъ онъ Христа, и все что было въ немъ идеальнаго, стремящагося, всѣ его исканія сосредоточились здѣсь. Въ своихъ сужденіяхъ и оцѣнкахъ онъ могъ ошибаться, и не столько отдѣльными мыслями производилъ онъ доброе дѣйствіе на умы, сколько общимъ строемъ своей души, общимъ направленіемъ своихъ помысловъ. Въ немъ мы видимъ русскій умъ, который свои идеалы ищетъ и находитъ не въ пустотѣ, не въ отвлеченностяхъ, не на чужбинѣ, а въ живой душѣ своего народа. Заслуга Достоевскаго какъ писателя именно въ томъ состоитъ, что онъ со всею искренностію и со всею силой своего дара почувствовалъ и обрѣлъ высшую правду въ своемъ народномъ чувствѣ, и прежде всего духъ милосердія, самое христіанское въ христіанствѣ начало, которое, мы чувствуемъ, живетъ въ глубинѣ нашей народности и въ которомъ таится ея истинная сила. Въ своихъ произведеніяхъ Достоевскій часто изображаетъ нравственно больныхъ, прокаженныхъ людей. Никакого безобразія онъ не отвращался, никакого ужаса не пугался, никакой наготой не смущался. Его анализъ простирался до мельчайшихъ подробностей нравственныхъ недуговъ, и надо удивляться тому спокойствію, той, казалось, бы безпощадной тонкости, съ какою работалъ его анатомическій ножъ. Не то ли это, что называется обличеніемъ? Нѣтъ. Не то ли, что называется *реализмомъ* въ искусствѣ? Нѣтъ. Былъ ли это безстрастный

наблюдатель въ интересѣ какой-нибудь науки или искусства? Или, наконецъ, не походилъ ли онъ на врача, который добросовѣстно относится къ своимъ больнымъ, но видитъ въ нихъ не болѣе, какъ патологическіе случаи? Нѣтъ, если онъ походилъ на кого, то развѣ на беззавѣтно преданную, Богу обрекшую себя, безконечно проникнутую чувствомъ своего служенія сестру милосердія, которая не гнушается никакою язвой, не брезгаетъ никакимъ гноемъ, и вся озабочена только тѣмъ, чтобъ облегчить страданія болящаго. Онъ въ своихъ анализахъ ищетъ правды, и идетъ все глубже и глубже, идетъ до конца, ничѣмъ не смущаясь, пока подъ этою гадостію, подъ этою мерзостію, не почуется, не послышится сама эта больная, трепещущая, забывшая себя, заглохшая душа человѣческая. И намъ становится понятна эта кропотливость анализа, и въ этихъ подробностяхъ, возбуждавшихъ въ насъ гадливое чувство, мы усматриваемъ дѣло любви, которая ищетъ Бога въ человѣкѣ и не отчаивается найти человѣка въ одичаломъ и погибшемъ существѣ. Умъ обнаруживается въ высотѣ и широтѣ соображеній; любовь же испытывается и даетъ чувствовать свою благодать въ тѣснотѣ подробностей."

⁂

*) Истинно событіемъ стала для нашего общества смерть Достоевскаго, событіемъ внутреннимъ, нравственнаго и духовнаго міра. Бываютъ минуты въ жизни частныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ, когда внезапно озарится свѣтомъ все невѣдомое, сокровенное души, когда нежданно-негаданно воспрянетъ со дна ея несознанная, забытая или презрѣнная правда и властительнымъ порывомъ высвободитъ ее, хоть на мигъ, изъ сѣтей лжи и лукаваго мудрованія. Задержать эту минуту, утвердить ее въ сознаніи, поставить ее себѣ ступенью — это уже значитъ двинуться впередъ... Но не всегда такъ бываетъ, и приходится ждать новыхъ событій—новыхъ потрясающихъ ударовъ...

*) „Русь" 1881 г., № 13.

Глубоко знаменателенъ этотъ единодушный всеобщій взрывъ скорби и сочувствія къ умершему. Отъ царя (къ Его вящщей славѣ) до послѣдняго студента — всѣ почтили писателя. Еще никогда никого *такъ* не хоронили; ничего подобнаго не видывалъ Петербургъ. Всѣ эти внезапныя, не предуготовленныя, а потому несомнѣнно искреннія изъявленія участія, признательности, уваженія, какъ со стороны представителей власти и церкви, такъ со стороны общества безъ различія партій и направленій, и особенно со стороны учащейся молодежи, — все это чествованіе, такъ нечаянно, само собою, вдохновенно сложившееся, исполнено важнаго смысла. Въ самомъ дѣлѣ, кого же и за что чествовали въ Петербургѣ съ такимъ непритворнымъ, безотчетнымъ увлеченіемъ и общество и молодежь? Да и въ одномъ ли Петербургѣ, и теперь ли только? Кто и чѣмъ, мѣсяцевъ восемь тому назадъ, вызвалъ цѣлую бурю восторговъ, въ приснопамятные дни Пушкинскаго празднества, на Московскомъ литературномъ соборѣ, среди общества? Мы тогда же назвали рѣчь Достоевскаго и впечатлѣніе имъ произведенное „событіемъ“, но оно было лишь предтечею того великаго смятенія любви и горя, которымъ объятъ былъ весь мыслящій городъ при вѣсти о кончинѣ, когда не то, или другое, случайное слово, а весь нравственный образъ, весь жизненный подвигъ писателя мгновенно предсталъ предъ обществомъ во всей своей *цѣлокупности* (по его собственному, любимому выраженію).

Кого чествовали и за что? Проповѣдника ли иностранныхъ политическихъ доктринъ? Сторонника ли извѣстныхъ западныхъ государственныхъ и гражданскихъ учрежденій? „Либерала“ ли въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляетъ это слово наша печать, такъ-таки и величающая себя „либеральной“, — такого „либерала“-писателя, который если не прямо, открыто, то въ художественныхъ образахъ, между строкъ или намеками, давалъ подразумѣвать о своихъ симпатіяхъ? Но никто рѣшительнѣе, энергичнѣе Достоевскаго не возставалъ на европейскій либерализмъ русской интеллигенціи: бороться съ нимъ считалъ онъ необходи-

мымъ, „доколѣ перо будетъ въ его рукахъ“, какъ выразился онъ самъ въ „Дневникѣ“ 1880 года.

Но, возразятъ намъ, такихъ закоренѣлыхъ чистокровныхъ западниковъ, какіе бывали прежде, теперь уже мало. Либералы новѣйшаго закала мечтаютъ о политическихъ формахъ свободы—въ русскомъ вкусѣ и образѣ, и Достоевскій, можетъ статься, былъ не чуждъ этого направленія? Кому же однако не вѣдомо, что для Достоевскаго все дѣло было не во внѣшней формѣ, а *въ духѣ;* что онъ въ душѣ своей былъ искреннимъ врагомъ всякой политической формальной свободы, которая бы могла лишь усилить власть и значеніе нашей европействующей интеллигенціи и исказить органическій саморостъ русскаго народа, своеобразность и свободу его духовнаго развитія. Да и вообще политическія государственныя формы мало его занимали: не въ нихъ видѣлъ онъ главное зло, не въ нихъ и спасеніе. Однимъ словомъ: политическія убѣжденія русскаго народа были и его убѣжденіями.

Кого чествовали, спросимъ снова: соціалиста ли, соціалъ-демократа? Да, пожалуй, онъ былъ соціалистомъ, во сколько само Евангеліе можетъ почитаться соціалистической доктриной! и не въ смыслѣ даже германской соціально-христіанской школы, а въ смыслѣ его собственныхъ словъ въ первомъ и послѣднемъ выпускѣ его „Дневника“ на 1881 годъ: „не въ коммунизмѣ — говоритъ онъ — не въ механическихъ формахъ заключается соціализмъ русскаго народа: онъ вѣритъ, что спасется лишь въ концѣ концовъ *всесвѣтнымъ единеніемъ во имя Христово...* Вотъ нашъ русскій соціализмъ! вотъ надъ присутствіемъ въ народѣ русскомъ этой высшей единительной „Церковной“ идеи вы и смѣетесь, господа европейцы наши“... Послѣ этой выписки кажется уже совершенно излишнимъ ставить вопросъ: чествуется ли Достоевскій какъ поборникъ *позитивизма, матеріализма* и тому подобныхъ ученій?!...

Что же могло нравиться въ немъ, въ особенности молодымъ людямъ? Смѣлыя ли выходки противъ предержащихъ властей, язвительный-ли протестъ противъ оффи-

альныхъ „существующихъ порядковъ“, мѣткая-ли злая сатира гражданскаго строя, художественная ли проповѣдь остроумія? Ни даже тѣни ничего подобнаго не встрѣчается въ его сочиненіяхъ,—потому что и въ самомъ сердцѣ этого бывшаго каторжника не было и слѣда озлобленія или ропота; потому что не процессомъ мертвящаго отрицанія, но преизбыткомъ любви, жизненною силою вѣрующаго духа, торжествомъ нравственной правды въ сердцахъ человѣческихъ училъ онъ превозмогать неправду внѣшнихъ явленій. Не онъ ли, напротивъ, превозносилъ долготерпѣніе и смиреніе русскаго народа? не онъ ли, въ лицѣ „страждущихъ“ и „гонимыхъ“, въ своихъ художественныхъ созданіяхъ благословляетъ самое страданіе и наказаніе, какъ путь къ очищенію, къ возрожденію въ себѣ новаго человѣка?.. Пусть и такъ скажутъ намъ, но именно его сочувствіе къ „униженнымъ и оскорбленнымъ“, къ презрѣнному мелкому, бѣдному люду, его „гуманитарное „направленіе, оно-то и влекло къ нему сердца... Несомнѣнно влекло,—но приводило къ иному нравственному выводу, нежели такое же, повидимому, сочувствіе прочихъ нашихъ „гуманитарныхъ“ романистовъ и поэтовъ. Относительно разницы, вѣрнѣе сказать, противоположности этихъ выводовъ нельзя ошибаться. Такъ, кто смѣшиваетъ ихъ, для кого Достоевскій представляется только наставникомъ гуманности *за одно* съ другими нашими писателями отрицательнаго направленія, тотъ или поступаетъ недобросовѣстно или ничего не смыслитъ. У послѣднихъ сочувствіе относилось не столько къ человѣку, сколько къ представителю извѣстнаго общественнаго класса или сословія, страждущаго отъ внѣшней неравноправности, отъ неправильности соціальнаго положенія, а потому всегда болѣе или менѣе окрашено тенденціозностью условной, политической или соціальной доктрины. Задача писателей этого разряда—вызвать, вмѣстѣ съ участіемъ къ соціальной обстановкѣ воспроизведенныхъ лицъ, негодованіе и бунтъ въ душѣ читателя противъ неравномѣрности въ распредѣленіи матеріальныхъ благъ и несправедливости общественныхъ условій. Него-

дованіе на несправедливость, конечно, благое и честное дѣло;
это вопль самой правды, уязвленной въ душѣ человѣка,—
но только то негодованіе, которое само не переступает
предѣловъ истины, не переходитъ въ вожделѣніе мести
не сдвигаетъ человѣка съ строго нравственной почвы н
путь внѣшняго насилія. Совсѣмъ иную задачу имѣетъ До-
стоевскій. Идея внѣшней, соціальной равноправности блѣд-
нѣла и исчезала для него въ *высшей* идеѣ — въ христіан-
ской идеѣ *братства*. Эти униженные, эти оскорбленные
эти презираемые міромъ—это наши братья о Христѣ, эт
тѣ евангельскіе мытари и блудницы, къ которымъ, как
во дни оны, такъ и теперь не рѣдко входитъ и пребыва-
етъ въ ихъ смрадныхъ жилищахъ Христосъ, минуя бога-
тыхъ и гордыхъ. Не презирай,—твердитъ намъ Достоевскі
съ первой до послѣдней написанной имъ строки,—не пре-
зирай ни уничиженнаго, ни злодѣя, ни преступника, пото-
му что вся вселенная не стоитъ единой души человѣческой
потому что каждая куплена дорогою цѣною — крестомъ и
кровью Христа,—потому что нѣтъ души, въ которой бы бо-
жественная искра не могла вспыхнуть очищающимъ пла-
менемъ, предъ нимъ же померкнетъ вся твоя заурядная до-
бродѣтель: вотъ любимая тема писателя, столько лѣт
прожившаго бокъ о бокъ съ клейменными злодѣями и умѣв-
шаго въ каждомъ признать человѣка, опознать брата и Бога..
Такъ вотъ какого писателя почтило такъ единодушно наш
общество, вотъ кому несла наша русская учащаяся молодежь
движимая благороднѣйшими, чистѣйшими, лучшими инстин-
ктами юности, дань горячей любви и благодарности. Н
матеріалисту несла она эту дань, не позитивисту, не соціа-
листу, не европейцу-либералу, и не наставнику гуманита-
ризма, а писателю-*мистику*: безстрашному (ибо въ наш
дни нужно для сего мужество), непостыдному исповѣдник
имени Господня...

*
* *

*) Чему служилъ Достоевскій, какая идея вдохновляла всю его дѣятельность? Остановиться на этомъ вопросѣ тѣмъ естественнѣе, что ни подробности частной жизни, ни художественныя достоинства или недостатки его произведеній не объясняютъ сами по себѣ того особеннаго вліянія, которое онъ имѣлъ въ послѣдніе годы своей жизни, и того чрезвычайнаго впечатлѣнія, которое произвела его смерть. Съ другой стороны и тѣ ожесточенные нападки, которымъ все еще подвергается память Достоевскаго, направлены никакъ не на эстетическую сторону его произведеній, ибо всѣ одинаково признаютъ въ немъ первостепенный художественный талантъ, возвышающійся иногда до геніальности, хотя и не свободный отъ крупныхъ недостатковъ. Но та идея, которой служилъ этотъ талантъ, для однихъ является истинной и благотворной, а другимъ представляется фальшивою и вредною. Окончательная оцѣнка всей дѣятельности Достоевскаго зависитъ отъ того, какъ мы сами смотримъ на одушевлявшую его идею, на то, во что онъ вѣрилъ и что любилъ. „А любилъ онъ прежде всего живую человѣческую душу во всемъ и вездѣ, и вѣрилъ онъ, что мы всѣ *родъ Божій*, вѣрилъ въ безконечную силу человѣческой души, торжествующую надъ всякимъ внѣшнимъ насиліемъ и надъ всякимъ внутреннимъ паденіемъ. Принявъ въ свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолѣвъ все это безконечною силою любви, Достоевскій во всѣхъ своихъ твореніяхъ возвѣщалъ эту побѣду. Извѣдавъ *божественную* силу въ душѣ, пробивающуюся черезъ всякую человѣческую немощь, Достоевскій пришелъ къ познанію Бога и Богочеловѣка. *Дѣйствительность* Бога и Христа открылась ему во *внутренней* силѣ любви и всепрощенія, и эту же всепрощающую благодатную силу проповѣдывалъ онъ какъ основаніе и для внѣшняго осуществленія на землѣ того царства правды, котораго онъ жаждалъ и къ которому стремился всю свою жизнь“ **). Мнѣ кажется, что на Достоевскаго нельзя смо-

*) Влад. Соловьевъ. „Три рѣчи въ память Достоевскаго“. Москва, 1884 г.
**) Изъ словъ, сказанныхъ на могилѣ Достоевскаго 1-го февраля 1881 г.

рѣть какъ на обыкновеннаго романиста, какъ на талантливаго и умнаго литератора. Въ немъ было нѣчто большее, и это большее составляетъ его отличительную особенность и объясняетъ его дѣйствіе на другихъ. Въ подтвержденіе этого можно было бы привести очень много свидѣтельствъ. Ограничусь однимъ, достойнымъ особаго вниманія. Вотъ что говоритъ гр. Л. Н. Толстой въ письмѣ къ Н. Н. Страхову: „Какъ бы я желалъ умѣть сказать все, что я чувствую о Достоевскомъ. Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видалъ этого человѣка и никогда не имѣлъ прямыхъ отношеній съ нимъ; и вдругъ, когда онъ умеръ, я понялъ, что онъ былъ самый близкій, дорогой, нужный мнѣ человѣкъ. И никогда мнѣ въ голову не приходило мѣряться съ нимъ, никогда. Все что онъ дѣлалъ (хорошее, настоящее, что онъ дѣлалъ), было такое, что чѣмъ больше онъ сдѣлаетъ, тѣмъ мнѣ лучше. Искусство вызываетъ во мнѣ зависть, умъ тоже, но дѣло сердца—только радость. Я его такъ и считалъ своимъ другомъ и иначе не думалъ, какъ то, что мы увидимся и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдругъ читаю—умеръ. Опора какая-то отскочила отъ меня. Я растерялся, а потомъ стало ясно, какъ онъ мнѣ былъ дорогъ, и я плакалъ и теперь плачу. На дняхъ, до его смерти, я прочелъ „Униженные и Оскорбленные“ и умилялся.“ А въ другомъ прежнемъ письмѣ: „На дняхъ я читалъ „Мертвый домъ“. Я много забылъ, перечиталъ, и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина. Не тонъ, а точка зрѣнія удивительна: искренняя, естественная и христіанская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера цѣлый день, какъ давно не наслаждался. Если увидите Достоевскаго, скажите ему, что я его люблю“ *). Тѣ сердечныя качества и та точка зрѣнія, на которыя указываетъ гр. Толстой, тѣсно связаны съ той господствующей идеей, которую Достоевскій носилъ въ себѣ цѣлую жизнь, хотя лишь подъ конецъ сталъ вполнѣ

*) Въ I томѣ Собр. соч. Достоевскаго, приложенія, стр. 69 и 67.

овладѣвать ею... По роду своей дѣятельности, принадлежа къ художникамъ романистамъ и уступая нѣкоторымъ изъ нихъ въ томъ или другомъ отношеніи, Достоевскій имѣетъ передъ ними всѣми то главное преимущество, что видитъ не только вокругъ себя, но и далеко впереди себя... Кромѣ Достоевскаго всѣ наши лучшіе романисты берутъ окружающую ихъ жизнь такъ, какъ они ее застали, какъ она сложилась и выразилась,—въ ея готовыхъ, твердыхъ и ясныхъ формахъ. Таковы въ особенности романы Гончарова и гр. Льва Толстого. Оба они воспроизводятъ русское общество, выработанное вѣками (помѣщиковъ, чиновниковъ и иногда крестьянъ) въ его бытовыхъ, давно существующихъ, а частію отжившихъ или отживающихъ формахъ. Романы этихъ двухъ писателей рѣшительно однородны по своему художественному предмету, при всей особенности ихъ талантовъ. Отличительная особенность Гончарова—это сила художественнаго обобщенія, благодаря которой онъ могъ создать такой всероссійскій типъ, какъ Обломова, равнаго которому *по широтѣ* мы не находимъ ни у одного изъ русскихъ писателей **).—Что же касается до Л. Толстого, то всѣ его произведенія отличаются не столько широтой типовъ (ни одинъ изъ его героевъ не сталъ нарицательнымъ именемъ), сколько мастерствомъ въ детальной живописи, яркимъ изображеніемъ всякихъ подробностей въ жизни человѣка и природы, главная же его сила въ тончайшемъ воспроизведеніи *механизма душевныхъ явленій*. Но и эта живопись внѣшнихъ подробностей, и этотъ психологическій анализъ являются на неизмѣнномъ фонѣ готовой, сложившейся жизни, именно жизни русской дворянской семьи, оттѣняемой еще болѣе неподвижными образами изъ простого люда. Солдатъ Каратаевъ слишкомъ смиренъ, чтобы заслонять собою господъ, и даже всемірно-историческая фигура Наполеона не можетъ раздвинуть этого тѣснаго горизонта: владыка Европы показывается

**) Въ сравненіи съ Обломовымъ Фамусовы, Молчалины, Онѣгины и Печорины, Маниловы и Собакевичи, не говоря уже о герояхъ Островскаго, всѣ имѣютъ лишь *спеціальное* значеніе.

лишь на столько, на сколько соприкасается съ жизнью русскаго барина; а это соприкосновеніе можетъ ограничиваться очень не многимъ, напримѣръ, знаменитымъ умываньемъ, въ которомъ Наполеонъ графа Толстого достойно соперничаетъ съ гоголевскимъ генераломъ Бетрищевымъ.— Въ этомъ неподвижномъ мірѣ все ясно и опредѣленно, все установилось; если есть желаніе чего-то другого, стремленіе выйти изъ этихъ рамокъ, то это стремленіе обращено не впередъ, а назадъ, къ еще болѣе простой и неизмѣнной жизни,—къ жизни природы („Казаки“, „Три смерти“).

Совершенно противоположный характеръ представляетъ художественный міръ Достоевскаго. Здѣсь все въ броженіи, ничего не установилось, все еще только становится. Предметъ романа здѣсь не *бытъ* общества, а общественное *движеніе*. Изо всѣхъ нашихъ замѣчательныхъ романистовъ одинъ Достоевскій взялъ общественное движеніе за главный предметъ своего творчества. Обыкновенно съ нимъ сопоставляютъ въ этомъ отношеніи Тургенева, но безъ достаточнаго основанія. Чтобы характеризовать общее значеніе писателя, надо брать его лучшія, а не худшія произведенія. Лучшія же произведенія Тургенева въ особенности „Записки Охотника“ и „Дворянское Гнѣздо“ представляютъ чудесныя картины не какъ общественнаго движенія, а лишь общественнаго *состоянія*,—того же стараго дворянскаго міра, который мы находимъ у Гончарова и у Л. Тостого. Хотя за тѣмъ Тургеневъ постоянно слѣдилъ за нашимъ общественнымъ движеніемъ и отчасти подчинялся его вліянію, но смыслъ этого движенія не былъ имъ угаданъ, и романъ, спеціально посвященный этому предмету („Новь“), оказался совершенно неудачнымъ *). Достоевскій не подчинялся вліянію господствующихъ кругомъ него настроеній, не слѣдовалъ покорно за фазисами общественнаго движенія,—онъ предугадывалъ повороты этого

*) Хотя Тургеневу принадлежитъ слово „нигилизмъ“, въ общеупотребительномъ его значеніи, но практическій смыслъ нигилистическаго движенія не былъ имъ угаданъ, и позднѣйшія его проявленія, далеко ушедшія отъ разговоровъ Базарова, были для автора „Отцовъ и Дѣтей“ тяжкою неожиданностью.

движенія и заранѣе *судилъ* ихъ. А судить онъ могъ по праву, ибо имѣлъ у себя мѣрило сужденія въ своей вѣрѣ, которая ставила его выше господствующихъ теченій, позволяла ему видѣть гораздо дальше этихъ теченій и не увлекаться ими. Въ силу своей вѣры Достоевскій вѣрно предугадывалъ высшую, далекую цѣль всего движенія, ясно видѣлъ его уклоненія отъ этой цѣли, по праву судилъ и справедливо осуждалъ ихъ. Это справедливое осужденіе относилось только къ невѣрнымъ путямъ и дурнымъ пріемамъ общественнаго движенія, а не къ самому движенію, необходимому и желанному: это осужденіе относилось къ низменному пониманію общественной правды, къ ложному общественному идеалу, а не къ исканію общественной правды, не къ стремленію осуществить общественный идеалъ. Этотъ послѣдній и для Достоевскаго былъ впереди: онъ вѣрилъ не въ прошедшее только, но и въ грядущее Царство Божіе, и понималъ необходимость труда и подвига для его осуществленія. Кто знаетъ истинную цѣль движенія, тотъ можетъ и долженъ судить уклоненія отъ нея. А Достоевскій тѣмъ болѣе имѣлъ на это право, что онъ самъ первоначально испыталъ тѣ уклоненія, самъ стоялъ на той невѣрной дорогѣ. Положительный религіозный идеалъ, такъ высоко поднявшій Достоевскаго надъ господствующими теченіями общественной мысли, этотъ положительный идеалъ не дался ему сразу, а былъ выстраданъ имъ въ тяжелой и долгой борьбѣ. Онъ судилъ о томъ, что зналъ, и судъ его былъ праведенъ. И чѣмъ яснѣе становилась для него высшая истина, тѣмъ рѣшительнѣе долженъ былъ онъ осуждать ложные пути общественнаго дѣйствія. Общій смыслъ всей дѣятельности Достоевскаго, или значеніе Достоевскаго, какъ общественнаго дѣятеля, состоитъ въ разрѣшеніи этого двойнаго вопроса: о высшемъ идеалѣ общества и о настоящемъ пути къ его достиженію... Законная причина соціальнаго движенія заключается въ противорѣчіи между нравственными требованіями личности и сложившимся строемъ общества. Отсюда началъ и Достоевскій, какъ описатель, толкователь и вмѣстѣ

съ тѣмъ дѣятельный участникъ новаго общественнаго движенія. Глубокое чувство общественной неправды, хотя и въ самой безобидной формѣ, высказалось въ его первой повѣсти „Бѣдные Люди". Соціальный смыслъ этой повѣсти (къ которой примыкаетъ и позднѣйшій романъ „Униженные и Оскорбленные") сводится къ той старой и вѣчно новой истинѣ, что при существующемъ порядкѣ вещей *лучшіе* (нравственно) люди суть вмѣстѣ съ тѣмъ *худшіе* для общества, что имъ суждено быть блѣдными людьми, униженными и оскорбленными. *).

Еслибы соціальная неправда осталась для Достоевскаго только темой повѣсти или романа, то и онъ самъ остался бы только литераторомъ и не достигъ бы своего особаго значенія въ жизни русскаго общества. Но для Достоевскаго содержаніе его повѣсти было вмѣстѣ съ тѣмъ жизненной задачой... Онъ сразу поставилъ вопросъ на нравственную и практическую почву. Увидавъ и осудивъ то, что дѣлается на свѣтѣ, онъ спросилъ: что же должно сдѣлать? Прежде всего представилось простое и ясное рѣшеніе: лучшіе люди, видящіе на другихъ и на себѣ чувствующіе общественную неправду, должны, соединившись, возстать противъ нея и пересоздать общество по своему. Когда первая наивная попытка исполнить это рѣшеніе привела Достоевскаго къ эшафоту и на каторгу, онъ, какъ и его товарищи, сначала могъ видѣть въ такомъ исходѣ своихъ замысловъ только свою неудачу и чужое насиліе. Приговоръ, его постигшій, былъ суровъ. Но чувство обиды не помѣшало Достоевскому понять, что онъ былъ не правъ съ своимъ замысломъ соціальнаго переворота, который былъ нуженъ только ему съ товарищами... Вмѣсто злобы неудачнаго революціонера Достоевскій вынесъ изъ каторги свѣтлый взглядъ нравственно-возрожденнаго человѣка. „Боль-

*) Это та же самая тема, какъ въ „Les Miserables" Виктора Гюго: контрастъ между внутреннимъ нравственнымъ достоинствомъ человѣка и его соціальнымъ положеніемъ. Достоевскій очень высоко цѣнилъ этотъ романъ, и самъ подвергся нѣкоторому, хотя довольно поверхностному вліянію Виктора Гюго (склонность къ антитезамъ). Болѣе глубокое вліяніе, помимо Пушкина и Гоголя, оказали на него Диккенсъ и Жоржъ-Зандъ.

ше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому, то все сдѣлано", писалъ онъ. Эта нравственная сила, обновленная соприкосновеніемъ съ народомъ, дала Достоевскому право на высокое мѣсто впереди нашего общественнаго движенія, не какъ служителю злобы дня, а какъ истинному двигателю общественной мысли. Положительный общественный идеалъ еще не былъ вполнѣ ясенъ уму Достоевскаго по возвращеніи изъ Сибири. Но три истины въ этомъ дѣлѣ были для него совершенно ясны: онъ понялъ прежде всего, что отдѣльныя лица, хотя бы и лучшіе люди, не имѣютъ права насиловать общество во имя своего личнаго превосходства; онъ понялъ также, что общественная правда не выдумывается отдѣльными умами, а коренится во всенародномъ чувствѣ, и наконецъ, онъ понялъ, что эта правда имѣетъ значеніе религіозное и необходимо связана съ вѣрой Христовой, съ идеаломъ Христа. Въ сознаніи этихъ истинъ Достоевскій далеко опередилъ господствовавшее тогда направленіе общественной мысли, и благодаря этому могъ *предугадать* и указать, куда ведетъ это направленіе. Извѣстно, что романъ „Преступленіе и Наказаніе" написанъ какъ разъ передъ преступленіемъ Данилова *) и Каракозова, а романъ „Бѣсы" — передъ процессомъ Нечаевцевъ. Если мы хотимъ однимъ словомъ обозначить тотъ общественный идеалъ, къ которому пришелъ Достоевскій, то это слово будетъ не народъ, а *Церковь*. Мы вѣримъ въ Церковь, какъ въ мистическое тѣло Христово; мы знаемъ церковь такъ-же, какъ собраніе вѣрующихъ того или другого исповѣданія. Но что такое церковь, какъ общественный идеалъ? Достоевскій не имѣлъ никакихъ богословскихъ притязаній, а потому и мы не имѣемъ права искать у него какихъ-нибудь логическихъ опредѣленій церкви по существу. Но проповѣдуя церковь, какъ общественный идеалъ, онъ выражалъ вполнѣ ясное и опредѣленное требованіе, столь же ясное и опредѣленное (хотя прямо противоположное), какъ и то требованіе, которое заявляется европей-

*) Даниловъ—студентъ Московскаго университета, убившій и ограбившій ростовщика, имѣя при этомъ какіе-то особые планы.

скимъ соціализмомъ. (По этому въ своемъ послѣднемъ дневникѣ Достоевскій и называлъ народную вѣру въ церковь нашимъ русскимъ соціализмомъ). Европейскіе соціалисты требуютъ насильственнаго низведенія всѣхъ къ одному чисто-матеріальному уровню сытыхъ и самодовольныхъ рабочихъ, требуютъ низведенія государства и общества на степень простой экономической ассоціаціи. „Русскій соціализмъ", о которомъ говорилъ Достоевскій, напротивъ, *возвышаетъ* всѣхъ до нравственнаго уровня церкви, какъ духовнаго братства, хотя и съ сохраненіемъ внѣшняго неравенства соціальныхъ положеній, требуетъ одухотворенія всего государственнаго и общественнаго строя, чрезъ воплощеніе въ немъ [illegible]ины и жизни Христовой. Церковь, какъ положительный общественный идеалъ, должна была явиться центральною идеей новаго романа или новаго ряда романовъ, изъ которыхъ написанъ только первый „Братья Карамазовы" *). Если этотъ общественный идеалъ Достоевскаго прямо противуположенъ идеалу тѣхъ современныхъ дѣятелей, которые изображены въ „Бѣсахъ", то точно также противуположны для нихъ и пути достиженія. Тамъ путь есть насиліе и убійство, здѣсь путь есть *нравственный подвигъ*, и притомъ двойной подвигъ, двойной актъ нравственнаго самоотреченія. Прежде всего требуется отъ личности, чтобы она отреклась отъ своего произвольнаго мнѣнія, отъ своей самодѣльной правды во имя общей всенародной вѣры и правды. Личность должна преклониться передъ народною вѣрой, но не потому что она народная, а потому что она истинная. А если такъ, то значитъ и народъ во имя этой истины, въ которую онъ вѣритъ, долженъ отречься и отрѣшиться отъ всего въ немъ самомъ, что не согласуется съ религіозною истиной. Обладаніе истиной не можетъ составлять привиллегіи народа, такъ-же какъ оно не можетъ быть привиллегіей отдѣльной личности.

*) Главную мысль, а отчасти и планъ своего новаго произведенія Достоевскій передавалъ мнѣ въ краткихъ чертахъ лѣтомъ 1878 г. Тогда же (а не въ 1879 г., какъ сказано по ошибкѣ въ воспоминаніяхъ Н. Н. Страхова) мы ѣздили въ Оптину Пустынь.

Истина можетъ быть только *вселенскою*, и отъ народа требуется подвигъ служенія этой вселенской истинѣ, хотя бы, и даже *непремѣнно*, съ пожертвованіемъ своего національнаго эгоизма. И народъ долженъ оправдать себя передъ вселенской правдой, и народъ долженъ положить душу свою, если захочетъ спасти ее. Вселенская правда воплощается въ церкви. Окончательный идеалъ и цѣль не въ народности, которая сама по себѣ есть только служебная сила, а въ церкви, которая есть высшій предметъ служенія, требующій нравственнаго подвига не только отъ личности, но и отъ цѣлаго народа. И такъ—церковь, какъ положительный общественный идеалъ, какъ основа и цѣль всѣхъ нашихъ мыслей и дѣлъ, и всенародный подвигъ, какъ прямой путь для осуществленія этого идеала—вотъ послѣднее слово, до котораго дошелъ Достоевскій, и которое озарило всю его дѣятельность пророческимъ свѣтомъ.

* * *

*) При концѣ своей жизни Достоевскій прямо высказывался за формулу *искусства для искусства*, т. е. за самостоятельность, за свободу художества, и точно также уже давно всѣ общественные идеалы онъ подчинилъ одному вѣковѣчному идеалу *Христа*. Съ Достоевскимъ случилось то же, что совершается вотъ уже болѣе столѣтія со всѣми нашими крупными писателями; всѣ они начали съ того, что увлекались *чужимъ*, и всѣ потомъ возвратились *къ своему*. Такъ было отчасти съ фонъ-Визинымъ и очень ясно съ Карамзинымъ, Грибоѣдовымъ, Пушкинымъ, Гоголемъ. Достоевскій въ этомъ отношеніи—новый соблазнъ нашимъ западникамъ, новый и огромный поводъ къ раздраженію противъ русской литературы. Эти внутренніе перевороты, совершающіеся у насъ съ лучшими душами, часто называютъ измѣной, отступничествомъ; но едва-ли на комъ такъ ясно можно видѣть, какъ на Достоевскомъ, что часто все дѣло тутъ только въ развитіи, въ раскрытіи задатковъ, лежавшихъ

*) Н. Страховъ. „Біографія, письма“ и т. д. и „Русь“ 1881 г., № 16.

въ натурѣ человѣка, а не въ перемѣнѣ однѣхъ чужихъ мыслей на другія — чужія-же. Съ первой своей повѣсти и до конца Достоевскій остался однимъ и тѣмъ же; ему нельзя было измѣниться, потому что уже въ этомъ первомъ произведеніи вылилась его душа, сказался весь складъ его пониманія жизни От природы этой души зависѣло то, какія именно вліянія на нее дѣйствовали. И онъ нашелъ вокругъ себя вліянія, поставившія его на его прекрасный путь, на тотъ русскій и христіанскій путь, который возбудилъ такое широкое и глубокое сочувствіе. Двѣ главныя силы спасли его отъ всякихъ одностороннostей и дали высокое и чистое направленіе его таланту: одна сила была русская литература, другая—русскій народъ, т. е. простой народъ... Пушкинъ и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замѣчательнымъ образомъ отразились уже въ первой повѣсти Достоевскаго, въ „Бѣдныхъ Людяхъ". Именно тутъ прямо и ясно выражено, что авторъ не вполнѣ доволенъ Гоголемъ и что прямымъ своимъ руководителемъ онъ признаетъ только Пушкина. Тутъ выведенъ на сцену чиновникъ, очень похожій на героя „Шинели" и „Записокъ Сумасшедшаго". Знакомая этого чиновника даетъ ему прочесть „Станціоннаго Смотрителя", тотъ очень хвалитъ повѣсть и очень жалѣетъ о бѣдномъ смотрителѣ. Потомъ та же знакомая посылаетъ Макару Дѣвушкину (такъ зовутъ героя „Бѣдныхъ Людей") „Шинель" Гоголя: Дѣвушкинъ обижается, узнавъ себя въ такомъ безжалостномъ изображеніи, упрекаетъ свою добрѣйшую знакомую, горюетъ, напивается пьянъ и подвергается всякимъ бѣдамъ и оскорбленіямъ. Такимъ образомъ безпощадная иронія Гоголя осуждена, какъ слишкомъ жестокое, сухое отношеніе къ людямъ Еще болѣе она осуждается тѣмъ, какъ изображенъ самъ Дѣвушкинъ. Между тѣмъ, какъ у Гоголя выставлена только одна ужасающая пустота и пошлость, Макаръ Дѣвушкинъ этотъ новый Поприщинъ, обладаетъ сокровищами нѣжности, самоотверженія, лучшихъ сердечныхъ чувствъ, о красотѣ которыхъ онъ самъ и не догадывается. Между тѣмъ какъ никто въ мірѣ не пожелалъ бы быть Акакіемъ Акакіев

чемъ или Поприщинымъ, всякій читатель долженъ съ завистью смотрѣть на несчастнаго Макара Дѣвушкина, всякій долженъ сознаться, что ему далеко до такой душевной красоты. Таковъ былъ первый шагъ Достоевскаго. Это была смѣлая и рѣшительная поправка Гоголя, существенный, глубокій переворотъ въ нашей литературѣ. Дѣло въ томъ, что поправка Гоголя была необходима *), что ее неминуемо должна была сдѣлать наша литература и дѣлаетъ ее до сихъ поръ, что въ извѣстномъ смыслѣ и всѣхъ другихъ нашихъ крупныхъ писателей, Островскаго, Л. Н. Толстого, можно считать поправкою Гоголя, можно въ этомъ видѣть главную ихъ оригинальность. Достоевскій началъ первый... Въ своей литературной дѣятельности Достоевскій проявилъ живучесть и энергію, какъ никто другой. У него были періоды ослабленія дѣятельности, какъ будто упадка; но потомъ онъ вдругъ подымался выше прежняго и показывался съ новой стороны. Такихъ подъемовъ можно насчитать четыре: первый—„Бѣдные Люди", второй—„Мертвый Домъ", третій—„Преступленіе и Наказаніе" и четвертый—„Дневникъ Писателя". Подъемы эти были поразительны для самыхъ близкихъ къ нему людей: въ немъ былъ настоящій запасъ силъ, что-то загадочное, не подчинявшееся обыкновенной постепенности развитія. Новые образы, новые планы романовъ, новыя задачи являлись у него безпрестанно, осаждали его. Это даже мѣшало ему работать, и иные изъ его романовъ составляютъ цѣлые клубки переплетшихся между собою темъ. Конечно, онъ написалъ только десятую долю тѣхъ романовъ, которые онъ уже обдумалъ, уже носилъ иногда въ себѣ многіе годы; нѣкоторые онъ разсказывалъ подробно и съ большимъ увлеченіемъ; а такимъ темамъ, которыхъ онъ не успѣвалъ разработать, у него конца не было. И вотъ онъ неутомимо изображаетъ тѣ лица и картины, которыя составили его славу. Онъ рисуетъ чудесныя идилліи среди ве-

*) Примѣчаніе, прибавленное въ „Руси": *„не поправка, а дополненіе"*, движеніе впередъ по открытому, намѣченному Гоголемъ пути. Мы предоставляемъ себѣ высказать когда-нибудь свое слово о Гоголѣ. Ред.

личайшей грязи; благородство, нѣжность, великодушіе въ пошлѣйшей обстановкѣ; онъ не дѣлаетъ своихъ лицъ, какъ Викторъ Гюго, театральными героями, не заставляетъ ихъ совершать чудесъ и подвиговъ; онъ твердо держится строгаго реализма, завѣщаннаго Гоголемъ, но въ величайшемъ безобразіи умѣетъ видѣть человѣческія черты. Онъ идетъ далѣе: онъ выводитъ передъ нами вереницу преступниковъ, полупомѣшанныхъ, идіотовъ, самоубійцъ, больныхъ физически и еще болѣе нравственно, и изображаетъ ихъ душевную жизнь съ удивительною точностію и объективностію, но онъ, какъ Диккенсъ, признаетъ за всѣми ними человѣческія права; онъ не ставитъ ихъ въ положеніе не людей, такихъ существъ, которыя должны быть чужды нормальному человѣческому обществу: у него „Идіотъ" выходитъ лучше самыхъ здравомыслящихъ людей. На этомъ пути Достоевскій шелъ очень далеко; страшно было видѣть, какъ онъ все глубже и глубже спускается въ душевныя бездны, въ ужасныя бездны нравственнаго и физическаго растлѣнія (это его собственное слово). Но онъ выходитъ изъ нихъ невредимо, то есть не утрачивая мѣрила добра и зла, красоты и безобразія. О достоинствѣ этихъ изображеній не можетъ быть спора. Не смотря на неправильную и неясную постройку иныхъ романовъ (не въ цѣломъ, которое весьма было стройно и ясно, а въ частяхъ), не смотря на полуфантастическую постановку сценъ и отношеній между дѣйствующими лицами, изъ каждой картины Достоевскаго била такая правда душевная, такая глубина душевной правды, что невозможно было не испытывать живѣйшаго впечатлѣнія. Бредъ идіота и сумасшедшаго, муки преступника и самоубійцы, лихорадочные сны, галлюцинаціи—все было понятно и ясно. Читатель съ жадностію слѣдилъ за мыслями и чувствами лицъ, о которыхъ никогда не имѣлъ понятія, и съ изумленіемъ видѣлъ, какъ эти мысли и чувства отражаются въ его собственной душѣ. Итакъ, страданія, отчаянія, преступленія, болѣзнь—вотъ постоянныя темы Достоевскаго. А въ чемъ же главное поученіе, какой выводъ? Неужели опять—уныніе и злоба? О нѣтъ, это ясно

всѣмъ до очевидности. Надъ гробомъ покойнаго, на этомъ великомъ торжествѣ его похоронъ, великомъ по всей искренности, безпрерывно раздавались слова, сами собою приходившія на умъ, при воспоминаніи о его дѣятельности. Эти слова. *прощеніе*, *любовь*. Думаю, что это высшая честь изъ всѣхъ возданныхъ покойнику.

Идеалъ христіанина—вотъ та господствующая мысль, которую онъ такъ смѣло и горячо проповѣдывалъ въ своемъ „Дневникѣ", которую прямо выразилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ и которая особенно ясно установилась въ его душѣ... Въ идеалѣ Христа онъ нашелъ такимъ образомъ оправданіе своей всегдашней любви къ простому русскому народу и нашелъ высшій смыслъ своего горячаго патріотизма. Любовь къ простому народу, къ *почвѣ*, какъ говоритъ Достоевскій, есть знаменательное явленіе въ нашей литературѣ вообще: сознаніе духовной красоты и духовнаго здоровья, которыя народъ сохранилъ, а мы утратили, давно у насъ зародилось и возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Достоевскій по всему складу души, по своей способности симпатизировать внутренней красотѣ, былъ всегда, какъ Пушкинъ, поклонникомъ простого народа. „Записки изъ Мертваго Дома", въ которомъ выведены съ такимъ сочувствіемъ народные типы, написаны раньше, чѣмъ онъ могъ назвать себя славянофиломъ, какъ называлъ въ послѣдніе годы. А еще раньше, до ссылки, написана повѣсть „Хозяйка", такъ разсердившая нашихъ западниковъ. Такому человѣку, конечно, долженъ былъ открыться и главный нервъ народной жизни, высокій идеалъ святости, подчиняющій себѣ весь нравственный складъ народа, дающій этому народу такую несокрушимую жизненность и крѣпость. Вотъ тотъ послѣдній и высшій авторитетъ, которому подчинился Достоевскій, вотъ самое важное изъ вліяній, имѣвшихъ на него дѣйствіе, вотъ окончательная дорога, къ которой пришло это развитіе... Это тотъ путь, по которому идутъ простыя души и къ которому, какъ мы видимъ, приходятъ и самыя одаренныя души, иногда долго блуждавшія по другимъ путямъ. Всѣ знаютъ уже, что идеалъ Христа

сталъ высшимъ идеаломъ и для другого нашего художника, гр. Л. Н. Толстого. Переходы были тѣ же, какъ у Достоевскаго. Л. Н. Толстой всею своею натурою, всею симпатіею своего великаго художественнаго чувства былъ направленъ и устремленъ къ народу, и долгое и любовное созерцаніе народа открыло ему идеалъ, которымъ живетъ народъ. Это совпаденіе съ Достоевскимъ было поразительно. Они не были знакомы другъ съ другомъ, но въ послѣднее время оба все собирались познакомиться... И такъ, въ любви къ народу, переходящей въ преданность высшему народному идеалу, идеалу Христа завершается дѣятельность двухъ нашихъ лучшихъ художниковъ слова. Отсюда намъ всего яснѣе открывается и смыслъ произведеній Достоевскаго. Кромѣ общей симпатіи ко всѣмъ „униженнымъ и оскорбленнымъ", у него, особенно во второй половинѣ дѣятельности, является опредѣленная задача—изобразить больныя стороны нашего общества, оторваннаго отъ народа. Онъ выводитъ намъ два ряда типовъ: „нигилистовъ", явившихся въ послѣдніе десятки лѣтъ, и предшествовавшихъ имъ „людей сороковыхъ годовъ". Такъ и въ послѣднемъ романѣ драма идетъ между отцомъ Карамазовымъ, принадлежащимъ къ сороковымъ годамъ, и между его дѣтьми-нигилистами, Иваномъ и Смердяковымъ. И вотъ съ безподобною глубиною и тонкостью Достоевскій рисуетъ намъ извращеніе этихъ душъ, искаженіе ихъ нашимъ такъ называемымъ просвѣщеніемъ. И здѣсь, какъ и въ другихъ романахъ, наибольшая доля сочувствія принадлежитъ молодому поколѣнію, именно Ивану, въ которомъ изображена серьезная, искренняя преданность своимъ убѣжденіямъ, хотя и превратнымъ, увлеченіе, доходящее до поэзіи и граціозности. Нельзя не замѣтить, что меньше всего Достоевскій щадилъ людей сороковыхъ годовъ; ихъ онъ какъ будто уже не прощалъ и выставлялъ или рѣзко-комическими, какъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій въ „Бѣсахъ", или рѣзко-отвратительными, какъ живьемъ схваченная фигура Өедора Павловича Карамазова. Къ нигилистамъ же онъ отнесся, можно сказать, съ отеческою скорбью, съ отече-

скимъ сострадапіемъ. Молодое поколѣніе мало-по-малу поняло, съ какимъ сердцемъ онъ къ нему обращался, и отвѣчало заявленіями своей любви. Но тутъ яснѣе, чѣмъ въ другихъ романахъ, Достоевскій поставилъ и положительную сторону дѣла. Не вся же Россія состоитъ изъ прогнившихъ западниковъ, какъ Ѳедоръ Павловичъ, и изъ безмѣрнодерзкихъ умомъ нигилистовъ, какъ его сынъ Иванъ. Отцеубійство совершено несчастнымъ Смердяковымъ, грѣхъ котораго долженъ пасть и на его отца и на брата Ивана, сбившаго съ пути жалкое созданіе. Но кромѣ ихъ есть еще Дмитрій Карамазовъ, ординарный русскій человѣкъ, грубый богатырь, въ которомъ много зла, но много и добра, и который отвѣчаетъ собою за чужія вины. Есть еще и задатки будущаго—благочестивый и чистый сердцемъ Алеша. Да и Иванъ, любимецъ автора, Иванъ, который въ душѣ, въ мысли, убилъ отца, какъ нигилисты въ мысли совершаютъ покушеніе на убійство нашего царства. Иванъ пораженъ своею совѣстью, какъ громомъ, и, если онъ выздоровѣетъ, онъ опомнится и станетъ другимъ человѣкомъ. Вотъ гдѣ намъ слѣдуетъ искать поученія...

*
* *

Слѣдующая критическая выдержка изъ книжки К. Леонтьева приводится нами въ виду той оригинальной точки зрѣнія, съ которой К. Леонтьевъ смотритъ на сущность христіанскихъ идей Достоевскаго. Критика К. Леонтьева, устанавливающая взглядъ на Достоевскаго, какъ на отступника (почти еретика) отъ господствующаго православно-христіанскаго ученія, сама по себѣ представляетъ фактъ, свидѣтельствующій о разнообразныхъ діаметрально противуположныхъ критическихъ взглядахъ на такое, повидимому, цѣльное, въ сферѣ своей дѣятельности и религіозныхъ идей, лицо, какъ Достоевскій.

*) „Мнѣнія Ѳ. М. Достоевскаго очень важны, не только потому, что онъ писатель даровитый, но еще болѣе по-

*) К. Леонтьевъ. „Наши новые христіане“ и проч...

тому, что онъ писатель весьма вліятельный и даже весьма *полезный*. Его искренность, его порывистый паѳосъ, полный доброты, цѣломудрія и честности, его частыя напоминанія о христіанствѣ — все это можетъ въ высшей степени благотворно дѣйствовать (*и дѣйствуетъ*) на читателей, особенно на молодыхъ *русскихъ* читателей. Мы не можемъ, конечно, счесть, сколькихъ юношей и сколько молодыхъ женщинъ онъ отклонилъ отъ сухой *политической злобы нигилизма*, и настроилъ ихъ умъ и сердце совсѣмъ иначе; но вѣрно, что такихъ очень много! Онъ какъ будто говоритъ имъ безпрестанно между строками, говоритъ отчасти и прямо самъ, повторяетъ устами своихъ дѣйствующихъ лицъ, изображаетъ драмой своей; онъ внушаетъ имъ: „не будьте злы и сухи! Не торопитесь перестраивать по своему гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственнаго сердца вашего; не раздражайтесь: *вы хороши и такъ, какъ есть;* старайтесь быть еще добрѣе; любите, прощайте, жалѣйте, вѣрьте въ Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будутъ хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станетъ несравненно сноснѣе, и самыя несправедливости и тягости этой гражданской жизни смягчатся подъ цѣлительнымъ вліяніемъ личной теплоты.“ Такое высокое настроеніе мысли, къ тому-же выражаемое почти всегда съ лиризмомъ глубокаго убѣжденія,—не можетъ не дѣйствовать на сердца. Въ этомъ отношеніи къ г. Достоевскому можно приложить одно названіе, вышедшее нынче почти изъ употребленія, — онъ замѣчательный *моралистъ*. Слово моралистъ идетъ къ роду его дѣятельности и къ характеру вліянія гораздо болѣе, чѣмъ названіе публицистъ, даже и тогда, когда онъ по способу изложенія является не повѣствователемъ, а мыслителемъ и наставникомъ, какъ, напр., въ своемъ восхитительномъ „Дневникѣ Писателя“. Онъ занятъ гораздо болѣе *психическимъ строемъ лицъ*, чѣмъ *строемъ соціальнымъ*, которымъ всѣ нынче, къ сожалѣнію, такъ озабочены. Человѣчество XIX вѣка какъ будто-бы отчаялось совершенно въ личной проповѣди, въ морализаціи

прямосердечной, возложило всѣ свои надежды на передѣлку обществъ, т. е. на нѣкоторую степень *принудительности* исправленія. *Обстоятельства*, давленіе закона, судовъ новыхъ, экономическихъ условій—принудятъ и пріучатъ людей стать лучше... „Христіанство доказало тщетными усиліями вѣковъ, что одна проповѣдь личнаго добра не можетъ исправить человѣчества и сдѣлать на землѣ жизнь покойной, и для всѣхъ равно справедливой и пріятной. Надо измѣнить условія самой жизни:—сердца *по неволѣ* привыкнутъ къ добру, когда зла *невозможно* будетъ сдѣлать". Вотъ та преобладающая мысль нашего вѣка, которая вездѣ слышится въ воздухѣ. Вѣрятъ въ *человѣчество*—въ *человѣка* не вѣрятъ больше. Г. Достоевскій, повидимому, одинъ изъ немногихъ мыслителей, не утратившихъ вѣру въ *самого человѣка*... Нельзя не согласиться, что въ этомъ направленіи много независимости, а привлекательности еще больше... Такимъ представляется дѣло, по сравненію съ одностороннимъ и сухимъ соціально-реформаторскимъ духомъ времени. Но то же самое представляется совершенно иначе по отношенію къ христіанству. Демократическій и либеральный прогрессъ вѣритъ больше въ исправность всецѣлаго человѣчества, чѣмъ въ нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору Карамазовыхъ, надѣятся, повидимому, больше на сердце человѣческое, чѣмъ на переустройство обществъ. *Христіанство-же не вѣритъ ни въ то, ни въ другое, т. е. ни въ лучшую автономическую мораль лица, ни въ разумъ собирательнаго человѣчества, долженствующій рано или поздно создать рай на землѣ.* Вотъ разница. Впрочемъ я, можетъ быть, дурно выразился словомъ: *разумъ*... Чистый *разумъ*, или наука, въ дальнѣйшемъ развитіи своемъ, вѣроятно скоро откажется отъ такой утилитарной и оптимистической тенденціозности, которая сквозитъ между строчками у большинства современныхъ ученыхъ, и, оставивъ это утѣшительное ребячество, обратится къ тому суровому и печальному пессимизму, къ тому мужественному примиренію съ неисправимостью земной жизни, которое говоритъ:

„Терпите! Всѣмъ *лучше никогда не будетъ*. Однимъ будетъ лучше; другимъ станетъ хуже. Такое состояніе, такія колебанія горести и боли — вотъ единственно возможная на землѣ *гармонія!* И *больше ничего* не ждите. Помните и то, что всему бываетъ конецъ; даже скалы гранитныя вывѣтриваются, подмываются; даже исполинскія тѣла небесныя гибнутъ... Если же человѣчество есть явленіе живое и органическое, то тѣмъ болѣе ему долженъ настать *когда-нибудь конецъ*. А если будетъ *конецъ*, то какая нужда намъ такъ заботиться о благѣ будущихъ, далекихъ, вовсе даже *непонятныхъ* намъ поколѣній? *Какъ мы можемъ мечтать о благѣ правнуковъ, когда мы самое ближайшее къ намъ поколѣніе сыновъ и дочерей вразумить и успокоить не можемъ?* Какъ можемъ мы надѣяться на *всеобщую нравственную или практическую правду*, когда самая *теоретическая истина или разгадка* земной жизни до сихъ поръ скрыта для насъ за непроницаемой завѣсой; когда и великіе умы и цѣлыя націи постоянно ошибаются, разочаровываются и идутъ совсѣмъ не къ тѣмъ цѣлямъ, которыхъ они искали? Побѣдители впадаютъ почти всегда въ тѣ самыя ошибки, которыя сгубили побѣжденныхъ ими, и т. д... *Ничего нѣтъ вѣрнаго въ реальномъ мірѣ явленій*. Вѣрно только *одно*, *точно*—одно, одно только *несомнѣнно:—это то, что все должно погибнуть!* И потому на что эта забота о земномъ благѣ грядущихъ поколѣній? На что эти младенчески-болѣзненныя мечты и восторги! День нашъ — вѣкъ нашъ! И потому *терпите* и заботьтесь практически лишь о ближайшихъ дѣлахъ, о сердечно лишь ближнихъ людяхъ: именно о *ближнихъ*, а не о *всемъ человѣчествѣ*". Вотъ та пессимистическая философія, которая должна рано или поздно, и вѣроятно послѣ цѣлаго ряда *ужасающихъ разочарованій* лечь въ основаніе будущей науки. Соціально-политическіе опыты ближайшаго грядущаго, которое, по всѣмъ вѣроятіямъ, неотвратимо—будутъ, конечно, первымъ и важнѣйшимъ камнемъ преткновенія для человѣческаго ума на ложномъ пути исканія общаго блага и гармоніи". Соціализмъ, т. е. глубокій и насильственный экономиче-

скій и бытовой переворотъ, теперь видно неотвратимъ, по крайней мѣрѣ, *для нѣкоторой части человѣчества*. Но не говоря уже о томъ, сколько страданій и обидъ его воцареніе можетъ причинить побѣжденнымъ (т. е. представителямъ либерально-мѣщанской цивилизаціи), сами побѣдители, какъ-бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймутъ, что имъ далеко до благоденствія и покоя. И *это* какъ *дважды два—четыре*, вотъ почему: эти будущіе побѣдители устроятся *или свободнѣе*, либеральнѣе *насъ*, *или напротивъ того*, законы и порядки ихъ будутъ несравненно стѣснительнѣе нашихъ, строже, принудительнѣе, даже *страшнѣе*. Въ послѣднемъ случаѣ, жизнь этихъ *новыхъ людей* должна быть гораздо тяжелѣе, болѣзненнѣе жизни хорошихъ, добросовѣстныхъ монаховъ въ строгихъ монастыряхъ, напримѣръ, на Аѳонѣ. А эта жизнь для знакомаго съ ней очень тяжела (хотя имѣетъ, разумѣется, и свои совсѣмъ *особыя* утѣшенія). Постоянный тонкій страхъ, постоянное неумолимое давленіе совѣсти, устава и воли начальствующихъ... Но у аѳонскаго киновіата есть одна твердая и ясная утѣшительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его изъ лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: *загробное блаженство*. Будетъ ли эта мысль утѣшительна для людей предполагаемыхъ экономическихъ общежитій? Этого мы не знаемъ. Если же та часть человѣчества, которая захочетъ испытать на себѣ *блаженство* (?) вовсе новыхъ, общественныхъ и экономическихъ условій, устроится *свободнѣе* нашего, то она будетъ повержена въ состояніе какъ бы признанной въ принципѣ и узаконенной анархіи, подобно южно-американскимъ республикамъ, или нѣкоторымъ городскимъ общинамъ древней Греціи. Ибо соціальный переворотъ не станетъ ждать личнаго воспитанія, личной морализаціи всѣхъ членовъ будущаго государства, а захватитъ общество въ томъ видѣ, въ какомъ мы *его знаемъ теперь*. А въ этомъ видѣ, кажется, очень еще далеко до безстрастія, до незлобія, до общей любви и до правды, не закономъ навязанной, но бьющей теплымъ ключомъ прямо изъ облагороженной души!!... Пусть бы хоть въ этой передовой

странѣ, во Франціи, коммунисты подождали бы усиливаться до тѣхъ поръ, пока всѣ французы не станутъ хоть такими добрыми, умными и благородными, какъ герой Жоржъ-Санда. Однако, они этого ждать не хотятъ!... И такъ, испытавши все возможное, *даже и горечь соціалистическаго устройства*, передовое человѣчество должно будетъ неизбѣжно впасть въ глубочайшее разочарованіе; политическое же состояніе обществъ всегда отзывается и на высшей философіи, и на общемъ, полусознательномъ, въ воздухѣ бродящемъ міросозерцаніи; а философія высшая и философія инстинкта равно отзываются, рано или поздно, на самой наукѣ. Наука, поэтому, должна будетъ неизбѣжно принять тогда болѣе унылый, болѣе разочарованный, пессимистическій, какъ я сказалъ, *характеръ*. И *вотъ гдѣ ея примиреніе съ положительной религіей;* вотъ гдѣ ея теоретическій тріумфъ: въ сознаніи своего практическаго безсилія, въ мужественномъ покаяніи и смиреніи передъ могуществомъ и правотою сердечной мистики и вѣры. *Вотъ о чемъ намъ, славянамъ, не мѣшало бы позаботиться!* Это не противорѣчитъ прогрессу; напротивъ, если понимать прогрессъ мысли не въ духѣ непремѣнно пріятно-эгалитарномъ и любезно-демократическомъ, а въ значеніи *усовершенствованія* самой только *мысли*, то такое строгое и безстрашное отношеніе науки къ жизни земной должно быть признано за огромный шагъ впередъ... „Ищите утѣшенія въ чемъ хотите; я Бога не навязываю вамъ, это не мое дѣло; я только говорю вамъ: не ищите утѣшенія въ моихъ прежнихъ благотворительныхъ претензіяхъ, столь глупо волновавшихъ прошедшій XIX-й вѣкъ. Я могу помогать вамъ только палліативно.“ Вотъ что бы должна говорить наука. Вѣрно понятый, не обманывающій себя неосновательными надеждами реализмъ, долженъ, рано или поздно, отказаться отъ мечты о благоденствіи земномъ и отъ исканія идеала правственной правды въ нѣдрахъ самаго человѣчества. Положительная религія точно также въ это благоденствіе и въ эту правду не вѣритъ. Любовь, прощеніе обидъ, правда, великодушіе были и останутся навсегда только коррек-

тивами жизни, палліативными средствами, елеемъ на неизбѣжныя и даже *полезныя* намъ язвы. Никогда любовь и правда не будутъ воздухомъ, которымъ бы тогда дышали, почти не замѣчая его... Именно, почти не замѣчая! Эд. Гартманъ справедливо говоритъ: „если бы идеальная цѣль (т. е. благоденствіе), преслѣдуемая прогрессомъ, когда бы то ни было осуществилась, то человѣчество достигло бы до степени *нуля* или *полнаго равнодушія* ко всѣмъ отраслямъ своей дѣятельности. Но идеалъ останется всегда идеаломъ: человѣчество можетъ приближаться къ нему, никогда до него не достигая. Поэтому человѣчество не дойдетъ никогда до того состоянія *высокаго равнодушія*, къ которому оно постоянно стремится; оно вѣчно пребудетъ въ состояніи страданія еще болѣе низкаго порядка... (т. е. чѣмъ это высокое равнодушіе)..." Развѣ такое тихое равнодушіе есть счастіе? Это не счастіе, а какой-то тихій упадокъ всѣхъ чувствъ, какъ скорбныхъ такъ и радостныхъ. Я увѣренъ, что человѣкъ, столь сильно чувствующій и столь *сердечно мыслящій*, какъ Ѳ. М. Достоевскій, говоря о „зданіи человѣческаго счастія", о „всечеловѣческомъ братскомъ единеніи", объ „окончательномъ словѣ великой, общей гармоніи" и т. д., имѣетъ въ виду нѣчто болѣе горячее и привлекательное, чѣмъ та кроткая, душевная „Нирвана", на которую указывалъ Гартманъ. А горячее самоотверженное, и нравственное, и привлекательное обусловливается непремѣнно болѣе или менѣе сильнымъ и нестерпимымъ трагизмомъ жизни... Доказательства этому можно найти во множествѣ въ романахъ самого г. Достоевскаго. Возьмемъ „Преступленіе и Наказаніе". Вспомнимъ потрясающее, глубокое впечатлѣніе, производимое изображеніемъ бѣднаго семейства Мармеладовыхъ. Нищета, пьяный, ни на что уже негодный отецъ, мать тщеславная, чахоточная, сердитая, почти безумная, но въ сердцѣ честная и до наивности прямая страдалица: дѣвушка, кроткая, милая, *вѣрующая и торгующая собой для пропитанія семьи!*... И когда эти люди проявляютъ, при всемъ этомъ, высокія качества души своей, глубоко потрясенной, чита-

тель тотчасъ-же понимаетъ, что эта теплота, эта „психичность“, этотъ родъ нравственнаго лиризма возможенъ именно при тѣхъ только буднично-трагическихъ условіяхъ, которыя избраны авторомъ. То же самое можно найти въ изобиліи и въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Мы найдемъ это въ домѣ бѣднаго капитана, въ исторіи несчастнаго Илюши и его любимой собаки; мы найдемъ это въ самой завязкѣ драмы; читатель, уже и теперь вникая въ неоконченный романъ, догадывается, что Дмитрій Карамазовъ не виновенъ въ убійствѣ отца и пострадаетъ, вѣроятно, напрасно. И если догадки читателя справедливы, то онъ имѣетъ право ожидать впереди картинъ, исполненныхъ высокаго благородства и лиризма. Уже одно появленіе слѣдователей и первые допросы производятъ нѣчто подобное; они даютъ тотчасъ-же дѣйствующимъ лицамъ случай обнаружить побужденія высшаго нравственнаго порядка; такъ, напр., лукавая, разгульная и даже нерѣдко жестокая Груша, только при допросѣ, въ первый разъ чувствуетъ, что она этого Дмитрія истинно любитъ, и готова раздѣлить его горе и предстоящія, вѣроятно, ему карательныя невзгоды. Горести, обиды, буря страстей, преступленія, ревность, зависть, угнетенія, доброта, прощеніе, отдыхъ сердца, порывы и подвиги самоотверженія, простота и веселость сердца! Вотъ *жизнь*, вотъ единственно возможная „на этой землѣ и подъ этимъ небомъ“ *гармонія*. Гармоническій законъ *вознагражденія*—и *больше ничего*. Поэтическое, живое согласованіе свѣтлыхъ цвѣтовъ съ темными—и *больше ничего!* Въ высшей степени цѣльная полу-трагическая, полу-ясная опера, въ которой грозные и печальные звуки чередуются съ нѣжными и трогательными—и *больше ничего!* Мы не знаемъ, что будетъ на *той новой землѣ и на томъ новомъ небѣ*, которыя обѣщаны намъ Спасителемъ и Учениками его, по уничтоженіи *этой* земли со всѣми человѣческими *дѣлами ея; но на землѣ, теперь намъ извѣстной, и подъ небомъ, теперь намъ знакомымъ*, всѣ хорошія наши чувства и поступки: любовь, милосердіе, справедливость и т. д. являются и *должны являться всегда* лишь тѣмъ *коррективомъ*

жизни, тѣмъ *палліативнымъ лѣченіемъ язвъ*, о которыхъ я упоминалъ выше. Теплота необходима для организма, но ни единственнымъ матеріаломъ, ни единственной зиждущей силой для организма она быть не можетъ. Нужны твердыя, извнѣ *стѣсненныя* формы, по которымъ эта теплота можетъ разливаться, не *видоизмѣняя ихъ даже и временно-слишкомъ глубоко*, а только дѣлая эти твердыя формы полнѣе и пріятнѣе. Такъ говоритъ *реальный опытъ вѣковъ*, т. е. почти наука, вѣковой эмпиризмъ, не нашедшій себѣ еще математически-раціональнаго объясненія,—но и безъ него трезвому уму весьма ясный. Также точно говоритъ Церковь. Такъ говорятъ Апостолы, такъ пророчитъ Евангеліе. „Будутъ разбойники, будутъ Іуды; будутъ Ироды и равнодушные Пилаты!" и „*подъ конецъ*" не только не настанетъ всемірнаго братства, но именно *тогда-то оскудѣетъ любовь, когда будетъ проповѣдано Евангеліе во всѣхъ концахъ земли!* И когда эта проповѣдь достигнетъ, такъ сказать, до предначертанной ей свыше точки насыщенія, и когда *при оскудѣніи*, даже и той *любви* неполной, палліативной, которая здѣсь возможна и дѣйствительна, люди станутъ вѣрить безумно въ „миръ и спокойствіе",—*тогда-то и постигнетъ ихъ пагуба*... „*и не избѣгнутъ!*"... А пока? Пока „блаженны миротворцы", ибо неизбѣжны распри... „Блаженны алчущіе и жаждущіе правды"... ибо *правды здѣсь не будетъ*. Иначе зачѣмъ-же алкать и жаждать? Сытый не алчетъ. Упоенный не жаждетъ. „Блаженны милостивые", ибо всегда будетъ кого миловать: „униженныхъ и оскорбленныхъ" кѣмъ-нибудь *(тоже людьми)*, богатыхъ или бѣдныхъ, нищихъ, собственныхъ оскорбителей, наконецъ! Такъ говоритъ церковь, совпадая съ *реализмомъ*, съ грубымъ и печальнымъ, но глубокимъ опытомъ вѣковъ. Такъ, повидимому, еще думалъ и самъ г. Достоевскій, когда писалъ о „Мертвомъ Домѣ" и создавалъ высокое и прекрасное, въ своей болѣзненной истинѣ, произведеніе „Преступленіе и Наказаніе". Онъ тогда какъ будто хотѣлъ *только усилить* теплоту любви своимъ потрясающимъ вліяніемъ; онъ не мечталъ еще, повидимому, въ то время о невозможной

реально, о *чуть не еретической церковно-кристаллизаціи* этой теплоты—въ формѣ зданія всечеловѣческой жизни. Въ „Бѣсахъ“ новая ступень его направленія стала замѣтнѣе. „Бѣсы“ разложенія, бѣсы смутъ, злобы, междоусобицы выйдутъ изъ *русскихъ людей*, и Россія, какъ излѣченный бѣсноватый, „сядетъ у ногъ Христа“... Тутъ еще не совсѣмъ было понятно, что „Христосъ“ значитъ почти то же, что *земный эвдемонизмъ*, только *нѣсколько аскетическаго характера.* Это было еще очень правильно и безусловно полезно, хотя и допускало въ скептическомъ умѣ сомнѣнія... Сомнѣнія не въ ученіи Христа и Церкви (избави Боже!), а весьма позволительное въ наше время сомнѣніе въ *великомъ и достойномъ будущемъ Россіи!*... Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ ученіе этого *земного эвдемонизма* съ христіанскимъ оттѣнкомъ, стало еще опредѣленнѣе. Хорошіе монахи въ этомъ романѣ говорятъ не совсѣмъ то, и даже пожалуй и вовсе не то, что говорятъ обо *всемъ этомъ въ дѣйствительности тоже очень хорошіе монахи и на Аѳонѣ и у насъ!—и русскіе, и греческіе, и болгарскіе монахи.* И наконецъ, въ рѣчи на праздникѣ Пушкина, ученіе выяснилось вполнѣ: стало ясно, что и г. Достоевскій, подобно великому множеству *европейцевъ* и русскихъ *всечеловѣковъ*, вѣритъ въ мирную и кроткую будущность Европы, радуется тому, что намъ, русскимъ, быть можетъ и скоро, придется утонуть и расплыться безслѣдно въ безличномъ океанѣ космополитизма. *Именно безслѣдно!* Ибо что мы принесемъ на этотъ (по моему, скучный до отвращенія) пиръ *всемірнаго*, однообразнаго братства? Какой *свой*, ни на что чужое не похожій слѣдъ оставимъ мы въ средѣ этихъ *смѣшныхъ людей грядущаго*... „Толпой“... если не всегда угрюмою... то скоро позабытой“...

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда...

Было нашей націи поручено одно великое сокровище—строгое и неуклонное церковное Православіе; но наши лучшіе умы не хотятъ просто „смириться“ передъ нимъ,

передъ его „*исключительностью*“ и передъ его *кажущейся сухостью*, которой всегда вѣетъ на романтически воспитанныя души отъ всего установившагося, правильнаго и твердаго... Они *предпочитаютъ* „смиряться“ передъ ученіями антинаціональнаго эвдемонизма, въ которыхъ по отношенію къ Европѣ даже и новаго нѣтъ ничего. Всѣ эти надежды на земную любовь и на миръ земной можно найти и въ пѣсняхъ Беранже, и еще больше у Ж. Санда... и у многихъ другихъ. И не только имя Божіе, но даже и *Христово имя* упоминалось и на Западѣ по этому поводу не разъ. Слишкомъ *розовый* оттѣнокъ, вносимый въ христіанство г. Достоевскимъ, есть *новшество* по отношенію къ Церкви, отъ человѣчества ничего особенно благотворнаго въ будущемъ не ждущей; но этотъ оттѣнокъ не имѣетъ въ себѣ ничего ни особенно русскаго ни особенно новаго по отношенію къ преобладающей европейской мысли XVIII и XIX вѣковъ. Пока г. Достоевскій въ своихъ романахъ говоритъ образами, то, не смотря на нѣкоторую личную субъективность всѣхъ этихъ образовъ, видно, что художникъ вполнѣ и болѣе многихъ изъ насъ—*русскій человѣкъ*. Но выдѣленная, извлеченная изъ этихъ русскихъ образовъ, изъ этихъ русскихъ обстоятельствъ, чистая мысль оказывается, какъ почти у всѣхъ лучшихъ писателей нашихъ, вполнѣ европейскою по идеямъ и даже по происхожденію своему. *Именно мыслей-то* мы и *не бросаемъ до сихъ поръ вѣкамъ*?... И размышляя объ этомъ печальномъ свойствѣ нашемъ, конечно, легко повѣрить, что мы скоро расплывемся безслѣдно *во всемъ и во всѣхъ!* Быть можетъ это такъ и нужно; но чему-же тутъ радоваться? Не могу понять!... Не умѣю!...

О воцареніи „правды“ и „благоденствія“ на землѣ я не буду здѣсь много говорить, потому что по этому вопросу всѣ люди, мнѣ кажется, раздѣляются очень просто—на расположенныхъ этому идеалу вѣрить и на пожимающихъ только плечами при подобной мысли, противной одинаково и *реальнымъ законамъ природы, и всѣмъ главнымъ и вліятельнымъ изъ извѣстныхъ намъ положительныхъ религій*... Въ глазахъ реалиста, т. е. человѣка, не имѣющаго права

дѣлать предсказанія безъ предыдущихъ, даже и приблизительныхъ примѣровъ, подобное благоденственное братство, доводящее людей даже до субъективнаго постояннаго удовольствія, не согласуется ни съ психологіей, ни съ соціологіей, ни съ историческимъ опытомъ. Въ глазахъ христіанина подобная мечта противорѣчитъ *прямому* и очень *ясному* пророчеству Евангелія объ ухудшеніи человѣческихъ отношеній *подъ конецъ свѣта*. Братство, *по возможности* и гуманность, дѣйствительно, рекомендуются Св. Писаніемъ Новаго Завѣта, *для загробнаго спасенія личной души;* но въ Св. Писаніи *нигдѣ не сказано, что люди дойдутъ посредствомъ этой гумманности до мира и благоденствія.— Христосъ намъ этого не обѣщалъ... Это неправда!* Христосъ приказываетъ или совѣтуетъ всѣмъ любить ближнихъ *во имя Бога;* но съ другой стороны, Онъ же пророчествуетъ, что Его многіе не послушаютъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ гуманность ново-европейская и гуманность христіанская являются несомнѣнно антитезами, даже очень трудно примиримыми (или примиримыми *эстетически*, только въ области поэзіи, какъ *жизненной*, такъ и *художественной*, т. е. въ смыслѣ *увлекательной* и *многосложной борьбы*). Удивляться этому или ужасаться такой мысли не слѣдуетъ. Это очень понятно, хотя и печально. Гуманность есть идея *простая;* христіанство есть представленіе *сложное*. Въ христіанствѣ между *многими другими* сторонами есть и гуманность или любовь къ человѣчеству „о Христѣ“, т. е. не изъ насъ прямо истекающая, а *Христомъ даруемая и Христа за ближнимъ провидящая. Отъ Христа,—и для Христа*. Гуманность же простая, „автономическая“, шагъ за шагомъ, мысль за мыслью, можетъ вести къ тому сухому и самоувѣренному утилитаризму, къ тому эпидемическому умопомѣшательству нашего времени, которое можно психіатрически назвать mania democratica progressiva. Все дѣло въ томъ, что мы претендуемъ, *сами по себѣ*, безъ помощи Божіей, быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнѣе, быть полезными,—ибо я говорю ошибочнѣе, доброту еще свою, порывы искренней любви и милосердія

человѣкъ не можетъ не чувствовать; это *фактъ невольнаго сознанія.* Но какъ быть увѣреннымъ *въ пользѣ* не только всѣмъ, но и многимъ? Спасая одного, я, можетъ быть, врежу кому-нибудь другому. Христіанство мирить это легко именно тѣмъ, что съ одной стороны не вѣритъ въ прочность добродѣтелей нашихъ, а съ другой долгое благоденствіе и покой души считаетъ вреднымъ. Оскорбителю оно говоритъ: „Кайся; ты согрѣшилъ". Оскорбленному внушаетъ:—„Эта обида тебѣ полезна; рукой неправеднаго человѣка наказалъ тебя Богъ; прости человѣку и кайся передъ Богомъ". Горе, страданіе, разореніе, обиду—христіанство зоветъ даже иногда—*посѣщеніемъ Божіимъ.* А гуманность простая хочетъ стереть съ лица земли эти *полезныя* намъ обиды, разоренія и горести... Въ этомъ отношеніи христіанство и гуманность можно уподобить двумъ сильнымъ поѣздамъ желѣзной дороги, вышедшимъ сначала изъ одного пункта, но которые, вслѣдствіе постепеннаго уклоненія путей, должны не только удариться другъ объ друга, но даже и прійти въ сокрушающее столкновеніе *). Во всѣхъ катехизисахъ, правда, говорится о любви къ людямъ. Но во всѣхъ же катехизисахъ и въ подобныхъ имъ книгахъ мы найдемъ также, что *начало премудрости* (т. е. религіозной и *истекающей изъ нея* житейской премудрости) есть страхъ Божій, простой, *очень простой страхъ,* и загробной муки и другихъ наказаній, въ формѣ земныхъ истязаній, горестей и бѣдъ. Отчего-же г. Достоевскій не говоритъ *прямо* объ этомъ *страхѣ?* Не потому-ли что *идея любви привлекательнѣе?* Любовь краситъ человѣка, а страхъ унижаетъ. Но во-первыхъ, передъ христіанскимъ ученіемъ добровольное униженіе о Господѣ (т. е. то самое „смиреніе, которое такъ уважаетъ и г. Достоевскій) лучше и *вѣрнѣе для спасенія души,* чѣмъ эта гордая и невозможная претензія ежечаснаго незлобія и ежеминутной *елейности.* Многіе праведники

*) Уподобленіе это принадлежитъ не мнѣ; но оно такъ прекрасно, что я хотѣлъ непремѣнно воспользоваться имъ. Оно принадлежитъ Прево-Парадолю, застрѣлившемуся въ Америкѣ. Онъ прилагалъ его къ Франціи и Германіи, еще до войны 1870 года и предсказывалъ пораженіе своей отчизны.

предпочитали удаленіе въ пустыню *дѣятельной* любви; тамъ *они молились Богу сперва* за свою душу, а *потомъ* за другихъ людей: многіе изъ нихъ это дѣлали потому, что очень правильно не надѣялись на себя и находили, что покаяніе и молитва, т. е. *страхъ и своего рода униженіе*—вѣрнѣе, чѣмъ претензія *мірского незлобія* и чѣмъ *сама увѣренность дѣятельной любви* въ многолюдномъ обществѣ. Даже въ монашескихъ общежитіяхъ опытные старцы не очень-то позволяютъ увлекаться дѣятельною и горячею любовью, а прежде всего учатъ *послушанію, приниженію пассивному, прощенію обидъ*... И это все считается до невѣроятности труднымъ: въ особенности для тѣхъ людей, которые воображаютъ себя уже „смиренными" и въ „міру", собственными усиліями, для монастыря подготовленными. Случаями поразительнаго паденія этихъ духовныхъ Икаровъ, нерѣдко весьма искреннихъ и благородныхъ, наполнена исторія монашества отъ начала его и до нашего времени. Да, прежде всего *страхъ*, потомъ „смиреніе", или прежде всего *смиреніе ума*, презрительно относящагося не къ себѣ только одному, но и ко всѣмъ другимъ, даже и геніальнымъ человѣческимъ умамъ, безпрестанно ошибающимся.

Такое смиреніе, шагъ за шагомъ, ведетъ къ вѣрѣ и страху предъ именемъ Божіимъ, къ *послушанію ученію* Церкви, этого Бога намъ поясняющей. А *любовь—уже* послѣ. Любовь кроткая, себѣ самому пріятная, другимъ отрадная, всепрощающая—это плодъ, вѣнецъ, это или награда за вѣру и страхъ, или особый даръ благодати, *натурѣ* сообщенный, или случайными и счастливыми условіями воспитанія укрѣпленный... Христосъ познается не иначе какъ *черезъ Церковь*: *любите прежде всего Церковь*. Въ рѣчи г. Достоевскаго Христосъ, повидимому, до того помимо Церкви доступенъ всякому изъ насъ, что мы считаемъ себя въ правѣ, даже не справясь съ азбукой катехизиса, т. е. съ самыми *существенными* положеніями и *безусловными* требованіями православнаго ученія, приписывать Спасителю никогда не высказанныя обѣщанія „всеобщаго братства народовъ", „повсемѣстнаго мира и гармоніи".

Любя Церковь, знаешь чѣмъ, такъ сказать, „угодить" ей. Но какъ угодить человѣчеству... когда входящіе въ составъ его милліоны людей между собою не только несогласны, но даже и *несогласимы* во вѣки!... Эта любовь гораздо осязательнѣе и понятнѣе, чѣмъ любовь *ко всему человѣчеству*,—ибо отъ насъ зависитъ узнать: чего хочетъ и что требуетъ отъ насъ эта Церковь. Но чего завтра пожелаетъ не только все человѣчество, но хоть бы наша Россія, утрачивающая на нашихъ глазахъ даже прославленный иностранцами государственный инстинктъ свой,—этого мы понять не можемъ навѣрно. У Церкви есть *свои незыблемыя правила* и есть *внѣшнія формы*, тоже свои собственныя, особыя, ясныя, видимыя. У русскаго общества нѣтъ теперь ни своихъ правилъ, ни *своихъ* формъ!... *Любить Церковь*—это такъ понятно! Любить же *современную* Европу, такъ жестоко преслѣдующую даже у себя Римскую Церковь, Церковь все-таки великую и Апостольскую, не смотря на глубокія *догматическія заблужденія свои*—это просто *грѣхъ!*" *).

* * *

Еще считаемъ нелишеннымъ интереса научно-спеціальный разборъ литературной дѣятельности Достоевскаго докторомъ В. Ѳ. Чижомъ,—разборъ, разъясняющій ту сторону художественной дѣятельности писателя, въ силу которой и критика и публика считаютъ его великимъ мастеромъ въ области изображенія аномальныхъ душевныхъ явленій. Ограничиваясь слѣдующей сравнительно небольшой выдержкой изъ довольно обширнаго изслѣдованія г. Чижа, выражающей только общій взглядъ спеціалиста на извѣстную сторону дѣятельности Достоевскаго, мы отсылаемъ интересующихся разборомъ, въ его частностяхъ, къ подлиннику, помѣщенному на страницахъ „Русскаго Вѣстника".

*) См. „Замѣтку въ защиту Достоевскаго отъ обвиненія въ „новомъ" христіанствѣ", приложенную къ брошюрѣ: „Три рѣчи въ память Достоевскаго" Владиміра Соловьева.

Прим. В. Зелинскаго.

*) „Достоевскій описалъ бо́льшее количество душевно-больныхъ, чѣмъ какой-либо другой художникъ въ мірѣ; ни у кого другого такъ часто не фигурируютъ въ произведеніяхъ душевно-больные, какъ абсолютно, такъ и относительно. Во всей русской художественной литературѣ, конечно, нельзя насчитать ихъ столько, какъ у одного Достоевскаго. Вотъ этотъ длинный списокъ: Голядкинъ (*Двойникъ*), Прохарчинъ (*Господинъ Прохарчинъ*), Ордыновъ, Муринъ, Катерина (*Хозяйка*), Аркадій Өеодоровичъ (*Слабое сердце*), Емелюшка (*Честный воръ*), Авторъ (*Бѣлыя ночи*), Ефимовъ (*Неточка Незванова*), Князь К. (*Дядюшкинъ сонъ*), Вельчаниновъ (*Вѣчный мужъ*), Князь Вадбольскій, Нелли (*Униженные и Оскорбленные*), Раскольниковъ, его мать, Свидригайловъ, Мармеладовъ (*Преступленіе и Наказаніе*), Мышкинъ, Иволгинъ, Лебедевъ (*Идіотъ*), Лебядкинъ, его сестра, Лембке, Кирилловъ (*Бѣсы*), Старикъ Сокольскій, молодой Сокольскій, Оля (*Подростокъ*), Дмитрій, Иванъ, Алексѣй Карамазовы, Смердяковъ, отецъ Ферапонтъ, Лиза Хохлакова (*Братья Карамазовы*)... У Достоевскаго болѣе четверти фигуръ — душевно-больные; такого отношенія нельзя найти ни у кого, кромѣ Достоевскаго. Очевидно, что Достоевскій съ особенною настойчивостью стремился именно къ изображенію душевно-больныхъ, а не избѣгалъ этого, какъ другіе романисты. Художникъ, желающій изобразить жизнь возможно полнѣе, не можетъ обойти и помѣшательства, имѣющаго нѣкоторое мѣсто въ жизни: на тысячу душевно-здоровыхъ приходится четверо душевно-больныхъ; и понятно, что въ той безконечной галлереѣ лицъ, которыхъ выводитъ передъ нами Шекспиръ, должны быть душевно-больные, иначе картина жизни была бы неполна. Въ русской литературѣ можно указать только на одно дѣйствительно правдивое описаніе душевно-больного, это въ романѣ „*Война и Миръ*“ старый князь Болконскій; Толстой въ высшей степени вѣрно отмѣтилъ всѣ важныя симптомы старческаго слабоумія — болѣзни, которою стра-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1884 г., №№ 5 и 6. „Достоевскій какъ психопатологъ“ В. Ө. Чижа. Есть и отдѣльное изданіе.

далъ Болконскій подъ конецъ жизни. *Записки Сумасшедшаго* доказываютъ, что Гоголь не зналъ душевныхъ болѣзней или по крайней мѣрѣ имѣлъ лишь весьма неясное понятіе о томъ, какъ люди сходятъ съ ума. Болѣе охотно художники изображаютъ отдѣльные симптомы душевныхъ болѣзней для достиженія извѣстныхъ спеціальныхъ цѣлей, напримѣръ, внезапное помѣшательство въ драмахъ усиливаетъ сценическій эффектъ и т. п. Что авторы чаще изображаютъ только отдѣльные болѣзненные симптомы, или вводятъ помѣшательство только анекдотически, это, конечно, легко объясняется какъ малымъ ихъ знакомствомъ съ предметомъ, такъ и тѣмъ, что гораздо труднѣе дать въ общемъ планѣ разсказа опредѣленное мѣсто помѣшанному, дѣйствія котораго, а тѣмъ болѣе ихъ мотивы, не всегда понятны не только профанамъ, но и психіатрамъ, и только великимъ знатокамъ человѣческой души удается совладать съ такою задачей. И относительно русской литературы мнѣніе Крафта-Эбинга остается вѣрнымъ: „изображеніе помѣшанныхъ въ поэтическихъ произведеніяхъ большею частію невѣрно или по малой мѣрѣ одностороннѣ". Даже описанія отдѣльныхъ припадковъ душевной болѣзни свидѣтельствуютъ или о полномъ незнаніи авторами предмета, или же представляютъ поверхностный очеркъ самыхъ внѣшнихъ, бьющихъ въ глаза, проявленій душевной болѣзни, почему нисколько не интересны для психіатра и даютъ публикѣ ложныя, или крайне смутныя свѣдѣнія о помѣшательствѣ. Между тѣмъ очевидно, что есть область доступная и для художниковъ: это не рѣдко, выраженныя формы помѣшательства, начальныя его фазы, словомъ, состоянія, ускользающія обыкновенно у психіатровъ, потому что такихъ больныхъ окружающіе часто считаютъ здоровыми; вотъ описанія такихъ субъектовъ и, такъ сказать, ихъ исторіи болѣзни были бы драгоцѣннымъ матеріаломъ для психіатріи. Но очевидно, что наблюденіе и описаніе душевно-больныхъ очень трудно, если даже романисты, считающіеся хорошими наблюдателями, или избѣгаютъ этой темы, или даютъ крайне поверхностное, а по большей ча-

сти даже невѣрное описаніе. И только психіатры, благодаря тому, что геніальные учители ихъ: Pinel, Esquirol, Guislain, Griesinger и др. научили *какъ* наблюдать, *на что* обращать вниманіе, *чего* искать при изслѣдованіи, могутъ оріентироваться въ такомъ сложномъ явленіи, какъ душевная болѣзнь.

Достоевскій какъ въ русской, такъ и во всемірной литературѣ представляетъ исключеніе не только по количеству сдѣланныхъ имъ наблюденій, но и по вѣрности и точности описанія, достойныхъ лучшаго естествоиспытателя (что я постараюсь доказать), и наконецъ по глубинѣ пониманія предмета, возбуждающей изумленіе. Собраніе сочиненій Достоевскаго—это почти полная психопатологія; тамъ можно найти изложеніе всего существеннаго этой науки: многое, очень многое, если не все извѣстное въ психіатріи, можно изучить въ произведеніяхъ Достоевскаго, такъ что въ этомъ отношеніи они имѣютъ важное дидактическое значеніе... въ публикѣ, даже между врачами-неспеціалистами, весьма прочно установилось убѣжденіе, что заболѣваніе душевными болѣзнями обусловливается какою-нибудь одною причиной, преимущественно нравственнымъ потрясеніемъ: неудачная любовь, разореніе, смерть близкихъ людей и т. п. Этотъ взглядъ раздѣляется безусловно всѣми художниками, даже у Шекспира леди Макбетъ сходитъ съ ума вслѣдствіе нравственнаго потрясенія—угрызенія совѣсти. Одинъ Достоевскій избѣжалъ этой ошибки, и пониманіе имъ причины душевныхъ болѣзней совершенно тождественно съ современнымъ ученіемъ психопатологіи. Какъ безспорный фактъ, нужно считать то, что въ каждомъ случаѣ помѣшательства дѣйствуетъ цѣлая совокупность причинъ, и сравнительно ничтожную между ними роль играютъ нравственныя причины; это повидимому хорошо было извѣстно Достоевскому, по крайней мѣрѣ, онъ всегда указываетъ на этотъ фактъ, если говоритъ о причинѣ помѣшательства своихъ героевъ. Но самая существенная, въ высокой степени преобладающая надо всѣми остальными, причина есть наслѣдственность. Ученіе о наслѣд-

ственности, какъ о причинѣ душевныхъ болѣзней, составляетъ самое крупное пріобрѣтеніе психіатріи за послѣднія тридцать лѣтъ, такъ какъ оно имѣетъ крупное значеніе не только для медицины, но и для антропологіи, соціологіи и исторіи. Способность психопатическихъ расположеній и вообще страданій нервной системы передаваться наслѣдственно хотя была извѣстна еще Гиппократу, но только въ недавнее время выяснено, что, исключая бугорчатки, ни въ одной патологической области наслѣдственность не имѣетъ такого выдающагося значенія, какъ въ душевныхъ болѣзняхъ. Наслѣдственность выражается тѣмъ, что отъ психически-больныхъ отца или матери родятся дѣти или уже отъ рожденія психически-больныя (Елизавета Смердящая—идіотка, Смердяковъ—эпилептикъ), или совершается только наслѣдственная передача одного предрасположенія къ заболѣванію душевною болѣзнію (мать Ивана Карамазова была истерическая женщина). Пьянство родителей должно быть также включено въ рядъ наслѣдственно предрасполагающихъ моментовъ; статистика убѣждаетъ насъ, что, въ общей суммѣ случаевъ помѣшательства, пьянство родителей одна изъ самыхъ частыхъ причинъ. Докторъ Клеркъ, при изслѣдованіи причинъ эпилепсіи между арестантами Уэкфильдской тюрьмы, нашелъ, что у 68% отцы были пьяницы. Этотъ фактъ отмѣченъ Достоевскимъ вполнѣ обстоятельно; просто удивительно, насколько выводы медицинской статистики и клиническаго опыта согласны съ тѣмъ, какъ жизнь представлена Достоевскимъ. Отецъ Елизаветы Илья былъ пьяница. Дѣти Карамазова—расположенные къ душевнымъ болѣзнямъ люди (*Братья Карамазовы*). Отецъ Алеши и Нелли, князь Вадбольскій (*Униженные и Оскорбленные*)—пьяница, и особенно важно, что князь, вообще умѣвшій владѣть собой, напивался только на ночь, обстоятельство нерѣдко бывающее; часто врачъ, удивленный появленіемъ цѣлаго ряда случаевъ заболѣванія въ семьѣ, мать и отецъ которой повидимому трезвые люди, только случайно узнаетъ, что кто-либо изъ родителей (всего чаще отецъ) имѣетъ пагубную привычку напиваться пьянымъ

на ночь. Такъ что не только глубокій алкоголизмъ, то-есть пьянство, разрушившее физическое и психическое здоровье родителей, но и опьянѣніе на ночь, даже не доведшее организмъ до болѣзни, обусловливаетъ рожденіе психически-больныхъ дѣтей. Достоевскій также зналъ, что душевная болѣзнь и алкоголизмъ частію бываютъ достояніемъ одной семьи. Лебядкинъ пьяница, его сестра помѣшаная (*Бѣсы*). Насколько сильно вліяніе пьянства родителей на физическое и психическое здоровье дѣтей, можетъ служить примѣромъ исторія одной семьи, приводимая Lambroso въ его сочиненіи *Genio et follia* (1882 г.): въ потомствѣ одного пьяницы было 200 воровъ и разбойниковъ, 90 проститутокъ, 30 умерло въ дѣтскомъ возрастѣ и 260 было хилыхъ, слѣпыхъ, чахоточныхъ и т. п. Наконецъ, порочный образъ жизни родителей также нерѣдко является предрасполагающимъ моментомъ къ наслѣдственному помѣшательству (Карамазовъ и его дѣти). Морель, которому мы обязаны самыми талантливыми изслѣдованіями о наслѣдственности въ этіологіи душевныхъ болѣзней, утверждаетъ, что преступный образъ жизни самъ по себѣ располагаетъ къ заболѣванію психозами нисходящее поколѣніе. Оставляя въ сторонѣ какъ теоретическія психологическія разсужденія о томъ, что порочность составляетъ выраженіе нѣкоторыхъ особенностей психической организаціи, такъ и изслѣдованія нѣкоторыхъ ученыхъ (Lambroso и др.), старавшихся доказать, что преступники обладаютъ особою, sui generis, болѣзненною организаціей мозга, упомяну только о томъ, что довольно обратить вниманіе на тѣ истощающія условія (безсонныя ночи, пьянство, половыя излишества и т. п.), и постоянные нравственные угнетающіе моменты (смѣна сильныхъ страстей, угрызенія совѣсти, страхъ и т. п.), чтобы понять, что вся эта сумма условій вполнѣ достаточна, чтобы дѣйствовать, какъ важный, въ этіологическомъ отношеніи, моментъ. Кромѣ того, доказано предрасполагающее къ помѣшательству вліяніе патологическихъ характеровъ; такъ у нѣкоторыхъ сумасбродныхъ головъ, чудаковъ, нерѣдко дѣти страдаютъ

нервными и душевными болѣзнями (у г-жи Хохлаковой, женщины съ страннымъ характеромъ, дочь страдаетъ истерикой. *Братья Карамазовы*). Но есть ли какой-нибудь законъ относительно передачи психопатической конституціи со стороны отца и со стороны матери, и извѣстенъ ли онъ былъ Достоевскому? Да; и психіатры и Достоевскій даютъ и на этотъ вопросъ одинаковый отвѣтъ. Конечно, наиболѣе сильно расположены къ заболѣванію тѣ несчастныя дѣти, у которыхъ наслѣдственность была и со стороны отца и со стороны матери (Смердяковъ былъ болѣе своихъ братьевъ пораженъ недугомъ). При наслѣдственномъ расположеніи со стороны одного изъ родителей наблюдается чаще всего перекрестная наслѣдственность, т. е. у душевно больныхъ отца—дочь, у матери—сынъ страдаютъ психозомъ. Отецъ Елизаветы Илья пьяница, сынъ Елизаветы эпилептикъ (*Братья Карамазовы*). Мать Раскольникова окончила жизнь душевно-больной (*Преступленіе и Наказаніе*). Но если унаслѣдовано только расположеніе къ заболѣванію, то появленіе болѣзни обыкновенно заставляетъ себя ждать до тѣхъ поръ, пока другія неблагопріятныя условія, часто сравнительно ничтожныя, окончательно уже сламываютъ унаслѣдованную болѣзненную организацію. Среди другихъ причинъ душевной болѣзни самыми существенными должны считаться вообще всѣ условія, какъ физическія, такъ и нравственныя, влекущія за собой истощеніе нервной системы. Таковы—пьянство, во-первыхъ, потому что алкоголь нервный ядъ, производящій матеріальныя измѣненія въ головномъ мозгу; во-вторыхъ, потому что пьянство обыкновенно соединено съ неправильнымъ образомъ жизни. Достоевскій неоднократно описывалъ, какъ гибельно вліяетъ оно на психическое здоровье. Къ той же категоріи должно отнести половыя излишества. Условія статьи не позволяютъ здѣсь указать, какое значеніе имѣютъ эти эксцессы, какъ причина душевныхъ болѣзней. Но какъ Достоевскій, такъ и психіатры должны бываютъ иногда указать на это излишество, какъ на одинъ изъ этіологическихъ моментовъ. Легочная чахотка, какъ болѣзнь

хроническая, влекущая за собой сильное истощеніе нервныхъ центровъ, такъ же какъ и продолжительное голоданіе, не рѣдко бываютъ одною изъ причинъ психопатическаго состоянія. (Раскольниковъ, Катерина Ивановна Мармеладова въ *Преступленіи и Наказаніи.*) Душевныя волненія несомнѣнно могутъ служить толчкомъ къ проявленію душевной болѣзни. То сильное вліяніе, которое оказываютъ аффекты на кровообращеніе и двигательные нервы (блѣдность и оцѣпенѣніе) до извѣстной степени указываетъ намъ, какъ сильно могутъ отражаться глубокія душевныя волненія на различныхъ мозговыхъ отправленіяхъ. Но отсюда до помѣшательства еще далеко. Вѣдь несчастія приходится переносить всякому, съ горя же заболѣваютъ душевною болѣзнью, даже и по мнѣнію публики, лишь немногіе. Конечно, есть случай, когда вслѣдъ за сильнымъ испугомъ почти тотчасъ-же развивается психическое разстройство, но это бываетъ крайне рѣдко. У субъектовъ, заболѣвающихъ психозами послѣ нравственныхъ потрясеній, обыкновенно бываетъ уже значительное предрасположеніе къ заболѣванію (невропатическая конституція, большею частію наслѣдственная). Достоевскій, описывая, какъ Аркаша (*Слабое сердце*) заболѣлъ помѣшательствомъ послѣ нравственнаго потрясенія, указалъ на то, что Аркаша обладалъ невропатическою организаціей; если бы не было указано на это обстоятельство, то разсказъ *Слабое сердце*, можетъ быть и замѣчательный въ художественномъ отношеніи, служилъ бы доказательствомъ, что авторъ не глубоко наблюдалъ жизнь и имѣлъ столь же поверхностныя свѣдѣнія о душевныхъ болѣзняхъ, какъ и другіе художники. Но Достоевскій и въ этомъ небольшомъ разсказѣ (слѣдовательно, дающемъ право пропустить подробности) не забылъ упомянуть, что Аркаша обладалъ невропатическою конституціей, слѣдовательно считалъ это обстоятельство важнымъ, что безспорно доказываетъ, какъ вѣрно и глубоко онъ понималъ этіологію душевныхъ болѣзней. Наблюденіе учитъ, что къ помѣшательству ведутъ только угнетающаго свойства душевныя волненія: горе, усиленныя занятія, недостиженіе извѣстныхъ нравственныхъ

стремленій, удары наносимые честолюбіемъ и т. п. (Аркаша, *Слабое сердце*; Голядкинъ, *Двойникъ*; Иванъ Карамазовъ, *Братья Карамазовы* и т. д.). Къ этой-же категоріи причинъ должно отнести и тюремное заключеніе. Статистика учитъ, что у лицъ, содержащихся въ тюрьмѣ, помѣшательство наблюдается весьма часто (2%—3%). Причина этого та, что у многихъ преступниковъ есть наслѣдственное предрасположеніе къ помѣшательству, ихъ прежній образъ жизни, угрызенія совѣсти, страхъ и т. д. Все это вполнѣ обстоятельно указано Достоевскимъ въ сравнительно бѣглой характеристикѣ молодого Сокольскаго (*Подростокъ*), помѣшавшагося въ тюрьмѣ.—Благодаря своему генію, Достоевскій далеко опередилъ науку: въ *Мертвомъ Домѣ* онъ говорилъ, что одиночное заключеніе должно убійственно дѣйствовать на психическое здоровье арестантовъ; увлеченіе системой одиночнаго заключенія было еще недавно такъ сильно, что до послѣдняго времени никто не высказывался согласно съ Достоевскимъ. Но такъ какъ истина въ концѣ концовъ всегда обнаружится, то уже начали раздаваться пока одинокіе и слабые голоса. Гангенъ, директоръ образцовой одиночной тюрьмы въ Даніи, на тюремномъ конгрессѣ въ Стокгольмѣ въ 1878 году доказалъ цифрами, что процентъ заболѣваемости арестантовъ вообще увеличивается съ возрастаніемъ срока пребыванія въ одиночномъ заключеніи. Такъ между заключенными на два года въ этой тюрьмѣ заболѣло психическимъ разстройствомъ 5%, на три года 14% на $3^1/_2$ года 17%. La fille Elisa, романъ Гонкура, пропагандируетъ ту же идею. У насъ въ Россіи еще нѣтъ опыта, по крайней мѣрѣ en grand, чтобъ имѣть цифры, но нельзя не согласиться съ авторитетнымъ мнѣніемъ профессора И. П. Мержеевскаго, указывавшаго въ своихъ лекціяхъ и бесѣдахъ, что мы, Славяне, вслѣдствіе извѣстныхъ особенностей своего характера, еще меньше способны безъ вреда для здоровья выносить одиночное заключеніе. На сколько важна степень культуры для опредѣленія вліянія одиночнаго заключенія, понятно каждому образованному человѣку. Оцѣнивъ все это, остается только удивиться, какъ вѣрно

понялъ Достоевскій вредъ одиночнаго заключенія для русскаго преступника. У женщинъ поводомъ къ психическому заболѣванію могутъ быть грубыя оскорбленія женской стыдливости (Оля, *Подростокъ*).

И такъ, причины душевныхъ болѣзней совершенно правильно поняты Достоевскимъ; мало того, онѣ указаны почти всѣ, по крайней мѣрѣ указаны всѣ типическія причины, и едва ли можно что-либо прибавить, кромѣ подробностей черезчуръ спеціальнаго характера, къ перечисленному выше. Кромѣ того, Достоевскій въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ указывалъ на нѣсколько причинъ: напримѣръ, помѣшательство у Раскольникова было обусловлено наслѣдственнымъ расположеніемъ, психическимъ характеромъ, голоданіемъ, неудовлетвореніемъ нравственныхъ стремленій, истощеніемъ, вслѣдствіе внутреннихъ волненій, испугомъ и т. п.“. *)

*) Еще много кое-чего можно было бы привести изъ критической литературы для настоящаго отдѣла книги, но мы ограничиваемся пока только этимъ — на томъ основаніи, что много будетъ еще сказано о Достоевскомъ при разборѣ его „Рѣчи о Пушкинѣ“, критическіе разборы которой мы надѣемся въ непродолжительномъ времени издать отдѣльной брошюрой.

РАЗБОРЪ СОЧИНЕНІЙ Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

„Бѣдные Люди" (1846 г.).

Слѣдующая выдержка изъ „Воспоминаній" П. Анненкова свидѣтельствуетъ, какъ Бѣлинскій отнесся къ первому литературному произведенію Достоевскаго, бывшему еще въ рукописи.

*) „Въ одно изъ моихъ посѣщеній Бѣлинскаго, передъ обѣдомъ, когда онъ отдыхалъ отъ утреннихъ писательскихъ работъ, я со двора дома увидѣлъ его у окна гостиной, съ большой тетрадью въ рукахъ и со всѣми признаками волненія въ лицѣ. Онъ тоже замѣтилъ меня и прокричалъ: „Идите скорѣе, сообщу новость... Вотъ отъ этой самой рукописи, — продолжалъ онъ, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — романъ начинающаго таланта: каковъ этотъ господинъ съ виду и каковъ объемъ его мысли — еще не знаю, а романъ открываетъ такія тайны жизни и характеровъ на Руси, которыя до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у насъ соціальнаго романа и сдѣланная притомъ такъ, какъ дѣлаютъ обыкновенно художники, т. е. не подозрѣвая и сами, что у нихъ выходитъ. Дѣло тутъ простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагаютъ, что любить весь міръ есть необычайная пріятность и обязанность для каждаго человѣка. Они ничего и понять не могутъ, когда колесо жизни со всѣми ея порядками, наѣхавъ на нихъ, дробитъ имъ молча члены и кости. Вотъ и все, —

*) Анненковъ. „Воспоминанія и критическіе очерки". Отд. III.

а какая драма, какіе типы! Да я и забылъ вамъ сказать, что художника зовутъ „Достоевскій“, а образцы его мотивовъ представлю сейчасъ.“ И Бѣлинскій принялся съ необычайнымъ паѳосомъ читать мѣста, наиболѣе поразившія его, сообщая имъ еще большую окраску своей интонаціей и нервной передачей. Такъ встрѣтилъ онъ первое произведеніе нашего романиста. И этимъ еще не кончилось. Бѣлинскій хотѣлъ сдѣлать для молодого автора то, что онъ дѣлалъ уже для многихъ другихъ, какъ, напримѣръ, для Кольцова и Некрасова, т. е. высвободить его талантъ отъ резонерскихъ наклонностей и сообщить ему сильные, такъ сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладѣвать предметами прямо, съ разу, не надрываясь въ попыткахъ, но тутъ критикъ встрѣтилъ уже рѣшительный отпоръ. Въ домѣ же Бѣлинскаго прочитанъ былъ новымъ писателемъ второй его разсказъ: „Двойникъ“; это сенсаціонное изображеніе лица, существованіе котораго проходитъ между двумя мірами—реальнымъ и фантастическимъ, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни къ одному изъ нихъ. Бѣлинскому нравился и этотъ разсказъ по силѣ и полнотѣ разработки оригинально-странной темы, но мнѣ, присутствовавшему тоже на этомъ чтеніи, показалось, что критикъ имѣетъ еще заднюю мысль, которую не считаетъ нужнымъ высказывать тотчасъ же. Онъ безпрестанно обращалъ вниманіе Достоевскаго на необходимость *набить руку*, что называется, въ литературномъ дѣлѣ, пріобрѣсти способность легкой передачи своихъ мыслей, освободиться отъ затрудненій изложенія. Бѣлинскій, видимо, не могъ освоиться съ тогдашней, еще расплывчатой манерой разсказчика, возвращавшагося поминутно на старыя свои фразы, повторявшаго и измѣнявшаго ихъ до безконечности, и относилъ эту манеру къ неопытности молодого писателя, еще не успѣвшаго одолѣть препятствій со стороны языка и формы. Но Бѣлинскій ошибся: онъ встрѣтилъ не новичка, а совсѣмъ уже сформировавшагося автора, обладающаго потому и закоренѣлыми привычками работы, не смотря на то, что онъ являлся, повидимому, съ пер-

вымъ своимъ произведеніемъ. Достоевскій выслушалъ наставленія критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успѣхъ, полученный его повѣстью, съ разу оплодотворилъ въ немъ тѣ сѣмена и зародыши высокаго уваженія къ самому себѣ и высокаго понятія о себѣ, какія жили въ его душѣ. Успѣхъ этотъ болѣе, чѣмъ освободилъ его отъ сомнѣній и колебаній, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторовъ: онъ еще принялъ его за вѣщій сонъ, пророчившій вѣнцы и капитоліи. Такъ, рѣшаясь отдать романъ свой въ готовившійся тогда Альманахъ, авторъ его совершенно спокойно, и какъ условіе, слѣдующее ему по праву, потребовалъ, чтобъ его романъ былъ отличенъ отъ всѣхъ другихъ статей книги особеннымъ типографскимъ знакомъ, напримѣръ—каймой“.

* *
*

По напечатаніи „Бѣдныхъ Людей“ въ „Сборникѣ“ Некрасова, Бѣлинскій въ томъ же 1846 году критически разобралъ этотъ романъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, гдѣ между прочимъ онъ говоритъ:

*) „Слухи о „Бѣдныхъ Людяхъ“ и новомъ, необыкновенномъ талантѣ, готовомъ появиться на аренѣ русской литературы, задолго предупредили появленіе самой повѣсти. Подобнаго обстоятельства никакъ нельзя назвать выгоднымъ для автора. Для людей съ положительнымъ, развитымъ эстетическимъ вкусомъ, все равно быть или не быть предупрежденными въ пользу автора: прочитавъ повѣсть, они увидятъ, что это такое; но истинныхъ знатоковъ искусства немного на бѣломъ свѣтѣ, а не знатокъ отъ всего заранѣе расхваленнаго ожидаетъ какого-то чуда совершенства, т. е. фразистой мелодрамы во вкусѣ Марлинскаго, — и увидя, что это совсѣмъ не то, что все такъ просто, естественно, истинно и вѣрно, онъ разочаровывается, и въ досадѣ, уже не видитъ въ произведеніи того, что болѣе или менѣе ему доступно и что, навѣрное, понравилось бы ему, если бъ

*) Сочиненія В. Бѣлинскаго, т. 10 и „Отечественныя Записки“ 1846 г.

онъ не былъ заранѣе настроенъ искать тутъ какихъ-то волшебныхъ фокусъ-покусовъ. Не смотря на то, успѣхъ „Бѣдныхъ Людей“ былъ полный. Если бъ эту повѣсть приняли всѣ съ безусловными похвалами, съ безусловнымъ восторгомъ,—это служило бы неопровержимымъ доказательствомъ, что въ ней точно есть что-то, но нѣтъ ничего необыкновеннаго. Такой дебютъ былъ бы жалокъ. Но вышло гораздо лучше: за исключеніемъ людей, рѣшительно лишенныхъ способности понимать поэзію, и за исключеніемъ, можетъ быть, двухъ-трехъ *исписавшихся* за себя писакъ, всѣ согласились, что въ этой повѣсти замѣтенъ не совсѣмъ необыкновенный талантъ. Для перваго раза нечего больше и желать. Со временемъ та же повѣсть будетъ казаться иною многимъ изъ тѣхъ, которые сочли преувеличенными предшествовавшіе ея появленію слухи о высокомъ художественномъ ея достоинствѣ. Изъ всѣхъ критиковъ, самый великій, самый геніальный, самый непогрѣшительный—время... Нельзя не согласиться, что для перваго дебюта „Бѣдные Люди“, и, непосредственно за ними, „Двойникъ“—произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей. Конечно, это доказываетъ совсѣмъ не то, чтобъ г. Достоевскій по таланту былъ выше своихъ предшественниковъ (мы далеки отъ подобной нелѣпой мысли), но только то, что онъ имѣлъ передъ ними выгоду явиться послѣ нихъ; однако-жъ, со всѣмъ тѣмъ, подобный дебютъ ясно указываетъ на мѣсто, которое со временемъ займетъ г. Достоевскій въ русской литературѣ, и на то, что если бы онъ и не сталъ рядомъ съ своими предшественниками, какъ равный съ равными, то долго еще ждать намъ таланта, который бы сталъ къ нимъ ближе его. Посмотрите, какъ проста завязка въ „Бѣдныхъ Людяхъ“: вѣдь и разсказать нечего! А между тѣмъ такъ много приходится разсказывать, если уже рѣшишься на это! Бѣдный пожилой чиновникъ, недалекаго ума, безъ всякаго образованія, но съ безконечно-доброю душою и теплымъ сердцемъ, опираясь на право дальняго, чуть ли еще не придуманнаго имъ для благовиднаго предлога, родства, исхищаетъ

бѣдную дѣвушку изъ рукъ гнусной торговки женской добродѣтелью, дѣвическою красотою. Авторъ не говоритъ намъ, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать состраданіе, или состраданіе родило въ немъ любовь къ этой дѣвушкѣ; только мы видимъ, что его чувство къ ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокаго старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтобъ не возненавидѣть жизни и не замереть отъ ея холоду, и которому всего естественнѣе полюбить существо, обязанное ему, одолженное имъ, — существо, къ которому онъ привыкъ и которое привыкло къ нему. Нѣтъ, въ чувствѣ Макара Алексѣевича къ его „маточкѣ“, „ангельчику и херувимчику Варенькѣ“ есть что-то похожее на чувство любовника,—на чувство, которое онъ силится не признавать въ себѣ, но которое у него противъ воли по временамъ прорывается наружу, и которое онъ не сталъ бы скрывать, если-бъ замѣтилъ, что она смотритъ на него не какъ на вовсе неумѣстное. Но бѣднякъ видитъ, что этого нѣтъ, и съ героическимъ самоотверженіемъ остается при роли родственника-покровителя. Иногда онъ разнѣживается, особенно въ первомъ письмѣ, на счетъ поднятаго уголочка оконной занавѣски, хорошей весенней погоды, птичекъ небесныхъ, и говоритъ, что „все въ розовомъ цвѣтѣ представляется“. Получивъ въ отвѣтъ намекъ на его лѣта, бѣднякъ впадаетъ въ тоску, чувствуя, что его поймали на шалости, и досада его слегка высказывается только въ увѣреніяхъ, что онъ еще вовсе не старикъ. Эти отношенія, это чувство, эта старческая страсть, въ которой такъ чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка,—все это развито авторомъ съ удивительнымъ искусствомъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ. Дѣвушкинъ, помогая Варенькѣ Доброселовой, забираетъ впередъ жалованье; входитъ въ долги, терпитъ страшную нужду и въ лютыя минуты отчаянія, какъ русскій человѣкъ, ищетъ забвенія въ пьянствѣ. Но какъ онъ деликатенъ по инстинкту! Благодѣтельствуя, онъ лишаетъ себя всего, такъ сказать, обворовываетъ, грабитъ самого себя,—до послѣдней крайности

обманываетъ свою Вареньку небывалымъ у него капиталомъ въ ломбардѣ, и если проговаривается объ истинномъ своемъ положеніи, то по стариковской болтливости и такъ простодушно! Ему не приходитъ въ голову, что онъ пріобрѣлъ право своими пожертвованіями требовать вознагражденія любовью за любовь, тогда какъ по тѣснотѣ и узкости его понятій, онъ могъ бы навязать себя Варенькѣ въ мужья уже потому естественному и весьма справедливому убѣжденію, что никто, какъ онъ, не можетъ такъ любить ее и всего себя принести ей на жертву; но отъ нея онъ не потребовалъ жертвы: онъ любилъ ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всѣмъ—было для него счастьемъ. Чѣмъ ограниченнѣе его умъ, чѣмъ тѣснѣе и грубѣе его понятія, тѣмъ, кажется, шире, благороднѣе и деликатнѣе его сердце; можно сказать, что у него всѣ умственныя способности изъ головы перешли въ сердце. Многіе могутъ подумать, что въ лицѣ Дѣвушкина, авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, у котораго умъ и способность придавлены, приплюснуты жизнію. Была бы большая ошибка думать такъ. Мысль автора гораздо глубже и гуманнѣе: онъ, въ лицѣ Макара Алексѣевича, показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ. Конечно, не всѣ бѣдняки такого рода похожи на Макара Алексѣевича въ его хорошихъ свойствахъ, и мы согласны, что такіе люди рѣдки, но въ то же время нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что на такихъ людей мало обращаютъ вниманія, мало ими занимаются, мало ихъ знаютъ. Если богачъ, ежедневно проѣдающій сто, двѣсти и больше рублей, броситъ нищему двадцать пять рублей, всѣ замѣчаютъ это и, въ чаяніи получить отъ него больше, умиляются душою отъ его великодушнаго поступка. Но бѣднякъ, отдающій такому же бѣдняку, какъ и онъ самъ, свои послѣднія двадцать копеекъ мѣдью, какъ отдалъ ихъ Дѣвушкинъ Горшкову,—такой бѣднякъ не всѣхъ тронетъ и въ повѣсти, мастерски написанной, а въ дѣйствительности въ его поступкѣ не захотѣли бы увидѣть ничего, кромѣ смѣшного. Честь и

слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и въ подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: „вѣдь это тоже люди, ваши братья!"

Обратите вниманіе на старика Покровскаго—и вы увидите ту же гуманную мысль автора. Подставной мужъ обольщенной и обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница—и онъ *человѣкъ!* Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну, напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго, съ книгами въ карманѣ и подъ мышкою, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно любимаго имъ сына,—не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобъ какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка...

Вообще трагическій элементъ глубоко проникаетъ собою весь этотъ романъ. И этотъ элементъ тѣмъ поразительнѣе, что онъ передается читателю не только словами, но и понятіями Макара Алексѣевича. Смѣшить и глубоко потрясать душу читателя въ одно и то же время, заставить его улыбаться сквозь слезы,—какое умѣнье, какой талантъ! И никакихъ мелодраматическихъ пружинъ, ничего похожаго на театральные эффекты! Все такъ просто и обыкновенно, какъ та будничная, повседневная жизнь, которая кишитъ вокругъ каждаго изъ насъ и пошлость которой нарушается только неожиданнымъ появленіемъ смерти то къ тому, то къ другому!.. Всѣ лица обрисованы такъ полно, такъ ярко, не исключая ни лица г. Быкова, только на минуту появляющагося въ романѣ собственною особою, ни лица Анны Ѳедоровны, ни разу не появляющейся въ романѣ собственною особою. Отецъ и мать Доброселовой, старикъ и юноша Покровскіе, жалкій писака Ротозяевъ, ростовщикъ,—словомъ, каждое лицо даже изъ тѣхъ, которыя или только вскользь показываются, или только заочно упоминаются въ романѣ, такъ и стоитъ передъ читателемъ, какъ

будто давно коротко ему знакомое. Можно бы замѣтить, и не безъ основанія, что лицо Вареньки какъ то не совсѣмъ опредѣленно и неоконченo; но, видно, ужъ такова участь русскихъ женщинъ, что русская поэзія не ладитъ съ ними да и только! Не знаемъ, кто тутъ виноватъ, русскія ли женщины или русская поэзія; но знаемъ, что только Пушкину удалось, въ лицѣ Татьяны, схватить нѣсколько чертъ русской женщины, да и то ему необходимо было сдѣлать ее свѣтскою дамою, чтобъ сообщить ея характеру опредѣленность и самобытность. Журналъ Вареньки прекрасенъ, но все-таки, по мастерству изложенія, его нельзя сравнить съ письмами Дѣвушкина. Замѣтно, что авторъ тутъ былъ не совсѣмъ, какъ говорится, у себя дома; но и тутъ онъ блистательно умѣлъ выйти изъ затруднительнаго положенія. Воспоминанія дѣтства, переѣздъ въ Петербургъ, разстройство дѣлъ Доброселова, ученье въ пансіонѣ, особенно жизнь въ домѣ Анны Ѳедоровны; отношенія Вареньки къ Покровскому, ихъ сближеніе, портретъ отца Покровскаго, подарокъ молодому Покровскому въ день именинъ; смерть Покровскаго,—все это разсказано съ изумительнымъ мастерствомъ. Доброселова не выговариваетъ ни одного щекотливаго для нея обстоятельства, ни безчестныхъ видовъ на нее Анны Ѳедоровны, ни своей любви къ Покровскому, ни своего потомъ невольнаго паденія; но читатель самъ видитъ все-таки ясно, что ему и не нужно никакихъ объясненій".

* *
*

Бѣлинскій послѣ перваго своего разбора „Бѣдныхъ Людей" не разъ еще возвращался къ нимъ. Такъ въ 1847 году въ „Современникѣ", при общемъ обозрѣніи литературы за 1846 г., онъ между прочимъ замѣтилъ:

*) „Обращаясь къ замѣчательнымъ произведеніямъ беллетристической прозы, являвшимся въ сборникахъ и журналахъ прошлаго года,—взглядъ нашъ прежде всего встрѣ-

*) Сочиненія Бѣлинскаго, т. 11.

чаетъ „Бѣдныхъ Людей“, романъ, вдругъ доставившій большую извѣстность до того времени совершенно неизвѣстному въ литературѣ имени. Впрочемъ, объ этомъ произведеніи было такъ много говорено во всѣхъ журналахъ, что новые подробные толки о немъ уже не могутъ быть интересны для публики. И потому, мы не будемъ слишкомъ распространяться объ этомъ предметѣ. Сила, глубина и оригинальность таланта г. Достоевскаго была признана тотчасъ-же всѣми, и, что еще важнѣе—публика тотчасъ-же обнаружила ту неумѣренную требовательность въ отношеніи къ таланту г. Достоевскаго и ту неумѣренную нетерпимость къ его недостаткамъ, которыя и можетъ возбуждать только сильный талантъ. Почти всѣ единогласно нашли въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ г. Достоевскаго способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство, одни — растянутости, другіе—неумѣренной плодовитости. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что если бы „Бѣдные Люди“ явились хотя десятою долею въ меньшемъ объемѣ, и авторъ имѣлъ бы предусмотрительность поочистить ихъ отъ излишнихъ повтореній однихъ и тѣхъ же фразъ и словъ,—это произведеніе явилось бы безукоризненно-художественнымъ.

* * *

Еще черезъ годъ, именно въ 1848 году, въ „Современникѣ“ же, по поводу выхода въ свѣтъ „Бѣдныхъ Людей“ отдѣльнымъ изданіемъ, Бѣлинскій писалъ:

*) „Появленіе этого романа было шумнымъ событіемъ въ нашей литературѣ. Раздались громкія похвалы и громкія порицанія, начался споръ. Въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ имя г. Достоевскаго одно занимало наши журналы. Это движеніе доказывало, что дѣло идетъ о произведеніи и талантѣ, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ явленій. Г. Достоевскій недавно напечаталъ свой новый романъ „Хозяйка“, который не возбудилъ никакого шуму и про-

*) Сочиненія Бѣлинскаго, т. 11.

шелъ въ страшной тишинѣ. Шумъ, конечно, не всегда одно и то же со славою, но безъ шуму нѣтъ и славы. „Бѣдные Люди" доставили своему автору громкую извѣстность, подали высокое понятіе о его талантѣ и возбудили большіе надежды—увы!—до сихъ поръ не сбывающіяся. Это однакожъ не мѣшаетъ „Бѣднымъ Людямъ" быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Романъ этотъ носитъ на себѣ всѣ признаки перваго, живого, задушевнаго, страстнаго произведенія. Отсюда его многословность и растянутость, иногда утомляющая читателя, нѣкоторое однообразіе въ способѣ выражаться, частыя повторенія фразъ въ любимыхъ авторомъ оборотахъ, мѣстами недостатокъ въ обработкѣ, мѣстами излишество въ отдѣлкѣ, несоразмѣрность въ частяхъ. Но все это выкупается поразительною истиною въ изображеніи дѣйствительности, мастерскою обрисовкою характеровъ и положеній дѣйствующихъ лицъ, и — что, по нашему мнѣнію, составляетъ главную силу таланта г. Достоевскаго, его оригинальность, — глубокимъ пониманіемъ и художественнымъ, въ полномъ смыслѣ слова, воспроизведеніемъ трагической стороны жизни. Въ „Бѣдныхъ Людяхъ" много картинъ, глубоко потрясающихъ душу. Правда, авторъ подготовляетъ своего читателя къ этимъ картинамъ немножко тяжеловато. Вообще, легкость и текучесть изложенія не въ его талантѣ, что много вредитъ ему. Но за то, самыя эти картины, когда дойдешь до нихъ—мастерскія художественныя произведенія, запечатлѣнныя глубиною взгляда и силою выполненія. Ихъ впечатлѣніе рѣшительно и могущественно, ихъ никогда не забудешь".

* * *

Опуская другія, современныя появленію „Бѣдныхъ Людей", критики, перейдемъ къ тому знаменательному критическому періоду въ нашей литературѣ, представителемъ котораго былъ Н. Добролюбовъ. Въ 1861 году въ № 9 „Современника" Добролюбовъ, между прочимъ, разбираетъ „Бѣдныхъ Людей" слѣдующимъ образомъ:

*) „Люди, которыхъ человѣческое достоинство оскорблено, являются намъ у г. Достоевскаго въ двухъ главныхъ типахъ: кроткомъ и ожесточенномъ. Первые не дѣлаютъ уже никакого протеста, склоняются подъ тяжестью своего положенія и серьезно начинаютъ увѣрять себя, что они — нуль, ничего, и что если его превосходительство заговоритъ съ ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодѣтельствованными. Другіе, напротивъ: видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли,—попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, сдѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не попросить и не принять ни услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда.

Само собою понятно, что имъ не удается выдержать характеръ, и оттого они вѣчно недовольны собою, проклинаютъ себя и другихъ, задумываютъ самоубійство и т. п.

Между этими двумя крайностями стоитъ еще разрядецъ людей, которыхъ можно, пожалуй, отнести скорѣе къ первому типу: это люди, потерявшіе широкое сознаніе своего человѣческаго права, но замѣнившіе его какою-нибудь узенькою фикціею условнаго права, утвердившіеся въ этой фикціи и бережно ее хранящіе. При всякомъ случаѣ, гдѣ подобные господа воображаютъ, что ихъ личное достоинство въ опасности, они готовы повторять, напримѣръ, что „я титулярный совѣтникъ", мнѣ самъ Василій Петровичъ руку подалъ", меня штабъ-офицерша Похлестова знаетъ, и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые до-нельзя и сами всѣхъ болѣе несчастные своею обидчивостью...

Обратимся къ анализу первой черты,—совершеннаго смиренія тупого успокоенія на своемъ положеніи, каково оно вышло. Кажется, тутъ бы и говорить не о чемъ; человѣкъ убѣдился, что онъ глупъ, или безобразенъ, или манеръ не имѣетъ,—ну, и ладно, и бросить эту матерію... Что тутъ

*) Н. Добролюбовъ. „Забитые люди". „Современникъ" 1861 г., № 9 и Сочиненія Добролюбова, т. 3.

канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнѣе: знаетъ, что слѣпъ, такъ и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другіе скажутъ. И какой интересъ—описывать то, какъ слѣпой не видитъ?..

Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго, здраваго смысла, въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда не заглушимыя стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ въ самой глубинѣ души запрятанный протестъ личности противъ внѣшняго, насильственнаго давленія, и представляетъ его на нашъ судъ и сочувствіе. Такія открытія дѣлаетъ намъ Гоголь въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ своихъ; то же, только въ нѣсколько затѣйливой формѣ находимъ мы въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ г. Достоевскаго и отчасти въ другихъ его повѣстяхъ.

Чиновникъ Дѣвушкинъ, напримѣръ, живетъ себѣ, дожилъ до сѣдыхъ волосъ, прослужилъ безъ малаго тридцать лѣтъ тихо и скромно, ни о чемъ не задумываясь, ни на что не претендуя. „Что это вы пишете мнѣ—объясняется онъ съ Варенькой — про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка моя, я не брюзгливъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ что же на старости-то лѣтъ привередничать? *Я сытъ, одѣтъ, обутъ; да и куда намъ затѣи затѣвать! Не графскаго рода!*... Родитель былъ не изъ дворянскаго званія, и со всей-то семьей своей былъ бѣднѣе меня по доходу. — Я не нѣженка“. И точно онъ не нѣженка: квартиру занимаетъ за перегородкой въ кухнѣ, платитъ за нее два цѣлковыхъ, и утѣшается тѣмъ, что онъ „ото всѣхъ особнячкомъ, помаленьку живетъ, втихомолочку живетъ“... „Сытъ я, “ говоритъ,—а за столъ платитъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ: можно представить, какая тутъ сытость. Обутъ и одѣтъ онъ, — тоже соотвѣтственно, но все повторяетъ: „Я не ропщу и доволенъ, жалованья достаточно, вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно“. Относительно своего умственнаго состоянія со-

знаетъ, что онъ человѣкъ не ученый, на мѣдныя деньги учился, и слога не имѣетъ, и высокихъ матерій понимать не можетъ, а потому далеко и не лѣзетъ; съ общественнымъ положеніемъ онъ примирился отлично. Онъ дошелъ до такихъ выводовъ, успокоительныхъ и резонныхъ: „Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человѣка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ“. Утвердившись въ такихъ цѣлительныхъ мысляхъ, Макаръ Алексѣевичъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно теряетъ всякую опору внутри себя, въ собственномъ разсудкѣ, и высшею единственною мѣрою своихъ достоинствъ считаетъ уже не собственное сознаніе, а мнѣнія начальства и формальныя отношенія. Достоинства свои онъ описываетъ такимъ образомъ: „Состою я уже около 30 лѣтъ по службѣ, служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ, считаю себя *собственнымъ сознаніемъ своимъ*, какъ имѣющаго свои недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ и добродѣтели. *Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны* (собственное то сознаніе куда пошло!); и хотя еще они доселѣ не оказывали мнѣ особенныхъ знаковъ благорасположенія, но я знаю, что они довольны“. Далѣе Макаръ Алексѣичъ опять показываетъ, какъ сильно его собственное сознаніе: Я, говоритъ, „въ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ никогда не замѣченъ, чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь, или въ нарушеніи общественнаго спокойствія,—въ этомъ я никогда не замѣченъ, этого не было; *даже крестикъ выходилъ*“... Какъ видите, *крестикъ* составляетъ въ нѣкоторомъ родѣ базисъ философіи Макара Алексѣича и самый высшій, послѣдній аргументъ его. Онъ не лишенъ и амбиціи, но она удовлетворяется тоже довольно легко: онъ разъ, напримѣръ, выпилъ неосторожно, дебошу надѣлалъ, по его словамъ, и послѣ того пишетъ

къ Варенькѣ, утѣшая ее: „Вы, говоритъ, обо мнѣ не безпокойтесь; спѣшу вамъ объявить, что амбиція моя мнѣ всего дороже, и увѣдомляю васъ, что *изъ начальства еще никто ничего не знаетъ, да и не будетъ знать, такъ что они всѣ будутъ питать ко мнѣ уваженіе по прежнему*". Вообще Макаръ Алексѣичъ до того дошелъ, что даже и сапоги, и шинель носитъ не для себя, а для другихъ, въ особенности же для его превосходительства; и чай пьетъ больше для другихъ, и все для другихъ изъ амбиціи. „По мнѣ все равно, хоть бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапогъ ходить—я перетерплю, и все вынесу, мнѣ ничего: *человѣкъ-то я простой, маленькій*". Но „*сапоги нужны для поддержки чести и добраго имени*; *въ дырявыхъ же сапогахъ и то и другое пропало*". То есть какъ же пропало? А такъ, что „вдругъ его превосходительство замѣтятъ и невзначай какъ-нибудь отнесутся на мой счетъ—бѣда"!.. Къ этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся въ головѣ Макара Алексѣича, прибавьте умилительно-подловатое впечатлѣніе, оставшееся въ немъ отъ сцены, когда у него отлетѣла пуговица въ присутствіи генерала, и генералъ далъ ему сто рублей и пожалъ руку. Сцена эта дѣйствительно превосходная, много разъ была цитирована, и потому, конечно, понятна читателямъ. А вотъ мысли о ней самого Макара Алексѣича: „Клянусь вамъ,—пишетъ онъ Варенькѣ, — что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія. глядя на васъ. на ваши бѣдствія и на себя, на униженіе мое и на мою неспособность, не смотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то. что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили! Этимъ они меня самому себѣ возвратили. Этимъ поступкомъ *они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще на вѣки сдѣлали*, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшенъ предъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его"! Въ этихъ изліяніяхъ душевныхъ вы видите доброту, чувствительность, благородство, если

хотите— даже утонченную деликатность Макара Алексѣича; но согласитесь, что вѣдь вамъ жалко то униженіе, въ какое онъ ставитъ себя, и только сила состраданія прогоняетъ въ васъ то чувство отвращенія, которое иначе невольно возбуждалось бы въ васъ такимъ искаженіемъ человѣческой природы... Забитый, тощій песъ Улисса, съ воемъ и ласкою встрѣчающій своего господина, неизмѣримо ближе и ровнѣе съ нимъ, нежели этотъ чиновникъ съ благодѣтельнымъ его превосходительствомъ. Полное отсутствіе какого бы то ни было сознанія о своемъ достоинствѣ, полное признаніе своего ничтожества, исключеніе себя изъ того рода существа, къ которому равно принадлежитъ и Макаръ Алексѣичъ и его благодѣтель, — вотъ что видите вы въ изліяніяхъ его благородности. А онъ между тѣмъ счастливъ, самъ счастливъ собственнымъ униженіемъ и въ умиленіи молитъ Бога простить ему „ропотъ и *либеральныя мысли*", которыя онъ позволялъ себѣ подъ часъ „въ прежнее грустное время"...

Нужно сказать, что нѣкоторая доля художнической силы постоянно сказывается въ г. Достоевскомъ, а въ „Бѣдныхъ Людяхъ" сказалась даже въ значительной степени. Отъ него не ускользнула правда жизни, и онъ чрезвычайно мѣтко и ясно положилъ грань между оффиціальнымъ настроеніемъ, между внѣшностью, форменностью, и тѣмъ, что составляетъ его внутреннее существо, что скрывается въ тайникахъ его натуры и лишь по временамъ, въ минуты особаго настроенія, мелькомъ проявляется на поверхности. Изъ наблюденій автора, переданныхъ намъ въ его разсказахъ, оказывается, что вѣдь ни одного человѣка нѣтъ, кто бы, въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ сердцемъ и душою возлюбилъ идеальную организацію, обѣщающую столько мира и довольства людямъ. Даже люди, наиболѣе ею пропитанные, и тѣ безпрестанно проговариваются и уклоняются. Да вотъ хоть бы самъ Макаръ Алексѣичъ: вы, можетъ быть, думаете, что онъ въ самомъ дѣлѣ успокоился на томъ, что „всякому свое мѣсто назначено; а мѣста по способностямъ распредѣлены" и т. д.? Вовсе нѣтъ; это когда онъ резони-

руетъ въ спокойномъ положеніи, такъ и говоритъ такимъ образомъ. А чуть кто-нибудь задѣнетъ его за живое,—онъ совсѣмъ мѣняется, и лѣзутъ ему въ голову сами собой „либеральныя“ мысли. Онъ тогда спрашиваетъ: „Отчего же это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣніи находится, а къ другому кому счастье само напрашивается?.. Знаю, знаю маточка (спѣшитъ онъ прибавить, обращаясь къ Варенькѣ), — что не хорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правдѣ-истинѣ,—зачѣмъ одному еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься,—ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка (снова спѣшитъ оговориться боязливый Макаръ Алексѣичъ), оно грѣшно такъ думать, *да тутъ по неволѣ грѣхъ въ душу лѣзетъ*“. Расчувствовавшись, Макаръ Алексѣичъ уже не ограничивается и сомнѣніями, а даже до негодованія доходитъ и задѣваетъ людей почище себя: „Что фракъ-то сидитъ на немъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ,—такъ ужъ ему все съ рукъ сходитъ, такъ ужъ и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! *Полно, такъ ли, голубчикъ?*“ Какъ хотите, а вѣдь это чуть не вызовъ со стороны бѣднаго чиновника: видно, не совсѣмъ угомонилось его сердце, не совсѣмъ успокоился онъ на томъ, что „если бы мы другъ другу тону не задавали, то и свѣтъ бы не стоялъ, и порядку бы не было“. Нѣтъ, онъ издаетъ теперь вопли сердечные и сознаетъ за собою право вопить и жаловаться: „А еще люди богатые не любятъ,—замѣчаетъ онъ, — чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались,—дескать, они безпокоятъ, они-де назойливы. *Да и всегда бѣдность назойлива; спать, что ли, мѣшаютъ ихъ стоны голодные?...*“ И переполненное горечью сердце внушаетъ ему такія мысли, вызываетъ наружу такіе инстинкты,

которыхъ онъ самъ испугался и отрекся бы въ обыкновенномъ положеніи, но которые теперь сами собой, неодолимо являются во всей своей силѣ. „*Теперь* на меня *такая тоска напала*,—пишетъ разогорченный Дѣвушкинъ, — *что я самъ своимъ мыслямъ до глубины души сталъ сочувствовать*, и хотя я самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки *нѣкоторымъ образомъ справедливость воздашь себѣ*. И подлинно, родная моя, *часто самого себя*, безъ *всякой причины*, *уничтожаешь*, въ грошъ не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можетъ быть, оттого происходитъ, что я самъ *запуганъ и загнанъ*, какъ хоть бы и тотъ бѣдненькій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ“. Вотъ этакія-то мысли, западая въ человѣка и развиваясь въ немъ съ чрезвычайною быстротою и силою, при помощи его природныхъ инстинктовъ,—и губятъ всеобщую тишину и спокойствіе въ томъ идеальномъ общественномъ механизмѣ, который рисовался намъ выше. И нельзя сказать, чтобы авторъ здѣсь выдумывалъ, клеветалъ на человѣческую природу. Можно замѣтить, пожалуй, что Макаръ Алексѣичъ, для своего образованія и положенія, является уже слишкомъ мѣткимъ оцѣнщикомъ противорѣчій оффиціальныхъ основъ жизни съ ея дѣйствительными требованіями; но это потому, что, сочиняя въ теченіе полугода, чуть не каждый день, письма къ Варенькѣ, Макаръ Алексѣичъ изощрилъ свой слогъ; а съ другой стороны—почему же и автору немножко не придти къ нему на помощь? Но помощь эта касается единственно словеснаго выраженія мыслей; сами же мысли чисто принадлежатъ Макару Алексѣичу, — это скажетъ всякій, хоть недолгое время, хоть разъ бывавшій въ его положеніи. Макаръ Алексѣичъ формулировалъ свои тяжкія сомнѣнія въ письмахъ къ Варенькѣ; другіе не формулируютъ ихъ иначе, какъ своимъ поведеніемъ, разными странными поступками и печальными ихъ результатами“.

* * *

Слѣдующіе два критическіе отзыва относятся къ болѣе позднѣйшему времени: первый (О. Миллера) къ 1874 году, а второй (Н. Булича) къ 1881 году.

*) „Съ первыхъ-же своихъ шаговъ на литературномъ поприщѣ Достоевскій обращается къ людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, хотя и изъ класса чиновничьяго, къ тѣмъ изъ этого класса, для которыхъ, конечно, не „благодать" ихъ кличка „*чиновникъ*". Въ этомъ отношеніи Достоевскій является прямымъ продолжателемъ того направленія, которое выразилось въ повѣсти Гоголя „Шинель". Но въ романѣ „Бѣдные Люди", съ разу доставившемъ Достоевскому такую почетную извѣстность, нельзя не признать значительнаго шага впередъ противъ „Шинели". Гуманное отношеніе къ бѣднымъ, забитымъ людямъ тутъ проведено гораздо далѣе, чѣмъ у Гоголя. Не даромъ Бѣлинскій обратился къ Достоевскому съ такими сочувственными словами: „Честь и слава молодому поэту, муза котораго любитъ людей на чердакахъ и подвалахъ, и говоритъ о нихъ обитателямъ раззолоченныхъ палатъ: вѣдь это тоже люди, ваши братья!" Конечно, уже и Гоголь сказалъ это психологическою постановкою героя „Шинели", который хотя и смѣшонъ, но такъ живо трогаетъ каждаго сколько-нибудь по-человѣчески чувствующаго читателя. Тѣмъ не менѣе герой Гоголя, такъ сказать, весь ушелъ самъ въ себя, въ продолжительныя заботы о томъ для него значительномъ комфортѣ, какой онъ доставляетъ себѣ новой шинелью; сочувствіе къ нему читателя возбуждается собственно тѣмъ, что авторъ даетъ понять, какъ дорого, цѣною какихъ долгихъ лишеній, достается маленькому человѣку и какое событіе въ его приниженной жизни составляетъ то, что является у другого само собой къ ряду множества другихъ вещей, безъ которыхъ и обойтись нельзя, а маленькій человѣкъ обходится! Все то, что предпринимаетъ Акакій Акакіевичъ для доставленія себѣ новой шинели — своего рода нравственный подвигъ, но подвигъ, который ведетъ къ его личному удо-

*) „Публичныя лекціи О. Миллера".

вольствію и удобству. Гораздо болѣе представляютъ намъ „Бѣдные Люди" Достоевскаго. Въ лицѣ Макара Дѣвушкина, этого добряка-чиновника, переписывающагося съ героиней повѣсти, авторъ, по замѣчанію Бѣлинскаго, „показалъ намъ, какъ много прекраснаго, благороднаго и святого лежитъ въ самой ограниченной человѣческой натурѣ", т. е. въ тѣхъ симпатическихъ связяхъ, которыя соединяютъ бѣднаго, загнаннаго человѣка съ другимъ бѣднымъ, загнаннымъ срществомъ. Ту же глубоко-человѣческую черту усмотрѣлъ Бѣлинскій и въ другомъ лицѣ этой повѣсти, въ лицѣ эпизодическомъ, старикѣ Покровскомъ. „Подставной мужъ обманутой женщины, потомъ угнетенный мужъ разлихой бой-бабы, шутъ и пьяница — и онъ человѣкъ!" говоритъ Бѣлинскій.—Да, и онъ человѣкъ, даже въ лучшемъ смыслѣ слова, потому что онъ въ состояніи любить до самоотверженія. „Вы можете смѣяться надъ его любовью къ своему мнимому сыну", продолжаетъ Бѣлинскій, „напоминающую робкую любовь собаки къ человѣку; но если, смѣясь надъ нею, вы въ то же время глубоко ею не трогаетесь, если изображеніе Покровскаго съ книгами въ карманѣ и подъ мышками, безъ шапки на головѣ, въ дождь и холодъ бѣгущаго за гробомъ смѣшно-любимаго имъ сына, не производитъ на васъ трагическаго впечатлѣнія, не говорите объ этомъ никому, чтобы какой-нибудь Покровскій, шутъ и пьяница, не покраснѣлъ за васъ, какъ за человѣка". Все это сказано Бѣлинскимъ именно потому, что въ Покровскомъ, какъ и въ Макарѣ Дѣвушкинѣ, не смотря на тотъ темный уголъ, въ который забиты они невзгодами жизни, ярко теплится та искра Божія, которая совершенно погасла не только въ Обломовѣ, но и въ Штольцѣ, потому что оба они не видятъ ничего далѣе — одинъ своего кабинета съ мягкой постелью и вѣчнымъ халатомъ, другой—своей нескончаемой суеты ради собственныхъ выгодъ и удовольствій. Искра Божія погасла въ нихъ—потому-то приходится Ольгѣ отказаться отъ надежды не только сдвинуть съ мѣста Обломова, но и отыскать живительный смыслъ въ трудолюбіи Штольца. Напротивъ, что касается Дѣвушкина и Покров-

скаго, то Бѣлинскій находилъ даже, чего послѣ него не находили другіе критики, что Достоевскій „вовсе не хотѣлъ изобразить людей, у которыхъ умъ и способности придавлены, приплюснуты жизнію". И въ нихъ дѣйствительно не забито то, что симпатически связываетъ человѣка съ человѣкомъ. Добролюбовъ въ своей статьѣ „Забитые люди" налегаетъ на другую сторону произведеній Достоевскаго,—на общественную приниженность главныхъ его героевъ со всѣми ея послѣдствіями. Къ числу ихъ Добролюбовъ совершенно справедливо относитъ то, что Дѣвушкинъ съ какимъ-то особеннымъ униженіемъ умаляется передъ своимъ начальствомъ: „я вѣдь человѣкъ маленькій", говоритъ онъ, основывая на такомъ сознаніи всю свою практическую философію. Но, уживаясь самъ съ такою скромной долей, онъ не мирится съ мыслію, чтобы она могла удовлетворить и ту дѣвушку, къ которой онъ такъ привязанъ. Ея бѣдное, загнанное положеніе хотѣлъ бы онъ усладить, улучшить; и вотъ онъ отдаетъ послѣдніе гроши, чтобы доставить ей какое-нибудь удовольствіе, или хоть лакомство. Правда, во многихъ другихъ повѣстяхъ Достоевскаго мы уже не находимъ этой нравственно поддерживающей бѣдняка заботы о другихъ бѣднякахъ. Многіе „забитые люди" Достоевскаго, подобно гоголевскому Акакію Акакіевичу, *загнаны въ самихъ себя*, и такимъ образомъ окончательно являются жертвами своего положенія. Таковъ, какъ совершенно вѣрно выяснилъ Добролюбовъ, герой повѣсти того же названія г. Прохарчинъ, котораго одна ошеломляющая мысль о томъ, что онъ можетъ быть выгнанъ изъ службы, доводитъ до пьянства и преждевременной смерти. Не менѣе печально кончаетъ личность, поставленная, повидимому, въ болѣе благопріятное положеніе, но, при большей развитости въ ней требованій отъ жизни, но уживающаяся съ мыслію, что ей никогда не достанется многое, такъ легко достающееся другимъ,—я разумѣю героя „Двойника", г. Голядкина.

*
* *

*) Ни одинъ романъ Достоевскаго, считая и послѣдніе, не имѣлъ такого успѣха въ обществѣ, какъ „Бѣдные Люди". Этому успѣху способствовало и тогдашнее общественное настроеніе и рѣшающій голосъ Бѣлинскаго. Критикъ предсказывалъ, что Достоевскому, „какъ кажется, суждено играть значительную роль въ нашей литературѣ", говорилъ, что сущность и значеніе разсказа и глубоки и многозначительны, что „сила, глубина и оригинальность Достоевскаго признана тотчасъ же всѣми". Многіе однако жъ изъ тогдашнихъ читателей поняли и внѣшніе недостатки писателя: утомляющую растянутость разсказа, ненужныя повторенія и излишнюю плодовитость. Все это приписывали молодости автора, еще не установившагося, не вошедшаго въ надлежащую мѣрку таланта. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу самыхъ страстныхъ, увлекающихся натуръ и, какъ извѣстно, очень скоро разочаровался въ художественной полнотѣ таланта Достоевскаго, и сталъ очень строго относиться къ его произведеніямъ. Въ настоящее время всякій знаетъ, что эта ранняя, первая повѣсть Достоевскаго имѣетъ только историческое значеніе, что общество къ счастью далеко ушло отъ ея бѣднаго содержанія, что это не такое художественное произведеніе, къ которому можно обратиться или за поученіемъ, или за высокою прелестью образовъ, никогда не утрачивающихъ своей молодости.

Что такое эта первая повѣсть, которою такимъ блестящимъ образомъ началась литературная дѣятельность Достоевскаго? Это весьма простой разсказъ изъ жизни тѣхъ людей, которые нанимаютъ бѣдную комнату или „уголъ" въ Петербургѣ, ѣдятъ съ грѣхомъ пополамъ, отказываютъ себѣ въ малѣйшей бездѣлицѣ, считая копейки и сберегая кусочки сахару. Всѣ духовные интересы ихъ ограничиваются чтеніемъ случайно попавшей въ руки книжки или представленіемъ на сценѣ Александринскаго театра. Но въ этой скудной жизни не умираетъ человѣческое сердце,

*) Н. Буличъ. „Ѳ. М. Достоевскій и его сочиненія". Казань. 1881 г.

горитъ искра чувства, есть свои радости и свои страданія, столь же глубокія, столь же понятныя, какъ и вездѣ, гдѣ страдаетъ и радуется человѣкъ. Пусть однако Достоевскій самъ разскажетъ о содержаніи своихъ „Бѣдныхъ Людей". Онъ читалъ ихъ въ кругу знакомаго семейства: „Старикъ ожидалъ чего-то непостижимо-высокаго, такого, чего онъ пожалуй и самъ не могъ понять, то только непремѣнно высокаго; а вмѣсто того вдругъ *такіе будни и все такое извѣстное, вотъ точь-въ-точь какъ то самое, что обыкновенно кругомъ совершается.* И добро бы большой или интересный человѣкъ былъ герой или изъ историческаго чего-нибудь въ родѣ Рославлева или Юрія Милославскаго; а то выставленъ какой-то маленькій, *забитый* и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вицмундирѣ осыпались, и все это такимъ простымъ слогомъ описано, ни дать ни взять, какъ мы сами говоримъ... Прежде чѣмъ я дочелъ до половины, у всѣхъ моихъ слушателей текли изъ глазъ слезы... Старикъ уже отбросилъ всѣ мечты о высокомъ... Такъ себѣ, просто разсказецъ: за то сердце захватываетъ, говорилъ онъ: *за то становится понятно и памятно, что кругомъ происходитъ, за то познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой!" (Униж. и Оскорбл.*, стр. 38—39).

Начинающій романистъ выбралъ и форму, употребляемую неискусившимися въ романѣ писателями: форму писемъ. Это обстоятельство помѣшало Достоевскому болѣе глубокимъ психологическимъ образомъ развитъ ту нѣсколько странную старческую привязанность Макара Алексѣевича Дѣвушкина, которую онъ питаетъ въ качествѣ дальняго родственника къ молодой дѣвушкѣ, брошенной обольстителемъ, ее купившимъ. Въ изображеніяхъ жизни, окружающей старика и дѣвушку, мы находимъ тѣ же симпатіи писателя, которыя сохранились въ немъ и въ послѣдніе годы и въ позднѣйшихъ, гораздо шире задуманныхъ романахъ. Таковы у него фигуры бѣдныхъ дѣтей, загнанныхъ, болѣзненныхъ и задумчивыхъ. Нищій ребенокъ, окоченѣвшій отъ мороза, посинѣлый отъ холода,

бѣдненькій и запуганный, голодный, кашляющій и чахлый, заглядѣвшійся на куколъ танцующихъ у шарманщика появляется и на страницахъ „Дневника Писателя". Лицо Варвары Алексѣевны повторилось и въ Наташѣ романа „Униженные и Оскорбленные" и отчасти въ Софьѣ Мармеладовой въ „Преступленіи и Наказаніи", хотя самъ Дѣвушкинъ очевидно нарисованъ по типу героя гоголевской „Шинели". Передъ нами проходятъ тѣ же лица, которыя и позднѣе повторяются нѣсколько разъ, напр., этотъ излюбленный Достоевскимъ типъ чиновника безъ мѣста, исключеннаго изъ службы и подъ часъ испивающаго: „такой сѣденькій, маленькій; ходитъ въ такомъ засаленномъ, въ такомъ истертомъ платьѣ, что больно смотрѣть... Жалкій, хилый такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, ужъ отъ болѣзни что ли какой, Богъ его знаетъ; робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой: ужъ я застѣнчивъ подъ часъ, а этотъ еще хуже". Эта фигура, со всегдашнею слезинкою, которая гноится у ней на рѣсницахъ — тотъ же типъ смиренія и забитости, какимъ является и самъ Дѣвушкинъ, человѣкъ смирный, человѣкъ маленькій. Герой романа—простой переписчикъ и гордится этимъ: „я работаю, я потъ проливаю" — говоритъ онъ. Кто то назвалъ его крысой. „Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство нашли. Да крыса-то эта нужна, да крыса-то эта пользу приноситъ, да за крысу-то эту держатся, да крысѣ-то этой награжденіе выходитъ, — вотъ она крыса какая!" Бѣдные люди капризны и взыскательны; негаснущая искра человѣческаго достоинства дѣлаетъ ихъ подозрительными. „Онъ, бѣдный-то человѣкъ, взыскателенъ; онъ и на свѣтъ-то Божій иначе смотритъ, и на каждаго прохожаго косо глядитъ, да прислушивается къ каждому слову,—дескать, не про него ли тамъ что говорятъ?" Какъ требовало время, этотъ бѣдный человѣкъ — „безъ малѣйшаго вольнодумства и либеральныхъ мыслей"; онъ никогда не замѣченъ ни въ какихъ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ: „чтобы этакъ противъ постановленій что нибудь или въ нарушеніи общественнаго спокойствія". Правда,

и въ его головѣ, особенно когда онъ выпьетъ, невольно иной разъ подымаются „проклятые вопросы". Идетъ онъ по богатой и шумной петербургской улицѣ; блестятъ и горятъ магазины; за зеркальными стеклами разложены наряды, которые богатые люди дарятъ своимъ женамъ, съ грохотомъ несутся экипажи; на бархатѣ и шелку сидятъ въ нихъ разодѣтыя дамы, графини и княгини, и изнываетъ сердце бѣдняка. „Отчего это такъ случается, мучительно стоитъ вопросъ въ его головѣ, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣньи находится, а къ другому кому счастіе само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что не хорошо это думать, что это вольнодумство, но по искренности, по правдѣ-истинѣ, зачѣмъ одному еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка, оно грѣшно этакъ думать, да тутъ по неволѣ какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ". И не находитъ мучительный вопросъ жизни отвѣта въ головѣ бѣдняка или разрѣшается смиреннымъ фатализмомъ: „Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то безропотно повиноваться". Но этотъ низменный фатализмъ былъ, разумѣется, лишь въ головѣ чиновника Дѣвушкина. Достоевскій думалъ, конечно, иначе и выставляя свои жалкія лица: оборванныхъ, запуганныхъ бѣдняковъ-чиновниковъ, дрожавшихъ предъ *ихъ* превосходительствомъ, бѣдныхъ дѣвушекъ, которыя безъ сознанія, безъ воли, какъ цвѣты подъ морозомъ, гибнутъ жертвами разврата и насилія, болѣзненно-нервныхъ дѣтей съ широко-раскрытыми глазенками, задумывающихся посреди веселья, съ исхудалыми какъ кисточки, ручками, понималъ, какой міръ онъ изображаетъ.

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ.

„Двойникъ. Приключенія господина Голядкина." — „Господинъ Прохарчинъ."—„Романъ въ девяти письмахъ".—„Хозяйка".—„Слабое сердце".— „Чужая жена". — „Честный воръ". — „Елка и Свадьба". — „Ревнивый мужъ". — „Бѣлыя ночи".—„Неточка Незванова".—„Маленькій герой".— „Село Степанчиково". — „Дядюшкинъ Сонъ". — „Скверный анекдотъ".— Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ".—„Записки изъ подполья".— „Крокодилъ".—„Игрокъ".—„Вѣчный мужъ" *).

Такъ какъ перечисленные повѣсти и разсказы не играютъ особенной роли въ литературной дѣятельности Достоевскаго и сами по себѣ не представляютъ на столько выдающагося интереса, чтобы ихъ необходимо было изучать въ отдѣльности,—то мы нашли лучшимъ, много не распространяясь, помѣстить критическія статьи о нихъ подъ одной общей рубрикой: „Повѣсти и разсказы," и притомъ—статьи (за исключеніемъ статей Бѣлинскаго), разсматривающія не отдѣльно каждое произведеніе, а за разъ по нѣскольку.

---

*) Эти произведенія первоначально были напечатаны: „Двойникъ" въ „Отеч. Зап." 1846 г., т. 44; „Господинъ Прохарчинъ"—„Отеч. Зап." 1846 г., т. 48; „Романъ въ девяти письмахъ"—„Современникъ" 1847 г., т. 1; „Хозяйка"—„Отеч. Зап." 1847 г., т. 54 и 55; „Слабое сердце"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 56; „Чужая Жена"—Отеч. Зап." 1848 г., т. 56; „Честный Воръ"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 57 (подъ названіемъ „Разсказы Бывалаго Человѣка"); „Елка и Свадьба"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 60; „Ревнивый Мужъ"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 61 (впослѣдствіи Достоевскій соединилъ „Чужая Жена" и „Ревнивый Мужъ" въ одинъ разсказъ подъ названіемъ, „Чужая жена и мужъ подъ кроватью". Смотр., Полн. Собран. Соч. Дост., Изд. Стелловскаго 1865 г.); „Бѣлыя ночи"—„Отеч. Зап." 1848 г., т. 61; „Неточка Незванова" — „Отеч. Зап." 1849 г., №№ 1, 2 и 5, т. 62 и 64; Маленькій Герой" написанъ въ 1849 г., а напечатанъ въ 1857 г. въ „Отеч. Зап.", № 8; „Село Степанчиково"—„Отеч. Зап." 1859 г., т. 127; „Дядюшкинъ Сонъ"—„Русск. Словѣ" 1859 г., т. 2; „Скверный Анекдотъ"—„Времени" 1862 г., кн. II; „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ"—„Времени" 1863 г., кн. 2 и 3; „Записки изъ подполья"—„Эпохѣ" 1864 г., кн. 2 и 4; „Крокодилъ" — „Эпохѣ" 1865 г., кн. 2; „Игрокъ"—Полн. Собран. Соч. Дост., Изд. Стелловскаго, 1865 г.

*) „Какъ талантъ необыкновенный, авторъ нисколько не повторился во второмъ своемъ произведеніи,—и оно представляетъ у него совершенно новый міръ. Герой романа— г. Голядкинъ—одинъ изъ тѣхъ обидчивыхъ, помѣшанныхъ на *амбиціи* людей, которые такъ часто встрѣчаются въ низшихъ и среднихъ слояхъ нашего общества. Ему все кажется, что его обижаютъ и словами, и взглядами, и жестами, что противъ него всюду составляются интриги, ведутся подкопы. Это тѣмъ смѣшнѣе, что онъ ни состояніемъ, ни чиномъ, ни мѣстомъ, ни умомъ, ни способностями, рѣшительно не можетъ ни въ комъ возбудить къ себѣ зависти. Онъ не уменъ и не глупъ, не богатъ и не бѣденъ, очень добръ и до слабости мягокъ характеромъ; и жить ему на свѣтѣ было бы совсѣмъ не дурно; но болѣзненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демонъ его жизни, которому суждено сдѣлать адъ изъ его существованія. Если внимательнѣе осмотрѣться кругомъ себя, сколько увидишь господъ Голядкиныхъ, и бѣдныхъ, и богатыхъ, и глупыхъ, и умныхъ! Г. Голядкинъ въ восторгѣ отъ одной своей добродѣтели, которая состоитъ въ томъ, что онъ ходитъ не въ маскѣ, не интриганъ, дѣйствуетъ открыто и идетъ прямою дорогою. Еще въ началѣ романа, изъ разговора съ докторомъ Крестьяномъ Ивановичемъ, не мудрено догадаться, что г. Голядкинъ разстроенъ въ умѣ. И такъ герой романа—сумасшедшій! Мысль смѣлая и выполнена авторомъ съ удивительнымъ мастерствомъ! Считаемъ излишнимъ слѣдить за ея развитіемъ, указывать на отдѣльныя мѣста и удивляться цѣлому созданію. Для всякаго, кому доступны тайны искусства, съ перваго взгляда видно, что въ „Двойникѣ" еще больше творческаго таланта и глубины мысли, нежели въ „Бѣдныхъ Людяхъ". А между тѣмъ, почти общій голосъ петербургскихъ читателей рѣшилъ, что этотъ романъ несносно растянутъ и оттого ужасно скученъ, изъ чего-де и слѣдуетъ, что объ авторѣ напрасно прокричали, и что въ его талантѣ нѣтъ ничего необыкно-

*) В. Бѣлинскій. Сочиненія Бѣлинскаго, ч. 10 и „Отеч. Записки" 1846 г.

веннаго!... Справедливо ли такое заключеніе?—Мы не обинуясь скажемъ, что, съ одной стороны, оно крайне ложно, а съ другой, что въ немъ есть основаніе, какъ оно всегда бываетъ въ сужденіи непонимающей самой себя толпы.

Начнемъ съ того, что „Двойникъ" нисколько не растянутъ, хотя и нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ утомителенъ для всякаго читателя, какъ бы глубоко и вѣрно ни понималъ и ни цѣнилъ онъ талантъ автора. Дѣло въ томъ, что такъ называемая растянутость бываетъ двухъ родовъ: одна происходитъ отъ бѣдности таланта, вотъ это-то и есть растянутость; другая происходитъ отъ богатства, особливо молодого таланта, еще не созрѣвшаго,—и ее слѣдуетъ называть не растянутостью, а излишнею плодовитостью. Если бъ авторъ „Двойника" далъ намъ перо въ руки съ безусловнымъ правомъ исключить изъ рукописи его „Двойника" все, что показалось бы намъ растянутымъ и излишнимъ,—у насъ не поднялась бы рука ни на одно отдѣльное мѣсто, потому что каждое отдѣльное мѣсто въ этомъ романѣ—верхъ совершенства. Но дѣло въ томъ, что такихъ превосходныхъ мѣстъ въ „Двойникѣ" ужъ черезчуръ много, а одно да одно, какъ бы ни было оно превосходно, и утомляетъ и наскучаетъ. Демьянова уха была сварена на славу, и сосѣдъ Фока ѣлъ ее съ аппетитомъ и всласть; но наконецъ бѣжалъ же отъ нея... Очевидно, что авторъ „Двойника" еще не пріобрѣлъ себѣ такта, мѣры и гармоніи, и оттого не безосновательно многіе упрекаютъ въ растянутости „Бѣдныхъ Людей", хотя этотъ упрекъ и идетъ къ нимъ меньше, нежели къ „Двойнику". Итакъ, въ этомъ отношеніи, судъ толпы справедливъ; но онъ ложенъ въ выводѣ о талантѣ г. Достоевскаго. Самая эта чрезмѣрная плодовитость только служитъ доказательствомъ того, какъ много у него таланта и какъ великъ его талантъ.

Что же тутъ дѣлать молодому автору? Продолжать ли идти своею дорогою, никого не слушая,—или, желая угодить толпѣ, стараться пріобрѣсти преждевременную, слѣдовательно, искусственную зрѣлость своему таланту и, за неимѣніемъ естественнаго, прибѣгнуть къ отдѣльному чувству

мѣры?... По нашему мнѣнію, обѣ эти крайности равно гибельны. Талантъ долженъ идти своею дорогою, съ каждымъ днемъ, естественнымъ образомъ избавляясь отъ своего главнаго недостатка, т. е. молодости и незрѣлости; но въ то же время, онъ долженъ, обязанъ „принимать къ свѣдѣнію“, чѣмъ особенно недовольно большинство его читателей, и всего болѣе долженъ остерегаться презирать его мнѣніе, но всегда стараться отыскивать основаніе этого мнѣнія, потому что оно почти всегда дѣльно и справедливо.

Если что можно счесть въ „Двойникѣ“ растянутостью, такъ это частое и, мѣстами, вовсе ненужное повтореніе однѣхъ и тѣхъ же фразъ, какъ, напримѣръ: „Дожилъ я до бѣды, *дожилъ я вотъ такимъ-то манеромъ до бѣды... Это бѣда вѣдь какая!... Эка вѣдь бѣда одолѣла какая!...*“ Напечатанныя курсивомъ фразы совершенно лишнія, а такихъ фразъ найдется въ романѣ довольно. Мы понимаемъ ихъ источникъ: молодой талантъ, въ сознаніи своей силы и своего богатства, какъ будто тѣшится юморомъ; но въ немъ такъ много юмора дѣйствительнаго, юмора мысли и дѣла, что ему смѣло можно не дорожить юморомъ словъ и фразъ.

Вообще „Двойникъ“ носитъ на себѣ отпечатокъ таланта огромнаго и сильнаго, но еще молодого и неопытнаго: отсюда всѣ его недостатки, но отсюда же и всѣ его достоинства. Тѣ и другія такъ тѣсно связаны между собою, что если бъ авторъ теперь вздумалъ совершенно передѣлать свой „Двойникъ“, чтобъ оставить въ немъ однѣ красоты, исключивъ всѣ недостатки,—мы увѣрены, онъ испортилъ бы его. Авторъ разсказываетъ приключенія своего героя отъ себя, но совершенно его языкомъ и его понятіями: это съ одной стороны показываетъ избытокъ юмора въ его талантѣ, безконечно могущественную способность объективнаго созерцанія явленій жизни, способность, такъ сказать, переселяться въ кожу другого, совершенно чуждаго ему существа; но съ другой стороны, это же самое сдѣлало неясными многія обстоятельства въ романѣ, какъ-то: каждый читатель совершенно вправѣ не понять и не догадаться, что письма Вахрамѣева и г. Голядкина-младшаго г. Го-

лядкинъ-старшій сочиняетъ самъ къ себѣ, въ своемъ разстроенномъ воображеніи,—даже, что наружное сходство съ нимъ младшаго Голядкина совсѣмъ не такъ велико и поразительно, какъ показалось оно ему, въ его разстроенномъ воображеніи, и вообще о самомъ помѣшательствѣ Голядкина не всякій читатель догадается скоро. Все это недостатки, хотя и тѣсно связанные съ достоинствами и красотами цѣлаго произведенія. Существенный недостатокъ въ романѣ только одинъ: почти всѣ лица въ немъ, какъ ни мастерски, впрочемъ, очерчены ихъ характеры, говорятъ почти одинаковымъ языкомъ. Больше указать не на что... Такого неисчерпаемаго богатства фантазіи не часто случается встрѣчать и въ талантахъ огромнаго размѣра,—и это богатство видимо мучитъ и тяготитъ автора „Бѣдныхъ Людей" и „Двойника". Отсюда и ихъ мнимая растянутость, на которую такъ жалуются люди, очень любящіе читать, но, впрочемъ, отнюдь не находящіе, чтобъ „Парижскія Тайны", „Вѣчный Жидъ", или „Графъ Монте-Кристо" были растянуты. И съ одной стороны, чтецы такого рода правы: не всякому дано глубоко чувствовать и мыслить. Поэтому, чтецы имѣютъ полное право не знать ни причины ни истиннаго значенія того, что называютъ они „растянутостью"; они знаютъ только, что чтеніе „Бѣдныхъ Людей" нѣсколько утомляетъ ихъ, тогда какъ этотъ романъ имъ нравится, а „Двойникъ" но многимъ изъ нихъ удается осилить до конца. Это фактъ: пусть молодой авторъ пойметъ и приметъ его къ свѣдѣнію. Да спасетъ его богъ вдохновенія отъ гордой мысли презирать мнѣніе даже профановъ искусства, когда они всѣ говорятъ одно и то же, такъ же, какъ да спасетъ онъ его и отъ унизительнаго намѣренія поддѣлываться подъ вкусъ толпы и льстить ему: обѣ эти крайности—сцилла и харибда таланта. Знатоки искусства, даже и нѣсколько утомляясь чтеніемъ „Двойника", все-таки не оторвутся отъ этого романа, не дочитавъ его до послѣдней строки; но, во-первыхъ, и они, дорожа и любуясь каждымъ словомъ, каждымъ отдѣльнымъ мѣстомъ романа, все-таки чувствуютъ утомленіе; во-вто-

рыхъ, истинно большой талантъ такъ же долженъ писать не для однихъ знатоковъ, какъ и не для одной толпы, но для всѣхъ. Что же касается до толковъ большинства, что „Двойникъ“—плохая повѣсть, что слухи о необыкновенномъ талантѣ его автора преувеличены, и т. п.—объ этомъ г. Достоевскому нечего заботиться: его талантъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіе его поприща, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогеи своей славы. И теперь, когда явится его новая повѣсть, за нее съ безсознательнымъ любопытствомъ и жадностію поспѣшатъ схватиться тѣ самые люди, которые такъ мудрено и окончательно рѣшили по „Двойнику“, что у него, или вовсе нѣтъ таланта, или есть да такъ себѣ, небольшой.

* * *

*) Позже въ „Современникѣ“, Бѣлинскій писалъ о „Двойникѣ“: „Хотя первый дебютъ молодого писателя уже достаточно угладилъ ему дорогу къ успѣху, однако должно сознаться, что „Двойникъ“ не имѣлъ никакого успѣха въ публикѣ. Если еще нельзя на этомъ основаніи осудить второе произведеніе г. Достоевскаго, какъ неудачное и, еще менѣе, какъ не имѣющее никакихъ достоинствъ,—то нельзя также и признать судъ публики неосновательнымъ. Въ „Двойникѣ“ авторъ обнаружилъ огромную силу творчества, характеръ героя концепированъ глубоко и смѣло, ума и истины въ этомъ произведеніи много, художественнаго мастерства тоже; но вмѣстѣ съ этимъ тутъ видно страшное неумѣніе владѣть и распоряжаться экономически избыткомъ собственныхъ силъ. Все, что въ „Бѣдныхъ Людяхъ“ было извинительными для перваго опыта недостатками, въ „Двойникѣ“ явилось чудовищными недостатками, и это все заключается въ одномъ: въ неумѣньи богатаго силами таланта опредѣ-

*) „Современникъ“ 1847 г. и Соч. Бѣлинскаго, ч. 11.

лить разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи. Попробуемъ объяснить нашу мысль примѣромъ. Гоголь такъ глубоко и живо концепировалъ идею характера Хлестакова, что легко бы могъ сдѣлать его героемъ еще цѣлаго десятка комедій, въ которыхъ Иванъ Александровичъ являлся бы вѣрнымъ самому себѣ, хотя и совершенно въ новыхъ положеніяхъ: какъ женихъ, мужъ, отецъ семейства, помѣщикъ, старикъ и т. д. Эти комедіи, нѣтъ сомнѣнія, были бы такъ же превосходны, какъ и „Ревизоръ", но уже такого, какъ онъ, успѣха имѣть не могли бы, а скорѣе бы наскучали, нежели нравились, потому что все уха, да уха, хотя бы и „Демьянова", пріѣдается. Какъ скоро поэтъ выразилъ своимъ произведеніемъ идею, его дѣло сдѣлано, и онъ долженъ оставить въ покоѣ эту идею, подъ опасеніемъ наскучить ею. Другой примѣръ на тотъ же предметъ: что можетъ быть лучше двухъ сценъ, выключенныхъ Гоголемъ изъ его комедіи, какъ замедлявшихъ ея теченіе? Сравнительно онѣ не уступаютъ въ достоинствѣ ни одной изъ остальныхъ сценъ комедіи; почему же онъ выключилъ ихъ?—Потому, что онъ въ высшей степени обладаетъ тактомъ художественной мѣры и не только знаетъ, съ чего начать и гдѣ остановиться, но и умѣетъ развить предметъ ни больше ни меньше того, сколько нужно. Мы убѣждены, что если бы г. Достоевскій укоротилъ своего „Двойника", по крайней мѣрѣ, цѣлою третью, повѣсть его могла бы имѣть успѣхъ. Но въ ней есть еще и другой существенный недостатокъ: это ея фантастическій колоритъ. Фантастическое въ наше время можетъ имѣть мѣсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературѣ, и находиться въ завѣдываніи врачей, а не поэтовъ. По всѣмъ этимъ причинамъ, „Двойникъ" оцѣнили только не многіе диллетанты искусства, для которыхъ литературныя произведенія составляютъ предметъ не одного наслажденія, но и изученія. Публика же состоитъ не изъ диллетантовъ, а изъ обыкновенныхъ читателей, которые читаютъ только то, что имъ непосредственно нравится, не разсуждая, почему имъ это нравится,

и тотчасъ закрываютъ книгу, какъ скоро она начинаетъ ихъ утомлять, тоже не давая себѣ отчета, почему она имъ не по вкусу. Произведеніе, которое нравится знатокамъ и не нравится большинству, можетъ имѣть свои достоинства; но истинно хорошее произведеніе есть то, которое нравится обѣимъ сторонамъ или, по крайней мѣрѣ, нравясь первой, читается и второю. Гоголь не всѣмъ нравился, да прочли то его всѣ"...

* * *

О повѣсти „Господинъ Прохарчинъ" Бѣлинскій отозвался такъ:

*) „Въ ней сверкаютъ искры таланта, но въ такой густой темнотѣ, что ихъ свѣтъ ничего не даетъ разсмотрѣть читателю... Не вдохновеніе, не свободное наивное творчество породило эту странную повѣсть, а что-то въ родѣ... какъ бы это сказать?—не то умничанья, не то претензіи... иначе она не была бы такою вычурною, манерною, непонятною, болѣе похожею на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествіе, нежели на поэтическое созданіе. Въ искусствѣ ничего не должно быть темнаго и непонятнаго; его произведенія тѣмъ и выше такъ-называемыхъ „истинныхъ происшествій", что поэтъ освѣщаетъ пламенникомъ своей фантазіи всѣ сердечные изгибы своихъ героевъ, всѣ тайныя причины ихъ дѣйствій, снимаетъ съ разсказываемаго имъ событія все случайное, представляя нашимъ глазамъ одно необходимое, какъ неизбѣжный результатъ достаточной причины. Мы не говоримъ уже о замашкѣ автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выраженіе (какъ, напримѣръ, „Прохарчинъ мудрецъ") и тѣмъ ослаблять силу его впечатлѣнія: это недостатокъ второстепенный и, главное, поправимый. Замѣтимъ мимоходомъ, что у Гоголя нѣтъ такихъ повтореній. Конечно, мы не въ правѣ требовать отъ произведенія г. Достоевскаго совершенства произведеній Гоголя;

*) Бѣлинскій. „Современникъ" 1847 г. Также Соч. Бѣлинскаго, ч. II.

но тѣмъ не менѣе думаемъ, что большому таланту весьма полезно пользоваться примѣромъ еще большаго".

* * *

А вотъ его-же отзывъ о повѣсти „Хозяйка".

*) „Будь подъ ней подписано какое-нибудь неизвѣстное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. Герой повѣсти— нѣкто Ордыновъ; онъ весь погрузился въ занятія науки; какими—объ этомъ авторъ не сказалъ своимъ читателямъ, хотя на этотъ разъ ихъ любопытство было очень законно. Наука кладетъ свою печать не только на мнѣнія, но и на дѣйствія человѣка; вспомните доктора Крупова. Изъ словъ и дѣйствій Ордынова нисколько не видно, чтобъ онъ занимался какою-нибудь наукою; но можно догадываться изъ нихъ, что онъ сильно занимался кабалистикою, чернокнижіемъ, — словомъ, *чаромутіемъ*... Но вѣдь это не наука, а сущій вздоръ; но тѣмъ не менѣе и она наложила на Ордынова свою печать, т. е. сдѣлала его похожимъ на поврежденнаго и помѣшаннаго. Ордыновъ встрѣчаетъ гдѣ-то красавицу купчиху; не помнимъ, сказалъ ли авторъ что-нибудь о цвѣтѣ ея зубовъ, но должно быть, что зубы у нея были бѣлые, въ видѣ исключенія, ради большей поэзіи повѣсти. Она шла объ руку съ пожилымъ купцомъ, одѣтымъ по купечески и съ бородою. Въ глазахъ у него столько электричества, гальванизма и магнетизма, что иной физіологъ предложилъ бы ему хорошую цѣну за то, чтобъ онъ снабжалъ его по временамъ если не глазами, то хоть молніеносными, искрящимися взглядами, для учебныхъ наблюденій и опытовъ. Герой нашъ тотчасъ же влюбился въ купчиху; не смотря на магнетическіе взгляды и ядовитую усмѣшку фантастическаго купца, онъ не только узналъ, гдѣ они живутъ, но и какими-то судьбами навязался къ нимъ въ жильцы и занялъ особую комнату. Тутъ пошли любопытныя сцены: купчиха несла какую-то дичь, въ которой мы не поняли ни единаго слова, а Ордыновъ, слушая ее, без-

*) „Современникъ" 1848 г. и Соч. Бѣлинскаго, ч. II.

престанно падалъ въ обморокъ. Часто тутъ вмѣшивался купецъ, съ его огненными взглядами и съ сардоническою улыбкою. Что они говорили другъ другу, изъ-за чего такъ махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили въ чувство,—мы рѣшительно не знаемъ, потому что изъ всѣхъ этихъ длинныхъ патетическихъ монологовъ не поняли ни единаго слова. Не только мысль, даже смыслъ этой, должно быть, очень интересной повѣсти остается и останется тайной для нашего разумѣнія, пока авторъ не издастъ необходимыхъ поясненій и толкованій на эту дивную загадку его причудливой фантазіи. Что это такое — злоупотребленіе или бѣдность таланта, который хочетъ подняться не по силамъ, и потому боится идти обыкновеннымъ путемъ, и ищетъ себѣ какой-то небывалой дороги? Не знаемъ; намъ только показалось, что авторъ хотѣлъ попытаться помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, подболтавши сюда немного юмору въ новѣйшемъ родѣ и сильно натеревши все это лакомъ русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастическіе разсказы Тита Космократова, забавлявшаго ими публику въ 20-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Во всей этой повѣсти нѣтъ ни одного простого и живого слова или выраженія: все изыскано, натянуто на ходуляхъ, поддѣльно и фальшиво. Что за фразы: Ордыновъ *бичуется* какимъ-то невѣдомо сладостнымъ и упорнымъ чувствомъ; проходитъ мимо *остроумной* мастерской гробовщика; называетъ свою возлюбленную голубицею и спрашиваетъ изъ какого неба она залетѣла въ его небеса. Но довольно, боимся увлечься выписками диковинныхъ фразъ этой повѣсти—конца ихъ не было бы. Что это такое? Странная вещь! Непонятная вещь!“...

* * *

При обозрѣніи русской литературы за 1848 годъ П. Анненковъ въ „Современникѣ“ между прочимъ говоритъ: *) „На-

*) „Современникъ“ 1849 г., № 1 и „Воспоминанія и критическія очерки“ Анненкова, отд. II.

чнемъ съ „Отечественныхъ Записокъ" (1848 г.), гдѣ образовался кругъ молодыхъ писателей, создавшій уже довольно давно, какой-то фантастически-сантиментальный родъ повѣствованій, конечно, не новый въ исторіи словесности, но по крайней мѣрѣ новый въ той формѣ, какая теперь ему дается возобновителями его.

Всякій нѣсколько занимающійся отечественною словесностію, знаетъ напередъ, что изобрѣтатель этого рода былъ г. О. Достоевскій, авторъ „Бѣдныхъ Людей". Онъ положилъ ему основаніе повѣстями: „Двойникъ" и „Хозяйка", и, какъ видно, собирался дать ему важное значеніе, прерванное однако жъ всеобщимъ неодобреніемъ. Кому не казалось при появленіи „Хозяйки", что повѣсть эта порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и людей болѣзненная до крайности фантазія? Отсюда выходитъ кругъ писателей, преимущественно занимающихся психологической исторіей помѣшательства. Они уже любятъ сумасшествіе не какъ катастрофу, въ которой разрѣшается всякая борьба, что было бы только не вѣрно и противо-художественно; они любятъ сумасшествіе — для сумасшествія. Съ перваго появленія героя ихъ, движенія его странны, рѣчь безсвязна, и между нимъ и событіями, которыя вскорѣ начинаютъ развиваться около него, завязывается нѣчто въ родѣ препинанія: кто кого перещеголяетъ нелѣпостью. Надо сознаться, что основатель направленія — Ѳ. Достоевскій, остается до сихъ поръ неподражаемымъ мастеромъ въ изображеніи поединковъ такого рода. Но кто же не согласится, что при этомъ случаѣ сумасшедшіе оказываютъ особенную услугу авторамъ? Они освобождаютъ ихъ отъ труда, наблюденія и дѣлаютъ совершенно излишнимъ то художественное чутье, которое указываетъ матеріалы годные и негодные для созданія. Зачѣмъ имъ это? Всякая мысль, первое попавшееся слово, самая произвольная выдумка — все годно для сумасшедшаго: не чиниться же съ нимъ, въ самомъ дѣлѣ! Если бы мы хотѣли подтвердить выписками справедливость нашего осужденія, мы бы могли предста-

вить примѣры, которые были бы приняты, вѣроятно, за неудачную шутку. Разумѣется, что, разъ отдавшись безъ оглядки собственной фантазіи, отдѣленной отъ всякой дѣйствительности, авторы этого направленія уже и не думаютъ объ оттѣнкахъ характеровъ, о живописи, такъ сказать, лица, о нѣжной игрѣ свѣта и тѣни на картонѣ. Требованія эти замѣщаются туманнымъ стремленіемъ къ величію характеровъ, тяжелымъ поискомъ колоссальности въ образахъ и представленіяхъ. И дѣйствительно, къ концу разсказа главное лицо облекается въ нѣкоторый родъ величія, но величіе это весьма близко подходитъ къ тому, которымъ поражаетъ бѣднякъ съ картоннымъ вѣнцомъ на головѣ и деревяннымъ скипетромъ на страдальческомъ ложѣ своемъ.

Въ 1848 году однакожъ авторъ „Хозяйки“, какъ будто вышелъ на свѣтъ послѣ долговременной болѣзни: фантастическій элементъ замѣтно ослабѣлъ въ новыхъ его произведеніяхъ, но за то съ вящшею силою выступилъ другой—сантиментальность. Г-нъ Ѳ. Достоевскій написалъ одну повѣсть: *Слабое сердце* и два разсказа: *Отставной* и *Честный воръ.* Спѣшимъ сказать, что въ повѣсти своей г. Достоевскій выказалъ несомнѣнный талантъ, въ которомъ смѣшно было бы и отказать автору „Бѣдныхъ Людей“. Правда, тутъ опять является сумасшедшій, но на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, помѣшательство имѣетъ ясную причину, и самый ходъ болѣзни выказанъ ловко. Дѣло вотъ въ чемъ. Два бѣдныхъ чиновника, Аркаша и Вася, нѣжно любящіе другъ друга, живутъ какъ голубки, на одной квартирѣ. Вася — существо любящее, нѣжное, признательное; Аркаша—собственно безличенъ, но всю жизнь его составляетъ одна безпредѣльная привязанность къ Васѣ. Почти въ одно время Вася влюбляется безъ памяти и взыскивается милостію начальника, который даетъ ему денегъ и вмѣстѣ большую работу—переписать къ сроку какое-то дѣло. Восторгъ пріятелей, при стеченіи такихъ благопріятныхъ обстоятельствъ, невыразимъ; но голова Васи не выдерживаетъ. Чѣмъ сильнѣе кипитъ чувство радости въ душѣ его,

тѣмъ менѣе способенъ онъ къ дѣлу, а срокъ работы приближается. Напрасно прилагаетъ онъ всѣ усилія, чтобы свалить этотъ камень: онъ все падаетъ на плечи его. Отчаяніе начинаетъ пробираться въ душу Васи; ему мерещатся упреки, кары, несчастія. Онъ обвиняетъ самого себя въ забвеніи долга, въ неблагодарности, и наконецъ мѣшается на сумасбродной мысли, что его отдадутъ въ солдаты: вѣдь онъ такой маленькій человѣкъ! Вотъ повѣсть. Она могла бы служить хорошимъ эпизодомъ въ романѣ. Литературная самостоятельность, данная случаю, хотя и возможному, но до крайности частному, какъ-то странно поражаетъ васъ; но и не тутъ еще настоящая слабая сторона повѣсти. Она именно въ любви Аркаши и Васи, расплывчатой, слезистой, преувеличенной до такой степени, что большею частію и не вѣрится ей, а кажется она скорѣе хитростью автора, который вздумалъ на этомъ сюжетѣ руку попробовать. Положимъ, что простые, недальніе люди всегда выражаютъ чувство чѣмъ-то въ родѣ междометій или отрывистыми словами; положимъ, что они до пресыщенія говорятъ другъ другу: милый ты мой, голубчикъ ты мой (даже въ одномъ мѣстѣ у автора: косолапый ты мой!), душка, Васюкъ, Лукаша; положимъ также, что они безпрестанно глядятъ другъ на друга, улыбаются и плачутъ, да на все же есть границы. Особенно для произведеній этого рода существуетъ черта, указываемая вкусомъ, за которой патетическое уже погибаетъ въ крайнемъ ничтожествѣ самихъ героевъ. Къ тому же мы осмѣливаемся, во имя русскаго человѣка, протестовать противъ этой болѣзненной говорливости сердца. Она составляетъ исключительное достояніе разслабленныхъ людей, врядъ-ли способныхъ къ сильному ощущенію; но простой человѣкъ молчаливъ и при немъ. Онъ крѣпко бережетъ добро, цѣну котораго хорошо знаетъ, и тѣмъ непроницаемѣе, чѣмъ незамѣтнѣе его мѣсто на свѣтѣ. За нимъ надо подсматривать въ его хорошія минуты, а не заставлять болтать его. Сама манера автора, слогъ его, который такъ походитъ на продѣлку западныхъ пилигриммовъ, ходившихъ на поклоненія, ступая одинъ

шагъ впередъ и два назадъ, еще уменьшаетъ довѣріе къ его описаніямъ, сообщая имъ неестественную фальшивую тучность. Безпрестанное возвращеніе на собственныя фразы, вошедшее, кажется, уже въ привычку у почтеннаго автора, прилагается теперь въ равной степени къ бесѣдѣ двухъ друзей и къ самому разсказу. Вотъ какъ толкуютъ между собою первые:

— „Знаешь что? ты взволнованъ, ты много не наработаешь... Постой, постой, постой—вижу, вижу—слушай!—заговорилъ Нефедовичъ, вскочивъ въ восторгѣ съ постели и прерывая заговорившаго Васю, всѣми силами отстраняя возраженія: — прежде всего нужно успокоиться, нужно съ духомъ собраться: такъ ли?

— Аркаша! Аркаша! закричалъ Вася, вскочивъ съ креселъ.— Я просижу всю ночь, ей-богу просижу!

— Ну, да, да! ты къ утру только заснешь...

— Не засну, ни за что не засну...

— Нѣтъ, нельзя, нельзя; конечно, заснешь въ пять часовъ, засни“ и т. д.

И вотъ, какъ говоритъ авторъ отъ себя, по случаю покупки Васей чепчика для своей невѣсты: Ахъ, Боже мой, да гдѣ же вы найдете чепчикъ лучше? Это ужъ изъ рукъ вонъ! *Гдѣ же вы сыщете лучше?* Я говорю серьезно! Меня наконецъ даже приводитъ въ нѣкоторое негодованіе, *даже огорчаетъ немного* такая неблагодарность влюбленныхъ. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите: что можетъ быть *лучше этого амурчика-чепчика. Ну, глядите!* и т. д. Предоставляемъ судить каждому, какъ это все вѣрно природѣ, и походитъ ли на наивность и добродушіе, за которыми авторъ видимо гнался.

Изъ разсказовъ г. Достоевскаго пропускаемъ *Отставной*, какъ совершенно незначащій, и остановимся на второмъ: *Честный воръ.* Намъ кажется, если мы не ошибаемся, что оба эти разсказа порождены успѣхомъ „Записокъ Охотника“ г. Тургенева. Лукавая простота и тонкая наблюдательность послѣднихъ видимо соблазнили г. Достоевскаго, который далъ своимъ разсказамъ одно общее заглавіе, именно: „Раз-

сказы бывалаго человѣка“. Тутъ предстояла опасность, что читатели спросятъ: да не сидитъ-ли этотъ бывалый человѣкъ гдѣ-нибудь за письменнымъ столикомъ въ Петербургѣ? Вѣроятно въ предчувствіи подобнаго вопроса со стороны своихъ читателей, авторъ прибавилъ къ заглавію въ скобкахъ: „изъ записокъ неизвѣстнаго“, но внизу однакожъ подписалъ большими буквами свое имя. Мы находимся теперь въ недоумѣніи: кому же собственно принадлежатъ разсказы? Г-ну Достоевскому или неизвѣстному, котораго онъ сдѣлался только издателемъ. Всѣ эти маленькія хитрости, отзывающіяся наивной претензіей, нисколько не мѣшаютъ достоинству разсказовъ, если есть достоинство. Во второмъ изъ нихъ: „Честный воръ“, намъ еще показалось, что въ глазахъ автора стояли неподражаемыя повѣсти иностраннаго романиста, написавшаго „La mare au diable“ и „François-le-Champi“. Простота содержанія, взятаго изъ народнаго быта, стараніе открыть тѣ свѣтлыя стороны души, которыя человѣкъ сохраняетъ на всякомъ мѣстѣ и даже въ сферѣ порока, какъ завлеченъ собственной виной или обстоятельствами, наконецъ мысль заставить говорить человѣка недальняго, но которому превосходное сердце замѣняетъ умъ и образованіе, — все это очень близко намекаетъ на родство русскаго разсказа съ иностранными, приведенными выше. Мы должны быть благодарны автору за подобную попытку *возстановленія* (rehabilitation) человѣческой природы, если бы даже не было нѣсколькихъ мѣстъ въ его повѣсти, дѣйствительно прекрасныхъ, какъ, напримѣръ, то, гдѣ представлена картина нѣмого страданія бѣднаго пьянчужки Емели, послѣ совершонной имъ покражи рейтузъ у своего благодѣтеля портного, но тутъ мы и остановимся. Самому портному, разсказывающему этотъ случай, мы должны отказать въ нашемъ сочувствіи. Онъ болѣе походитъ на ритора, чѣмъ на простодушнаго разсказчика, и за нимъ безпрестанно выглядываетъ самъ авторъ, злоупотребляющій его инструментомъ для совершенія чего-то въ родѣ повѣствовательнаго tour-de-force.

Да, разсказъ портного,—какъ поднялъ онъ въ какомъ-

то кабачкѣ бѣднаго Емелю, зашибеннаго винцомъ, призрѣлъ его,—невѣренъ и мало трогаетъ насъ. Въ немъ не достаетъ главнаго: нравственнаго достоинства, такъ необходимаго человѣку, который повѣствуетъ о собственномъ великодушіи. Портной безпрестанно кокетничаетъ добротой своего сердца, а между тѣмъ онъ не такъ добръ, какъ съ перваго разу кажется. Посудите сами. Онъ говоритъ, напримѣръ: „Обрадовался я возвращенію Емели (сбѣжавшаго съ квартиры отъ стыда послѣ покражи рейтузъ) да пуще прежняго тоска къ моей душѣ припаялась. Оно вотъ какъ, сударь, выходитъ: случись, то-есть, надо мной такой грѣхъ человѣческій, такъ я, право-слово, говорю: скорѣй какъ *собака издохъ бы, а не пришелъ. А Емеля пришелъ! Ну, натурально*, тяжело человѣка въ такомъ положеніи видѣть", и проч. Эта фальшивая нота обличаетъ въ портномъ человѣка развитого, да и при томъ еще дурно развитого. Старанія портного возвратить Емелю на путь истины, оставшіяся не только безуспѣшными, но подвинувшія Емелю еще на воровство, высказаны кудряво, но задушевнаго голоса въ нихъ не слышится. Читатель постоянно занятъ не разсказчикомъ, а манерой автора, его пріемами, его условнымъ стилемъ, которые, дѣйствительно, въ ущербъ внутреннему содержанію повѣсти, безпрестанно напрашиваются на ваше вниманіе, на оцѣнку вашу. Гораздо лучше высказаны очистительныя страданія бѣднаго Емели, когда, попостившись денекъ, другой, онъ крадетъ рейтузы у своего учителя и пропиваетъ ихъ. Съ тѣхъ поръ грызущая совѣсть не даетъ покоя Емелѣ, и этотъ человѣкъ—этотъ пьяница!—умираетъ отъ сознанія своей вины и раскаянія. Но и здѣсь опять досадный портной все дѣло портитъ. Какъ неодолимое препятствіе, стоитъ онъ въ средѣ разсказа, словно нарочно для того, чтобы форма повѣсти не могла никакъ придти въ равновѣсіе съ содержаніемъ. Вотъ, напримѣръ, чѣмъ заключаетъ онъ повѣствованіе о смерти Емели: „Такъ вотъ, сударь, это я вамъ для того теперь разсказалъ и правоученіе—*если ужъ нужно, чтобъ оно было тутъ*—для того вывожу, чтобъ вы поняли, что если чело-

нѣкъ разъ вошелъ въ порокъ, какъ, примѣромъ сказать, Емеля въ пьяную жизнь, такъ постыдное дѣло какое, хотя бы онъ прежде былъ и честный человѣкъ, для него ужъ возможнымъ становится,—то-есть станетъ возможнымъ помыслить о немъ. А какъ у порочнаго человѣка *воли не можетъ быть мужественной*, да и обсужденіе-то не всегда здравое, такъ онъ и совершитъ это постыдное дѣло, и мысль его *нечистая тотчасъ дѣломъ становится*. А какъ совершитъ, да какъ, не смотря на свою порочную жизнь, все еще не загубилъ *въ себѣ всего человѣка* (!), какъ осталось въ немъ сердце хоть на сколько-нибудь, такъ оно тотчасъ ныть примется, кровью обливается, начнетъ раскаяніе, какъ змѣя его загрызетъ, и умретъ человѣкъ не отъ постыднаго дѣла, а съ тоски, потому что *все свое самое* лучшее (!) что берегъ помимо всего и *во имя чего человѣкомъ еще звался* (!), за ничто загубилъ какъ Емеля свою честность, что одна только и оставалась за нимъ,—за полштофа *глупой*, горькой сивухи...“ Здѣсь уже чисто-начисто стоитъ самъ авторъ; портной нисколько не повиненъ въ этой пышной риторической рѣчи, старающейся поддѣлаться подъ народный говоръ. Съ помощію ея мы можемъ объяснить теперь, почему иностранныя произведенія этого рода такъ теплы и трогательны, и такъ хитры и холодны наши подражанія. Тамъ явились они отъ презрѣнія къ истертымъ пружинамъ беллетристики, отъ досады на ложный блескъ фразеологіи, скрывающей обманъ или пустоту, отъ жажды простого истиннаго чувства, не удовлетворяемой литературной дѣятельностью общества, перешедшей почти въ ремесло. У насъ наоборотъ: они держатся на уловкѣ и имѣютъ въ основаніи авторскую изворотливость и условную манеру, съ помощью которыхъ сочинитель берется *поставить* вамъ что угодно. Немудрено, что произведеніе такъ написанное, если и производитъ какое-нибудь дѣйствіе на читателя, то конечно совершенно противоположное тому, какое оно имѣло въ виду.

* * *

*) Кто наблюдалъ въ нашемъ обществѣ надъ тѣмъ, что называется „мелкимъ людомъ“, тотъ знаетъ, что кроткіе и покорившіеся люди тоже иногда бываютъ обидчивыми и щепетильными. Это зависитъ отъ отношеній: предъ начальникомъ отдѣленія помощникъ столоначальника—пасъ, смирился совершенно; но съ другими помощниками онъ считаетъ себя „въ своемъ правѣ“, и за это право держится ревниво и угрюмо. Послѣдняя сторона развита г. Достоевскимъ въ „Двойникѣ“, въ которомъ много хорошихъ мѣстъ погибло, къ сожалѣнію, въ общей растянутости и неудачной фантастичности разсказа...

Голядкинъ мучится и сходитъ съ ума вслѣдствіе неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его человѣчности съ офиціальными требованіями его положенія. Голядкинъ не такъ бѣденъ и задавленъ, какъ Дѣвушкинъ; онъ можетъ себѣ позволять даже нѣкоторый комфортъ; даже въ своемъ кругу видитъ людей, которыхъ *офиціально* имѣетъ право считать ниже себя, такъ какъ онъ состоитъ помощникомъ столоначальника въ департаментѣ. Вслѣдствіе того онъ пріобрѣлъ нѣкоторое условное уваженіе къ себѣ, и какое-то смутное понятіе о „своемъ правѣ“. Но тутъ онъ и спутался. Случилось обстоятельство, при которомъ нужно было выставить вовсе не это, чиновное право, а совсѣмъ другое: ему понравилась дѣвушка. Какъ искатель незавидный, онъ былъ отстраненъ, и вотъ тутъ-то перевертываются вверхъ дномъ всѣ его понятія. Макаръ Алексѣичъ нашелъ возможность удовлетворить добротѣ своего сердца. быть полезнымъ для любимаго существа, и потому въ немъ все больше и яснѣе развивается гуманное сознаніе, понятіе объ истинномъ человѣческомъ достоинствѣ. Яковъ Петровичъ Голядкинъ, напротивъ, получилъ нѣсколько афронтовъ отъ родныхъ своей возлюбленной и отъ своего соперника. и потому оскорбленный въ своемъ человѣческомъ чувствѣ, но, не умѣя хорошенько сознать этого, прямо хватается за свое чиновное право. „Это моя частная жизнь, это не

*) Н. Добролюбовъ. „Забитые Люди“. „Современникъ“ 1861 г., № 9 и Сочиненія Добролюбова, т. 3.

касается моихъ офиціальныхъ отношеній", находится онъ сказать, когда ему отказываютъ отъ званаго обѣда въ домѣ родителя его возлюбленной. И затѣмъ его мысли совершенно разстраиваются; онъ уже не знаетъ, что же онъ— въ правѣ или не въ правѣ... Онъ чувствуетъ только одно— что тутъ что-то не такъ, не ладно. Хочетъ онъ объясниться со всѣми—врагами и недругами,—все не удается, характера не хватаетъ... И приходитъ онъ къ idée fixe, къ пункту своего помѣшательства: что жить на свѣтѣ можно только интригами, что хорошо на свѣтѣ только тому, кто хитритъ, подличаетъ, другихъ обижаетъ... И вотъ у него является на умѣ рѣшимость—тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать... Но гдѣ ужъ ему пускаться на такія штуки? Не такъ онъ жилъ прежде, не такъ приготовленъ, характеръ у него не такой... „Натура-то твоя такова: душа ты правдивая,—разсуждаетъ онъ самъ съ собою.— Нѣтъ, ужъ лучше мы съ тобой потерпимъ, Яковъ Петровичъ,—подождемъ и потерпимъ". И къ этому прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характеръ,— мысль, что все еще „можетъ объясниться и устроиться къ лучшему". Оттого-то онъ никакъ не можетъ ни на что рѣшиться, даже высказаться порядкомъ не можетъ, и, не смотря на „присутствіе страшной энергіи въ себѣ", вѣчно мнется, трусить и ворочается съ половины дороги. Все, что въ немъ было живого, здраваго и сознательнаго, какъ-то не выливалось въ обычную форму, въ которой онъ доселѣ сидѣлъ такъ хорошо, и, едва поднявшись, осѣдало опять на дно его души, но осѣдало какъ-то безпорядочно, болѣзненно, совершенно не подъ-стать къ стройности чиновнаго механизма, въ которомъ онъ былъ вставленъ. Характеризуя его противорѣчія, авторъ между прочимъ говоритъ: „Позволить обидѣть себя онъ никакъ не могъ согласиться, а тѣмъ болѣе—дозволить затереть себя, какъ ветошку, и наконецъ дозволить это совсѣмъ развращенному человѣку... Не споримъ, впрочемъ, не споримъ: можетъ быть, если бъ кто захотѣлъ, если бъ ужъ кому, напримѣръ, вотъ непремѣнно захотѣлось обратить

въ ветошку господина Голядкина, то и обратилъ бы, обратилъ бы безъ сопротивленія и безнаказанно (господинъ Голядкинъ самъ въ иной разъ это чувствовалъ), и вышла бы ветошка, а не Голядкинъ,—такъ, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы съ амбиціей, была бы съ одушевленіемъ и чувствами, *хотя бы и съ безотвѣтной амбиціей и безотвѣтными чувствами и далеко въ грязныхъ складкахъ этой ветошки скрытыми*, но *все-таки съ чувствами*". Мнѣ кажется, трудно лучше характеризовать положеніе забитыхъ людей, подобныхъ Голядкину, людей, дѣйствительно какъ будто превращенныхъ въ тряпицу и только въ грязныхъ складкахъ хранящихъ остатки чего-то человѣческаго, неслышнаго, безотвѣтнаго, но все какъ-то по временамъ дающаго себя чувствовать. Вотъ оно дало себя чувствовать и г. Голядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкія сомнѣнія и вопросы на бѣдный разсудокъ и фантазію Якова Петровича. „Такъ это не такъ? Тутъ не каждый въ своемъ правѣ? Тутъ берутъ интригами? Давай же, когда такъ, и я буду интриговать... Да гдѣ мнѣ интриговать? Натура у меня глупая—правдивая,—никогда окольными путями... Но другіе-же всѣ окольными путями ходятъ, иначе человѣка затрутъ, а я затереть себя не могу позволить... А что въ самомъ дѣлѣ, если бъ я"... И господинъ Голядкинъ, вообще наклонный къ меланхоліи и мечтательности, начинаетъ себя раздражать мрачными предположеніями и мечтами, возбуждать себя къ несвойственной его характеру дѣятельности. Онъ раздвояется, самого себя онъ видитъ вдвойнѣ... Онъ группируетъ все подленькое и житейски ловкое, все гаденькое и успѣшное, что ему приходитъ въ фантазію; но отчасти практическая робость, отчасти остатокъ гдѣ-то въ далекихъ складкахъ скрытаго нравственнаго чувства препятствуютъ ему принять всѣ придуманныя имъ пронырства и гадости на себя, и его фантазія создаетъ ему „Двойника". Вотъ основа его помѣшательства. Не знаю, вѣрно ли я понимаю основную идею „Двойника"; никто, сколько я знаю, въ разъясненіи ея не хотѣлъ забираться далѣе того, что „герой

романа—сумасшедшій". Но мнѣ кажется, что если ужъ для каждаго сумасшествія должна быть своя причина, а для сумасшествія, разсказаннаго талантливымъ писателемъ на 170 страницахъ—тѣмъ болѣе, то всего естественнѣе предлагаемое мною объясненіе, которое само собою сложилось у меня въ головѣ при перелистываньи этой повѣсти. Авторъ, кажется, самъ не чуждъ былъ такого объясненія: такъ, по крайней мѣрѣ, представляются по нѣкоторымъ мѣстамъ повѣсти. Напр., первое признаніе г. Голядкинымъ своего двойника описывается авторомъ такъ: „Это былъ не тотъ г. Голядкинъ, который служилъ въ качествѣ помощника своего столоначальника; *не тотъ, который любилъ стушеваться и зарыться въ толпѣ*; не тотъ, наконецъ, *чья походка ясно выговариваетъ: не троньте меня, и я васъ трогать не буду" или: „не троньте меня,—вѣдь я васъ не затрогиваю"*,—нѣтъ, это былъ другой господинъ, Голядкинъ, *совершенно другой*, но вмѣстѣ съ тѣмъ и *совершенно похожій на перваго*". И далѣе безпрестанно г. Голядкинъ-младшій ведетъ себя съ такою ловкостью и безстыдствомъ, какія только въ мечтахъ и возможны: онъ ко всѣмъ подбивается, передъ всѣми семенитъ, бѣгаетъ съ портфелемъ его превосходительства, изъ чего г. Голядкинъ-старшій заключаетъ, что онъ уже „по особому"... Г. Голядкинъ-младшій всегда умѣетъ остаться первымъ, ускользнуть отъ объясненій, отвернуться и подольститься, когда нужно; онъ способенъ даже заставить другого заплатить за съѣденные имъ растягаи; и при всемъ томъ онъ со всѣми хорошъ, онъ смѣло разсуждаетъ тамъ, гдѣ Голядкинъ-старшій умильно теряется, онъ сидитъ въ гостиной тамъ, куда Голядкинъ-старшій и въ переднюю показать носъ боится... Нечего и говорить, что г. Голядкинъ все это самого себя рисуетъ въ видѣ двойника своего. Выдумывая его небывалые, фантастическіе подвиги, онъ имѣетъ мысль, что вотъ поступай онъ только такимъ образомъ (какъ *нѣкоторые люди* и поступаютъ)—и по службѣ онъ успѣвалъ бы, и насмѣшкамъ товарищей не подвергался, и не былъ бы затертъ какимъ-нибудь выскочкой, раньше

его получившимъ коллежскаго, и главное—не былъ бы такъ безбожно обиженъ драгоцѣнною Кларою Олсуфьевною и ея родными. Но вмѣсто того, чтобы любоваться на подобные подвиги, г. Голядкинъ возмущается противъ нихъ всею долею того забитаго, загнаннаго сознанія, какая ему осталась послѣ ровнаго и тихаго гнета жизни, столько лѣтъ непрерывно покоившагося на немъ. Ему противны даже въ мечтахъ тѣ поступки, тѣ средства, которыми выбиваются „нѣкоторые люди“; онъ съ постояннымъ страхомъ отбрасываетъ свои же мечты на другое лицо и всячески позоритъ и ненавидитъ его. Въ минуты же просвѣтлѣнія, когда онъ опять начинаетъ яснѣе сознавать свою собственную личность, онъ вспоминаетъ о своихъ поползновеніяхъ на хитрость, ему мерещится строгій голосъ старика Антона Антоныча: „А что, и вы тоже собирались хитрить?“—и блѣднѣетъ, теряется,—и снова представляется ему образъ его двойника, который бы изъ всего этого вывернулся, посеменивъ ножками, и еще сильнѣе растетъ раздраженіе г. Голядкина противъ такой подлой, зловредной личности... Порою къ нему возвращаются прежнія мысли, что, можетъ быть, все устроится къ лучшему,—и вотъ ему разъ представляется даже, будто Клара Олсуфьевна, плѣненная его качествами, присылаетъ ему письмо, въ которомъ приказываетъ увести ее отъ злостныхъ и неблагонамѣренныхъ интригантовъ. И г. Голядкинъ точно отправляется подъ окна Клары Олсуфьевны—ждать ее, а отсюда уже отвозятъ его въ сумасшедшій домъ...

Ну, посудите же—зачѣмъ было сходить съ ума человѣку? Оставайся бы онъ только вѣренъ безмятежной теоріи, что онъ въ своемъ правѣ, и всѣ въ своемъ правѣ, что если новый коллежскій раньше его произведенъ, — такъ этому такъ и слѣдуетъ быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, такъ опять это значитъ, что ему къ ней и соваться не слѣдовало, — словомъ, продолжай онъ идти своей дорогой, никого не затрогивая, и помни, что все на свѣтѣ законнѣйшимъ образомъ распредѣляется по способностямъ, а способности самою натурою даны и т. д.—

вотъ и продолжалъ бы человѣкъ жить въ прежнемъ довольствѣ и спокойствіи. Такъ вѣдь нѣтъ же: встало что-то со дна души и выразилось мрачнѣйшимъ протестомъ, къ какому только способенъ былъ ненаходчивый господинъ Голядкинъ, — сумасшествіемъ... Не скажу, чтобъ г. Достоевскій особенно искусно развилъ идею этого сумасшествія, но надо признаться, что тема его—раздвоеніе слабаго, безхарактернаго и необразованнаго человѣка между робкой прямотой дѣйствій и платоническимъ стремленіемъ къ интригѣ, раздвоеніе, подъ тяжестью котораго сокрушается наконецъ разсудокъ бѣдняка,—тема эта, для хорошаго выполненія, требуетъ таланта очень сильнаго. При хорошей обработкѣ, изъ г. Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а типъ, многія черты котораго нашлись бы во многихъ изъ насъ. Припомните ваши встрѣчи съ чиновнымъ людомъ; припомните тѣхъ, которые называютъ себя людьми неискательными, спокойными, любящими по правдѣ жить. Вспомните, какъ они любятъ говорить о своей неискательности, и какъ иногда вдругъ, круто измѣняется направленіе разговора при упоминаніи о комъ-нибудь изъ ихъ сослуживцевъ, начальниковъ или знакомыхъ, успѣвающемъ больше другихъ. Тутъ сейчасъ пойдетъ: и „хорошо тому жить, у кого бабушка ворожитъ", и „правдой вѣкъ не проживешь", и жалобы на собственную неспособность къ подлостямъ, и ироническое, какъ будто уничижительное перечисленіе собственныхъ заслугъ: „что, дескать, мы — что по шести часовъ спины не разгибаемъ, да дѣла-то всѣ нами держатся—эка важность... А вотъ—пойти къ его превосходительству на балъ, да польку тамъ отхватать, да по утрамъ, вмѣсто дѣла то по магазинамъ разъѣзжать — его супруги коммиссіи исполнять—вотъ это дѣло, вотъ съ этимъ и въ честь попадешь. А мы — что? Клячи водовозныя, волы подъяремные — только въ черную работу и годимся"... и т. д. А затѣмъ разговоръ непремѣнно принимаетъ такой оборотъ: что вѣдь „и мы, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить"... и въ доказательство разскажутъ вамъ нѣ-

сколько случаевъ, гдѣ точно человѣку удобно было сподличать, а онъ не захотѣлъ... Во всѣхъ подобныхъ господахъ рѣшительно сидитъ тенденція г. Голядкина къ сумасшедшему дому; дайте имъ только побольше мечтательности и меланхоліи—и переходъ будетъ не далекъ...

Господинъ Голядкинъ, впрочемъ, человѣкъ ужъ совсѣмъ сумасшедшій; оставимъ его. А вотъ еще лицо у г. Достоевскаго, тоже сумасшедшій, но скорѣе только мономанъ—г. Прохарчинъ, человѣкъ этотъ тоже сообразилъ, должно быть, еще при началѣ своего служебнаго поприща, что „одному на свѣтѣ назначено въ каретахъ ѣздить, другому въ худыхъ сапогахъ по грязи шлепать,“ и, причисливъ себя къ послѣднему разряду, нанялъ себѣ уголъ и живетъ, не думая пытать судьбы своей. Но прочнаго спокойствія нѣтъ у него на душѣ; характеръ у него боязливый, какъ у всѣхъ забитыхъ, и хоть онъ твердо вѣруетъ въ нерушимость своей философіи, но на свѣтѣ видитъ и случайности разнаго рода: болѣзни, пожары, внезапныя увольненія отъ службы по желанію начальства... Бѣдняка начинаетъ преслѣдовать мысль о непрочности, *о необезпеченности его положенія*. Мысль, конечно, естественная. Натураленъ и результатъ ея—рѣшеніе откладывать и копить деньги, на всякій случай. Но исполненіе уже дико, хотя тоже понятно въ г. Прохарчинѣ: онъ прячетъ звонкую монету себѣ въ тюфякъ... Да и куда же ему дѣвать въ самомъ дѣлѣ? Въ сундукъ положить—утащатъ; поручить кому-нибудь—никому довѣриться нельзя; въ ломбардъ положить—помилуйте, это значитъ, прямо объявить себя богачомъ, Крезомъ какимъ-то. „У него деньги въ ломбардѣ лежатъ“—знаете ли вы, какъ звучитъ эта фраза въ кругу мелкихъ чиновниковъ, а тѣмъ болѣе обитателей угловъ!... Вотъ г. Прохарчинъ и прячетъ деньги въ тюфякъ, и 10 лѣтъ прячетъ, и 15, и 20, можетъ быть и больше, и даже самъ, кажется, высчитать хорошенько не можетъ, сколько у него тамъ спрятано, а потревожить тюфякъ—боится любопытныхъ глазъ... Живетъ онъ довольно спокойно, т. е. передъ всякимъ сторонится, всего робѣ-

стъ и радъ, что его не трогаютъ. Вдругъ вмѣстѣ съ нимъ поселяются новые жильцы — хорошіе люди, но „насмѣшники“. Замѣтивъ боязливость Прохарчина и постоянную мысль его о необезпеченности, — давай они между собою сочинять слухи—то о сокращеніи штатовъ, то объ экзаменахъ для старыхъ чиновниковъ, то о желаніи его превосходительства уволить всѣхъ чиновниковъ съ непрезентабельной фигурой, то вообще о тяжелыхъ временахъ... И что бы вы думали! Вѣдь совсѣмъ сбился съ толку бѣдняжка Прохарчинъ: ходитъ самъ не свой, лица на немъ нѣтъ, такъ и ждетъ, что его выгонятъ изъ службы, и тогда что же съ нимъ будетъ? Запасецъ хоть и сдѣланъ, да вѣдь уже его теперь истощать придется, а пополнять неоткуда... Волненіе Прохарчина выразилось, какъ видится, между прочимъ, тѣмъ, что онъ, встрѣтясь съ какимъ-то закоснѣлымъ пьянчужкой, хватилъ черезъ край и привезенъ домой въ безчувствіи и больной. Едва очнувшись, онъ началъ бредить и тосковать о томъ, что вотъ живешь-живешь, да и съ сумочкой, нынче нуженъ, завтра нуженъ, а потомъ и не нуженъ, и ступай по міру... Его начинаютъ убѣждать, что ему бояться нечего: человѣкъ онъ хорошій и проч... Онъ отвѣчаетъ: „да вотъ онъ вольный, я вольный; а какъ лежишь, лежишь, да и того“...—Чего?—Анъ и вольнодумецъ“... Всѣ приходятъ въ ужасъ и негодованіе при одной мысли, что Прохарчинъ можетъ быть вольнодумцемъ; но онъ возражаетъ: „стой, я не того... ты пойми только; баранъ ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потомъ и не смирный, сгрубилъ; пряжку тебѣ, и пошелъ вольнодумецъ!“... Словомъ сказать, господинъ Прохарчинъ сдѣлался истиннымъ вольнодумцемъ: не только въ прочность мѣста, но даже въ прочность собственнаго смиренія пересталъ вѣрить. Точно будто вызвать на бой кого-то хочетъ: „да что, дескать, вѣчно, что ли, я пресмыкаться-то буду? Вѣдь я и сгрублю, пожалуй,—я и сгрубить могу... Только, что тогда будетъ?“... Но разгулялся этакъ господинъ Прохарчинъ передъ смертью: въ ту же ночь, не осиливъ волненія, онъ умеръ, возбу-

дивъ вообще сожалѣніе въ жильцахъ. А по смерти его нашли въ тюфякѣ, въ разныхъ свѣрточкахъ, серебряной монеты на 2,497 рублей съ половиною ассигнаціями,— отчего жильцы и въ особенности хозяйка пришли уже въ негодованіе...

Господинъ Прохарчинъ, какъ забитый, запуганный человѣкъ, ясенъ; о немъ и распространяться нечего. О его внезапной тоскѣ и страхѣ отставки тоже нечего разсуждать. Привести развѣ мнѣніе его сожителей, во время его болѣзни: „Всѣ охали и ахали; всѣмъ было и жалко и горько, и всѣ межъ тѣмъ дивились, что вотъ какъ же это такимъ образомъ могъ совсѣмъ заробѣть человѣкъ? И изъ чего жъ заробѣлъ? Добро бы былъ при мѣстѣ большомъ, женой обладалъ, дѣтей поразвелъ; добро бъ его тамъ подъ судъ какой ни-наесть притянули; а то вѣдь и человѣкъ совсѣмъ дрянь; съ однимъ сундукомъ и съ нѣмецкимъ замкомъ; лежалъ слишкомъ двадцать лѣтъ за ширмами, молчалъ, свѣту и горя не зналъ,—скопидомничалъ, и вдругъ вздумалось теперь человѣку, съ пошлаго, съ празднаго слова какого-нибудь, совсѣмъ перевернуть себѣ голову, совсѣмъ забояться о томъ, что на свѣтѣ вдругъ стало жить тяжело... *А и не разсудилъ человѣкъ, что всѣмъ тяжело!.. Прими онъ вотъ только это въ расчетъ*, говорилъ потомъ Океаніевъ, *что вотъ всѣмъ тяжело, такъ сберегъ бы человѣкъ свою голову, перестаиъ бы куралесить и потянулъ бы свое кое-какъ, куда слѣдуетъ*“.

И вѣдь правъ Океаніевъ: дѣйствительно, Прохарчинъ оттого и погибъ, что съ пути здравой философіи сбился. Но кто же не сбивался съ нея? У кого не бывало случаевъ, порывовъ, увлеченій, внезапно нарушавшихъ ровный ходъ мирноустроеннаго механизма жизни?

Вотъ еще, пожалуй, примѣръ, изъ г. Достоевскаго: юный чиновникъ, Вася Шумковъ, изъ низкаго состоянія трудолюбіемъ и благонравіемъ вышелъ, за почеркъ и кротость любимъ начальствомъ и самимъ его превосходительствомъ Юліаномъ Мастаковичемъ, получаетъ отъ него приватныя бумаги для переписки, да еще за эту честь и день-

гами отъ него награждается время отъ времени. Къ этому еще, онъ имѣетъ преданнаго друга Аркашу; мало того, онъ полюбилъ, заслужилъ взаимность и уже женихомъ объявленъ... Чего ему еще! Онъ переполненъ счастьемъ; жизнь ему улыбается. Триста рублей жалованья, да приватныхъ отъ Юліана Мастаковича—житье съ женою хоть куда! Они же такъ любятъ другъ друга! Вася ничего не помнитъ, ни о чемъ не думаетъ, кромѣ своей невѣсты; у него есть бумаги, данныя для переписки Юліаномъ Мастаковичемъ; сроку остается два дня, но Вася, съ свойственнымъ влюбленному легкомысліемъ, говоритъ: „еще успѣю", и не выдерживаетъ, чтобъ въ вечеръ подъ новый годъ не отправиться съ пріятелемъ къ невѣстѣ... Но, возвратившись домой и засѣвши на цѣлую ночь писать, онъ поражается суровою дѣйствительностію: всѣхъ бумагъ никакъ не перепишешь къ сроку,—а завтра къ тому же новый годъ, надо еще идти — расписаться у его превосходительства. Напрасно Аркаша его удерживаетъ, обѣщая за него расписаться,—Вася боится, что Юліанъ Мастаковичъ могутъ обидѣться. Напрасно также добрый другъ уговариваетъ его не сокрушаться, напоминая о великодушіи Юліана Мастаковича: это еще болѣе убиваетъ Васю. Какъ, онъ, ничтожный червякъ, презрѣнное, жалкое существо, — удостоенъ такого высокаго вниманія, получаетъ частныя приказанія, слышитъ милостивыя слова... и вдругъ—что же?—нерадѣніе, неисполнительность, неблагодарность! Всю чудовищность, всю черноту своего поступка Вася и измѣрить не можетъ, ибо соразмѣряетъ ее съ разстояніемъ, раздѣляющимъ его отъ Юліана Мастаковича, — а кто же можетъ измѣрить это разстояніе?! У бѣдняка голова кружится при одномъ взглядѣ на эту страшную пропасть... Онъ было думаетъ идти къ Юліану Мастаковичу и принести повинную; но какъ рѣшиться на подобную дерзость? Другъ его хочетъ объясниться за своего друга, даже отправляется къ его превосходительству, но заговорить тоже не рѣшается. Бѣдный Вася сидитъ за письмомъ два дня и двѣ ночи, у него мутится въ головѣ, онъ уже ничего не ви-

дитъ и водитъ сухимъ перомъ по бумагѣ. Наконецъ, любовь, ничтожество, гнѣвъ Юліана Мастаковича, недавнее счастье, черная неблагодарность, страхъ за свое полнѣйшее безсиліе—сламываютъ несчастнаго; онъ убѣждается, что ему теперь одна дорога—въ солдаты, и мѣшается на этой мысли. Юліанъ Мастаковичъ благодушно замѣтилъ: „Боже, какъ жаль! И дѣло то, порученное ему, было неважное, и вовсе неспѣшное... Такъ-таки, ни изъ-за чего погибъ человѣкъ!“

Положимъ, что г. Достоевскій слишкомъ ужъ любитъ сводить съ ума своихъ героевъ; положимъ, что у Васи его ужъ до-нельзя *слабое сердце* (такъ и повѣсть называется). Но всмотритесь въ основы этой повѣсти,—вы придете къ тому же результату: что идеальная теорія общественнаго механизма, съ успокоеніемъ всѣхъ людей на своемъ мѣстѣ и на своемъ дѣлѣ, вовсе не обезпечиваетъ вообще благоденствія. Оно точно, будь на мѣстѣ Васи писальная машинка, было бы превосходно. Но въ томъ-то и дѣло, что никакъ человѣка не усовершенствуешь до такой степени, чтобъ онъ ужъ совершенно машиною сдѣлался; въ большой массѣ еще такъ—это мы видимъ въ военныхъ эволюціяхъ, на фабрикахъ и проч., но пошло дѣло по одиночкѣ—не сладишь. Есть такіе инстинкты, которые никакой формѣ, никакому гнету не поддаются и вызываютъ человѣка на вещи совсѣмъ несообразныя, черезъ что, при обычномъ порядкѣ вещей, и составляютъ его несчастіе. Вотъ хотя бы для этого Васи;—если ужъ пробудилось въ немъ чувство, если ужъ онъ не можетъ отстранить отъ себя человѣческихъ потребностей, то ужъ гораздо лучше было бы для него вовсе и не имѣть этого похвальнаго сознанія о своемъ ничтожествѣ, о своемъ безпредѣльнѣйшемъ, жалкомъ недостоинствѣ предъ Юліаномъ Мастаковичемъ. Смотря на дѣло обыкновеннымъ образомъ, онъ сказалъ бы просто: „ну, что же дѣлать,—не успѣлъ; обстоятельства такія вышли“,— и остался бы довольно спокоенъ. А много ли найдемъ мы людей въ положеніи Васи, которые бы способны были къ такой храбрости? Большая часть, проникнутая сознаніемъ

своего безсилія и величіемъ начальнической милости,—съ трепетомъ возится за его порученіемъ, и хоть не сходитъ съ ума, но сколько выдерживаетъ опасеній, сомнѣній, сколько тяжелыхъ часовъ переживаетъ, ежели что-нибудь не сдѣлается, или сдѣлается не совсѣмъ такъ, какъ поручено. И все это вѣдь не изъ-за дѣла (до котораго Васѣ и всякому другому подобному ни малѣйшей нужды нѣтъ), а именно изъ-за того, какъ взглянутъ, что скажутъ,—изъ-за того, что отъ этого взгляда жизнь Васи зависитъ, въ этомъ словѣ вся его участь, может, заключается.

Говорятъ, отрадно человѣку имѣть за собою кого-нибудь, кто о немъ заботится, за него думаетъ и рѣшаетъ, всю его жизнь, всѣ его поступки и даже мысли устраиваетъ. Говорятъ, что такъ согласно съ естественной инерціей человѣка, съ его потребностью отдаваться кому-нибудь беззавѣтно, поставить для души какой-нибудь образецъ и владыку, въ волѣ котораго можно бы почивать спокойно. Все это очень можетъ быть справедливо въ извѣстной степени, и можетъ оправдываться даже исторіею. Но едва ли это мнѣніе можетъ найти себѣ оправданіе въ тенденціяхъ современныхъ обществъ. Оттого-ли, что общества новыхъ временъ вышли изъ состоянія младенчества, въ которомъ естественное чувство безсилія необходимо заставляетъ искать чужого покровительства; оттого-ли, что прежніе, извѣстные намъ изъ исторіи покровители и опекуны обществъ часто такъ плохо оправдывали надежды людей, довѣрявшихъ имъ свою участь,—но только теперь общественныя тенденціи повсюду принимаютъ болѣе мужественный, самостоятельный характеръ. Высокія добродѣтели слѣпой, безумной преданности, безусловнаго довѣрія къ авторитетамъ, безотчетной вѣры въ чужое слово—становятся все рѣже и рѣже; мертвенное подчиненіе всего своего существа извѣстной формальной программѣ—и въ орденѣ Іезуитовъ осталось уже едва ли не на бумагѣ только.

Слѣдовало бы ожидать, что, при всеобщемъ стремленіи къ поддержанію своего человѣческаго достоинства, исчез-

нутъ и тѣ забитыя личности, которыхъ нѣсколько экземпляровъ взяли мы у г. Достоевскаго. Однакожъ, оглянитесь вокругъ себя—вы видите, что онѣ не исчезли, что герои г. Достоевскаго—явленіе вовсе не отжившее. Отчего же они такъ крѣпятся? Хорошо, что ли имъ? Нѣтъ, мы видѣли, что никому изъ нихъ не приноситъ особеннаго счастія его забитость, безотвѣтность и отреченіе отъ собственной воли, отъ собственной личности. Замерло, что ли, въ нихъ все человѣческое? Нѣтъ, и не замерло. Мы нарочно прослѣдили четыре лица, болѣе или менѣе удачно изображенныхъ авторомъ, и нашли, что живы эти люди, и жива душа ихъ. Они тупѣютъ, забываются въ полуживотномъ снѣ, обезличиваются, стираются, теряютъ, повидимому, и мысль, и волю, и еще нарочно объ этомъ стараются, отгоняя отъ себя всякія навожденія мысли и увѣряя себя, что это не ихъ дѣло. Но искра Божія все-таки тлѣется въ нихъ, и никакими средствами, пока живъ человѣкъ, невозможно потушить ее. Можно стереть человѣка, обратить въ грязную ветошку, но все-таки гдѣ-нибудь въ самыхъ грязныхъ складкахъ этой ветошки сохранится и чувство и мысль,—хоть и безотвѣтныя, незамѣтныя, но все же чувство и мысль.

„А что же въ нихъ, если они незамѣтны и безотвѣтны,—скажетъ читатель. Все равно, значитъ, что ихъ и нѣтъ. И вотъ по этому то, вѣроятно, и продолжаютъ до сихъ поръ существовать эти несчастныя созданія, забитыя до степени грязной ветошки, объ которую обтираютъ ноги“.

Мало-ли что незамѣтно, читатель,—незамѣтно потому, что не хотятъ замѣчать. Незамѣтно до поры до времени, но бываетъ такая пора, что все выходитъ наружу. Вѣдь вотъ г. Достоевскій нашелъ же возможность подсмотрѣть живую душу въ отупѣвшихъ, одеревенѣлыхъ чертахъ своихъ героевъ. А бываютъ такіе случаи, что „безотвѣтное“ чувство, глубоко запрятанное въ человѣкѣ, вдругъ громко отзовется, и всѣ услышатъ его. Дѣло въ томъ, что въ человѣкѣ ничѣмъ незаглушимо чувство справедливости; онъ

можетъ смотрѣть безмолвно на всякія неправды, можетъ терпѣть всякія обиды безъ ропота, не выразить ни однимъ знакомъ своего негодованія; но все-таки онъ не можетъ быть нечувствителенъ къ неправдѣ, насколько ее видитъ и понимаетъ, все-таки въ душѣ его больно отзывается обида и униженіе, и терпѣнію даже самаго убитаго и трусливаго человѣка всегда есть предѣлъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ человѣкѣ необходимо есть чувство любви; — всякій имѣетъ кого-нибудь, дорогого для себя, — друга, жену, дѣтей, родныхъ, любовницу. На нихъ примѣриваетъ онъ свое положеніе, ихъ сравниваетъ съ другими, объ ихъ довольствѣ думаетъ, — и со стороны ему разсуждается вольнѣе и яснѣе. Себя, положимъ, Макаръ Алексѣевичъ обрекъ на горькую долю и о себѣ не жалѣетъ: я ужъ, говоритъ, таковскій, — пусть мною всѣ помыкаютъ... и не доѣмъ-то я — не бѣда, и обидятъ-то меня — такъ не великъ баринъ. Но вотъ его чувство обращается на чистое, нѣжное существо, которое дѣлается ему всего дороже въ жизни, на Вареньку: онъ уже предается сожалѣнію о ея несчастіяхъ, находитъ ихъ незаслуженными, заглядываетъ въ кареты и видитъ, что тамъ барыни сидятъ все гораздо хуже Вареньки: ему уже приходятъ въ голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится какъ-то враждебнымъ весь этотъ людъ, разъѣзжающій въ каретахъ и перепархивающій изъ одного великолѣпнаго магазина въ другой, словомъ, скрытая боль, накипѣвшая въ груди, подымается наружу и даетъ себя чувствовать. И бываетъ это вовсе не такъ рѣдко, какъ можно предполагать, не зная дѣла; бываетъ это тѣмъ чаще, что въ большинствѣ случаевъ человѣкъ загнанный и забитый бываетъ крайне стѣсненъ и въ матеріальномъ отношеніи, а между тѣмъ принужденъ бываетъ выполнять разныя общественныя условія. Макаръ Алексѣичъ сокрушается, что скажутъ его превосходительство, увидѣвъ его плачевный вицъ-мундиръ, говоритъ, что пьетъ чай собственно для другихъ, до глубины души возмущается насмѣшкою департаментскаго сторожа, не давшаго ему щетки почистить шинель, подъ тѣмъ предлогомъ, что объ его шинель казенную щетку можно

испортить... Въ самомъ дѣлѣ, каково положеніе: поставленъ человѣкъ въ кругу другихъ, долженъ вести съ ними дѣло, быть одѣтымъ, какъ они, пить и ѣсть, какъ они, и въ то же время онъ лишенъ всякой возможности даже хоть подражаніе сносное устроить. Ужъ не говоря объ отличныхъ сапогахъ, — хоть бы какіе-нибудь сапоги, — такъ и тѣхъ нѣтъ; были одни, да и у тѣхъ подошвы отстали... Понятны трагическія восклицанія Макара Алексѣевича: „пожалуй, и самъ я скажу, что не нужно его, малодушіе-то; да при всемъ этомъ рѣшите сами, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу пойду! Вотъ оно что, маточка; а вѣдь подобная мысль погубить человѣка можетъ, совершенно погубить“. И мало ли людей, страдающихъ и изнывающихъ въ подобныхъ заботахъ? еще если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этихъ-то заботъ чувствуетъ человѣкъ, до чего онъ униженъ, до чего онъ обиженъ жизнію; тутъ-то посылаетъ онъ желчные укоры тому, на чемъ, повидимому, такъ сладостно покоится въ другое время, по изложенной выше философіи Макара Алексѣича. И въ этомъ-то пробужденіи человѣческаго сознанія онъ всего болѣе заслуживаетъ наше сочувствіе, и возможностью подобныхъ сознательныхъ движеній онъ искупаетъ ту противную, апатичную робость и безотвѣтность, съ которою всю жизнь подставляетъ себя чужому произволу и обидѣ.

Но отчего же подобныя вспышки „Божьей искры“ такъ слабы, такъ бѣдны результатами? Отчего пробужденное на мигъ сознаніе засыпаетъ снова такъ скоро? Отчего человѣческіе инстинкты и чувства такъ мало проявляются въ практической дѣятельности, ограничиваясь больше вздохами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которыхъ мы говоримъ, ужъ характеръ такой. Вѣдь будь у нихъ другой характеръ, — не могли бы они и быть доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества. Вопросъ, значитъ, о томъ, отчего образуются въ значительной массѣ такіе

характеры, какія общія условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ.

*) Если „Бѣдные Люди" связаны съ Гоголевскою „Шинелью", то „Двойникъ" не менѣе тѣсно связанъ съ „Записками сумасшедшаго", только разница въ томъ, что Гоголь набросалъ свой психологическій очеркъ немногими мастерскими чертами, съ сжатостію, свойственною великому художнику, у Достоевскаго же замѣтна крайняя расплывчивость и растянутость. За то, съ другой стороны, если Добролюбовымъ вѣрно истолкованъ смыслъ, вложенный Достоевскимъ въ своего „Двойника", то произведеніе это, по глубинѣ мысли, превосходитъ „Записки сумасшедшаго". Этотъ фантастическій двойникъ, по толкованію Добролюбова, есть не что иное, какъ внутреннее раздвоеніе одной и той же личности. Голядкинъ сознаетъ, что для успѣха въ жизни ему нужно умѣніе заискивать въ людяхъ, нужны такія качества, какихъ въ немъ нѣтъ, — и вотъ эта-то практическая, недостающая ему способность подслуживанія и олицетворяется имъ въ лицѣ г. Голядкина младшаго, который своей пронырливостію постоянно перебиваетъ дорогу г. Голядкину старшему. Какъ бы то ни было, герой повѣсти въ своемъ помѣшательствѣ постоянно занятъ столкновеніями со своимъ двойникомъ, т. е. съ другимъ воображаемымъ *самимъ собою*, а это можетъ быть объяснено только такимъ предшествующимъ психическимъ состояніемъ, которое не выпускало его изъ заколдованнаго круга *личныхъ* заботъ и стремленій.

Извѣстно, что Добролюбовъ въ своей статьѣ, намѣтивъ основной смыслъ многихъ дѣйствующихъ лицъ Достоевскаго, упоминаетъ мимоходомъ и о той странной, хотя и не сходящей съ ума, но душевно далеко не здоровой личности, которая является въ повѣсти „Село Сте-

*) О. Миллеръ. „Публичныя лекціи".

панчиково" подъ именемъ Ѳомы Ѳомича. Личность эта представляетъ замѣчательный съ психологической глубиной воспроизведенный нашимъ авторомъ переходъ изъ положенія человѣка оскорбленнаго, униженнаго — въ положеніе человѣка оскорбляющаго, при представившейся возможности забрать власть въ свои руки.—Ѳома Ѳомичъ, долго бывшій приживальщикомъ въ домѣ стараго самодура генерала, вдругъ переходитъ къ человѣку, который отличается самымъ кроткимъ, гуманнымъ характеромъ, и, пользуясь этимъ, приживальщикъ забираетъ въ руки не только хозяина, но и весь домъ. Онъ съ какимъ-то наслажденіемъ продѣлываетъ надъ другими то, что самъ вынесъ: загнанность его прежняго положенія развила въ немъ эгоизмъ до послѣднихъ предѣловъ. Впрочемъ, въ концѣ повѣсти (на это не обратила вниманіе критика), ему представляется возможность подняться нравственно: отъ него зависитъ разстроить бракъ добряка полковника съ нѣжно привязавшейся къ нему гувернанткой и такимъ образомъ отомстить полковнику за то, что онъ, было, попытался нѣсколько пообуздать самоуправство Ѳомы Ѳомича, — но Ѳома Ѳомичъ вдругъ отказывается отъ мести; онъ великодушно содѣйствуетъ этому браку, и такимъ образомъ изъ маленькаго тирана подчинившагося ему дома неожиданно превращается въ благодѣтеля.

Нѣкоторое психологическое соотвѣтствіе съ Ѳомой Ѳомичомъ представляетъ у нашего автора герой „Записокъ изъ подполья", вымещающій на несчастной дѣвушкѣ всѣ тѣ униженія, которыя пришлось ему вытерпѣть самому отъ другихъ, вслѣдствіе загнанности своего положенія. Но когда эта дѣвушка не такъ понимаетъ его жестокую проповѣдь, и думаетъ схватиться за него, чтобы подняться нравственно, — онъ сурово отталкиваетъ ее отъ себя, обнаруживая передъ нею всю бездну того эгоизма, который развился въ немъ отъ ожесточенности человѣка приниженнаго.

Другія личности Достоевскаго не ожесточены, а просто запуганы своимъ положеніемъ и находятся подъ вліяніемъ

подначальнаго страха даже тогда, когда бояться рѣшительно нечего, потому-что начальники ихъ—люди добрые. Такимъ является у нашего автора молодой чиновникъ, сходящій съ ума отъ мысли, что, увлекшись своемъ положеніемъ жениха, онъ не умѣетъ въ срокъ окончить работу, возложенную на него „его превосходительствомъ". Здѣсь, конечно, авторъ уже вдается въ крайность: у героя, какъ замѣтилъ Добролюбовъ, оказывается уже слишкомъ *«слабое сердце»* (таково заглавіе повѣсти). Но и этотъ оттѣнокъ забитости получаетъ свое значеніе въ той общей картинѣ забитыхъ людей, какую рисуетъ намъ Достоевскій. Въ сущности также запуганнаго человѣка видимъ мы и въ повѣсти, озаглавленной „Скверный анекдотъ", повѣсти, по юмористическому своему тону, довольно близко подходящей къ гоголевскимъ произведеніямъ. Дѣло тутъ, какъ извѣстно, въ желаніи начальника порисоваться своею популярностію, гуманно отнестись къ подчиненному. Совершенно случайно его превосходительство попадаетъ на свадебный пиръ къ мелкому чиновнику своего департамента, попадаетъ съ другого пира, на которомъ онъ уже успѣлъ достаточно угоститься. Очутившись въ средѣ, для него слишкомъ низкой, и не зная, какъ-бы такъ, спустившись до нея, не утратить своего достоинства, онъ избираетъ благую часть — продолжаетъ и тутъ угощаться, но, хвативъ наконецъ черезъ край, попадаетъ въ положеніе, вовсе не выгодное для его „достоинства" и еще менѣе выгодное для подчиненнаго, котораго онъ вздумалъ „осчастливить". Свадебный пиръ кончается въ высшей степени неудобною болѣзнью его превосходительства и необходимостью тщательнаго ухода за его высокой персоной—тутъ-же въ квартирѣ „осчастливленныхъ" молодыхъ. Но что составляетъ уже рѣшительно печальную сторону этого „Сквернаго анекдота" —это дальнѣйшія послѣдствія конфуза его превосходительства для подчиненнаго, у котораго сей конфузъ приключился. Печальна та логика, которая сейчасъ-же заставляетъ подчиненнаго понять, что, сдѣлавшись ближайшимъ свидѣтелемъ критическаго положенія своего начальника, онъ уже не долженъ

и думать показываться ему на глаза; и вотъ подъ вліяніемъ этой логики, онъ спѣшитъ заглазно подать прошеніе о переводѣ въ другое мѣсто. Въ развязкѣ такимъ образомъ этотъ „анекдотъ"—по мнѣнію нѣкоторыхъ, просто пустая, даже плоская, грязная шутка,—не лишенъ весьма серьезнаго смысла и находится, по послѣдствіямъ его для маленькаго человѣка, въ самой близкой связи съ другими картинами галлереи „забитыхъ людей" Достоевскаго.

Къ этой же галлереѣ, конечно, должны быть отнесены и учительскіе типы, въ „Дядюшкиномъ снѣ" и въ „Игрокѣ". Въ первомъ мы видимъ бѣднаго учителя уѣзднаго училища, забракованнаго въ качествѣ жениха именно изъ-за бѣдности. Между тѣмъ та, которую онъ любитъ и которая платитъ ему тѣмъ-же въ душѣ, сдается на постыдную торговую сдѣлку своей матери съ дряхлымъ сіятельнымъ богачомъ, успѣвшимъ отъ слишкомъ весело проведенной жизни, потерять сознаніе и память. И этотъ-то живой мертвецъ долженъ повести ее подъ вѣнецъ, между тѣмъ какъ отвергнутый ею молодой честный труженикъ съ горя чахнетъ и умираетъ отъ чахотки. Въ „Игрокѣ" обрисовано подначальное положеніе учителя въ домѣ человѣка, который смотритъ на него какъ на какую-то, почему-то считающуюся необходимою, мебель. Не что иное, какъ желаніе выйти изъ этого подначальнаго положенія, приводитъ его къ тому, чтобы рискнуть попытать счастіе въ соблазняющей его игрѣ на рулеткѣ. И какую яркую противоположность представляетъ при этомъ азартная игра старухи, тетки генерала, съ игрой учителя. Старуха пускается на краю могилы въ игру—по барской прихоти и изъ желанія показать племяннику, разсчитывающему на ея наслѣдство, что она не только еще въ живыхъ, но и полна жизни и страсти, а главное, что она полновластная владычица своего богатства: захочетъ, и спуститъ все въ одинъ день у него на глазахъ, не оставивъ ему ни копейки.—Это совсѣмъ не то, что отчаянное „авось и я выйду въ люди" учителя, убѣдившагося въ томъ, какъ тяжелъ трудовой хлѣбъ, и рѣшившагося попытать счастье. Къ тому-же у

него: тутъ примѣшивается и желаніе поправить своимъ выигрышемъ положеніе любимой имъ дѣвушки, падчерицы генерала. Не отнесись она къ нему такъ гордо, не оттолкни она его протянутую къ ней руку, и онъ съумѣлъ бы остановиться во время, не втянулся бы окончательно въ грязный омутъ игры. Униженіе, испытываемое имъ, бѣднякомъ, отъ Полины, — самое тяжелое изъ униженій; потому что оно достается отъ существа любимаго,—доводитъ его до потери вѣры въ себя и въ другихъ, до совершеннаго нравственнаго паденія. А если мы, наконецъ, вспомнимъ послѣднюю встрѣчу его съ англичаниномъ, достающіеся отъ него упреки въ пустотѣ, въ отсутствіи характера, обобщеніе, дѣлаемое англичаниномъ — „что всѣ то вы русскіе,—пустые безхарактерные люди“,—то не трудно будетъ понять, что, послѣ всего предшествующаго, такое окончательное униженіе могло только нравственно доконать несчастнаго молодого человѣка. Повѣсть остается какъ бы оборванною, но можно предвидѣть, что героя ея ждетъ впереди только самоубійство. Мы такимъ образомъ возобновили въ памяти цѣлый рядъ повѣстей, въ которыхъ выводятся униженные и забитые люди (я пополнилъ этотъ рядъ повѣстями, не отмѣченными у Добролюбова). Имѣя въ виду всѣ эти повѣсти, мы конечно не можемъ не согласиться съ вѣрностію сужденія, высказаннаго Добролюбовымъ, но должны восполнить его не менѣе вѣрнымъ сужденіемъ Бѣлинскаго. Добролюбовъ обратилъ главное вниманіе на то, до какой степени всѣ эти люди придавлены жизнью; Бѣлинскій—на то, что, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ не дали окончательно подавить въ себѣ все человѣческое. Но для насъ особенно важенъ взглядъ самого Достоевскаго на то, что составляетъ самое цѣнное въ человѣкѣ; а взглядъ этотъ прямо выраженъ въ „Запискахъ изъ подполья“: „Свое собственное вольное и свободное „хотѣніе“, говоритъ онъ тутъ, свой собственный, хотя бы самый дикій, капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествія,—вотъ это-то и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, кото-

рая ни подъ какую классификацію не подходитъ". Но не надо пугаться этихъ словъ: этого *хотѣнія* ради *хотѣнія*: Достоевскій сейчасъ-же оговаривается: „хотѣть можно и противъ своей собственной выгоды, а иногда и положительно должно". Да, только способность и на такое хотѣніе доказываетъ, что человѣкъ владѣетъ своею личностью, какъ полнымъ своимъ имуществомъ, — захочетъ, и пожертвуетъ собою для другихъ. Въ своихъ „Зимнихъ замѣткахъ о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ" Достоевскій окончательно высказывается въ этомъ смыслѣ: „пойміте меня — самовольное, совершенно сознательное и никѣмъ не принужденное самопожертвованіе всего себя въ пользу всѣхъ есть, по моему, признакъ высочайшаго развитія личности, высочайшаго могущества, высочайшаго самообладанія, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно пойти за всѣхъ на крестъ, на костеръ можно только при самомъ сильномъ развитіи личности". Вотъ что составляетъ идеалъ нашего писателя, и на этотъ то идеалъ указываетъ онъ отрицательно рядомъ людей, которымъ именно свободнаго обладанія своею личностію и не достаетъ, въ которыхъ, повидимому, совершенно забито свободное человѣческое *хотѣніе.* Но Бѣлинскій не даромъ замѣтилъ, что въ Дѣвушкинѣ и Покровскомъ, не смотря на всю ихъ приниженность, вполнѣ сохранилась способность любить до самоотверженія, а Достоевскій именно въ этомъ видитъ самое сильное проявленіе личности; стало быть, она тутъ не совершенно забита. Въ лицахъ вполнѣ довольныхъ, успокоившихся на комфортѣ, убаюканныхъ удобствами жизни, скорѣе можетъ оказаться совершенно подавленною та свободная человѣческая личность, которая проявляется въ расширеніи своего *я* постояннымъ общеніемъ со всѣмъ окружающимъ міромъ. Мы видѣли на Ал. Адуевѣ, на Обломовѣ, до какой степени самое воспитаніе можетъ вести къ тому, что личность въ этомъ лучшемъ, человѣчнѣйшемъ смыслѣ, такъ и остается не пробужденною. Достоевскій, напротивъ того, далъ намъ два дѣтскихъ типа, взятыхъ изъ той же обиженной судьбою среды, съ которою онъ постоянно имѣетъ

дѣло, и мы ясно видимъ на нихъ, что именно раннее знакомство съ нуждою и горемъ и зажигаетъ въ душѣ тотъ священный огонь, который такъ часто остается навсегда чуждымъ людямъ, приголубленнымъ счастьемъ. Неточка Незванова,—главное лицо той прекрасной повѣсти Достоевскаго, которая осталась, какъ извѣстно, неоконченною вслѣдствіе постигшей его катастрофы,—Неточка Незванова выростаетъ уже вовсе не въ томъ блаженномъ невѣдѣніи жизни съ ея невзгодами, которое доводитъ и хорошихъ по природѣ людей до „обломовщины". Рано, еще ребенкомъ, познакомилась она съ горемъ, рано почувствовала сильную жалость къ людямъ, представляющимся ей униженными. Правда она ошибалась на первыхъ порахъ: самымъ униженнымъ и оскорбленнымъ представлялся ей ея отчимъ, тогда какъ тѣ выговоры и попреки, которые доставались ему отъ жены, были имъ совершенно заслуженны. Не понимая этого, считая мать обидчицей, Неточка привязывается къ отчиму, который, пользуясь этимъ, заставляетъ ее наконецъ утаивать деньги у матери. Читая романъ, невольно боишься, что этотъ человѣкъ развратитъ ея юную душу,—но то теплое любящее начало, которое такъ громко говоритъ въ ней, служитъ лучшимъ ручательствомъ, что этого не случится. И мнимо загнанный отчимъ, и сосредоточенная въ себѣ, какъ бы очерствѣвшая, страдалица мать умираютъ одинъ за другимъ. Неточка остается круглою сиротою и попадаетъ къ чужимъ людямъ; они ее хорошо одѣваютъ и кормятъ, но настоящей сердечной ласки она долго не встрѣчаетъ ни отъ кого, кромѣ какъ отъ самого князя, который, повидимому, и самъ играетъ какую-то печальную роль въ своемъ аристократическомъ домѣ. Но вотъ вдругъ къ Неточкѣ, во время ея болѣзни, приводятъ маленькую княжну, и мало-по-малу между этими двумя, такъ различно поставленными въ жизни дѣтьми, начинаетъ завязываться дружба. Достоевскій мастерски проводитъ психологическую черту, отдѣляющую ребенка, выросшаго въ нуждѣ и рано узнавшаго жизнь, отъ ребенка, воспитаннаго въ богатой семьѣ при блаженномъ невѣдѣніи

жизни. Маленькая княжна не долго не можетъ привыкнуть къ Неточкѣ; не зная, что такое горе, она не можетъ понять, почему та все плачетъ. Долго Неточка кажется ей прескучнымъ, пренесноснымъ ребенкомъ. Княжна думаетъ развеселить ее разными лакомствами, но все понапрасну, и бѣдная Катя уже считаетъ свою подругу рѣшительно ни къ чему негодной. Но надобно замѣтить, что въ этой Катѣ, при всей ея избалованности, съ другой стороны замѣтна и нѣкоторая ожесточенность. Мать ея, при своемъ чисто барскомъ своенравномъ характерѣ, часто поступаетъ съ нею несправедливо; отъ непомѣрнаго баловства она вдругъ переходитъ къ ненужной, ничѣмъ особеннымъ не вызываемой строгости, и въ ребенкѣ отъ этого развивается упорство и своенравная гордость своего рода. Понятно, что при такихъ качествахъ она долго не соглашается попросить прощенія у Неточки, которую огорчила тѣмъ, что слишкомъ любопытно ее распрашивала, кто такіе были и какъ жили ея родители. Къ тому-же вѣдь самолюбіе заставляетъ маленькую княжну завидовать Неточкѣ: всѣ говорятъ, что она и лучше учится и добрѣе, — и вотъ Катѣ хочется показать, что у нея за то есть такія преимущества, о которыхъ Неточка и думать не можетъ. Между тѣмъ въ сердечкѣ Кати уже невольно закралась привязанность къ Неточкѣ, но при своей такъ рано развившейся гордости и самолюбіи, она долго не хочетъ признаться въ этомъ и самой себѣ, а тѣмъ менѣе выказать свое чувство. Она внутренно какъ будто бы сознаетъ, до какой степени готова она подчиниться вліянію этой бѣдной дѣвочки, но гордость эгоизма, угнѣздившаяся въ избалованной дѣвочкѣ, долго не допускаетъ ее до подобнаго подчиненія. Но вотъ, наконецъ, Неточка рѣшительно побѣждаетъ ее тѣмъ, что со всѣмъ увлеченіемъ дѣтскаго самоотверженія беретъ на себя вину Кати, за что ее и сажаютъ въ ту мрачную комнату, которую ея разыгравшееся воображеніе обращаетъ въ „темницу“. Только съ той минуты, когда Катя увидѣла такую полную любовь къ себѣ со стороны своей подруги, и собственная привязанность Кати къ

ней разокъ вышла наружу. Но именно тутъ-то, когда стала часъ отъ часу крѣпнуть и развиваться ихъ дѣтская дружба; когда оно: неизвѣстное. и воспитательное начало стало проникать въ сердце Кати, въ видѣ теплой любви къ добрѣйшему и такъ много уже испытавшему въ своей маленькой жизни ребенку;— именно тутъ, этому, можетъ быть еще первому, единственному дѣйствительно-воспитательному началу въ ея воспитаніи — и это, конечно, съ умысломъ — не даютъ развиться: Катю увозятъ въ Москву, а Неточку сдаютъ въ другой домъ. Она, какъ извѣстно, находитъ и тутъ лицо, къ которому привязывается тѣмъ крѣпче, что и это лицо — страдающее, не смотря на все приволье и блескъ своей обстановки; новая привязанность крѣпнетъ съ годами и вызываетъ новые самоотверженные поступки со стороны Неточки, уже дѣвицы. Но повѣсть, къ сожалѣнію, тутъ-то и обрывается.

* *

*) Слабыя нервы, болѣзненно-раздраженная фантазія, начальныя припадки той болѣзни, которою страдалъ Достоевскій, недовольство окружающимъ, невозможность высказать это недовольство, „когда чего-то другого проситъ и хочетъ душа"!—вотъ тѣ условія при которыхъ возникли странныя созданія Достоевскаго до 1849 года. Добролюбовъ, въ своей критикѣ, пытался указать на связь характеровъ Достоевскаго съ дѣйствительностью и былъ убѣжденъ, что они выросли въ жизни. Онъ шолъ даже дальше; онъ поднималъ вопросъ: „отчего эти характеры доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества, отчего они образуются въ значительной массѣ, какія общія условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ"? но для рѣшительныхъ отвѣтовъ на эти вопросы, по его собственнымъ словамъ, „еще время не пришло".

Второй большой разсказъ Достоевскаго: „Двойникъ. При-

*) Н. Буличъ. „Достоевскій и его сочиненія". Казань 1881 г.

ключенія господина Голядкина", съ мучительнымъ и доведеннымъ до мельчайшихъ подробностей анализомъ сумасшествія старается, какъ намъ кажется, объяснить причины этого сумасшествія (а оно зарождается и развивается передъ читателемъ) именно тѣмъ обстоятельствомъ, что въ существо униженное, забитое и запуганное прокрадывается случайно сознаніе человѣческаго достоинства, желаніе такихъ же благъ, какія достаются счастливцамъ на этомъ свѣтѣ... По свидѣтельству Бѣлинскаго, глубоко-задуманный „Двойникъ" вовсе не имѣлъ успѣха, что слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, что разсказъ слишкомъ растянутъ, отчего и самая мысль автора, скрытая въ мелочныхъ подробностяхъ приключеній Голядкина, совершенно теряется. Публика не была еще пріучена къ такимъ разсказамъ. Бѣлинскому „Двойникъ" не нравился; онъ видѣлъ въ немъ: „неумѣнье богатаго силами таланта опредѣлять разумную мѣру и границы художественному развитію задуманной имъ идеи"; находилъ онъ и другой недостатокъ: это фантастическій колоритъ, но, кажется намъ, послѣднее невѣрно. Двойникъ, встрѣчающійся на каждомъ шагу бѣднаго и придавленнаго героя, мѣшающій ему жить—не фантастическое созданье, а реальный продуктъ больного мо[illegible] Голядкина; сознаніе его раздваивается, и передъ нами [illegible]чительный процессъ этого раздвоенія одного и того же [illegible]рактера на двѣ половины. Но и въ головѣ самого писателя долженъ былъ совершаться тоже тяжелый и мучительный процессъ для того, чтобъ съ такимъ неумолимымъ хладнокровнымъ вниманіемъ, съ такою, если можно такъ выразиться, *сосредоточенною злобою* останавливаться на мелкихъ, ничтожныхъ и больныхъ приключеніяхъ Голядкина. Да, всѣ эти герои Достоевскаго, по его собственнымъ словамъ, „жалкое, уродливое, недоношенное племя, *племя корчащихся подъ свалившимися на нихъ камнями*". Таковъ жалкій чиновникъ господинъ Прохарчинъ, въ разсказѣ подъ этимъ названіемъ,—смирный, таинственный и одиновій, у котораго вся незамѣтная для другихъ энергія уходитъ на откладываніе остатковъ отъ скуднаго содержанія на случай

упраздненія той канцеляріи, гдѣ служитъ. Но Прохарчину не удалось воспользоваться сбереженіями; онъ умираетъ отъ паралича, и накопленныя деньги достаются другимъ. Таковъ бѣдный, гораздо болѣе симпатичный молодой чиновникъ Вася Шумковъ въ повѣсти „Слабое сердце" (1848 г.), влюбленный въ свою невѣсту, мечтающій о будущемъ счастьи, съ наивно-радостнымъ чувствомъ долго выбирающій у француженки-модистки чепчикъ своей невѣстѣ для подарка на новый годъ и въ этомъ увлеченіи молодой любви забывающій, что ему надобно переписать къ назначенному сроку бумаги, данныя ему начальникомъ. Не то, чтобъ онъ забылъ о долгѣ, но онъ обманулъ себя, чтобъ постылымъ трудомъ не помѣшать дорогому счатью, чтобъ на нѣсколько времени не думать объ этомъ трудѣ. Но трудъ неумолимо встаетъ наконецъ передъ нимъ; онъ надѣется кончить; онъ пишетъ и пишетъ до тѣхъ поръ, пока товарищъ его по комнатѣ „съ ужасомъ не замѣтилъ, что Вася водитъ по бумагѣ сухимъ перомъ, перевертываетъ совсѣмъ бѣлыя страницы и спѣшитъ, спѣшитъ наполнить бумагу, какъ будто онъ дѣлаетъ отличнѣйшимъ и успѣшнѣйшимъ образомъ дѣло"! Бѣднякъ сошелъ съ ума отъ „слабаго сердца", на мысли, что его отдадутъ въ солдаты (такое наказаніе было тогда не рѣдкостью) и въ изорванномъ мозгу его стояла неотразимо одна только мысль: „За что же ее убивать! чѣмъ же она, чѣмъ же она виновата?— Прощай, моя люба! Прощай, моя люба! шепталъ онъ, качая бѣдной своей головой". Сердце сжимается болью отъ этой ненужной жертвы, отъ этой бѣды, какъ бы упавшей съ неба. Кто виноватъ въ этомъ несчастьи Васи? Неужели только слабое сердце? И Васю, какъ и господина Голядкина, увезли въ сумасшедшій домъ. Счастье его, что въ бреду станетъ ему грезиться его „люба"; тогда какъ Голядкинъ не отдѣлается отъ представленія „своихъ враговъ, согласившихся погубить его". Задумался другъ Васи: „Какая-то странная дума посѣтила осиротѣлаго товарища бѣднаго Васи. Онъ вздрогнулъ, и сердце его какъ будто облилось въ это мгновеніе горячимъ ключомъ крови, вдругъ вскипѣвшей

отъ прилива какого-то могучаго, но доселѣ незнакомаго ему ощущенія. Онъ какъ будто только теперь понялъ всю эту тревогу и узналъ, отъ чего сошелъ съ ума его бѣдный, но вынесшій своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, онъ поблѣднѣлъ, и *какъ будто прозрѣлъ* во что-то новое въ эту минуту"...

Эти три разсказа Достоевскаго изъ первой поры его литературной дѣятельности кажутся намъ лучшими: въ нихъ авторъ съ грустною думою подходитъ къ дѣйствительности и пытается изобразить въ лицахъ, въ людяхъ, не выхваченныхъ изъ жизни и изученныхъ съ строгою наблюдательностью, а созданныхъ его воображеніемъ и глубоко обдуманныхъ, каково должно быть на нихъ вліяніе окружающей и гнетущей ихъ среды. Сознательная мысль, которая легла въ основу этихъ произведеній, внушена была автору современною критикою, которая была учительницею и общества и авторовъ. Правда, какъ за Дѣвушкинымъ выглядываетъ Гоголевскій обладатель шинели, такъ за Голядкинымъ и Васей подымается знакомая всѣмъ фигура Аксентія Иванова Поприщина, но связь этихъ второстепенныхъ повтореній первоначальнаго типа со средою, ихъ создавшею, яснѣе сознается читателемъ. Современная критика упрекала Достоевскаго за то, что онъ „любитъ сумасшествіе—для сумасшествія", но это не такъ: упорное, болѣзненное и постоянное вращеніе въ сферѣ идей, близко граничащихъ съ душевною болѣзнью, которая сама возникла подъ вліяніемъ соціальныхъ причинъ, было сущностью таланта Достоевскаго. Оно вызывалось и тою странною жизнью, какую велъ онъ, уже страдающій нервными припадками. Большая повѣсть „Хозяйка", по словамъ тогдашней критики, „порождена душнымъ затворничествомъ, четырьмя стѣнами темной комнаты, въ которой заперлась отъ свѣта и отъ людей болѣзненная до крайности фантазія" (П. В. Анненковъ, *Воспом. и критич. оч.* II, 23). Достоевскій взялся въ ней за лица, какихъ онъ никогда не видалъ, за изображеніе совершенно незнакомой ему жизни; его фантазія, опиравшаяся на знакомый ему міръ бѣднаго петербургскаго чи

новичества, оказалась въ этомъ случаѣ совершенно безсильною, а странный языкъ въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ—безжизненною поддѣлкою подъ народную рѣчь. Недостатокъ наблюденія, необходимый для автора, бросается въ глаза читателю особенно въ тѣхъ разсказахъ Достоевскаго, которые онъ началъ писать въ 1848 году, подъ названіемъ „Разсказы бывалаго человѣка". Эти разсказы одолжены своимъ появленіемъ „Запискамъ Охотника". Художественные, простые, проникнутые поэзіей и тонкою наблюдательностью очерки Тургенева, знакомаго съ тѣмъ, что онъ описываетъ, стали пользоваться тогда чрезвычайнымъ успѣхомъ. Міръ, изображенный Достоевскимъ, совсѣмъ иной. Это тѣ же жалкіе обитатели бѣдныхъ петербургскихъ „угловъ", придавленные нуждою, горемъ и пьянствомъ; это не жизнь дѣйствительная, да и самъ „бывалый человѣкъ", какъ называетъ себя авторъ, говоритъ, что онъ „живетъ уединенно, совсѣмъ затворникомъ. Знакомыхъ у меня почти никого; выхожу я рѣдко. Десять лѣтъ проживъ глухаремъ, я конечно привыкъ къ уединенію". Откуда же взять ему наблюдательности, необходимой автору?

Начатки меткаго анализа человѣческихъ чувствъ, въ которомъ Достоевскій является такимъ мастеромъ въ послѣдніе годы своей жизни, можно найти въ небольшихъ сценкахъ, гдѣ обрисованъ съ значительнымъ, хотя и тяжелымъ юморомъ, типъ ревниваго мужа. Таковы разсказы „Чужая Жена" и „Ревнивый Мужъ". Почему-то къ этому типу Достоевскій возвратился и потомъ, и въ позднѣйшемъ разсказѣ „Вѣчный мужъ" (1871) желалъ возбудить какъ бы сочувствіе къ ревнивцу, пытался выставить въ немъ что то трагическое. Сантиментальный романъ изъ того же времени „Бѣлыя Ночи" любопытенъ потому, что тотъ же „бывалый человѣкъ", какимъ назвалъ себя авторъ, выставляется въ новомъ свѣтѣ. Мы видимъ молодого Достоевскаго въ качествѣ „мечтателя" въ уединенномъ петербургскомъ „углу", и этотъ типъ онъ старается опредѣлить. Это—улитко-образное существо, приросшее въ своемъ углу, съ

слабыми нервами, съ болѣзненно раздраженной фантазіей, наполненной образами иного міра, картинами новой, очаровательной жизни, когда кругомъ „все такъ холодно, угрюмо, сердито“. „Безсонныя ночи проходятъ, какъ одинъ мигъ, въ неистощимомъ весельи и счастьи и, когда заря блеснетъ розовымъ лучомъ въ окна и разсвѣтъ освѣтитъ угрюмую комнату своимъ сомнительнымъ фантастическимъ свѣтомъ, какъ у насъ, въ Петербургѣ, нашъ мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпаетъ въ замираніяхъ отъ восторга своего болѣзненно-потрясеннаго духа и съ такою томительно-сладкою болью въ сердцѣ“. Посреди такихъ грезъ авторъ жалуется, что онъ „потерялъ всякій тактъ, всякое чутье въ настоящемъ, дѣйствительномъ“, а „между тѣмъ чего-то другого проситъ и хочетъ душа“. Жизни нѣтъ или она освѣщена лишь тѣмъ блѣднымъ и трепетнымъ свѣтомъ, какой даютъ бѣлыя петербургскія ночи. Естественно, что тутъ не создаются цѣльныя, законченныя созданія.

Въ большомъ романѣ Достоевскаго „Неточка Незванова. Исторія одной женщины“, неоконченномъ по случаю катастрофы съ авторомъ, онъ пытается овладѣть типомъ молодой дѣвушки, сохранившей дѣвственную поэзію и прелесть посреди самыхъ ужасающихъ условій бѣдной жизни, съ рано развитымъ сознаніемъ жизненнаго горя, между забитою и вѣчно-больною матерью и пьяницею вотчимомъ, въ жалкомъ углу, „гдѣ никогда не смѣются, никогда не радуются, гдѣ вѣчное, нестерпимое горе“ съ „чадомъ безпорядочной жизни“, и Неточка рано стала ломать голову, стараясь угадать, отчего это такъ. И она, какъ и самъ авторъ, уходитъ со всѣми своими желаніями и надеждами въ фантастическія грезы, теряя всякій тактъ и всякое чувство дѣйствительности. Въ вѣчныхъ ссорахъ между вотчимомъ и матерью, дитя должно было стать на чью-либо сторону, и она выбрала полусумасшедшаго вотчима, „отъ того, что онъ былъ такъ жалокъ, такъ униженъ въ глазахъ моихъ“. Когда, послѣ страшной катастрофы, героиня осталась сиротою и сдѣлалась пріемышемъ въ княжескомъ домѣ, ея симпатіи

сосредоточиваются на бѣдномъ мальчикѣ, находившемся на одинаковыхъ съ нею условіяхъ въ томъ же домѣ, и она полюбила этого „бѣднаго мальчика, вздрагивавшаго отъ малѣйшаго шума, отъ каждаго голоса, со слезой, набѣгавшей на его маленькія, рыженькія рѣсницы, когда бывало онъ забьется въ уголъ одинъ, и, думая, что его никто не видитъ, хнычетъ потихоньку"... Но въ этомъ мальчикѣ просыпается злое чувство, желаніе выместить на другихъ обиды, посланныя ему жизнью. Въ немъ развивается мрачная подозрительность, все окружающее кажется ему сурово, неумолимо-враждебнымъ къ нему, и Неточка сближается съ этимъ оскорбленнымъ и уже мечтающимъ о мести существомъ, но авторъ не даетъ развитія этому рано озлобленному характеру. Сама Неточка живетъ только головными грезами, въ рѣзкомъ отчужденіи отъ всего окружающаго; въ жизни ея нѣтъ никакихъ радостей. Не знаемъ, какъ бы развернулся романъ, еслибъ Достоевскому была возможность кончить его *).

---

*) Помѣщая въ перечисленіи повѣстей и разсказовъ произведенія: „Маленькій герой", „Романъ въ девяти письмахъ", „Елка и свадьба" и „Крокодилъ", мы имѣли въ виду только соблюсти порядокъ въ библіографическомъ отношеніи; въ помѣщенныхъ же въ этой книгѣ критическихъ разборахъ о нихъ не упоминается.

Примѣч. В. Зелинскаго.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 7-е. М. 1893 г. Ц. 50 к. (Печатается восьмымъ изданіемъ).

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время семь изданій, обнимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ ороографическихъ правилъ, ороографическаго словаря и списка *всѣхъ* словъ съ буквою ѣ. Изложеніе ея алфавитное, почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя“ открывается страница на буквѣ, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, извозщикъ, извосщикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и подъ буквой и—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, пріобрѣтающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается въ нѣсколько секундъ.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. **Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія.** М. 1892 г. Ц. 50 к.

3. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

„Униженные и Оскорбленные“. — „Записки изъ Мертваго Дома“. — „Преступленіе и Наказаніе“.

СОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

МОСКВА.
Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, домъ Воейковой.
1894.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРОЙ ЧАСТИ.

стр.

«Униженные и Оскорбленные».

Критики: Добролюбова 1
Графа Кушелева-Безбородко 15
З-на („Библ. для чтенія") 21
О. Миллера 33
В. Чижа 36
Отзывъ самого Достоевскаго 38

«Записки изъ Мертваго Дома».

Критики: А. Милюкова 40
З—на („Библ. для чтенія") 49
Д. И. Писарева 68
О. Миллера 78
Вл. Соловьева 85
О. Миллера 86

«Преступленіе и Наказаніе».

Критики: Д. И. Писарева 88
Н. Страхова 115
Н. Ахшарумова 134
О. Миллера 157
Н. Звѣрева 171
Вл. Соловьева 183
В. Чижа 185

„УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ“.

(1861 г.) *)

Добролюбовъ на страницахъ „Современника“ въ своей замѣчательной статьѣ „Забитые Люди“ встрѣтилъ романъ „Униженные и Оскорбленные“ слѣдующимъ разборомъ:

**) „Романъ г. Достоевскаго очень недуренъ, до того недуренъ, что едва ли не его только и читали съ удовольствіемъ, чуть-ли о немъ только и говорили съ полною похвалою... Явился было ему соперникъ въ „Чужомъ Имени“ г. Ахшарумова, но со второй же части, говорятъ, обнаружилась въ этомъ романѣ такая неблаговидная пошлость, во вкусѣ романовъ Полевого, что читатели бросили романъ недочитаннымъ. „Бѣдные Дворяне“ г. Потѣхина тоже,

---

*) Первоначально напечатано въ журналѣ „Время“, 1861 г., кн. 1—7, и отдѣльно С.-Пб. 1861 г., два тома.

Болѣе основательные и достойные вниманія критическіе разборы „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, этого не совсѣмъ удавшагося въ художественномъ смыслѣ произведенія Достоевскаго, относятся ко времени появленія въ нашей литературѣ самого романа. Новѣйшіе критики Достоевскаго, какъ бы считая выраженный прежними критиками единогласный взглядъ на этотъ романъ выясненнымъ и установившимся, не находятъ, повидимому, нужнымъ подробно останавливаться на немъ; они въ своихъ разборахъ или обходятъ его, или говорятъ о немъ вскользь, мимоходомъ, и притомъ большею частію повторяютъ старое, уже высказанное о немъ. Поэтому, считая главной основой разбора „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“ критики 1861 и 1862 гг., мы преимущественно на нихъ и останавливаемся, хотя и помѣщаемъ ихъ только три. Такимъ малымъ количествомъ критическихъ выдержекъ того времени насъ заставило ограничиться то обстоятельство, что разсматриваемый романъ въ существенныхъ своихъ чертахъ почти одинаково разбирается не только въ критическихъ статьяхъ, не вошедшихъ въ настоящій сборникъ, но даже и въ этихъ трехъ, заимствованныхъ нами изъ выдающихся органовъ печати начала шестидесятыхъ годовъ.

**) „Современникъ“ 1861 г., № 9 и Сочиненія Добролюбова, т. III.

Примѣч. В. Зелинскаго.

говорятъ, остались далеко позади „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“. Словомъ сказать, романъ г. Достоевскаго до сихъ поръ представляетъ лучшее литературное явленіе нынѣшняго года. А попробуйте примѣнить къ нему правила строго-художественной критики!

Большая часть нашихъ читателей, конечно, знаетъ содержаніе „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“. Поэтому постараюсь изложить главныя черты романа въ самыхъ короткихъ словахъ.

Разсказъ веденъ отъ лица Ивана Петровича, „неудавшагося литератора“. Герой романа — князь Валковскій. Иванъ Петровичъ воспитанъ у помѣщика Ихменева, который вмѣстѣ съ тѣмъ управляетъ и сосѣднимъ имѣніемъ князя Валковскаго. Валковскій очень довѣряетъ Ихменеву и даже посылаетъ къ нему подъ надзоръ въ деревню 19 лѣтняго сына своего Алешу, накутившаго что-то въ Петербургѣ. Но черезъ годъ князь пріѣхалъ въ имѣніе, поссорился съ Ихменевымъ,—по наговорамъ, будто тотъ интриговалъ, чтобы женить Алешу на своей 17 лѣтней дочери, Наташѣ,—отнялъ у него управленіе имѣньемъ, сдѣлалъ на него начетъ и завелъ процессъ. Для „хожденія по дѣлу“ Ихменевъ переѣхалъ въ Петербургъ. Вотъ завязка романа.

Въ Петербургѣ, конечно, Ихменевы встрѣтили Ивана Петровича; онъ страстно влюбился въ Наташу, она въ него, они объяснились между собою и съ родителями, получили радостное согласіе и совѣтъ — подождать годикъ, пока Иванъ Петровичъ заработаетъ себѣ что-нибудь побольше теперешняго. Но между тѣмъ Алеша тоже началъ бывать у Ихменевыхъ, тайкомъ отъ отца; старики его принимали ласково, потому что онъ и въ 21 годъ былъ милымъ и незлобнымъ ребенкомъ. Онъ влюбился въ Наташу, а Наташа въ него,—да такъ, что въ одинъ прекрасный вечеръ бѣжала къ нему изъ дома родительскаго. Иванъ Петровичъ все это зналъ, всему помогалъ, переносилъ вѣсти отъ дочери къ родителямъ, отъ родителей къ дочери и пр. Но вскорѣ дѣятельность его раздвояется: онъ поселился въ квартирѣ одного старика, умершаго на его рукахъ; къ

старику ходила внучка, дѣвочка лѣтъ 13, Нелли; явилась она и къ Ивану Петровичу, но, не нашедъ дѣдушки, тотчасъ убѣжала. Иванъ Петровичъ успѣлъ ее выслѣдить, спасъ ее отъ развратной женщины, которая уже продала было ее какому-то кутилѣ, и поселилъ у себя. Съ этихъ поръ Иванъ Петровичъ мечется безпрестанно отъ Нелли къ Наташѣ, и отъ Наташи къ Нелли. Между тѣмъ князь Валковскій, видя, что сынъ не отстаетъ отъ Наташи, выдумалъ остроумное средство: пріѣхалъ къ Наташѣ и при немъ же попросилъ ея согласія на замужество съ его сыномъ. Всѣ были очень рады такому обороту дѣла, но вѣтреный Алеша, въ которомъ только препятствія еще и поддерживали любовь, совсѣмъ теперь успокоился на счетъ Наташи, сталъ пропадать по нѣскольку дней, ѣздить по баламъ и уже безъ всякаго принужденія знакомиться и сходиться съ невѣстой, которую приготовилъ ему отецъ. Черезъ нѣсколько дней онъ, разумѣется, влюбился въ нее такъ же страстно, какъ и въ Наташу, а еще черезъ нѣсколько дней убѣдился, что онъ ее любитъ больше Наташи. Расчетъ князя-отца оказался вѣренъ; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, какъ по писанному, все высказала князю. Князь обидѣлся и за то черезъ нѣсколько дней весьма цинически и съ приправою разныхъ оскорбленій высказалъ то же самое, то есть признался во всѣхъ своихъ расчетахъ Ивану Петровичу. Между прочимъ, пріѣхавъ къ нему въ квартиру, князь увидалъ Нелли, и она была имъ страшно испугана и сдѣлалась больна. Иванъ Петровичъ опять въ хлопотахъ: тутъ больная, тамъ идетъ къ развязкѣ, отецъ Алеши хочетъ женить его, невѣста его Катя хочетъ познакомиться съ Наташей, чтобы попросить у нея прощенія и согласія, отецъ Наташи горячится изъ-за дочери и—то ее проклинаетъ, то хочетъ вызывать князя на дуэль, мать рвется къ дочери, сама Наташа едо на ногахъ держится. Наконецъ все устраивается: Алеша уѣзжаетъ въ деревню, вмѣстѣ съ Катей и ея семействомъ; Наташа рѣшается идти къ родителямъ. Чтобы смягчить отца и приготовить его къ прощенію, употребляютъ орудіемъ

маленькую Нелли, заставляя ее разсказывать ему свою исторію, или, лучше сказать, исторію ея матери. Дѣло состоитъ въ томъ, что мать Нелли была обольщена однимъ господиномъ, бѣжала отъ отца, была имъ проклята, потомъ ограблена и брошена своимъ любовникомъ, и умерла въ сыромъ углу, отъ чахотки и голода, напрасно вымаливая прощенія у отца. Разсказъ, точно, производитъ сильное впечатлѣніе, такъ что Ихменевъ рѣшается идти къ Наташѣ. Но это оказывается рѣшительно ненужно: Наташа сама прибѣжала къ родителямъ и, разумѣется, встрѣчена была съ распростертыми объятіями. Вслѣдъ затѣмъ, при посредствѣ пріятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли—дочь князя Валковскаго, что обольститель ея матери былъ именно онъ, и что—мало того—онъ былъ женатъ на матери Нелли законнымъ образомъ. Но уликъ законныхъ противъ князя не было, и нельзя было предпринять противъ него никакихъ мѣръ. Алеша, разумѣется, женился на Катѣ. Униженные и оскорбленные такъ и остались неотомщенными. Нелли скоро затѣмъ умерла; а Наташа съ родителями отправилась въ провинцію, гдѣ старикъ Ихменевъ выхлопоталъ себѣ какое-то мѣсто, проигравъ окончательно свой процессъ съ княземъ и лишившись своей послѣдней деревеньки, Ихменевки.

Въ романѣ очень много живыхъ, хорошо отдѣланныхъ частностей. Герой романа хоть и мѣтитъ въ мелодраму, но по мѣстамъ выходитъ недуренъ; характеръ маленькой Нелли обрисованъ положительно хорошо; очень живо и натурально очеркнутъ также и характеръ старика Ихменева. Все это даетъ право роману на вниманіе публики, при общей бѣдности хорошихъ повѣстей въ настоящее время. Но все это еще не возвышаетъ его на столько, чтобы примѣнять общія художественныя требованія ко всѣмъ его частностямъ и сдѣлать его предметомъ подробнаго эстетическаго разбора.

Возьмите, напримѣръ, хоть самый пріемъ автора: исторію любви и страданій Наташи съ Алешей разсказываетъ намъ человѣкъ, самъ страстно въ нее влюбленный и рѣ-

шившійся пожертвовать собою для ея счастья. Я признаюсь,—всѣ эти господа, доводящіе свое душевное величіе до того, чтобы заэнамо цѣловаться съ любовникомъ своей невѣсты и быть у него на побѣгушкахъ, мнѣ вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только, и выдумать ихъ въ литературѣ могли только творцы, болѣе знакомые съ го[illegible] [illegible]ели съ сердечною любовью. Если же эти ро[illegible] самоотверженцы точно любили, то какія же [illegible]жны быть тряпичныя сердца, какія курачьи [illegible]гихъ людей показывали еще намъ, какъ идеалъ [illegible]ый, сколько помнится, устроилъ подобную комбинац[illegible]бовнаго самоотверженія г. Тургеневъ и недавно пов[illegible]ь ее въ „Накапунѣ“, имѣя впрочемъ на этотъ разъ [illegible]осторожность дать понять читателю, что Берсеневъ еще самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ къ Еленѣ, когда понадобилось его содѣйствіе Инсарову. Г. Достоевскій тоже не въ первый разъ беретъ такого героя: его ужъ мы видѣли въ мечтателѣ „Бѣлыхъ Ночей“. Но то была шутка въ сравненіи съ нынѣшнимъ его романомъ. Теперь мы видимъ умнаго и развитого человѣка, который тоже попалъ въ такую комбинацію и собирается намъ разсказать объ этомъ. Какъ бы мы ни смотрѣли на нравственное достоинство его подвига, но намъ любопытно слѣдить за нимъ въ его разсказѣ. Изъ всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ въ романѣ—онъ униженъ и оскорбленъ едва ли не болѣе всѣхъ; представить, какъ въ его душѣ отражались эти оскорбленія, что онъ выстрадалъ, смотря на погибающую любовь свою, съ какими мыслями и чувствами принимался онъ помогать мальчишкѣ-обольстителю своей невѣсты, какія безконечныя варіаціи любви, ревности, гордости, состраданія, отвращенія, ненависти разыгрывались въ его сердцѣ, что чувствовалъ онъ, когда видѣлъ приближеніе разрыва между своей невѣстой и ея любовникомъ,—представить все это въ живомъ, подлинномъ разсказѣ самого оскорбленнаго человѣка,—это задача смѣлая, требующая огромнаго таланта для ея удовлетворительнаго исполненія. Одной неудачной

попыткой на разъясненіе одной частицы такой задачи Эрнестъ Федо сразу пріобрѣлъ себѣ европейскую извѣстность и массу поклонниковъ. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое рѣшеніе *всей* задачи! Кромѣ того, что у насъ было бы художественное цѣлое,—намъ разъяснился бы цѣлый разрядъ характеровъ, цѣлый рядъ нравственныхъ явленій; мы знали бы, какъ намъ судить объ этихъ кроткосердыхъ герояхъ и какую цѣну приписывать ихъ гуманному обезличенію себя, такъ, какъ мы знаемъ теперь напримѣръ, послѣ комедій Островскаго, какъ намъ смотрѣть на патріархальную размашистость русской натуры.

Г. Достоевскій извѣстенъ любовью къ рисованію психологическихъ тонкостей. Мнѣніе о его, кажется, „Двойникѣ“, что это „собственно не повѣсть, а психологическое развитіе“, подало даже поводъ къ одному очень извѣстному анекдоту. Потому можно было надѣяться, что г. Достоевскій именно попадетъ на ту идею, о которой я говорилъ. Тогда бы, разумѣется, могъ быть толкъ и о художественности исполненія. Но на самомъ дѣлѣ вы въ романѣ не только слабаго изображенія внутренняго состоянія Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малѣйшаго намека на то, чтобы авторъ объ этомъ заботился. Напротивъ, онъ избѣгаетъ всего, гдѣ бы могла раскрыться душа человѣка любящаго, ревнующаго, страдающаго. Пять мѣсяцовъ, въ которые Алеша успѣлъ прельстить Наташу и увлекъ ее за собою,—не удостоены и пяти строчекъ. Первые полгода жизни Алеши съ Наташею пропущены почти безъ всякихъ объясненій. Дѣйствіе романа продолжается какой-нибудь мѣсяцъ, и тутъ Иванъ Петровичъ безпрерывно на побѣгушкахъ, такъ что ему наконецъ раза два дѣлается дурно, и онъ чуть не схватываетъ горячку. Но вотъ и все: что именно у него на душѣ, мы этого не знаемъ, хотя и видимъ, что ему нехорошо. Словомъ, передъ нами не страстно-влюбленный, до самопожертвованія любящій человѣкъ, разсказывающій о заблужденіяхъ и страданіяхъ своей милой, объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ его сердцу,

о поруганіи его святыни; передъ нами просто авторъ, неловко взявшій извѣстную форму разсказа, не подумавъ о томъ, какія она на него налагаетъ обязанности. Оттого тонъ разсказа рѣшительно фальшивый, сочиненный, и самъ разсказчикъ, который по сущности дѣла долженъ бы быть дѣйствующимъ лицомъ, является намъ чѣмъ-то въ родѣ наперсника старинныхъ трагедій. Къ нему приходитъ отецъ Наташи—сообщить о своихъ намѣреніяхъ, за нимъ присылаетъ ея мать—разспросить о Наташѣ, его зоветъ къ себѣ Наташа, чтобы излить передъ нимъ свое сердце, къ нему обращается Алеша—высказать свою любовь, вѣтренность и раскаяніе, съ нимъ знакомится Катя, невѣста Алеши, чтобы поговорить съ нимъ о любви Алеши къ Наташѣ, ему попадается Нелли, чтобы выказать свой характеръ, и Маслобоевъ, чтобы разузнать и разсказать объ отношеніяхъ Нелли къ князю, наконецъ самъ князь везетъ его къ Борелю и даже напивается тамъ, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иванъ Петровичъ все слушаетъ и все записываетъ. Вотъ и все его участіе въ романѣ.

Если уже таково отношеніе къ дѣлу даже того самаго лица, которое берется разсказывать намъ о своемъ кровномъ дѣлѣ, то нельзя ожидать, чтобъ авторъ сумѣлъ очень глубоко ввести насъ въ сердечную жизнь другихъ дѣйствующихъ лицъ. И точно—романъ представляетъ намъ калейдоскопъ происшествій, которыхъ случайными свидѣтелями можемъ мы сдѣлаться на улицѣ, въ гостиной или на иномъ чердакѣ, и при этомъ представленіи стоитъ нѣкто, изъясняющій, что означаютъ и почему выходятъ такія то и такія то вещи. Завязка романа, напримѣръ, основывается на любви Наташи къ Алешѣ. Наташа представлена дѣвушкою умною, серьезною, съ хорошо развитымъ нравственнымъ чувствомъ, безъ особенныхъ и даже безъ всякихъ чувственныхъ поползновеній. Алеша—мальчишка, уже въ 21 годъ вѣтреный, цинической, лишенный всякой нравственной основы въ характерѣ до того, что онъ не конфузится никакой своей пакости, а напротивъ—тотчасъ же

самъ о ней разсказываетъ, прибавляя, что знаетъ, какъ это дурно, и вслѣдъ за тѣмъ опять повторяетъ ту же пакость. Думая похвалить его невинность, разсказчикъ говоритъ, между прочимъ: „онъ не могъ бы солгать, а еслибъ и солгалъ, то вовсе не подозрѣвая въ этомъ дурного“. Видите, это былъ наивный, милый ребенокъ, невѣдающій разницы добра и зла, хотя и достигшій 21 года, воспитанный въ свѣтскомъ петербургскомъ обществѣ, испытавшій въ немъ кое-что и притомъ бывшій сынкомъ такого отца, какъ князь Валковскій. Идеализируя характеръ Алеши (какъ и слѣдуетъ по правиламъ рыцарскаго великодушія, говоря о соперникѣ), разсказчикъ замѣчаетъ, что онъ „могъ бы сдѣлать и дурной поступокъ, принужденный чьимъ-нибудь сильнымъ вліяніемъ, но, сознавъ послѣдствія такого поступка, умеръ бы отъ раскаянія“. А черезъ двѣ страницы происходитъ сцена встрѣчи Алеши съ убѣжавшей изъ дому Наташей. Иванъ Петровичъ пробуетъ напомнить ему: что, говоритъ, вы дѣлаете,—какой страшный ударъ наносите ея отцу и матери, и пр. Алеша отвѣчаетъ: „Да, это ужасно... Я это и прежде говорилъ... Но что же дѣлать? измѣнить нельзя...“ А тутъ еще и измѣнять-то было нечего. И Алеша, вырвавши дочь изъ семейства, не умеръ отъ раскаянія, да и потомъ, бросивъ Наташу и женившись на Катѣ, тоже не умеръ... Словомъ сказать, по описанію, это обаятельный, милый ребенокъ, только очень вѣтреный, а по ходу дѣла—это рано развращенный, эгоистическій и пустой мальчишка, не имѣющій никакого направленія, никакого убѣжденія, поддающійся на минуту всякому постороннему вліянію, но постоянно вѣрный только влеченіямъ своихъ капризовъ и чувственности, которыхъ онъ не умѣетъ даже стыдиться. Трудно сказать, въ чемъ заключается его обаятельность, чѣмъ онъ могъ подѣйствовать на умную и серьезную дѣвушку, какъ Наташа. Она краснѣетъ за него, когда онъ начинаетъ врать Ивану Петровичу разную чепуху въ тотъ самый моментъ, какъ онъ встрѣтилъ Наташу, чтобы увезти ее къ себѣ; она умоляетъ Ивана Петровича взглядомъ—не судить его строго... Ну,

скажите, какое же увлеченіе, какая любовь при такихъ отношеніяхъ?

Но мало ли бываетъ аномалій, а г. Достоевскій имѣетъ, такъ сказать, привилегію на ихъ изображеніе. Отъ г. Голядкина до Ѳомы Ѳомича въ „Селѣ Степанчиковѣ“ онъ изобразилъ на своемъ вѣку много болѣзненныхъ ненормальныхъ явленій. Могъ взятьс[illegible] изображеніе исключительной, ненатуральной л[illegible]таши къ дряннѣйшему фату, который, по всѣ[illegible]мъ здраваго смысла, не могъ не казаться ей [illegible]. Положимъ даже, что самая ненормальность-то, стр[illegible]ь подобныхъ отношеній и поразила художника, и зас[illegible] его заняться ихъ воспроизведеніемъ. Но вѣдь мы зн[illegible]ъ, что художникъ—не пластинка для фотографіи, отражающая только настоящій моментъ: тогда бы въ художественныхъ произведеніяхъ и жизни не было и смысла не было. Художникъ дополняетъ отрывочность схваченнаго момента своимъ творческимъ чувствомъ, обобщаетъ въ душѣ своей частныя явленія, создаетъ одно стройное цѣлое изъ разрозненныхъ чертъ, находитъ живую связь и послѣдовательность въ безсвязныхъ повидимому явленіяхъ, сливаетъ и перерабатываетъ въ общности своего міросозерцанія разнообразныя и противорѣчивыя стороны живой дѣйствительности. Оттого истинный художникъ, совершая свое созданіе, имѣетъ его въ душѣ своей цѣлымъ и полнымъ, съ началомъ и концомъ его, съ его сокровенными пружинами и тайными послѣдствіями, непонятными часто для логическаго мышленія, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художникъ представляетъ свои созданія и для другихъ; они для всѣхъ дѣлаются просты, понятны, законны. Вещи самыя чуждыя для насъ въ нашей привычной жизни кажутся намъ близкими въ созданіи художника: намъ знакомы какъ будто родственныя и мучительныя исканія Фауста, и сумасшествіе Лира, и ожесточеніе Чайдъ Гарольда; читая ихъ, мы до того подчиняемся творческой силѣ генія, что находимъ въ себѣ силы даже изъ *подъ всей грязи и пошлости*, обсыпавшей насъ, просунуть

голову на свѣтъ и свѣжій воздухъ и сознать, что дѣйствительно—созданіе поэта вѣрно человѣческой природѣ, что такъ должно быть, что иначе и быть не можетъ... Разумѣется, не всѣ геніи, и не отъ всѣхъ можно ожидать подобнаго эффекта, но все же до извѣстной степени онъ есть и въ каждомъ художественномъ произведеніи, и притомъ поэты съ меньшимъ талантомъ обыкновенно являются публикѣ съ созданіями, въ которыхъ и идеи отразились сравнительно меньшей важности и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть въ самыхъ маленькихъ размѣрахъ, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего искать въ произведеніи и признаковъ художественнаго таланта.

Такъ пусть бы въ романѣ г. Достоевскаго отразилась въ своей полнотѣ хоть этакая маленькая миніатюрная задача жизни: *) какъ можетъ смрадная козявка, подобная Алешѣ, внушить къ себѣ любовь порядочной дѣвушки. Разъясни намъ авторъ хоть это,—мы бы готовы были прослѣдить его шагъ за шагомъ, и вступить съ нимъ въ какія угодно художественныя и психологическія разсужденія. Но вѣдь и этого нѣтъ: пять мѣсяцевъ, въ которые возникла и дошла до своего страшнаго пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини отъ насъ скрыто, и авторъ, повидимому, смыслитъ въ его тайнахъ не больше нашего. Мы съ довѣріемъ обращаемся къ нему и спрашиваемъ: какъ же это могло случиться? А онъ отвѣчаетъ: вотъ подите жъ,—случилось, да и только.—Да пожалуй прибавитъ къ этому: чрезвычайно странный случай... а впрочемъ это бываетъ.—Но угодно ли искать художественнаго смысла въ подобномъ произведеніи? *)

---

*) Не говорю, чтобъ художникъ задавалъ себѣ задачу, а чтобъ у него отразилась, разрѣшилась она сама собою, хоть бы не вѣдомо для него; а то опять скажутъ, что я навязываю художнику утилитарныя темы.

Примѣч. Добролюбова.

*) Вотъ что по поводу этого замѣчаетъ въ своемъ критическомъ очеркѣ о Достоевскомъ докторъ медицины г. Чижъ:

„Нельзя обойти молчаніемъ того, повидимому, страннаго факта, что повѣсть „Униженные и Оскорбленные“ является разсказомъ о томъ, какъ одна хорошая,

А потомъ, когда Наташа уже совершила свой странный шагъ, нелѣпость котораго она понимала еще раньше, потомъ какъ она жила съ Алешей? Какой процессъ совершился въ душѣ ея съ первыхъ дней этой новой жизни до того дня, когда мы въ первый разъ опять видимъ ее въ разговорѣ съ Иваномъ Петровичемъ, и когда она высказываетъ рѣшеніе, что съ Алешей должна разстаться? Обо всемъ этомъ мы имѣемъ нѣсколько незначительныхъ словъ, вброшенныхъ мимоходомъ въ описаніе квартирной обстановки Наташи и ровно ничего необъясняющихъ... Какъ видно, не это интересовало автора, не тутъ было для него главное дѣло. Въ чемъ же? Разобрать трудно уже и потому, что дѣйствіе романа страннымъ и ненужнымъ образомъ двоится между исторіей Наташи и исторіей маленькой Нелли, чѣмъ рѣшительно нарушается стройность впечатлѣнія. Но какъ обѣ эти исторіи вертятся около князя Валковскаго, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляетъ именно воспроизведеніе характера этого князя. Но, всматриваясь въ изображеніе этого характера, вы найдете съ любовью обрисованное сплошное безобразіе, собраніе злодѣйскихъ и циническихъ чертъ, но вы не найдете тутъ человѣческаго лица... Того примиряющаго, разрѣшающаго начала, которое такъ могуче дѣйствуетъ въ искусствѣ, ставя передъ вами полнаго человѣка и заставляя проглядывать его человѣческую природу сквозь всѣ наплывшія мерзости,—этого начала нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ изображеніи личности князя. Оттого то вы не можете ни почувствовать сожалѣнія къ этой личности ни возненавидѣть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не

образованная дѣвушка любила дурачка. Правдоподобно ли это? Къ сожалѣнію, нужно сказать, что это вѣрно природѣ; по крайней мѣрѣ, психіатрамъ извѣстны такіе нелѣпые любовные конфликты, и часто приходится удивляться, что субъекты, достойные только сожалѣнія, бываютъ горячо любимы женщинами и дѣвушками, далеко не глупыми. Какъ объяснить себѣ это явленіе? Но тутъ нужно признать компетентность Достоевскаго, хотя, можетъ быть, его мотивировка любви Наташи къ Алешѣ и грѣшитъ нѣсколько идеализаціей".

„Достоевскій какъ психопатологъ". Москва, 1885 г., стр. 52, и „Русск. Вѣсти". 1884 г., № 5 и 6.

Примѣч. В. Зелинскаго.

противъ личности собственно, но противъ типа, противъ извѣстнаго разряда явленій. И вѣдь хоть бы неудачно, хоть бы какъ нибудь попробовалъ авторъ заглянуть въ душу своего главнаго героя... Нѣтъ ничего, ни попытки, ни намека... Какъ и что сдѣлало князя такимъ, какъ онъ есть? Что его занимаетъ и волнуетъ серьезно? Чего онъ боится и чему, наконецъ, вѣритъ? А если ничему не вѣритъ, если у него душа совсѣмъ вынута, то какимъ образомъ и при какихъ посредствахъ произошелъ этотъ любопытный процессъ? Мы вправѣ требовать отъ автора объясненій на подобныя вещи, даже не предъявляя на него особенно громадныхъ претензій. Не говоря о гигантахъ поэзіи, мы имѣемъ даже у себя произведенія, удовлетворяющія этимъ скромнымъ требованіямъ: мы знаемъ, напримѣръ, какъ Чичиковъ и Плюшкинъ дошли до своего настоящаго характера, даже знаемъ отчасти, какъ облѣнился Илья Ильичъ Обломовъ... Но г. Достоевскій этимъ требованіемъ пренебрегъ совершенно. Какъ же послѣ этого разбирать характеръ князя съ эстетической точки зрѣнія.

Да и вообще надо быть слишкомъ наивнымъ и несвѣдущимъ, чтобы серьезно и пространно, съ доказательствами, выписками и примѣрами, разбирать эстетическое значеніе романа, который даже въ изложеніи своемъ обнаруживаетъ отсутствіе претензій на художественное значеніе. Во всемъ романѣ дѣйствующія лица говорятъ какъ авторъ; они употребляютъ его любимыя слова, его обороты; у нихъ такой же складъ фразы... Исключенія чрезвычайно рѣдки. Начиная съ того, что всѣ лица называютъ другъ друга непремѣнно *голубчикомъ* (исключая, можетъ быть, князя), и оканчивая тѣмъ, что они всѣ любятъ вертѣться на одномъ и томъ же словѣ, и тянутъ фразу, какъ самъ авторъ,—во всемъ виденъ самъ сочинитель, а не лицо, которое говорило бы отъ себя... Силлогизмы Наташи поразительно вѣрны, какъ будто она имъ въ семинаріи обучалась. Психологическая проницательность ея удивительна, постройка рѣчи сдѣлала бы честь любому оратору, даже изъ древнихъ. Но согласитесь, вѣдь очень примѣтно, что Наташа

говоритъ слогомъ Достоевскаго? И слогъ этотъ усвоенъ большею частію дѣйствующихъ лицъ.

Надо еще замѣтить, что г. Достоевскій (какъ весьма многіе, впрочемъ, изъ нашихъ литераторовъ) любитъ возвращаться къ однимъ и тѣмъ же лицамъ по нѣскольку разъ и пробовать съ разныхъ сторонъ тѣ-же характеры и положенія. У него есть нѣсколько любимыхъ типовъ, напримѣръ, типъ рано развившагося, болѣзненнаго, самолюбиваго ребенка,—и вотъ онъ возвращается къ нему и въ „Неточкѣ", и въ „Маленькомъ героѣ", и теперь въ Нелли... Характеръ Нелли—тотъ же, что характеръ Кати въ „Неточкѣ", только обстановка ихъ различна. Есть типъ человѣка, отъ болѣзненнаго развитія самолюбія и подозрительности доходящаго до чрезвычайныхъ уродствъ и даже до помѣшательства, и онъ дастъ намъ г. Голядкина, музыканта Ефимова (въ „Неточкѣ"), Ѳому Ѳомича (въ „Селѣ Степанчиковѣ"). Есть типъ циника, бездушнаго человѣка, лишь съ энергіей эгоизма и чувственности,—онъ его намѣчаетъ въ Быковѣ (въ „Бѣдныхъ Людяхъ"), неудачно принимается за него въ „Хозяйкѣ, не оканчиваетъ въ Петрѣ Александровичѣ (въ „Неточкѣ"), и наконецъ теперь раскрываетъ вполнѣ въ князѣ Валковскомъ (котораго, кстати, даже и зовутъ тоже Петромъ Александровичемъ). Къ этому есть еще у г. Достоевскаго идеалъ какой-то дѣвушки, который ему никакъ не удается представить: Варенька Доброселова въ „Бѣдныхъ Людяхъ", Настенька въ „Селѣ Степанчиковѣ", Наташа въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ" —все это очень умныя и добрыя дѣвицы, очень похожія на автора по своимъ понятіямъ и по манерѣ говорить, но въ сущности очень безцвѣтныя. Авторъ умѣетъ помѣстить ихъ въ очень интересную обстановку, но это и все, что для нихъ онъ дѣлаетъ. Надо признаться, что даже Варенька Доброселова интересуетъ насъ болѣе своими несчастіями и тѣми разсказами, которые г. Достоевскій сочинилъ за нее, нежели сама по себѣ, просто какъ поэтическое созданіе.

Эта бѣдность и неопредѣленность образомъ, эта необхо-

димость повторять самого себя, это неумѣнье обработать каждый характеръ даже настолько, чтобъ хоть сообщить ему соотвѣтственный способъ внѣшняго выраженія, — все это, обнаруживая, съ одной стороны, недостатокъ разнообразія въ запасѣ наблюденій автора, съ другой стороны, прямо говоритъ противъ художественной полноты и цѣльности его созданій...

Г. Достоевскій, вѣроятно, не будетъ на меня сѣтовать, что я объявляю его романъ, такъ сказать, „ниже эстетической критики“. Я вѣдь имѣлъ въ виду вообще современную нашу литературу, и если провѣрилъ свою мысль нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями о его романѣ, такъ это потому, что онъ мнѣ попался подъ руку. А если бы взять другія изъ твореній, имѣвшихъ у насъ успѣхъ въ послѣдніе годы, такъ многія изъ нихъ оказались бы, можетъ быть, еще болѣе несостоятельными. Г. Достоевскій по крайней мѣрѣ, какъ намъ кажется, судя по нѣкоторымъ мѣстамъ его сочиненій,—не имѣетъ такихъ претензій, не придаетъ себѣ такой важности, какъ другіе. Онъ изобразилъ нѣкоторыя свои литературныя отношенія въ запискахъ Ивана Петровича: я не считаю нескромнымъ сказать это, потому что самъ авторъ явно не хотѣлъ скрываться. Онъ съ такими подробностями разсказываетъ тамъ содержаніе „Бѣдныхъ Людей“, какъ первой повѣсти Ивана Петровича,—что нѣтъ возможности ошибиться. Такъ тутъ-то онъ, между прочимъ, сознается, что писалъ многое вслѣдствіе необходимости, писалъ къ сроку, написывалъ по три съ половиною печатныхъ листа въ два дня и двѣ ночи; называетъ себя почтовою клячею въ литературѣ; смѣется надъ критикомъ, увѣрявшимъ, что отъ его сочиненій пахнетъ потомъ и что онъ ихъ слишкомъ обдѣлываетъ. *) Словомъ, г. Достоевскій смотритъ, повидимому, на свои произведенія, какъ мы всѣ, обыкновенные люди,—не какъ на несокрушимый памятникъ для потомства, а просто — какъ на журнальную работу. А уже извѣстно, что такое

*) Такой именно отзывъ былъ когда-то о г. Достоевскомъ и даже, если не ошибаюсь, въ „Современникѣ“.

журнальная работа: тутъ не до обработки, не до подробностей, не до строгости къ себѣ въ развитіи мысли... Довольно того, что хоть кое-какъ успѣешь бросить эту мысль на бумагу.

***

*) Неестественность положенія никогда не можетъ быть художественной! Во всѣхъ родахъ искусства, эпохи упадка художества отличаются всегда неестественностію, — это можно замѣтить въ живописи, въ архитектурѣ, даже въ музыкѣ, тѣмъ болѣе въ литературѣ. А неестественность положенія тутъ (въ романѣ) на каждомъ шагу.

Иванъ Петровичъ взялся, напримѣръ, проводить Наташу въ церковь. Онъ узнаетъ, что она идетъ на свиданіе; онъ ее уговариваетъ, ...варивает и Алешу, котораго они тутъ встрѣчаютъ и къ которому бѣжала Наташа; объясняетъ Наташѣ, что она тѣмъ болѣе оскорбитъ отца своего этою связью съ Алешей, что ее примутъ за нарочно придуманное средство самого Ихменева, чтобъ поставить на своемъ, выдать дочь свою за князя. Наташа понимаетъ это; она чувствуетъ всю тяжесть удара, который она наноситъ отцу своему, но она любитъ Алешу, пустого мальчишку, не стоющаго, по правдѣ сказать, этой любви. Но положимъ, она любитъ его, — бываютъ же такіе случаи! — но тутъ какъ объяснить? Наташа, вслѣдствіе всѣхъ этихъ совѣтовъ Ивана Петровича, вслѣдствіе борьбы чувствъ, любви къ отцу, чувства долга своего, и тоже сильной любви своей къ Алешѣ, наконецъ даже вслѣдствіе дружбы, и нѣчего въ родѣ тоже любви къ самому Ивану Петровичу, котораго она этимъ огорчаетъ и убиваетъ, — вслѣдствіе всего этого она падаетъ въ обморокъ; тогда Иванъ Петровичъ, любящій Наташу, сознаетъ, что она дѣлаетъ дурно, но вмѣсто того, чтобы посадить ее въ карету, самому сѣсть хоть бы на козлы и возвратить ее отцу, откуда

---

*) Графъ Кушелевъ-Безбородко. „Русское Слово“ 1861 г., № 9.

на другой день Наташа могла бы еще разъ убѣжать уже одна, если это такъ нужно для связи романа—этотъ Иванъ Петровичъ сажаетъ молодую дѣвушку вмѣстѣ съ Алешей и отпускаетъ ихъ, а самъ идетъ домой, мечтая о своемъ *униженіи и оскорбленіи!!*

Какъ хотите, это не вѣроятно, это просто невозможно. А послѣ этого поступка отецъ Наташи считаетъ еще Ивана Петровича своимъ другомъ, принимаетъ его у себя, толкуетъ съ нимъ про Наташу! Это уже слишкомъ сильно! Онъ обманулъ этого отца, который, какъ честному человѣку, благородно поручилъ ему свою дочь, чтобъ довести до церкви, а тотъ ей помогаетъ убѣжать съ любовникомъ, и отецъ проклинаетъ свою дочь, но благодаритъ и ласкаетъ Ивана Петровича. Намъ кажется, мы бы на мѣстѣ Ихменева такъ не поступили. Но опять скажутъ намъ, что это странность—болѣе ничего. Странность, отвѣтимъ мы, не художественная, во всякомъ случаѣ, притомъ странность, заслуживающая хотя бы оговорку автора, которая бы объясняла это непонятное положеніе. Правда, трудно и объяснять такія положенія. А любовь Наташи и Кати къ Алешѣ—опять невѣроятность на каждомъ шагу. Двѣ дѣвушки любятъ страстно, любятъ съ самоотверженіемъ, забывая свой долгъ, все рѣшительно, и любятъ кого-же? самаго безтолковаго молодого человѣка, еще мальчишку, какихъ только можно придумать и едва ли можно встрѣтить;—фразера до невѣроятности, болтуна, самодура, и вмѣстѣ съ тѣмъ глупаго донельзя, въ чемъ даже сознаются нѣсколько разъ обѣ дѣвушки и сознаются простодушно, и говорятъ ему это въ глаза, такъ—что самъ Алеша въ этомъ сознается и убѣжденъ. И Наташа, которая любитъ отца своего, уважаетъ его, любитъ свою мать, и эта Наташа ни разу даже не вспомнитъ о своей матери, о своемъ отцѣ, а она знаетъ, какъ они страдаютъ изъ-за нея! Да мало ли еще неестественныхъ положеній, столкновеній—всѣхъ не перечтешь! А между прочимъ,—странное дѣло!—несмотря на всѣ эти неестественныя положенія, несмотря на то, что тотчасъ же читатель видитъ

ясно, какъ все это натянуто, придумано, продолжаетъ читать этотъ романъ, и читаетъ, можетъ быть, съ увлеченіемъ:—причина тому единственная — самый способъ разсказа.

Ѳ. Достоевскій еще разъ намъ въ этомъ романѣ доказалъ свое несомнѣнное, и, можно сказать, неподражаемое искусство разсказывать; у него свой оригинальный разсказъ, свой оборотъ фразъ, совершенно своеобразный и полный художественности. Фразы его не такъ отдѣланы, не такъ копотно и тщательно выглажены, какъ у г. Гончарова; описанія его не такъ поэтичны, не такъ полны художественныхъ мелочей, подробностей, которыя воскрешаютъ цѣлый міръ, цѣлый образъ картины, какъ у Тургенева, обрисовка лицъ его не такъ рѣзко и рельефно очерчена, какъ у Писемскаго; но своеобразный слогъ г. Ѳ. Достоевскаго никакъ не уступитъ этимъ тремъ писателямъ. Его разсказъ — не описаніе, а именно разсказъ, заманчивый до-нельзя. Онъ удивительно легко читается, много высказываетъ въ формѣ, повидимому, самой простой. Слогъ его кажется простымъ, разговорнымъ слогомъ, такъ что, казалось, и самъ разсказалъ бы не иначе; въ немъ нѣтъ особо замѣчательныхъ мѣстъ; нѣтъ страницы, которую бы вы прочитали два раза, которую бы стоило помѣстить въ хрестоматію для примѣра слога, но слогъ этотъ всегда ровный, гладкій, разсказъ всегда ясно изложенный, такъ что онъ заставляетъ часто забыть всю неестественность положенія; вы его слушаете, какъ слушали, бывало, дѣтскую сказку, а потому, разсматривая только его внѣшнюю сторону, романъ этотъ можетъ быть смѣло признанъ превосходнымъ *сказочнымъ романомъ*.

Но мы должны признаться, что ожидали большаго отъ этого романа. Самое названіе, казалось намъ, обѣщало развитіе важной соціальной идеи. — Униженные и оскорбленные! Сколько ужасныхъ драмъ кроется въ этихъ двухъ словахъ, сколько и вправду есть униженныхъ, сколько оскорбленныхъ — отъ русскаго мужика, часто униженнаго и оскорбленнаго или своимъ господиномъ, или своимъ под-

рядчикомъ, десятскимъ, оскорбленнаго зачастую безъ причинъ, такъ, зря, на улицѣ, въ лавкѣ, вездѣ, гдѣ его трактуютъ ниже всякаго,—толкаютъ,—не обращаютъ даже на него вниманія, а онъ между тѣмъ глубоко иногда чувствуетъ и понимаетъ это униженіе, это оскорбленіе, въ особенности, если онъ хотя немного развитъ и образованъ. Да и мало ли можно указать въ нашемъ обществѣ примѣровъ униженія и оскорбленія, постоянно встрѣчающихся, не исключительныхъ, какъ въ романѣ г. Достоевскаго, а прямо вытекающихъ изъ нашихъ нравовъ и обычаевъ.

Не только наше общество, но всякое общество непремѣнно имѣетъ этотъ недостатокъ: вездѣ, во всякой странѣ вы можете найти многіе примѣры такого униженія, такого оскорбленія, а тутъ, въ романѣ г. Достоевскаго, собственно говоря, униженъ и оскорбленъ только развѣ Ихменевъ, потому что заподозрѣнъ въ подлогѣ и воровствѣ, оскорбленъ еще отвѣтомъ князя, насмѣшкою на его вызовъ; но если правду сказать, оно и было довольно смѣшно старику 60 лѣтъ вызывать на дуэль того, съ кѣмъ онъ тягался за то, что сынъ его похитилъ его дочь, послѣ того, въ особенности, какъ Ихменевъ самъ оставилъ свою дочь, не вытребовалъ ее.

Во всякомъ случаѣ, это оскорбленіе — не униженіе, а просто случайное оскорбленіе, которое могло случиться и нѣтъ. Остальныя же лица, если оскорбляются, то рѣшительно для собственнаго своего развлеченія. Они впрочемъ мало и оскорбляются; они такъ заняты своими нервическими припадками.

Мы рѣшительно не знаемъ, какъ оправдать заглавіе этого романа. По нашему мнѣнію, онъ вовсе не оправдываетъ его содержанія. Главный же недостатокъ этого романа заключается въ томъ, что онъ не обрисовалъ, не очертилъ, не разъяснилъ ни одного живого лица, ни одного настоящаго типа. Всѣ лица, дѣйствующія въ немъ, какъ бы стараются, въ угожденіе автору, все болѣе и болѣе запутывать узелъ завязки, чтобъ доставить г. Достоевскому возможность, случай, показать намъ свой несомнѣнный талантъ

разсказа фактовъ, происшествій; но ни одно лицо не остается въ головѣ читателя, не заставляетъ задуматься о себѣ,—развѣ первый типъ старика Смита, который умираетъ тотчасъ послѣ своей собаки Азорки, единственнаго своего друга,—но и этотъ типъ—вовсе не русскій, и уже встрѣчаемый нами не разъ въ иностранныхъ романахъ и, если правду сказать, несравненно болѣе возможный за границей, во Франціи, Англіи, Бельгіи, чѣмъ въ Россіи: — у насъ одна зима скоро отучитъ такого старика каждодневно ходить съ собакой въ какую-нибудь кондитерскую.

Князь Валковскій тоже не типъ, — онъ подлецъ, онъ мошенникъ; но это не типъ: такой князь, пожалуй, и можетъ быть—мы не споримъ, но въ немъ ничего нѣтъ того, что бы отличало его отъ обыкновеннаго французскаго, англійскаго мошенника; а между тѣмъ очень много странностей, очень много отличительныхъ свойствъ и недостатковъ можно бы подмѣтить въ этомъ обществѣ, изъ котораго г. Достоевскій беретъ своего Валковскаго. О сынѣ мы уже не говоримъ,—онъ, видимо, тутъ служитъ для завязки и развязки, и вовсе не созданъ и не задуманъ какъ типъ, какъ лицо живое. Есть, пожалуй, Маслобоевъ, ходатай по дѣламъ, пьяница и добрая душа, готовый на извѣстнаго рода подлости за деньги, и остающійся честнымъ человѣвѣкомъ по своему; это, пожалуй, еще человѣкъ живой, человѣкъ, котораго мы могли бы встрѣтить; но это совершенно второстепенная личность въ драмѣ, и если онъ обрисовался довольно ясно, то намъ кажется, что это дѣло случая, потому что на него авторъ не могъ разсчитывать. Самъ Ихменевъ не похожъ на настоящаго русскаго помѣщика,—въ немъ черта есть общечеловѣческая, въ его страданіяхъ, въ его горѣ, въ его злости противъ князя и противъ дочери своей; но опять только черта, а общая фигура не рисуется. Женскія личности очень натянуты, очень взволнованы; онѣ постоянно не выходятъ изъ исключительнаго и странно-устроеннаго положенія. Наташа, которая привлекаетъ васъ къ себѣ въ началѣ романа, наконецъ, кажется вамъ, какъ нѣмцы выражаются langveilig, — до того она

монотонна и многорѣчива въ своемъ горѣ, которое сама же создаетъ.

Катя рѣшительно невозможна, и не можетъ потому внушить къ себѣ никакого сочувствія; такихъ благовоспитанныхъ дѣвушекъ съ нѣсколькими милліонами приданаго и съ такими эксцентрическими замашками рѣшительно нѣтъ, да и слава Богу!—ничего поэтическаго въ ней нѣтъ, ничего изящнаго, ничего дѣйствительнаго.

Одна Нелли могла бы, можетъ быть, внушить къ себѣ симпатію, но ей много мѣшаютъ Наташа и Катя. Вы развлечены всѣмъ этимъ запутаннымъ ходомъ дѣла, и вся драма Нелли и матери, какъ повтореніе того, что теперь дѣлается вмѣстѣ и отцомъ и сыномъ, только утомляетъ васъ. Это повтореніе рѣшительно не художественно; притомъ Нелли, какъ кажется, нѣчто въ родѣ подражанія Миньоны Гете и французской Сандрильоны, и подражаніе крайне неудавшееся,—эти постоянные припадки утомляютъ, а не привязываютъ васъ къ ней. Она умираетъ; ее, правда, оплакиваетъ старикъ Ихменевъ, а самъ Иванъ Петровичъ, разсказчикъ, почти несмущенъ, онъ уже ожидалъ эту смерть, какъ и читатель тоже, съ самаго перваго знакомства съ Нелли.

Анна Андреевна, жена Ихменева, слабая, безцвѣтная личность, безъ воли, безъ самостоятельнаго характера, постоянно подчиненная своему мужу, боящаяся его раздражить и ни на что не рѣшающаяся. Такія женщины, конечно, бываютъ сплошь да рядомъ, да только почему въ романѣ-то она такъ безцвѣтна?—надо было бы рельефнѣе выставить эту безхарактерность; надо было-бы изучить эту женщину и передать намъ,—какъ бы это сдѣлалъ, навѣрно, г. Гончаровъ,—а тутъ она проходитъ мимо насъ, и мы почти не замѣчаемъ ее.

Изъ всего нами высказаннаго, мы можемъ заключить, что талантъ г. Достоевскаго не сомнѣненъ въ разсказѣ; онъ передаетъ намъ происшествія, дѣйствія своихъ героевъ, чрезвычайно наглядно, чрезвычайно искусно, но недостатокъ его заключается въ томъ, что онъ не овладѣваетъ вполнѣ

ни однимъ лицомъ, какъ слѣдовало бы ожидать, не анализируетъ ни одного характера, не создаетъ ни одного типа, но задумывается даже надъ личностью, надъ свойствомъ своихъ дѣйствующихъ лицъ,—онъ слишкомъ занятъ своимъ сюжетомъ, завязкою и развязкою, — а это огромный недостатокъ въ дѣлѣ художества.

Именно эта небрежность автора въ изученіи своихъ героевъ, ихъ внутреннихъ чувствъ, ихъ сокровенныхъ душевныхъ свойствъ и ведетъ его къ тѣмъ невозможнымъ, неестественнымъ положеніямъ, которыя никакъ не могли бы существовать, еслибъ авторъ потрудился анализировать самъ качества и недостатки характера своего героя.

* * *

*) Мы сколько угодно можемъ разсуждать о *забитыхъ людяхъ*, можемъ проникаться къ нимъ какой угодно филантропіей, и все-таки мы будемъ говорить о вещахъ совершенно посторонниxъ для жизни, потому что въ то самое время, какъ мы будемъ говорить о людяхъ этого романа и будемъ на нихъ ссылаться, какъ на живые аргументы нашихъ изслѣдованій, въ романѣ этомъ заключаются и всякимъ мало-мальски проницательнымъ человѣкомъ могутъ быть приведены противъ насъ десятки аргументовъ въ подтвержденіе того, что люди эти, прежде всего, психологически-невозможные, и потому никогда не бывалые люди. Въ такомъ случаѣ и самыя симпатіи наши останутся безпредметными: онѣ будутъ доказывать доброту нашего сердца, наши благородныя стремленія, нашъ просвѣщенный взглядъ на вещи,—словомъ, будутъ вполнѣ доказывать, что мы находимъ въ себѣ пропасть вещей, за которыя можемъ оставаться довольны собою, и за то себя прославляемъ; но въ дѣйствительности обѣ не будутъ относиться ни къ одному человѣческому страданію, въ качествѣ облегчающаго участія, не заставятъ ни одного здравомыслящаго человѣка серьезно

*) З—въ. „Небывалые люди". „Библіотека для чтенія" 1862 г., № 1.

подумать о практическихъ средствахъ къ уменьшенію этого рода страданія въ обществѣ, хотя бы этотъ человѣкъ имѣлъ къ тому и гуманную склонность, и матеріальныя средства, и достаточную политическую власть, на сколько въ ней могла бы оказаться потребность въ данномъ случаѣ. Главное, взяться не за что: нѣтъ никакой опоры. Слышно: кто-то о чемъ-то какъ будто стонетъ. Но кто и о чемъ?— Вотъ тутъ-то и запятая для добродѣтели!

Столько болячекъ, какъ только можетъ вмѣстить иная лечебница въ Петербургѣ, столько душевныхъ страданій, столько щекотливыхъ и тупоумныхъ отношеній, выработанныхъ жизнію и указанныхъ романомъ,— и все это должно остаться непризнаннымъ?

Должно. Щекотливыя отношенія, затронутыя романистомъ, были для него роковыми; они отчасти не посчастливились и для насъ самихъ. Судя по одному только началу романа и позволивъ себѣ догадываться, что романистъ поставитъ себя къ этимъ отношеніямъ болѣе здравымъ образомъ, мы двумя или тремя фразами, въ этомъ самомъ журналѣ, выразили такія ожиданія отъ этого романа, которыя теперь почитаемъ несбывшимися. Мы полагали, что для общественнаго смысла произойдетъ болѣе проку отъ этого романа, чѣмъ отъ знаменитой и рѣшительно никому не удавшейся полемики по поводу публичной декламаціи пермскою дамою стихотворенія Пушкина: *Чертогъ сіялъ, гремѣли хоромъ;* между фактомъ этой декламаціи и происшествіями этого романа мы видѣли нѣкоторое соотношеніе и хотѣли надѣяться, что въ то время, когда, по совершенно ничтожному поводу, но по чрезвычайно важному вопросу, говорились однѣ только вздорныя рѣчи, уже начинаетъ раздаваться, между прочимъ, и здравый голосъ. Мы ошиблись: здраваго голоса не вышло; намъ прочитанъ урокъ изъ нравственной философіи, подъ сильнымъ вліяніемъ г. Авдѣева. Романистъ, очевидно, слишкомъ большую цѣну придавалъ эфемерному успѣху своего собрата, неумѣренно-высоко цѣнилъ благосклонный пріемъ публики. Онъ въ нѣкоторой мѣрѣ, хотя и не столько, какъ г. Авдѣевъ, добился и того

и другого; но теперь очевидно, что онъ добился этого на самый короткій срокъ, и что, въ сущности, ему не было никакого расчета, ни для такого успѣха, ни для такого пріема, пренебрегать высшими интересами добра и правды.

Романъ видимымъ образомъ написанъ на предзаданную тему. Мы собственно противъ этого ничего не находимъ сказать; напротивъ, наша рѣшимость, основанная на нашемъ убѣжденіи, состоитъ именно въ томъ, чтобы требовать отъ авторовъ полнѣйшаго сознанія какъ о томъ, что они пишутъ, такъ и о томъ, для чего они это дѣлаютъ. Романъ написанъ à propos; мы и противъ этого не позволимъ себѣ ничего сказать: это такое обстоятельство, которое въ нашихъ глазахъ можетъ только придавать значеніе роману. Всѣ великія произведенія слѣдуетъ считать написанными à propos. Мы признаемъ за несомнѣнную истину, что сама „Иліада“ появилась въ свое время какъ à propos, точно такъ же, какъ Донъ-Кихотъ и Фаустъ. Но въ основаніе романа положена чисто разсудочная тема—это уже ошибка и очень большая; потомъ для успѣшнаго упражненія надъ этой темой въ природѣ нашего романиста не оказалось достаточныхъ средствъ — это также радикальное неудобство. Совокупность этихъ двухъ недостатковъ имѣла своимъ послѣдствіемъ то, что авторъ, воплощая свои положенія въ человѣческія тѣла, снабдилъ эти послѣднія такимъ психическимъ механизмомъ, дѣйствіе котораго способно приводить въ отчаяніе каждаго психолога.

Въ намѣреніи нашего романиста было—сдѣлаться адвокатомъ самостоятельности (émancipation) женщинъ, хотя въ дѣйствительности онъ исполнилъ роль совершенно противоположную... Независимо отъ главнаго развитія романической басни, авторъ проводитъ передъ нами тѣнь женщины, молящей васъ о человѣческомъ снисхожденіи и умершей подъ проклятіемъ своего отца; прощенья она вымаливаетъ у васъ въ томъ, что, вслѣдствіе невольнаго увлеченія, она не могла побѣдить въ себѣ непреодолимой наклонности — обокрасть своего отца, котораго изъ богатаго, почетнаго и семейнаго человѣка обратила въ одинокаго и нищаго, для

котораго сдѣлала возможнымъ одно только общество собаки, *Азорки,* отъ котораго бѣжала съ любовникомъ, княземъ *Валковскимъ* (злодѣемъ романа) съ тѣмъ, чтобы, въ свою очередь, быть отъ него ограбленной и брошенной вмѣстѣ съ прижитымъ отъ него ребенкомъ, *Нелли.* Этотъ интересный эпизодъ можетъ терпѣть различныя толкованія: авторъ могъ придумать его для достиженія чисто-романическихъ цѣлей, именно затѣмъ, чтобы придать болѣе мрачный колоритъ злодѣйскимъ свойствамъ князя Валковскаго, который дѣйствительно можетъ поспорить въ этомъ отношеніи съ любымъ извергомъ любой французской мелодрамы; онъ могъ быть придуманъ еще затѣмъ, чтобы показать намъ, уже съ соціальными и филантропическими цѣлями, все безобразіе и всю неестественность жестокосердія, съ которымъ униженный, обворованный и оскорбленный отецъ остается до послѣдняго издыханія къ своей не менѣе униженной, обворованной и оскорбленной дочери; всего менѣе можно предполагать, чтобы автору понадобился такой эпизодъ, какъ непосредственное доказательство способности женщинъ къ самостоятельности: въ этомъ случаѣ неумѣнье автора справиться съ своею главною мыслію и подчинить ей всѣ подробности должно искупаться тѣмъ, что было у него въ намѣреніи. Согласно съ общей тенденціей романа, какъ мы ее понимаемъ, изъ этихъ трехъ предположеній мы должны считать самымъ правдоподобнымъ второе: въ романѣ очень много мелкихъ подробностей, тяготѣющихъ именно къ тому, чтобы заклеймить жестокосердаго отца и снять клеймо съ злополучной жертвы невольнаго увлеченія. Въ противоположность этой молящей жертвѣ, героиня романа, *Наташа*, оставляетъ своего жениха, *Ваню*, правда, плохого, но все-таки добровольно ею избраннаго, любящаго и трудолюбиваго молодого человѣка, убѣгаетъ изъ дома своихъ честныхъ отца и матери, Ихменевыхъ, безконечно ее обожающихъ и готовыхъ отдать ей и самую душу свою, поступаетъ на содержаніе къ ничтожному, испорченному и полоумному мальчишкѣ, *Алешѣ*, сыну все того-же князя Валковскаго, обвиняющаго ея отца въ во-

ровствѣ и ограбляющаго его, и во всемъ этомъ поступаетъ не то, что безъ мольбы о снисхожденіи, а какъ бы власть имѣющая, посматриваетъ на своего отца свысока, разумѣетъ его какъ человѣка устарѣвшихъ мнѣній, своего прежняго жениха обращаетъ въ своего лакея, и тотъ, не будучи пошлымъ дуракомъ, служитъ ей и не видитъ въ своей роли ничего страннаго, а въ своей фигурѣ ничего жалкаго; а когда пришла очередь быть брошенной—неизбѣжность чего ей была совершенно ясна заранѣе—то она вошла въ опозоренный и именно изъ-за нея разоренный домъ своего отца, опять-таки не только не нуждаясь въ помилованіи, но и заставляя отца своего, въ жалкой, мелодраматической сценѣ пролить слезы благодарности и расплакаться слѣдующими словами:

„Она здѣсь опять у моего сердца:—о, благодарю тебя, Боже, за все, за все. и за гнѣвъ Твой и за милость Твою!.. И за солнце Твое, которое просіяло теперь, послѣ грозы, на насъ! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вмѣстѣ, и пусть, пусть теперь торжествуютъ эти гордые и надменные, унизившіе и оскорбившіе насъ! Пусть они бросятъ въ насъ камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдемъ рука въ руку, и я скажу имъ: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это *безгрѣшная* дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю, и которую благословляю во вѣки вѣковъ“!

И такъ страницы четыре.

Если бы романисты, даже и не лишенные дарованія, смотрѣли на свое призваніе болѣе серьезнымъ образомъ, чѣмъ какъ установлено смотрѣть на это непобѣдимою наклонностью людей къ рутинѣ, и если бъ они считали долгомъ своей совѣсти упражнять свое воображеніе на точномъ воспроизведеніи дѣйствительности съ несравненно большимъ упорствомъ, чѣмъ иной судья, опредѣляющій число ударовъ безъ всякаго представленія спины, на которой будутъ отгравированы рубцы отъ этихъ ударовъ,—тогда они пріобрѣли бы возможность удерживаться отъ

слишкомъ многихъ вещей, которыя теперь, по всей справедливости, должны быть постыдными. Въ настоящемъ случаѣ честный отецъ Наташи Ихменевой, при свиданіи съ нею, послѣ отрѣшенія ея отъ извѣстной намъ должности, не явился бы намъ такимъ шутомъ, говорящимъ рѣчи, достойныя угорѣлой Ніобіи. Вотъ бы гдѣ слѣдовало романисту поучиться азбукѣ человѣческаго сердца — у настоящихъ отцовъ и матерей, а не создавать ее въ потугахъ безсознательнаго творчества.

Что за несчастіе такое для всѣхъ великихъ истинъ, что онѣ, попадая въ наши газеты, и особенно въ нашу беллетристику, какъ въ настоящемъ случаѣ, становятся не только неузнаваемыми, но отчасти даже отвратительными! Заговорили въ образованномъ мірѣ о такъ — называемомъ освобожденіи женщинъ, подразумѣвая при этомъ самыя серьезныя несообразности ея положенія въ нѣкоторыхъ европейскихъ странахъ, какъ напримѣръ, ту, что пьяница мужъ, какъ въ „*Тяжелыхъ Временахъ*“ Диккенса, можетъ проматывать всѣ заработки своей жены, и она ничего не можетъ предпринять противъ этого,—или ту, что женщина за работу, нисколько нелегче, а иногда и труднѣе мужской, очень часто получаетъ меньшую плату,—или, наконецъ, ту, что при высокомъ развитіи свободы въ странѣ, женщина всю жизнь или формально состоитъ, или почти-что состоитъ подъ опекою мужчины,—вотъ по такимъ то поводамъ въ Европѣ заговорили объ освобожденіи женщины; а у насъ, почуявъ этотъ звонъ, свели все женское право на одинъ либертинажъ (libertinage), на развитіе лупанарнаго законоположенія! Да еще въ своемъ жалкомъ обскурантизмѣ свысока третируютъ людей, которые подаютъ свой вразумляющій голосъ, что гаремные уставы, въ сравненіи съ этимъ, должны почитаться кодексами идеальной чистоты и непорочности. Идеализація женщины, безъ сомнѣнія, можетъ служить сильнымъ орудіемъ къ повышенію уровня человѣческихъ понятій; но слѣдуетъ-же понимать, что она состоитъ въ совершенной противоположности тому освобожденію женщины, примѣръ котораго намъ

представляетъ вотъ уже другая *безпрѣшная* Наташа. Принципы, по которымъ такія Наташи располагаютъ своимъ поведеніемъ, вовсе не составляютъ новости, которая-бы имѣла прелесть открытія; это такіе зады, незнаніе которыхъ было бы способно приводить въ восхищеніе, если бы не приводило въ раздумье. Но въ томъ-то и дѣло, что забавная сторона этого невѣдѣнія не покрываетъ его печальной стороны, которая состоитъ въ томъ, что успѣхи здравыхъ понятій должны пробиваться въ общество сквозь двойную преграду — рутины и дикаго пропагандизма. Громадное большинство общества состоитъ изъ людей непосвященныхъ, неумѣющихъ понимать всѣхъ тонкостей и оттѣнковъ различныхъ ученій; вслѣдствіе этого непониманія, оно оказывается въ высшей степени способнымъ возводить къ одному источнику самыя несовѣстныя пропагаціи: „А, вотъ — дескать каковъ вашъ общественный-то идеалъ: общность женъ, спартанскій супъ!“ Такъ думаетъ консервативная часть большинства; а юные и прогрессивные, но тѣмъ не менѣе тупоумные фельетонисты полагаютъ, что вся соціальная мудрость именно и состоитъ въ открытіи этой штуки, постиженіе которой и должно придавать ядовитость ихъ многодумнымъ писаніямъ. А кто можетъ исчислить все безтолковое вліяніе даже и этихъ многодумныхъ писаній?

***

*) Въ характерѣ Вани слишкомъ переложено доброты и совершенно упущенъ изъ виду — не то что одинъ изъ важнѣйшихъ, а именно самый важный психическій элементъ, безъ котораго не составляется и самая душа человѣческая: этотъ элементъ — эгоизмъ, тотъ самый эгоизмъ, тотъ самый противный эгоизмъ, который не смотря на то, что онъ такой противный, исчерпывалъ въ свое время — конечно, въ слишкомъ и слишкомъ отдаленное время — всѣ

*) „Небывалые люди“. Продолженіе („Библ. дл. чтен.“ 1862 г., № 2).

интеллектуальныя способности человѣческихъ существъ былъ инстинктомъ самосохраненія, и который, при дальнѣйшемъ развитіи такъ называемыхъ царей природы, по служилъ центромъ, источникомъ и причиною всей сложности ихъ психическаго механизма. Вотъ сколь важнаго элемента не достаетъ въ характерѣ Вани, который, по этому самому, не смотря на свое человѣческое имя, въ сущности, есть зефиротъ, безъ всякаго человѣческаго характера! Надобно замѣтить—да и замѣчать нечего, и безъ того всѣмъ извѣстно—что между множествомъ опредѣленій человѣческихъ характеровъ есть одно, которое называется *безхарактерность*, и которое тѣмъ не менѣе объясняетъ и притомъ очень удовлетворительно, извѣстный разрядъ характеровъ. О Ванѣ мы говоримъ не это; мы указываемъ въ немъ на совершенное отсутствіе характера, такъ какъ эта необходимая принадлежность души въ этомъ воображаемомъ существѣ, называемомъ Ваней, вполнѣ замѣщена стилистикой.—Недостатокъ этотъ чисто-художественный, тонкій. Такъ хорошо ли вы дѣлаете (думаетъ нашъ читатель), что останавливаете мое вниманіе на этихъ тонкостяхъ? Вѣдь намѣренія автора извѣстны: хороши они—ихъ слѣдуетъ одобрять, а нѣтъ — такъ порицать. — Это правда, что они извѣстны и что нѣкоторыя изъ нихъ принадлежатъ къ числу наилучшихъ. Но произведеніе нашего романиста, какъ и всякое произведеніе ума и рукъ человѣка, есть намѣреніе, перешедшее въ дѣло. У китайскихъ генераловъ въ послѣднюю войну были намѣренія, безъ сомнѣнія, самыя патріотическія, и потому достойныя всякой похвалы; они состояли въ томъ, чтобы, въ вѣчное поученіе всѣмъ врагамъ серединной имперіи, истребить въ англо-французской арміи до послѣдняго солдата; но если ихъ китайскія превосходительства для исполненія этихъ своихъ намѣреній дѣлали только то, что въ продолженіи тринадцати дней отдавали своимъ провіантскимъ чиновникамъ приказанія — продовольствовать солдатъ, для воспламененія въ нихъ геройскаго духа, поочередно то львиными печенками, то леопардовыми сердцами, то внутренностями

другихъ столь же кровожадныхъ звѣрей, то чего они были достойны за такія энергическія мѣры къ спасенію своего отечества: похвалы или порицанія? Намѣренія китайскихъ солдатъ были тѣ-же самыя, вполнѣ достойныя истинныхъ сыновъ отечества; но если они, вмѣсто того, чтобы доконать враговъ своихъ примѣрною храбростью, хотѣли уничтожить ихъ возбужденіемъ въ нихъ страха и для этого расписали себѣ рожи, то такой обороны Пекина ни одинъ военный историкъ не назоветъ героическою. То же самое и съ намѣреніями нашего автора. Положимъ, что онъ имѣлъ намѣреніе вдохновить насъ превосходнымъ примѣромъ, показавъ намъ добрѣйшій образъ печальника о своихъ ближнихъ: намѣренію этому никто не можетъ отказать въ благородствѣ. Но если авторъ оставилъ своего печальника при однѣхъ печаляхъ; если, вмѣсто всякихъ силъ, необходимыхъ для такого почтеннаго призванія, вмѣсто высоко развитаго чувства справедливости, вмѣсто непреклоннаго и хорошо направленнаго эгоизма, не терпящаго нарушенія ни своего права, ни права ближняго, эгоизма, предполагающаго столь же глубокую любовь, какъ и глубокую ненависть, не устающаго въ борьбѣ, не робѣющаго ни передъ какими неудачами, никогда не теряющаго своей надежды—если, вмѣсто всего этого, авторъ снабдилъ своего печальника одною безцѣльною добротою и сдѣлалъ изъ него зефирота, то мы никакъ не должны обольщать себя, будто такое химерное, хотя и добренькое существо, что-нибудь способно сдѣлать въ этомъ зломъ и реальномъ мірѣ. Такимъ образомъ, доказать, что это существо есть дѣйствительно химерное—становится нашею существенною обязанностію; иначе могутъ найтись робкіе люди, которые еще болѣе перепугаются и получатъ лишнее доказательство, что хорошему человѣку въ этомъ зломъ мірѣ дѣйствительно ничего нельзя сдѣлать; пусть же они видятъ, что авторъ не доказалъ своего положенія.

Точно такъ ни одинъ психологъ, ни одинъ соціальный писатель никогда не подумаютъ сослаться на Наташу Ихменеву, какъ на вѣроятное общественное явленіе, въ

подтвержденіе какихъ-нибудь своихъ выводовъ. Романистъ не можетъ получать болѣе лестной награды, чѣмъ какую составляетъ для него подобная ссылка, и лучшіе беллетристы серьезныхъ литературъ ни о чемъ такъ не стараются, какъ говорить въ одинъ тонъ съ наукою и непосредственными наблюденіями всѣхъ мыслящихъ и проницательныхъ людей. Нашъ романистъ, повидимому, старался о томъ же, и это опять дѣлаетъ ему великую честь, и опять, однако, нехорошо, что онъ фельетонный прогрессъ принялъ за настоящій. Нехорошо это тѣмъ, что ему пришлось доказывать вещь, на которую въ жизни нѣтъ ни малѣйшаго намека, которой по этому случаю, нѣтъ никакой возможности доказать и о которой, потому же самому, можно было наговорить цѣлую бездну всевозможныхъ несообразностей. Автору хотѣлось показать примѣръ эмансипаціи именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ совокуплены всѣ мѣры противъ этого величайшаго семейнаго зла: и благопріятное рожденіе въ глуши, и незнаніе дрянныхъ французскихъ романовъ, и всѣ преимущества домашняго примѣра, и отсутствіе всякихъ курьезныхъ бесѣдъ съ людьми фельетоннаго образованія.—словомъ, всѣ условія, при которыхъ самый пылкій темпераментъ подчиняется давленію установившейся нравственности. Воспитательницы должны были бы закрыть свои пансіоны, матери семействъ должны были бы придти въ отчаяніе и считать всѣ свои попеченія о воспитаніи дочерей своихъ трудомъ самымъ неблагодарнымъ и трудомъ совершенно напраснымъ, если бы трудъ этотъ не обезпечивалъ ихъ чести и ихъ спокойствія даже на столько, чтобы устранить отъ нихъ возможность проститься въ одинъ прекрасный вечеръ съ своею дочерью, идущею къ вечернѣ, и узнать потомъ, что она, вмѣсто вечерни, прямо отправилась на особую квартирку...

Мы всѣ знаемъ, что это точно бываетъ; и если такому пассажу суждено было случиться съ Наташей, то автору, въ такомъ случаѣ, не слѣдовало бы скрывать отъ насъ, что она до пріѣзда въ Петербургъ была знакома съ военными офицерами, курила папиросы и была крѣпко убѣж-

дена въ той истинѣ, что „съ милымъ рай и въ шалашѣ", что мать ея на каждомъ шагу шпиговала ее за неудачную ловлю жениховъ, и что, наконецъ, отецъ ея тянулъ горькую. Но авторъ окружилъ ее ореоломъ порядочности и сдѣлалъ это въ величайшій ущербъ правдоподобію. Наташа сдѣлалась невозможной; для объясненія ея милаго увлеченія остается одинъ только мотивъ — пламенная любовь. Это бываетъ очень хорошо во французскихъ романахъ съ мѣстомъ дѣйствія въ испанской Андалузіи, гдѣ предразсудки цивилизованныхъ странъ не успѣли еще одержать перевѣса надъ непосредственными ощущеніями людей, близкихъ къ природѣ. Мы хоть и не можемъ гордиться своей цивилизаціей, однако на столько удалились отъ непосредственнаго состоянія, что чувство чести, требованія долга, желаніе прочнаго благосостоянія, выгоды общественнаго положенія и, наконецъ, вся благотворная сила нравственнаго развитія у насъ должны одерживать верхъ надъ мимолетными увлеченіями темперамента. Вотъ другое дѣло, если бы любовь очутилась въ гармоніи со всѣми исчисленными здѣсь благами и требованіями, или даже безъ благъ, съ одними только требованіями и, однако, встрѣтила бы препятствіе въ какой-нибудь условной тиранніи, или подверглась испытанію, тогда она и подъ нашимъ свинцовымъ небомъ могла бы явиться силою изумительной энергіи. Мы, русскіе, знаемъ Наталью Долгорукову, которая еще ждетъ своего драматурга. — Но тогда въ романѣ не совершился бы актъ эмансипаціи. — А теперь развѣ онъ совершился? Развѣ романъ не внушилъ, напротивъ, всѣмъ воспитательницамъ, всѣмъ матерямъ семейства той мысли, что онѣ должны истощать надъ зависящими отъ нихъ обожаемыми существами всю свою тираннію, не должны довѣрять ни ихъ доказанному благоразумію, ни ихъ вполнѣ установившимся правиламъ, ни ихъ способности разсуждать и говорить не хуже Цицерона или Квинтиліана (Наташа отчасти синій чулокъ: говоритъ и разсуждаетъ именно такимъ образомъ), не должны довѣрять имъ сдѣлать шагу безъ надзора, иначе пойдутъ и не воротятся, какъ На-

таша, то есть воротятся, только не въ свое время, какъ Наташа. Вѣдь въ сущности авторъ пришелъ только къ этому. Мы знаемъ автора за благородно-мыслящаго человѣка и полагаемъ, что онъ пришелъ къ этому невзначай; мы полагаемъ даже,—все на томъ же основаніи,—что его будничный, обыкновенный, не романическій образъ мыслей состоитъ въ томъ, что хоть изъ его Наташи и вышла интересная *униженная и оскорбленная*, но это только въ романѣ; а что въ дѣйствительной жизни ни одно почтенное семейство, даже воспитывающее въ себѣ самыя радикальныя начала, не можетъ такую страницу въ своей семейной хроникѣ считать ни чѣмъ другимъ, какъ роковымъ и величайшимъ злополучіемъ.

— А можетъ быть онъ и въ романѣ-то хотѣлъ установить именно такой взглядъ на эту страницу семейной хроники Ихменевыхъ?

— Можетъ быть. Только зачѣмъ же онъ это сдѣлалъ? Это и безъ того установившійся взглядъ. И зачѣмъ онъ сдѣлалъ это такъ темно, натянуто, неправдоподобно, что и разобрать нельзя, что онъ такое сдѣлалъ? Такъ-что въ концѣ всего намъ приходится сказать, что его романъ относится къ тому легкому роду, который вызываетъ на трудное соперничество съ очень извѣстными корифеями легкаго рода, столь изобилующими во французской литературѣ, и что онъ только отдѣлалъ его мѣстными петербургскими колерами, тоже въ общепринятомъ и потому отчасти рутинномъ родѣ, а именно: снялъ на все время своего романа солнышко съ нашего горизонта, почистилъ мелкой атомическаго свойства изморозью, развелъ по улицамъ жижу и, въ заключеніе, свелъ своего героя въ казенную больницу. Бѣдное солнышко! долго-ли тебя будутъ прятать отъ насъ? Бѣдные мы люди! можетъ-ли наша репутація людей, изъѣденныхъ молью, измѣниться прежде, чѣмъ это случится съ петербургскимъ климатомъ? Есть-ли надежда, чтобы она измѣнилась независимо отъ него, или его недостатки будутъ всегда считаться и нашими?

* * *

*) Недостатки этого романа, которыхъ дѣйствительно много, — неестественность постоянной любви Наташи къ этому отвратительному барченку — вертопраху — плаксѣ Алешѣ, неестественность потакательства имъ обоихъ Ивана Петровича, отсутствіе разнообразія въ языкѣ дѣйствующихъ лицъ, оказывающемся какъ бы сплошь языкомъ самого автора,—все это указано Добролюбовымъ. Я обращу вниманіе собственно на тотъ дѣтскій типъ, который выкупаетъ недостатки романа, на типъ маленькой Нелли. Она познакомилась съ горемъ, быть можетъ, даже короче, чѣмъ Неточка. Ей пришлось быть свидѣтельницей оскорбленнаго положенія своей матери, которую бросилъ мужъ и отъ которой, за бракъ съ нимъ, отказался отецъ. Испытавъ всѣ возможные виды лишеній и огорченій, она наконецъ умираетъ на рукахъ у малютки дочери, которая остается затѣмъ на попеченіи женщины, едва не доводящей ее до конечной погибели. Но какъ ни много терпѣла отъ нея Нелли, когда ее вырываютъ изъ рукъ этой вѣдьмы, дѣвочка готова вернуться къ ней, чтобы только не дать ей новаго повода попрекать свою покойную мать за даровой хлѣбъ: она хочетъ отслужить Бубновой за эти такъ называемыя *благодѣянія* ея страдалицѣ матери, — не думая о томъ, что вѣдьма, съ которою она имѣетъ дѣло, никогда не будетъ считать этого стараго долга уплаченнымъ. Любя самоотверженно людей оскорбленныхъ, благоговѣя предъ самою памятью ихъ, Неточка способна съ другой стороны такъ же сильно и глубоко ненавидѣть людей оскорбляющихъ. Еще ребенокъ, она не вѣритъ уже въ безкорыстіе людей, которыхъ не знаетъ: ей кажется, что если ей дѣлаютъ добро — она сейчасъ же должна заплатить за него, чтобы не попрекали. Вотъ чѣмъ объяс-

*) О. Миллеръ. „Публичныя Лекціи". Спб. 1871 г.

няется ея образъ дѣйствія съ Иваномъ Петровичемъ, которому она обязана спасеніемъ своимъ отъ Бубновой. За то, когда она окончательно убѣждается въ его сердечной привязанности къ ней, недовѣрчивая холодность сразу обращается у нея въ горячую и безграничную привязанность къ этому человѣку, при чемъ въ ея молодую, преждевременно развившуюся душу západaетъ даже и ревность къ другому существу, о которомъ такъ много заботится онъ,—къ Наташѣ. Но когда онъ знакомитъ ее съ исторіей этой Наташи, въ которой она узнаетъ какъ бы повтореніе исторіи своей матери, когда онъ умоляетъ Нелли перейти къ отцу Наташи съ тѣмъ, чтобы размягчить сердце озлобленнаго старика и привести его къ примиренію съ дочерью, Нелли изъявляетъ согласіе. Она забываетъ ревность, возникшую было въ ея душѣ: она подавляетъ въ себѣ и отвращеніе къ отцу Наташи, вызванное его суровостью къ дочери, она съ увлеченіемъ разсказываетъ этому страшному для нея старику (напоминающему ей непреклоннаго ея дѣда), она съ жаромъ не по лѣтамъ разсказываетъ ему исторію своей матери и доводитъ его до того, что онъ съ отверстыми объятіями принимаетъ дочь свою. Но этотъ тяжелый разсказъ окончательно надрываетъ и безъ того уже истерзанное сердце дѣвочки: она, какъ бы тая, умираетъ жертвою могучаго жара, преждевременно переполнившаго ея душу. Но, дѣлаясь жертвой своей способности любить до самоотверженія — любить память матери, а съ тѣмъ вмѣстѣ любить и *чужую*, чуть-чуть не соперницу, изъ-за поразительнаго сходства въ ея судьбѣ съ судьбой матери, Нелли сохраняетъ до конца и способность безгранично ненавидѣть: она умираетъ, не прощая князя, погубившаго ея мать. А такое совмѣщеніе могучаго чувства съ не менѣе могучею страстью въ ребенкѣ,— это уже, конечно, не забитость личности, а преждевременное развитіе ея до крайнихъ предѣловъ. Послѣ этого намъ приходится окончательно признать вѣрнымъ сужденье Бѣлинскаго, не дождавшагося ни „Неточки“ ни „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, но какъ бы заранѣе уга-

давшаго смыслъ и будущихъ произведеній Достоевскаго. Если же другой, не менѣе даровитый и гуманный критикъ, Добролюбовъ, обратилъ вниманіе только на другую сторону этихъ произведеній, совершенную *забитость* большинства дѣйствующихъ въ нихъ лицъ, то это объясняется, надо думать, тѣмъ, что такія *не поддающіяся*, какъ Нелли, преждевременно гаснутъ, или же, если и выдерживаютъ до конца (чѣмъ должна кончить Неточка, мы не знаемъ), то, при всей силѣ самоотверженія, достигаютъ все-таки слишкомъ немногаго для поддержки подобныхъ себѣ „униженныхъ и оскорбленныхъ". Добролюбовъ, въ концѣ своей прекрасной статьи, доискивается причинъ того множества этого рода людей, какое представляетъ намъ жизнь, воспроизводимая Достоевскимъ; но онъ впадаетъ при этомъ въ односторонность, доискиваясь главнымъ образомъ мѣстныхъ причинъ этого печальнаго явленія. Вопросъ, между тѣмъ, несравненно глубже: „униженные и оскорбленные", вслѣдствіе самаго своего положенія на нижнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы, составляютъ явленіе не только мѣстное, но и обще-европейское, обще-человѣческое. Глупо и безнравственно было бы, разумѣется, утѣшать себя этимъ: будь явленіе только мѣстнымъ,—противъ него бы скорѣе могли быть отысканы мѣры, ему бы скорѣе возможно было положить конецъ; явленіе же всеобщее, противъ котораго тщетно испытываетъ разныя мѣры весь образованный міръ, должно корениться такъ глубоко, что невольно подрывается вѣра въ возможность искорененія. Повсемѣстность „униженныхъ и оскорбленныхъ", существованіе ихъ въ самыхъ „благоустроенныхъ" обществахъ объясняется тѣмъ, что нѣтъ еще во всемъ образованномъ мірѣ страны, гдѣ бы была дѣйствительно ограничена власть величайшаго изъ тирановъ—капитала! Повсемѣстность такого явленія и доводила многихъ глубокихъ мыслителей до крайняго пессимизма и мизантропіи, до той мизантропіи, въ которой нерѣдко слышится гораздо болѣе любви къ человѣчеству, чѣмъ въ различныхъ идеальныхъ теоріяхъ: вѣдь онѣ такъ удобно приводятъ къ конечному благу и къ вѣрѣ въ до-

стоинство человѣка, потому что создаются въ комфортабельномъ кабинетѣ, послѣ обильнаго гастрономическаго стола!"

* * *

Вотъ еще отзывъ о Нелли съ психопатологической точки зрѣнія:

*) „Достоевскій четыре раза изображалъ эпилептиковъ: Нелли (*Униженные и Оскорбленные*), *Идіотъ*, Кириловъ (*Бѣсы*), Смердяковъ (*Братья Карамазовы*). Было бы странно, если бы Достоевскій ограничился однимъ упоминовеніемъ о припадкахъ или простымъ ихъ описаніемъ. Онъ единственный изъ художниковъ, описавшій особенности психической организаціи эпилептиковъ, субъективныя явленія предвѣстниковъ предъ припадками.

Всѣ четыре эпилептика Достоевскаго душевно больные; о томъ какъ часто эпилептическіе припадки комбинируются съ психическимъ разстройствомъ, мы имѣемъ статистическія изслѣдованія. Рейнольдъ-Руссель нашелъ, что у 62% эпилептиковъ цѣлость психическихъ отправленій оказывается нарушенною. Тотъ общеизвѣстный фактъ, что нѣкоторые эпилептики обладали геніальными способностями, отнюдь не противорѣчитъ тому, что въ психическомъ складѣ этихъ больныхъ почти всегда замѣчаются нѣкоторыя патологическія особенности.

Въ проявленіяхъ болѣзни у четырехъ эпилептиковъ Достоевскаго много разнообразія, и безъ натяжки можно сказать, что подъ эти четыре типа можно подвести всѣ модификаціи этой болѣзни.

Наиболѣе слабо выражено болѣзненное состояніе у Нелли; у ней наблюдался такъ называемый эпилептическій характеръ. Достоевскій такъ ясно очертилъ особенности этого характера, что характеристику Нелли прямо можно взять изъ любого современнаго учебника психіатріи. Нужно только прибавить, что въ то время, когда написана была эта повѣсть, въ психіатріи далеко не былъ такъ точно и полно

*) Вл. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ". Москва, 1885 г. и „Русскій Вѣстникъ" 1884 г. № 5 и 6.

опредѣленъ эпилептическій характеръ, какъ теперь, и Достоевскій до извѣстной степени опередилъ науку.

Крафтъ-Эбингъ (*Учебникъ психіатріи*, томъ II, стр. 126) такъ опредѣляетъ эпилептическій характеръ: „Сюда принадлежатъ прежде всего ненормальная раздражительность чувствъ (Нелли по ничтожному поводу выходила изъ себя), капризный, прихотливый характеръ (напримѣръ, три раза выплескивала лекарство), переходящій изъ одной крайности въ другую (потомъ плакала, просила прощенія и старалась угодить доктору и Ивану Петровичу), изъ странной экзальтаціи съ болѣзненною усиленною волею (чтобы купить новую, вмѣсто разбитой ею чашки, пошла на улицу просить милостыню, умѣла найти квартиры знакомыхъ Ивана Петровича) въ психическое угнетеніе съ угрюмостью, ипохондрическимъ и вообще мрачнымъ настроеніемъ (таково было обычное настроеніе Нелли, пока она жила въ квартирѣ Ивана Петровича), навязчивыми идеями (у Нелли ихъ не было, вообще у дѣтей онѣ бываютъ крайне рѣдко), умственною апатіей и усталостью (не смотря на все желаніе Ивана Петровича, онъ ничѣмъ не могъ ее занять; чтеніе, вначалѣ ее занявшее, она скоро бросила), колебаніемъ и душевнымъ томленіемъ при маловажныхъ случаяхъ (напримѣръ, почему она разбила чашку и что она потомъ дѣлала), боязливостью (она пугалась всѣхъ новыхъ лицъ), и въ особенности постоянно недовѣрчивый (ни Иванъ Петровичъ, ни кто другой не могъ возбудить ея довѣрія), замкнутый (она ни съ кѣмъ не дѣлилась своими мыслями), нелюдимый, постоянно своенравный и обидчивый (она безо всякаго повода убѣгала отъ Ивана Петровича, бывшаго относительно ея крайне снисходительнымъ, и искала пріюта у чужихъ людей), но терпящій никакихъ противорѣчій, неспособный приноравливаться къ даннымъ окружающимъ условіямъ, характеръ, благодаря которому больные сплошь и рядомъ являются въ роли семейныхъ тирановъ (не смотря на всю доброту Ивана Петровича, она стала ему въ тягость), мизантроповъ (Нелли ни къ кому не привязалась) и не надежныхъ друзей.“

Но это опредѣленіе Крафта-Эбинга есть результатъ совокупной наблюдательности многихъ; Достоевскій же одинъ сказалъ, не сдѣлавъ ни одного невѣрнаго штриха“.

* * *

Въ заключеніе посмотримъ, какъ Ѳ. М. Достоевскій самъ отзывается о своемъ романѣ „Униженные и Оскорбленные“. По поводу письма Аполлона Григорьева изъ Оренбурга къ Н. Страхову Достоевскій между прочимъ говоритъ:

*) „Слова Григорьева: „Слѣдовало не загонять какъ почтовую лошадь высокое дарованіе Ѳ. Достоевскаго, а холить, беречь его и удерживать отъ фельетонной дѣятельности, которая его окончательно погубитъ и литературно и физически“...—никоимъ образомъ не могутъ быть обращены въ упрекъ моему брату, любившему меня, цѣнившему меня, какъ литератора, слишкомъ высоко и пристрастно и гораздо болѣе меня радовавшемуся моимъ успѣхамъ, когда они мнѣ доставались. Этотъ благороднѣйшій человѣкъ не могъ употреблять меня въ своемъ журналѣ, какъ почтовую лошадь. Въ этомъ письмѣ Григорьева очевидно говорится о романѣ моемъ: „Униженные и Оскорбленные“, напечатанномъ тогда во „Времени“. Если я написалъ фельетонный романъ (въ чемъ сознаюсь совершенно), то виноватъ въ этомъ я и одинъ только я. Такъ я писалъ и всю мою жизнь, такъ написалъ все, что издано мною, кромѣ повѣсти „Бѣдные люди“ и нѣкоторыхъ главъ изъ „Мертваго Дома“. Очень часто случалось въ моей литературной жизни, что начало главы романа или повѣсти было уже въ типографіи и въ наборѣ, а окончаніе сидѣло еще въ моей головѣ, но *непремѣнно* должно было написаться къ завтраму. Привыкнувъ такъ работать, я поступилъ точно также и съ „Униженными и Оскорбленными“, но никѣмъ на этотъ разъ не принуждаемый, а по собственной волѣ моей. Начинавшемуся журналу, успѣхъ

*) „Эпоха“. 1864 г., № 1.

котораго мнѣ былъ дороже всего, нуженъ былъ романъ, и я предложилъ романъ въ четырехъ частяхъ. *Я самъ* увѣрилъ брата, что весь планъ у меня давно сдѣланъ (чего не было), что писать мнѣ будетъ легко, что первая часть уже написана и т. д. Здѣсь я дѣйствовалъ не изъ-за денегъ. Совершенно сознаюсь, что въ моемъ романѣ выставлено много куколъ, а не людей, что въ немъ ходячія книжки, а не лица, принявшія художественную форму (на что требовалось дѣйствительно время и *выноска* идей въ умѣ и въ душѣ). Въ то время какъ я писалъ, я разумѣется, въ жару работы, этого не сознавалъ, а только развѣ предчувствовалъ. Но вотъ что я зналъ навѣрно, начиная тогда писать: 1) что хоть романъ и не удастся, но въ немъ будетъ поэзія, 2) что будетъ два—три мѣста горячихъ и сильныхъ, 3) что два наиболѣе серьезныхъ характера будутъ изображены совершенно вѣрно и *даже* художественно. Этой увѣренности было съ меня довольно. Вышло произведеніе дикое, но въ немъ есть съ полсотни страницъ, которыми я горжусь. Произведеніе это обратило, впрочемъ, на себя нѣкоторое вниманіе публики. Конечно, я самъ виноватъ въ томъ, что всю жизнь такъ работалъ и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но...

Да проститъ мнѣ читатель эту рацею о себѣ и о „*высокомъ дарованіи*“ моемъ, хотя бы въ томъ уваженіи, что я первый разъ въ жизни заговорилъ теперь самъ о своихъ сочиненіяхъ. Но повторяю, въ фельетонствѣ моемъ я самъ былъ виноватъ и никогда, никогда благородный и великодушный братъ мой не мучилъ меня работой... Добрый Аполлонъ Александровичъ, съ которымъ я сошелся гораздо ближе впослѣдствіи, всегда слѣдилъ за моей работой съ горячимъ участіемъ, и это объясняетъ его слова. Онъ только не зналъ на этотъ разъ въ чемъ дѣло.“ *)

---

*) Еще можно указать на критич. статьи: Евг. Туръ („Русск. Рѣчь“ 1861 г., № 89); А. Пятковскаго („Сѣверн. Пчела“ 1861 г., № 176) и статью въ „Сынѣ Отечества“ за 1861 г., № 37.

„ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА“.

(1861 г.) *).

**) Кому не случалось видѣть на большой дорогѣ или даже на городскихъ улицахъ толпы людей, въ сѣрыхъ курткахъ и шинеляхъ, съ бритыми головами, которые въ сопровожденіи конвойныхъ солдатъ и повозокъ бредутъ, тяжело передвигая скованныя ноги? Кто не знаетъ, что эти сѣрыя толпы постоянно направляются къ востоку и почти никогда не возвращаются въ обратномъ направленіи? Кто не слыхалъ, что эти преступники или, какъ говоритъ нашъ народъ, несчастные, наказанные закономъ, которые, простясь съ родиной, могилами отцовъ и колыбелями дѣтей, идутъ въ Сибирь, гдѣ однихъ ждетъ новая трудовая жизнь, а другихъ каторжная работа, болѣе или менѣе продолжительная! Все это намъ хорошо извѣстно.

Но многіе-ли знаютъ отчетливо, что это за преступники или несчастные, какія совершили они преступленія и при какихъ обстоятельствахъ, что такое эта каторга и какая въ ней ожидаетъ ихъ жизнь? Вѣроятно, при этой мысли мы отвѣтимъ, что каторжные не что иное, какъ убійцы и разбойники, осужденные на дальнее поселеніе или на работы въ сибирскихъ рудникахъ. Вотъ все, что извѣстно объ этомъ большинству нашей публики. Да откуда же намъ и узнать это подробнѣе и яснѣе? Толпы каторжныхъ, постоянно двигаясь на востокъ, остаются за Ураломъ, и

*) Первоначально напечат. въ журналѣ „Время“ 1861 г., кн. 4, 9—11; 1862 г., кн. 1—3, 5 и 12.

**) А. Милюковъ. „Свѣточъ“ 1861 г., № 5 и отдѣльн. изд. „Отголоски на литературныя и общественныя явленія“. А. Милюковъ.

рѣдко кто возвращается изъ-за этой каменной стѣны. Свободные люди, уѣзжающіе въ Сибирь на службу или по промысламъ, если и встрѣчаютъ поселенцевъ, освобожденныхъ изъ каторги, то узнаютъ отъ нихъ очень немногое, потому-что эти люди неохотно говорятъ о своихъ минувшихъ несчастіяхъ или не знаютъ, что именно сказать и на что указать.

Еще жизнь уволенныхъ отъ работъ поселенцевъ доступна для посторонняго наблюдателя, и мы встрѣчали въ нашей литературѣ очерки этого быта, нерѣдко довольно вѣрные и полные. Но самая каторга, ея жизнь и нравы, составъ ея страшнаго общества—оставались для насъ рѣшительно недоступною terra incognita. До сихъ поръ у насъ не было Данта, который самъ спустился бы въ эти вертепы преступленія и страданій, приглядѣлся къ страшнымъ сценамъ этого чистилища и ада, изучилъ нравы и бытъ этихъ непогребенныхъ мертвецовъ и передалъ намъ это въ полной и живописной картинѣ. Первымъ сочиненіемъ по этому предмету даритъ нашу литературу Ѳ. М. Достоевскій въ своихъ „Запискахъ изъ Мертваго Дома". Съ первыхъ страницъ его книги вы входите въ міръ совершенно новый и неизвѣстный, слѣдите за разсказчикомъ съ напряженнымъ любопытствомъ и участіемъ. Это одно изъ такихъ сочиненій, которыя приковываютъ ваше вниманіе поразительной свѣжестью впечатлѣнія, точно книга какого-нибудь Ливингстона, сообщающаго открытія въ незнакомомъ и любопытномъ мірѣ, съ тою разницею, что англійскій путешественникъ разсказываетъ о странахъ, хотя до сихъ поръ таинственныхъ, но все-же не совсѣмъ недоступныхъ, между тѣмъ какъ авторъ „Мертваго Дома" знакомитъ насъ съ другимъ, можно сказать загробнымъ свѣтомъ, въ который не ступала нога писателя или изъ котораго она еще не выходила.

Картина Мертваго Дома, или каторжнаго острога, въ который вводитъ насъ Достоевскій, поразительна своей новостью и страшной правдою.

Съ самыхъ далекихъ временъ народная фантазія или

воображенію поэтовъ представляли намъ адъ, какъ мѣсто вѣчной казни, на которую обрекаетъ небесное правосудіе за преступленія и злодѣйства. Вспомните тартаръ древнихъ грековъ, окруженный пламеннымъ Флегстономъ, гдѣ Танталъ изнываетъ въ неутолимой жаждѣ, Сизифъ вѣчно катитъ на гору свой камень и Данаиды осуждены на страшно безплодный трудъ наливать бездонную бочку. Вспомните адъ Данта, съ его безконечными изгибами, гдѣ преступники закованы въ никогда не тающіе льды, захлебываются въ удушливо-смрадномъ болотѣ и гдѣ Уголино вѣчно вгрызается окровавленными зубами въ черепъ Руджіеро. Вспомните наконецъ хаотическій адъ Байрона, на блуждающей кометѣ, полный мукъ въ одномъ существованіи безъ свѣта и жизни, безъ страстей и даже страданій, въ одной призрачной и томительной безличности. Передъ этими страшными картинами вы останавливаетесь съ трепетомъ и жалостью, съ негодованіемъ на порокъ и укоризною на жестокость суда.

Такія-же чувства пробудили въ насъ и „Записки изъ Мертваго Дома“. По мѣрѣ чтенія, намъ казалось, что Достоевскій, точно Виргилій, ведетъ насъ въ какой-то страшный міръ страданій, въ какой-то новый адъ, только не фантастическій, а дѣйствительный, и показываетъ намъ такія-же преступленія и страданія, но тѣмъ болѣе ужасныя, что это не вымыселъ поэта, а голая правда.

Какъ при входѣ Дантова ада вы встрѣчаете страшную надпись: lasciate ogni speranza, voi ch'entrate, такъ и здѣсь съ первымъ шагомъ въ каторжный острогъ авторъ говоритъ вамъ: „надобно полагать, что нѣтъ такого преступленія, которое-бы не имѣло здѣсь своего представителя“. И посмотрите, какая мрачная картина открывается вамъ за острожнымъ частоколомъ, среди этого отверженнаго общества. Какъ въ изворотахъ Дантова Ада, въ Мертвомъ домѣ три отдѣла: первый слой составляютъ каторжные военнаго разряда, не лишенные правъ состоянія и присланные на короткіе сроки въ чистилище, изъ котораго они выходятъ въ сибирскіе батальоны; ко второму принадле-

жатъ ссыльно-каторжные разряда гражданскаго, присылаемые на сроки отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, послѣ чего они обращаются въ поселенцы по волостямъ, гдѣ иныхъ ждетъ можетъ-быть и спокойная жизнь. Наконецъ въ послѣднемъ слоѣ этого ада есть особое отдѣленіе, называемое „всегдашнимъ", куда поступаютъ преступники, обреченные на безсрочныя работы и называющіе себя *вѣчными*. Всѣ живутъ въ общихъ казармахъ—и разбойники по натурѣ, и убійцы по ремеслу, и преступники невзначай, и злодѣи изъ фанатизма, и несчастные, которыхъ натолкнулъ на преступленіе случай, и страдальцы, виновные только въ несходствѣ своего образа мыслей съ убѣжденіями общественной силы и власти. Все это лица мрачныя, почти всегда молчаливыя, въ отверженномъ костюмѣ: у однихъ половина куртки темнобурая, а половина сѣрая, у другихъ вся куртка сѣрая, а рукава темнобурые. Днемъ шумъ, гамъ, хохотъ, ругательства, звукъ цѣпей, чадъ и копоть, бритыя головы, клейменныя лица, лоскутныя платья; ночью сонный говоръ и бредъ, въ которомъ слышатся воровскія слова, ножи, топоры. Отвращеніе и ненависть къ работѣ, воровство, шпіонство и доносы, безпрестанныя наказанія, контрабандная торговля виномъ, ростовщичество—„вотъ узы страшнаго семейства". И какая жизнь: постель на трехъ доскахъ грязныхъ наръ, щи съ огромнымъ количествомъ таракановъ, по ночамъ азартныя игры, иногда пьяный арестантъ, въ одинъ праздникъ пропивающій деньги, накопленныя въ цѣлые мѣсяцы, и въ этой толпѣ изъ двухъ сотъ-пятидесяти человѣкъ пришлецы со всѣхъ концовъ Россіи: раскольники, поляки, черкесы, татары,—въ буквальномъ смыслѣ самая разнородная смѣсь

Племенъ, нарѣчій, состояній!

Не правда-ли, что эта картина ничѣмъ не уступаетъ страшной картинѣ ада, созданнаго Дантомъ? Не кажется-ли она даже вымысломъ мрачной фантазіи, порожденіемъ ужаснаго настроенія духа, въ которомъ поэтъ хотѣлъ нарисовать намъ самыя страшныя картины нечеловѣческо-уродли-

вой жизни? И не становится-ли еще ужаснѣе эта картина, когда мы знаемъ, что она не въ глубинѣ преисподней, а на поверхности земли, въ нашемъ божьемъ мірѣ, освѣщенномъ солнцемъ, наполненномъ благоуханіемъ цвѣтовъ; что это не безтѣлесныя тѣни отжившихъ, а живые люди съ плотью и кровью, которые хоть и умерли нравственно, но еще живутъ тѣломъ, головою и даже сердцемъ? Не поучительно-ли заглянуть въ печальный міръ этихъ людей, оторванныхъ отъ общества преступленіемъ, совершеннымъ подъ различными психическими условіями, при различіи темперамента, воспитанія, жизненной обстановки, нравственныхъ началъ или противорѣчія съ общественными законами? Не любопытно-ли всмотрѣться въ это общество, сведенное и поддерживаемое въ принужденной работѣ, составленное изъ существъ съ исключительными страстями и надеждами? И Достоевскій представляетъ намъ рядъ портретовъ. чрезвычайно разнообразныхъ и типичныхъ.

Вотъ страшный разбойникъ Газинъ, который не разъ бѣгалъ, перемѣнялъ имя и попалъ въ „особое отдѣленіе“. Про него разсказывали, что онъ заведетъ ребенка, напугаетъ, измучаетъ его, и, насладившись вполнѣ трепетомъ маленькой жертвы, зарѣжетъ ее медленно. Вотъ злодѣй Орловъ, уличенный во многихъ убійствахъ. Пройдя сквозь строй половину назначеннаго числа палокъ, онъ возвращается съ опухлой спиною кроваво-синяго цвѣта и торопится выписаться изъ лазарета, чтобы совсѣмъ покончить съ наказаніемъ. „Выхожу остальное число ударовъ, говоритъ онъ товарищамъ, и тотчасъ-же отправятъ въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги бѣгу, непремѣнно бѣгу, только бы спина зажила!“ Вотъ шестидесятилѣтній благодушный старичекъ изъ старообрядцевъ-вѣтковцевъ, сосланный за поджогъ построенной правительствомъ единовѣрческой церкви. А вотъ Сироткинъ, кроткій юноша, который до того не взлюбилъ солдатской жизни, что рѣшился посредствомъ убійства выйти изъ нея въ безсрочно каторжную работу. А наивный Акимъ Акимовичъ, который, будучи офицеромъ на Кавказѣ, зазвалъ къ себѣ мятежнаго князька, разстрѣ-

ялъ его по собственному усмотрѣнію и обстоятельно донесъ о своемъ распоряженіи начальству. А трое братьевъ дагестанцевъ, сосланные за разбой на большой дорогѣ—и особенно Алей, возбуждающій состраданіе, какъ грустная тѣнь Франчески посреди Дантова Ада.

Безъ сомнѣнія, все это преступники, болѣе или менѣе уклонившіеся отъ настоящаго общественнаго порядка, и никакіе современные законы не оставили бы ихъ безъ наказанія. Но здѣсь невольно являются вамъ вопросы, хотя можетъ быть и не новые, но однакожъ и далеко не рѣшенные.

При первомъ взглядѣ на страшную картину острога, вамъ приходитъ мысль: какъ можетъ сжиться съ такимъ мѣстомъ человѣкъ, брошенный сюда изъ быта достаточной жизни, не за злодѣйство противоестественное, но по тѣмъ обстоятельствамъ, вслѣдствіе которыхъ русскій народъ такъ гуманно даетъ ссыльнымъ знаменательное названіе несчастныхъ? Авторъ рѣшаетъ этотъ вопросъ живучестью человѣка, говоря, что это—существо ко всему привыкающее. И читая Записки г. Достоевскаго, дѣйствительно готовъ согласиться съ этимъ остроумнымъ опредѣленіемъ. Далѣе вы спрашиваете: неужели въ этомъ земномъ аду все должно быть подведено въ одну мѣрку, и законъ равно неумолимо долженъ карать безчеловѣчнаго Газина и наивнаго Акима Акимыча, ужаснаго разбойника Орлова и несчастнаго Алея? Если правосудіе представляютъ намъ слѣпымъ, то неужели оно должно оставаться и глухимъ къ голосу человѣческаго сердца, къ вопіющимъ правамъ справедливости! Въ каторжномъ быту, по степени преступленій, есть и градаціи въ наказаніяхъ, но всѣ онѣ основаны не на различіи работъ или помѣщенія, а только на одномъ неравенствѣ срока каторжной ссылки. Не ужаснѣе ли это Дантова Ада? Тамъ Франческа Римини не брошена въ одну ледяную пропасть съ свирѣпымъ Руджіеро, тамъ поэтъ Горацій и гражданинъ Катонъ не скованы вмѣстѣ съ отцеубійцами; а здѣсь страшный злодѣй Газинъ спитъ на однѣхъ нарахъ съ наивнымъ лезгиномъ Нуррою, винова-

тымъ въ однихъ дерзкихъ наѣздахъ, и кроткимъ простодушнымъ Алеемъ, котораго все преступленіе въ томъ, что онъ по восточной патріархальности слѣпо повиновался старшимъ братьямъ! И сколько здѣсь, на ряду съ разбойниками по ремеслу, людей преступныхъ по легкомыслію, даже по образу мыслей, нетерпимыхъ можетъ быть въ одно время и вовсе не преступныхъ въ другую, болѣе свѣтлую эпоху. Къ счастію, благодаря успѣхамъ нашего времени, теперь, по словамъ автора, все это значительно смягчилось, и нѣтъ сомнѣнія, что впослѣдствіи измѣнится еще болѣе...

Давно не встрѣчали мы въ нашей литературѣ сочиненія, которое дѣйствовало бы на читателя такъ увлекательно, какъ записки изъ „Мертваго Дома“. Неистощимый интересъ этого разсказа то поражаетъ васъ ужасомъ, то вызываетъ слезы участія и жалости, то заставляетъ задуматься надъ темной задачей человѣческаго сердца. Это совершенно новый міръ, до сихъ поръ знакомый вамъ только по наслышкѣ, который наводитъ васъ на множество мыслей и вопросовъ психическихъ и соціальныхъ.

Но можетъ быть скажутъ, что достоинство сочиненія Достоевскаго зависитъ именно отъ новости предмета, до сихъ поръ никѣмъ нетронутаго, и слѣдовательно успѣхъ книги обезпечивается даже при отсутствіи искусства и значительнаго таланта. Стоитъ однако прочесть нѣсколько страницъ изъ „Мертваго Дома“, чтобы понять несправедливость подобнаго предположенія. Предметъ, конечно, самъ по себѣ чрезвычайно новъ, интересенъ и съ первыхъ строкъ подкупаетъ вниманіе читателя; но мы того мнѣнія, что Достоевскій обнаружилъ здѣсь талантъ, гораздо больше, чѣмъ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ, не исключая и „Бѣдныхъ Людей“. Въ картинахъ „Мертваго Дома“ мы видимъ истиннаго художника.

Конечно, все содержаніе этого сочиненія взято изъ дѣйствительной жизни, безъ всякаго изобрѣтенія. Но кто же теперь не знаетъ, что творчество состоитъ не въ придумываніи замысловатыхъ сюжетовъ и эффектныхъ сценъ, а

въ искусствѣ изъ началъ, представляемыхъ жизнью, создать ясную картину, во множествѣ видѣнныхъ нами лицъ угадать полные типы и изъ дѣйствительности перенести ихъ въ область прекраснаго. Это сдѣлалъ Гоголь въ „Мертвыхъ Душахъ", это сдѣлалъ Крестовскій въ своемъ романѣ „Въ ожиданіи Лучшаго". Такое же художественное значеніе видимъ мы и въ сочиненіи Достоевскаго. Его „Мертвый Домъ" не дагеротипный снимокъ каторжнаго острога, а художественная картина, которая съ достоинствомъ фотографіи соединяетъ все обаяніе красокъ, даетъ не одинъ какой-нибудь моментъ выраженія человѣческаго лица, а всю игру его физіономіи, что умѣетъ всецѣло выразить одинъ истинный художникъ. Когда вы прочтете сочиненіе, у васъ останется картина полная и неизгладимая: какъ не забудете вы русской провинціи въ помѣщикахъ „Мертвыхъ Душъ", или гостиной княгини Десятовой, которая, въ ожиданіи лучшаго, служитъ представительницей нашихъ салоновъ, такъ точно никогда не забудете ужасной и печальной жизни, съ которою познакомилъ насъ Достоевскій въ своемъ „Мертвомъ Домѣ".

Читатели знаютъ, что это за жизнь. Но посмотрите, какъ взглянулъ на нее авторъ. Онъ умѣлъ освѣтить ее такимъ высоко-гуманнымъ свѣтомъ, согрѣть такимъ теплымъ чувствомъ, какіе можно встрѣтить только въ сочиненіи, глубоко и долго зрѣвшемъ въ душѣ, полной любви и сочувствія къ людямъ. Въ каждомъ преступникѣ онъ ищетъ человѣка, и каждый его портретъ есть теплый, задушевный вопросъ, поставленный передъ обществомъ во имя правды или человѣколюбія. И какое высокое умѣнье въ немногихъ чертахъ рисовать характеры такъ, что вы видите ихъ во всей полнотѣ: Достоевскій едва набрасываетъ свои лица, но вы, кажется, читаете всю прошлую жизнь ихъ, даже угадываете ихъ будущую судьбу. Это немного удивило насъ. У автора „Бѣдныхъ Людей" мы находили прежде любовь къ деталямъ, къ анализу сердца и характера въ чертахъ мелкихъ и тонкихъ; здѣсь мы видимъ совершенно иной пріемъ — умѣнье въ немногихъ,

но крупныхъ чертахъ представлять полный и оконченный образъ. И по нашему мнѣнію, это больше удается Достоевскому. Мы знаемъ его Макара Алексѣевича такъ, какъ будто бы передъ нами было разсѣчено его сердце и всякое біеніе его повторилось нѣсколько разъ, но процессъ этого анатомическаго анализа утомляетъ; здѣсь безъ всякаго напряженія вы узнаете человѣка во всей полнотѣ его натуры. Немногими взмахами карандаша Достоевскій рисуетъ намъ Орлова, Газина, Акима Акимыча, Стародубскаго старичка, а мы знаемъ ихъ такъ, какъ будто сами прожили съ ними цѣлые годы.

Съ перваго взгляда чтеніе записокъ изъ „Мертваго Дома“ можетъ поразить нѣкоторой безпорядочностью изложенія: авторъ нерѣдко начинаетъ какой-нибудь очеркъ ex-abrupto, дѣлаетъ рѣзкіе переходы отъ одного предмета къ другому и снова возвращается къ первому, многое не оканчиваетъ, иное повторяетъ, чтобы прибавить нѣкоторыя черты къ набросанной прежде картинѣ или образу, очень часто говоритъ: „объ этомъ скажу послѣ, это разскажу впослѣдствіи“. Въ другомъ сочиненіи это могло бы показаться недостаткомъ; въ „Мертвомъ Домѣ“ такіе пріемы не только не вредятъ сочиненію, но вполнѣ гармонируютъ съ его содержаніемъ: поддерживая васъ постоянно въ какомъ-то раздраженномъ состояніи, эта манера только усиливаетъ впечатлѣніе, произведенное хаотической картиной острога. Здѣсь обыкновенная стройность противорѣчила бы всей обстановкѣ каторжной жизни.

Скажемъ въ заключеніе, что „Записки изъ Мертваго Дома“, по нашему крайнему разумѣнію, ожидаетъ огромный успѣхъ, — не въ большинствѣ журнальной критики, умѣющей только отрыгать жвачку того, что поднесено ей наканунѣ, а не сегодня, но между нашей публикой, въ которой еще Бѣлинскій подмѣтилъ инстинктъ угадывать свѣжее и здоровое въ литературѣ, не по указанію присяжныхъ аристарховъ, а по собственному живому чутью. Явленія, подобныя „Мертвому Дому“ Достоевскаго — не минутныя эфемериды, порожденныя какимъ-нибудь мгно-

венныыъ интересомъ или увлеченіемъ, а сочиненія, которыя живутъ и не умираютъ въ литературѣ, какъ памятники своего вѣка и общества. „Записки изъ Мертваго Дома" безъ сомнѣнія переживутъ и самые мертвые дома, которые должны перестроиться до основанія съ успѣхами просвѣщенія и обобщеніемъ идей о человѣческомъ достоинствѣ.

* * *

*) „Записки изъ Мертваго Дома" принадлежатъ къ числу тѣхъ безхитростныхъ книгъ, которыя, не предъявляя никакихъ особенныхъ претензій, касаются, однако предметовъ, въ высшей степени способныхъ занимать человѣческое вниманіе. Если новизна предмета, толковое обращеніе съ нимъ могутъ придавать интересъ книгѣ, то „Записки изъ Мертваго Дома", безспорно, интересная книга. Судьба тѣхъ несчастныхъ, тѣхъ клейменыхъ отверженниковъ общества, о которыхъ идетъ рѣчь въ этой книгѣ, давно уже въ наиболѣе развитыхъ человѣческихъ обществахъ обращаетъ на себя самое всестороннее вниманіе и не только вызвала очень много гуманныхъ и возвышенныхъ чувствъ и помысловъ, дѣлающихъ честь человѣчеству, но и подверглась улучшеніямъ, вполнѣ сообразнымъ съ духомъ вѣка, въ которомъ мы живемъ. У насъ судьбою этихъ несчастныхъ пишущіе люди занимались до сихъ поръ,—и чрезвычайно мало и только съ самаго недавняго времени,—лишь съ одной чисто внѣшней стороны: все, что мы имѣемъ, это нѣсколько высказанныхъ указаній на то, что эти несчастные подвергаются нѣкоторымъ совершенно излишнимъ и ни для чего ненужнымъ страданіямъ въ ихъ временныхъ тюрьмахъ, въ продолженіе ихъ безконечной подсудности и, особенно, въ продолженіе не менѣе безконечнаго пѣшеходнаго слѣдованія ихъ къ мѣсту ссылки, страданіямъ, отъ которыхъ было бы справедливо и очень возможно ихъ избавить. Глубже

*) (З—нъ). „Библіотека для чтенія" 1862 г., № 9.

этого мы еще не успѣли проникнуть въ предметъ. Не мудрено. Такой предметъ, какъ клейменые каторжники, по необходимости, долженъ стоять во всякомъ человѣческомъ обществѣ на самой далекой очереди, такъ какъ онъ требуетъ отъ людей слишкомъ большого развитія ума и сердца, чтобы сдѣлаться тревожнымъ для ихъ совѣсти. Поэтому, въ нашемъ равнодушіи къ предмету такого великаго интереса, мы не видимъ благопріятнаго случая къ тому, чтобы обратиться съ укорами къ нашему обществу и къ нашей литературѣ. Если бы быть просвѣщенными и гуманными или оставаться невѣжественными и варварскими— зависило отъ выбора народовъ, тогда, конечно, тутъ было бы мѣсто самымъ энергическимъ укоризнамъ. Но количество просвѣщенія и гуманности, которымъ обладаетъ извѣстный народъ, опредѣляется его историческою судьбою, измѣряется продолжительностію его цивилизаціи и всего менѣе зависитъ отъ его произвола. Чтобы ни разсказывалось о патріархальныхъ достоинствахъ нашихъ предковъ и о ихъ любовномъ житіи, но мы со всею точностію можемъ опредѣлить то не очень еще давнее время, когда эти патріархальные люди отличались такимъ жестокосердіемъ, что оставались совершенно хладнокровными при видѣ того, какъ ихъ ближнему за самый сущій вздоръ, даже за одно подозрѣніе въ какомъ-нибудь вздорѣ, отрѣзывали языкъ, давали проглотить растопленнаго металла, или прицѣпляли его желѣзными крючьями за ребра, ставили голыми ногами на раскаленныя жаровни и т. п. Такія жестокости на нашъ взглядъ представляются злодѣйствомъ, превышающимъ всякое другое злодѣйство, за какое только человѣкъ можетъ попасться въ руки правосудія, и мы въ сравненіи съ нашими недавними предками можемъ считать себя гуманнѣйшими изъ людей. Если мы, въ свою очередь, за нѣкоторыя черты нашихъ нравовъ представляемся еще полуварварами для теперешнихъ передовыхъ народовъ, то это значитъ только, что эти передовые народы отдѣляются отъ своихъ варварскихъ предковъ болѣе длиннымъ рядомъ поколѣній, чѣмъ мы отъ своихъ. Въ этомъ сопоставленіи

насъ съ передовыми народами для насъ нѣтъ ничего пріятнаго, но мы все-таки указываемъ на него не для укоризны, а скорѣе для нашего оправданія. Оно, съ тѣмъ вмѣстѣ, выясняетъ для насъ фактъ, предъ которымъ мы должны смириться, сознавши настоящую степень своихъ успѣховъ въ нашемъ человѣческомъ развитіи. Общество часто слышитъ голоса,—особенно съ недавняго времени,—успокоительные для его statu quo и возвышаемые съ безпощадною бранью противъ достойныхъ людей, которые не умѣютъ видѣть его недостатковъ въ розовомъ свѣтѣ. Оно должно знать, что это голоса—сирены, пропитанные квинтъэссенціей мака, мандрагоры и опіума. Ихъ такъ же опасно слушать какъ, напримѣръ, напиваться пьянымъ для забвенія горя. Къ счастію, намъ, во всякую данную минуту, очень легко сдѣлать повѣрку надъ собою—посредствомъ сличенія; если бы общества, имѣющія высшій уровень развитія и потому лучше устроенныя, существовали только въ теоріи, тогда относительно собственныхъ нашихъ совершенствъ или недостатковъ были бы возможны самыя жаркія контраверсіи; но такія общества существуютъ на самомъ дѣлѣ, и потому всѣ наши обольщенія собственными достоинствами могутъ быть разсѣяны самыми положительными аргументами.

Обращаясь къ нашему предмету, то есть—къ судьбѣ клейменыхъ каторжниковъ, мы должны признаться, что насъ не начинали тревожить, даже и смутнымъ образомъ, такіе вопросы:—что такое преступленіе: умышленная вражда противъ общества, т. е. злодѣйство ли чисто-на-чисто, или отчасти личное несчастіе преступника?—Что такое преступникъ: преднамѣренный злоумышленникъ противъ общества, или отчасти жертва извѣстныхъ соціальныхъ условій?—Изъ какого принципа должно проистекать наказаніе: изъ того ли, что оскорбленному обществу нужна безпощадная месть, которая должна преслѣдовать преступника и за предѣлами его политической смерти, или изъ того, что обществу нужна только безопасность, которая вполнѣ гарантируется отверженіемъ преступника отъ об-

щества и уже не нуждается въ дальнѣйшемъ преслѣдованіи его?

Книга нашего автора не поднимаетъ этихъ вопросовъ прямо; какъ произведеніе чисто беллетристическое, она не имѣетъ ничего общаго съ правильной теоретической аргументаціей. Тѣмъ не менѣе она вращается именно около этихъ вопросовъ и подвергаетъ вашъ умъ и ваше сердце къ рѣшенію ихъ въ гуманномъ духѣ. Авторъ избралъ благую часть: онъ не доказываетъ, а разсказываетъ, и на томъ держится, главнымъ образомъ, интересъ его книги. И точно всякій разъ, какъ только авторъ пытается сдѣлать выводъ изъ своихъ же собственныхъ наблюденій, онъ тотчасъ вызываетъ на споръ; теоретическія соображенія его вообще слабы и отзываются тѣмъ болѣзненнымъ расплывающимся гуманизмомъ, изъ котораго никакая правительственная мудрость не въ состояніи извлечь ничего примѣнительнаго къ практикѣ. Но авторъ рѣдко пускается въ такія соображенія. Онъ, большею частію, остается только разсказчикомъ и наблюдателемъ. Онъ знакомитъ васъ съ потрясающими подробностями жизни, которой вы не знали по слухамъ,—потому что изъ „Мертваго Дома“ не выходитъ и слуховъ; онъ даетъ вамъ проникать въ самыя мрачныя глубины человѣческой совѣсти и, на первый взглядъ, не имѣетъ другого побужденія, кромѣ внутренняго интереса, заключающагося въ томъ, о чемъ онъ разсказываетъ...

Десять лѣтъ постоянныхъ впечатлѣній, чувствъ и мыслей, испытанныхъ въ этомъ жилищѣ заживо погребенныхъ людей, десять лѣтъ наблюденія надъ этими отверженниками общества во время ихъ работъ, отдыховъ, развлеченій, при взаимныхъ столкновеніяхъ ихъ между собою, въ состояніи сна и безсонницъ, въ больницахъ, при упадкѣ всѣхъ силъ и обольщеніи себя несбыточными надеждами, въ минуты сердечной исповѣди и въ порывахъ звѣриной злобы, на виду страшныхъ наказаній и во время самаго исполненія ихъ, десять лѣтъ наблюденія надъ каторжниками въ такихъ разнообразныхъ положеніяхъ и составляетъ содержаніе „Записокъ изъ Мертваго дома“. Кажется, тутъ

нельзя пожаловаться на то, чтобы предметъ не былъ достоинъ человѣческой любознательности, принимаемой даже въ смыслѣ простого любопытства. И прежде всего нашей любознательности представляется вопросъ, возбуждаемый авторомъ почти на первыхъ страницахъ: какъ смотрятъ эти мрачныя совѣсти на тѣ преступленія, которыя тяготѣютъ на нихъ? да еще тяготѣютъ ли на нихъ преступленія? То есть: доступны ли эти совѣсти какому-нибудь самоосужденію?—Есть мнѣніе, по которому преступники будто бы считаютъ себя протестаторами противъ того общественнаго порядка, при которомъ преступленія должны считаться неизбѣжными, и что поэтому, на собственный взглядъ они всегда представляются правыми. Чрезвычайно любопытно и въ высшей степени важно знать, справедливо ли это мнѣніе и точно ли оно есть мнѣніе воровъ и убійцъ о самихъ себѣ? Если грабежъ и убійство составляютъ сознательный протестъ, если каждый воръ и убійца есть въ то же время человѣкъ системы или фанатикъ, дѣйствующій по убѣжденію, тогда громадное большинство общества, не ворующее и не убивающее, должно видѣть въ ворахъ и убійцахъ такихъ людей, которыхъ оно осуждаетъ и наказываетъ безъ всякаго другого права, кромѣ права сильнаго,—это съ одной стороны; а съ другой,—если мы перестанемъ видѣть въ ворахъ и убійцахъ существа падшія, доведенныя до своего паденія всего менѣе силою обдуманности и всего болѣе силой внѣшнихъ обстоятельствъ, можетъ быть, дѣйствительно обусловленныхъ общественнымъ устройствомъ, и если мы, взамѣнъ такого взгляда, проникнемся убѣжденіемъ, что воръ и убійца есть человѣкъ партіи и что онъ и самъ смотритъ на себя, какъ на такого, тогда всякое ф...нтропическое чувство къ судьбѣ преступника, чувство—извѣстное всякому человѣку, вышедшему изъ дикаго состоянія, должно казаться жалкою и неумѣстною сантиментальностію, по крайней мѣрѣ—неумѣстной до тѣхъ поръ, пока общество не будетъ олицетворять собою того плана общественнаго устройства, во имя котораго совершаются будто бы протесты грабежомъ

и убійствами. Если же, напротивъ, мы будемъ думать, что воры и убійцы, рѣшаясь на свои подвиги, не укрѣпляютъ себя никакими философскими размышленіями о правотѣ своего дѣла, и если мы будемъ заподлинно знать, что они при своихъ грабежахъ и убійствахъ руководствуются не какими-нибудь соціальными соображеніями насчетъ общественнаго неустройства, а только самыми дикими и низкими побужденіями, тогда и уголовные законы получаютъ полное нравственное освященіе, и остается мѣсто для сострадапія къ несчастію, хотя бы это несчастіе выразилось въ тяжкомъ преступленіи. Очевидно, что и для честнаго большинства въ обществѣ, и для законопреступнаго меньшинства, не одно и то же: — будетъ ли большинство видѣть въ ворахъ и убійцахъ сознательныхъ протестаторовъ, дѣйствующихъ по убѣжденію, для достиженія преднамѣренной цѣли, или будетъ смотрѣть на нихъ, какъ на такихъ враговъ общественнаго порядка, которые потому только и враждуютъ противъ него, что къ величайшему своему несчастію ничего не понимаютъ въ законахъ общественнаго устройства. — Кто же такіе убійцы и воры: сознательные протестаторы, или люди жалчайшаго невѣжества и звѣрскихъ понятій?

Сантиментальные филантропы полагаютъ, что они очень много говорятъ въ пользу преступниковъ, возводя ихъ въ званіе протестаторовъ. Въ сущности они возводятъ лишнюю клевету на совѣсть и безъ того слишкомъ обремененную дѣйствительными преступленіями; желая быть адвокатами несчастія, они отнимаютъ у него единственный шансъ на человѣческое участіе, — именно тотъ шансъ, по которому преступникъ, если его преступленіе вытекаетъ изъ грубѣйшаго невѣжества, предполагается способнымъ къ исправленію. На этомъ предположеніи, и единственно только на немъ, должны быть основаны всѣ истинно-гуманныя расположенія къ врагамъ нашей собственности и нашей личной безопасности. Но такое предположеніе объ исправленіи, конечно, не можетъ быть допущено относительно преступника, — вора или убійцы, — который оправдываетъ свое

ремесло на теоретическихъ основаніяхъ. Какой-нибудь Лезюркъ, если это не былъ своего рода жалчайшій фанфаронъ, безъ сомнѣнія, не возбудилъ бы ни въ одномъ, даже самомъ гуманномъ мыслителѣ никакого ужаса къ смертной казни и никакого помышленія о противоестественности этого рода наказанія; онъ могъ бы сколько угодно служить предметомъ газетныхъ толковъ, украшать дамскіе альбомы и удивлять Парижъ своими развязными афоризмами на счетъ безгрѣшности воровства и убійства въ такомъ будто-бы вавилонскомъ обществѣ, какъ французское, но его смерть на эшафотѣ все-таки никакъ не была бы способна возбудить болѣе жалости, чѣмъ кончина отравленной крысы. Если бы обществу было доказано, что всѣ ворующіе и убивающіе — болѣе или менѣе Лезюрки, теоретики и систематики своего ремесла, оно имѣло бы право никогда не отказываться ни отъ одной свирѣпости испанскихъ инквизицій или венеціанскихъ трибуналовъ. Обществу прежде всего необходимо существовать; оно можетъ и должно выслушивать самыя смѣлыя указанія на свои несовершенства; оно имѣетъ всю выгоду допускать самыя обширныя пренія о способѣ и свойствѣ улучшеній; но если указанія на его несовершенства проявляются фактически подъ формою грабежа и убійства, оно можетъ только свирѣпствовать. Поэтому, мы полагаемъ, что возводить разбойника изъ грубѣйшаго невѣжды въ сознательные протестаторы нисколько не гуманно, и, въ отношеніи къ самому разбойнику, въ высшей степени несправедливо. Отнимать у него его скотское невѣжество въ этомъ случаѣ, значитъ посягать на его права. Это посягательство было бы еще не такъ страшно, если бы оно не было ни съ чѣмъ несообразно. Но романическое мнѣніе о томъ, будто грабежъ есть одна изъ формъ сознательнаго протеста, есть чисто субъективное мнѣніе самихъ мыслителей, которые его выдумали; оно, очевидно, принадлежитъ честнымъ людямъ, имѣющимъ отличное знакомство съ различными соціальными теоріями, съ которыми разбойнику не было никакихъ средствъ познакомиться. Лезюркъ, конечно,

не въ примѣръ. Онъ былъ въ свое время фельетонистомъ, можетъ быть и плохимъ, но все-таки имѣвшимъ возможность кое-чего наслушаться и начитаться. Онъ могъ глядѣть на свои мерзости съ теоретической точки зрѣнія, могъ критически относиться какъ къ своимъ грабежамъ и убійствамъ, которыя онъ сдѣлалъ, такъ и къ обществу, въ которомъ онъ ихъ сдѣлалъ. Но разбойникъ изъ фельетонистовъ долженъ считаться явленіемъ феноменальнымъ, изъ котораго невозможны никакія общія заключенія. Это случай—самъ по себѣ, такъ что всякій общій выводъ изъ него будетъ непремѣнно такимъ-же субъективнымъ, какъ бываютъ субъективные цвѣта, субъективные звуки. Соотвѣтствія между сужденіемъ и сущностію обсуждаемаго предмета тутъ не будетъ. Точно такого свойства воззрѣніями на счетъ грабежа—протеста отличаются наши отечественные филантропы, которые свои субъективныя мысли объ этомъ предметѣ приписываютъ поголовно всему русскому народу. Этотъ народъ, по ихъ мнѣнію, въ продолженіе всей своей исторіи, видѣлъ и продолжаетъ видѣть въ разбойникахъ какихъ-то непризнанныхъ борцовъ, которыхъ, если они попадутся, онъ будто бы разумѣетъ, какъ несчастныя жертвы какого-то непонятнаго ему правосудія. Для доказательства этого ссылаются на добрыя и столь прославленныя чувства русскаго народа вообще ко всякому страданію, на ту всѣмъ извѣстную неохоту, съ которою нашъ простолюдинъ вызывается быть доказчикомъ и свидѣтелемъ преступленія, но болѣе всего на наши такъ называемыя разбойничьи пѣсни, въ которыхъ намъ велятъ видѣть не простую свободу народной фантазіи, а именно апоѳеозу разбойника. Эти именно аргументы, какъ это довольно извѣстно, приводятся въ доказательство того, будто народъ нашъ въ тягчайшихъ преступленіяхъ противъ общественной безопасности видитъ только протестъ, выражаемый во имя какого-то неписаннаго кодекса. Однако аргументы эти доказываютъ совершенно другое, и, не смотря на то, что они приводятся съ выраженіемъ похвалъ извѣстнымъ чертамъ народнаго характера, въ сущности, они заклю-

чаютъ только справедливое указаніе на то обстоятельство. что народъ нашъ, какъ и вообще и всюду народныя массы, еще не возвысился до критическаго взгляда на жизнь, что онъ остается еще въ невѣжествѣ и живетъ болѣе чувствомъ. чѣмъ разсудкомъ. Это значитъ, что онъ живетъ безъ всякой системы—писаной или неписаной. Его таинственный неписаный кодексъ — это его непосредственное чувство. Въ этомъ чувствѣ заключается источникъ его глубочайшей доброты, но въ немъ же скрываются и причины его неистощимой свирѣпости. Это то самое чувство, которое приводитъ толпу въ умиленіе, при видѣ разбойника на крестѣ, и которое заставляетъ ее поджаривать честныхъ людей на огнѣ, при видѣ пожара,—которое разливается жалобною пѣснею о свирѣпствахъ свекрови надъ невѣсткою и которое однако изъ каждой невѣстки дѣлаетъ, въ свою очередь, такую-же свирѣпую свекровь; это то самое чувство, которое заставляетъ мужика называть свою рабочую скотину лошадушкой и кормилицей и по которому онъ забиваетъ ее чуть не до смерти, если она не въ состояніи везти непомѣрной тяжести; наконецъ, это то самое чувство. которое омрачаетъ печалью лицо всякаго простолюдина, при видѣ партіи ссыльно-каторжныхъ, и которое заставляетъ его людей этого сорта пристрѣливать, безъ всякой нужды, какъ зайцевъ, при встрѣчѣ съ ними въ лѣсу, какъ это нерѣдко случается въ Вятской губерніи, или убивать ихъ чѣмъ ни попало, заставши ихъ въ своей клѣти, какъ это случается повсюду, на всемъ протяженіи нашей земли, и тоже безъ всякой нужды и иногда съ полной возможностію задержать преступника, не подвергая его самосудомъ смертной казни. Правда, есть одно обстоятельство, рѣшающее его на самосудъ. Это ни какія-нибудь особенныя понятія о правѣ, не врожденное отвращеніе къ правосудію, а боязнь не найти его и опасеніе самому запутаться въ той процедурѣ, которая подобно державинской *Рѣкѣ временъ* —

въ своемъ теченьи
Уноситъ всѣ дѣла людей
И топитъ въ пропасти забвенья

ихъ самыя справедливыя претензіи, ихъ самыя безотлагательныя требованія, увлекая, по дорогѣ, въ ту самую пропасть ихъ лучшіе досуги, ихъ благосостояніе и, пожалуй, самое ихъ гражданское существованіе. И въ этомъ единственная причина неохоты быть свидѣтелемъ или обвинителемъ, которая одинаково дѣйствуетъ на всякаго русскаго человѣка, при всякомъ общественномъ положеніи. Вліяніе ея можетъ быть доказано на самомъ приличномъ господинѣ, у котораго украли часы изъ кармана, хотя бы онъ былъ при томъ самаго консервативнаго образа мыслей. На эту причину указываютъ въ газетахъ, ее приводятъ въ объясненіе безуспѣшности своихъ дѣйствій наши недавніе судебные слѣдователи, которые, однако, во многихъ мѣстахъ успѣли уже возбудить довѣріе къ себѣ и собираютъ нужныя имъ доказательства безъ труда. Стало быть. неохота обвинять и свидѣтельствовать, замѣченная въ русскомъ человѣкѣ, вовсе не такая соціальная добродѣтель, которою бы русскому народу прилично было гордиться и на которой можно бы было строить какія-нибудь теоріи, а скорѣе указаніе на такое соціальное зло, на которое русскій народъ можетъ только жаловаться и отъ котораго ему слѣдуетъ избавиться. И это не такое зло, о которомъ можно было бы спорить, а сознанное и провозглашенное зло, обратившее на себя вниманіе самого правительства, у котораго, какъ слышно, уже находятся наготовѣ важныя судебныя реформы. Изъ всѣхъ игрушечныхъ мыслей, которыми мы любимъ обольщать, и очень часто не впопадъ, свою національную гордость, мысль о томъ, будто русскій народъ поголовно можно считать сознательнымъ потворщикомъ преступленія, враждебно-расположеннымъ ко всякой судебной карѣ, ко всякому офиціальному проявленію правосудія, — есть мысль самая игрушечная. Онъ точно не охотникъ отыскивать возстановленіе своихъ нарушенныхъ правъ путемъ офиціальнаго суда. Но если тутъ слѣдуетъ чему-нибудь удивляться, то, конечно, не этой неохотѣ, а скорѣй тому, что по точнымъ справкамъ о возникновеніи уголовныхъ дѣлъ непремѣнно должно ока-

заться, что самая большая часть ихъ все-таки возникаетъ вслѣдствіе частныхъ обвиненій и ходатайствъ. Намъ очень лестно считать русскій народъ отъ природы надѣленнымъ всѣми соціальными добродѣтелями, которыя другими народами пріобрѣтаются путемъ хлопотливой цивилизаціи и государственныхъ переворотовъ; намъ въ особенности лестно считать его надѣленнымъ высочайшей изъ этихъ добродѣтелей, которая называется гуманностію. И мы даже глубоко убѣждены, что онъ точно обладаетъ этимъ качествомъ въ самомъ полномъ избыткѣ, наперекоръ всѣмъ патріотическимъ писателямъ различныхъ націй, которые позволяютъ себѣ думать, будто это качество въ самой высокой степени свойственно именно той націи, къ которой они имѣютъ честь принадлежать сами. Пусть знатоки человѣческой природы изъ нѣмцевъ полагаютъ, будто добросердечнѣе нѣмца нѣтъ существа во всемъ мірѣ, пусть они остаются въ этомъ ослѣпленіи до такой степени, что надъ избыткомъ этого качества въ своихъ единоплеменникахъ позволяютъ себѣ, подобно Гейне, горчайшіе сарказмы; пусть французы полагаютъ о себѣ, что нѣтъ никакой возможности быть гуманнѣе и великодушнѣе француза, который не выноситъ варварства и притѣсненій даже внѣ предѣловъ своего отечества и за гуманную идею всегда готовъ сражаться и переносить всѣ трудности самаго отдаленнаго похода; пусть люди еврейскаго племени остаются въ заблужденіи, будто они самые старые и величайшіе представители гуманности на землѣ; пусть Бичеръ-Стоу, со всѣмъ безкорыстіемъ честной писательницы, распинается за негровъ, утверждая, будто это самыя добрѣйшія существа на свѣтѣ,—мы имѣемъ твердое убѣжденіе, что это вздоръ, и что пальма первенства относительно доброты и гуманности передъ всѣми народами принадлежитъ русскому народу. Но и при этомъ убѣжденіи мы не думаемъ, чтобы природная доброта русскаго народа потеряла часть своей цѣны, если мы не будемъ приписывать ему природной тупости ко всякому чувству права, или навязывать ему сознательнаго сочувствія къ злодѣйству. Разбойничьи пѣсни,

конечно, составляютъ фактъ, требующій объясненія. Но и „Разбойники“ Шиллера, и „Пиччинино“ Жоржъ-Занда, и „Вернеръ“ Байрона составляютъ точно такой же фактъ. Если въ разбойничьихъ пѣсняхъ не видѣть заплатки для какой-нибудь натянутой теоріи, то онѣ будутъ означать, что человѣческая фантазія, будетъ ли она принадлежать народному пѣвцу или образованному поэту, способна поражаться всѣмъ необыкновеннымъ, въ томъ числѣ и удальствомъ разбойника. Разница здѣсь будетъ только та, что поэтъ образованный никогда не увлечется свирѣпостями разбойника; онъ непремѣнно сдѣлаетъ изъ него героя и придастъ ему лучшія качества человѣческаго сердца, а фантазія народнаго пѣвца способна увлекаться и самыми свирѣпостями, во всей ихъ непосредственности; у поэта образованнаго разбойникъ можетъ быть воодушевленъ какими-нибудь высшими побужденіями, необыкновеннымъ чувствомъ правды или ненависти къ притѣсненію; а въ народныхъ пѣсняхъ всѣ дѣйствія разбойниковъ обыкновенно объясняются одною только покорностію непосредственному чувству. Если образованный поэтъ заставляетъ, напримѣръ, своего разбойничьяго героя произвесть дѣйствіе мести, то изъ его рѣшительнаго удара, обыкновенно наносимаго съ быстротою молніи, онъ непремѣнно сдѣлаетъ ударъ правосудія; а народному пѣвцу никогда не бываютъ нужны такія затѣи, онъ добрымъ порядкомъ, не торопясь, даетъ вамъ пресытиться исполненіемъ самой мести, заставляя своего мстителя, какъ поется въ одной пѣснѣ, „изъ черепа своего врага—сдѣлать чашку для питья, изъ его изъ рукъ, изъ ногъ—кровать сложить, изъ его сала—свѣчей налить, изъ его мяса - пироговъ напечь“. Въ первомъ случаѣ преобладаетъ идея, или выдуманный разбойникъ, во второмъ непосредственное чувство, или разбойникъ настоящій. И это такъ и быть должно. Только не должно быть того, чтобы народъ, въ которомъ *когда-то* могли раздаться такія пѣсни, былъ судимъ *до сихъ поръ*, на основаніи ихъ, за свои симпатіи и юридическія понятія. Точно такъ и эпическіе разбойники, принадлежавшіе хаотическому обще-

ству, не должны для насъ заслонять собою тѣхъ, которые теперь наполняютъ наши остроги и каторгу. Авторъ разбираемой нами книги занимается только послѣдними, и первыя его размышленія, какъ мы сказали, посвящены вопросу: сознаютъ ли преступники, что они преступны? Положительный отвѣтъ его состоитъ въ томъ, что они этого не сознаютъ. Онъ приводитъ даже и объясненіе этого факта, который можно считать совершенно вѣрнымъ. По его мнѣнію, „преступникъ, возставшій на общество, ненавидитъ его и почти всегда считаетъ себя правымъ, а его виноватымъ. Къ тому же онъ уже потерпѣлъ отъ него наказаніе, а черезъ это почти считаетъ себя очищеннымъ, сквитавшимся. Можно судить наконецъ, продолжаетъ авторъ, съ такихъ точекъ зрѣнія, что чуть-ли не придется оправдать самого преступника". Здѣсь преступнику приписывается критическій взглядъ на свои отношенія къ обществу; онъ не потому преступникъ, что онъ существо падшее, достойное всего нашего состраданія, не потому, что, при своей нравственной тупости, онъ не способенъ имѣть и двухъ правильныхъ мыслей ни о своемъ значеніи въ обществѣ, ни о значеніи самого общества, а потому, что онъ человѣкъ вооруженный аргументаціей, по которой онъ считаетъ себя правымъ, а общество виновнымъ; ему какъ будто извѣстны даже и тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ „чуть ли не придется оправдать преступника". Такія точки зрѣнія дѣйствительно существуютъ. Ихъ двѣ. Одна, которую можно назвать философской, состоитъ въ томъ, что человѣкъ признается одушевленной машиной, только обольщающей себя, будто она одарена свободной волей, а на самомъ дѣлѣ дѣйствующей совершенно непроизвольно, по законамъ строжайшей причинности и потому, естественно, не подлежащей никакой отвѣтственности. Но эта точка зрѣнія составляетъ нетвердый предметъ философскаго спора; поэтому, разсуждать съ *этой точки зрѣнія,* когда самая постановка *этой точки зрѣнія* не имѣетъ и, можетъ быть, никогда не будетъ имѣть никакой научной прочности, можно только для своего удовольствія; самосохраненіе об-

щества, личная безопасность его членовъ, преступленіе и судьба людей, которые его совершаютъ, вовсе не такіе отвлеченные и далекіе отъ насъ предметы, чтобы объ нихъ позволительно было разсуждать съ точекъ зрѣнія такой сомнительной вѣрности, что всѣ сужденія съ нихъ должны представляться только умственной гимнастикой. Другая точка зрѣнія, съ которой, выражаясь словами автора, „чуть ли не придется оправдать преступника“ и которую можно назвать соціальной, состоитъ въ томъ, что общество, въ которомъ существуетъ голодъ, невѣжество и неравноправность, само обвиняется во всѣхъ послѣдствіяхъ этихъ великихъ золъ, и въ томъ числѣ и въ преступленіяхъ всякаго рода. Но и эта точка зрѣнія, какова бы ни была ся безусловная справедливость, все-таки не обязываетъ общество давать ворамъ и убійцамъ похвальные листы только за то, что для ихъ преступныхъ дѣйствій существуютъ довольно вѣроятныя и естественныя причины; изъ этой точки зрѣнія могутъ быть выводимы, и совершенно логично, только смягчающія обстоятельства для преступленій, но не оправданіе ихъ; она располагаетъ общество къ милосердію, но не къ уничтоженію своихъ уголовныхъ законовъ; она отнимаетъ у нихъ право свирѣпствовать противъ преступниковъ, отнимать у нихъ жизнь и произносить надъ ними вѣчные приговоры, но не уничтожаетъ его права охранить свое существованіе. Путь преступленія избирается, конечно, не по доброй волѣ, и не изъ обольщенія его прелестями, а вслѣдствіе стимуловъ, заключающихся въ общественномъ устройствѣ; общество должно сознавать это; но оно не можетъ сознавать и того, что и оно не виновато въ своихъ несовершенствахъ, для которыхъ тоже существуютъ самыя естественныя причины. Что дѣлать обществу съ такими естественными и расплывающимися во всѣ стороны причинами, которыми объясняется все на свѣтѣ? *Жить* и совершенствоваться, т. е. дѣлать то, что волею или неволею суждено дѣлать всѣмъ обществамъ, вступившимъ на путь прогресса. А если прежде всего необходимо *жить*, то столько же необходимо, чтобы наша жизнь въ обществѣ

была обезопасена и чтобы наши средства къ жизни находились подъ вѣрною защитою. Это самое вѣрное заключеніе, какое только можно сдѣлать изъ общей для всѣхъ насъ необходимости — *жить*. И стало быть, воры и убійцы остаются неоправданными и съ соціальной точки зрѣнія, точно такъ же, какъ они не могутъ быть оправданы съ философской; а если и можно судить съ этихъ точекъ зрѣнія, или съ одной изъ нихъ, то для полученія совершенно другихъ выводовъ, а не того, который высказываетъ авторъ. Ронять громкія слова и бросать широкіе взгляды мимоходомъ, въ видѣ общихъ фразъ, стоитъ небольшого труда,—на это способенъ теперь самый жалкій писака. Но пусть авторъ указалъ бы кстати: какъ несовершенное общество, въ несовершенствахъ котораго заключаются, положимъ, причины преступленій нѣкоторыхъ изъ его членовъ, какъ оно должно поступать съ этими преступными своими членами, если оно будетъ считать ихъ правыми, а себя виноватымъ, и если оно, — какъ это достовѣрно извѣстно,—освободиться вдругъ отъ своихъ несовершенствъ никакимъ образомъ не можетъ, если при томъ еще не доказано, чтобы оно могло хоть когда-нибудь освободиться отъ нихъ вполнѣ и если, наконецъ, несомнѣнно вѣрно, что причина преступленій заключается не въ однихъ несовершенствахъ общественнаго устройства, но вообще въ несовершенствахъ человѣческой природы и свойственныхъ ей страстяхъ? Каинъ убилъ своего брата изъ зависти, Отелло задушилъ свою Дездемону изъ ревности, Геростратъ обратилъ въ пепелъ прекраснѣйшее общественное зданіе изъ тщеславія, въ самыхъ „Запискахъ изъ Мертваго Дома" очень хорошо разсказана повѣсть глупѣйшаго преступленія: мужъ убилъ свою жену изъ раскаянія, что онъ слишкомъ долго обращался съ нею недостойнымъ образомъ. Стимулы всѣхъ этихъ преступленій нисколько не должны падать на общественную совѣсть, потому что всѣ эти преступленія могли быть совершены при всѣхъ извѣстныхъ и даже еще неизвѣстныхъ родахъ общественнаго устройства. Здѣсь открывается цѣлая область преступленій, въ которыхъ

общество не можетъ быть признано виноватымъ ни съ какой точки зрѣнія. Но главная сторона дѣла не въ этомъ, а въ томъ, что указанныя нами двѣ точки зрѣнія, съ которыхъ, по мнѣнію автора, „чуть ли не придется оправдать преступника", у нашего автора предполагаются извѣстными самимъ разбойникамъ, на которыхъ по преимуществу простираются его наблюденія; эти люди обращаются въ философскихъ и соціальныхъ мыслителей; у нихъ есть счеты и расчеты съ обществомъ; они лишаются своихъ хаотическихъ понятій, своихъ звѣрскихъ позывовъ, своего грубѣйшаго умственнаго и нравственнаго помраченія и, вмѣсто всего этого, надѣляются ясными представленіями и опредѣленнымъ родомъ мыслей; ихъ грѣхи тяжкаго невѣдѣнія обращаются въ обдуманныя дѣла; словомъ, для нихъ уничтожается единственная точка зрѣнія, разсуждая съ которой, общество можетъ проникаться къ нимъ милосердіемъ и чувствовать себя обязаннымъ смягчать свои карательныя мѣры, замѣняя ихъ исправительными. Наблюдатель видѣлъ передъ собою фактъ, что эти грѣшники, на его собственныхъ глазахъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, оставались нераскаянными; изъ этого онъ заключилъ, что такое душевное настроеніе они поддерживаютъ въ себѣ аргументами въ пользу своей невинности. Психологія позволяетъ, однако, объяснять подобное душевное состояніе совершеннымъ отупѣніемъ нравственнаго чувства и глубиною паденія, могущаго простираться до потери всякаго сознанія о добрѣ и злѣ,—и такое оскотененіе, безъ сомнѣнія, служитъ въ большинствѣ случаевъ нераскаянности гораздо вѣроятнѣйшимъ объясненіемъ, чѣмъ теоретическія соображенія, предполагаемыя въ разбойникахъ, о несовершенствахъ общественнаго устройства. Но мы уже сказали, что у нашего автора гораздо важнѣе то, что онъ разсказываетъ, чѣмъ то, что онъ думаетъ, и потому, признавая вполнѣ справедливымъ замѣченный имъ фактъ относительно нераскаянности преступниковъ, мы находимъ совершенно ложнымъ приводимое имъ объясненіе этого факта. „Я сказалъ уже,—говоритъ авторъ,—что въ продолженіе нѣсколь-

кихъ лѣтъ я не видалъ между этими людьми ни малѣйшаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной думы о своемъ преступленіи и что большая часть изъ нихъ внутренно считаетъ себя правыми. Это фактъ. Конечно, тщеславіе, дурные примѣры, молодечество, ложный стыдъ во многомъ тому причиною. Съ другой стороны, кто можетъ сказать, что выслѣдилъ глубину этихъ погибшихъ сердецъ и прочелъ въ нихъ сокровенное отъ всего свѣта? Но вѣдь можно же было, во столько лѣтъ, хоть что-нибудь замѣтить поймать, уловить въ этихъ сердцахъ хоть какую-нибудь черту, которая бы свидѣтельствовала о внутренней тоскѣ, о страданіи. Но этого не было, положительно не было". Но этого не могло и быть, прибавимъ мы отъ себя, и въ доказательство этихъ словъ приведемъ прекрасную характеристику этого кромѣшнаго общества, которую встрѣчаемъ у самого же автора.

„Съ перваго взгляда можно было замѣтить нѣкоторую рѣзкую общность во всемъ этомъ странномъ семействѣ; даже самыя рѣзкія, самыя оригинальныя личности, царившія надъ другими невольно, и тѣ старались попасть въ общій тонъ всего острога... Вообще тщеславіе, наружность были на первомъ планѣ. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были безпрерывныя: это былъ адъ, тьма кромѣшная... Бывали характеры рѣзко выдающіеся... Приходили въ острогъ такіе, которые ужъ слишкомъ зарвались, слишкомъ выскочили изъ мѣрки на волю, такъ что ужъ и преступленія свои дѣлали подъ конецъ какъ будто не сами собою, какъ будто сами не зная зачѣмъ, какъ будто въ бреду, въ чаду; часто изъ тщеславія, возбужденнаго въ высочайшей степени. Но у насъ ихъ тотчасъ осаживали, несмотря на то, что иные до прибытія въ острогъ бывали ужасомъ цѣлыхъ селеній и городовъ. Оглядываясь кругомъ, новичокъ скоро замѣчалъ, что онъ не туда попалъ, что здѣсь дивить ужъ некого, и непремѣнно старался и попадалъ въ общій тонъ. Этотъ общій тонъ составлялся снаружи изъ какого-то особеннаго собственнаго достоинства, которымъ былъ пропик-

нутъ чуть не каждый обитатель острога. Точно въ самомъ дѣлѣ званіе каторжнаго, рѣшенаго, составляло какой-нибудь чинъ, да еще почетный. Ни признаковъ стыда и раскаянія! Впрочемъ, было и какое то наружное смиреніе, такъ сказать, офиціальное, какое то спокойное резонерство: „Мы погибшій народъ“, говорили они: „не умѣлъ на волѣ жить, теперь ломай зеленую улицу, повѣряй ряды“.—Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры“.—„Не хотѣлъ шить золотомъ, теперь бей камни молотомъ“.—Все это говорилось часто, и въ видѣ нравоученія, и въ видѣ обыкновенныхъ поговорокъ и присловій, но никогда серьезно. Все это были только слова. Врядъ ли хоть одинъ изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности. Попробуй кто не изъ каторжныхъ упрекнуть арестанта преступленіемъ, выбранить его — ругательствамъ не будетъ и конца. А какіе они были мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство было у нихъ возведено въ науку; старались взять не столько обиднымъ словомъ, сколько обиднымъ смысломъ, духомъ, идеей,—а это утонченнѣе, ядовитѣе. Безпрерывныя ссоры еще болѣе развивали между ними эту науку. Весь этотъ народъ работалъ изъ-подъ палки, слѣдственно онъ былъ праздный, слѣдственно развращался: если и не былъ прежде развращенъ, то въ каторгѣ развращался. Всѣ они собрались сюда не своей волей; всѣ они были другъ другу чужіе... „Чортъ трое лаптей сносилъ, прежде чѣмъ насъ собралъ въ одну кучу!“—говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, ссоры, злость—были всегда на первомъ планѣ въ этой кромѣшней жизни. Никакая баба не въ состояніи была быть такой бабой, какъ нѣкоторые изъ этихъ душегубцевъ“.

И въ этомъ аду, въ этой кромѣшней тьмѣ, въ этой безднѣ оскотененія и нравственнаго индефферентизма, насъ заставляютъ отыскивать какія то философскія и соціальныя убѣжденія для объясненія нераскаянности! И на выдумкѣ этихъ убѣжденій строятъ философію преступленія! Нѣтъ тутъ никакихъ убѣжденій, никакихъ расчетовъ съ

обществомъ и никакого сознательнаго возстанія противъ него; а есть только одно нравственное одервсненіе и привычка—до такой степени тупая, что преступленіе представляется поступкомъ не нравственно-свободнаго и размышляющаго существа, а скорѣе дѣйствіемъ автомата. Викторъ Гюго, заставившій Жанъ-Вальжана въ своемъ последнемъ романѣ обокрасть маленькаго савояра совершенно противъ воли, посредствомъ одного механическаго движенія, усвоеннаго привычкою, поступилъ какъ человѣкъ, глубоко понимающій философію преступленій, потому что, дѣйствительно, преступленіе есть привычка, точно такая же привычка, какъ хожденіе въ должность, ремесло, нищенство и т. п. Но не всѣ Жанъ-Вальжаны встрѣчаются съ добродѣтельными епископами, отъ которыхъ они могли бы узнавать хотя и простую, но все-таки незнакомую для нихъ истину, что есть на свѣтѣ вещи честныя и безчестныя; самая большая часть Жанъ-Вальжановъ не имѣютъ никакой возможности возвышаться до критическаго взгляда на свои привычки; до острога для нихъ это совершенно невозможно, потому что не такова ихъ жизнь и избранныя ими занятія, чтобъ они располагали къ умозрѣніямъ; а въ самомъ острогѣ для нихъ это еще менѣе возможно и опять-таки потому, что и острожно-каторжная жизнь очень мало располагаетъ къ умозрѣніямъ. Для этого нуженъ невозмутимый досугъ, хотя бы и не очень продолжительный; какъ можно менѣе мелочныхъ дрязгъ и какъ можно больше вещей, располагающихъ къ серьезному настроенію, а главное — для всякаго умозрѣнія нужна прежде всего точка отправленія; оскотенѣвшему преступнику прежде всего нужно знать о существованіи добра и зла, чтобы сдѣлать умственныя комбинаціи о значеніи своихъ поступковъ. Но картина, изображенная авторомъ въ приведенныхъ нами строкахъ—представляетъ совершенную противоположность всѣмъ этимъ требованіямъ; двумъ стамъ звѣроподобнымъ существамъ, заключеннымъ въ одной казармѣ, такъ много случаевъ развлечь себя и уклониться отъ всякихъ расчетовъ съ нехорошими воспоминаніями, если они еще признают-

ся за нехорошія! Въ одной кучкѣ ругаются только что изобрѣтаемыми выраженіями, въ другой лѣзутъ въ драку изъ за негодной тряпки, и ужъ дѣло доходитъ до ножей, въ третьей клейменые игроки ведутъ азартную игру въ засаленныя карты, въ четвертой развлекаются зеленымъ виномъ, пронесеннымъ въ острогъ чуть не подъ страхомъ жизни—все это картины, нисколько не располагающія къ созерцательному настроенію. Есть ли чему удивляться, что тутъ не замѣчается никакихъ признаковъ стыда и раскаянія? Скорѣе было бы удивительно, если бы здѣсь происходили случаи раскаянія, хотя бы самые рѣдкіе; такіе случаи были бы чисто феноменальныя явленія.

* * *

*) Обитатели мертваго дома, или проще каторжники, занимаются, какъ извѣстно, обязательными казенными работами, которыя составляютъ одну изъ важнѣйшихъ составныхъ частей наложеннаго на нихъ наказанія. „Самая работа, говоритъ г. Достоевскій, показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тяжесть и *каторжность* этой работы—не столько въ трудности и безпрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная изъ-подъ палки“. Далѣе г. Достоевскій соображаетъ очень основательно, что эта обязательная работа сдѣлалась бы еще болѣе ужас-

*) Соч. Д. И. Писарева, часть 5. С.-Пб. 1866 г.

Писаревъ въ своей интересной обширной статьѣ „Погибшіе и Погибающіе“ разсматриваетъ (хотя и не съ литературно-критической точки зрѣнія) „Записки изъ Мертваго Дома“ сравнительно съ „Очерками Бурсы“ Помяловскаго. Этотъ подробный анализъ надъ данными матеріальнаго и нравственнаго положенія героевъ „Записокъ изъ Мертваго Дома“ и „Очерковъ Бурсы“ приводитъ къ тому результату, что обитатели остроговъ 40-хъ и 50-хъ годовъ стояли выше во многихъ отношеніяхъ бурсаковъ того же времени. Но, смотря на трудъ Писарева, какъ на имѣющій только косвенное отношеніе къ цѣли настоящаго сборника, и не имѣя притомъ возможности за обширностію его очерка помѣстить здѣсь параллельныя характеристики героевъ Мертваго дома и Бурсы въ нравственномъ отношеніи, мы только приводимъ нѣсколько сравненій матеріальнаго свойства, рисующихъ положеніе какъ каторжниковъ, такъ и бурсаковъ.

Примѣч. В. Зелинскаго.

ною и даже совершенно невыносимою, если бы ей былъ приданъ характеръ совершенной, полнѣйшей безполезности и безсмыслицы, то есть, если бы, напримѣръ, арестанта заставили переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое, и обратно.

Спрашивается теперь, есть ли въ жизни бурсаковъ какое-нибудь занятіе, соотвѣтствующее обязательной работѣ каторжниковъ? Каждый бывшій бурсакъ и даже каждый читатель, знакомый съ очерками Помяловскаго, отвѣтитъ не задумываясь, что всѣ учебныя занятія бурсаковъ похожи, какъ двѣ капли воды, на обязательную работу каторжниковъ. Остается только рѣшить вопросъ, на какую именно работу похожи умственные труды бурсаковъ, на ту ли, которая дѣйствительно существуетъ въ мертвомъ домѣ, или же на ту, въ которой г. Достоевскій справедливо видитъ ужасный и, къ счастью, неосуществленный идеалъ каторжной работы? Мнѣ кажется, что работа бурсаковъ подходитъ довольно близко къ послѣдней категоріи, то есть, къ мучительному переливанію воды изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый"... Сдѣлавъ подробный психически-физіологическій анализъ специфическаго процесса зубренія, или долбленія бурсаками уроковъ, Писаревъ продолжаетъ: „Помяловскій, видѣвшій на своемъ вѣку множество самыхъ чистокровныхъ зубрилъ и отвѣдавшій самъ прелести этого занятія, рисуетъ очень яркими чертами процессъ бурсацкой каторжной работы и вліяніе этой работы на матеріальное и умственное здоровье бурсаковъ. „Ученики, говоритъ онъ, сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смыслу: стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ... потомъ... постигли... Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока на вѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика *стыдъ и срамъ*. Сильно мучился воспитанникъ во время урока, такъ что ученіе здѣсь является физическимъ страданіемъ, которое [illegible]зилось въ пѣснѣ: „Сколь блаженны тѣ народы"...

По мучительности своей, ученая бурсацкая работа далеко превосходитъ работу арестантовъ, которая, по словамъ г. Достоевскаго, сама по себѣ нисколько не обременительна. Съ точки зрѣнія обязательности или подневольности, работа бурсаковъ также перещеголяла работу арестантовъ. Въ первомъ томѣ своихъ „Записокъ“ г. Достоевскій описываетъ арестантскую работу, ломаніе старой барки; придя на рѣку, арестанты разсаживаются по бревнамъ и закуриваютъ трубки; потомъ начинаютъ разсуждать о томъ, кто догадался ломать эту барку; потомъ критикуютъ проходящихъ мужиковъ, потомъ любезничаютъ съ калачницей. Тутъ является приставъ надъ работами и приглашаетъ публику приступить; публика проситъ себѣ урока, говоритъ, что скорѣй скораго не сдѣлаешь, и начинаетъ дѣйствовать такъ вяло, что приставъ считаетъ необходимымъ плюнуть и отправиться за кондукторомъ, который исполняетъ желаніе публики и задаетъ ей урокъ“. — Такимъ образомъ работники нисколько не надрываются; они резонируютъ, благодушествуютъ, дѣлаютъ кейфъ, и даже торгуются на счетъ работъ съ своимъ ближайшимъ начальствомъ; положеніе этихъ работниковъ, конечно, очень тяжело и незавидно, потому что они лишены свободы и принуждены заниматься такимъ дѣломъ, которое не доставляетъ имъ ни удовольствія ни личной выгоды; но неволя арестантовъ легка въ сравненіи съ неволей бурсаковъ; надъ послѣдними контроль по работамъ несравненно строже; арестантовъ никто не подвергаетъ взысканію за то, что они балагурятъ въ рабочее время; бурсака, напротивъ того, порятъ очень аккуратно за каждый невыученный урокъ; а что значитъ выучить урокъ — это я показалъ, объясняя и анализируя процессъ зубренія. Притомъ надо замѣтить, что бурсака порятъ не гуртомъ за общую неисправность работы, а порознь за каждый невыученный урокъ; при такой раздробительной системѣ воздаянія, на долю одного бурсака можетъ придтись въ одинъ день по нѣскольку сѣченій, чего съ арестантомъ уже никакимъ образомъ случиться не можетъ, такъ какъ въ острогѣ право казнить и ми-

ловать принадлежитъ одному начальству, а въ бурсѣ это право распредѣляется между многими учителями. „Когда приходилось, говоритъ Помяловскій, что три описанные учителя занимали уроки въ одинъ и тотъ же день, то одного и того же ученика сѣкли нѣсколько разъ. Такъ Карася, случалось отдирали четыре раза въ одинъ день (въ продолженіе всей училищной жизни непремѣнно разъ четыреста).“ Далѣе, по своей занимательности, работа бурсака стоитъ положительно ниже ломанія барки или дѣланія кирпича, и можетъ быть поставлена на одну доску съ переливаніемъ воды изъ ушата въ ушатъ. Если мнѣ возразятъ, что бурсакъ въ этой работѣ можетъ видѣть средство добиться хорошаго аттестата и составить себѣ карьеру, то я отвѣчу, что и арестантъ, посаженный въ острогъ на извѣстное число лѣтъ, можетъ видѣть въ исправномъ переливаніи воды дорогу къ освобожденію. Въ самомъ дѣлѣ, если бы арестантъ, осужденный на переливаніе воды, вздумалъ заупрямиться, и отказался бы отъ своей безплодной и мучительно-скучной работы, то его стали бы наказывать, а если бы дисциплинарныя наказанія не сломили его упрямства, то его вторично отдали бы подъ судъ за дурное поведеніе, и время его заключенія увеличилось бы въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Точно такъ же поступаютъ и съ лѣнивымъ бурсакомъ: сначала его отечески наказываютъ, а потомъ его исключаютъ, то есть у него отнимаютъ аттестатъ и карьеру. Стало быть, интересъ работы одинаковъ для бурсака, зубрящаго „*стыдъ и срамъ*“, и для арестанта, переливающаго воду изъ ушата въ ушатъ, потому что первый за небрежное выполненіе работы лишается нѣкоторыхъ выгодъ, а второй за то же самое подвергается нѣкоторымъ невыгодамъ. Цѣль бурсака состоитъ въ томъ, чтобы доплестись всѣми правдами и неправдами до выпускного экзамена; цѣль арестанта въ томъ, чтобы безнакостно дожить до дня освобожденія. Обѣ эти цѣли до такой степени отдаленны, что онѣ нисколько не могутъ освѣтить и украсить собою обязательную работу. Человѣкъ можетъ работать охотно и весело только тогда, когда са-

мый процессъ работы доставляетъ ему непосредственное удовольствіе. Когда работа сама по себѣ имѣетъ какой-нибудь внутренній смыслъ, понятный для работника, тогда возможно увлеченіе работою, хотя бы даже и обязательною. Но такъ какъ затверживаніе *стыда и срама* не имѣетъ никакого внутренняго смысла, и въ то же время требуетъ очень сильнаго напряженія энергіи и вниманія, то далекая перспектива аттестата и карьеры становится совершенно недѣйствительною, и юношество подвигается впередъ по [illegible]му и скорбному пути бурсацкой премудрости при содѣйствіи такихъ героическихъ средствъ, которыя могли бы испугать даже обитателей мертваго дома, и которыя даже въ мертвомъ домѣ оказались бы необходимыми только въ томъ немыслимомъ случаѣ, если бы начальству вздумалось пріурочить арестантовъ къ безсмысленному переливанію воды семо и овамо.

Другая сходная черта бурсы и мертваго дома состоитъ въ мизерности того содержанія, которое получаютъ обитатели этихъ двухъ одинаково воспитательныхъ или одинаково карательныхъ заведеній. Здѣсь опять пальма первенства остается за бурсою, по крайней мѣрѣ за тою бурсою, которую описалъ Помяловскій. Что ѣдятъ бурсаки и что ѣдятъ арестанты? Качества ихъ щей, каши и такъ далѣе, мы, разумѣется, сравнивать не можемъ, потому что къ сочиненіямъ Помяловскаго и г. Достоевскаго не приложено въ видѣ pièces justificatives, образчиковъ этихъ деликатныхъ кушаній; оба говорятъ, что скверно, а что хуже, объ этомъ по описанію судить мудрено. Но есть одинъ осязательный пунктъ, который доказываетъ, что бурсакамъ было хуже жить, чѣмъ арестантамъ. Какъ бы ни былъ дуренъ обѣдъ, но во всякомъ случаѣ, если только хлѣба дается въ волю, до-отвалу, то человѣкъ обезпеченъ, по крайней мѣрѣ, противъ голода. Чѣмъ отвратительнѣе обѣдъ, тѣмъ важнѣе становится вопросъ о хлѣбѣ, который при дурномъ обѣдѣ дѣлается самою главною статьею питанія. И какъ бы вы думали?—хлѣбъ въ бурсѣ выдается счетомъ, а въ мертвомъ домѣ давалось хлѣба, сколько угодно. „Боль-

шинство, говоритъ Помяловскій, не желало дѣлиться съ нимъ (съ воспитанникомъ, оставленныхъ безъ обѣда) запаснымъ хлѣбомъ: впрочемъ, и дѣлиться было не изъ чего: утреннихъ и вечернихъ фриштиковъ въ бурсѣ не полагалось; *за обѣдомъ выдавали только по два ломтя хлѣба*, изъ которыхъ одинъ съѣдался въ столовой, другой уносился въ карманѣ про запасъ". По моему мнѣнію, эти скверные *два ломтя*, эта низкая плюшкинская скаредность, выжимающая сокъ изъ молодыхъ желудковъ, несравненно отвратительнѣе всевозможныхъ мордобитій и сѣченій *на воздусяхъ*. Мнѣ кажется даже, что эта скаредность вреднѣе жестокихъ наказаній по своимъ послѣдствіямъ, какъ матеріальнымъ, такъ и нравственнымъ.

Въ мертвомъ домѣ дѣло продовольствованія велось гораздо благопристойнѣе.

„Впрочемъ, говоритъ г. Достоевскій, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про одинъ хлѣбъ и благословляли именно то, что хлѣбъ у насъ общій, а не выдается съ вѣсу. Послѣднее ихъ ужасало; при выдачѣ съ вѣсу, треть людей была бы голодная; въ артели же всѣмъ доставало. Хлѣбъ нашъ былъ какъ-то особенно вкусенъ и этимъ славился во всемъ городѣ."

Изъ разговоровъ между арестантами видно, что они питаютъ глубокое уваженіе къ своему хлѣбу. — „Брюлина корова! говоритъ одинъ арестантъ другому — вишь отъѣлся на острожномъ *чистякѣ*".—На волѣ не умѣли жить, говорится далѣе, — рады, что здѣсь до *чистяка* добрались. „*Чистякомъ*, объясняетъ г. Достоевскій въ подстрочномъ примѣчаніи,—назывался хлѣбъ изъ чистой муки, безъ примѣси."—Это названіе очень выразительно. Оно показываетъ лучше всякихъ политико-экономическихъ разсужденій, какіе мы богатые люди. Хлѣбъ, испеченный изъ чистой муки, безъ примѣси разн... удобоваримыхъ гадостей, въ родѣ отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, долженъ у насъ отличаться особеннымъ хвалебнымъ именемъ отъ того обыкновеннаго хлѣба, которымъ питаются сплошь и рядомъ наши рабочіе классы... Сравнивая этотъ чистякъ съ несча-

стными *двумя ломтями* бурсы, мы узнаемъ ту поучительную истину, что въ нашей великой и обильной странѣ даже добросовѣстная раздача хлѣба должна вызвать къ себѣ нѣкоторое уваженіе, и считаться едва ли не за патріотическій подвигъ.

Если начальство бурсы рѣшилось соблюдать мудрую экономію даже при раздачѣ простого хлѣба, то, разумѣется, съ остальными предметами первой необходимости и подавно нечего было церемониться, такъ что бурсаки во всѣхъ отношеніяхъ должны были уподобляться гарнизону осажденной крѣпости или экипажу корабля, застигнутаго безвѣтріемъ въ открытомъ морѣ. Отопленіе и освѣщеніе бурсы производились съ самою примѣрною бережливостію. „Въ классѣ совершенно темно, говоритъ Помяловскій, потому что начальство, изъ экономическаго расчета, зажигало лампу только въ часы занятій“. „Начальство, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями“. Обитатели мертваго дома не испытывали ни одного изъ этихъ двухъ неудобствъ,—ни темноты, ни холода. Плацъ-маіоръ или караульные, говоритъ г. Достоевскій, являлись иногда въ острогъ довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющихъ, и работающихъ, и лишнія свѣчки, которыя можно было видѣть еще со двора. *Лишними сальчками* здѣсь называются собственныя свѣчи арестантовъ. Выше было сказано, что „каждый держалъ свою свѣчу и свой подсвѣчникъ, большею частію деревянный“. Но если были *лишнія* свѣчи, то, стало-быть, были и не лишнія, казенныя, которыми казарма должна была освѣщаться постоянно отъ вечерней зари до утренней.

Говоря о различныхъ непріятностяхъ острожной жизни, г. Достоевскій упоминаетъ о мефитическомъ воздухѣ, о нечистотѣ, о множествѣ насѣкомыхъ, но о сырости и холодѣ не сказано ни слова. Значитъ, надо полагать, что топили хорошо. Разумѣется, на это были свои мѣстныя

причины; на берегахъ Иртыша дрова несравненно дешевле, чѣмъ на берегахъ Невы. „Дрова въ городѣ, говоритъ г. Достоевскій, продавались по цѣнѣ ничтожной, и кругомъ лѣсу было множество". Но каковы бы ни были причины, во всякомъ случаѣ это нисколько не измѣняетъ того печальнаго факта, что бурсаки страдали отъ сырости и отъ холода, и въ этомъ отношеніи могли завидовать обитателямъ мертваго дома. Что [illegible] ается до мефитическаго воздуха, до нечистоты и [illegible] итовъ, то здѣсь бурса и мертвый домъ нисколько [illegible] аютъ другъ другу. Впрочемъ, кажется, и тутъ мо[illegible] ать одно обстоятельство, оставляющее пальму первен[illegible] за бурсою. „Наконецъ, говоритъ г. Достоевскій, опи[illegible] жизнь въ госпиталѣ,— уже послѣ вечерняго посѣщ[illegible] октора, вошелъ караульный унтеръ-офицеръ, сосчит[illegible] сѣхъ больныхъ, и палату заперли, внеся въ нее пред[illegible] льно ночной ушатъ. Я съ удивленіемъ узналъ, что этотъ ушатъ останется здѣсь всю ночь, тогда какъ настоящее ретирадное мѣсто было тутъ же въ коридорѣ, всего только два шага отъ дверей". Такъ какъ разсказчикъ попалъ въ госпиталь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія въ острогъ, то его удивленіе по поводу ушата было бы немыслимо, если бы такой же точно обычай былъ заведенъ и въ казармѣ. Удивленіе разсказчика показываетъ ясно, что въ казармѣ ночныхъ ушатовъ не было. У Помяловскаго же бурсацкія спальни описываются слѣдующимъ образомъ: „Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромные бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченыя яблоки. Отъ этихъ [illegible] пасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурные міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ зимою въ сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальныя свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькою и ѣдкою, и ко всему этому надо прибавить, что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какою-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистотъ. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать уче-

никъ, и повѣритъ-ли кто, что большинство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало наконецъ способность чувствовать отвращеніе къ нему“. Здѣсь ушатъ составляетъ постоянное явленіе, которое уже никого не удивляетъ. Пребываніе ушата въ госпитальной палатѣ объясняется тѣмъ, что палату велѣно на ночь запирать; а запираютъ ее для того, чтобы арестанты ночью какъ-нибудь не ухитрились убѣжать. Г. Достоевскій доказываетъ очень убѣдительно, что убѣжать нѣтъ возможности, но во всякомъ случаѣ чрезмѣрная мнительность начальства, при всей своей несостоятельности, до нѣкоторой степени понятна; такъ какъ побѣги дѣйствительно случаются, и случаются иногда при такой обстановкѣ, при которой ихъ, повидимому, невозможно было предположить, то, разумѣется, болѣзненная мнительность поддерживается, и начальство, которому не приходится дышать вмѣстѣ съ арестантами зараженнымъ воздухомъ, запираетъ ихъ на всю ночь вмѣстѣ съ ушатомъ, придерживаясь того правила, что лишняя предосторожность, хотя бы и совершенно безсмысленная, испортить дѣла не можетъ. Въ казарму ушата вносить не зачѣмъ, и тамъ онъ дѣйствительно не вносится. Это различіе происходитъ отъ того, что, находясь у себя въ острогѣ, арестантъ окруженъ со всѣхъ сторонъ самымъ бдительнымъ надзоромъ: сдѣлавшись больнымъ, арестантъ напротивъ того приходитъ въ общій военный госпиталь, въ которомъ только одна арестантская палата караулится такъ, какъ положено караулить острогъ. Поэтому больного арестанта лишаютъ даже той доли свободы, которая предоставлена здоровому арестанту. Здоровый можетъ ходить днемъ по всему острогу, а ночью по всей своей казармѣ; больной напротивъ того остается почти безвыходно въ той комнатѣ, которая въ госпиталѣ служитъ представительницею острога. Все это очень тяжело, но понятно. Что-же касается до ушата, украшающаго спальню бурсаковъ, то его уже невозможно объяснить никакою начальственною мнительностію и никакими глубокомысленными плацъ-маіорскими соображеніями. Тутъ сіяетъ во всей своей красотѣ одно голое свинство...

Если бы бурсаки вздумали просить начальство объ удаленіи ушатовъ, то можно сказать навѣрное, что просителей перепороли бы за вольнодумство. Въ самомъ дѣлѣ, думають, ушатъ поставленъ въ спальню начальствомъ; слѣдовательно къ ушату надо питать глубокое уваженіе, и возставать противъ ушата—значитъ сомнѣваться въ начальственной благости и въ начальственной мудрости. Первый шагъ строптиваго юношества на этомъ гибельномъ пути отрицанія можетъ повести за собою неисчислимыя послѣдствія. Поэтому начальство непремѣнно должно отстаивать ушатъ, какъ видимое проявленіе и вещественный знакъ невещественной отеческой заботливости, предусмотрительности и распорядительности, украшающей жизнь бурсака всевозможными высокими и плодотворными наслажденіями.

О невѣроятномъ изобиліи насѣкомыхъ г. Достоевскій и Помяловскій сообщаютъ одинаково любопытныя свѣдѣнія. „Блохи, говоритъ г. Достоевскій, кишатъ миріадами. Онѣ водятся у насъ и зимою, и въ весьма достаточномъ количествѣ, но начиная съ весны, разводятся въ такихъ размѣрахъ, о которыхъ я хоть и слыхивалъ прежде, но, не испытавъ на дѣлѣ, не хотѣлъ вѣрить. И чѣмъ дальше къ лѣту, тѣмъ злѣе и злѣе онѣ становятся. Правда, къ блохамъ можно привыкнуть, я самъ испыталъ это; но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучаютъ, что лежишь, наконецъ, словно въ лихорадочномъ жару и самъ чувствуешь, что не спишь, а только бредишь".

„Этихъ насѣкомыхъ (вшей), говоритъ Помяловскій, было огромное количество въ бурсѣ. Не повѣрятъ, что одинъ ученикъ былъ почти съѣденъ ими; онъ служилъ какимъ-то огромнымъ гнѣздомъ для паразитовъ; цѣлыя стада на виду ходили въ его нестриженой и нечесаной головѣ; когда однажды сняли съ него рубашку и вынесли ее на снѣгъ, то снѣгъ зачернѣлся отъ нихъ. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ѣли тѣло бурсака."

*
* *

*) Кромѣ людей совершенно забитыхъ, Достоевскій выводитъ и такихъ, въ которыхъ еще сохранилось сильнѣйшее проявленіе личности – самоотверженіе, или же такихъ, которыхъ подавленіе ея доводитъ до озлобленія. Съ личностями послѣдняго рода нашему автору пришлось наконецъ стать лицомъ къ лицу въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“. Первое впечатлѣніе, испытанное составителемъ этихъ записокъ при поступленіи въ „мертвый домъ“, было самое тяжелое, самое безотрадное. Это множество людей, собравшихся не по доброй волѣ съ разныхъ концовъ обширной земли русской въ одно разношерстное общество, и на читателя производитъ сначала такое мрачное впечатлѣніе, что онъ готовъ повторить стихи Пушкина:

„Опасность, кровь, развратъ, обманъ
Суть узы страшнаго семейства;
Тотъ ихъ, кто съ каменной душой,
Прошелъ всѣ степени злодѣйства;
Кто рѣжетъ хладною рукой
Вдовицу съ бѣдной сиротой,
Кому смѣшно дѣтей стенанье,
Кто не прощаетъ, не щадитъ,
Кого убійство веселитъ
Какъ юношу любви свиданье“...

Но приглядываясь къ людямъ, которые его окружаютъ, составитель записокъ мало-по-малу различаетъ между ними натуры, мало испорченныя или даже исполненныя самыхъ симпатическихъ качествъ. Такими чертами отличается, напр., Сушиловъ, когда-то дворовый человѣкъ, Богъ вѣсть за что попавшій въ ссылку въ безотчетно-безправныя времена крѣпостничества, а въ самомъ ужасномъ отдѣленіи „мертваго дома“ очутившійся по наивности, заставившей его „смѣниться“ съ другимъ арестантомъ. Не менѣе сочувственнаго представляетъ и этотъ красивый мальчикъ Сироткинъ, любимецъ своей крестьянки-матери, прямо изъ подъ ея, по крайней мѣрѣ, теплаго крова попавшій въ рекруты; не

*) О. Миллеръ. „Публичныя Лекціи“. С.-Пб. 1874 г. и 2-е изд. С.-Пб. 1878 г.

помирившись со своею новой долей, онъ попытался сперва застрѣлиться, потомъ съ отчаянія, что это не удалось, вдругъ, въ порывѣ какого-то нравственнаго опьяненія, убилъ своего командира, и послѣ этого мгновеннаго взрыва снова обратился въ кроткаго, тихенькаго ребенка. Другого рода оттѣнокъ представляетъ Акимъ Акимычъ, человѣкъ, постоянно съ величайшимъ усердіемъ исполнявшій всѣ обязанности службы, но разъ, по глупости, хватившій въ своемъ усердіи черезъ край: разстрѣлявъ мирнаго кавказскаго князька, стрѣлявшаго по русскимъ крѣпостямъ, онъ безсознательно дошелъ до жестокости, поставленной ему въ вину и самимъ начальствомъ, въ сущности же остался предобродушнымъ малымъ. А кавказецъ Нурра, котораго вина заключалась въ томъ, что, принадлежа къ числу „мирныхъ", онъ переходилъ къ „немирнымъ" и дѣйствовалъ противъ русскихъ! Несмотря на этотъ горскій патріотизмъ, онъ въ острогѣ предобродушно относился къ своимъ русскимъ товарищамъ, а автора записокъ привѣтствовалъ дружескимъ ударомъ по плечу, которымъ хотѣлъ, очевидно, выказать свое сердечное участіе къ „новичку". Или тотъ милый, кроткій Алей, о которомъ говоритъ авторъ, что „никогда его не забудетъ", — этотъ младшій братъ въ семьѣ горцевъ, напавшій вмѣстѣ со старшими на караванъ съ цѣлью грабежа, но даже не знавшій при этомъ, куда и зачѣмъ его ведутъ, а слѣдовавшій за братьями потому, что младшему, по понятіямъ горцевъ, нельзя разсуждать, когда велятъ старшіе. Самъ по себѣ Алей—мягкій, добрый юноша. Онъ зачитывается въ острогѣ евангелія и съ особеннымъ наслажденіемъ думаетъ угодить христіанину тѣмъ, что говоритъ ему: „Иса былъ великій пророкъ!" А величавая фигура старика раскольника, сосланнаго за то, что, съ его точки зрѣнія, представляется религіознымъ подвигомъ, и свое пребываніе въ одномъ мѣстѣ съ каторжниками считающаго за спасительное мученичество! Понятна послѣ этого сила его нравственнаго вліянія на остальныхъ каторжныхъ, которые такъ ему довѣряютъ, что всѣ отдаютъ ему на храненіе

свои деньги. Но, мало-по-малу вглядываясь и въ другія личности, авторъ и въ нихъ понемногу отыскиваетъ человѣческія черты. Такъ, онъ замѣчаетъ въ нихъ жажду полезной работы, работы съ цѣлью, со смысломъ, и ту готовность, съ которой они принимаются за работу такого рода и стараются окончить ее непремѣнно къ сроку, потому что это даетъ имъ возможность выказать себя съ доброй стороны. Или усердное справленіе праздниковъ, которымъ арестанты какъ бы хотятъ сказать: „вѣдь и мы тоже люди, тоже христіане!“ Или эта почти дѣтская радость, что имъ разрѣшили театръ, который даетъ возможность обнаружить свои способности и внести хотя нѣкоторое разнообразіе въ ихъ однозвучную жизнь; или то, что пожертвованные калачи дѣлятся у нихъ постоянно поровну; или мягкія отношенія каторжниковъ къ ссыльнымъ изъ иноземцевъ, чуждыя всякой исключительности и нетерпимости. Вспомнимъ, наконецъ, и сцену выпуска на волю орла съ подстрѣленнымъ крыломъ, котораго никакъ не удалось жителямъ Мертваго Дома сдѣлать ручнымъ и который, быть можетъ, именно этимъ и вызываетъ ихъ особенное сочувствіе.

— Пусть хоть околѣетъ, да не въ острогѣ, говорили одни.

— Вѣстимо, птица вольная, суровая, не пріучишь къ острогу-то,—поддакивали другіе.

— Знать, онъ не такъ, какъ мы, прибавилъ кто-то.

— Вишь сморозилъ: то птица, а мы, значитъ, человѣки.

— Орелъ, братцы, есть царь лѣсовъ, и т. д.

И вотъ, несвободные сами, они по крайней мѣрѣ отпускаютъ на волю этого не поддавшагося острогу царя лѣсовъ и любуются, какъ онъ утекаетъ, несмотря на свое больное крыло.

— Вишь его!—задумчиво проговорилъ одинъ.

— И не оглянется! прибавилъ другой.

— А ты думалъ, благодарить воротится? — замѣтилъ третій.

— Знамо дѣло, воля. Волю почуялъ.

— Слобода, значитъ.

— И не видать уже, братцы...

Нельзя, наконецъ, не привести и слѣдующаго общаго замѣчанія составителя Записокъ:

„Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человѣка нѣсколько лѣтъ и думаешь про него, что это звѣрь, а не человѣкъ, презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу, и вы видите въ немъ такое богатство чувства, сердца, такое яркое пониманье и собственнаго и чужого страданья, что у васъ какъ бы глаза открываются и въ первую минуту даже не вѣрится тому, что вы сами увидѣли и услышали..."

Достоевскій вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, до какой степени сколько-нибудь мягкое отношеніе начальства къ этимъ людямъ и малѣйшее выраженіе съ его стороны довѣрія къ нимъ способно укрѣплять въ нихъ человѣческія чувства. Говоря объ одномъ изъ такихъ добрыхъ начальниковъ, онъ утверждаетъ: „потеряй онъ тысячу рублей, я думаю, первый воръ изъ нашихъ, если бы нашелъ ихъ, отнесъ бы къ нему". За то всякое выраженіе въ родѣ—„ты знаешь, я могу съ тобой все сдѣлать" — „я тебя въ бараній рогъ согну" доводитъ этихъ людей до совершеннаго ожесточенія. Въ отпоръ тѣмъ, кто способенъ такъ выражаться, а равно и дѣйствовать въ соотвѣтственномъ духѣ, острожники противопоставляютъ горькую терпѣливость при самыхъ ужасныхъ наказаніяхъ. Та же особаго рода гордость не позволяетъ имъ и сознаваться въ своей преступности. Такая гордость является со стороны арестантовъ мстительнымъ отпоромъ всему обществу, изъ-за котораго ихъ, какъ грозящихъ его безопасности, засадили въ острогъ. „Большинство совсѣмъ не винило себя; врядъ-ли кто изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности" *). Между

*) Это вполнѣ подтверждается содержаніемъ тѣхъ *арестантскихъ пѣсенъ*, которыя приводятся (С. В. Максимовымъ въ 1-й ч. его труда: „Сибирь и Каторга".

тѣмъ, авторъ представляетъ намъ и говѣніе арестантовъ, показываетъ, какъ они, при выходѣ священника съ чашей и произнесеніи имъ словъ: „помяни мя, яко разбойника“, всѣ вдругъ, гремя цѣпями, падаютъ на землю, съ чувствомъ несомнѣннаго, искренняго раскаянія. Откуда-же вдругъ такое пробужденіе чувства виновности? Но вѣдь тутъ ихъ зовутъ словами, *одинаковыми для всѣхъ* (и съ разбойникомъ сравниваются тутъ *всѣ люди*), ихъ зовутъ къ пролившему свою кровь *за всѣхъ безъ изъятія;* тутъ, передъ этой *единой* чашей, они чувствуютъ себя дѣйствительно *равными со всѣми людьми*, тутъ и они — не отверженники родной семьи, и вотъ это-то сознаніе размягчаетъ ихъ ожесточившіяся сердца, и они готовы признать себя виноватыми, потому что тутъ оказываются виноватыми *всѣ вообще*. Въ концѣ „Записокъ изъ Мертваго Дома“ Достоевскій спрашиваетъ: „...И сколько силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо ужъ все сказать, вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ, вѣдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ? То-то, кто виноватъ?“

Но и съ этимъ вопросомъ опять-таки мы должны, къ сожалѣнію, обратиться ко всѣмъ странамъ и ко всѣмъ народамъ, такъ какъ вездѣ преступленія являются, въ большей или меньшей степени, слѣдствіемъ несовершенства порядковъ общественныхъ. Многое въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ отзывается собственно нашей жизнью, связано съ нашими порядками, къ счастью, отчасти теперь уже упраздненными. Отжило крѣпостное право — и цѣлый многочисленный разрядъ ссыльныхъ сдѣлался послѣ того невозможнымъ. Смягчилась военная дисциплина, и все рѣже и рѣже должны становиться преступленія, вызывавшіяся прежнею крайнею строгостью. Новый судъ положилъ конецъ тому, что такъ глубоко возмущало составителя „Записокъ изъ Мертваго Дома,“ — необращенію вниманія на побудительныя причины, исключительному при-

нятію въ расчетъ только самаго *факта* преступленія. Право присяжныхъ — даже и признавая фактъ, оправдывать въ извѣстныхъ случаяхъ подсудимаго (право *священное*, безъ всякаго спора, хотя бы на первыхъ порахъ и могли случаться злоупотребленія), въ свою очередь положило конецъ цѣлому разряду прежнихъ каторжниковъ. Подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ преобразованій много должно явиться и другихъ подобнаго рода *изъятій и сокращеній* въ числѣ преступниковъ. Въ самомъ быту арестантовъ многое можетъ улучшиться, при введеніи той или другой новѣйшей, усовершенствованной пенитенціарной системы. Но впечатлѣніе, производимое книгой Достоевскаго, не потеряетъ основной своей силы и послѣ самыхъ рѣшительно-гуманныхъ преобразованій по тюремной части. Вчитываясь въ нее, такъ и чувствуешь, что, какъ бы даже заключеннымъ ни было хорошо въ мѣстахъ заключенія, въ нихъ все-таки будетъ оставаться извѣстная доля озлобленія противъ общества, которое, видя въ нихъ враговъ своихъ, засадило ихъ хотя бы и въ наикомфортабельнѣйшую клѣтку.

Выводъ, невольно остающійся у читателя по прочтеніи книги,—таковъ, что тюрьмы только ограждаютъ общество отъ опасныхъ членовъ, но ни при какихъ условіяхъ, сами по себѣ, не исправляютъ этихъ людей, а потому единственныя дѣйствительныя мѣры противъ преступленій—это мѣры, ихъ *предупреждающія*. Такими же мѣрами могутъ оказаться только тѣ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ привели бы и къ сокращенію числа „униженныхъ и оскорбленныхъ“; но, для подобнаго сокращенія. жизнь должна бы устроиться на такихъ широко-понимаемыхъ началахъ справедливости и человѣчности, какихъ еще нѣтъ нигдѣ. И когда-то они хоть гдѣ-нибудь будутъ!

Вотъ то заключеніе, которое придаетъ книгѣ Достоевскаго значеніе общечеловѣческое, и оно тѣмъ болѣе неотразимо, что авторъ не позволяетъ себѣ ни малѣйшей натяжки, ни малѣйшаго преувеличенія, нигдѣ не впадаетъ въ мелодраматизмъ или фальшивую идеализацію преступленія, а стремится только къ глубинѣ психическаго анализа, имъ

вполнѣ и достигнутой. Это совсѣмъ не то, что мы видимъ у нѣкоторыхъ французскихъ писателей на ту же тему, у которыхъ преступники являются нерѣдко героями, а представители правосудія — какими-то мелодраматическими злодѣями. Дѣло вовсе не въ *злодѣяхъ*, а въ цѣломъ и повсемѣстномъ порядкѣ вещей, жертвою котораго оказываются цѣлые разряды преступниковъ“ *). У Достоевскаго эти послѣдніе, тѣмъ неменѣе, вовсе не являются образцами добродѣтели; они у него только остаются *людьми*, они у него — *несчастные*. Взглядъ Достоевскаго на преступника — это нашъ русскій народный взглядъ, тотъ взглядъ, который заставляетъ каждаго изъ народа съ особымъ радушіемъ подавать свою трудовую копейку именно такому „несчастному“. Но взглядъ этотъ, повидимому, вынесенъ изъ ученія, столь же хорошо извѣстнаго и всему христіанскому міру; взглядъ этотъ непосредственно основывается на словахъ: „не судите, да не судимы будете“ — или: „кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ первый подними камень и брось въ нее“. Не мало было говорено о томъ, до какой степени слабо народъ нашъ усвоилъ себѣ столько уже вѣковъ тому назадъ доставшееся ему просвѣщеніе христіанское. И дѣйствительно, мы замѣчаемъ за нимъ особенную наклонность къ одной обрядности, при несомнѣнныхъ остаткахъ привычекъ и суевѣрныхъ понятій чисто языческихъ; дѣйствительно, ненарушеніе поста нерѣдко соединяется у него съ самымъ вопіющимъ нарушеніемъ первыхъ основъ христіанской, или даже и всякой, нравственности, и вовсе невыдуманными оказываются такіе случаи, что осѣняли себя крестомъ, приступая къ совершенію преступленія. Все это такъ, и никакая ложная сентиментальность въ отношеніяхъ нашихъ къ народу не должна намъ мѣшать признаваться въ этомъ. Но, съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что нѣкоторыя стороны христіанскаго нравственнаго ученія за-

*) Есть, разумѣется, множество преступленій особаго рода, порождаемыхъ не *подавленіемъ личности*, а предоставленіемъ ей, иногда съ самаго дѣтства, *слишкомъ широкаго балующаго и развращающаго простора*; къ такому же широкому простору, въ силу реакціи, склонны стремиться и личности подавляемыя, — и вотъ ихъ-то и имѣетъ въ виду Достоевскій“.

пали, должно быть, уже очень давно въ глубину души нашего народа и однажды запавъ, прочно пустили тамъ корни. Вотъ этимъ-то объясняется и тотъ мягкій, сострадательный взглядъ на преступника, который доставилъ ему у насъ, разумѣется, при вліяніи множества историческихъ обстоятельствъ, нисколько неоскорбительное названіе „несчастнаго“.

* * *

*) Среди ужасовъ Мертваго Дома Достоевскій впервые сознательно повстрѣчался съ правдой народнаго чувства и въ его свѣтѣ ясно увидалъ неправоту своихъ революціонныхъ стремленій. Товарищи Достоевскаго по острогу были въ огромномъ большинствѣ изъ простого народа, и за немногими яркими исключеніями все это были худшіе люди народа. Но и худшіе люди простого народа обыкновенно сохраняютъ то, что теряютъ лучшіе люди интеллигенціи: вѣру въ Бога и сознаніе своей грѣховности. Простые преступники, выдѣляясь изъ народной массы своими дурными дѣлами, нисколько не отдѣляются отъ нея въ своихъ чувствахъ и взглядахъ, въ своемъ религіозномъ міросозерцаніи. Въ мертвомъ домѣ Достоевскій нашелъ настоящихъ „бѣдныхъ (или по народному выраженію несчастныхъ) людей“. Тѣ прежніе, которыхъ онъ оставилъ за собою, еще имѣли убѣжище отъ общественной обиды въ чувствѣ собственнаго достоинства, въ своемъ личномъ превосходствѣ. У каторжниковъ *этого* не было, но было нѣчто большее. Худшіе люди мертваго дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшіе люди интеллигенціи. Если тамъ среди представителей просвѣщенія остатокъ религіознаго чувства заставлялъ его блѣднѣть отъ богохульствъ передового литературы, то тутъ въ мертвомъ домѣ это чувство должно было воскреснуть и обновиться подъ впечатлѣніемъ смиренной и благочестивой вѣры каторжниковъ. Какъ бы за-

*) Владимиръ Соловьевъ. „Три рѣчи въ память Достоевскаго“. Москва 1884 г. (Читаны: 1-я въ 1881 г., 2-я въ 1882 г. и 3-я въ 1883 г.).

бытые церковью, придавленные государствомъ, эти люди вѣрили въ Церковь и не отвергали государства. И въ самую тяжкую минуту за буйной и свирѣпой толпой каторжниковъ всталъ въ памяти Достоевскаго величавый и кроткій образъ крѣпостного мужика Марея, съ любовью ободряющаго испуганнаго барченка. И онъ почувствовалъ и понялъ, что передъ этой высшей Божьей правдой всякая своя самодѣльная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другимъ есть преступленіе.

* * *

*) Самъ Ѳ. М. (Достоевскій) въ томъ, что было имъ продиктовано для своей заграничной біографіи, говоритъ, что въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ онъ подъ вымышленными именами разсказалъ свою жизнь въ каторгѣ и описалъ своихъ прежнихъ товарищей каторжныхъ.“ Самого себя онъ выставилъ тутъ подъ именемъ дворянина Александра Петровича Горянчикова, преступленіе котораго состояло въ убійствѣ изъ ревности... „Записки изъ Мертваго Дома“, продиктовалъ онъ далѣе для иностранной своей біографіи, были прочитаны всей Россіей и до сихъ поръ цѣнятся весьма высоко, хотя порядки и обычаи, описанные въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома,“ давно уже измѣнились въ Россіи. Ѳеодоръ Михайловичъ счелъ нужнымъ указать за границей на эти измѣненія, связывая ихъ, конечно, со всѣми тѣми многообразными измѣненіями, какими обязаны мы Государю Александру Николаевичу. Самое появленіе въ печати „Записокъ изъ Мертваго Дома“ было бы до Александра II немыслимо. Описать, напримѣръ, съ такимъ убійственнымъ реализмомъ тѣ только что вышедшія изъ-подъ палокъ спины, которыя пришлось видѣть Достоевскому въ каторжной больницѣ, можно было только при Царѣ, отмѣнившемъ палки. „Записки“ и во-

---

*) О. Миллеръ „Матеріалы для жизнеописанія Ѳ. М. Достоевскаго.“ Спб. 1883 г.

общс, смѣло можно сказать, не отличаются утайками или недомолвками. Если Достоевскій нашелъ въ нихъ нужнымъ замаскироваться обыкновеннымъ преступникомъ изъ дворянъ, то онъ говоритъ и о настоящихъ политическихъ ссыльныхъ въ особой главѣ, появившейся въ журналѣ „Время“, подъ заглавіемъ „Товарищи“ (Декабрь 1862 г.). **).

**) Еще можно прочитать отзывы о „Запискахъ изъ Мертваго Дома“: въ журналѣ „Вѣкъ“ 1862 г., № 9—10 (статья подъ заглавіемъ „Вопросъ о мѣстахъ заключенія арестантовъ въ Россіи); „Русскомъ Мірѣ“ 1862 г., № 22 (подъ заглав. „На какомъ положеніи надѣваютъ кандалы на привиллегир. сословія“); Сынѣ Отечества“ 1862 г., № 25 (статья А. Х.)

Примѣч. В. Зелинскаго.

„ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ“.

(1866 г.) *).

**) Переберемъ одну за другою всѣ подробности той обстановки, при которой Раскольникову приходилось обдумывать свое положеніе и искать выхода изъ той ловушки, которую разставила ему жизнь; перечислимъ одно за другимъ впечатлѣнія, которыя ложились на его измученную нервную систему; взвѣсимъ и оцѣнимъ всѣ мелкія и мучительныя столкновенія съ грубостью и бездушностью окружающихъ людей, всѣ столкновенія, которыя направляли въ извѣстную сторону теченіе его мыслей,—и потомъ спросимъ себя, оставалась ли за Раскольниковымъ свобода выбора, и въ его ли власти было придти или не придти къ тому дикому абсурду, которымъ закончилась его глухая и одинокая борьба.

Въ ту минуту, когда мы знакомимся съ Раскольниковымъ, онъ старается *„проскользнуть какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ“* мимо квартиры хозяйки, которой онъ долженъ, *и улизнуть, чтобы никто не видалъ*. При этомъ онъ чувствуетъ *какое-то болѣзненное и трусливое ощущеніе*, котораго стыдится и отъ котораго морщится. И это ощущеніе онъ принужденъ испытывать всякій разъ, когда выходитъ на улицу,

---

*) Первоначально появилось въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1866 г., кн. 1—2, 4, 6, 8, 11—12. Отдѣльно: 2-е изд. С.-Пб. 1867 г.

**) Д. И. Писаревъ. „Дѣло“ 1867 г., № 5 („Будничныя стороны жизни“) и въ томъ же журналѣ въ 1868 г., № 8 („Борьба за существованіе“). „Соч. Д. И. Писарева“, часть 9 („Борьба за жизнь“).

Примѣч. В. Зелинскаго.

потому что всякій разъ ему надо проходить по лѣстницѣ, мимо хозяйкиной двери, которая обыкновенно бываетъ отворена. Выходитъ онъ на улицу въ такомъ видѣ, который въ однихъ прохожихъ возбуждаетъ насмѣшку, въ другихъ отвращеніе, въ третьихъ праздное состраданіе. Онъ остается равнодушенъ къ тому впечатлѣнію, которое его лохмотья могутъ произвести на уличную публику. Но почему онъ равнодушенъ? Потому, какъ объясняетъ г. Достоевскій, что въ душѣ его накопилось уже достаточное количество *злобнаго презрѣнія*. Это злобное презрѣніе, составляющее для Раскольникова оборонительное оружіе противъ мелкихъ булавочныхъ уколовъ, которые добрые люди расточаютъ своимъ ближнимъ для препровожденія времени,—пріобрѣтается не легко, покупается не дешевою цѣною, и изображаетъ собою такую почву, на которой могутъ укорениться и созрѣть самыя дикія, мрачныя и отчаянныя намѣренія. Это злобное презрѣніе еще недостаточно защищаетъ его отъ стыда за свою безпомощность, когда ему случается встрѣтиться съ знакомыми или съ прежними товарищами. Онъ тщательно избѣгаетъ такихъ встрѣчъ. Дурной знакъ! Его молодое самолюбіе такъ глубоко изранено разнообразнѣйшими оскорбленіями, что уже нѣтъ той формы дружескаго участія, которая могла бы доставить ему пріятное ощущеніе, и которая не показалась бы ему выраженіемъ обиднаго и высокомѣрнаго состраданія.

Раскольниковъ идетъ къ той старухѣ, которую онъ собирается убить; онъ идетъ закладывать серебряные часы и въ то же время осматривать мѣстность. Старуха даетъ ему за часы полтора рубля и беретъ съ него проценты за мѣсяцъ впередъ, по десяти процентовъ въ мѣсяцъ. Раскольниковъ видитъ и чувствуетъ на самомъ себѣ, какъ люди пользуются страданіями своихъ ближнихъ, какъ искусно и старательно, какъ аккуратно и безопасно они высасываютъ послѣдніе соки изъ бѣдняка, изнемогающаго въ непосильной борьбѣ за жалкое и глупое существованіе. Ненависть и пре[illegible] приливаютъ широкими и ядовитыми волнами въ молодую и воспріимчивую душу Раскольникова

въ то время, когда грязная старуха, паукъ въ человѣческомъ образѣ, тянетъ изъ него все, что можно вытянуть изъ человѣка, находящагося наканунѣ голодной смерти. Ненависть и презрѣніе одолѣваютъ его съ такою силою, что ему становится безконечно отвратительнымъ даже бить эту старуху, даже марать руки ея кровью и ея деньгами, въ которыхъ ему чуются слезы многихъ десятковъ голодныхъ людей, быть можетъ, даже многихъ покойниковъ, умершихъ въ больницѣ, отъ истощенія силъ, или бросившихся въ воду, во избѣжаніе голодной смерти. На минуту все тонетъ для Раскольникова въ какомъ-то туманѣ непобѣдимаго отвращенія. Пропадай эта подлая старуха, пропадай ея грязныя деньги, пропадай я самъ съ моими глупыми страданіями и еще болѣе глупыми планами обогащенія. Наплевалъ бы на всю эту тину человѣческой гнусности, ушелъ бы куда-нибудь, забылся бы, умеръ бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственнаго отвращенія усиливается еще и доводится до своего апогея простымъ ощущеніемъ физической тошноты. Раскольниковъ голоденъ до такой степени, что мысли путаются въ его головѣ. Онъ входитъ въ распивочную, выпиваетъ стаканъ холоднаго пива, и ему вдругъ становится веселѣе и легче; онъ самъ замѣчаетъ, что у него „крѣпнетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренія". Сознательная ненависть къ старухѣ и взглядъ на ея безчестно нажитыя деньги, какъ на средство выбраться изъ затрудненія, одерживаютъ перевѣсъ надъ инстинктивно сильнымъ отвращеніемъ къ грязному убійству. Раскольниковъ замѣчаетъ тотчасъ же, что этотъ поворотъ въ его мысляхъ произошелъ отъ стакана пива, и это простое наблюденіе заставляетъ его плюнуть и сказать: „какое все это ничтожество!" Изъ этого наблюденія онъ видитъ, что онъ не властенъ надъ своими мыслями, что онъ не можетъ подавлять или вызывать ихъ по своему благоусмотрѣнію, и что ему надо будетъ, волею или неволею, идти туда, куда поведутъ его внѣшнія вліянія, дающія его мыслямъ то или другое направленіе. Въ распивочной Раскольниковъ

встрѣчается съ горькимъ пьяницею, отставнымъ чиновникомъ Мармеладовымъ, который комически-витіеватымъ языкомъ разсказываетъ ему свою простую и глубоко-трагическую исторію. Бѣдность, голодные дѣти, грязный уголъ, оскорбленія разныхъ нахаловъ, чахоточная жена, сохраняющая воспоминаніе о лучшихъ дняхъ и убивающая себя работою, старшая дочь, превратившаяся въ публичную женщину, чтобы поддерживать существованіе семейства—вотъ выдающіяся черты той жизни, которой панорама развертывается передъ Раскольниковымъ въ разсказѣ пьянаго Мармеладова. Самъ разсказчикъ нисколько не желаетъ себя выгораживать; съ смиреніемъ, свойственнымъ разговорчивому пьяницѣ, онъ неоднократно называетъ себя свиньею и скотомъ, и доказываетъ очень убѣдительно, что онъ въ самомъ дѣлѣ скотъ и свинья. Онъ объясняетъ Раскольникову, съ чувствомъ искренняго негодованія противъ себя, что пропилъ даже чулки своей жены, пропилъ косыночку изъ козьяго пуха, *„дареную, прежнюю, ея собственную"*, пропилъ въ послѣдніе пять дней свое мѣсячное жалованье, укравши его изъ-подъ замка у жены, вмѣстѣ съ жалованьемъ пропилъ форменное платье и послѣднюю надежду выбраться на чистую дорожку посредствомъ службы, которая была ему доставлена только по особому великодушію какого-то благодѣтеля, его превосходительства Ивана Аоанасьевича, тронувшагося его слезными мольбами и взявшаго его на свою личную отвѣтственность. „Пятый день изъ дома, кончаетъ Мармеладовъ, и тамъ меня ищутъ, и службѣ конецъ, и вицъ-мундиръ въ распивочной у Египетскаго моста лежитъ, взамѣнъ чего и получилъ сіе одѣяніе... и всему конецъ".

До столкновенія съ Мармеладовымъ, Раскольниковъ зналъ коротко только тѣ физическія лишенія, которыя порождаются бѣдностью. Онъ могъ, конечно, дойти и, по всей вѣроятности, доходилъ путемъ теоретическихъ выкладокъ до того заключенія, что бѣдность, придавливая и пригибая человѣка къ землѣ, дѣлая его безотвѣтнымъ и беззащитнымъ, заставляя его ползать и пресмыкаться въ грязи у

ногъ великодушныхъ благодѣтелей, медленно и безвозвратно убиваетъ въ немъ его человѣческое достоинство, но доходить путемъ размышленія до того вывода, что какой-нибудь фактъ возможенъ и дѣйствительно существуетъ, совсѣмъ не то, что встрѣтиться съ этимъ фактомъ лицомъ къ лицу, осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ и вдохнуть въ себя весь его своеобразный ароматъ. Раскольниковъ *никогда до сихъ поръ не входилъ въ распивочныя*, слѣдовательно никогда не видалъ вблизи тѣхъ образчиковъ нравственнаго паденія, которые изготовляются бѣдностью. Мармеладовъ и его разсказъ дѣйствуютъ на него такъ, какъ дѣйствуютъ обыкновенно на юнаго медицинскаго студента тѣ куски разлагающагося человѣческаго мяса, съ которыми онъ встрѣчается и принужденъ знакомиться самымъ обстоятельнымъ образомъ при первомъ своемъ вступленіи въ анатомическій театръ. Прошу читателей извинить меня. Мое сравненіе грѣшитъ тѣмъ, что оно слишкомъ слабо. Оно могло бы сдѣлаться вѣрнымъ только въ томъ случаѣ, если бы мы предположили, что въ анатомическомъ театрѣ производятся вивисекціи надъ самими медицинскими студентами, и что каждый изъ этихъ студентовъ, превратившись подъ ножемъ прозектора въ куски кроваваго и разлагающагося мяса, продолжаетъ, въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, страдать, стонать, метаться, чувствуя и сознавая свое собственное гніеніе. Допустивши это дикое предположеніе и вообразивъ себѣ, какое чувство долженъ испытывать студентъ, вступающій въ анатомическій театръ, знающій заранѣе ту судьбу, которая его ожидаетъ, и встрѣчающійся въ первый разъ съ живыми примѣрами тѣхъ метаморфозъ, которыя скоро должны совершиться надъ нимъ самимъ, мы составимъ себѣ довольно ясное понятіе о томъ, что долженъ былъ передумать и перечувствовать Раскольниковъ, созерцая Мармеладова и выслушивая его пьяную исповѣдь. Всего ужаснѣе въ этой личности и въ этой исповѣди именно то, что Мармеладова невозможно презирать цѣликомъ, презирать такъ, чтобы къ этому призрѣнію не примѣшивалось никакого другого чувства. Глядя

на него, Раскольниковъ не можетъ остановиться и успокоиться на томъ приговорѣ, что это дѣйствительно скотъ и свинья, и что въ этомъ скотѣ или въ этой свиньѣ никогда не было, или, по крайней мѣрѣ, уже не осталось ничего чисто-человѣческаго, ничего такого, въ чемъ просвѣчивало бы его сродство съ самимъ Раскольниковымъ, и въ чемъ таились бы задатки безпредѣльнаго совершенствованія. Мармеладовъ любитъ свою жену и своихъ дѣтей, запоминаетъ всѣ оттѣнки ихъ страданій, и самъ страдаетъ за нихъ и вмѣстѣ съ ними въ то же самое время, когда онъ самъ, своими же собственными руками сталкиваетъ ихъ въ грязную яму безвыходной нищеты, которая уже разрѣшилась для его старшей дочери всѣми муками и пытками вынужденнаго разврата. Мармеладовъ способенъ сознательно уважать свою жену, способенъ оцѣнивать, понимать и прощать естественною деликатностью и чуткостью глубоко-нѣжнаго характера (я бы сказалъ *сердца*, если бы не избѣгалъ этого неточнаго и до крайности опошленнаго выраженія) тѣ взрывы взбалмошной сварливости и несправедливой злости, которымъ подвержена эта измученная чахоточная женщина. „Лежалъ я тогда, говоритъ Мармеладовъ.... ну да ужъ что! лежалъ пьяненькой-съ, и слышу, говоритъ моя Соня (безотвѣтная она, и голосокъ у ней такой кроткій.... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, худенькое), говоритъ: что-жъ, Катерина Ивановна, неужели же мнѣ на такое дѣло пойти? А ужъ Дарья Францовна, женщина злонамѣренная и полиціи многократно извѣстная, раза три черезъ хозяйку навѣдывалась. „А что-жъ, отвѣчаетъ Катерина Ивановна, въ пересмѣшку,— чего беречь? Эко сокровище!“ Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не въ здравомъ разсудкѣ сіе сказано было, а при взволнованныхъ чувствахъ, въ болѣзни и при плачѣ дѣтей не ѣвшихъ, да и сказано болѣе ради оскорбленія, чѣмъ въ точномъ смыслѣ.... Ибо Катерина Ивановна такого ужъ характера, и какъ расплачутся дѣти, хоть бы и съ голоду, тотчасъ же ихъ бить начинаетъ. И вижу я эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка встала, надѣла

платочекъ, надѣла бурнусикъ и съ квартиры отправилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла и прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ передъ ней тридцать цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только нашъ большой драдедамовый зеленый платокъ (общій такой платокъ у насъ есть, драдедамовый), накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ стѣнѣ, только плечики да тѣло все вздрагиваютъ.... А я, какъ и давеча, въ томъ же видѣ лежалъ-съ... И видѣлъ я тогда, молодой человѣкъ, видѣлъ я, какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ въ ногахъ у ней на колѣнкахъ простояла, ноги ей цѣловала, встать не хотѣла, а потомъ такъ обѣ и заснули вмѣстѣ, обнявшись.... обѣ.... обѣ.... да-съ.... а я.... лежалъ пьяненькой-съ....“ Все разсказано просто, ясно и до послѣдней степени отчетливо. Приведены всѣ подробности, которыя могъ подмѣтить очевидецъ, глубоко заинтересованный въ совершавшемся событіи. Подмѣчено все, что могло бросить свѣтъ на характеры обѣихъ женщинъ, все, что могло объяснить и оправдать ихъ поступки, идущія въ разрѣзъ съ правилами той нравственности, которую счастливые люди могутъ и должны считать для себя обязательною, и во имя которой они очень естественнымъ образомъ расположены судить и осуждать своихъ несчастныхъ ближнихъ. Видно изъ каждаго слова разсказа, что впечатлѣнія этого рокового вечера, какъ капли расплавленнаго свинца, падали въ мозгъ жалкаго пьяницы и оставляли въ немъ такіе слѣды, которыхъ не сотрутъ до конца его жизни никакіе винные пары. Все онъ понимаетъ, все объясняетъ, все прощаетъ и оправдываетъ—только для самого себя нѣтъ у него ни одного слова объясненія, прощенія и оправданія. И три раза встрѣчается въ его разсказѣ упоминаніе о томъ голомъ фактѣ, что онъ лежалъ пьяненькій, упоминаніе, похожее на похоронное пѣніе, пропѣтое человѣкомъ надъ самимъ собою. И съ этимъ-то яснымъ пониманіемъ своего глубокаго ничтожества, съ этимъ

неизгладимымъ яркимъ и жгучимъ воспоминаніемъ о событіяхъ рокового вечера, онъ все-таки бѣжитъ въ кабакъ, укравши у жены свои трудовыя деньги, пьянствуетъ безъ просыпу пятеро сутокъ, губитъ всѣ послѣднія надежды своего семейства, и въ довершеніе всѣхъ своихъ подвиговъ, спустивши въ кабакахъ все, что можно было спустить, идетъ выпрашивать у своей дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на послѣдній полуштофъ водки частицу тѣхъ денегъ, которыя она добываетъ отъ искателей легкой и дешевой любви, и которыя составляютъ единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и троихъ вѣчно голодныхъ ребятишекъ. Ясное дѣло, что Мармеладовъ трупъ, чувствующій и понимающій свое разложеніе, трупъ, слѣдящій съ невыразимо-мучительнымъ вниманіемъ за всѣми фазами того ужаснаго процесса, которымъ уничтожается всякое сходство этого трупа съ живымъ человѣкомъ, способнымъ чувствовать, мыслить и дѣйствовать. Это мучительное вниманіе составляетъ послѣдній остатокъ человѣческаго образа; глядя на этотъ послѣдній остатокъ, Раскольниковъ можетъ понимать, что Мармеладовъ не всегда былъ такимъ трупомъ, какимъ онъ видитъ его въ распивочной, за полуштофомъ, купленнымъ на Сонины деньги. Этотъ остатокъ намекаетъ ему на то, что есть тропинка, ведущая къ Мармеладовскому паденію, и что есть возможность спуститься на эту скользкую тропинку даже съ той высоты умственнаго и нравственнаго развитія, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Не даромъ же Мармеладовъ обращается въ распивочной исключительно къ нему одному, и не даромъ же онъ самъ слушаетъ его разсказъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Между ними есть точки соприкосновенія, между ними существуетъ возможность взаимнаго пониманія, и стало быть нѣтъ основаній ручаться за то, чтобы тѣ испытанія, которыя погубили Мармеладова, не обнаружили своего мертвящаго и разлагающаго вліянія надъ Раскольниковымъ. Мармеладова раздавила бѣдность, та самая бѣдность, которая давитъ Раскольникова, и уже довела его до изнурительной апатіи и

до дикихъ мыслей о грабежѣ и убійствѣ. Мармеладовъ не вынесъ своихъ страданій, осложненныхъ страданіями продолжительными и разнообразными, то острыми, то хроническими страданіями тѣхъ людей, которые были ему дороги, и которыхъ существованіе онъ одинъ могъ и одинъ обязанъ былъ обезпечивать. Мармеладовъ не вынесъ и сталъ искать себѣ минутнаго забвенія; онъ *прикоснулся*, какъ онъ самъ выражается, и прикоснулся по тому самому побужденію, по которому человѣкъ, страдающій невыносимою зубною болью, кладетъ себѣ опіумъ или хлороформъ въ дупло больного зуба. Мармеладовъ сдѣлался врагомъ, разорителемъ и мучителемъ своего семейства, такъ нечувствительно и незамѣтно для самого себя, какъ человѣкъ, пристрастившійся къ леченію посредствомъ [illegible]а, становится сознательно губителемъ собственнаго здоровья. Мармеладовъ не принималъ никакихъ противозаконныхъ и насильственныхъ мѣръ противъ своей нищеты; онъ просто падалъ, вязнулъ и тонулъ, потому что у него не хватало силъ стоять на ногахъ, и потому что его ноги не находили себѣ твердой точки опоры въ той бездонной трясинѣ, которая изъ году въ годъ поглощаетъ сотни и тысячи бѣдныхъ людей. Результатъ, къ которому онъ пришелъ путемъ этого краткаго и пассивнаго погруженія въ болото нищеты, разоблачился передъ Раскольниковымъ во всей наготѣ своего потрясающаго безобразія. При томъ направленіи, которое уже было дано мыслямъ Раскольникова, при томъ планѣ, по которому уже складывались и созрѣвали его намѣренія, видъ трупа, доведеннаго до разложенія собственною пассивностью и кротостью, долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова такъ, какъ можетъ подѣйствовать ударъ каленымъ желѣзомъ на бѣшеную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ея образъ дѣйствій также наводятъ Раскольникова на такія размышленія, которыя могутъ только расчищать передъ нимъ дорогу къ преступленію. Во-первыхъ, у Раскольникова есть сестра, дѣвушка молодая, умная, образованная, и красавица собою. Раскольниковъ любитъ свою сестру такъ же сильно, какъ Мармеладовъ любитъ

свою старшую дочь. Но къ чему годится эта сильная любовь бѣднаго, задавленнаго и безсильнаго человѣка? Отъ чего можетъ защитить и куда можетъ привести такая любовь? Пользуясь этою любовью, Авдотья Романовна Раскольникова такъ же точно можетъ очутиться въ безотчетномъ распоряженіи уличныхъ ловеласовъ, какъ очутилась въ ихъ распоряженіи Софья Семеновна Мармеладова. Невозможно разсчитывать навѣрное даже и на тотъ исходъ, что самоубійство спасетъ Авдотью Романовну отъ вынужденнаго разврата. Можетъ быть, Софья Семеновна также съумѣла бы броситься въ Неву; но бросаясь въ Неву, она не могла бы выложить на столъ предъ Катериною Ивановною тридцать цѣлковыхъ, въ которыхъ заключается весь смыслъ и все оправданіе ея безнравственнаго поступка. Бываютъ въ жизни такія положенія, которыя убѣждаютъ безпристрастнаго наблюдателя въ томъ, что самоубійство есть роскошь, доступная и позволительная только обезпеченнымъ людямъ. Очутившись въ такомъ положеніи, человѣкъ научается понимать выразительную пословицу: куда ни кинь, все клинъ. Къ такому положенію оказываются неприменимыми правила и предписанія общепринятой житейской нравственности. Въ такомъ положеніи, точное соблюденіе каждаго изъ этихъ превосходныхъ правилъ и предписаній приводитъ человѣка къ какому-нибудь вопіющему абсурду. То, что при обыкновенныхъ условіяхъ было бы священною обязанностью, начинаетъ казаться человѣку, попавшему въ исключительное положеніе, презрѣннымъ малодушіемъ или даже явнымъ преступленіемъ; то, что при обыковенныхъ условіяхъ возбудило бы въ человѣкѣ ужасъ и отвращеніе, начинаетъ казаться ему необходимымъ шагомъ или геройскимъ подвигомъ, когда онъ находится подъ гнетомъ своего исключительнаго положенія. И не только самъ человѣкъ, подавленный исключительнымъ положеніемъ, теряетъ способность рѣшать нравственные вопросы такъ, какъ они рѣшаются огромнымъ большинствомъ его современниковъ и соотечественниковъ, но даже и безпристрастный наблюдатель, вдумываясь въ такое исключительное положеніе, останавли-

вается въ недоумѣніи и начинаетъ испытывать такое ощущеніе, какъ будто бы онъ попалъ въ новый особенный, совершенно фантастическій міръ, гдѣ все дѣлается навыворотъ, и гдѣ наши обыкновенныя понятія о добрѣ и злѣ не могутъ имѣть никакой обязательной силы. Что вы скажете, въ самомъ дѣлѣ, о поступкѣ Софьи Семеновны? Какое чувство возбудитъ въ васъ этотъ поступокъ: презрѣніе или благоговѣніе? Какъ вы назовете ее за этотъ поступокъ грязною потаскушкою, бросившею въ уличную лужу святыню своей женской чести, или великодушною героинею, принявшею съ спокойнымъ достоинствомъ свой мученическій вѣнецъ? Какой голосъ эта дѣвушка должна принять за голосъ совѣсти, тотъ ли, который ей говорилъ: „сиди дома и терпи до конца; умирай съ голоду вмѣстѣ съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и съ сестрами, но сохраняй до послѣдней минуты свою нравственную чистоту“, — или тотъ, который говорилъ: не жалѣй себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси, утѣшь, поддержи этихъ людей, накорми и обогрѣй ихъ хоть на недѣлю, во что бы то ни стало? Я очень завидую тѣмъ изъ моихъ читателей, которые могутъ и умѣютъ рѣшать съ плеча, безъ оглядки и безъ колебаній вопросы, подобные предыдущему. Я самъ долженъ сознаться, что передъ такими вопросами я становлюсь въ тупикъ; противоположныя воззрѣнія и доказательства сталкиваются между собою; мысли путаются и мѣшаются въ моей головѣ; я теряю способность оріентироваться и анализировать; начинается тревожное и мучительное исканіе какой-нибудь твердой точки и какого-нибудь возможнаго выхода изъ заколдованнаго круга, созданнаго исключительнымъ положеніемъ. Кончается-ли это исканіе какимъ-нибудь положительнымъ результатомъ, нахожу-ли я точку опоры и удается-ли мнѣ замѣтить выходъ—объ этомъ я не скажу моимъ читателямъ ни одного слова.

Если здѣсь возможенъ какой-нибудь положительный результатъ, то онъ во всякомъ случаѣ долженъ показаться читателямъ такою выдумкою, которая въ высшей степени

похожа на абсурдъ или на парадоксъ. Но, такъ какъ съ одной стороны бросать бисеръ передъ свиньями нерасчетливо и неблагоразумно, то, съ другой стороны, также неблагоразумно и нерасчетливо, и, кромѣ того, даже очень невѣжливо предлагать предметы, годные только для свиней, какъ то жолуди и отруби, такимъ особамъ, передъ которыми слѣдуетъ разсыпать чистый бисеръ. Поэтому, если бы даже я имѣлъ несчастье добраться путемъ моихъ размышленій до обильнаго запаса жолудей и отрубей, то я бы тщательно скрылъ отъ моихъ благовоспитанныхъ читателей мое неприличное открытіе. Это было бы тѣмъ болѣе удобно, что, въ настоящемъ случаѣ, насъ занимаетъ исключительно вопросъ о томъ: какимъ образомъ разсказъ Мармеладова о поступкѣ Сони долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова? Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительныхъ колебаній во взглядѣ на этотъ поступокъ. Раскольниковъ не могъ быть безпристрастнымъ наблюдателемъ. Раскольниковъ самъ былъ въ высшей степени ожесточенъ трудностями своего собственнаго положенія: на его душѣ накопилось, какъ мы уже видѣли выше, много злобнаго презрѣнія къ обществу, къ его законамъ и ко всѣмъ его установившимся нравственнымъ понятіямъ. Онъ самъ уже былъ коротко знакомъ съ тою опасною мыслью, что бѣднякъ, которому общество отказываетъ въ работѣ и въ кускѣ хлѣба, долженъ поневолѣ вступить въ открытую войну съ этимъ обществомъ, и вести эту войну всѣми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и безсовѣстно всѣ предписанія нравственнаго закона. То обстоятельство, что Соня шла наперекоръ общественному мнѣнію, должно было подкупить Раскольникова въ пользу ея поступка. Въ этомъ поступкѣ онъ могъ видѣть только то высокое самоотверженіе, съ которымъ Соня рѣшилась надѣть мученическій вѣнецъ и выпить до дна чашу униженія и страданія. Онъ могъ только почувствовать къ Сонѣ восторженное уваженіе за то, что она, подобно Курцію, бросилась въ пропасть и согласилась сдѣлаться искупительною жертвою за цѣлое семейство. При этомъ, разумѣется,

онъ долженъ былъ также сообразить, что пропасть, въ которую бросилась Соня, все-таки остается открытою, и что семейство, за которое принесена жертва, все-таки остается неискупленнымъ, такъ что младшія сестры Сони сохраняютъ за собою всѣ шансы отправиться въ свое время по ея слѣдамъ. Примѣръ Сони долженъ былъ съ одной стороны, возбудить въ немъ соревнованіе, а съ другой стороны подѣйствовать на него, какъ предостереженіе. Съ одной стороны, онъ долженъ былъ подумать: вѣдь вотъ въ самомъ дѣлѣ, эта Соня! Семнадцатилѣтняя дѣвушка, слабая, робкая, безотвѣтная, забитая, не развитая, опутанная всякими рутинными понятіями и предразсудками,—а какъ пришлось очень круто, такъ сумѣла же рѣшиться, и нашла возможность дѣйствовать. Не осталась же она дома, чтобы сидѣть сложа руки, хныкать надъ пьянымъ отцомъ, надъ больною мачихою, надъ голодными ребятами, или въ тысячный разъ затыкать трудовыми копеечками такую прорѣху, на которую очевидно требовались рубли, добытые какими бы то ни было средствами. Нѣтъ. Посидѣла, поплакала, надумалась, вышла на улицу, бросилась прямо въ грязь и выкопала изъ этой грязи тридцать рублей для семейнаго бюджета. А я то чего же смотрю. Я то, мужчина, сильный человѣкъ, свободный мыслитель, строгій судья существующихъ нелѣпостей! Развѣ я неспособенъ понять, что мое положеніе не поправляется грошевыми уроками? Развѣ я считать не умѣю? Или я можетъ быть боюсь столкновенія съ существующими понятіями, боюсь того, чего не боялась Соня? Или я жду того, чтобы сестра Дуня приняла на себя обязанности искупительной жертвы за наше семейство и погибла бы такъ же безтолково и такъ же безплодно, какъ погибла эта Соня? Или я просто на словахъ города беру, а на дѣлѣ поджимаю хвостъ передъ простымъ городовымъ.

Съ другой стороны, онъ долженъ былъ подумать: не стоитъ мараться по мелочамъ и изъ-за пустяковъ. Ужъ если бросаться въ грязь, то бросаться не изъ-за тридцати цѣлковыхъ, и ужъ, конечно, не такъ нерасчетливо, какъ бро-

силась эта Соня. Надо сильно рискнуть, чтобы много выиграть. Надо такъ—или панъ или пропалъ! — А то ужь лучше лежать дома на диванѣ, хлебать вчерашнія Настасьины щи, прятаться отъ хозяйки, бѣгать высуня языкъ за грошевыми уроками, какъ за кладомъ, который все не дается въ руки,—и при этомъ утѣшать себя пріятнымъ сознаніемъ своей незапятнанной честности.—Я убѣдительно прошу читателей не думать, что я сколько-нибудь одобряю эти размышленія Раскольникова; я нахожу напротивъ того, что его ироническія отношенія къ незапятнанной честности и къ упорному труду, получающему конечное вознагражденіе, въ высшей степени предосудительны; я вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что его мысли — дурныя, вредныя и опасныя мысли. Я только осмѣливаюсь утверждать и стараюсь доказывать, что эти мысли были неизбѣжными продуктами его невыносимаго положенія; въ этихъ мысляхъ проявилась та болѣзнь, которая развилась въ немъ подъ вліяніемъ его лишеній и разнообразныхъ страданій, та болѣзнь, которую нельзя назвать помѣшательствомъ, но которая все-таки ведетъ и должна вести человѣка къ нелѣпымъ и безобразнымъ поступкамъ. При тѣхъ условіяхъ, которыя давили Раскольникова, у него не могло быть никакихъ другихъ мыслей. Поставьте на мѣсто Раскольникова какого-нибудь другого человѣка обыкновенныхъ размѣровъ, развившагося иначе и смотрящаго на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тотъ же самый результатъ. Невыносимое положеніе воспитаетъ въ немъ ту же самую болѣзнь, и всѣ его мысли примутъ то же самое вредное и опасное направленіе. Онъ убѣдитъ себя въ томъ, что общество обращается съ нимъ, какъ съ голоднымъ волкомъ, и что ему остается только принять на себя эту странную роль со всѣми ея возможными послѣдствіями, со всѣми ея своеобразными правами и обязанностями, со всѣми ея удобствами и неудобствами.

Будемъ теперь слѣдить дальше за тѣми впечатлѣніями, которыя доставались на долю Раскольникова и могли обнаруживать на общее теченіе его мыслей то или другое влі-

яніе. На другой день послѣ посѣщенія распивочной, Раскольниковъ получаетъ письмо отъ своей матери. Видъ этого письма дѣйствуетъ на него очень сильно: „Письмо, говоритъ г. Достоевскій, дрожало въ рукахъ его; онъ не хотѣлъ распечатывать при ней (при Настасьѣ): ему хотѣлось остаться *наединѣ* съ этимъ письмомъ. Когда Настасья вышла, онъ быстро поднесъ его къ губамъ и поцѣловалъ, потомъ долго еще вглядывался въ почеркъ адреса, въ знакомый и милый ему мелкій почеркъ его матери, учившей его когда-то читать и писать. Онъ медлилъ; онъ даже какъ будто боялся чего-то“. Если человѣкъ такимъ образомъ принимаетъ и держитъ нераспечатанное письмо, то вы можете себѣ представить, какъ онъ будетъ читать его по строкамъ, и между строками, какъ онъ будетъ всматриваться въ каждый оттѣнокъ и поворотъ мысли, какъ онъ въ словахъ и подъ словами будетъ отыскивать затаенную мысль, отыскивать то, что лежало, быть можетъ, тяжелымъ камнемъ на душѣ писавшей особы, и что скрывалось самымъ тщательнымъ образомъ отъ пытливыхъ глазъ любимаго сына. Начинается чтеніе. Начинается одна изъ самыхъ утонченныхъ пытокъ, какія только могутъ выпасть на долю бѣднаго человѣка, еще не доведеннаго гнетущею нищетою до тупости, безчувственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Изъ этихъ драгоцѣнныхъ строкъ, согрѣтыхъ кроткимъ и мягкимъ сіяніемъ безпредѣльной материнской нѣжности, сыплются на изнемогающаго Раскольникова такіе жгучіе удары, которые могутъ быть нанесены ему именно только рукою любящей матери. Письмо написано самымъ добрымъ и веселымъ тономъ, и наполнено самыми пріятными извѣстіями, и вслѣдствіе этого мучительность пытки становится еще болѣе утонченною. Письмо начинается самыми горячими выраженіями любви: „ты знаешь, какъ я люблю тебя, ты одинъ у насъ, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упованіе наше“. Затѣмъ слѣдуютъ извѣстія о сестрѣ: „Слава тебѣ Господи, кончились ея истязанія, но разскажу тебѣ все попорядку, чтобы ты узналъ, какъ все было, и что мы отъ тебя до сихъ поръ скрывали“. Такъ какъ Расколь-

никову пишутъ объ *окончившихся* истязаніяхъ, и при этомъ признаются, что отъ него *до сихъ поръ* скрывали многое, — или даже все, то ему представляется полнѣйшее право думать, что теперь начинаются новыя истязанія, которыя также будутъ отъ него скрываться до тѣхъ поръ, пока они въ свою очередь не превратятся въ окончившіяся. Раскольниковъ, конечно, съ внимательностью, свойственною сильно любящему человѣку, наматываетъ себѣ на усъ это полезное указаніе, и продолжаетъ чтеніе съ твердою рѣшимостью разглядѣть между радостными строками эти начинающіяся или уже начавшіяся истязанія. Касательно окончившихся истязаній въ письмѣ сообщаются слѣдующія подробности. Дуня поступила гувернанткою въ домъ господъ Свидригайловыхъ, и забрала впередъ *цѣлыхъ сто рублей*, „болѣе для того, чтобы выслать тебѣ шестьдесятъ рублей, въ которыхъ ты тогда такъ нуждался, и которые ты и получилъ отъ насъ въ прошломъ году". Закабаливъ себя такимъ образомъ на нѣсколько мѣсяцевъ, Дуня принуждена была переносить грубости г. Свидригайлова, стараго кутилы, трактирнаго героя и уличнаго донъ-Жуана, который, какъ сказано въ письмѣ, *по старой привычкѣ своей, находился часто подъ вліяніемъ Бахуса*. Отъ грубостей и насмѣшекъ г. Свидригайловъ перешелъ къ настойчивому ухаживанію и усиленно сталъ приглашать Дуню къ побѣгу за границу. Супруга г. Свидригайлова, Марѳа Петровна, влюбленная въ мужа по уши, въ высшей степени взбалмошная и ревнивая до крайности, подслушала *своего мужа, умоляющаго Дунечку въ саду*, перепутала въ своей убогой головѣ всѣ обстоятельства дѣла, выскочила изъ своей засады какъ бѣшеная кошка, собственноручно отколотила Дуню, „не хотѣла ничего слушать, а сама цѣлый часъ кричала, и, наконецъ, приказала тотчасъ же отвезти Дуню въ городъ, на простой крестьянской телѣгѣ, въ которую сбросили всѣ ея вещи, бѣлье, платья, все какъ случилось, неувязанное и неуложенное. А тутъ поднялся проливной дождь, и Дуня оскорбленная и опозоренная, должна была проѣхать съ мужикомъ цѣлыхъ семнадцать верстъ въ некрытой телѣгѣ".

Этимъ мщеніемъ не удовлетворилась разгнѣванная Юнона. Пріѣхавъ въ городъ, она стала такъ успѣшно звонить во всѣхъ домахъ о своихъ семейныхъ несчастіяхъ и о преступленіяхъ безстыжей дѣвки Авдотьи Раскольниковой, что мать и сестра нашего героя были принуждены запереться дома *отъ подозрительныхъ взглядовъ и шептаній.* Всѣ знакомые отъ нихъ отстранились, всѣ перестали имъ кланяться; шайка негодяевъ изъ купеческихъ приказчиковъ и канцелярскихъ писцовъ, всегда готовыхъ бить и оплевывать всякаго лежачаго, стремилась даже принять на себя роль мстителей за outrage à la morale publique, и собиралась вымазать дегтемъ ворота того дома, въ которомъ жила коварная соблазнительница цѣломудреннаго г. Свидригайлова. Хозяева дома, пылая тѣмъ же добродѣтельнымъ негодованіемъ и преклоняясь передъ непогрѣшимымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія, коноводомъ котораго являлась постоянно бѣшеная дура Марѳа Петровна, потребовали даже, чтобы госпожи Раскольниковы очистили квартиру отъ своего тлетворнаго и компрометирующаго присутствія.

Наконецъ, дѣло разъяснилось. Свидригайловъ предъявилъ своей бѣсноватой супругѣ письмо Авдотьи Романовны, написанное за долго до трагической сцены въ саду, и доказывавшее очевидно, что во всемъ былъ виноватъ только одинъ старый селадонъ. Изъ этого письма Марѳа Петровна извлекла себѣ новыя и въ высшей степени драгоцѣнныя средства разнообразить, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, безконечные досуги своей сытой и сонной жизни. Съ искреннимъ увлеченіемъ праздной и пустой женщины, которая со скуки готова съ одинаковымъ наслажденіемъ злословить и благотворить, клеветать и вышивать подвѣски къ паникадиламъ, устраивать концерты въ пользу бѣдныхъ и сѣчь на конюшнѣ беременныхъ горничныхъ, — Марѳа Петровна напустила на себя раскаянье, прискакала въ городъ, влетѣла въ квартиру Раскольниковыхъ, наводнила эту квартиру потоками своихъ дешевыхъ слезъ, попробовала задушить Дуню и ея мать въ своихъ непрошеныхъ объятіяхъ и потомъ принялась бѣгать по городу и перезванивать по

новому всю исторію, съ приличнымъ акомпаниментомъ вздоховъ, криковъ, рыданій, сморканій и пѣвучихъ проклятій, направленныхъ на коварнаго изверга и жестокаго тирана ея нѣжной и пылающей души. Почтенные обитатели города встрепенулись и обрадовались новому обороту дѣла, которое уже казалось поконченнымъ, обрадовались такъ же безкорыстно и простодушно, какъ они обрадовались бы извѣстію о томъ, что въ ихъ городѣ родился поросенокъ о двухъ головахъ, или что черезъ ихъ захолустье проѣдетъ въ скоромъ времени какое-нибудь белуджистанское посольство. Нашлась для людей неожиданная возможность о чемъ-то говорить и прикидываться въ продолженіе нѣсколькихъ дней, что они о чемъ-то думаютъ и чѣмъ-то озабочены. Дунечка сдѣлалась героинею дня, то-есть, всѣ пошляки и негодяи города, всѣ сплетники и сплетницы, всѣ безмозглые и бездушные руководители и руководительницы такъ называемаго общественнаго мнѣнія, присвоили себѣ право и вмѣнили себѣ въ священную обязанность заглядывать своими глупыми глазами въ душу оскорбленной дѣвушки, ходить своими грязными руками и ногами по всѣмъ закоулкамъ ея недавняго страданія, и комментировать силами своихъ куриныхъ умовъ такіе оттѣнки чувства и проблески мысли, до которыхъ имъ самимъ удастся возвыситься только тогда, когда они сумѣютъ укусить собственный локоть. Дунечка сдѣлалась поводомъ для цѣлаго ряда литературныхъ чтеній. Мареѣ Петровнѣ „пришлось нѣсколько дней сряду объѣзжать всѣхъ въ городѣ, такъ какъ иные стали обижаться, что другимъ оказано было предпочтеніе, и такимъ образомъ завелись очереди; такъ что въ каждомъ домѣ уже ждали заранѣе и всѣ знали, что въ такой-то день Мареа Петровна будетъ тамъ-то читать это письмо, и на каждое чтеніе опять-таки собирались даже и тѣ, которые письмо уже нѣсколько разъ прослушали и у себя въ домахъ, и у другихъ знакомыхъ, по очереди“. Къ довершенію благополучія и къ окончательному увѣнчанію оправданной добродѣтели, почтенный и солидный человѣкъ, *уже надворный совѣтникъ*, составившій се-

бѣ капиталъ, и раздѣляющій во многомъ, какъ онъ самъ выражается, *убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ*, словомъ, ходячая квинтессенція всей приличной и самодовольной пошлости, украшающей своимъ существованіемъ тотъ городъ, въ которомъ живутъ госпожи Раскольниковы. подноситъ Авдотьѣ Романовнѣ руку и сердце, въ видѣ высокой и торжественной награды за незаслуженныя страданія. Имя этого благодѣтеля — Петръ Петровичъ Лужинъ. Онъ дальній родственникъ Марѳы Петровны, которая очень горячо мастеритъ это дѣло, потому что она женщина богатая, вліятельная, великодушная и подверженная припадкамъ внезапнаго вдохновенія, потому что она вольна казнить, вольна и миловать ничтожество, подобное Дунѣ Раскольниковой, и еще потому, что это казненіе и милованіе, игриво чередуясь между собою, пріятно разнообразятъ идиллію ея сельской жизни. Все вниманіе Раскольникова сосредоточивается на Петрѣ Васильевичѣ Лужинѣ; Раскольниковъ догадывается съ первыхъ словъ письма объ этомъ щекотливомъ сюжетѣ, что начинающіяся истязанія, о которыхъ ему, разумѣется, не пишутъ и не будутъ писать, какъ не писали о грубостяхъ и любезностяхъ г. Свидригайлова и о воинственныхъ подвигахъ его супруги, — идутъ теперь отъ солиднаго человѣка, уже составившаго себѣ капиталъ и раздѣляющаго во многомъ убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ. Въ своемъ письмѣ, мать Раскольникова, Пульхерія Александровна, говоря о Лужинѣ, носится между Сциллою и Харибдою. Съ одной стороны, ей необходимо расположить сына въ пользу Петра Петровича, чтобы состоялась свадьба, на которой основываются многія ея надежды. Съ другой стороны, ей надо соблюдать въ похвалахъ очень большую осторожность и умѣренность, потому что ея сыну предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ личная встрѣча съ Петромъ Петровичемъ, встрѣча, которая, въ случаѣ сильнаго разочарованія со стороны молодого и пылкаго Раскольникова, можетъ кончиться неожиданнымъ и рѣшительнымъ разрывомъ. Дуня уже дала Петру Петровичу свое согласіе, и мать старается убѣдить себя, что ея дочь

будетъ, если и не совсѣмъ счастлива, то, по крайней мѣрѣ, и не слишкомъ несчастлива. Она видитъ ясно въ Лужинѣ черствость, мелочность, скаредность и тщеславіе; ее коробитъ отъ всѣхъ этихъ украшеній того человѣка, въ рукахъ котораго будетъ находиться жизнь ея дочери, она чувствуетъ, что Дуня добровольно и сознательно беретъ на себя очень тяжелый крестъ; но и мать, и дочь, обѣ дорожатъ предположеннымъ бракомъ и считаютъ его за счастье, потому что онъ даетъ имъ возможность, по крайней мѣрѣ, неопредѣленную надежду вытащить безцѣннаго Родю, то-есть нашего героя, изъ болота нищеты на гладкую и твердую дорогу. Въ своемъ письмѣ, Пульхерія Александровна старается говорить о Лужинѣ спокойно, весело и развязно; она старается показать, что онѣ съ дочерью не обманываютъ себя фантастическими надеждами, что онѣ видятъ ясно всѣ достоинства и недостатки жениха, всѣ удобства и неудобства предположеннаго брака, и что ихъ согласіе дано послѣ зрѣлаго и хладнокровнаго обсужденія вопроса со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Но Раскольниковъ изъ письма своей матери выноситъ совсѣмъ не то впечатлѣніе, на которое разсчитывала Пульхерія Александровна. Раскольниковъ видитъ ясно, что тутъ не было никакого хладнокровія и никакого обсужденія; онъ видитъ, что все было рѣшено обѣими женщинами въ чаду самопожертвованія, и что онѣ обѣ, и мать и дочь, стараются поддерживать этотъ чадъ, занимаясь построеніемъ воздушныхъ замковъ, которые, разумѣется, всѣ безъ исключенія относятся къ участи Родіона Романовича Раскольникова. Въ письмѣ говорится, что Лужинъ *и тебѣ можетъ быть весьма полезенъ, и что ты, даже съ теперешняго же дня, могъ бы опредѣленно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно опредѣлившеюся*... Дуня только и мечтаетъ объ этомъ... Дуня ни о чемъ кромѣ этого и не думаетъ. Она теперь, уже нѣсколько дней, просто въ какомъ-то жару и составила уже цѣлый проектъ о томъ, что впослѣдствіи ты можешь быть товарищемъ и даже компаніономъ Петра Петровича по его тяжебнымъ заня-

тіямъ, тѣмъ болѣе, что ты самъ на юридическомъ факультетѣ".

То дѣйствіе, которое должно произвести на Раскольникова радостное письмо его матери о радостномъ событіи, случившемся съ его сестрою, такъ ясно и понятно, что о немъ нечего много распространяться. Параллель между Сонею и Дунею сама собою напрашивается въ его голову; онъ думаетъ, что если только онъ позволитъ совершиться той жертвѣ, которая должна купить ему карьеру и обезпеченное существованіе, то онъ самъ упадетъ ниже отставного чиновника Мармеладова; у того есть, по крайней мѣрѣ, хоть несчастная страсть, которою объясняется его способность помириться съ чѣмъ бы то ни было; у того есть, по крайней мѣрѣ, та оговорка, что онъ человѣкъ мало развитой и уже достаточно принюхавшійся ко всевозможной грязи; а Раскольникову приходится идти на компромиссы съ своею совѣстью въ то время, когда онъ видитъ насквозь, до послѣднихъ подробностей, всю отвратительность этихъ компромиссовъ, когда его нравственная зоркость и чуткость непритуплены ни пьянствомъ, ни обществомъ грязныхъ кутилъ и погибшихъ горемыкъ, ни лѣтами. Раскольниковъ рѣшаетъ, что онъ ни за что не пойдетъ на такіе компромиссы. „Не бывать этому браку, пока я живъ, говоритъ онъ, и къ чорту г. Лужина". Письмо его матери кладетъ конецъ той апатіи, которая давила его въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль. Онъ видитъ ясно, что ему необходимо дѣйствовать; но теперь болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, онъ убѣждаетъ себя въ томъ, что честный трудъ, какъ бы онъ ни былъ упоренъ, не приведетъ его ни къ чему. „Не бывать? говоритъ онъ самъ себѣ. А что-же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имѣешь? Что ты имъ можешь обѣщать въ свою очередь, чтобы право такое имѣть? Всю судьбу свою, всю будущность имъ посвятить, *когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь?* Слышали мы это, да вѣдь это *буки*, а теперь? Вѣдь тутъ надо теперь же что-нибудь сдѣлать, понимаешь ты это? А ты что теперь дѣлаешь? Обираешь ихъ же. Вѣдь

деньги-то имъ подъ сторублевый пенсіонъ, да подъ господъ Свидригайловыхъ подъ закладъ достаются! Отъ Свидригайловыхъ-то, отъ Аѳанасія-то Ивановича Вахрушина, чѣмъ ты ихъ убережешь, милліонеръ будущій, Зевесъ, ихъ судьбою располагающій? Черезъ десять-то лѣтъ? Да въ десять-то лѣтъ мать успѣетъ ослѣпнуть отъ косынокъ, а пожалуй что и отъ слезъ; отъ поста исча[illegible]; а сестра? Ну, придумай-ка, что можетъ случиться [illegible]строй черезъ десять лѣтъ, али въ эти десять лѣтъ? [illegible]лся?" Раскольниковъ находится въ такомъ положеніи, [illegible]которомъ всѣ лучшія силы человѣка поворачиваются п[illegible]ь него самого и вовлекаютъ его въ безнадежную борь[illegible] съ обществомъ. Самыя святыя чувства и самыя чисть[illegible] стремленія, тѣ чувства и стремленія, которыя обы[illegible]нно поддерживаютъ, ободряютъ и облагороживаютъ [illegible]а, становятся вредными и разрушительными страстями, когда человѣкъ лишается возможности доставлять имъ правильное удовлетвореніе. Раскольникову хотѣлось во что бы то ни стало покоить и лелѣять свою старую мать, доставлять ей тѣ скромныя удобства жизни, которыя были ей необходимы, избавлять ее отъ томительныхъ заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба; ему хотѣлось далѣе, чтобы сестра его была ограждена въ настоящемъ отъ дерзостей разныхъ Свидригайловыхъ, а въ будущемъ отъ участи, постигшей Соню Мармеладову; или отъ необходимости выйти замужъ безъ любви за какого-нибудь деревяннаго человѣка, подобнаго г. Лужину. Самый строгій моралистъ не найдетъ въ этихъ желаніяхъ ничего предосудительнаго или нескромнаго; самый строгій моралистъ даже похвалитъ Раскольникова за эти желанія, и пожелаетъ, въ интересахъ его собственнаго нравственнаго совершенствованія, чтобы Раскольниковъ, въ теченіе всей своей жизни, постоянно любилъ мать и сестру, и самымъ ревностнымъ образомъ, не жалѣя силъ и энергіи, заботился объ ихъ участи. Моралистъ нашелъ бы даже, по всей вѣроятности, что Раскольниковъ поступилъ бы очень дурно, если бы сбавилъ что-нибудь изъ своихъ [illegible]бованій, потому что сбавлять нечего, и всякая сбавка

сопряжена съ очевиднымъ и неизбѣжнымъ ущербомъ для человѣческаго достоинства его матери и его сестры. Но эти требованія остаются законными, разумными и похвальными только до тѣхъ поръ, пока у Раскольникова имѣются матеріальныя средства, которыми онъ дѣйствительно можетъ покоить свою мать и спасать отъ безчестія свою сестру. Пока Раскольниковъ обезпеченъ имѣніемъ, капиталомъ или трудомъ, до тѣхъ поръ ему предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать ихъ отъ лишеній и оскорбленій, и даже въ случаѣ надобности, принимать на самого себя тѣ удары судьбы, которые предназначаются имъ, слабымъ и безотвѣтнымъ женщинамъ. Но какъ только матеріальныя средства истощаются, такъ тотчасъ же, вмѣстѣ съ этими средствами, у Раскольникова отбирается право носить въ груди человѣческія чувства, такъ точно, какъ у обанкротившагося купца отбирается право числиться въ той или въ другой гильдіи. Любовь къ матери и къ сестрѣ, и желаніе покоить и защищать ихъ становятся противозаконными и противообщественными чувствами и стремленіями съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Кто не можетъ по человѣчески кормиться и одѣваться, тотъ не долженъ также думать и чувствовать по человѣчески. Въ противномъ случаѣ, человѣческія мысли и чувства разрѣшатся такими поступками, которые произведутъ неизбѣжную коллизію между личностью и обществомъ. Попавши въ свое исключительное положеніе, Раскольниковъ очутился на распутьѣ; очень похожемъ на то распутье, о которомъ говорится въ сказкахъ, и въ которомъ одна дорога обѣщаетъ гибель коню, другая — всаднику, а третья — обоимъ. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться отъ всего, что было ему дорого и свято въ себѣ самомъ и въ окружающемъ мірѣ, или вступить за свою святыню въ отчаянную борьбу съ обществомъ, въ такую борьбу, въ которой уже невозможно будетъ разбирать средствъ. „Или отказаться отъ жизни совсѣмъ, вскричалъ онъ вдругъ въ

изступленіи, послушно принять судьбу, какъ она есть, разъ навсегда, и задушить въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права дѣйствовать, жить и любить!" Раскольникову казалось, что ему надо непремѣнно, или сдѣлаться трупомъ, подобнымъ Мармеладову, или рѣшиться на преступленіе, и что необходимо сдѣлать выборъ немедленно, прежде чѣмъ Дуня успѣетъ, въ видахъ его карьеры, обвѣнчаться съ Лужинымъ. Въ размышленіяхъ Раскольникова замѣтна значительная недодуманность. Онъ, повидимому, не понимаетъ, что выходъ посредствомъ преступленія не можетъ ни въ какомъ случаѣ дѣйствительно вывести его изъ затрудненія. Онъ соображаетъ очень основательно, что для спасенія матери и сестры отъ нищеты и отъ всякихъ ея послѣдствій, воплотившихся въ Свидригайловыхъ и Лужиныхъ, необходимы деньги и что честнымъ трудомъ невозможно ихъ достать въ необходимомъ количествѣ. Значитъ, заключаетъ онъ, остается только достать ихъ безчестнымъ средствомъ. Заключеніе вѣрное. Кромѣ безчестныхъ средствъ, не остается никакихъ. Но весь вопросъ въ томъ, дѣйствительно ли безчестныя средства достигаютъ въ данномъ случаѣ той цѣли, къ которой стремится Раскольниковъ. Этого вопроса самъ Раскольниковъ вовсе себѣ не задаетъ. Положимъ, что ему удалось убить и ограбить процентщицу; положимъ, что онъ нашелъ у нея въ шкатулкѣ цѣлую калифорнію; положимъ, что онъ благополучно схоронилъ всѣ концы; положимъ, слѣдовательно, что все дѣло сложилось по его желанію во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ. Что же дальше? Какимъ образомъ онъ пуститъ ихъ именно въ то предпріятіе, которое ему всего дороже, и которое заставило его рѣшиться на преступленіе? Какъ онъ ухитрится провести эти деньги въ домашнюю жизнь матери и сестры такъ, чтобы эти деньги улучшили и обезпечили ихъ существованіе, и чтобы въ то же время мать и сестра не замѣтили этого неожиданнаго прилива денегъ, и не озадачили его настоятельными вопросами на счетъ ихъ происхожденія? Соблюдая должную осторожность и постепенность, Раскольниковъ могъ бы ускользнуть отъ по-

дозрѣній полиціи, но ему, ни въ какомъ случаѣ, не удалось бы отвести глаза тѣмъ людямъ, которые сами должны наслаждаться плодами его преступленія, и которые привыкли въ бѣдности считать каждый кусокъ и беречь каждую старую тряпку. Это можно было и надо было предвидѣть заранѣе. Съ одной стороны, Раскольниковъ не могъ и подумать о томъ, что его мать и сестра согласятся когда-нибудь помириться съ его преступленіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, и спокойно проживать проценты съ капитала, облитаго кровью. Съ другой стороны, если Раскольниковъ считалъ возможнымъ постоянно обманывать мать и сестру, то ему необходимо было заранѣе придумать въ отношеніи къ нимъ цѣлый сложный и обширный планъ дѣйствій, цѣлую систему тонкихъ и стройныхъ мистификацій. Между тѣмъ, въ романѣ мы не находимъ ни одного намека на существованіе такого плана или такой системы. Раскольниковъ просто не додумалъ до конца, и рѣшилъ свою задачу, упустивъ изъ виду одинъ изъ важнѣйшихъ ея элементовъ. Онъ успѣлъ только понять, что тою дорогою, по которой идутъ честные работники, онъ идти не можетъ, потому что эта дорога совсѣмъ не приведетъ его, или приведетъ слишкомъ поздно, къ той цѣли, которую онъ имѣетъ въ виду; затѣмъ нить размышленій оборвалась, и онъ бросился стремглавъ, очертя голову, безъ оглядки и безъ дальнѣйшихъ расчетовъ въ противоположную сторону, на ту грязную дорогу, которая одна казалась ему открытою, но которая на самомъ дѣлѣ ведетъ только въ бездну.

Послѣ письма, полученнаго отъ матери, всѣ мысли до такой степени перепутываются въ головѣ Раскольникова, что убійство превращается въ его глазахъ не только въ единственный выходъ, но даже въ какой-то неумолимый долгъ. Чтобы уклониться отъ исполненія этого долга, онъ ищетъ себѣ убѣжища въ своей слабости. „Нѣтъ, я не вытерплю, не вытерплю, говоритъ онъ. Пусть, пусть даже нѣтъ никакихъ сомнѣній во всѣхъ этихъ расчетахъ, будь это все, что рѣшено въ этотъ мѣсяцъ, ясно какъ день,

справедливо, какъ ариометика,—Господи! вѣдь я все же равно не рѣшусь! Я вѣдь не вытерплю; не вытерплю!... Чего же, чего же я до сихъ поръ!" Признавая слабостью то чувство, которое удерживаетъ его отъ проливанія человѣческой крови, Раскольниковъ въ то же время радуется этой слабости, и ухватывается за нее, какъ за спасительный якорь. Ему становится легко и весело, когда онъ чувствуетъ эту мнимую слабость, избавляющую его отъ исполненія такого же мнимаго долга. Подъ вліяніемъ своей мнимой слабости, онъ отказывается отъ мысли объ убійствѣ, и при этомъ переживаетъ такое радостное, уже давно неиспытанное ощущеніе, какъ будто „нарывъ на сердцѣ его, нарывавшійся весь мѣсяцъ, вдругъ прорвался". Но на самомъ дѣлѣ нарывъ не прорвался; облегченіе было минутное. Въ немъ выразилось только послѣднее содроганіе человѣка передъ проступкомъ, совершенно противнымъ его природѣ... Всѣ колебанія Раскольникова прекратились въ ту минуту, когда онъ узналъ случайно, что старуха въ такомъ-то часу, въ такой-то день останется дома одна. За мгновеніе передъ тѣмъ, какъ онъ услышалъ разговоръ, заключавшій въ себѣ это извѣстіе, онъ чувствовалъ себя свободнымъ „*отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, обаянія, отъ наваждснія*, онъ отрекся отъ *проклятой мечты* своей", и смотрѣлъ на Неву и на яркій закатъ солнца съ тою тихою радостью, съ которою обыкновенно смотритъ на всю окружающую природу человѣкъ только-что оправившійся отъ тяжелой болѣзни и понемногу возвращающійся къ жизни здоровыхъ людей. Мгновеніе спустя, когда онъ, выслушавъ внимательно и понявъ ясно каждое слово разговора, происходившаго между какимъ-то мѣщаниномъ и сестрою старухи, „онъ всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно", и пошелъ домой „какъ приговоренный къ смерти". Этотъ переворотъ произошелъ въ немъ отъ того, что обстоятельства вдругъ назначили ему для совершенія его замысла опредѣленный срокъ. Пропустить этотъ срокъ значило или совсѣмъ отказаться отъ всего

предпріятія или, по крайней мѣрѣ, добровольно отнять у себя нѣсколько важнѣйшихъ шансовъ успѣха.

Но чтобы навсегда отказаться отъ плана, воспитаннаго и взлелѣяннаго нѣсколькими недѣлями уединеннаго размышленія, надо было снова передумать все съ самаго начала, и кромѣ того, надо было пріискать какую-нибудь новую программу, на которой можно было бы успокоиться. На такой умственный трудъ Раскольниковъ, измученный бѣдностью, праздностью, апатіей и безобразнымъ фантазерствомъ уже не былъ способенъ. Въ его изнемогающемъ умѣ уже не было достаточно силъ на то, чтобы уничтожить *проклятую мечту* спокойнымъ и холоднымъ размышленіемъ. Онъ могъ только ужасаться, содрогаться и чувствовать припадки конвульсивнаго отвращенія къ тѣмъ гадостямъ, на которыя его наталкивала эта *проклятая мечта*. Ужасъ и отвращеніе могли иногда доходить въ немъ до такихъ размѣровъ, при которыхъ проклятая мечта начинала казаться ему совершенно неосуществимою и, слѣдовательно, неопасною. Въ такія минуты онъ могъ праздновать свое освобожденіе отъ чаръ, и смотрѣть на природу и на самого себя глазами выздоравливающаго человѣка, но ужасъ и отвращеніе, какъ бы они ни были сильны, не могли замѣнить ему спокойное размышленіе и передѣлать по новому плану то, что уже давно было построено упорною работою мысли, пошедшей по ложному и опасному пути. Какъ только обстоятельства притиснули его къ стѣнѣ рѣшительнымъ вопросомъ, требующимъ безотлагательнаго отвѣта, такъ онъ немедленно сдѣлался безотвѣтнымъ рабомъ своей проклятой мечты.

Во время своихъ послѣднихъ приготовленій къ убійству, Раскольниковъ уже не чувствовалъ ни ужаса, ни отвращенія. Онъ потерялъ способность смотрѣть на свое дѣло со стороны. Хороша или дурна его цѣль,—объ этомъ онъ уже не думалъ. Все его вниманіе было обращено на подробности выполненія и сосредоточено на борьбѣ съ препятствіями. Когда онъ услышалъ бой часовъ и чей-то возгласъ о томъ, что уже седьмой часъ—онъ испугался только

той мысли, что можетъ опоздать. Когда онъ увидѣлъ невозможность утащить топоръ изъ хозяйкиной кухни,—онъ почувствовалъ только *тупую, звѣрскую злобу* противъ этого препятствія, которое въ первую минуту показалось ему неодолимымъ. Когда онъ, вслѣдъ за тѣмъ, разглядѣлъ топоръ въ дворницкой, и благополучно его спряталъ себѣ подъ пальто, онъ почувствовалъ только радость удачи. Словомъ, *проклятая мечта* господствовала надъ всѣмъ его существомъ и обусловливала собою всѣ его отношенія къ мелкимъ случайностямъ, встрѣтившимся на его пути. Тѣ случайности, которыя благопріятствовали осуществленію *проклятой мечты*, казались ему счастливыми и возбуждали въ немъ радость; тѣ случайности, которыя могли помѣшать успѣху предпріятія, казались ему несчастными, и доводили его до бѣшенства. Тутъ, очевидно, Раскольниковъ уже не думалъ и не хотѣлъ думать о томъ выздоровленіи, которое радовало его наканунѣ, и даже возбуждало въ немъ потребность молиться. Освобожденіе отъ чаръ было невозможно, самъ очарованный возмущался противъ тѣхъ случайностей, которыя сколько-нибудь были способны произвести это освобожденіе. Идя на квартиру старухи, Раскольниковъ не могъ думать о томъ дѣлѣ, которое ему предстояло. Придя на квартиру и пристукнувъ старуху обухомъ топора, онъ потерялъ способность думать даже о мелкихъ подробностяхъ выполненія, на которыхъ до сихъ поръ сосредоточивалось его вниманіе. Онъ растерялся, засуетился, сталъ дѣлать одну глупость за другою, и избавился отъ бѣды, то есть, не попался на мѣстѣ преступленія, только благодаря совершенно исключительному стеченію счастливыхъ случайностей.

* * *

*) Нигилисты и нигилистки давно уже изображаются въ нашихъ романахъ и повѣстяхъ. Какъ же они въ нихъ

*) Н. Страховъ. „Отеч. Записки“ 1867 г., № 3 и 4.

изображаются? Стоитъ только вспомнить объ этихъ картинахъ, чтобы безъ всякаго колебанія отвѣчать на этотъ вопросъ. Читатели привыкли видѣть въ нигилистахъ, во-первыхъ, людей скудоумныхъ и скудосердечныхъ, людей лишенныхъ ясной силы ума и живой сердечной теплоты. Люди эти строятъ собственнымъ умомъ теоріи, совершенно оторванныя отъ жизни, доходящія до величайшихъ нелѣпостей. На основаніи этихъ теорій они извращаютъ свою и чужую жизнь, и живутъ въ этомъ извращеніи, не понимая и не чувствуя всего безобразія такой жизни. Поэтому нигилисты являются намъ существами смѣшными и гадкими, пошлыми и отталкивающими. Словомъ, они изображаются такъ, что по самой сущности дѣла могутъ возбудить не симпатію, а только насмѣшку и негодованіе. Посмотрите для примѣра, въ какомъ звѣрообразіи выставленъ нѣкоторый нигилистъ въ повѣсти „Повѣтріе“ (*Всемірный трудъ*, № 2). Да и вообще какихъ только гадостей, какихъ безобразій не было приписываемо нашимъ нигилистамъ!

Что же сдѣлалъ г. Достоевскій? Онъ очевидно взялъ задачу сколь возможно глубже, задачу болѣе трудную, чѣмъ осмѣиванье безобразій натуръ пустыхъ и малокровныхъ. Его Раскольниковъ хотя страдаетъ юношескимъ малодушіемъ и эгоизмомъ, но представляетъ намъ человѣка съ задатками твердаго ума и теплаго сердца. Это не фразеръ безъ крови и безъ нервовъ, это — настоящій человѣкъ. Этотъ юный человѣкъ тоже строитъ теорію, но теорію, которая именно въ силу его большей жизненности и большей силы ума, *гораздо глубже и окончательнѣе противорѣчитъ жизни*, чѣмъ, напримѣръ, теорія объ обидѣ, наносимой дамѣ цѣлованіемъ ея руки, или другія подобныя. Въ угоду своей теоріи онъ также ломаетъ свою жизнь; но онъ не впадаетъ въ смѣшное безобразіе и нелѣпости; онъ совершаетъ страшное дѣло, преступленіе. Вмѣсто комическихъ явленій, передъ нами совершается трагическое, то есть явленіе болѣе человѣческое, достойное участія, а не одного смѣха и негодованія. Затѣмъ разрывъ съ жизнью, въ силу самой своей глубины, возбуждаетъ страшную ре-

акцію въ душѣ юноши. Между тѣмъ какъ прочіе нигилисты спокойно наслаждаются жизнью, не цѣлуя рукъ у своихъ дамъ и не подавая имъ салоповъ, и даже гордясь этимъ. Раскольниковъ не выноситъ того отрицанія инстинктовъ человѣческой души, которое довело его до преступленія, и идетъ въ каторгу. Тамъ, послѣ долгихъ лѣтъ испытанія, онъ вѣроятно обновится и станетъ вполнѣ человѣкомъ, то есть теплою, живою человѣческ[illegible]шою.

И такъ авторъ взялъ на[illegible] глубокую, приписалъ ей болѣе глубокое уклон[illegible]іи, чѣмъ другіе писатели, касавшіеся нигилизма. [illegible]его была —изобразить страданія, которыя терпитъ жи[illegible]ловѣкъ, дойдя до такого разрыва съ жизнью. Совер[illegible]ю ясно, что авторъ изображаетъ своего героя съ н[illegible]мъ состраданьемъ къ нему. Это не смѣхъ надъ моло[illegible] поколѣніемъ, не укоры и обвиненія, это—плачъ надъ [illegible] Несчастный убійца—теоретикъ, этотъ *честный убійца*, если можно только сопоставить эти два слова, выходитъ тысячекратно несчастнѣе простыхъ убійцъ. Ему было бы несравненно легче, если бы онъ совершилъ убійство изъ гнѣва, изъ ревности, изъ корысти, изъ какихъ хотите *житейскихъ* побужденій, но не изъ теоріи.

„Знаешь, Соня—говоритъ самъ Раскольниковъ—если бъ только я зарѣзалъ изъ того, что голоденъ былъ—то я бы теперь... *счастливъ* былъ“. Съ невыразимымъ мученіемъ онъ чувствуетъ, что насиліе, совершенное имъ надъ своею нравственною природою, составляетъ большій грѣхъ, чѣмъ самый актъ убійства. Оно-то и есть настоящее преступленіе.

„Развѣ я старушонку убилъ? говоритъ онъ Сонѣ.—Я *себя убилъ*, а не старушонку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя навѣки!... А старушонку эту чертъ убилъ, а не я“...

Въ этомъ заключается смыслъ романа, и приговоръ надъ Раскольниковымъ, произносимый авторомъ, вложенъ имъ въ уста Сони.

Что вы, что вы надъ собой сдѣлали! отчаянно про-

говорила она и, вскочивъ съ колѣнъ, бросилась ему на шею, обняла его и крѣпко-крѣпко сжала его руками.

— „Странная какая ты, Соня—обнимаешь и цѣлуешь, когда я тебѣ сказалъ *про это*. Себя ты не помнишь“.

— „*Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!* воскликнула она, какъ въ изступленіи, не слыхавъ его замѣчанія, и вдругъ заплакала навзрыдъ, какъ въ истерикѣ“.

И такъ въ первый разъ передъ нами изображенъ нигилистъ несчастный, нигилистъ глубоко человѣчески-страдающій. Свойство *широкой симпатіи*, которое мы приписали автору, и здѣсь, очевидно, воодушевляло его. Онъ изобразилъ намъ нигилизмъ не какъ жалкое и дикое явленіе, а въ трагическомъ видѣ, какъ искаженіе души, сопровождаемое жестокимъ страданіемъ. По своему всегдашнему обычаю, онъ представилъ намъ *человѣка* въ самомъ убійцѣ, какъ умѣлъ отыскать *людей* и во всѣхъ блудницахъ, пьяницахъ и другихъ жалкихъ лицахъ, которыми обставилъ своего героя.

Авторъ взялъ нигилизмъ въ самомъ крайнемъ его развитіи, въ той точкѣ, дальше которой уже почти некуда идти. Но замѣтимъ, что сущность каждаго явленія всегда обнаруживается не въ его обыкновенныхъ ходячихъ формахъ, а именно въ крайнихъ высшихъ ступеняхъ развитія. Здѣсь, очевидно, взявши крайнюю форму, авторъ получилъ возможность стать къ цѣлому явленію въ совершенно правильныя отношенія, въ тѣ отношенія, въ которыя трудно стать къ другимъ формамъ того же явленія. Возьмемъ, напримѣръ, Базарова (въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ Тургенева), перваго нигилиста, явившагося въ нашей литературѣ. Этотъ высокомѣрный, самолюбивый человѣкъ скорѣе отталкиваетъ, чѣмъ привлекаетъ. Да онъ и не проситъ вашего сочувствія, онъ самодоволенъ. Пусть читатель переберетъ потомъ всѣ хорошо ему знакомыя формы нигилизма. Молодая дѣвушка обрѣзываетъ свою великолѣпную косу и надѣваетъ синія очки. Со стороны безобразно, а между тѣмъ она очень довольна собою, какъ будто надѣла нарядъ красивѣе того,

который прежде носила. Она бросаетъ романы и читаетъ „Физіологію обыденной жизни“ Льюиса. Сначала она запинается, но дѣлаетъ надъ собою усиліе и принимается свободно толковать о пятнахъ и мочевыхъ органахъ. Что же? Ощущается новое удовольствіе. Пойдемъ далѣе—дѣвушка уходитъ отъ родителей и совершенно *теоретически* отдается нѣкоторому юношѣ, чуждому предразсудковъ и толкующему ей о необходимости завести на какомъ-нибудь необитаемомъ островѣ новое человѣчество. Или бываетъ иначе. Братъ дѣвушки самъ устраиваетъ ея гражданскій бракъ съ пріятелемъ. Точно также на основаніи теоріи мужъ бросаетъ жену, жена мужа. или устраивается коммуна, въ которой случается, что одинъ мужчина имѣетъ связь съ двумя женщинами, краснорѣчиво проповѣдывая имъ, что ревность — фальшивое чувство. И что же? Вся эта ломка самихъ себя, все это искаженіе жизни совершается совершенно хладнокровно. Всѣ довольны и счастливы, смотрятъ на себя съ великимъ уваженіемъ и гонятъ отъ себя всякія нелѣпыя чувства, мѣшающія людямъ идти по пути прогресса. Спрашивается, какимъ же образомъ можно отнестись къ этимъ людямъ? Всего легче смѣяться надъ ними и прези . . ихъ. Такъ какъ они сами упорно выдаютъ себя за какихъ-то счастливцевъ, то общество не чувствуетъ въ себѣ никакого позыва пожалѣть ихъ— скорѣе оно бываетъ расположено видѣть въ этомъ безстрастномъ и холодномъ коверканьи своей и чужой жизни присутствіе какихъ-нибудь темныхъ страстей, напримѣръ, сластолюбія.

Между тѣмъ, въ сущности вѣдь ихъ слѣдуетъ пожалѣть. Вѣдь нѣтъ никакого сомнѣнія, что душа у нихъ все-таки просыпается съ своими вѣчными требованіями. Притомъ не всѣ же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, въ которыхъ эта ломка своей природы отзовется долгими, неизгладимыми страданіями. И слѣдовательно, ко всѣмъ имъ, ко всей этой сферѣ кажущихся счастливцевъ, устраивающихъ свою жизнь на новыхъ основаніяхъ, можно обратиться съ словами любящей Сони: *что вы, что вы надъ собой сдѣлали?*

Отъ дѣвушки, изъ теоріи обстригающей себѣ косу, до Раскольникова, изъ теоріи убивающаго старуху, разстояніе велико, но все-таки эти явленія однородныя. Вѣдь и косы жалко, такъ какъ же не пожалѣть погубившаго себя Раскольникова? Сожалѣніе — вотъ то отношеніе, въ которое авторъ сталъ къ нигилизму—отношеніе, почти новое, а въ такой силѣ, въ какой оно здѣсь является, ни кѣмъ еще неразвитое.

Но если такъ, то какъ же могло случиться, что автора обвинили въ какомъ-то желаніи опозорить наше молодое поколѣніе, поголовно обвинить его въ покушеніяхъ на убійство? Случилось это въ силу новаго отношенія къ дѣлу, отношенія, котораго сразу не могли понять. Всѣ привыкли къ старому отношенію, всѣмъ извѣстно, что нигилисты и нигилистки бросаютъ своихъ родныхъ, теряютъ своихъ женъ, лишаются своихъ косъ и своей дѣвичьей чести и т. д., не только безъ горя и печали, но совершенно хладнокровно и даже съ гордостью и торжествомъ. И вотъ въ романѣ Достоевскаго многимъ мерещится точно такое же изображеніе, то есть какъ будто нѣкто совершаетъ убійство, *считая себя правымъ*, и слѣдовательно хладнокровно и оставаясь вполнѣ спокойнымъ. Такъ, вѣроятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайныя убійства. Отъ этого-то такіе поджоги и убійства и могли быть весьма часты, могли совершаться множествомъ людей. Есть ли же что-нибудь подобное въ романѣ г. Достоевскаго? Вся сущность романа заключается въ томъ, что Раскольниковъ, хотя и считаетъ себя правымъ, но совершаетъ свое дѣло не хладнокровно, и не только не остается спокойнымъ, а подвергается жестокимъ мукамъ. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступленіе изъ теоріи несравненно тяжелѣе для преступника, чѣмъ всякое другое, что душа человѣческая менѣе всего можетъ выносить подобное уклоненіе отъ своихъ вѣчныхъ законовъ. И, слѣдовательно, если бы случилось, что нигилистъ оказался преступникомъ, то всего вѣрнѣе предполагать, что и онъ, подобно прочимъ людямъ, совершилъ преступленіе изъ мести, ревности, корысти и

проч., а не изъ теоріи. Однимъ словомъ, черта, которую взялъ г. Достоевскій, изображена имъ вполнѣ вѣрно. Читая романъ, вы чувствуете, что преступленіе Раскольникова есть явленіе *необычайно рѣдкое*, есть случай въ высокой степени характеристическій, но исключительный, совершенно выходящій изъ ряду вонъ.

Такъ говоритъ о немъ самъ преступникъ. Онъ нигдѣ не выдаетъ свою *теорію* за [illegible] ь общераспространенное; онъ постоянно называе[illegible] о теоріею, *своею идеею;* въ минуты, когда онъ [illegible] одъ властью этой идеи, онъ даже съ презрѣніемъ [illegible] тся о другихъ нигилистахъ. „О, отрицатели и [illegible] въ пятачокъ серебра — восклицаетъ онъ — зачѣ[illegible] анавливаетесь на полдорогѣ!“

Нужно всегда помнить, [illegible] знь, натура останавливаетъ нигилистовъ, какъ и [illegible] ъ людей, не только на *полдорогѣ*, но даже и на *первомъ шагѣ* какой-нибудь дороги, да притомъ—что и дороги у нихъ бываютъ различныя. Это сопротивленіе жизни, этотъ ея отпоръ противъ власти теорій и фантазій, потрясающимъ образомъ представлены г. Достоевскимъ. Показать, какъ въ душѣ человѣка борется жизнь и теорія, показать эту схватку на томъ случаѣ, гдѣ она доходитъ до высшей степени силы, и показать, что побѣда осталась за жизнью — такова была задача романа.

То же самое нужно, конечно, отнести и къ другимъ явленіямъ, ко всѣмъ безчисленнымъ формамъ столкновенія теоріи съ жизнью. Вездѣ жизнь останавливаетъ противное ей движеніе, вездѣ успѣшно борется съ насиліемъ, которое надъ нею дѣлаютъ. Есть, напримѣръ, женщины, усвоившія себѣ безцеремонный мужской тонъ; но ихъ очень немного. Другія, какъ ни стараются, а все запнутся, когда заведутъ рѣчь о регулахъ или мочевыхъ органахъ. Казалось бы, чего проще, какъ то, что называется *гражданскимъ бракомъ?* Между тѣмъ этотъ бракъ, какъ и всѣ дру-
безобразія, составляетъ лишь исключеніе. Обыкновенно,
илисты и нигилистки вѣнчаются въ церквахъ, подобно

другимъ смертнымъ. Большая свобода въ обращеніи, которую позволили себѣ молодые люди подъ вліяніемъ нигилизма, повела, какъ извѣстно, къ заключенію множества супружествъ, столь же чистыхъ и, можетъ быть, болѣе счастливыхъ, чѣмъ иные браки, въ которыхъ нигилизмъ не принималъ никакого участія.

И такъ никакой разумный человѣкъ, понимающій, какъ идутъ дѣла въ жизни, не повѣритъ въ этомъ случаѣ никакимъ повальнымъ обвиненіямъ, если бы они и раздавались. Всего же менѣе можно извлечь повальное обвиненіе изъ романа г. Достоевскаго; это было бы во сто разъ нелѣпѣе, чѣмъ, напримѣръ, извлечь изъ „Отелло“ Шекспира, что всѣ ревнивые мужья убиваютъ своихъ женъ, или изъ „Моцарто и Сальери“ Пушкина, что всѣ завистники отравляютъ своихъ даровитыхъ пріятелей.

Докажемъ теперь выписками изъ романа, что наша постановка дѣла совершенно правильна. Что Раскольниковъ не сумасшедшій, это даже странно доказывать. Въ самомъ романѣ лица, близкія къ Раскольникову, видя его мученія и не понимая источниковъ того страннаго поведенія, къ которому его приводятъ внутреннія терзанія, начинаютъ подозрѣвать, не сходитъ ли онъ съ ума. Но потомъ загадка разрѣшается. Открывается дѣло *несравненно менѣе вѣроятное*, именно, что онъ не *сумасшедшій*, *а преступникъ*. Романъ написанъ объективной манерой, при которой авторъ не говоритъ въ отвлеченныхъ выраженіяхъ объ умѣ, характерѣ своихъ героевъ, а прямо заставляетъ ихъ дѣйствовать, мыслить и чувствовать. Раскольникова же, какъ главное дѣйствующее лицо, авторъ въ особенности почти ни въ чемъ не характеризуетъ отъ себя; но вездѣ Раскольниковъ является человѣкомъ съ задатками яснаго ума, твердаго характера, благороднаго сердца. Таковъ онъ во всѣхъ другихъ поступкахъ, кромѣ своего преступленія. Такъ на него смотрятъ и остальныя дѣйствующія лица, надъ которыми, *по своимъ возможностямъ* онъ очевидно возвышается. Вотъ какъ отзывается о Раскольниковѣ слѣдователь Порфирій, отзывается ему въ глаза:

„Понимаю я, каково все это перетащить на себѣ человѣку удрученному, но гордому, властному и нетерпѣливому, въ особенности нетерпѣливому! Я васъ, во всякомъ случаѣ, за человѣка наиблагороднѣйшаго почитаю-съ и даже съ зачатками великодушія-съ“...

Даже самое страшное дѣло, совершенное Раскольниковымъ, для людей, коротко его узнавшихъ, указываетъ на силу души, хотя извращенную и заблудшуюся.

„Вышло-то подло, это правда—продолжаетъ тотъ-же Порфирій — да вы-то все-таки не безнадежный подлецъ! По крайней мѣрѣ, долго себя не морочилъ, разомъ до послѣднихъ столбовъ дошелъ. Я вѣдь васъ за кого почитаю? Я васъ почитаю за одного изъ такихъ, которымъ хоть кишки вырѣзай, а онъ будетъ стоять да съ улыбкой смотрѣть на мучителей — если только вѣру или Бога найдетъ. Ну, и найдите, и будете жить“.

Авторъ, очевидно, хотѣлъ представить крѣпкую душу человѣка исполненнаго жизни, а не слабосильнаго и помѣшаннаго. Тайна авторскихъ желаній въ особенности ясно открывается въ словахъ, вложенныхъ имъ въ уста Свидригайлова. Свидригайловъ объясняетъ сестрѣ Раскольникова поступокъ ея брата и говоритъ:

„Теперь *все помутилось*, то-есть оно и никогда въ порядкѣ-то особенномъ не было. *Русскіе люди* вообще *широкіе люди*, Авдотья Романовна, широкіе, какъ ихъ земля, и чрезвычайно склонны къ фантастическому, къ безпорядочному; но бѣда *быть широкимъ безъ особенной геніальности.* А помните, какъ много мы въ этомъ же родѣ и на эту же тему переговорили съ вами вдвоемъ, сидя по вечерамъ на террасѣ въ саду, каждый разъ послѣ ужина? Кто знаетъ, можетъ въ то же самое время и говорили, когда онъ здѣсь лежалъ, да свое обдумывалъ. *У насъ въ образованномъ обществѣ особенно священныхъ преданій вѣдь нѣтъ*, Авдотья Романовна: развѣ кто какъ-нибудь себѣ по книгамъ составитъ... али изъ лѣтописей что-нибудь выведетъ. Но вѣдь это больше ученые и, знаете, въ своемъ родѣ колпаки, такъ что даже и неприлично свѣтскому человѣку“.

Здѣсь открывается вся дальность замысловъ автора. Онъ хотѣлъ изобразить широкую русскую натуру, то-есть натуру живучую, мало склонную идти по пробитымъ-торнымъ колеямъ жизни, способную жить и чувствовать на разные лады. Такую натуру, живую и вмѣстѣ неопредѣленную, авторъ окружилъ средою, въ которой *все помутилось*, въ которой *особенно священныхъ преданій* давно уже не существуетъ. Самъ Свидригайловъ, высказывающій это повальное обвиненіе противъ нашего образованнаго общества (вотъ оно, то обвиненіе, котораго такъ искали), представляетъ нѣчто въ родѣ стараго поколѣнія тѣхъ-же натуръ и того же общества, въ параллель Раскольникову, члену новаго поколѣнія. Не смотря на фантастичность Свидригайлова, въ немъ все-таки возможно разсмотрѣть очень знакомыя черты еще не далеко ушедшаго отъ насъ состоянія нашего образованнаго и зажиточнаго сословія. Развратъ, жестокость съ крѣпостными, доходящая до смертоубійствъ, тайныя злодѣянія и отсутствіе всего святого въ душѣ—въ эту сторону тоже бросались широкія русскія натуры, чтобы на что-нибудь тратить свои силы. Раскольниковъ есть тоже человѣкъ, которому очень хочется жить, которому поскорѣе нуженъ выходъ, нужно дѣло. Такія люди не могутъ оставаться въ бездѣйствіи; жажда жизни, *какой бы то ни было*, но только сейчасъ, поскорѣе, доводитъ ихъ до нелѣпостей, до ломки своей души и даже до полной гибели.

Въ газетахъ писали, что будто бы Раскольниковъ совершаетъ свое убійство изъ филантропическихъ цѣлей, что онъ оправдываетъ его благотворительными намѣреніями. Но дѣло вовсе не такъ просто. Главный корень, изъ котораго выросло чудовищное намѣреніе Раскольникова, заключается въ нѣкоторой теоріи, которую онъ неоднократно и послѣдовательно развиваетъ; самое же убійство произошло изъ непремѣннаго желанія *приложить къ дѣлу* свою теорію. Вотъ какъ характеризуетъ поступокъ Раскольникова слѣдователь Порфирій.

„Тутъ дѣло фантастическое, мрачное, нашего времени случай-съ, когда *помутилось сердце* человѣческое; когда ци-

тустся фраза, что *кровь* „освѣжаетъ“; когда вся жизнь проповѣдуется въ комфортѣ. Тутъ книжныя мечты-съ, тутъ *теоретически раздраженное сердце;* тутъ видна *рѣшимость на первый шагъ*, но рѣшимость особаго рода—рѣшился, да какъ съ горы упалъ, или съ колокольни слетѣлъ, да и на преступленіе-то словно *не своими ногами пришелъ*. Дверь за собой забылъ притворить, а убилъ, двухъ убилъ, по теоріи. Убилъ, да и денегъ взять не сумѣлъ, а что успѣлъ захватить, то подъ камень снесъ“. „Убилъ, да за честнаго человѣка себя почитаетъ, *людей презираетъ*, блѣднымъ ангеломъ ходитъ“.

Въ чемъ же заключается та *теорія*, которая такъ увлекла и замучила этого юношу? Въ романѣ она во многихъ мѣстахъ излагается подробно и отчетливо; это очень ясная и логически связная теорія. Притомъ, она не поражаетъ чѣмъ-либо страннымъ; это не логика сумасшедшаго; напротивъ, по замѣчанію Разумихина, „это не ново, и *похоже* на все, что мы тысячу разъ читали и слышали“.

Эту теорію, какъ намъ кажется, можно свести на три главныя точки. *Первая* состоитъ въ очень гордомъ, презрительномъ взглядѣ на людей, основанномъ на сознаніи своего умственнаго превосходства. Раскольниковъ былъ очень гордъ въ этомъ отношеніи. „Инымъ товарищамъ его—говоритъ авторъ—казалось, что онъ смотритъ на нихъ на всѣхъ, какъ на дѣтей, свысока, какъ будто онъ всѣхъ ихъ опередилъ и развитіемъ, и знаніемъ, и убѣжденіями, и что на ихъ убѣжденія и интересы онъ смотритъ, какъ на что-то низшее“.

Изъ этой гордости рождается презрительный, высокомѣрный взглядъ на людей, какъ бы отрицаніе у нихъ правъ на человѣческое достоинство. Старуха процентщица, для Раскольникова, есть *вошь*, а не человѣкъ. Уже долго спустя послѣ преступленія, уже тогда, когда онъ рѣшился донести на себя и вышелъ съ этой цѣлью на улицу, онъ еще разъ испытываетъ порывъ гордости и такъ выражаетъ свое пониманіе людей: „Вотъ они—говоритъ онъ—снуютъ всѣ по улицѣ взадъ и впередъ, и вѣдь всякій-то изъ нихъ

подлецъ и разбойникъ уже по натурѣ своей: *хуже того — идiотъ*“.

Второй пунктъ теорiи заключается въ извѣстномъ взглядѣ на ходъ человѣческихъ дѣлъ, на исторiю; взглядъ этотъ прямо вытекаетъ изъ презрительнаго взгляда на людей вообще.

„Я все себя спрашивалъ: зачѣмъ я такъ глупъ, что если другiе глупы, и коли я *знаю ужъ навѣрно, что они глупы*, то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, что если ждать, пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ ужъ долго будетъ... Потомъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не перемѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому, и трудъ не стоитъ терять! Да, это такъ! Это ихъ законъ!.. И теперь я знаю, что кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ. *Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ*. Кто на большое можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе! Такъ доселѣ велось, и такъ всегда будетъ! Только слѣпой не разглядитъ!“

„— Я догадался тогда, продолжалъ онъ восторженно: — что власть дается только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять ее. Тутъ одно только, одно: стоитъ только посмѣть! У меня тогда одна мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце, представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не посмѣлъ и не смѣетъ, проходя мимо *всей этой нелѣпости, взять просто запросто все за хвостъ и стряхнуть къ чорту!* Я... я захотѣлъ *осмѣлиться*“.

Читатели, конечно, хорошо знаютъ эти отрицанiя правды и смысла въ исторiи, тотъ взглядъ на историческiя явленiя, по которому всѣ онѣ происходили отъ насилiя, опиравшагося на заблужденiя. Этотъ взглядъ, взглядъ *просвѣщеннаго деспотизма*, породилъ на западѣ Европы огромныя революцiи и до сихъ поръ порождаетъ тамъ людей, которыя разрѣшаютъ себѣ *всѣ средства*, чтобы измѣнить

ходъ всемірной исторіи, которые считаютъ себя въ правѣ домогаться мѣста законодателей и учредителей новаго, разумнаго порядка вещей. Эти люди уже не живутъ подъ какимъ-нибудь авторитетомъ, потому что сами поставляютъ себя авторитетомъ для человѣчества. Они, подобно Раскольникову. желали бы, если бы могли, „взять все за хвостъ и стряхнуть къ чорту". Но эти люди дѣйствуютъ, считая своею цѣлью *благо человѣчества,* и они имѣютъ дѣло съ исторіей народовъ. Поэтому, съ одной стороны, ихъ усилія получаютъ характеръ безкорыстія, самоотверженія, съ другой стороны—ихъ дѣятельность никогда не бываетъ удачною. Исторія ихъ не слушается, и идетъ *своимъ* порядкомъ. Глупые народы не понимаютъ того *блага*, которое имъ предлагаютъ умные люди.

Подъ вліяніемъ эгоизма молодости Раскольниковъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ на пути этихъ мнѣній. Этотъ-то шагъ и составляетъ ту мысль, которая, по его словамъ, *выдумалась у него одного и которой никто никогда еще не выдумывалъ.* Такимъ образомъ онъ дошелъ до третьяго и послѣдняго пункта своей теоріи. Приведемъ мѣсто, гдѣ всего ярче высказывается эта мысль. Раскольниковъ смѣется про себя надъ соціалистами:

„За что давеча дурачокъ Разумихинъ соціалистовъ бранилъ? Трудолюбивый народъ и торговый: *общимъ счастьемъ* занимаются... Нѣтъ, мнѣ жизнь однажды дается и никогда ея больше не будетъ; я не хочу дожидаться *всеобщаго счастія.* Я и самъ хочу жить, а то лучше ужъ и не жить. Что-жъ? Я только не захотѣлъ проходить мимо голодной матери, зажимая въ карманѣ свой рубль, въ ожиданіи „всеобщаго счастія". „Несу, дескать, кирпичекъ на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствіе сердца". „Нельзя-съ! Зачѣмъ же вы меня-то пропустили? Я вѣдь всего однажды живу, я тоже хочу..."

И вотъ Раскольниковъ рѣшился нарушить обыкновенный ходъ дѣлъ и дозволить себѣ всякія средства не для того, чтобы измѣнить ходъ всемірной исторіи, а для измѣненія своей личной судьбы и судьбы своихъ близкихъ. Чего онъ *хотѣлъ въ этомъ* отношеніи, онъ подробно объясняетъ Сонѣ.

„У матери моей почти ничего нѣтъ. Сестра получила воспитаніе случайно, и осуждена таскаться въ гувернанткахъ. Всѣ ихъ надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя въ университетѣ не могъ и на время принужденъ былъ выйти. Если бы даже и такъ тянулось, то лѣтъ черезъ десять, двѣнадцать (если бы обернулись хорошо обстоятельства), я все-таки могъ надѣяться стать какимъ-нибудь учителемъ или чиновникомъ, съ тысячью рублями жалованья... (Онъ говорилъ *какъ будто заученное*). А къ тому времени мать высохла бы отъ заботъ и отъ горя, и мнѣ, все-таки, не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, съ сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и отъ всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, напримѣръ, почтительно перенесть? Для чего? Для того ли, чтобы ихъ схоронивъ, новыхъ нажить— жену да дѣтей, и тоже потомъ безъ гроша и безъ куска оставить? Ну... вотъ я и рѣшилъ, завладѣвъ старухиными деньгами, употребить ихъ на мои первые годы, не мучая мать, на обезпеченіе себя въ университетѣ, на первые шаги послѣ университета, — и сдѣлать это широко, радикально, такъ, чтобъ ужъ совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать.“

Таковы цѣли, которыя имѣлъ въ виду Раскольниковъ. Но эти цѣли не составляли прямыхъ побужденій къ преступленію. Онѣ могли внушить Раскольникову самыя разнообразныя усилія; непремѣнное убійство никакъ логически изъ нихъ не вытекаетъ. Напротивъ, оно строго вытекаетъ изъ его эгоистической теоріи. Вотъ почему тотчасъ послѣ приведенной рѣчи самъ Раскольниковъ начинаетъ говорить, что „это не то,“ что онъ „вретъ, давно уже вретъ“ и проч. очевидно, главное, что его двигало, что распаляло его воображеніе, было требованіе приложить свою теорію *осуществить на дѣлѣ то, что позволилъ себѣ въ мысли.*

Въ другомъ мѣстѣ онъ ясно высказываетъ это главное побужденіе къ преступленію.

„Старушонка вздоръ! думалъ онъ горячо и порывисто:—

старуха пожалуй что и ошибка, не въ ней дѣло! Старуха была только болѣзнь... *Я переступить скорѣе хотѣлъ... я не человѣка убилъ, я принципъ убилъ!"*

Вотъ самая суть преступленія. Это *убійство принципа.* Не три тысячи рублей тянули Раскольникова; странно сказать, между тѣмъ вѣрно — что если бы эти деньги могли достаться ему черезъ воровство, плутовство въ карты, или другое мелочное мошенничество, онъ едва ли бы на него рѣшился. Его тянуло убить принципъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ покушается на самую жизнь своей души; но, убивши, онъ по страшнымъ мукамъ своимъ понялъ, *какое* преступленіе онъ совершилъ.

Вотъ задачи, предположенныя себѣ авторомъ. Задачи огромныя, имѣющія несравненную важность. Глубочайшее извращеніе нравственнаго пониманія и затѣмъ возвращеніе души къ истинно-человѣческимъ чувствамъ и понятіямъ— вотъ общая тема, на которую написанъ романъ г. Достоевскаго.

* * *

*) Раскольниковъ не есть типъ. То есть онъ не настолько своеобразенъ, не представляетъ такихъ опредѣленныхъ и органически связанныхъ между собою чертъ, чтобы его образъ носился передъ нами, какъ живое лицо. Въ частности же — это не есть типъ нигилистическій, не видоизмѣненіе того типа настоящаго нигилиста, который всѣмъ болѣе или менѣе знакомъ и который всѣхъ раньше и всѣхъ мѣтче былъ угаданъ Тургеневымъ въ его *Базаровѣ.* Что же? Мѣшаетъ это роману? Тѣ, кто читалъ романъ, мы думаемъ, согласятся съ нами, что отсутствіе большей типичности здѣсь не вредитъ, и даже какъ будто способствуетъ дѣлу. Неопредѣленность, *молодая* неопредѣленность и неустановленность Раскольникова очень идетъ къ его *фантастическому* (по словамъ Порфирія) поступку. Кромѣ

*) *Онъ же (Н. Страховъ).* „Отеч. Записки" 1867 г., № 4.

того, невольно чувствуется, что Базаровъ никакимъ образомъ не совершилъ бы *такъ* и *такого* дѣла. Человѣкъ, слѣдовательно, выбранъ г. Достоевскимъ нельзя сказать, чтобы не вѣрно.

Но главное, очевидно, здѣсь не въ человѣкѣ, не въ обрисовкѣ извѣстнаго типа. Не здѣсь центръ тяжести романа. Цѣль романа состоитъ не въ томъ, чтобы вывести передъ глазами читателей какой-нибудь новый типъ, изобразить намъ „бѣдныхъ людей“, „подпольнаго человѣка“, людей „мертваго дома“, „отцовъ и дѣтей“ и т. д. Весь романъ сосредоточился около одного поступка, около того, какъ родилось и совершилось нѣкоторое *дѣйствіе*, и какія повлекло за собою послѣдствія въ душѣ совершившаго. Такъ романъ и называется; на немъ надписано не имя человѣка, а названіе событія, съ нимъ случившагося. Предметъ обозначенъ вполнѣ ясно: дѣло идетъ о *преступленіи и наказаніи*.

И въ этомъ отношеніи всякій согласится, что романъ г. Достоевскаго очень типиченъ. Удивительно типично изображены всѣ тѣ процессы, которые совершаются въ душѣ преступника; вотъ что составляетъ главную тему романа и что поражаетъ въ немъ читателей. Живо и глубоко схвачено въ немъ то, какъ идея преступленія зарождается и укрѣпляется въ человѣкѣ, какъ борется съ нею душа, инстинктивно чувствуя ужасъ этой идеи: какъ человѣкъ, вскормившій въ себѣ злую мысль, почти лишается наконецъ воли и разума и слѣпо повинуется ей; какъ онъ *механически* совершаетъ преступленіе, долго созрѣвавшее въ немъ органически; какъ пробуждается въ немъ потомъ боязнь, подозрительность, злоба къ людямъ, отъ которыхъ ему грозитъ кара; какъ начинаетъ онъ чувствовать омерзеніе къ себѣ и къ своему дѣлу; какъ прикосновеніе живой и теплой жизни пробуждаетъ въ немъ муки безсознательнаго раскаянія; какъ наконецъ ожесточенная душа не выдерживаетъ и размягчается до чувства умиленія.

Передъ этимъ страшнымъ процессомъ личность Раскольникова съ ея особенностями совершенно сглаживается и

исчезаетъ. Сперва поглотила его извращенная идея, а потомъ въ немъ съ неодолимою силою просыпается *человѣкъ*, человѣческая душа, и мучитъ его своимъ пробужденіемъ, съ которымъ онъ старается совладать. При такихъ явленіяхъ индивидуальность дѣйствующаго лица естественно должна отступить на задній планъ. Такъ слѣдуетъ это изъ самаго смысла романа. Пре[illegible]ніе вовсе не есть дѣйствіе, характеристичес[illegible]личности Раскольникова; люди, въ характеристи[illegible]ь входитъ преступленіе, совершаютъ дѣла этог[illegible]здо легче и совершенно *иначе*. Раскольникову [illegible] довелось *перенести* на себѣ преступленіе; можно ска[illegible]ь, что *оно съ нимъ случилось* и душа его отозвалась [illegible] него такъ, какъ отозвалась бы, вообще говоря, [illegible]*каго* человѣка.

И такъ понятно, что л[illegible]Раскольникова подавлена самымъ событіемъ и не пред[illegible]етъ яснаго типическаго образа. Въ этомъ отношеніи самая тема автора ставила его въ выгодное положеніе, именно давала ему возможность высказать всю силу таланта, не смотря на недостатокъ полной типичности. Гораздо правильнѣе мы можемъ требовать болѣе ясной типичности отъ остальныхъ лицъ романа. Ихъ очень много и они выполнены очень не равномѣрно. Наиболѣе удавшимися и даже вполнѣ удачными слѣдуетъ признать пьяницу Мармеладова и его жену Катерину Ивановну. Это дѣйствительные типы, ярко, отчетливо очерченные. Въ нихъ ясно выразились главныя достоинства таланта г. Достоевскаго. Онъ открылъ читателямъ, какъ возможно относиться симпатически къ этимъ людямъ, такимъ слабымъ, смѣшнымъ, жалкимъ, потерявшимъ всю силу владѣть собою и походить на другихъ людей. Но главная сила автора, какъ мы уже замѣтили, не въ типахъ, а въ изображеніи положеній, въ умѣньи глубоко схватывать отдѣльныя движенія и потрясенія человѣческой души. Въ этомъ отношеніи онъ достигъ во многихъ мѣстахъ своего новаго романа до полнаго и удивительнаго мастерства. Романъ задуманъ и расположенъ очень *просто, но вмѣстѣ* правильно и строго.

Послѣ совершенія преступленія, для Раскольникова начинается двоякій рядъ мученій. Во-первыхъ, мученія страха. Не смотря на то, что всѣ концы спрятаны, подозрительность не оставляетъ его ни на минуту, и малѣйшій поводъ къ опасенію нагоняетъ на него мучительный страхъ. Второй рядъ мученій заключается въ тѣхъ чувствахъ, которыя испытываетъ убійца при сближеніи съ другими людьми, съ лицами, у которыхъ нѣтъ ничего на душѣ, которыя полны теплотою и жизнью. Сближеніе это происходитъ двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, самого преступника тянетъ къ живымъ людямъ, потому что ему хотѣлось бы стать съ ними наравнѣ, отбросить ту преграду, которую онъ самъ положилъ между ними и собою. Вотъ отчего Раскольниковъ отправляется къ Разумихину. „Сказалъ я (думаетъ онъ про себя) третьяго дня... что къ нему послѣ *того* на другой день пойду, ну что-жъ, и пойду! *Будто ужъ я не могу теперь зайти*... По этой же причинѣ онъ такъ усердно начинаетъ хлопотать о раздавленномъ Мармеладовѣ и сближается съ его осиротѣвшимъ семействомъ, особенно съ Сонею. Второе обстоятельство, по которому Раскольниковъ очутился среди людей живыхъ и имѣющихъ близкія къ нему отношенія, заключается въ пріѣздѣ его семейства въ Петербургъ. То письмо, которое было послѣднимъ толчкомъ къ убійству, содержало въ себѣ извѣстіе, что мать и сестра Раскольникова должны явиться въ Петербургъ, гдѣ сестра и пожертвуетъ собою, вышедши за Лужина. Такимъ образомъ Раскольниковъ, бывшій до тѣхъ поръ одинокимъ и удалявшійся отъ людей, теперь волею и неволею окруженъ людьми, съ которыми связанъ всего ближе. Читатель чувствуетъ, что если бы эти люди были около Раскольникова прежде, то онъ никогда бы не совершилъ преступленія. Теперь же, когда преступленіе совершено, эти люди даютъ поводъ къ пробужденію въ душѣ преступника всевозможныхъ мукъ, вызываемыхъ прикосновеніемъ жизни въ душѣ, извратившей себя и коснѣющей въ своемъ извращеніи. Таково весьма простое, но вмѣстѣ очень правильное и искусное построеніе романа.

Очень правильно также развита извѣстная постепенность въ душевныхъ страданіяхъ преступника. Сперва Раскольниковъ совершенно подавленъ случившимся и даже заболѣваетъ. Первая его попытка сойтись съ живыми людьми, свиданіе съ Разумихинымъ, просто ошеломляетъ его. „Подымаясь къ Разумихину, онъ не подумалъ о томъ, что съ нимъ, стало быть, лицомъ къ лицу сойтись долженъ. Теперь же, въ одно мгновеніе, догадался онъ уже на опытѣ, что *всего менѣе расположенъ* въ эту минуту сходиться лицомъ къ лицу съ кѣмъ бы то ни было на свѣтѣ“. Онъ уходитъ, не владѣя собою. Точно такъ первыя муки отъ боязни подавляютъ его. Онѣ разрѣшаются страшнымъ, томительнымъ сновидѣніемъ (удивительныя двѣ страницы), послѣ котораго Раскольниковъ заболѣваетъ.

Мало-по-малу, однако же, преступникъ становится крѣпче. Онъ сходится съ Разумихинымъ, хитритъ съ Заметовымъ, принимаетъ дѣятельное участіе въ судьбѣ семейства Мармеладовыхъ, въ судьбѣ своей сестры, увертывается отъ хитраго слѣдователя Порфирія, открываетъ свою тайну Сонѣ и пр. Но, по мѣрѣ того, какъ преступникъ овладѣваетъ собою, страданіе его не ослабѣваетъ, а становится только постояннѣе и опредѣленнѣе. Сначала онъ еще чувствуетъ порывы радости, когда страхъ, нагнанный какою-нибудь случайностію, отлегаетъ вдругъ отъ сердца, или когда ему удастся сблизиться съ другими людьми и почувствовать себя все еще человѣкомъ. Но потомъ эти колебанія исчезаютъ.

Какая-то особенная тоска—разсказываетъ авторъ — начала сказываться ему въ послѣднее время. Въ ней не было чего-нибудь особенно ѣдкаго, жгучаго; но отъ нея вѣяло чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, предчувствовались безъисходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вѣчность на „аршинѣ пространства“.

Вотъ тѣ мотивы, на которые написана самая большая, центральная часть романа. Можно замѣтить—хотя, право, въ подобныхъ вещахъ трудно полагаться на собственное сужденіе и лучше довѣриться проницательности худож-

ника—что въ душѣ Раскольникова, сверхъ страха и боли, должна бы еще занимать большое мѣсто третья тема—*воспоминаніе о преступленіи*. Воображеніе и память преступника, казалось бы, должны чаще обращаться къ картинѣ страшнаго дѣла.

* * *

*) Для человѣка извѣстнаго круга и воспитанія, съ извѣстнымъ складомъ привычекъ, стремленій и проч. изо всѣхъ бѣдствій нѣтъ, можетъ быть, ни одного, которое было бы такъ страшно, какъ нищета (разумѣя подъ нищетою, конечно, не нищенство, а только послѣднюю степень бѣдности). Почему именно нищета? Почему она, для иныхъ, страшнѣе болѣзни и смерти?... Голодъ, нечистота, зависимость, конечно, большія бѣдствія; но хотя всѣ они очень легко возможны для неимущаго, тѣмъ не менѣе ни одно изъ нихъ не связано съ нищетой неразрывно. Неимущій можетъ трудиться и можетъ быть сытъ; онъ можетъ работать на чистомъ воздухѣ и будетъ здоровъ; нечистоты легко избѣжать тому, кто ея не терпитъ. Щетка, вода и мыло не дорого стоютъ. Зависимость тяжела, разумѣется, но надо быть уже очень достаточнымъ человѣкомъ, чтобъ быть дѣйствительно независимымъ. Сотни тысячъ людей не имѣютъ рѣшительно ничего, кромѣ рукъ для работы и однако же никакъ нельзя утверждать, чтобы всѣ они были несчастны. Большая часть, если и не совсѣмъ довольны своимъ положеніемъ, то и тяготятся имъ уже никакъ не болѣе многихъ людей достаточныхъ. Они привыкли къ опасностямъ, ихъ окружающимъ, привыкли бороться съ ними, и это даетъ имъ стойкость, самонадѣянность и спокойствіе, которыхъ люди, взросшіе за перилами, въ ихъ положеніи не могли бы имѣть. Сознаніе этого недостатка и есть та первая, общая всѣмъ послѣднимъ причина, которая дѣлаетъ нищету, въ ихъ глазахъ,

*) Николай Ахшарумовъ. „Преступленіе и Наказаніе“. „Всемірный Трудъ“ 1867 г., № 3.

самымъ ужаснѣйшимъ изъ несчастій. Они не могутъ себя вообразить на этой узкой площадкѣ вверху, безъ перилъ, не воображая съ тѣмъ вмѣстѣ ужаснѣйшей изъ всѣхъ нравственныхъ мукъ. Это первое. Вслѣдъ за этимъ является самолюбіе. У людей, мало развитыхъ въ нравственномъ отношеніи, оно выражается просто и грубо, презрѣніемъ къ нищему, къ труду изъ-за хлѣба насущнаго, къ зависимости отъ всѣхъ, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и страхомъ стать въ уровень съ тѣмъ, что для нихъ презрительно. Тутъ нѣтъ анализа; этого рода люди не дѣлятъ себя отъ своего положенія и потерять его, въ ихъ глазахъ, значитъ просто погибнуть. Развитіе и привычка къ анализу ведутъ человѣка дальше. Въ немъ есть уже ясное пониманіе, что достоинство человѣка одна вещь, а случайная обстановка его положенія совершенно другая. Такой человѣкъ не презираетъ нищаго за его нищету; но это еще не мѣшаетъ ему призирать его вдвое за его грубость, невѣжество. Онъ не считаетъ себя выше его, потому что онъ обезпеченъ, но онъ переноситъ балансъ на другую сторону и цѣнитъ въ себѣ несоразмѣрно высоко то, что, конечно, ближе ему принадлежитъ, свой развитый умъ, очищенный вкусъ и разширенный взглядъ на вещи. Для такихъ людей нищета не есть просто гибель, а нѣчто еще того горшее и ужаснѣйшее:—гибель нравственная. Они хорошо понимаютъ, что все превосходство ихъ гроша не стоитъ, если они попадутъ однажды въ такую сферу, гдѣ некогда сберегать дорогой свой товаръ въ кладовой и ждать, пока его купятъ оптомъ, гдѣ нѣтъ никакой отсрочки, гдѣ утренній трудъ съѣдается къ вечеру безъ остатка, подъ страхомъ голодной смерти. Къ тому же, чувство ежеминутной опасности плохой товарищъ для умственнаго труда... А далѣе?.. Далѣе, всякій товаръ, не имѣющій сбыта, падаетъ быстро въ цѣнѣ, и мелочная лавчонка беретъ перевѣсъ надъ богатою кладовою... Что же?.. Идти въ ученики къ нѣмцу, ремесленнику;—или стоять за прилавкомъ да продавать гнилыя селедки и ржавые огурцы, и ждать покуда твой мозгъ также заржавѣетъ и прокиснетъ, и ты огрубѣешь, станешь такимъ же скотомъ,

какъ всѣ эти сиволапы, сермяжники?.. И все-таки будешь ниже ихъ; потому что они, не смотря на ихъ грубость, не пропадутъ, а ты пропадешь. Они сумѣютъ найтись и стерпѣть и выкарабкаться изъ этой вонючей тины, а ты не стерпишь и не найдешься;—тебя засосетъ. И тутъ-то является у тебя украдкой сознаніе, оскорбительное для твоего высокаго мнѣнія о себѣ, сознаніе, что у этого сиволапа, сермяжника, есть нѣкоторыя нравственныя достоинства, которыхъ у тебя нѣтъ; есть выдержка, смѣлость, находчивость, стойкость; — что онъ боецъ, а ты мямля и трусъ.

Вотъ точка анализа, на которой Раскольниковъ повернулъ съ общей дороги подобныхъ ему людей на свой особливый путь, а потому мы, оставивъ общую сторону вопроса, пойдемъ вслѣдъ за нимъ. Моментъ, на которомъ его застаетъ начало разсказа, нѣсколько позже этого поворота. Онъ представляетъ его уже разрѣшившимъ вопросъ, ясную постановку котораго и самый способъ рѣшенія мы находимъ у автора только впослѣдствіи; но для насъ это все равно, потому что, во всякомъ случаѣ, намъ пришлось бы начать съ того же. Человѣкъ этотъ очень молодъ еще;—онъ не кончилъ университетскаго курса; но онъ ужъ развитъ не по лѣтамъ. Давно уже онъ успѣлъ понять свое положеніе и убѣдиться, что онъ не можетъ идти тою дорогою, которою началъ. Невозможность эта лежитъ безъ сомнѣнія не въ одной его бѣдности. Есть люди гибкіе, умѣющіе согнуться, гдѣ нужно, и проскользнуть въ такую узкую щелочку, которой другіе и не примѣтятъ. Раскольниковъ очевидно не изъ такихъ. Въ немъ нѣтъ изворотливости и находчивости, а съ другой стороны есть спесь, не позволяющая ему сгибаться. Такой человѣкъ долженъ былъ, разумѣется, чувствовать вдвое сильнѣе всѣ нравственныя мученія нищеты; но оскорбительное сознаніе, о которомъ мы говорили недавно, сознаніе, что всякій поденщикъ, въ его положеніи, нашелъ бы въ себѣ болѣе смѣлости и болѣе силы выбиться изъ болота, грозящаго его засосать, сознаніе это, у человѣка съ такимъ свирѣпымъ высокомѣріемъ, есте-

ственно—приняло нѣсколько измѣненный видъ. Дорога, на которой онъ встрѣтилъ преградою крайнюю бѣдность, должна была стать въ глазахъ его вдвое заманчивѣе, и цѣль, къ которой она вела, неизмѣримо возвышеннѣе, чѣмъ все это, вѣроятно, казалось бы, еслибъ оно случайно не сдѣлалось для него запрещеннымъ плодомъ и не одѣлось его искусительною прелестью. Такой человѣкъ, какъ онъ, съ его широкимъ взглядомъ на вещи, съ его умомъ, съ его волею, до чего онъ не могъ бы достичь, если бъ не эта тупая и унизительная преграда? Самый тотъ фактъ, что онъ не могъ миновать ее обыкновеннымъ путемъ, не долженъ ли онъ былъ стать, въ его глазахъ, вѣрною порукою, что онъ не похожъ на этихъ другихъ и не можетъ себя измѣрять обыкновенною мѣркою? Вмѣсто того, чтобъ сравнить себя съ обыкновеннымъ поденщикомъ и, понявъ со стыдомъ, что этотъ послѣдній, во многомъ, существенно человѣческомъ, выше и лучше его, поставить задачею для своего самолюбія какъ можно быстрѣе пополнить такой недостатокъ, человѣкъ этотъ предпочелъ просто выдѣлить себя изъ толпы и признать за единицу другого порядка, за одно изъ тѣхъ высшихъ существъ, для которыхъ обыкновенный путь не указанъ. Процессъ, приведшій его къ этому выводу, былъ процессъ чисто личныхъ иллюзій. Свое спесивое отвращеніе къ обыкновенной дорогѣ онъ принялъ за неспособность идти этой дорогой, а неспособность эта, въ его глазахъ, стала вѣрнѣйшею порукою, что онъ способенъ къ чему-то другому, лучшему. Чтобы оправдать эти иллюзіи, онъ долженъ былъ, разумѣется, положить въ основаніе ихъ общіе взгляды, успѣвшіе уже пріобрѣсть всѣ свойства авторитета, взгляды, конечно, выработанные не имъ, но которые приходились ему съ руки, и главнѣйшимъ изъ нихъ явилось весьма естественно: отрицаніе естественнаго порядка. Оно было съ руки ему и естественно въ его положеніи, потому что, не находя себѣ мѣста въ этомъ порядкѣ, онъ, разумѣется, былъ не слишкомъ расположенъ его уважать. Но мы изложимъ его воззрѣнія на этотъ предметъ собственными его словами.— „Люди“—говоритъ онъ,—

„по закону природы, раздѣляются *вообще* на два разряда:— на низшій (обыкновенный, то есть, такъ сказать, на матеріалъ, служащій единственно для зарожденія себѣ подобныхъ, и собственно на людей, т. е. имѣющихъ даръ или талантъ сказать въ средѣ своей *новое слово*. Подраздѣленія тутъ, разумѣется, безконечныя, но отличительныя черты обоихъ разрядовъ довольно рѣзкія: *первый разрядъ*, т. е. матеріалъ, говоря вообще, люди по натурѣ своей консервативные, чинные, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послушными. По моему, они обязаны быть послушными, потому что это ихъ назначеніе, и тутъ рѣшительно нѣтъ ничего для нихъ унизительнаго. —*Второй разрядъ*, — всѣ преступаютъ законъ, разрушители, или склонны къ тому, смотря по способностямъ. Преступленія этихъ людей, разумѣется, относительны и много-различны: большею частію они требуютъ, въ весьма разнообразныхъ явленіяхъ, разрушенія настоящаго во имя лучшаго будущаго... Первый разрядъ всегда господинъ настоящаго, второй разрядъ — господинъ будущаго. Первые сохраняютъ міръ и пріумножаютъ его численно; вторые двигаютъ міръ и ведутъ его къ цѣли. И тѣ и другіе имѣютъ совершенно одинаковое право существовать (впослѣдствіи однако оказывается, что неодинаковое). Однимъ словомъ, у меня всѣ равносильное право имѣютъ, и vive la guerre éternelle! до новаго Іерусалима разумѣется"....

Изъ этого мы уже видимъ ясно, что Раскольниковъ сдѣлалъ скачокъ. Отъ неспособности своей быть простымъ поденщикомъ онъ перескакнулъ однимъ взмахомъ къ способности двигать міръ и вести его къ лучшей цѣли; разстояніе изумительное, и мы еще лучше могли бы измѣрить его если бы знали ясно: какая это такая цѣль?... Ужъ не *новымъ Іерусалимъ*, о которомъ онъ говоритъ въ концѣ? Но въ этомъ онъ очевидно и самъ не даетъ себѣ обстоятельнаго отчета или, вѣрнѣе сказать, впадаетъ, по поводу этого, въ противорѣчія. На счетъ того, что собственно онъ разумѣетъ подъ *новымъ Іерусалимомъ*, сомнѣнія нѣтъ. Это тотъ новый порядокъ жизни, къ которому клонятся всѣ стремленія

соціалистовъ, порядокъ, въ которомъ *всеобщее счастье* можетъ осуществиться, и Раскольниковъ готовъ вѣрить въ возможность такого порядка, по крайней мѣрѣ, онъ не оспариваетъ его возможности, но такъ какъ исходная точка его была чисто личный разладъ его съ жизнію, то и вся дальнѣйшая часть его тенденціи сохраняетъ въ себѣ личный характеръ. Возможность *всеобщаго счастья* слишкомъ ужъ далека для него... „Нѣтъ", говоритъ онъ, — „мнѣ жизнь однажды дана и никогда ея больше не будетъ; — я не хочу дожидаться *всеобщаго счастья*. Я и самъ хочу жить; а то лучше ужъ и не жить..." Вотъ ключъ къ тому настроенію, въ которомъ мы застаемъ его не задолго до его рокового *шага*. Этого мало еще, конечно, чтобъ все объяснить; это не болѣе какъ простой анализъ, который, самъ по себѣ, могъ вовсе и не имѣть послѣдствій, но въ головѣ человѣка съ такимъ бѣдовымъ характеромъ онъ уже много значитъ. Такой человѣкъ, какъ онъ, не могъ на этомъ остановиться; онъ долженъ былъ пойти непремѣнно далѣе и гораздо далѣе, такъ далеко, какъ онъ, можетъ быть, не сознавалъ бы въ себѣ и силы идти, если бы онъ могъ предвидѣть конецъ заранѣе, потому что онъ былъ не изъ сильныхъ, не былъ даже изъ очень смѣлыхъ людей, а былъ только прытокъ и дерзокъ, да при этомъ еще и неповоротливъ, такъ что прямая дорога по одному направленію: — отъ анализа прямо къ выводу, а отъ вывода прямо къ дѣлу, обусловлена была для него скорѣе его неспособностью извернуться, чѣмъ свободнымъ выборомъ силы, сознающей себя достаточною. Тысячи были въ его положеніи, и изъ нихъ очень многие, можетъ быть, даже и думали такъ какъ онъ; но у очень немногихъ сочетаніе ихъ образа мыслей съ общимъ болѣзненнымъ настроеніемъ духа могло бы родить такія послѣдствія.

Въ дѣтствѣ Раскольниковъ былъ мягкій и добрый ребенокъ, съ слабыми нервами и съ очень чувствительнымъ сердцемъ. Онъ не могъ видѣть чужого страданья. Впечатлительность эта осталась въ немъ и впослѣдствіи, и она *то была причиною*, что когда ему довелось самому терпѣть,

онъ старательно избѣгалъ всякаго жесткаго столкновенія съ жизнію и уходилъ боязливо въ себя. Отъ этого-то въ *университетъ* онъ почти не имѣлъ товарищей, всѣхъ чуждался, ни къ кому не ходилъ и у себя принималъ тяжело. Былъ онъ очень бѣденъ и какъ-то надменно гордъ и несообщителенъ, какъ будто что-то таилъ про себя... Ни въ общихъ сходкахъ, ни въ разговорахъ, ни въ забавахъ, ни въ чемъ онъ какъ-то не принималъ участія... Разумѣется, и отъ него скоро всѣ отвернулись. Занимался сначала усиленно, не жалѣя себя, жилъ уроками и тѣмъ, что бѣдная мать высылала ему изъ губерніи; но все это было ничтожно. Мать и сама получала всего 120 рублей пенсіона, а за уроки платили ему полтинниками, которыхъ едва хватало на сапоги. Другой, конечно, можетъ быть справился бы и съ этимъ; были такіе между его товарищами, которые находили возможность это выдерживать,—онъ не могъ. Онъ былъ ненаходчивъ, неловокъ и гордъ. Года въ два-три онъ упалъ совершенно духомъ, пересталъ посѣщать лекціи, потерялъ уроки, отшатнулся рѣшительно отъ всего и заперся въ самомъ скверномъ кварталѣ города, въ пяти шагахъ отъ Сѣнной, въ душной каморкѣ, подъ самою кровлею пяти-этажнаго дома... Входъ съ черной лѣстницы мимо кухни хозяйки, у которой онъ въ неоплатномъ долгу. Въ каморкѣ пыль, духота, столъ съ книгами и тетрадями, до которыхъ ни чья рука давно уже не касалась, софа въ лохмотьяхъ, на которой онъ часто спалъ, какъ былъ, не раздѣваясь, безъ простыни, покрываясь старымъ, ветхимъ студенческимъ пальто и съ одною маленькою подушкою въ головахъ, подъ которую онъ подкладывалъ все, что было бѣлья чистаго и заношеннаго, чтобъ было повыше;—и надъ всѣмъ этимъ потолокъ, подъ которымъ можно было едва стоять, не касаясь до него головой... Четыре мѣсяца тому назадъ онъ получилъ отъ матери пятнадцать рублей, потомъ закладывалъ кое-какія бездѣлки, но всего этого, разумѣется, далеко не хватало. Квартирная хозяйка двѣ недѣли уже, какъ перестала ему отпускать кушанье. Настасья, единственная служанка хозяйкина, обязанная ему прислуживать,

совсѣмъ перестала у него убирать и мести и такъ только, въ недѣлю разъ, нечаянно бралась иногда за вѣникъ. Въ одеждѣ своей, какъ и во всемъ остальномъ, онъ опустился и обнеряшился до послѣдней степени. Онъ былъ до того худо одѣтъ, что иной и привычный посовѣстился бы выходить въ такихъ лохмотьяхъ на улицу; но и улицы вокругъ дома его были не лучше. Близость Сѣнной, пропасть распивочныхъ, пьянство и толкотня, духота, вонь, все это было въ согласіи съ болѣе близкой къ нему обстановкой и замыкало безвыходный кругъ, въ которомъ мы застаемъ Раскольникова. Давно уже онъ томился въ этомъ кругу и, наконецъ, болѣзненное его настроеніе дошло до послѣдней степени. Глубочайшее отвращеніе ко всему, ненависть къ жизни и людямъ запирали всѣ выходы. О насущныхъ дѣлахъ своихъ онъ перестал совершенно заботиться, голодалъ по суткамъ, бродилъ по улицамъ, не замѣчая пути и не видя прохожихъ. Ему случалось нерѣдко возвратиться домой, напримѣръ, и совершенно не помнить дороги, по которой онъ шелъ, и онъ уже привыкъ такъ ходить. Чувство какой-то болѣзненной и трусливой вражды закипало въ немъ при малѣйшемъ прикосновеніи съ чужими, незнакомыми ему лицами. Онъ оборвалъ всякую связь съ окружающимъ, отголкнулся рѣшительно отъ всего, ушелъ отъ всѣхъ, какъ черепаха въ свою скорлупу, и даже лицо служанки, заглядывавшей иногда въ его комнату, возбуждало въ немъ желчь и конвульсіи. Такъ бываетъ, по замѣчанію автора, у иныхъ мономановъ слишкомъ на чемъ-нибудь сосредоточившихся... И это вѣрно. Такое разъединеніе со всѣмъ внѣшнимъ заставляетъ необходимо предполагать съ другой стороны не менѣе сильную концентрацію. Весь огонь, вся энергія этой молодой жизни сосредоточились въ головѣ. Это была единственная его мастерская, и въ ней, какъ въ пылающемъ фокусѣ очага, кипѣла работа усиленная и спѣшная... Онъ думалъ... Цѣлые длинные зимніе вечера лежа одинъ у себя въ каморкѣ, въ потьмахъ, безъ свѣчей,.. онъ думалъ; далѣе этого ему нечего было болѣе дѣлать и *некуда больше* идти. „А понимаете-ли вы, милостивый госу-

дарь, что значитъ, когда уже некуда больше идти?.. Ибо надо, чтобъ всякому человѣку хоть куда-нибудь было можно пойти“... А если некуда, совсѣмъ уже некуда, тогда что?.. Тогда ему остается стоически обернуться лицомъ къ стѣнѣ и умереть; или... переступить барьеръ, поставленный для стада обыкновенныхъ людей закономъ, которому ихъ назначеніе повиноваться, но который не обязателенъ для людей другого разряда, людей, стремящихся къ разрушенію стараго во имя чего-нибудь новаго, лучшаго...

Въ томъ, что Раскольниковъ думалъ объ этомъ вопросѣ долго съ теоретической его стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія. Въ этомъ свидѣтельствуетъ его статья, написанная два мѣсяца передъ тѣмъ и главною темою которой было *преступленіе*. Въ этой статьѣ, онъ успѣлъ ужъ додуматься до довольно рискованныхъ заключеній. Онъ успѣлъ, напримѣръ, убѣдить себя: „что необыкновенный человѣкъ имѣетъ право... то есть не оффиціальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти... перешагнуть черезъ иныя препятствія, и единственно въ томъ только случаѣ, если исполненіе его идеи (иногда спасительной, можетъ быть, для цѣлаго человѣчества) того потребуетъ. Такъ, напримѣръ, если бы Кеплеровы, Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ-нибудь комбинацій, никакимъ образомъ не могли бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ бы этому открытію, или ставшихъ-бы на пути, какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ бы право и даже былъ бы обязанъ... *устранить* этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать извѣстными свои открытія всему человѣчеству...“ Все это далеко не ново и такъ не хитро, что человѣкъ, умственно зрѣлый можетъ и самъ понять, гдѣ тутъ кроется ложь; а потому мы и займемся этимъ впослѣдствіи, на досугѣ; теперь же посмотримъ, что далѣе?.. Далѣе—„всѣ, ну, напримѣръ, хоть законодатели и установители человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и т. д., всѣ до единаго были преступники уже тѣмъ од-

нимъ, что давая новый законъ, тѣмъ самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отъ отцовъ перешедшій, и ужъ, конечно, не останавливались и передъ кровью, если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая за древній законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшные кровопроливцы...“ Выводъ такой,—„что и всѣ, не то что великіе, но и чуть-чуть изъ колеи выходящіе люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что нибудь новенькое, должны по природѣ своей быть непремѣнно преступниками, болѣе или менѣе разумѣется. Иначе имъ трудно выйти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ, они, конечно, не могутъ согласиться, опять-таки по природѣ своей, а по моему, такъ даже и обязаны не соглашаться.»

Выводъ весьма замѣчательный, потому что онъ намъ указываетъ, куда, можетъ быть, неприметно для самого Раскольникова, по тѣмъ не менѣе очевидно для насъ, клонилась умственная его работа. Съ высоты историческихъ парадоксовъ, олицетворенныхъ имъ въ колоссальныхъ фигурахъ Наполеона и Магомета, онъ инстинктивно стремился сойти къ той крайне неопредѣленной чертѣ, которая отдѣляетъ послѣдній разборъ общественныхъ дѣятелей и людей, выходящихъ изъ ряда, отъ несмѣтнаго множества двусмысленныхъ личностей, *чуть-чуть выходящихъ изъ колеи*, *чуть-чуть способныхъ сказать что-нибудь новенькое*, отъ такихъ, однимъ словомъ, на счетъ которыхъ весьма мудрено рѣшить: вышли-ли они изъ колеи по природѣ своей или по просту соскочили съ рельсовъ.

Въ началѣ статьи мы указали точку, съ которой Раскольниковъ повернулъ на теорію; — здѣсь мы находимъ другую, съ которой работа мысли его начала опять принимать оборотъ практическій. Въ суммѣ эти два поворота образовали изгибъ, направленный безсознательно, но неуклонно къ тому, чтобы обойти препятствія, загородившія ему торный путь, и оставить ихъ позади себя однимъ взмахомъ, не вступая съ ними въ открытый упорный бой. Къ

несчастью, на изгибѣ этомъ его ожидало нѣчто весьма дл
него непріятное, и чего никакими софизмами онъ не мог
обойти: — это *законъ*, черезъ который надо было ступит
фактически и такимъ образомъ совершить положительно
самолично то, что называется *преступленіемъ*. Теоретиче
ски онъ былъ смѣлъ, и справлялся съ этимъ легко. Во
просъ о преступленіи вообще, какъ мы видѣли, занимал
его очень сильно и былъ обдуманъ имъ съ разных
сторонъ. Но *преступленіе вообще*, преступленіе какъ про
стое понятіе, и преступленіе въ образѣ дѣла, имѣющаг
осуществиться—двѣ вещи весьма различныя.

...Что нужно сдѣлать?... Гдѣ и когда и какимъ обра
зомъ? И точно-ли онъ изъ тѣхъ, которые могутъ себѣ раз
рѣшить это по совѣсти, ради высшихъ цѣлей? И гдѣ у
него эти высшія цѣли?... Гдѣ силы Наполеона и гдѣ от
крытія Кеплера?... И кто стоитъ у него на дорогѣ, пре
пятствуя ему сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества?... Вс
это страшно сбивало и путало мысленную его работу, а
тутъ нужда стегаетъ его своимъ тяжелымъ бичомъ, как
пугливую лошадь, упершуюся въ пяти шагахъ отъ барьера
и онъ дошелъ до послѣдней крайности, и идти больше не
куда; а понимаете ли, что значитъ: когда человѣку некуд
уже больше идти?... Какъ замкнутъ долженъ быть чело
вѣкъ въ себѣ, какъ удаленъ отъ всякаго освѣжающаг
дуновенія извнѣ и съ какимъ лихорадочнымъ жаромъ долж
въ немъ работать мысль, отыскивая какую-нибудь щелоч
ку, какой-нибудь выходъ!... И какъ болѣзненно раздра
жена должна быть фантазія, какіе сны должны грезиться
какія предчувствія мучить, какой легкій доступъ для суе
вѣрія съ его одуряющей темною силой!... Какое фатально
впечатлѣніе можетъ произвести малѣйшій намекъ извнѣ,
самый ничтожный случай, дающій хотя и обманчивую, н
все-таки какую-нибудь точку опоры для мысли, изнемогаю
щей въ колебаніяхъ и отступающей на каждомъ шагу?...
На все это мы находимъ отвѣтъ въ романѣ... *)

---

*) Послѣ этого Ахшарумовъ приводитъ изъ романа разсказъ въ тракти
рѣ, имѣвшій роковое вліяніе на Раскольникова.

Примѣч. В. Зелинскаго.

И вотъ, наконецъ, въ уединенной его мастерской, изъ этого мучительнаго процесса мысли вылупился, какъ цыпленокъ изъ яйца, первый зародышъ *дѣла*, первое, ясное представленіе: куда надо идти и что именно сдѣлать. Голодная мысль набросилась на этотъ отвратительный кусокъ пищи съ неудержимою жадностью, и не смотря на то, что его при этомъ почти непрерывно тошнило, онъ далъ ей полную волю. Что за бѣда? Вѣдь это не дѣло еще, это только простой расчетъ и прикидка, не обязывающіе его ни къ чему. Въ его волѣ всегда будетъ сдѣлать или не сдѣлать; но на тотъ случай, если бы послѣ когда-нибудь, неизвѣстно когда, онъ нашелъ нужнымъ *сдѣлать*, то почему не обдумать сперва?... И вотъ онъ началъ обдумывать, не замѣчая того, что въ этомъ обдумываніи есть притягательная сила, противъ которой весьма мудрено устоять. Творческій процессъ мысли, посредствомъ котораго она зарождаетъ дѣло, начинается нечувствительно, безсознательно, но чѣмъ далѣе онъ подвигается, тѣмъ менѣе отъ нея зависитъ остановить его и истребить зародышъ въ зернѣ. Онъ крѣпнетъ, растетъ, перетягиваетъ въ себя всѣ силы матери и, наконецъ, отдѣливъ себя отъ нея, какъ нѣчто самостоятельное, становится властелиномъ ея, подчиняетъ ее себѣ совершенно. Нѣчто подобное произошло и съ Раскольниковымъ. Блудливое любопытство нужды и отсутствіе всякихъ другихъ занятій заставляли его сперва играть съ этимъ зародышемъ мысли, какъ съ страшной игрушкой, и онъ такъ привыкъ къ этой игрѣ, такъ былъ убѣжденъ, что это только игра и что изъ мысли не выйдетъ дѣла, что незамѣтно втянулся въ эту игру до того, что сталъ чувствовать, наконецъ, какъ роли перемѣнились, и то, чѣмъ онъ забавлялся, овладѣвъ имъ, стало его давить и тянуть къ себѣ, и онъ самъ сталъ игрушкою у него въ рукахъ. Тогда то онъ струсилъ и сталъ закрывать глаза, чтобы не видѣть произрожденія своей мысли, но оно было въ немъ, и онъ видѣлъ его, не могъ не видѣть его ежеминутно. Оно выросло, и всѣ члены его были развиты, готовы къ дѣйствію. Онъ самъ способствовалъ этому, самъ

все придумалъ и подготовилъ давно. Топоръ выбранъ былъ какъ орудіе и гдѣ его взять рѣшено. Петля подъ пальто, подъ лѣвою мышкою, чтобы привѣсить и скрыть топоръ, также была придумана; иголки и нитки, чтобы пришить ее, были давно уже приготовлены и лежали на столѣ, въ бумажкѣ. Въ маленькой щели, между его „турецкимъ" диваномъ и поломъ, приготовленъ и спрятанъ былъ *мнимый закладъ*. Дѣло дошло наконецъ до того, что и обманывать себя далѣе было уже невозможно;—съ ужасомъ онъ убѣдился, что это ужъ болѣе не простая фантазія, а положительный и серьезный умыселъ. Онъ былъ отвратителенъ для Раскольникова, но Раскольниковъ ужъ не могъ отъ него отказаться надолго, не могъ оттолкнуть его отъ себя и только пятился отъ него, колебался въ мучительной нерѣшимости, трусилъ, дрожалъ...

Это была та минута, когда онъ почувствовалъ, что его начинаетъ *втягивать*; но онъ сдѣлалъ еще одно послѣднее и отчаянное усиліе... Почти въ горячкѣ, въ бреду, мы находимъ его просыпающимся на Петровскомъ, въ кустахъ, куда онъ забрелъ накапунѣ, не сознавая зачѣмъ, и гдѣ онъ уснулъ отъ утомленія. Страшный сонъ еще мерещится ему наяву. Весь ужасъ того, что ему предстоитъ, разомъ обрисовался въ его глазахъ, и онъ вдругъ рѣшилъ, что этого быть не можетъ, что этому не бывать... Свобода отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, обаянія, наважденія, показалась ему возможна еще. Собравъ послѣднія силы, онъ торжественно отрекся отъ всего имъ задуманнаго и шелъ уже домой съ чувствомъ отраднаго успокоенія на душѣ, какъ вдругъ, совершенно нечаянно, онъ попалъ на Сѣнную, и это его удивило, потому что Сѣнная была не по дорогѣ ему; но ужасъ смѣнилъ его удивленіе, когда онъ вдругъ, внезапно и совершенно неожиданно, изъ разговора, подслушаннаго имъ мимоходомъ, узналъ, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ея сожительницы, дома не будетъ и что, стало быть, старуха, ровно въ семь часовъ вечера, *останется дома одна*. Этотъ ничтожный самъ въ себѣ случай

сталъ для него приговоромъ судьбы... „Онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать: но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно“.

Такова сущность психологическаго анализа. Глубокая правда его сообщаетъ разсказу характеръ живой, не выдуманной дѣйствительности. Въ результатѣ мы видимъ передъ собою ярко очерченный образъ Раскольникова. Это слабый, болѣзненно-впечатлительный и задавленный обстоятельствами юноша, подъ вліяніемъ раздраженной мысли вообразившій себя Титаномъ и самъ, на каждомъ шагу, инстинктивно чувствующій свою ошибку, но не имѣющій силы освободиться изъ-подъ обаятельнаго вліянія. Заносчивый и блудливый, но ограниченный умъ его, на первой попыткѣ выбиться изъ рутины, на первыхъ шагахъ къ самостоятельному развитію, увязъ въ кругу узкой, парадоксальной теоріи и до конца не могъ выбиться изъ нея, до конца не могъ сбросить съ себя это иго. Взглянемъ на эту теорію.—она недалеко хватаетъ и потому не задержитъ насъ долго.

Раскольниковъ дѣлитъ людей на людей и на не людей. Первые у него имѣютъ смыслъ сами въ себѣ, вторые только по отношенію къ первымъ, какъ матеріалъ, необходимый для ихъ производства. Это уже довольно странно, но еще гораздо страннѣе выводъ, который изъ этого дѣлается. Еслибъ онъ вывелъ, что первые должны жить для себя, а вторые для первыхъ, то это по меньшей мѣрѣ было бы хоть послѣдовательно; но онъ заключаетъ наоборотъ. Первые у него живутъ для послѣднихъ и признаются *людьми* потому только, что они имѣютъ способность и назначеніе быть ихъ благодѣтелями.

Затѣмъ, восходя въ сферу п...за, онъ дѣлитъ это понятіе, какъ провіантъ, между всѣми людьми, безъ различія, поголовно и въ случаяхъ спорныхъ рѣшаетъ ариометически. Гдѣ больше число головъ, тамъ право является

съ плюсомъ, какъ нѣчто дѣйствительное и положительное; а гдѣ меньше, тамъ съ минусомъ, какъ мнимое, отрицательное, и потому въ дѣйствительности несуществующее. Въ суммѣ, весь этотъ вздоръ можно опредѣлить пятью словами. Это попытка ввести въ сферу нравственной истины систему ариометическихъ отношеній. Попытка несбыточная, потому что понятіе недѣлимо. Право у единой личности и право милліоновъ людей равно, потому что тутъ нѣтъ двухъ правъ, а есть только одно, и нельзя его отрицать съ одной стороны у одного человѣка, не отрицая тѣмъ самымъ съ другой у всѣхъ остальныхъ. Объ эту-то *недѣлимость понятія* и спотыкается прежде всего парадоксъ Раскольникова. Сто разъ задаетъ онъ себѣ все тотъ же вопросъ и сто разъ попадаетъ въ безвыходный кругъ противорѣчивыхъ его разрѣшеній, а одного, простого и совершенно съ собою согласнаго не усматриваетъ. Ему мерещутся Магометы, Наполеоны, путь этихъ людей, залитый кровью, и тѣ вѣнцы, которыми ихъ вѣнчали, это съ одной стороны, а съ другой, онъ, бѣдный студентъ, Раскольниковъ, за которымъ не признаютъ даже права убить одну ничтожную, гадкую старушонку, несмотря на то, что онъ клятвенно обѣщаетъ загладить это мизерное отступленіе отъ закона рядомъ благодѣяній!... Гдѣ тутъ справедливость? Да, разумѣется, ее тутъ вовсе нѣтъ, и мы не можемъ понять, въ чемъ онъ тутъ видитъ противорѣчіе. Справедливости нѣтъ ни въ томъ, что дѣлали Магометы съ Наполеонами, ни въ томъ, что онъ сдѣлалъ; а если ихъ и вѣнчала толпа, то вѣдь онъ-же за то и презираетъ толпу. Чего-жъ ему больше, и если бы его толпа увѣнчала за его пакость, то развѣ это было бы причиною меньше его презирать? Или онъ думаетъ не шутя, что эти Титаны были увѣнчаны за тѣ благодѣянія, которыми они надѣлили людей? Но это ужъ было бы слишкомъ наивно, и хотя мы считаемъ Раскольникова ограниченнымъ человѣкомъ, но все же не до такой степени.

Вотъ связный отчетъ о томъ, какимъ путемъ Раскольниковъ пришелъ къ дѣлу. Къ сожалѣнію, составляя его,

мы не могли, воспользоваться всею массою матеріала, умѣстившагося въ шести частяхъ. Имѣя въ виду прежде всего связь и послѣдовательность, мы должны были выбрать то, что по нашему убѣжденію ближе подходитъ къ истинѣ и по возможности меньше противорѣчитъ цѣлому. Исполнивъ это безъ оговорки и безъ упрековъ, мы повторимъ еще разъ, что взглядъ автора на психологическую задачу, ему предстоявшую, въ коренны[illegible]ованіяхъ своихъ, вѣренъ, и затѣмъ сочтемъ себ[illegible]олномъ правѣ, также безъ оговорокъ, высказать [illegible] сомнѣнія, оставшіяся у насъ послѣ вниматель[illegible]бной оцѣнки *всѣхъ данныхъ*.

Теоретическихъ прот[illegible]ы не беремъ въ расчетъ. Мало ли что совмѣща[illegible]овѣ, чего никакъ нельзя совмѣстить на дѣлѣ. [illegible] примѣры и не такой путаницы. Поэтому мы [illegible]немъ, что додуматься до подобной пакости Раскольни[illegible] могъ и оправдывать ее могъ. Но какимъ образомъ такой лирикъ, Гамлетъ, такой малодушный и слабонервный мечтатель могъ когда-нибудь найти въ себѣ столько рѣшимости, чтобы исполнить дѣйствительно имъ задуманное, это не такъ-то ясно. Онъ понималъ хорошо весь ужасъ его ожидающій, всю мерзость подобнаго дѣла; его возмущало, тошнило при одной мысли о томъ, какъ онъ возьметъ въ руки топоръ и станетъ бить старуху по головѣ; — онъ самъ признается сто разъ, что зналъ заранѣе, до какой степени онъ не способенъ на этого рода вещи, и мы вѣримъ ему, намъ кажется и самимъ, что онъ былъ не способенъ. У людей съ такимъ пылкимъ воображеніемъ и съ такою болѣзненною впечатлительностію,—энергія страсти обыкновенно бываетъ слаба. Они тратятъ ее въ такомъ количествѣ и такъ постоянно на дѣло воображаемое, что ее не хватаетъ на дѣло дѣйствительное. А что Раскольниковъ былъ такой именно человѣкъ, то на это и въ первой части (изъ которой мы извлекли главнѣйшіе матеріалы для нашего отчета) мы находимъ намеки, весьма недвусмысленные;—что же сказать въ остальныхъ пяти?... Такой ужасъ, такіе трансы и та-

кая глубокая, тонкая, поэтическая, мѣстами даже юмористическая оцѣнка всего происходящаго съ нимъ, откуда оно взялось у этого человѣка? Не убійство же со всею его неизреченною мерзостію сдѣлало изъ него такого поэта; а обратно предположить, что такой поэтъ могъ сдѣлать такую мерзость, — опять не приходится. Догматы узкой теоріи, горячая, отвлеченная голова, фанатизмъ, сосредоточивающій всѣ страсти въ пылающемъ фокусѣ одной безотвязной идеи, все это отлично подходитъ къ убійству и могло бы намъ объяснить его очень достаточно, и на все это есть намеки мѣстами, но это не все и далеко не такъ очевидно, а очевидное, что намъ встрѣчается сплошь и подъ рядъ и въ чемъ сомнѣваться почти нельзя, это то, что Раскольниковъ былъ поэтъ. Эта черта господствуетъ. Припомнимъ сонъ его наканунѣ убійства, припомнимъ тѣ фантастическіе и яркіе образы, въ которыхъ ему рисуется его положеніе, и его разговоръ въ трактирѣ съ Заметовымъ и тотъ тонкій юморъ, съ которымъ онъ самъ осмѣиваетъ свои ошибки, и вѣрный — отчетъ, который безъ зову, съ неудержимой навязчивостью является у него въ минуты страшнѣйшей опасности, отчетъ о томъ, что онъ чувствуетъ и что съ нимъ происходитъ, и наконецъ его тонкую, инстинктивную и безошибочную оцѣнку людей съ перваго взгляда, съ перваго слова,—сообразимъ это все и повторимъ еще разъ: да, Раскольниковъ былъ поэтъ, и поэтъ, меньше всего способный къ жестокому дѣлу, — поэтъ лирическій. Затѣмъ остается вопросъ: какимъ образомъ онъ могъ окунуться въ такую грязь и, не смотря на весь ужасъ дѣла, сознаваемый имъ яснѣе, чѣмъ кѣмъ бы то ни было, не только задумать его, не только рѣшиться,—но и исполнить дѣйствительно?... Не спятилъ ли онъ совсѣмъ съ ума за нѣсколько времени передъ дѣломъ и потомъ уже, но немногу пришелъ въ разсудокъ? Но, во-первыхъ, мы ни одной минуты до дѣла или во время дѣла не видимъ его въ безсознательномъ состояніи. Во-вторыхъ, если бы это дѣйствительно было такъ, то авторъ, конечно, не оставилъ бы насъ въ сомнѣніи. Нѣтъ, авторъ не думалъ этого, и въ

этомъ ручаются намъ нѣсколько строкъ его эпилога, въ которыхъ онъ явно смѣется надъ модной теоріей *временнаго умопомѣшательства*. Къ тому же существенный смыслъ большей половины романа и одна изъ главнѣйшихъ причинъ его объема очевидно то, что авторъ имѣлъ въ виду довесть преступника до раскаянія. Все это было бы лишнее и не имѣло бы даже смысла, если бъ Раскольниковъ былъ мономанъ, а не преступникъ. Тол [illegible] этого рода, стало быть, мы не можемъ никакъ до [illegible] тѣмъ остается только одно и, по нашему мнѣн [illegible] енное возможное. Мы должны допустить, что а [illegible] лъ ошибку, не отдѣливъ достаточно ясной черто [illegible] отъ своего созданія. Онъ былъ, какъ говорили у [illegible] время оно, недостаточно объективенъ. Его [illegible], мѣстами высоко-лирическій, мѣстами неподраж [illegible] ристическій взглядъ на Раскольникова и на его по [illegible], въ жару увлеченія, нечувствительно ускользнулъ [illegible] его, перешелъ къ Раскольникову и съ свойственною этому послѣднему дерзостью усвоенъ былъ имъ. Очень полезно для того, чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, какъ говорится, на мѣстѣ его, войти въ его положеніе и пережить его собственнымъ сердцемъ; но сердце сердцу рознь. Того, что чувствовалъ бы такой поэтъ, какъ г-нъ Достоевскій, если бы онъ какимъ-нибудь колдовствомъ могъ очутиться дѣйствительно въ положеніи Раскольникова, того не могъ, даже и приблизительно, чувствовать настоящій Раскольниковъ, а если бы могъ, то онъ никогда не сдѣлалъ бы такой мерзости. Это была ошибка, — ошибка существенная, и разъ убѣдясь въ ней, не трудно себѣ объяснить, какія она имѣла послѣдствія. Анализъ, въ основѣ своей глубоко-вѣрный, получилъ ложный оттѣнокъ, и этотъ ложный оттѣнокъ явился вокругъ головы Раскольникова какою-то блѣдною ореолою падшаго ангела, которая вовсе ему не къ лицу. Что это былъ за человѣкъ въ сущности, объ этомъ не трудно составить себѣ понятіе, стоитъ только припомнить двѣ, три черты. Вспомнимъ, напримѣръ, какъ онъ унижался передъ полиціей или хоть то, что во все

время слѣдствія, ему не случилось ни разу даже и пожалѣть, что другихъ, невинныхъ людей держать изъ-за него въ острогѣ, что они лѣзли въ петлю отъ ужаса и что ихъ могутъ сослать на каторгу. Это ему казалось естественно, и онъ этому былъ даже радъ, боялся только, чтобъ истина, наконецъ, не открылась. И такой человѣкъ, едва успѣвъ вынырнуть изъ кровавой лужи, въ которую онъ окунулся, вдругъ поднимаетъ голову и смотритъ на все съ высоты неприступной. На сердцѣ у него всемірное горе, на языкѣ язвительная сатира; это уже не мальчикъ, недоучившійся въ школѣ и съ голодухи озлобленный, а со злости додумавшійся до чертиковъ,—это Гамлетъ или Фаустъ, человѣкъ совершенно зрѣлый и эстетически развитой!...

Но оставимъ эстетику и вернемся къ разсказу.

За *преступленіемъ* слѣдуетъ *наказаніе*.— „Слѣдуетъ“, впрочемъ, мало сказать, это слово далеко не передаетъ той неразрывной связи, какую авторъ провелъ между двумя сторонами своей задачи. Наказаніе начинается раньше, чѣмъ дѣло совершено. Оно родилось вмѣстѣ съ нимъ, срослось съ нимъ въ зародышѣ, неразлучно идетъ съ нимъ рядомъ, съ первой идеи о немъ, съ перваго представленія. Муки, переносимыя Раскольниковымъ, подъ конецъ, когда дѣло ужъ сдѣлано, до того превосходятъ слабую силу его, что мы удивляемся, какъ онъ ихъ вынесъ. Въ сравненіи съ этими муками всякая казнь блѣднѣетъ. Это сто разъ хуже казни, это пытка и злѣйшая изъ всѣхъ, — пытка нравственная. Нѣсколько разъ она до того доходитъ, что онъ не можетъ ужъ дольше терпѣть, и идетъ объявить на себя, чтобъ только чѣмъ-нибудь кончить, но дѣло случайно затягивается и вдругъ принимаетъ другой оборотъ. Въ одну изъ тѣхъ страшныхъ минутъ, когда онъ чувствуетъ полное омерзѣніе къ жизни, чувствуетъ себя отъ всѣхъ какъ ножницами отрѣзаннымъ и не можетъ себѣ представить, чтобы когда-нибудь между людьми и нимъ могло быть что нибудь общее,—бѣдствіе одного недавно знакомаго ему семейства затрогиваетъ въ немъ живую струну, и онъ дѣлаетъ доброе дѣло, маленькое, едва примѣтное доброе дѣльце,

но оно упадаетъ, какъ капля небесной воды на запекшіяся отъ жажды губы того несчастнаго грѣшника, о которомъ разсказываетъ намъ притча... Чистый ребенокъ, дѣвочка— догоняетъ его на лѣстницѣ, лепечетъ ему сквозь слезы слова искренней благодарности, обнимаетъ его своими худенькими рученками и цѣлуетъ,—цѣлуетъ его—*убійцу!*... Все это вдругъ освѣжило его удивительнымъ образомъ. Это была первая минута отды[illegible] настоящаго отдыха, первый намекъ, что не все для [illegible] го [illegible] ончено, что въ жизни есть нѣчто еще, отъ ч[illegible] оторванъ, и это нѣчто такъ чисто, такъ х[illegible]дъ за этимъ на сцену является другой падшій анг[illegible]гелъ — увы! съ желтымъ билетомъ! — Это [illegible]! Главная роль послѣ Раскольникова, по смыс[illegible] должна принадлежать ей. Это несчастный, но [illegible]й ребенокъ, продающій себя для поддержки тако[illegible]гной семьи.

Семья Мармеладовыхъ прина[illegible]тъ къ числу лучшихъ вещей, когда-нибудь созданныхъ авторомъ и совершенно во вкусѣ его. Не смотря на ужасный смыслъ ихъ положенія и ихъ отношеній другъ къ другу, общее впечатлѣніе до того горячо и чисто, и дышитъ такимъ истинно человѣческимъ пониманіемъ человѣка и любовію къ человѣку, что мы почти отдыхаемъ на немъ отъ удушливой атмосферы ужаса и отчаянія, въ которой авторъ заставляетъ насъ вращаться все остальное время. Катерина Ивановна — вотъ настоящая героиня. Ничего меньше похожаго на идеалъ, но вмѣстѣ и ничего, въ чемъ истинная энергія женщины заявила бы себя правдивѣе, громче и явственнѣе. Это безвыходное, отчаянное несчастіе, это отсутствіе всякой опоры и всякаго утѣшенія, и въ виду всего этого такая борьба! Борьба ежедневная, ежечастная, безъ одной минуты отдыха, безъ малѣйшей надежды на помощь или побѣду, борьба безъ уступки и сдачи, борьба до послѣдняго вздоха и до послѣдняго замиранія сердца!... Что долженъ былъ чувствовать такой человѣкъ, какъ Раскольниковъ, встрѣтясь лицомъ къ лицу съ такою женщиной? Не долженъ ли онъ былъ сгорѣть отъ стыда, не долженъ ли онъ былъ показ[illegible] *самъ себѣ* грязною тряпкою?...

Совершенно другого рода контрастъ съ Катериной Ивановной мы находимъ въ мужѣ ея. Что это за лицо? и откуда взялъ авторъ такія краски, чтобы его написать? Послѣ всѣхъ блестящихъ попытокъ г. Островскаго въ этомъ родѣ, послѣ всего, что мы встрѣчали въ жизни и въ литературѣ, намъ кажется, что мы никогда еще не видали пьяницу, настоящаго, записного пьяницу и никогда не знали, до чего на этой дорогѣ можетъ дойти человѣкъ, не дѣлаясь между тѣмъ совершеннымъ скотомъ и все еще сохраняя въ себѣ теплую душу и мысли истинно-человѣческія...

Что же сказать о Сонѣ?... Лицо это глубоко-идеальное, и задача автора была невыразимо трудна; поэтому можетъ быть исполненіе ея и кажется намъ слабо. Задумана она хорошо, но ей тѣла не достаетъ;--не смотря на то, что она безпрестанно у насъ на глазахъ, мы какъ-то не видимъ ее. Все, что о ней говорятъ, полно смысла и рисуетъ ее гораздо лучше, чѣмъ то, что она сама отъ себя говоритъ. Отношенія этой особы къ Раскольникову довольно ясны. Это былъ единственный человѣкъ изъ всѣхъ окружающихъ, передъ которымъ у него хватило духу открыться и въ которомъ онъ могъ найти себѣ точку опоры. Она, съ одной стороны по крайней мѣрѣ, была для него или по крайней мѣрѣ казалась ровнею; — но онъ, конечно, не могъ такъ скоро понять, до какой неизмѣримой степени эта женщина выше его во всемъ остальномъ. Послѣ онъ понялъ, и тогда онъ упалъ передъ ней на колѣни, тогда онъ отдалъ ей душу свою навсегда.

Все это однако, въ романѣ, выходитъ вяло и блѣдно не столько въ сравненіи съ энергическимъ колоритомъ другихъ мѣстъ разсказа, сколько само по себѣ. Идеалъ не вошелъ въ плоть и кровь, а такъ и остался для насъ въ идеальномъ туманѣ. Короче сказать, все это вышло жидко, неосязательно...

Порфирій неподражаемъ!... Не говоря ужъ о томъ, что онъ выполненъ въ совершенствѣ; это въ глаза бросается. Картина полна и выходитъ изъ рамки; ни одной черточки не найдешь прибавить или убавить, совершенно живой чело-

вѣкъ; а вглядитесь въ него попристальнѣе и увидите, что такихъ людей нѣтъ. Идеалъ, да какой еще! Идеалъ слѣдователя, глубочайшаго знатока по своей части, психолога, одареннаго самымъ тонкимъ психологическимъ чутьемъ, понимающаго людей насквозь и читающаго у нихъ въ душѣ, какъ въ открытой книгѣ! Такого слѣдователя не встрѣтишь даже и между *правовѣдами*, на которыхъ онъ, кстати сказать, до такой степени не похожъ, что мы удивляемся: какимъ образомъ автору пришло въ голову записать его въ этотъ цехъ? Порфирій играетъ съ Раскольниковымъ, какъ съ малымъ ребенкомъ и видитъ его игру насквозь. Не имѣя въ рукахъ ни одной черточки, за которую онъ бы могъ ухватиться, онъ доводитъ противника до того, что тотъ кружится, какъ обожженная муха вокругъ огня и наконецъ попадаетъ въ него. Раскольниковъ самъ, безъ зову, лѣзетъ къ нему и неловкимъ стараніемъ скрыть игру открываетъ ему, одну за одной, всѣ карты. Это уже сдѣлало бы величайшую честь любому слѣдователю; но и этого мало еще. Замотавъ совершенно Раскольникова, побѣдитель великодушно отказывается отъ трофеевъ своей побѣды. Онъ не хочетъ его гонять и травить какъ зайца, да это ему и не нужно. Онъ говоритъ ему прямо и совершенно искренно: вы въ моихъ рукахъ, но я васъ жалѣю по-человѣчески и хочу вамъ помочь, насколько это возможно. Мой дружескій вамъ совѣтъ: поймите, что вамъ больше нечего дѣлать и явитесь съ повинною; это будетъ вамъ безконечно-выгоднѣе....

Мы жалѣемъ, что авторъ Свидригайлова очертилъ второпяхъ и далъ ему роль совершенно побочную. Свидригайловъ выходитъ особнякомъ въ романѣ; въ немъ много загадочнаго, и даже его отношенія къ Дунѣ, сестрѣ Раскольникова, не довольно ясны. Намъ остается неясно чувство его къ этой женщинѣ: была ли это одна сухая, звѣрская страсть или тутъ замѣшалось что-нибудь чище этого? Послѣднее вѣроятнѣе, потому что снимаетъ всякій укоръ въ утрировкѣ и придаетъ человѣческій образъ даже такому скоту. Сцена его съ сестрою Раскольникова отзывается ме-

лодрамой; но и въ этомъ не онъ виноватъ. Будь на мѣстѣ ея живое лицо, могло бы выйти удачнѣе. Болтливая рѣчь Свидригайлова, при встрѣчахъ его съ Раскольниковымъ, рисуетъ отлично эту фигуру, рисуетъ ее во всю богатырскую ея ширину, и мы отдыхаемъ на этой картинѣ цѣлой, не сломанной силы отъ спазмодическихъ трансовъ Раскольникова. Свидригайловъ тоже убійца, можетъ быть даже и хуже того, и въ немъ нѣтъ ничего штучнаго, разнорѣчиваго; онъ весь, безъ всякихъ противорѣчій, подлецъ, а между тѣмъ, — и намъ какъ-то странно признаться, — онъ симпатичнѣе г-на Раскольникова. Сила, въ какую бы сторону она ни была направлена, все-таки сила, и мы не можемъ ей отказать совершенно, не то чтобы въ сочувствіи, это много сказать, а въ нѣкоторомъ, невольномъ къ ней уваженіи... Шулеръ, мерзавецъ, человѣкъ, продавшій себя старухѣ и потомъ уходившій эту старуху, человѣкъ, готовый растлить все молодое и свѣжее!... Какъ низокъ долженъ быть въ нашихъ глазахъ Раскольниковъ, чтобы стать если не ниже еще, то по крайней мѣрѣ противнѣе. Его эстетическая брюзгливость во время послѣдней бесѣды его съ Свидригайловымъ и тотъ невозмутимо-циническій, полунасмѣшливый тонъ, съ которымъ послѣдній ему говоритъ: ну да ужъ и вы то вѣдь тоже!... Все это полно оригинальнаго юмора... Черты суевѣрія очень понятны въ такомъ характерѣ, понятна и щедрость и то, что онъ является человѣкомъ, такъ, иногда, для развлеченія, потому, что *вѣдь не привилегію же онъ взялъ въ самомъ дѣлѣ дѣлать одно только злое.* Но что остается темно, такъ это его самоубійство. Мы не считаемъ несбыточною эту развязку; напротивъ, она весьма возможна: но между сею и всѣмъ остальнымъ человѣкомъ есть пробѣлъ, въ романѣ ничѣмъ ненаполненный. Мы можемъ только догадываться: какимъ образомъ онъ дошелъ до того, по данныхъ, чтобы повѣрить наши догадки, авторъ намъ не далъ, а потому мы и не видимъ нужды ихъ сообщать.

* * *

*) Задача этого романа была чрезвычайно трудна; она могла оказаться по силамъ только такому высоко даровитому автору, какъ Достоевскій. Изобразить въ 1-й части романа весь процессъ преступленія, затѣмъ, въ слѣдующихъ частяхъ, — не что иное, какъ дальнѣйшее психологическое развитіе душевнаго состоянія преступника, сквозь которое проглядывало бы и душевное настроеніе, предшествовавшее преступленію и его подготовившее — тема въ высшей степени тяжелая по своему гнетущему однообразію и по ужасному впечатлѣнію на читателя. И что-же? читаешь—и духъ замираетъ, однако же, какъ всѣмъ хорошо извѣстно, не можешь оторваться отъ книги. Кто же является тутъ преступникомъ? — Личность вполнѣ развитая, студентъ. Какое преступленіе совершаетъ онъ? Ни болѣе ни менѣе, какъ убійство для грабежа. Нельзя не сознаться, какъ и замѣтила въ свое время критика, что это случай въ полномъ смыслѣ слова исключительный, нѣчто совершенно особенное, выходящее изъ ряда; между тѣмъ читаешь—и поневолѣ вѣришь, что все это возможно, до такой степени психологически вѣренъ весь процессъ развитія преступленія и его послѣдствій. Преступникъ — бѣднякъ, но бѣднякъ мыслящій, стало быть, такой, которому несравненно тяжелѣе всякаго другого бѣдняка. Онъ долженъ для того, чтобы только просуществовать въ свое учебное время, заниматься обученіемъ дѣтей за мѣдный грошъ. При томъ усиленномъ умственномъ трудѣ, какого требуетъ университетская наука, онъ лишенъ какихъ бы то ни было удобствъ, лишенъ и высшихъ наслажденій, въ родѣ театра—всего, что доставляетъ человѣку совершенно законный отдыхъ отъ умственнаго труда. Бѣдность забила его въ душную кануру гдѣ-то на чердакѣ. Правда, онъ самъ говоритъ: „другіе трудятся, другіе выносятъ все это, и я могъ бы еще трудиться; работаетъ же Разумихинъ“, указываетъ онъ на выносливаго своего товарища, „да я озлился и не захотѣлъ. Я, какъ паукъ, къ себѣ въ уголъ забился“.

*) *О. Миллеръ.* „Публичныя лекціи“. Спб. 1874 г. и 2-е изд. Спб. 1878 г.

Но авторъ умѣетъ показать намъ, что озлобленіе, доведшее Раскольникова до празднаго лежанія въ своемъ углу, до того, что онъ умышленно опустилъ руки и пересталъ работать,—это озлобленіе возникло не изъ однѣхъ только личныхъ причинъ. *Раскольниковъ—одна изъ тѣхъ натуръ, которыя любитъ Достоевскій,—одна изъ натуръ, исполненныхъ участія къ чужому горю.* Во время его процесса оказалось, что онъ, самъ бѣднякъ, въ продолженіе полугода поддерживалъ своего больного товарища; когда же тотъ умеръ, онъ взялъ на свои руки его больного отца, помѣстилъ его въ больницу и похоронилъ на свои трудовыя деньги. При всей своей бѣдности, онъ хотѣлъ было жениться на дочери своей квартирной хозяйки, и что же его привлекало къ ней? „Право не знаю“, говоритъ онъ впослѣдствіи, уже послѣ ея смерти, „право не знаю“, за что я къ ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная... Будь она еще хромая, или горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ...“ И при этой-то сильно развитой сострадательности, при этой чуткости сердца, онъ долженъ постоянно удерживать руку, которая такъ и протягивается у него на помощь кому бы то ни было; онъ долженъ удерживать ее потому, что у него самого ничего нѣтъ, и если онъ станетъ слишкомъ щедро дѣлиться своими трудовыми деньгами, то ему придется быть въ тягость своей матери, которая, сама бѣдная, готова ему отдать послѣднее. А между тѣмъ мало ли видитъ онъ вокругъ себя такихъ рукъ, которымъ было бы такъ легко протянуться къ переполненному сундуку, чтобы вынуть оттуда и не малую даже лепту на помощь ближнему, но руки эти преспокойно остаются себѣ неподвижными. А тутъ еще это ожесточающее впечатлѣніе, производимое старухой ростовщицей, къ которой Раскольникову, какъ и многимъ другимъ, приходится прибѣгать. Вспомните тотъ моментъ, когда онъ идетъ къ ней, чтобы заложить послѣднее, что у него осталось—часы своего покойнаго отца. Съ какимъ хладнокровіемъ она оцѣниваетъ ихъ въ полтора рубля и при этомъ еще учитываетъ проценты. У него же эти полтора рубля исчезаютъ рѣшительно

незамѣтно, потому что онъ, по обыкновенію, сейчасъ же дѣлится ими съ другими. За посѣщеніемъ ростовщицы, какъ извѣстно, слѣдуетъ страшная сцена въ распивочной, гдѣ является Мармеладовъ,—одна изъ тѣхъ сценъ, въ которыхъ кажущійся комизмъ рѣшительно поглощается самымъ ужаснымъ трагизмомъ. И какими глазами долженъ глядѣть Раскольниковъ на этого пьянаго Мармеладова, съ такой откровенностью высказывающаго все, что у него на душѣ, нисколько себя не прикрашивая и не извиняя? Ему, конечно, невольно должно приходить въ голову: „не то же ли довело этого человѣка до пьянства, что меня довело до лежанія въ моей канурѣ?“ Какъ не прійти къ подобному заключенію послѣ слѣдующаго обращенія Мармеладова къ содержателю распивочной: „Думаешь ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и пріобрѣлъ; а пожалѣетъ насъ Тотъ, Кто всѣхъ пожалѣлъ, и Кто всѣхъ и вся понималъ, Онъ единый, Онъ и Судія. Пріидетъ въ тотъ день и спроситъ: „А гдѣ дщерь, что мачихѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ малолѣтнимъ себя предала? Гдѣ дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла? И скажетъ: „Пріиди! Я уже простилъ тебя разъ... Простилъ тебя разъ—прощаются же и теперь грѣхи твои многи, за то, что возлюбила много...“

Всего болѣе, конечно, должна поразить Раскольникова участь этой Сони, которая „для мачихи злой, для дѣтей чужихъ себя предала“. И что же? Возвращаясь домой послѣ этой потрясающей сцены, онъ застаетъ письмо отъ матери, изъ котораго видитъ, что сестра его, проживая гувернанткою у г. Свидригайлова, чуть-чуть не попала въ положеніе Сони. Ей удалось спастись оттуда, но она рѣшается схватиться за выгодный бракъ съ г. Лужинымъ, „котораго она, конечно, не любитъ“, какъ сознается сама мать въ письмѣ, „но который, кажется, человѣкъ хорошій“.—Это *кажется* всего великолѣпнѣе“, восклицаетъ Раскольниковъ, „и эта же Дунечка за это же *кажется* замужъ идетъ!“—Понятно

послѣ этого дѣлаемое Раскольниковымъ сопоставленіе: „тутъ мы и отъ Сонечкина жребія пожалуй что не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вѣчная Сонечка, пока міръ стоитъ! Жертву-то, жертву-то обѣ вы измѣрили ли вполнѣ? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкинъ жребій ничѣмъ не сквернѣе жребія съ г. Лужинымъ? *Любви тутъ не можетъ быть*, пишетъ мамаша“. Онъ человѣкъ достаточный; съ нимъ можно поправить свои обстоятельства, а также и обстоятельства брата... Но вѣдь то, что предпринимаетъ Дунечка, продолжаетъ внутренно разсуждать Раскольниковъ, „можетъ быть хуже, гаже, подлѣе того. что выбрала Сонечка, потому что у васъ, сестрица, все-таки на излишекъ комфорта расчетъ, а тамъ просто о голодной смерти дѣло идетъ...“ А что ежели этотъ расчетъ — главнымъ образомъ для него, для милаго братца Родіона Романовича? „Не бывать тому!“ рѣшаетъ онъ. „А что же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Всю судьбу свою, всю будущность свою имъ посвятишь, когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь? Слышали мы это, да вѣдь это *буки*, а теперь?...“

И послѣ этого письма, обнаружившаго передъ нимъ всю отталкивающую некрасоту его положенія — положенія человѣка, для котораго осмѣливаются приносить подобнаго рода жертвы—вдругъ эта нечаянная встрѣча на бульварѣ съ дѣвочкой, которую кто-то подпоилъ, и съ господиномъ, подстерегающимъ ее издали — конечно, не изъ состраданія. И какая ужасающая иронія сказывается въ разсужденіи Раскольникова о тѣхъ двадцати копейкахъ, которыя далъ онъ городовому, чтобы нанять извозчика и отвезти дѣвочку: „двадцать копеекъ мои унесъ... ну пусть и съ того тоже возьметъ, да и отпуститъ съ нимъ дѣвочку, тѣмъ и кончится... И чего я взялся тутъ помогать! Ну мнѣ ли помогать? Имѣю ли я право помогать? Да пусть ихъ переглотаютъ другъ друга живьемъ, — мнѣ-то чего! И какъ я смѣлъ отдать эти двадцать копеекъ? Развѣ они мои?“ Дѣло въ томъ, что помощь, оказанная имъ, — „капля въ морѣ“; да и не глупо ли такъ ребячески протестовать противъ неизбѣжнаго порядка вещей?! „Такой процентъ, говорятъ,

долженъ уходить всякій годъ, куда-то... къ чорту, должно быть, чтобы остальныхъ освѣжать и имъ не мѣшать. Процентъ! Славныя, право, у нихъ словечки: они такія успокоительныя, научныя. Сказано—процентъ, стало быть, и тревожиться нечего.... А что, коль и Дунечка какъ-нибудь въ процентъ попадетъ! Не въ тотъ, такъ въ другой?...“

Вотъ послѣ этого-то и приходится ему случайно подслушать разговоръ между студентомъ и офицеромъ, один изъ тѣхъ разговоровъ, которые иногда происходятъ нечаянно и безъ всякихъ дальнѣйшихъ послѣдствій,—но тутъ, послѣ всего предшествующаго, чужой разговоръ получаетъ для Раскольникова роковое значеніе. Студентъ говоритъ о той же ростовщицѣ, которая такъ хорошо знакома Раскольникову, выставляетъ эту гадкую, тщедушную старушонку мучительницею своей здоровой, крѣпкой, но кроткой и забитой сестры. Но что же ожидаетъ и впередъ эту кроткую Лизавету за ея долговременное терпѣніе и тяжелую, трудовую жизнь? Старуха далека отъ мысли о томъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, отказать ей послѣ себя хотя какую нибудь частичку своихъ стяжаній. Все должно послужить для нея же самой по ту сторону гроба. Не даромъ же она обходилась всю жизнь безъ удобствъ и только *копила:* посредствомъ накопленнаго она разсчитываетъ, въ религіозномъ своемъ эгоизмѣ, припасти себѣ тепленькое мѣстечко *тамъ*, для чего и отказываетъ все свое состояніе въ монастырь. А что, если бы иначе употребить это состояніе?—вотъ вопросъ, невольно представляющійся студенту, разговаривающему съ офицеромъ. „Молодыя, свѣжія силы, пропадающія даромъ, безъ поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрыхъ дѣлъ и начинаній, которыя можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь! Сотни, тысячи, можетъ быть, существованій, направленныхъ на дорогу; десятки семействъ, спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложенія, отъ гибели, отъ разврата.... и все это на ея деньги! Убей ее и возьми ея деньги съ тѣмъ, чтобы съ ихъ помощью посвятить потомъ себя на служеніе всему человѣчеству и общему дѣлу: какъ

ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрыхъ дѣлъ? За одну жизнь—тысячи жизней, спасенныхъ отъ гніенія и разложенія; одна смерть—и сто жизней взамѣнъ,—да вѣдь тутъ ариѳметика!“ Правда, на вопросъ, сдѣланный студенту офицеромъ: „убилъ ли бы онъ самъ старуху?“ студентъ отвѣчаетъ: „Разумѣется нѣтъ... не во мнѣ тутъ дѣло“. Но Раскольникову, послѣ всего, что онъ перечувствовалъ и передумалъ, невольно представляется мысль: не онъ ли на это призванъ? Ему, конечно, случалось и прежде слышать подобные разговоры и никогда они не пропадали для него даромъ. Однажды онъ написалъ даже цѣлую статью о томъ, что многое только принято называть преступленіемъ, и что эта кличка удерживаетъ робкихъ людей отъ того, что на самомъ дѣлѣ было бы вовсе не преступленіемъ. Въ статьѣ этой развивалось софистическое ученіе о томъ, что есть люди обыкновенные, и есть люди необыкновенные. Необыкновенные люди — это „власть имущіе“; они имѣютъ право переступать ту черту, которая удерживаетъ другихъ. Необыкновенные люди одарены смѣлостью, которая и увѣнчиваетъ ихъ поступки успѣхомъ, обращающимъ эти поступки въ великія дѣла, въ подвиги; тогда какъ при неуспѣхѣ тотъ же самый поступокъ представляется преступленіемъ. Для того, чтобы провести какую-нибудь новую мысль, необыкновенные люди будто бы и могутъ, и должны всячески устранять всѣ преграды.

Вотъ ученіе, развитое Раскольниковымъ въ его статьѣ: вся сила только въ томъ, чтобы *умѣть „дерзнуть“*. Статья написана за нѣсколько мѣсяцевъ до преступленія, подготовлявшагося съ величайшею постепенностью. Статья, надо думать, обдумывалась въ тѣ дни, когда Раскольниковъ, повидимому, праздно лежалъ въ своей канурѣ, на самомъ же дѣлѣ внутренно работалъ надъ тѣмъ, что давалъ ему тяжелый жизненный опытъ. Долго статья эта могла имѣть для него только теоретическое значеніе. Для практическаго примѣненія она пригодилась ему лишь тогда, когда накопились новыя, но все въ томъ же родѣ, жизненныя впе-

чатлѣнія — впечатлѣнія отъ различныхъ роковыхъ встрѣчъ и отъ несчастнаго письма матери. Отъ этихъ встрѣчъ и этого письма созрѣвшая въ немъ мысль переходитъ въ жажду дѣла, которая и обращаетъ его наконецъ въ своего раба. Но авторъ, поставивъ своего героя на такую дорогу, заставивъ его этимъ путемъ прійти къ преступленію, сильно рисковалъ выставить его однимъ изъ тѣхъ мелодраматическихъ героевъ, какихъ мы можемъ найти не мало, особливо во французской литературѣ. Опасность, однако, вполнѣ избѣгнута нашимъ авторомъ. Раскольниковъ вовсе не становится героемъ; Достоевскій не поднимаетъ его на ходули—его преступленіе такъ и остается *преступленіемъ*. Раскольниковъ совершаетъ его какъ невольникъ всецѣло имъ овладѣвшей идеи, какъ своего рода мономанъ. Оттого-то и забываетъ онъ о необходимыхъ предосторожностяхъ,— прежде всего о томъ, что надо запереть дверь; въ эту-то дверь и входитъ несчастная Лизавета, которой приходится стать его второй, уже совершенно нечаянной жертвой. Съ Раскольниковымъ такимъ образомъ происходитъ то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: за однимъ, предумышленнымъ убійствомъ непосредственно слѣдуетъ другое, случайное: чувство самосохраненія, вдругъ пробудившееся въ Раскольниковѣ, заставляетъ его поразить роковымъ топоромъ и эту несчастную, которую самъ онъ такъ всегда жалѣлъ. Уже этого одного довольно, чтобы не дать ему возможности вообразить себя героемъ.

„О, какъ я ненавижу теперь эту старушонку!“ говоритъ онъ впослѣдствіи,—„кажется бы, другой разъ убилъ, если бы очнулась!“ Но удивить можетъ то, чему удивляется и онъ самъ—*почему онъ при этомъ почти не думаетъ о Лизаветѣ, точно и не убивалъ ее*. Но это психологическая тонкость, объясняемая тѣмъ, что въ сознаніи Раскольникова особенно живо то, что входило въ первоначальный, долговременно выношенный замыселъ преступленія, а убійство Лизаветы — случайность, въ него не входившая. Но какъ тяготитъ его эта случайность въ тѣ минуты, когда она *возникаетъ* въ его сознаніи, видно изъ слѣдующихъ словъ:

„...Бѣдная Лизавета! Зачѣмъ она тутъ подвернулась!... Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткія, съ глазами кроткими, милыя!“...

Совершивъ уже вовсе неразсчитанное второе убійство, невольно вытекшее изъ перваго, онъ не рѣшается воспользоваться деньгами. Сперва, въ попыхахъ, онъ себѣ набиваетъ карманы, но, даже не глядя, много ли имъ взято, спѣшитъ поскорѣе избавиться отъ награбленнаго, поскорѣе зарыть это все гдѣ-то тамъ подъ камнемъ. *Авторъ, склонный къ мелодраматизму, совершенно иначе распорядился бы этими деньгами: онъ заставилъ бы своего героя тотчасъ же употребить ихъ съ широкими цѣлями и этимъ употребленіемъ возвысить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ.* А вѣдь поводъ къ тому представился очень скоро. За преступленіемъ слѣдуетъ несчастный случай съ Мармеладовымъ: на него наѣзжаетъ карета и расшибаетъ его до смерти. Раскольниковъ, какъ извѣстно, отвозитъ его домой, гдѣ онъ и умираетъ, оставляя окончательно нищими жену и дѣтей. Вотъ тутъ-то, казалось бы, и воспользоваться старухиными деньгами, поспѣшить ихъ достать изъ-подъ камня и отдать Мармеладовой, чтобы затѣмъ имѣть право сказать: „я, при всемъ моемъ преступленіи,—благодѣтель человѣческаго рода“. Ничего подобнаго нѣтъ у нашего автора, просто и правдиво наблюдающаго человѣческую природу. Раскольниковъ даетъ вдовѣ тѣ трудовыя деньги своей матери, которыя она ему только что выслала. Но авторъ, съ другой стороны, показываетъ, нисколько все-таки не впадая въ ложный идеализмъ, что этотъ поступокъ на время доставляетъ отраду Раскольникову. „...Онъ сходилъ тихо, не торопясь (съ лѣстницы дома Мармеладовыхъ), весь въ лихорадкѣ, и не сознавая того, полный одного, новаго, необъятнаго ощущенія вдругъ прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущеніе могло походить на ощущеніе приговореннаго къ смертной казни, которому вдругъ и неожиданно объявляютъ прощеніе“... Изъ-подъ вліянія страшныхъ ощущеній, соединенныхъ съ убійствомъ, онъ вдругъ попадаетъ въ положеніе иного рода: онъ только-что утеръ дру-

гимъ людямъ слезы, онъ, стало быть,—нужный членъ въ человѣческой семьѣ. Вотъ онъ уходитъ, унося съ собою это живительное сознаніе, и его догоняетъ малютка Поленька, посланная старшей сестрой, чтобы узнать имя ихъ благодѣтеля. „Онъ положилъ ей обѣ руки на плечи и съ какимъ-то счастьемъ глядѣлъ на нее"... „...Тоненькія, какъ спички, руки ея обхватили его крѣпко, крѣпко, голова склонилась къ его плечу, и дѣвочка тихо заплакала", прижимаясь лицомъ къ нему все крѣпче и крѣпче... „Папочку жалко!" проговорила она, съ такой чистой любовью повѣряя ему свое горе, вовсе въ немъ не подозрѣвая преступника, да и не зная даже, въ дѣтской своей чистотѣ, что на свѣтѣ есть преступленія.

Но душевное счастье, конечно, достается Раскольникову не надолго, — ощущеніе совершеннаго передъ тѣмъ преступленія опять полновластно занимаетъ мѣсто въ его душѣ. Вспомните картину поминокъ по Мармеладовѣ, картину, въ которой его вдова разыгрываетъ такую странную роль, кажущуюся сначала чуть не каррикатурною, но вполнѣ объясняющуюся помѣшательствомъ этой несчастной женщины. Вспомните то униженіе, которое приходится тутъ вынести Сонечкѣ, заподозрѣнной въ кражѣ г. Лужинымъ, подготовившимъ съ особеннымъ злостнымъ стараніемъ эту ужасную сцену;—и что же?—у Раскольникова не хватаетъ тутъ духу выступить защитникомъ Сонечки. Видя, что ея и безъ того уже горькая чаша окончательно переполнилась, онъ только удивляется ея терпѣнію и выносливости, и думаетъ найти въ ней опору самому себѣ. Вмѣсто того, чтобы громко принять ея сторону, онъ только думаетъ про себя: пойду потомъ къ ней, разскажу ей все, ей одной исповѣдаю все, что я совершилъ; она одна это вынесетъ, она одна поддержитъ меня. Прійдя къ ней и ставъ передъ ней на колѣни, онъ цѣлуетъ ея ноги и говоритъ: „*я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился*". Черта эта, отдѣльно взятая, можетъ показаться нѣсколько изысканною, но въ связи со всѣмъ остальнымъ она является совершенно естественною: поклонъ этотъ

усладителенъ для Раскольникова, потому что это поклонъ существу, также заклейменному печатью отверженія, потому что это поклонъ тому, изъ чего вытекаетъ множество преступленій и чѣмъ эти преступленія выкупаются. Въ этомъ поклонѣ Раскольникова нѣтъ ни малѣйшей рисовки, расчета на эффектъ; это окончательно подтверждается тѣмъ, что слѣдуетъ далѣе. Вспомните всю эту картину: убійца и грѣшница въ пустой, холодной комнатѣ, при догорающемъ огаркѣ—какая опять благодарная почва для мелодрамы! Какъ много они могли бы сказать громкихъ фразъ, въ родѣ, напримѣръ, такихъ: „да, мы преступники, но мы выше, мы лучше всѣхъ остальныхъ!“ Но у Достоевскаго ничего этого и въ поминѣ нѣтъ: онъ заставляетъ Сонечку прочесть Раскольникову главу о воскресеніи Лазаря, по книгѣ, которую не задолго до своей смерти принесла ей бѣдная Лизавета, убитая этимъ самымъ Раскольниковымъ, безотвѣтно слушающимъ теперь чтеніе изъ этой книги, горячее чтеніе глубоко-проникнутой вѣрою грѣшницы.

Но тутъ онъ еще не открывается Сонѣ: онъ къ ней приходитъ вторично и тогда лишь высказываетъ ей все, а она отвѣчаетъ простыми, вырвавшимися изъ сердца словами: „Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!“; т. е. она сердцемъ постигаетъ тотъ взглядъ на преступника, который, какъ видѣли мы, проведенъ Достоевскимъ черезъ „Записки изъ мертваго дома“. Раскольниковъ, открываясь Сонѣ, нисколько не старается прикрасить преступленіе благовидными побужденіями; напротивъ, онъ производитъ у нея на глазахъ самый страшный разлагающій анализъ самого себя, и все сколько-нибудь благовидное, способное благопріятно подѣйствовать на нее, положительно въ себѣ отрицаетъ. „Не для того, говоритъ онъ, чтобы матери помочь, я убилъ—вздоръ!... Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества.... другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда и поскорѣй узнать, смогу ли я *переступить*, или не могу? Тварь ли я дрожа-

щая или право имѣю?“... Вотъ что онъ говоритъ ей, этой рѣшительно чуждой разсудочныхъ ухищреній Сонѣ; если бы онъ хотѣлъ рисоваться, то долженъ бы былъ говорить совершенно другое, потому что именно этого „право имѣю“ она и не въ состояніи понять. „...Право кровь проливать!“ говоритъ она ему съ ужасомъ. Если бы онъ хотѣлъ оправдать себя передъ ней, онъ бы ей сталъ говорить о тѣхъ симпатическихъ чувствахъ, которыхъ въ немъ дѣйствительно много, но которыхъ онъ какъ-будто уже и не сознаетъ въ себѣ. Онъ знаетъ, что ее привело въ ея унизительное положеніе, что дало ей силу „позоръ принять“ и „съ жизнію не покончить“; онъ знаетъ. что силу эту дала ей любовь, самоотверженная любовь къ бѣднымъ чужимъ дѣтямъ, къ полусумасшедшей мачихѣ. Соня требуетъ отъ него, чтобы онъ пошелъ и объявилъ о томъ, что онъ сдѣлалъ: съ ея точки зрѣнія иначе онъ поступить не можетъ.—„Пойди, поцѣлуй землю, которую ты обагрилъ кровью, и скажи— „я убилъ“. говоритъ она ему. „Зачѣмъ пойду, что имъ скажу?“ отвѣчаетъ онъ, такъ смиренно поклонившійся ей и въ лицѣ ея человѣческому страданію, но не способный, какъ она, совершенно смириться. Дѣло въ томъ, что къ нему, сравнительно съ нею, можно бы было примѣнить извѣстный эпитетъ Ап. Григорьева—*хищный*. Онъ хищенъ и гордъ своею хищностью въ томъ же смыслѣ, въ какомъ горды ею герои „Мертваго дома“. „Что имъ скажу? Они сами милліонами людей изводятъ, да еще за добродѣтель почитаютъ“, говоритъ Раскольниковъ. Кончается однако же тѣмъ, что онъ идетъ и объявляетъ о своемъ преступленіи, какъ дѣлаетъ это многое множество преступниковъ, остающихся тѣмъ не менѣе и гордыми, и озлобленными въ глубинѣ души. Та же гордость и озлобленіе сохраняются и въ Раскольниковѣ и во время суда, и долгое время на каторгѣ. „Его гордость сильно была уязвлена, онъ строго судилъ себя, и ожесточенная совѣсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ его прошедшемъ, кромѣ развѣ простого промаха“.

Только мало-по-малу это озлобленіе уступаетъ вліянію

несчастной многолюбящей Сони, которая слѣдуетъ за нимъ и на каторгу, гдѣ она умягчительно дѣйствуетъ и на сердца другихъ, вовсе ей незнакомыхъ, каторжниковъ. „Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша нѣжная, болѣзная!“ обращались къ ней эти грубые люди, столь чуткіе, какъ мы знаемъ по „Мертвому дому“, къ малѣйшему проявленію человѣчности въ обращеніи съ ними. Ея-то беззавѣтная любовь къ людямъ пробуждаетъ наконецъ и въ Раскольниковѣ угасшую вѣру въ человѣка; въ немъ происходитъ то, что онъ самъ какъ бы предвидѣлъ заранѣе, заставивъ ее прочесть себѣ о воскресеніи Лазаря. То нравственное чудо. которое совершается въ церкви „Мертваго дома“ высшею христіанскою любовью, призывающею и преступниковъ, наравнѣ съ другими, къ одной уравнивающей всѣхъ чашѣ,—то же чудо совершается тутъ надъ Раскольниковымъ неотразимымъ вліяніемъ его спутницы, не смотря ни на что не озлобившейся и не переставшей „много любить“.

Но въ „Преступленіи и Наказаніи“ есть и другіе характеры, служащіе болѣе или менѣе для того, чтобы, при сопоставленіи съ ними, ярче выдавалась впередъ личность Раскольникова. Вотъ, во-первыхъ, въ высшей степени приличный, трудомъ себѣ проложившій дорогу, строго нравственный, какъ онъ думаетъ самъ и какъ думаютъ о немъ люди, Петръ Петровичъ Лужинъ;—но авторъ живо даетъ почувствовать, что этою благовидностью поступковъ, съ которою, разумѣется, онъ никогда не попадетъ подъ судъ, прикрывается самый отвратительный, всепоглощающій эгоизмъ. Совершенно другое лицо Свидригайловъ—широкая необузданная натура, человѣкъ не разъ называющій себя, въ глаза Раскольникову, „одного съ нимъ поля ягодой“, и, конечно, не безъ извѣстнаго основанія. Раскольниковъ вліяніемъ различныхъ жизненныхъ впечатлѣній доведенъ до теоріи, по которой вся сила въ томъ, чтобы „дерзнуть“;—Свидригайловъ безъ всякихъ теорій давно и постоянно дерзалъ“, практически предоставивъ себѣ свободу, не знающую закона самоограниченія. Но въ натурѣ этого человѣка существуютъ и симпатическія поползновенія: передъ смертью

онъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, обезпечиваетъ семейство Мармеладовыхъ. Къ Дунечкѣ, какъ мы убѣждаемся, онъ питалъ постоянную, глубокую страсть, которая проникается наконецъ и уваженіемъ къ ней, заставляющимъ его уважать свободу ея воли, а потомъ, съ отчаянія въ томъ, что любилъ безотвѣтно, покончить съ самимъ собою. Свидригайловъ служитъ въ романѣ и къ тому, чтобы окончательно не допустить поднять на пьедесталъ Раскольникова, и къ тому, чтобы не дать подняться рукѣ съ побивающимъ камнемъ даже и на самыхъ, повидимому, развращенныхъ людей.

Самымъ выдающимся лицомъ послѣ Раскольникова является постоянно противопоставляемый ему въ романѣ товарищъ его Разумихинъ; но въ этой личности, т. е. въ ея художественномъ воспроизведеніи, могутъ легко быть различены двѣ стороны. Разумихинъ—это добрякъ, прямая душа, притомъ дѣловикъ, постоянно трудящаяся, выносливая и неувлекающаяся натура; это одинъ изъ тѣхъ людей, которые не пропадутъ никогда и нигдѣ. Всѣ эти черты такъ стройно соединены въ немъ, что изъ нихъ слагается вполнѣ живой человѣкъ. Но, съ другой стороны, ему приписаны авторомъ многіе взгляды, которыхъ назначеніе, очевидно, служить только отпоромъ для взглядовъ Раскольникова, а равно и выраженіемъ взглядовъ самого автора. Разумихинъ много говоритъ о нашей „недѣловитости", о томъ, что мы чуть „не двѣсти лѣтъ какъ отъ всякаго дѣла отучены", т. е. надо думать, со временъ петровской реформы отучены отъ всякой самостоятельной дѣятельности. Онъ не разъ возвращается къ этой точкѣ зрѣнія, въ сущности вовсе не вытекающей ни изъ его характера, ни изъ его положенія. „...Всѣ мы, до единаго, болтунишки и фанфаронишки!" говоритъ онъ Раскольникову; „заведется у васъ страданьице—вы съ нимъ, какъ курица съ яйцомъ, носитесь! Даже и тутъ воруете чужихъ авторовъ, —ни признака жизни въ васъ самостоятельной!" Другой разъ называетъ онъ Раскольникова „переводомъ съ иностраннаго", а обо всѣхъ *насъ вообще* говоритъ, что мы „и соврать-то своимъ умомъ

не умѣемъ". „Всѣ-то мы, всѣ, безъ исключенія, по части науки, развитія, мышленія, идеаловъ, желаній, либерализма, всего... еще въ первомъ предуготовительномъ классѣ гимназіи сидимъ! Понравилось чужимъ умомъ пробавляться,—въѣлись!"... Все это, взятое само по себѣ, далеко не лишено правды, но въ романѣ это своего рода славянофильство слабо вяжется съ Разумихинымъ, какъ съ живымъ человѣкомъ, представляется чѣмъ-то со стороны въ него вложеннымъ, съ цѣлью — указать на то, что Раскольниковъ дѣйствовалъ подъ вліяніемъ „чужихъ книжекъ". Но вѣдь это, мнѣ кажется, противорѣчитъ тому глубокому психологическому анализу, который, составляя всю силу романа, такъ ясно показываетъ, до какой степени преступленіе Раскольникова подготовлялось жизненными впечатлѣніями. *Софистическія страницы, вычитанныя изъ книжекъ, имѣли тутъ значеніе только потому, что психическое состояніе Раскольникова представляло для нихъ вполнѣ благодарную почву.* Да и откуда берутся тѣ или другія ученія? Конечно, они возникаютъ изъ жизни. Возникновеніе ихъ на западѣ доказываетъ, что имъ есть изъ чего возникать тамъ; если же, переносимыя къ намъ, они не проносятся мимо, а прививаются крѣпко,—то имъ, значитъ, есть къ чему у насъ прививаться...

Схвативъ на лету нѣсколько періодовъ чужого развитія, мы, наконецъ, чувствуя себя уже пробѣжавшими большую часть дороги, стали менѣе торопиться, болѣе вдумываться въ заимствуемое, притомъ проникать уже въ самую сущность, а не только скользить по поверхности. Уже байронизмъ оказался у насъ не только формальнымъ явленіемъ; онъ у насъ не только скользнулъ, а до извѣстной степени привился, хотя и на время и сильно видоизмѣнившись, привился потому, что многія мѣстныя наши обстоятельства содѣйствовали подобной прививкѣ. То же было потомъ, и будетъ, можетъ быть, еще долго и со многими другими заимствованными, новѣйшими „*измами*". И теперь объяснять себѣ дѣло исключительно тѣмъ, что все это берется откуда-то съ вѣтру, значило бы напускать себѣ туману въ глаза

и подавать поводъ къ неосновательнымъ, а практически даже и не совсѣмъ полезнымъ выводамъ.

Въ эпилогѣ романа герой видитъ сонъ, рѣшительно отзывающійся *придуманностію*: „появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волею. Люди принявшіе ихъ въ себя становились сейчасъ-же бѣсноватыми или сумасшедшими“. Подъ этими трихинами, очевидно, разумѣются опять-таки различныя идеи, вычитанныя изъ чужихъ книжекъ; но если сравнивать эти идеи съ заразой, то развѣ съ такою, которая пристаетъ только къ людямъ, внутренно къ тому предрасположеннымъ *).

* * *

**) Ѳ. М. Достоевскій, подобно другому знаменитому своему современнику —И. С. Тургеневу, всецѣло живетъ окружающею дѣйствительностью, наблюдаетъ ее, обобщаетъ и выражаетъ въ художественныхъ образахъ. Оба писателя жадно прислушиваются къ доносящимся до нихъ звукамъ и среди разнохарактерныхъ голосовъ и мелодій умѣютъ уловить господствующій мотивъ и отчетливо передать его сво-

---

*) Сонъ Раскольникова представляется „холодною аллегоріею“ и даровитому автору критики романа, помѣщенной вскорѣ послѣ его появленія въ „Отечественныхъ запискахъ“. Это однако же не помѣшало критику считать Раскольникова, въ сущности, жертвою подобныхъ *трихинъ*: называетъ-же онъ его „ожесточеннымъ *въ своей отвлеченности*:“ видитъ же онъ въ немъ „болѣе глубокое *уклоненіе отъ жизни*, чѣмъ въ личностяхъ другихъ писателей, „касавшихся *нигилизма*“. Я же, во-первыхъ, вижу коренное отличіе Раскольникова отъ „нигилистовъ“ въ томъ, что онъ вовсе не появляетъ въ себѣ *симпатическихъ наклонностей*, какъ дѣлаютъ тѣ, видя въ этомъ *романтизмъ*; во-вторыхъ, я не произвожу и такъ называемаго *нигилизма* отъ *трихинъ*, а считаю его явленіемъ, вытекшимъ изъ *нашей жизни*, и въ этомъ смыслѣ вовсе *не отвлеченнымъ*. Думаю, что если бы многоуважаемый мною (не смотря на разногласіе съ нимъ во многомъ) Н. Н. Страховъ (авторъ упомянутой критики) не *началъ* съ выраженія своего взгляда, отъ котораго только потомъ уже перешелъ онъ къ подкрѣпительнымъ выпискамъ изъ романа, а поступилъ-бы наоборотъ, то у него было-бы болѣе обращено вниманія на тѣ *жизненныя впечатлѣнія*, которыя главнымъ образомъ подготовили преступленіе Раскольникова и при которыхъ оказались только сподручными *чужія теоріи*.

**) И. Звѣревъ. „Русь“ 1884 г., № 1. (Чит. 31 янв. 1882 г. въ засѣданіи Общества любителей Россійской словесности).

имъ слушателямъ; среди пестрой массы толпящихся явленій оба умѣютъ подмѣтить знаменія времени и приковать къ нимъ вниманіе общества; за неустаннымъ движеніемъ и измѣненіемъ жизни оба умѣютъ отличить главное теченіе во множествѣ побочныхъ и второстепенныхъ, и выслѣдить его, насколько позволяетъ зрѣніе. Для самосознанія общественнаго, для уясненія того что мы, откуда и куда стремимся, оба писателя проливаютъ много свѣта на самые таинственные уголки дѣйствительности,—на тѣ незримые процессы жизни, которыми опредѣляется ея дальнѣйшее направленіе.

Но, не смотря на все сходство задачъ, между тѣмъ и другимъ писателемъ существуетъ великая разница, которая невольно сознается читателемъ, такъ сказать, бьетъ въ глаза, хотя, быть можетъ, и представляетъ нѣкоторыя трудности для опредѣленія. По немногимъ, часто неяснымъ, едва уловимымъ признакамъ Тургеневъ угадываетъ поворотъ въ общественной жизни,—рѣзко и сильно намѣчаетъ дальнѣйшее ея движеніе. На переходной грани отъ стараго къ новому онъ ставитъ очерченную фигуру будущаго, по типу которой станетъ слагаться подрастающее поколѣніе. Его фигура—ясный лучъ свѣта, брошенный въ грядущую темную даль. Таковъ Базаровъ — этотъ законченный образъ, созданный художникомъ въ славное время великихъ реформъ Царя-человѣка. — Достоевскій не отмѣчаетъ поворотовъ жизни, не ставитъ граней между старымъ и новымъ: но отдавшись вполнѣ новому теченію, онъ смѣло уносится въ даль, изслѣдуетъ ея глуби и мели, и предсказываетъ, что ожидаетъ насъ въ будущемъ. Онъ далеко заходитъ впередъ, „упреждаетъ жизнь“, слѣдя въ своей творческой мысли за вѣроятною судьбою слагающагося типа; онъ водитъ новаго человѣка въ его будущемъ и предугадываетъ, что съ нимъ станется. Таковъ продуманный, прочувствованный, выстраданный образъ Раскольникова. Если Базаровъ знаменуетъ собою поворотъ въ общественномъ движеніи, если онъ весь въ будущемъ и будущее въ немъ,—скорбная фигура Раскольникова стоитъ на противоположномъ концѣ этого дви-

женія, тамъ, гдѣ оно, исчерпавъ всѣ свои логическія послѣдствія, готовится сдѣлать поворотъ въ другую сторону. Эта фигура кротко-страдальчески смотритъ издали на этотъ путь, по которому предстоитъ пройти Базарову. Два центральные образа литературы 60-хъ годовъ — Базаровъ и Раскольниковъ — отмѣчаютъ собою начало и завершеніе той же самой стадіи въ развитіи одного изъ самыхъ крупныхъ движеній того времени. Если въ первомъ Тургеневъ указываетъ намъ, куда мы пойдемъ,—Достоевскій, во второмъ, предсказываетъ, чѣмъ мы кончимъ; если одинъ опредѣляетъ новое возникающее направленіе,—другой слѣдитъ за его грядущею судьбою. Одинъ освѣщаетъ путь, другой—предостерегаетъ отъ возможныхъ ошибокъ и заблужденій на этомъ пути, точно обозначая подводные камни теченія. Одинъ выводитъ своихъ героевъ и въ жизнь такъсказать благословляя ихъ на проложеніе новыхъ путей; другой ведетъ ихъ по этимъ путямъ и горько оплакиваетъ ихъ вольныя и невольныя ошибки. Оттого-то герои Тургенева такъ добры и свѣжи, порою такъ симпатичны, тогда какъ герои Достоевскаго—все люди помятые жизнію, испытавшіе разочарованіе, познавшіе тернія новыхъ путей. Оттого-то изъ произведеній перваго писателя читатель выноситъ свѣтлое и отрадное впечатлѣніе, тогда какъ второй всегда оставляетъ въ немъ осадокъ горечи. Оттого-то, наконецъ, типы Тургенева, воплощающіе въ себѣ слагающуюся дѣйствительность, ближе и понятнѣе намъ характеровъ Достоевскаго, которые часто открываются во всей своей глубинѣ и значеніи только по исполненіи временъ, когда художественное предсказаніе сбывается. Между Тургеневымъ и Достоевскимъ есть однако и другое, болѣе важное различіе, въ значительной мѣрѣ объясняющее то первое, указанное мною. Это существенное различіе между ними заключается въ способѣ освѣщенія своихъ героевъ. Въ самомъ дѣлѣ, всмотримся: съ какихъ сторонъ подходятъ эти писатели къ изображаемымъ лицамъ, что они выдвигаютъ въ нихъ на первый планъ? Для Тургенева на первомъ планѣ *стоитъ новый человѣкъ*,—представитель, выразитель новаго

[redacted]

направленія. Этой главной своей задачѣ художникъ подчиняетъ всѣ другія требованія. Осуществляя ее, онъ старательно, детально выписываетъ свою фигуру; онъ не пренебрегаетъ ничѣмъ, не упускаетъ ничего, чтобы такъ или иначе оттѣнить въ своемъ героѣ новаго человѣка со всѣми его особенностями. И новый человѣкъ является изъ-подъ его художественной кисти живымъ и законченнымъ изображеніемъ: онъ стоитъ передъ глазами читателя словно изваянный. Но онъ всегда новый человѣкъ по преимуществу. Просто человѣкъ, съ его психическою жизнью, съ его глубокими душевными движеніями, отходитъ въ немъ на второй планъ, — заслоняется дѣятелемъ. Подъ характерными чертами послѣдняго вы чувствуете его душу, оживляющую изображеніе; но она скрыта глубоко подъ этими чертами и только минутами просвѣчиваетъ сквозь нихъ. Его герой — прежде всего знаменіе своего времени и потомъ уже просто человѣкъ. Центръ тяжести своей художественной работы Тургеневъ полагаетъ именно въ томъ, чтобы уловить вѣянія новой жизни и выразить ихъ въ образѣ грядущаго дѣятеля. Этотъ дѣятель является у него живымъ воплощеніемъ движенія, которымъ опредѣлится ближайшее будущее.

Иначе понимаетъ свою задачу Достоевскій. Если позволено такъ выразиться, онъ гораздо менѣе политикъ и гораздо болѣе психологъ. Для него дѣятель, выразитель извѣстнаго направленія — дѣло второстепенное и побочное. На первомъ планѣ стоитъ для него *просто человѣкъ*, съ волнующеюся душою, которая любитъ или ненавидитъ, радуется или страдаетъ. Исторія этой души, стадіи, переживаемыя ею, тѣ измѣненія и превращенія, которыя она испытываетъ подъ вліяніемъ того или другого общественнаго движенія — вотъ тема, которую Достоевскій старательно разрабатываетъ въ своихъ произведеніяхъ. Движеніями общественными собственно, тѣми или другими поворотами жизни, онъ занятъ настолько, насколько они являются преобразующимъ началомъ душевной жизни, отражаясь на всемъ нравственномъ складѣ человѣка. Его герои служатъ поэтому

выразителями времени въ той мѣрѣ, въ какой оно кладетъ свою особенную печать на ихъ внутренній, психическій міръ. Центръ тяжести своей художественной задачи онъ полагаетъ именно въ томъ, чтобы опредѣлить духовныя отклоненія, совершаемыя въ насъ характеромъ времени. Оттого-то, къ слову сказать,—Достоевскій и надѣленъ такимъ даромъ прозрѣнія въ бу[illegible] за видимыми и внѣшними чертами своего ге[illegible] он[illegible] и прежде всего всматривается въ его человѣчес[illegible] зорко слѣдитъ за малѣйшими ея измѣненіями [illegible]дываетъ назрѣвающіе переломы въ ней. Это даетъ [illegible]можность ясно и отчетливо видѣть дали горизонта, [illegible]рыя въ глазахъ простого зрителя сливаются въ о[illegible]лошную неопредѣленную полосу.

Повѣрьте эти общія со[illegible] конкретными фигурами того же Базарова и Ра[illegible]ва. Первый — прежде всего герой будущаго, исповѣдникъ и выразитель новыхъ началъ жизни и потомъ уже сторонникъ извѣстныхъ воззрѣній. Человѣческія черты Базарова нужны для того, чтобы пополнить и оживить эту своеобразную фигуру; типическія особенности Раскольникова нужны для того, чтобы оттѣнить, индивидуализировать изображаемую душевную картину. Обѣ фигуры дышатъ жизнію, обѣ принадлежатъ одному времени и одному теченію, но обѣ различны, потому что съ различныхъ сторонъ освѣщаются...

Итакъ, Достоевскій въ своихъ художественныхъ работахъ занятъ больше всего просто человѣкомъ. Это его основная тема, а все остальное—аксессуарныя подробности. Съ этимъ согласны, повидимому многіе, если не всѣ; но прибавляютъ обыкновенно, что его спеціальность, въ которой онъ не находитъ себѣ соперниковъ—изображеніе психически-больныхъ людей. Это пожалуй правда, но правда требующая поясненій. Репутація художника больныхъ людей упрочилась за Достоевскимъ въ особенности послѣ появленія его едва ли не самаго лучшаго романа, „Преступленія и Наказанія“, въ которомъ онъ ввелъ своихъ читателей въ такія бездны страдающей души, въ какія раньше его никто изъ

русскихъ писателей не проникалъ, кромѣ развѣ Гоголя въ „Запискахъ Сумасшедшаго“.. Всѣ мы, конечно, живо помнимъ впечатлѣніе ужаса и нервной дрожи, охватывавшихъ насъ при чтеніи знаменитыхъ страницъ, изображающихъ галлюцинаціи Раскольникова: это такія страницы, которыя могутъ уложить въ постель впечатлительнаго человѣка,—такія, дочитать которыя у многихъ не хватало силъ. И однако же, при всемъ томъ, мнѣніе, что Достоевскій—несравненный мастеръ по изображенію больныхъ людей, требуетъ, говорю, поясненій. Дѣйствительно ли его герои психически-больные люди въ обыкновенномъ значеніи этихъ словъ?—Мнѣ думается, нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ больны Ставрогинъ съ компаніею, Дмитрій и Иванъ Карамазовы? Что-то больное въ нихъ, несомнѣнно, есть, чувствуется; но дѣйствительная ли это болѣзнь, и не принимаемъ ли мы за болѣзнь нѣчто иное? Какая психическая способность поражена въ Раскольниковѣ, самомъ больномъ образѣ, выношенномъ Достоевскимъ? Можетъ быть, скажутъ, что онъ маньякъ? Но вѣдь тогда маньякомъ пришлось бы назвать всякаго, кто отдается страстно и горячо какой-нибудь мысли и старается осуществить ее. Кромѣ того, если онъ маньякъ, то откуда же позднѣе берутся у него раскаяніе и мука совѣсти, когда преслѣдуемая цѣль достигнута?—Говорятъ иногда, что герои Достоевскаго болѣютъ волею, что именно эта душевная сила надломлена въ нихъ. Но съ этимъ мнѣніемъ, мнѣ кажется, труднѣе согласиться, чѣмъ съ какимъ-либо другимъ: неужели больную волю можно видѣть въ тѣхъ, которые, не озираясь по сторонамъ, не взирая на препятствія, твердо и напроломъ идутъ къ поставленнымъ цѣлямъ? А таковы больные герои Достоевскаго, за малыми исключеніями: въ нихъ можно отрицать многое, но никакъ не волю. Но тогда въ чемъ же болѣзнь?

Болѣютъ они совсѣмъ особеннымъ недугомъ, который коренится въ состояніи ихъ мысли. И этотъ недугъ — не ихъ личный недугъ, а недугъ времени; только въ нихъ онъ обнаруживается сильнѣе, рельефнѣе, ярче, нежели наблюдается нами въ рядовыхъ представителяхъ общества.

Герои Достоевскаго — люди безъ правилъ, безъ руководящихъ началъ, безъ идеаловъ, а потому—случайные въ своихъ дѣйствіяхъ, неустойчивые въ жизни и глубоко несчастные. Посмотрите повнимательнѣе на длинную вереницу этихъ новыхъ „скитальцевъ" послѣдней формаціи, и, можетъ быть, вы согласитесь со мною. Вѣяніе времени разрушило въ нихъ религіозныя вѣрованія дѣдовъ, которыя давали смыслъ и цѣль ихъ существованію; отрицательное направленіе мысли, сказавшееся у насъ въ Россіи, съ особою силою, разбило излюбленные идеалы отцовъ, подсказанные западною философіею. Ни вѣры ни философскихъ идеаловъ, т. е. всего того, что можетъ направлять человѣка въ жизни, что можетъ быть путеводною звѣздою въ его скитаніяхъ по міру. Правда, въ распоряженіи оставалась наука, которая по прежнему совершала свое великое наступательное движеніе; но, холодная и безстрастная, она не давала отвѣтовъ на девять десятыхъ вопросовъ жизни. Она рекомендовала ждать этихъ отвѣтовъ въ далекомъ будущемъ, когда научный анализъ, кропотливый и длительный, соберетъ достаточный матеріалъ для нихъ. Къ несчастью, этотъ добросовѣстный и мудрый совѣтъ не могъ быть принятъ: жизнь не ждетъ, и отъ живыхъ людей требуетъ дѣйствій, не справляясь съ тѣмъ — готовы они къ своей роли, или нѣтъ. И вотъ, новые люди, „дѣти", стоятъ передъ вопросами и загадками окружающей ихъ дѣйствительности въ недоумѣніи, предоставленные самимъ себѣ, съ однимъ горькимъ наслѣдствомъ отрицанія и сомнѣнія. Старые кумиры опрокинуты въ ихъ глазахъ, а новые еще не поставлены. Какому богу молиться, въ какую сторону идти и чѣмъ провѣрять и направлять свои шаги—имъ не указано. А идти нужно, ибо жить нужно. И вотъ, они пробуютъ сами составлять программы жизни, пытаются пролагать новые пути, спотыкаются на нихъ, падаютъ и страдаютъ,—иногда сильно и тяжело страдаютъ, заставляя страдать вмѣстѣ съ собою и окружающихъ. Общество нерѣдко сердится на нихъ; но едва ли оно право въ своемъ гнѣвѣ: вѣдь оно же безсильно остановить заблуждающихся своимъ авторитетнымъ

голосомъ; оно не умѣетъ обратиться къ нимъ съ властнымъ словомъ и указать пути, которые считаетъ правыми; да, правду говоря, оно и само не знаетъ такихъ путей. Въ его неудовольствіи скрывается безсиліе и себялюбивая досада — зачѣмъ нарушаютъ его покой. Оставленныя безъ руководства, молодыя силы ищутъ опоры въ самихъ себѣ. Имъ тягостно, имъ невозможно сидѣть у моря и ожидать погоды, и они пускаются въ отважное плаваніе на свой рискъ и страхъ. Спѣшно устанавливаются цѣли, спѣшно создаются идеалы, на скорую руку слагаются міровоззрѣнія. И вотъ роковая особенность этихъ цѣлей, идеаловъ и міровоззрѣній: они всегда обнимаютъ только одну изъ многихъ сторонъ жизни и часть возводятъ до значенія цѣлаго. Одинъ строитъ политическій идеалъ, забывая, что на свѣтѣ много другихъ задачъ и вопросовъ, помимо политики; другой увлекается идеаломъ экономическимъ, страстно вѣруя, что вопросомъ распредѣленія земныхъ благъ исчерпывается все содержаніе жизни. Общаго, все захватывающаго идеала — нѣтъ ни у кого; цѣльнымъ, стройнымъ міровоззрѣніемъ, которое давало бы ключъ для разрѣшенія частныхъ положеній, никто не владѣетъ. И выходитъ поэтому, что какъ скоро приходится осуществлять новый идеалъ, дѣло идетъ складно и ладно, пока человѣкъ вращается въ узкой рамкѣ начертанной имъ программы. Но жизнь не страдаетъ той односторонностью, какой можетъ страдать мысль: рано или поздно она вытолкнетъ дѣятеля изъ его программы, поставивъ его лицомъ къ лицу съ другими вопросами, просмотрѣнными имъ; а тутъ онъ вновь несостоятеленъ, вновь безъ всякихъ указаній и руководства. Что правое, что лѣвое, что доброе и злое, нравственное — онъ не знаетъ. Высшаго критерія жизни, пробнаго камня для оцѣнки своихъ отношеній къ ближнимъ — у него нѣтъ, и за предѣлами своей частной программы онъ поневолѣ становится случайнымъ. Правда, онъ дѣлаетъ попытку найти такой общій критерій: онъ строитъ теорію новой нравственности и горячо хватается за нее, какъ за якорь спасенія. „Общее благо“, „общая польза“ — вотъ верховный руководящій

принципъ,—вотъ новый богъ, которому онъ начинаетъ молиться и приносить жертвы. Но онъ скоро приходитъ къ заключенію, что принципъ этотъ недостаточный и богъ ненастоящій: общее-то благо каждый понимаетъ по своему, какъ по своему понимаются и тѣ пути, которые ведутъ къ нему. Теорія общей пользы, — разсуждалъ новый русскій скиталецъ, — есть теорія *расчетливыхъ* дѣйствій; а если дѣло идетъ объ расчетѣ, то, конечно, я не уступлю *своего права* расчитывать и останусь *хозяиномъ* своихъ дѣйствій; основаніе новой нравственности покоится на томъ, что нравственный образъ дѣйствій *выгоднѣе* безнравственнаго. Но если дѣло только въ *выгодѣ*, то конечно, я не повѣрю *чужому* опредѣленію *моей* выгоды и предпочту *личное* рѣшеніе, хотя бы и рисковалъ за него поплатиться. Но тогда, значитъ, я могу дѣлать все, что нахожу выгоднымъ и цѣлесообразнымъ; тогда, значитъ, и вопроса о средствахъ быть не можетъ: всякое хорошо, если вѣрно ведетъ къ моей цѣли. Но если такъ, то гдѣ же здѣсь правила? Въ этой нравственности все отъ начала до конца самодѣльное. Это не нравственность, стоящая надо мною, безусловно повелѣвающая; это не та нравственность, которая изрекаетъ свои непреложные глаголы во имя высшей идеи, которую я считаю истинною и святою, въ которую я вношу мое чувство, которая согрѣваетъ и живитъ мое сердце. Это нравственность—дѣло рукъ человѣческихъ,—программа дѣйствій, которая еще нуждается въ моемъ одобреніи и согласіи, которую я, какъ и всякій другой могъ передѣлывать, пополнять и исправлять. Словомъ, это-та нравственность, которая въ сущности ничего не предписываетъ и не запрещаетъ, изъ которой можно черпать все, что угодно. Такъ не лучше ли, не прямѣе и не честнѣе ли просто оставить это старое понятіе о нравственности, — понятіе износившееся и истлѣвшее,—оставить, какъ предразсудокъ, путающій жизнь и безцѣльно осложняющій взаимныя отношенія между людьми. Такъ, говорю, — думалъ русскій скиталецъ, и нельзя отказать ему въ логикѣ. Якорь *спасенія, за который* онъ такъ довѣрчиво ухватился, ока-

зался ненадежнымъ, и пришлось отказаться отъ него. И вотъ, новый человѣкъ по прежнему остается въ потемкахъ, съ одними своими отрицаніями и сомнѣніями. И бродитъ онъ въ этихъ потемкахъ, пока не наткнется на невидимое препятствіе и не станетъ жертвою неожиданнаго столкновенія. — Таково умственно-нравственное состояніе героевъ въ послѣднихъ романахъ Достоевскаго, — то духовное содержаніе, которое налагаетъ на нихъ печать нѣкоторой своеобразной болѣзненности. Я охарактеризовалъ это содержаніе самыми общими чертами; многое осталось недоговореннымъ, многое можетъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ... Отрицательное состояніе мысли, налагающее особую окраску на душу, — вотъ тотъ недугъ, которымъ страдаютъ герои Достоевскаго. Онъ мастерски освѣщаетъ это состояніе, съ изумительною силою и глубиною изображаетъ тѣ душевныя превращенія, которыя являются послѣдствіемъ отрицанія. Онъ внимательно слѣдитъ за преемственнымъ ходомъ этихъ превращеній въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ. „Преступленіе и Наказаніе", „Бѣсы" и „Братья Карамазовы" отмѣчаютъ собою три послѣдовательныя стадіи въ жизни души отрицающей, отмѣчая съ тѣмъ вмѣстѣ три различныя ступени въ развитіи разсматриваемаго общественнаго движенія. Коротко характеризуя эти стадіи, „Преступленіе и Наказаніе" выражаетъ собою состояніе *вѣрующаго отрицанія;* „Бѣсы" — состояніе *отрицанія знающаго;* „Карамазовы" — состояніе отрицанія начинающаго *сомнѣваться* въ себѣ. Отношеніе къ отрицательнымъ выводамъ мысли, какъ къ предмету *вѣры*, *знанія и сомнѣнія*, образуетъ три состоянія, смѣняющія другъ друга съ непремѣнною необходимостью, логически развиваясь одно изъ другихъ. Достоевскій пишетъ естественную исторію этой смѣны. Послѣдуемъ за нимъ и взглянемъ на его картины.

Передъ нами бодрая эпоха шестидесятыхъ годовъ, богатая глубокими реформами во всемъ общественно-государственномъ строѣ нашемъ. Старыя, обветшалыя формы жизни падаютъ; на ихъ мѣсто устанавливаются новыя и лучшія. Что-то свѣжее и юное носится надъ этою зиждительною

работой: ясное утро, обѣщающее благодарный день! Наступитъ ли этотъ день дѣйствительно—покажетъ будущее; а пока все ручается за его наступленіе.

Параллельно ломкѣ старыхъ формъ жизни и зиждительной работѣ новыхъ, совершается другой знаменательный переворотъ въ области умственно-нравственной. Вмѣстѣ съ обновленными формами жизни думаютъ обновить ея внутреннее, духовное содержа [illegible] дѣсь зачинается ломка стараго, и здѣсь видимъ [illegible] мѣнить это старое новымъ и лучшимъ. Пои [illegible], не удаются вполнѣ; но есть еще крѣпкая н [illegible] онѣ удадутся впослѣдствіи. Даже и тѣни сом [illegible] будущемъ успѣхѣ пока нѣтъ; въ настоящемъ же [illegible] направлены къ тому, чтобы снести ветхія зданія [illegible] ть мѣсто для будущихъ сооруженій. Когда мѣсто [illegible] чищено, — найдутся и архитекторы, и рабочіе, [illegible] ьный матеріалъ.

При такихъ условіяхъ живетъ и дѣйствуетъ главный герой „Преступленія и Наказанія“, Раскольниковъ. Онъ—человѣкъ своего времени вполнѣ и совершенно, насколько оно выразилось въ своемъ новомъ движеніи. Онъ не только повернулся спиной къ отцовскимъ вѣрованіямъ, не только не дорожитъ прежними основами жизни, но считаетъ святымъ своимъ призваніемъ, —дѣломъ служенія истинѣ и человѣчеству,—работать надъ разрушеніемъ этихъ основъ и вѣрованій. Борьба съ старою ложью, ломка старыхъ формъ—вотъ идея, которая страстно овладѣваетъ всѣмъ его существомъ. А человѣкъ онъ стойкій и послѣдовательный: коли онъ додумался до борьбы и ломки,—ну, значитъ, дѣйствительно, нужно ломать и бороться, принимаясь немедля за это необходимое дѣло. Пока онъ еще не задумывается о томъ, что же потомъ-то будетъ, что возведетъ онъ на мѣсто поломоннаго. Для него ясно, что будетъ во всякомъ случаѣ лучше, что бы тамъ ни было, ибо хуже того, что есть, ничего быть не можетъ. Онъ весь поглощенъ своею разрушительной задачей, отуманенъ ею и уже ничего не видитъ болѣе. Онъ вѣритъ, и крѣпко вѣритъ,—въ спасительное значеніе разрушенія. Спѣшно,

на скорую руку, составляетъ онъ планъ своей дѣятельности: онъ убьетъ вотъ эту гадкую старуху—ростовщицу, которая сосетъ кровь своихъ ближнихъ; онъ уберетъ эту гадину съ бѣлаго свѣта и очиститъ мѣсто для другихъ; онъ разумно воспользуется ея деньгами, нажитыми неправымъ стяжаніемъ, онъ облагодѣтельствуетъ ими своихъ страждущихъ братьевъ. Планъ готовъ, и что же можетъ остановить Раскольникова отъ его выполненія? Нравственность? Но вѣдь нравственность въ лучшемъ случаѣ— только общее благо: именно опираясь на эту вѣрную идею, онъ и долженъ убить ростовщицу-старуху. Если признаешь идею,—имѣй мужество мириться со всѣми ея практическими послѣдствіями; а не ясно ли, что, убравъ эту *одну* старушонку, онъ сдѣлаетъ доброе дѣло для *многихъ*? Но мóжетъ быть иная нравственность запрещаетъ такой образъ дѣйствій? Однако, какая же? Иной нравственности нѣтъ; ее сочинили люди, да и, сочинивъ, опутали ею только однихъ слабыхъ. Сильныя, избранныя натуры не слѣдуютъ этой нравственности. безнаказанно попираютъ ее. Вотъ, Наполеонъ I десятками, сотнями тысячъ губилъ людей ради своего ненасытнаго честолюбія; а между тѣмъ, за эти кровавые подвиги его награждаютъ безсмертіемъ, окружаютъ имя его ореоломъ вѣчной, неувядающей славы. Такъ думаетъ Раскольниковъ, и человѣкъ вѣрный себѣ, онъ убиваетъ избранную имъ жертву.—Дѣло сдѣлано; руки обрызганы кровью ближняго. Но тутъ случается съ Раскольниковымъ то, чего онъ никакъ не ожидалъ: наперекоръ ясной и отчетливой логикѣ, наперекоръ неоспоримымъ доводамъ разума, въ немъ просыпается совѣсть, лютымъ звѣремъ накидывается на его душу, гложетъ и терзаетъ ее, доводитъ несчастнаго до галлюцинацій,—до страшныхъ видѣній наяву, отъ которыхъ у него подымаются волосы дыбомъ. И все это дѣлаетъ совѣсть, которую онъ считалъ предразсудкомъ? Съ его точки зрѣнія, это, очевидно, непослѣдовательность; это—непростительная слабость. и позднѣйшіе герои, какъ увидимъ далѣе, уже не будутъ страдать этой слабостью. Но отчего она есть въ Раскольнико-

вѣ,—твердомъ и сильномъ человѣкѣ?—Да именно оттого, что онъ еще новичокъ въ дѣлѣ отрицанія,—первая ласточка, вылетѣвшая изъ своего гнѣзда. Еще слишкомъ близко и свѣжо въ памяти время, когда онъ самъ горячо вѣрилъ въ то, что теперь отрицаетъ. „Люби своего ближняго, каковъ бы онъ ни былъ; ты не судья ему и еще менѣе палачъ!" Звучитъ въ его ушахъ старый, глубоко запавшій въ душу завѣтъ. И Раскольниковъ падаетъ и гибнетъ подъ тяжестью обломковъ разрушеннаго имъ зданія. Однако его паденіе и гибель никого не образумятъ и не спасутъ: по его слѣдамъ пойдутъ еще многіе и многіе. Да и не можетъ его горькій опытъ быть урокомъ для этихъ многихъ: во 1-хъ, человѣкъ все же не выстоялъ до конца и, во-2-хъ, кто же ему велѣлъ останавливаться на нелѣпомъ планѣ убійства ничтожной старухи? Можно придумать тысячу иныхъ плановъ, вѣрнѣе ведущихъ къ цѣли водворенія счастья между людьми. И планы будутъ составляться и проводиться; только будетъ ли счастье-то?—Но, оставляя въ покоѣ другихъ героевъ, спросимъ, что больше всего характеризуетъ Раскольникова?—Онъ, конечно, отрицатель, но такой, который пламенно, страстно вѣритъ въ свое отрицаніе, хотя и хоронитъ его подъ внѣшними чертами нѣкоторой замкнутости. Эта вѣра въ силу и истину своего отрицанія составляетъ его своеобразную особенность. Вѣрить въ отрицаніе, вѣрить въ невѣріе,—тутъ есть внутреннее противорѣчіе; но пока оно ускользаетъ отъ его глазъ. Пока онъ вноситъ въ свое отрицаніе то же чувство, тотъ же сердечный порывъ, съ какимъ относится религіозный человѣкъ къ предмету поклоненія.

* * *

*) Смыслъ „Преступленія и Наказанія" при всей глубинѣ подробностей очень простъ и ясенъ, хотя многими и не былъ понятъ. Главное дѣйствующее лицо—предста-

*) *Влад. Соловьевъ.* „Три рѣчи въ память Достоевскаго". Москва 1884 г.

витель того воззрѣнія, по которому всякій сильный человѣкъ самъ по себѣ господинъ, и ему все позволено. Во имя своего личнаго превосходства, во имя того, что онъ *сила*, онъ считаетъ себя въ правѣ совершить убійство и дѣйствительно его совершаетъ. Но вотъ вдругъ то дѣло, которое онъ считалъ только нарушеніемъ внѣшняго безсмысленнаго закона и смѣлымъ вызовомъ общественному предразсудку,—вдругъ оно оказывается для его собственной совѣсти чѣмъ-то гораздо большимъ, оказывается грѣхомъ, нарушеніемъ внутренней нравственной правды. Нарушеніе внѣшняго закона получаетъ законное возмездіе извнѣ въ ссылкѣ и каторгѣ, но внутренній грѣхъ гордости, отдѣлившій сильнаго человѣка отъ человѣчества и приведшій его къ человѣкоубійству, — этотъ внутренній грѣхъ самообоготворенія можетъ быть искупленъ только внутреннимъ нравственнымъ подвигомъ самоотреченія. Безпредѣльная самоувѣренность должна исчезнуть передъ вѣрой въ то, что больше *себя*, и самодѣльное оправданіе должно смириться передъ высшей правдой Божіей, живущей въ тѣхъ самыхъ простыхъ и слабыхъ людяхъ, на которыхъ сильный человѣкъ смотрѣлъ какъ на ничтожныхъ насѣкомыхъ.

Въ „Бѣсахъ“ та же тема если не углублена, то значительно расширена и усложнена. Цѣлое общество людей, одержимыхъ мечтой о насильственномъ переворотѣ, чтобы передѣлать міръ по своему, совершаютъ звѣрскія преступленія и гибнутъ позорнымъ образомъ, а исцѣленная вѣрой Россія склоняется передъ своимъ Спасителемъ. Общественное значеніе этихъ романовъ велико; въ нихъ *предсказаны* вѣрныя общественныя явленія, которыя не замедлили обнаружиться; вмѣстѣ съ тѣмъ эти явленія осуждены во имя высшей религіозной истины и указанъ лучшій исходъ для общественнаго движенія въ принятіи этой самой истины. Осуждая исканія самовольной отвлеченной правды, порождающія только преступленія, Достоевскій противупоставляетъ имъ народный религіозный идеалъ, основанный на вѣрѣ Христовой. Возвращеніе къ этой вѣрѣ есть общій исходъ и для Раскольникова и для всего одержимаго бѣса-

ми общества. Одна лишь вѣра Христова, живущая въ народѣ, содержитъ въ себѣ тотъ положительный общественный идеалъ, въ которомъ отдѣльная личность солидарна со всѣми. Отъ личности же, утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась отъ своего гордаго уединенія, чтобы нравственнымъ актомъ самоотверженія она возсоединилась духовно съ цѣлымъ народомъ. Но во имя чего же? Во имя ли того только, что онъ,— народъ, и что шестьдесятъ милліоновъ больше чѣмъ единица или тысяча? Вѣроятно, есть люди, которые именно такъ это и понимаютъ. Но такое слишкомъ уже простое пониманіе было совершенно чуждо Достоевскому. Требуя отъ уединившейся личности возвращенія къ народу, онъ прежде всего имѣлъ въ виду возвращеніе къ той истинной вѣрѣ. которая еще хранится въ народѣ. Въ томъ общественномъ идеалѣ братства или всеобщей солидарности, которому вѣрилъ Достоевскій, главнымъ было его религіозно-нравственное, а не національное значеніе. Уже въ „Бѣсахъ" есть рѣзкая насмѣшка надъ тѣми людьми, которые поклоняются народу только за то, что онъ народъ и цѣнятъ православіе лишь какъ аттрибутъ русской народности.

* * *

*) О характерѣ Раскольникова было много уже сказано критикой; всякій образованный русскій и даже иностранцы знакомы съ романомъ „Преступленіе и Наказаніе", и, конечно, всякій составилъ себѣ болѣе или менѣе опредѣленное понятіе объ этой, во всякомъ случаѣ, загадочной личности. Поэтому весьма трудно еще разъ разбирать этотъ характеръ и защищать взглядъ, рѣзко расходящійся съ уже составленнымъ.

Впрочемъ, чѣмъ явленіе выбранное художникомъ сложнѣе, тѣмъ болѣе оно возбуждаетъ сужденій, до извѣстной степени справедливыхъ, не смотря на ихъ противополож-

*) В. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ". М. 1885 г. и „Русскій Вѣстникъ", 1884 г. № 5—6.

ность. Когда я въ первый разъ читалъ этотъ романъ еще будучи студентомъ, онъ на меня произвелъ подавляющее впечатлѣніе, но я совершенно не понялъ Раскольникова, и, не смотря на всѣ мои попытки объяснить себѣ этотъ характеръ, я долженъ былъ признаться себѣ, что онъ остается для меня неразрѣшимой загадкой. Познакомившись съ психіатріей, я еще разъ перечелъ „Преступленіе и Наказаніе“ съ новымъ интересомъ. Я, какъ врачъ, собирающій свѣдѣнія объ интересномъ въ медицинскомъ отношеніи больномъ, искалъ въ романѣ указаній о здоровьѣ родителей Раскольникова, такъ какъ только у лицъ съ наслѣдственнымъ расположеніемъ къ душевнымъ болѣзнямъ могутъ быть такія явленія, и, когда я прочелъ (обстоятельство, не обратившее прежде моего вниманія и не оцѣненное мною), что мать Раскольникова умерла душевно-больною, я понялъ Раскольникова, и еще разъ убѣдился въ геніальности Достоевскаго.

Даже скептикъ долженъ согласиться, что человѣкъ, подъ вліяніемъ раскаянія заболѣвающій душевною болѣзнею, въ значительной степени склоненъ къ заболѣванію душевными болѣзнями. Та легкость и быстрота, съ которою Раскольниковъ заболѣваетъ душевною болѣзнею и оправляется отъ нея, вмѣстѣ съ тѣмъ, что извѣстно о здоровьѣ его матери, достаточно убѣдительно доказываетъ, что онъ субъектъ съ сильно выраженнымъ наслѣдственнымъ предрасположеніемъ къ заболѣванію душевными болѣзнями, такъ сказать, постоянно стоящій на краю пропасти. Двухъ этихъ обстоятельствъ достаточно, чтобы считать Раскольникова человѣкомъ крайне болѣзненнымъ, ожидать всегда отъ него поступковъ несвойственныхъ здоровымъ людямъ.

Поэты моралисты сильно ошибаются, думая, что муки совѣсти доводятъ преступниковъ до сумасшествія. Макбетъ и Леди Макбетъ исключительныя явленія; если преступники и нѣсколько чаще страдаютъ душевными болѣзнями, то для этого много другихъ причинъ, кромѣ вліянія раскаянія.

Преступниковъ галлюцинирующихъ своими жертвами едва ли видѣлъ каждый тюремный врачъ; такъ онѣ рѣдки. За

нѣсколько лѣтъ моей дѣятельности въ тюремныхъ больницахъ я положительно не видѣлъ ни одного случая помѣшательства, причиной котораго были бы муки совѣсти, не наблюдалъ ни разу помѣшательства, седержаніе котораго имѣло бы непосредственное отношеніе къ преступленію. Впрочемъ, по этому поводу и не существуетъ разногласій. Достоевскій показалъ въ разбираемомъ романѣ, насколько справедливы мнѣнія поэтовъ [illegible] публики о томъ, что преступленіе въ самомъ себѣ с[illegible]итъ такое тяжкое наказаніе, что преступникъ подъ [illegible]мъ раскаянія заболѣваетъ душевною болѣзнію. Да, заб[illegible]ютъ душевною болѣзнію вслѣдствіе мученій совѣсти [illegible]е обыкновенные преступники, а Раскольниковы. Э[illegible]романомъ Достоевскій показалъ, что сравнительно с[illegible]угими художниками, онъ стоитъ неизмѣримо высок[illegible] психопатологъ.

У Раскольникова и Ив[illegible]амазова есть одна общая черта; это—люди съ умомъ [illegible]е средняго и значительно обработаннымъ, хотя для нихъ обоихъ оказалось недостижимымъ полное образованіе; извѣстной границы они переступить не могли. Оба они люди съ потребностью къ серіозной умственной дѣятельности, одаренные самостоятельною творческою мыслію. Продукты ихъ ума для обыкновенныхъ людей представляются странными, парадоксальными, рядомъ остроумныхъ, пожалуй, блестящихъ выводовъ изъ узко или ложно понятаго основанія. Какъ теорія Раскольникова о правѣ генія распоряжаться человѣческою жизнію, такъ и взглядъ Ивана, что церковь должна поглотить государство, намъ людямъ извѣстной культуры, просто недоступны; если бы мы даже не были въ силахъ доказать ложность этихъ теорій, то все-таки отнюдь не могли бы съ ними согласиться. Конечно, это еще не доказательство того, что творцы ихъ люди больные: всегда появляются люди, говорящіе новое слово. Огромному большинству проповѣдь ихъ кажется нелѣпостью, бредомъ, но все-таки ихъ никто не рѣшается назвать сумасшедшими; напримѣръ, ученіе мармоновъ, сенъ-симонизмъ большинству представляется или вздоромъ или шарлатанствомъ. Но ори-

гинальные парадоксальные умы, конечно, имѣютъ полное право на свободу въ качествѣ людей здоровыхъ. Они, можетъ быть, преступники мысли, но не сумасшедшіе. Замѣчательное явленіе: ни Раскольниковъ ни Иванъ не находятъ адептовъ своему ученію; это уже рѣзко ихъ отличаетъ отъ всѣхъ другихъ новаторовъ, такъ какъ, сколько извѣстно изъ исторіи и психологіи, умъ высшаго порядка (способный къ творческой дѣятельности) всегда подчиняетъ себѣ умы болѣе слабые. Является самъ собой роковой вопросъ: почему Раскольниковъ и Иванъ, люди съ блестящимъ умомъ, не могли никого убѣдить въ справедливости своихъ воззрѣній. Объясненіе этому въ сущности просто: сами авторы не вѣрили въ справедливость своихъ взглядовъ. Ивана нельзя даже назвать атеистомъ: атеизмъ, въ качествѣ школы, философскаго воззрѣнія, есть какъ бы нѣкоторое подобіе вѣры; я хочу сказать, что Иванъ былъ просто циникъ въ самомъ дурномъ смыслѣ этого слова, то есть человѣкъ, дошедшій сначала до отрицанія Бога, а затѣмъ и всѣхъ нравственныхъ законовъ; все позволено, все хорошо, нѣтъ ничего нравственнаго и безнравственнаго и т. п. Но онъ только думалъ такъ, чувствовалъ же иначе: убійство отца его возмутило; такимъ образомъ очевиденъ цѣлый рядъ противорѣчій. Раскольниковъ только на минуту повѣрилъ въ справедливость своихъ взглядовъ, да и то не вполнѣ, и сейчасъ же отъ нихъ отказался. Вотъ самый рѣзкій характерный признакъ такихъ болѣзненныхъ умовъ; такіе люди никогда не вѣрятъ въ то, что сами проповѣдуютъ. Ихъ теоріи не стоятъ въ соотвѣтствіи со всею ихъ натурой, съ цѣлымъ ихъ *я;* это просто рядъ выводовъ, не имѣющихъ никакой цѣны, никакого живого значенія для самихъ авторовъ. По временамъ, они съ жаромъ защищаютъ свои теоріи, въ душѣ сами сомнѣваясь; и какъ бы умны они ни были, окружающіе инстинктивно чувствуютъ, что имѣютъ дѣло съ болтунами (даже простые монахи заподозрили Ивана въ атеизмѣ). Эти люди не могутъ имѣть глубокихъ убѣжденій; умъ ихъ работаетъ черезчуръ порывисто, не можетъ на продолжительное время завладѣть остальными

функціями, не стоитъ въ гармоніи со всею духовною дѣятельностію. Демократы, живущіе на хлѣбахъ у вельможъ, проповѣдники нравственности, удивляющіе окружающихъ своею безнравственностію, набожные люди, постоянно нарушающіе всѣ законы религіи и дѣлающіе это искренно, не изъ обдуманно-корыстныхъ цѣлей, все это именно такіе болѣзненные умы; біографія многихъ авантюристовъ какъ нельзя болѣе убѣжда[illegible] чт[illegible]ивости этого положенія. Lombroso, долго изуч[illegible] великихъ людей, страдавшихъ душевными [illegible]оритъ, что отличительный признакъ такихъ [illegible]то слово у нихъ всегда расходится съ дѣломъ. [illegible]мѣръ, можно объяснить, что Ж. Ж. Руссо заб[illegible]ь дѣтей?

Необходимо приходится [illegible]ь, что мышленіе, творческая способность [illegible] и Ивана рѣзко отличались отъ этихъ функ[illegible]рмальныхъ; кромѣ того, они сами въ глубинѣ души не вѣрили въ справедливость своихъ теорій, которыя оставались чуждыми ихъ *я*.

Я полагаю, что объяснять парадоксальность теоріи Раскольникова излишне. Взгляды Ивана представляютъ анахронизмъ. Какъ они дошли до своихъ взглядовъ, что побудило мягкаго, добраго, честнаго Раскольникова дойти до такой кровожадной теоріи, естественника Ивана во время всеобщаго увлеченія взглядами натуралистовъ сдѣлаться новымъ quasi-апостоломъ, въ 25 лѣтъ увлечься сочиненіемъ религіозныхъ легендъ? Читая хорошо составленную біографію какого-нибудь избранника, сказавшаго свое слово, мы всегда до извѣстной степени можемъ прослѣдить, какъ зараждались извѣстныя идеи, какъ обстоятельства жизни, ученыя занятія, общественныя сношенія наталкивали умъ на извѣстный вопросъ, какъ неясная въ началѣ мысль прояснялась, вырабатывалась извѣстная теорія, дѣятельность принимала тотъ или другой оборотъ. Романы Достоевскаго, во всякомъ случаѣ, хорошія біографіи ихъ героевъ; никто не отрицалъ у Достоевскаго способности анализовать душу. Между тѣмъ мы рѣшительно не видимъ, какъ и почему додумались Раскольниковъ и Иванъ до своихъ взглядовъ;

ихъ образованіе, научныя занятія стоятъ въ разрѣзъ съ ихъ теоріями. Неужели у Достоевскаго были пробѣлы, неполнота въ столь крупномъ вопросѣ? Я думаю, мало кто рѣшится обвинять Достоевскаго въ томъ, что въ исторіи Раскольникова и Ивана Карамазова нѣтъ объясненія, какъ зарождались и вырабатывались ихъ теоріи. Правильнѣе будетъ заключить, что если такой глубокій психологъ не могъ выяснить намъ, какъ и почему извѣстныя идеи развивались въ головахъ его героевъ, то значитъ въ данномъ случаѣ этого невозможно сдѣлать. Да и напрасно было бы искать, какимъ психологическимъ путемъ явились столь чуждые самимъ авторамъ взгляды; мы вѣдь только знаемъ процессъ творчества у здоровыхъ людей; что же можно сказать про этихъ людей, если даже такой знатокъ души человѣческой, какъ Достоевскій, не могъ анализовать, какъ они мыслятъ? Такіе люди всегда были и вѣроятно еще долгое время будутъ загадками; психическая жизнь ихъ черезчуръ разнится отъ жизни здоровыхъ людей, и имъ суждено удивлять окружающихъ неожиданностію своихъ мыслей и поступковъ. Можно навѣрное сказать, что относительно ихъ невозможны какія-либо предсказанія, кромѣ одного: что они кончатъ или сумасшествіемъ или преступленіемъ, или еще вѣрнѣе тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Но если мы не можемъ объяснить себѣ, какъ они додумываются до изумляющихъ насъ своею странностію выводовъ, то по крайней мѣрѣ мы можемъ прослѣдить, что направляетъ и обусловливаетъ ихъ умственную дѣятельность. Раскольниковъ быстро разочаровывается въ своихъ надеждахъ на счастье, огорченъ смертью своей невѣсты, впадаетъ въ хандру, лишается заработковъ, голодаетъ, и вотъ озлобленіе на міръ, неудовлетворительность жизнію, голодъ, хандра наталкиваютъ его на мрачную разрушительную теорію. Мы видимъ въ этомъ случаѣ крайне рѣзко выраженную зависимость мышленія отъ настроенія: мысль лишается главнаго своего достоинства—объективности. Не въ правѣ ли мы были ожидать отъ Раскольникова, если бы жизнь ему улыбнулась, теоріи самаго идиллическаго характера? Даже люди талантливые, съ чертами психиче-

скаго вырожденія, лишены свободы мысли; умъ у нихъ является самымъ покорнымъ слугой болѣе низшихъ психическихъ функцій, въ чемъ нельзя не видѣть признака несовершенства организаціи такихъ людей. Увлеченіе религіозными вопросами у Ивана имѣетъ ту-же почву, какъ и у его брата Алеши. Я понимаю, что приведенное мною объясненіе можетъ многимъ показаться произвольнымъ; но настаивая на томъ, что психическая жизнь Раскольникова и Ивана Карамазова намъ неясна, я уже этимъ сказалъ, что намъ приходится ограничиваться болѣе вѣроятными догадками.

Еще разъ считаю нужнымъ оговориться, что считать душевно-больными Раскольникова и Ивана Карамазова только потому, что они создали парадоксальныя теоріи, нельзя; нужно брать всю совокупность явленій, и только тогда можно по достоинству оцѣнить значеніе парадоксальности ихъ ума.

Наконецъ, въ сферѣ воли у субъектовъ съ психическимъ вырожденіемъ поражаетъ необычайная возбудимость ея представленіями при малой устойчивости возбудимости. Напримѣръ, Раскольниковъ додумался до оригинальной теоріи и тотчасъ же спѣшитъ поступать сообразно съ ней; также и Алеша вздумалъ идти въ монастырь. Собственно какимъ путемъ образовались эти идеи, по моему разумѣнію, я сказалъ. Этотъ же путь ведетъ и къ быстрому переходу представленій въ дѣятельность. Всему *я* Раскольникова крайне гадко было убійство, но онъ рабски подчиняется своей идеѣ; у большинства людей это бываетъ далеко не такъ: вся исторія человѣчества учитъ, какъ медленно новыя моральныя и соціальныя идеи переходятъ въ жизнь. Такова натура человѣка. Великіе люди умѣли направлять свою дѣятельность къ воодушевлявшей ихъ идеѣ, но они подолгу колебались, сомнѣвались, страдали, пока идея созрѣвала и наконецъ поглощала ихъ *я*. У Раскольниковыхъ, хотя бы они и чувствовали, даже понимали нелѣпость ихъ идеи, все-таки она быстро переходитъ въ дѣло.

Вообще въ физіологіи нервной системы извѣстенъ законъ, *что чѣмъ проще* организація, тѣмъ легче раздраженіе пе-

реходитъ въ движеніе. Головной мозгъ человѣка, какъ самый совершенный органъ, обладаетъ въ высокой степени способностію уменьшать или даже совершенно уничтожать соотвѣтствующее раздраженію движеніе. Иллюстрировать это можетъ извѣстный опытъ: у обезглавленной лягушки рефлексы спинного мозга наступаютъ быстрѣе и энергичнѣе. Въ той сложной дѣятельности головного мозга, которая называется психическою, эта задерживающая способность играетъ большую роль; чѣмъ выше психическая организація человѣка, тѣмъ больше способность развита. Ребенокъ не въ силахъ сдерживать проявленія своихъ чувствъ: дикарь обладаетъ этою способностію меньше, чѣмъ цивилизованный.

Психическое вырожденіе, между прочимъ, почти всегда выражается слабостью задерживающей дѣятельности мозга. Этотъ недостатокъ, указывающій на недоразвитіе sui generis мозга, проявляется и въ той быстротѣ, съ которою аффекты и настроенія переходятъ въ дѣятельность и въ подавляющемъ вліяніи представленій на волю. Но слѣдуя общимъ законамъ, легкая возбудимость сопровождается малою устойчивостью возбужденія. Если у здороваго человѣка представленія перешли въ дѣятельность, то мы знаемъ, что при этомъ происходила сложная борьба противоположныхъ представленій и чувствъ, задерживающіе моменты были подавлены, поэтому само собой мы вправѣ предполагать, что импульсъ для дѣятельности былъ достаточно силенъ дабы преодолѣть всѣ препятствія, мы вправѣ думать, что воля имѣетъ достаточное напряженіе. Но у людей съ психическимъ вырожденіемъ представленія легко переходятъ въ движенія; у нихъ нѣтъ устойчивой воли: новыя представленія съ такою же легкостью вызываютъ новыя дѣйствія. Только *повидимому* противорѣчитъ этому то обстоятельство, что Раскольниковъ имѣлъ достаточно силы воли, чтобъ отдать себя въ руки правосудія. Раскольниковъ скоро рѣшился на преступленіе, еще скорѣе рѣшился и на самоубійство, но не могъ покончить съ собой; отдать же себя въ руки правосудія онъ долженъ былъ, потому что

судебный слѣдователь все равно арестовалъ бы его. Сколько противорѣчащихъ другъ другу намѣреній и поступковъ проявилъ Раскольниковъ въ это время, трудно и перечислить; самыя ничтожныя обстоятельства измѣняли его дѣятельность, и хотя онъ былъ умнѣе всѣхъ его окружавшихъ, онъ, благодаря этой неустойчивости воли, выдалъ себя какъ самый глупый преступникъ. Только слабость воли можетъ объяснить намъ ту непослѣдовательность, съ которою держалъ себя Раскольниковъ послѣ преступленія...

Достоевскій, какъ извѣстно, весьма подробно анализировалъ душевное состояніе своихъ героевъ, совершавшихъ преступленія; среди массы преступниковъ и негодяевъ, такъ тщательно имъ нарисованныхъ, рѣзко выдѣляются двѣ рельефно очерченныя фигуры съ отсутствіемъ нравственнаго чувства: это фигуры — Свидригайлова (Преступленіе и Наказаніе) и Смердякова (Братья Карамазовы). Свидригайловъ и Смердяковъ, не смотря на разницу въ ихъ воспитаніи, дѣятельности, общественномъ положеніи, имѣютъ много между собою общаго.

Эти несчастные выродки уже съ самаго ранняго возраста удивляютъ окружающихъ недостаткомъ дѣтской любви и родственныхъ привязанностей, холодностью сердца, равнодушіемъ къ счастью и горю самыхъ близкихъ имъ лицъ. (Смердяковъ не питалъ никакой привязанности къ Григорію и еще ребенкомъ относился къ нему враждебно). Они остаются вполнѣ равнодушны къ оцѣнкѣ и порицанію ихъ поступковъ другими лицами, не испытывая угрызенія совѣсти или раскаянія. Въ этомъ отношеніи весьма интересны сцены между Раскольниковымъ и Свидригайловымъ, Иваномъ Карамазовымъ и Смердяковымъ. Свидригайловъ смѣется, когда Раскольниковъ называетъ его развратникомъ, убійцею жены и слуги; Смердяковъ спокойно разсказываетъ, какъ онъ совершилъ преступленіе, искренно не понимая, почему такъ возмущается и негодуетъ Иванъ Карамазовъ. Эти сцены лучше десятковъ страницъ въ теоретическихъ трактатахъ объясняютъ, что такое нравственное помѣшательство.

Обычая эти больные не понимаютъ; законъ имѣетъ для нихъ значеніе только полицейскаго предписанія, и на тягчайшія преступленія они смотрятъ съ своеобразной низшей точки зрѣнія, такъ же какъ психически-здоровый человѣкъ смотритъ на невинное нарушеніе какого-нибудь полицейскаго предписанія. Такъ, когда Раскольниковъ говоритъ Свидригайлову, что онъ узналъ объ убійствѣ жены самимъ Свидригайловымъ, то тотъ только равнодушно замѣтилъ: „перестаньте говорить объ этихъ пошлостяхъ; уже вамъ наговорили обо мнѣ" и т. п.; словомъ, такъ же относится къ такимъ серьезнымъ обвиненіямъ, какъ здоровый человѣкъ къ напоминаніямъ ему о какихъ-нибудь пустыхъ его отступленіяхъ отъ закона. Такъ же спокойно Свидригайловъ разсказываетъ Раскольникову, человѣку совсѣмъ незнакомому, что его били, когда онъ былъ шулеромъ. Сообщать о такихъ позорныхъ обстоятельствахъ не было никакой надобности, но онъ разсказалъ объ этомъ, такъ какъ ему не было стыдно или непріятно говорить объ этомъ.

Естественно, что Свидригайловъ и Смердяковъ съ полнымъ безучастіемъ относятся къ вопросамъ общественной жизни; въ этомъ отношеніи интересны разсужденія Смердякова о патріотизмѣ и Свидригайлова—объ освобожденіи крестьянъ. Эта нравственная слѣпота дѣлаетъ такихъ людей совершенно неспособными къ общественной жизни и вѣрными кандидатами въ тюрьмы (Свидригайловъ и Смердяковъ такіе кандидаты) и заведенія для душевно-больныхъ. Въ эти мѣста они всегда и попадаютъ послѣ того, какъ пройдутъ по обычнымъ для нихъ ступенямъ общественнаго поприща. Въ дѣтствѣ они бываютъ истинною пыткою для родителей и наставниковъ (Смердяковъ возбуждалъ ужасъ и негодованіе честнаго Григорія), въ молодости—язвой для общества, благодаря непреодолимому стремленію къ бродяжничеству — (Свидригайловъ, несмотря на свое происхожденіе, былъ обитателемъ дома Вяземскаго), мотовству (Свидригайловъ растратилъ свое состояніе и попалъ въ долговую тюрьму), разврату (Свидригайловъ дошелъ до крайнихъ предѣловъ разврата) и воровству (Смердяковъ кончилъ *воровствомъ*).

Что касается чисто умственной сферы, то ни у Свидригайлова ни у Смердякова,—какъ это часто и бываетъ, и что заставляетъ профановъ считать такихъ лицъ здоровыми,—не было рѣзко выраженныхъ растройствъ, не было идей бреда; галлюцинаціи у Свидригайлова были рѣдки и не имѣли большого вліянія на его психическую жизнь. Несмотря однако на то, что Свидригайловъ и Смердяковъ кажутся людьми умными. хитрыми и даже энергичными, вся жизнь ихъ показываетъ, что умъ ихъ совершенно непроизводителенъ; они неспособны ни къ какому серіозному призванію въ жизни, ни къ какой правильной дѣятельности. Бросается въ глаза резонирующій способъ мышленія; оба они каждый по своему резонеры, ни къ чему не способные. Смердяковъ въ концѣ концовъ не могъ осуществить своей завѣтной, крайне немудреной мечты—открыть кухмистерскую, а для достиженія этой цѣли онъ совершилъ даже убійство, и хотя былъ очень предусмотрителенъ при совершеніи преступленія и обнаружилъ большую инстинктивную хитрость, но въ то же время упустилъ изъ виду самыя простыя предосторожности.

Въ половомъ отношеніи, несмотря на видимую противоположность, оба носятъ на себѣ несомнѣнные слѣды дегенеративнаго состоянія нервной системы: Смердяковъ, несмотря на свой возрастъ и достаточное здоровье, совершенно индиферентенъ къ женщинамъ; Свидригайловъ всегда злоупотреблялъ въ этомъ отношеніи, кромѣ того, половыя влеченія его были настолько извращены, что онъ подвергался уголовной отвѣтственности за изнасилованіе малолѣтней горбатой.

Наконецъ нужно прибавить, чтобъ еще яснѣе указать, какъ вѣрно и глубоко Достоевскій зналъ такихъ больныхъ, что Смердяковъ страдалъ эпилептическими припадками, а Свидригайловъ не переносилъ спиртныхъ напитковъ; это уже очевидные признаки болѣзненнаго состоянія нервной системы, часто наблюдаемаго у лицъ съ нравственнымъ помѣшательствомъ.

Профану можетъ показаться неправдоподобной натяжкой,

обусловленной самой техникой романиста, что оба больные окончили самоубійствомъ. На первый взглядъ кажется, что такимъ бы лицамъ и жить. Но и тутъ Достоевскій остался вѣренъ природѣ; ихъ самоубійство не только удобный конецъ для романиста, но и вполнѣ правдоподобно. Въ психіатріи извѣстны случаи самоубійства такихъ больныхъ: такіе случаи описаны Крафтомъ-Эбингомъ. Это явленіе не будетъ казаться страннымъ, если мы обратимъ вниманіе на то, что—при болѣе или менѣе полной нравственной нечувствительности, отсутствіи нравственныхъ сужденій и этическихъ понятій—ихъ мѣсто должны занимать выводимыя путемъ сложныхъ логическихъ процессовъ сужденія о полезномъ и вредномъ; что требованія должны быть заучены субъектомъ и остаются не окрашенными ни малѣйшимъ чувствованіемъ; что вся человѣческая культура, весь общественный строй дѣлается для такихъ больныхъ только стѣснительнымъ ярмомъ. Понятно, что жизнь для этихъ несчастныхъ должна быть тяжела, или по крайней мѣрѣ мало интересна. Вѣдь они лишены такимъ образомъ цѣлой суммы радости и страданій, доступныхъ всѣмъ людямъ.

Вотъ это-то прекрасно выяснено Достоевскимъ въ біографіи Свидригайлова; тутъ мы видимъ мастерской психологическій анализъ.

Свидригайловъ началъ свою жизненную карьеру кавалерійскимъ офицеромъ; но такъ какъ самая привлекательная сторона этой службы—честолюбіе, исполненіе извѣстныхъ правилъ чести, товарищество, вслѣдствіе неспособности его ко всѣмъ этимъ чувствамъ, потеряна, онъ бросаетъ службу, такъ какъ для него существовали только однѣ ея отрицательныя стороны: стѣсненіе, обязательный трудъ и т. п. Послѣ этого онъ начинаетъ жить одними чувственными наслажденіями, но тутъ обычный исходъ—разореніе и пресыщеніе; понятно, что такой человѣкъ не задумается въ выборѣ способовъ пріисканія денегъ: онъ дѣлается шулеромъ: въ его сознаніи и не возникало вопроса—нравственно или нѣтъ это занятіе: одно, что находитъ нужнымъ сказать онъ объ этомъ періодѣ своей жизни, это то, что

его били за шулерство. Этимъ онъ даже нѣсколько гордится: по его понятіямъ, только у битыхъ бываетъ хорошая манера. Наконецъ, онъ становится нищимъ, жителемъ дома Вяземскаго, но въ сущности и такое паденіе его нисколько не смущаетъ; онъ не чувствуетъ унизительности такого положенія, даже того стыда, который свойственъ всѣмъ опустившимся такъ низко въ жизни; воспріимчивость къ чувственнымъ наслажденіямъ, вслѣдствіе излишества, совершенно притуплена; словомъ, грязь—въ прямомъ и переносномъ смыслѣ—дома Вяземскаго не дѣйствуютъ на его нервы хотя очевидно, что для человѣка его воспитанія, такая жизнь должна быть крайне тяжела.

Но тутъ судьба сжалилась надъ нимъ: богатая женщина платитъ его долги, съ помощью денегъ заминаетъ его дѣло объ изнасилованіи, дѣлаетъ его своимъ мужемъ. Свидригайловъ цинично выговариваетъ себѣ право брать въ наложницы ея горничныхъ, широко пользуется этимъ правомъ, и, такъ какъ жена его женщина добрая, то онъ нѣсколько лѣтъ прозябаетъ въ деревнѣ. Все ему надоѣло, ничего не занимаетъ его, ничто не волнуетъ; онъ совершенно безучастно относится къ женѣ, дѣтямъ; общественныхъ обязанностей помѣщика онъ не понимаетъ, потому что нравственныя чувства, лежащія въ ихъ основѣ, для него не существуютъ. Жизнь становится въ тягость; напрасно добродушная жена возила его за границу: благодаря отсутствію эстетическихъ чувствъ, интереса къ общественной жизни, ему было тамъ такъ же скучно, какъ дома. Однако за это время онъ ничего не дѣлаетъ дурного: ему никто ни въ чемъ не мѣшаетъ. Нѣкоторые готовы его считать даже добрымъ человѣкомъ; но насколько для него чуждо сочувствіе ближнему, это видно изъ того, что онъ, для развлеченія, до такой степени преслѣдовалъ своего лакея, смѣясь надъ его убѣжденіями, что довелъ его до самоубійства. Конечно, Свидригайловъ не виноватъ въ смерти этого лакея: вѣдь онъ не чувствовалъ и не понималъ, что могутъ значить для человѣка завѣтныя убѣжденія, потому *что у него самого* не могло быть убѣжденій, ничего за-

вѣтнаго, дорогого. Онъ виноватъ въ этомъ случаѣ столько же, какъ школьники, дразнящіе другъ друга, или человѣкъ, трунящій надъ наружностью, платьемъ и т. п. Но вотъ онъ встрѣчается съ дѣвушкой, возбуждающею въ немъ половое влеченіе (почему, это дѣло романиста); ухаживанія его остаются безъ успѣха; Свидригайловъ думаетъ, что дѣвушка потому не отдается ему, что онъ женатъ. Сомнѣнья въ томъ,—что еслибъ онъ могъ жениться на ней, то она, какъ бѣдная, согласилась бы на его предложеніе,— и быть не можетъ для него: онъ не понимаетъ, что онъ возбуждаетъ отвращеніе, такъ какъ для него недоступны— сознаніе собственной гадости и оцѣнка нравственной прелести этой дѣвушки. Да и вообще для него неясно, что многіе люди въ своихъ мужьяхъ и женахъ ищутъ извѣстныхъ нравственныхъ достоинствъ. Единственное, по его мнѣнію, препятствіе, жену—женщину, спасшую его отъ долговой тюрьмы и каторги, любившую его и заботившуюся о немъ, равнодушно убиваетъ, бросаетъ дѣтей и ѣдетъ за Раскольниковою; но тутъ онъ видитъ окончательную невозможность достичь своей цѣли. Можетъ показаться, что у него обнаружилось какое-то нравственное чувство, когда онъ не воспользовался безпомощнымъ положеніемъ Раскольниковой, но проще и вѣрнѣе другое объясненіе. Свидригайловъ, какъ утонченный развратникъ, могъ желать взаимности, между тѣмъ онъ убѣдился, что Раскольникова питаетъ къ нему физическое отвращеніе; едва ли нужно говорить, что даже въ чисто физическомъ наслажденіи взаимность играетъ большую роль. Пресыщенный Свидригайловъ не нашелъ именно того, чего искалъ; удовлетвореніе же животной страсти для него, какъ человѣка все-таки истощеннаго, не имѣло особой цѣны; такъ что кажущееся великодушіе Свидригайлова явилось результатомъ просто его пресыщенности. Естественный выходъ изъ такой жизни—самоубійство, такъ какъ ничего не осталось привязывающаго къ жизни, нѣтъ желанія, нѣтъ какихъ-либо интересовъ, нѣтъ ничего въ будущемъ. Свидригайловъ разбрасываетъ деньги и умираетъ, даже не вспомнивъ о своихъ дѣтяхъ въ предсмертныя минуты, только

картины личной жизни мелькаютъ въ его головѣ, ни одного друга, ни одного ближняго онъ не вспоминаетъ, не съ кѣмъ ему проститься, не о комъ пожалѣть. Онъ умираетъ равнодушный ко всему, даже къ самому себѣ; въ свою очередь никто не пожалѣетъ о немъ, [illegible] о онъ не оставилъ, ни чьи человѣческіе интересы не [illegible] радали отъ его смерти. Между тѣмъ Свидригайловъ [illegible] образованъ, воспитанъ, богатъ, красивъ; онъ имѣлъ [illegible] право на счастливую жизнь, но нравственная сл[illegible] дѣлала для него жизнь тяжелою, довела его до с[illegible] а. Въ заключеніе позволю себѣ замѣтить, что [illegible] у мнѣнію, фигура Свидригайлова самая лучшая во [illegible] произведеніяхъ Достоевскаго. Вѣрность психологич[illegible] ализа и отсутствіе перерисовки, чѣмъ грѣшитъ [illegible] і такъ часто, придаетъ этому образу крайнюю жи[illegible], [illegible] ромѣ того, Свидригайловъ, можно сказать, единственный (за исключеніемъ Смердякова, очерченнаго гораздо слабѣе) во всей литературѣ типъ человѣка, страдающаго нравственнымъ помѣшательствомъ. Все это, смѣю думать, даетъ ему право на большее вниманіе, чѣмъ до сихъ поръ это было со стороны критики и публики. Можетъ быть изо всѣхъ типовъ, созданныхъ Достоевскимъ, одинъ Свидригайловъ останется безсмертнымъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Въ печатныхъ отзывахъ о первыхъ двухъ частяхъ этого сборника критикъ нѣкоторые рецензенты поставили мнѣ въ вину то обстоятельство, что я не сдѣлалъ ни одной ссылки на критич. очеркъ Н. К. Михайловскаго — „Жестокій талантъ“. Не допуская того, что я могъ не знать о существованіи въ нашей критич. литературѣ столь крупнаго очерка, они объяснили умолчаніе о немъ съ моей стороны тенденціозностью и партійностью. Нѣкоторые же, какъ, напр., литературный обозрѣватель „Вѣстника Европы“, усмотрѣли тенденцію въ моемъ сборникѣ и помимо пропуска названной статьи Михайловскаго. Чувствуя себя совершенно правымъ въ этомъ отношеніи, я могу смѣло утверждать, что при составленіи настоящаго сборника мнѣ чужды были всякія стремленія освѣщать особеннаго рода подборомъ статей хорошую или дурную сторону литературной дѣятельности Достоевскаго. Это было бы противно самой идеѣ сборника, задача котораго состоитъ въ разъясненіи сущности произведеній Достоевскаго путемъ сопоставленія *противоположныхъ* критическихъ отзывовъ о нихъ. Даже послѣ самаго поверхностнаго ознакомленія съ настоящимъ сборникомъ нельзя не согласиться, что въ немъ собраны крайне противоположныя критическія статьи. Слѣдовательно, гдѣ-же основаніе упрекать меня въ тенденціозности и партійности? Если бы я, въ силу какой-либо тенденціи, игнорировалъ очеркъ „Жестокій талантъ“, то, слѣдуя далѣе тѣмъ же логическимъ путемъ, съ какой стати я приводилъ бы еще болѣе рѣзкіе отзывы о Достоевскомъ? Очевидно, это было-бы крайне не логично съ моей стороны. Повторяю, что я, по крайней мѣрѣ, сознательно не повиненъ ни въ какой тенденціи своего сборника. А не помѣстилъ я ни одной выдержки изъ очерка г. Михайловскаго „Жестокій талантъ“ вотъ почему. Во-первыхъ, весь этотъ очеркъ представляетъ собою въ болѣе широкомъ размѣрѣ развитіе и доказательство той мысли г. Михайловскаго, которую онъ, между прочимъ, выразилъ въ другой критической статьѣ о Достоевскомъ. Изъ этой статьи я привелъ выдержки въ первой части настоящаго комментарія. Къ числу этихъ критическихъ выдержекъ относится и та, въ которой г. Михайловскій ясно выражаетъ мысль (даже съ довольно яркимъ примѣромъ) о жестокой и мучительной складкѣ таланта Достоевскаго (смотрите „Критическій комментарій къ соч. Достоевскаго“, часть I, стр. 57). Во-вторыхъ, сообразуясь съ планомъ моего сборника, я могъ пользоваться очеркомъ „Жестокій талантъ“ либо въ отдѣлѣ комментарія, подъ заглавіемъ: „Оцѣнка идей, таланта, направленія Достоевскаго и проч.“, либо при разборѣ мелкихъ *повѣстей Достоевскаго*. Но для перваго отдѣла что можно было

взять въ смыслѣ очерка „Жестокій талантъ“, то и взято мною, хотя и не изъ этого именно очерка, а изъ другой статьи того-же критика. Критическій очеркъ—„Жестокій талантъ“ такъ цѣльно и неразрывно связанъ въ своихъ частяхъ, что изъ него почти невозможно заимствовать болѣе или менѣе законченныхъ выдержекъ; цѣликомъ же перепечатать весь очеркъ, расположенный на 91 страницѣ убористой печати — это, не будучи пропорціонально объему настоящаго сборника, не вызывалось также крайнею необходимостью въ отношеніи пользы для изучающихъ Достоевскаго, и, кромѣ того, противно было юридическимъ законамъ о печати. При разборѣ же мелкихъ повѣстей Достоевскаго, я могъ пользоваться очеркомъ „Жестокій талантъ“ преимущественно въ предѣлахъ заимствованія оттуда изложенія содержанія нѣкоторыхъ повѣстей. Но это опять-таки не входитъ въ задачу моихъ сборниковъ, что я и выяснилъ въ предисловіи къ первому выпуску „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“; помимо того, взятое отдѣльно изложеніе содержанія какой-либо повѣсти, разбираемой г. Михайловскимъ въ очеркѣ „Жестокій талантъ“, потеряло бы тотъ смыслъ и окраску, какіе имъ придаетъ общій тонъ и мотивировка очерка.

В. Зелинскій.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Второе изданіе третьей части „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго“ нѣсколько измѣнено въ своемъ составѣ противъ перваго изданія. Сюда перенесенъ изъ второй части романъ „Идіотъ“, дополненный одной критической статьей, и, взамѣнъ романа „Братья Карамазовы“, вновь помѣщенъ отдѣлъ критическихъ статей о „Рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго“, произнесенной имъ при открытіи памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ. Критическія же статьи о романѣ „Братья Карамазовы, по значительности своего объема, отпечатаны отдѣльнымъ изданіемъ, составляющимъ дополненіе къ тремъ частямъ „Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго“.

Въ настоящую третью часть „Комментарія“ вошли критическія статьи и выдержки: В. Авсѣенко *), изъ Біографіи Ѳ. М. Достоевскаго, изъ „Вѣстника Европы“ (ст. В. В.), А. Градовскаго, изъ „Гражданина“, изъ „Дѣла“ (статья О. П.), изъ „Дѣтскаго Сада“, Н. Звѣрева, А. Кошелева, Н. Михайловскаго, О. Миллера, П. Никитина, изъ „Новостей“ (статья В. Ч.), изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ (статья Z), оттуда же (статья Sine Ira), оттуда же безъ подписи, изъ журнала „Сіяніе“ и В. Чижа.

В. З.

---

*) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ книги по недосмотру напечатано: А. Авсѣенко, вмѣсто—В. Авсѣенко.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.

стр.

«Идіотъ».

Критики: О. Миллера 1
Изъ Біографіи Ѳ. М. До[illegible]аго 6
Изъ „С.-Петербургскихъ [illegible]тей“ (Статья Z.) . . 7
В. Чижа. . . . . 14, 109, 123 и 129

«Бѣсы».

Критики: В. Авсѣенко . . . . 18, 84, 103, 106, 112, 114 и 122
Н. Михайловскаго. 28
Н. Никитина. . . . . 50, 89 и 120
Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“. (Sine Ira). . 79
Изъ „Сіянія“. 81
Н. Звѣрева. 115

Частная характеристика дѣйствующихъ лицъ романа Бѣсы:

Степанъ Трофимовичъ Верховенскій 84
Петръ Степановичъ Верховенскій. 103
Кирилловъ. 106
Шатовъ 112
Ставрогинъ. 114
Варвара Петровна Ставрогина 120
Эркель. 122
Фонъ-Лембке. 123
Елизавета Николаевна Дроздова 129
Указаніе разныхъ критикъ о романѣ „Бѣсы“. . . . 129

«Подростокъ».

Критики: Н. Никитина 130
Изъ журн. „Дѣтскій Садъ“ 167
Изъ „С.-Петерб. Вѣдомостей“ 172
В. Авсѣенко 175
Изъ журн. „Гражданинъ“ 178
В. Чижа 179
Указаніе разныхъ критическихъ статей о „Подросткѣ“. 183

«Рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго объ А. С. Пушкинѣ».

Критики: А. Кошелева 184
Изъ журн. „Дѣло“ (статья О. П.) 192
А. Градовскаго 197
Изъ журн. „Вѣстникъ Европы“ (статья В. В.) . . 208
Изъ газеты „Новости“ (статья В. Ч.) 217

„ИДІОТЪ“.

(1868 г.) *).

**) Сонъ Раскольникова составляетъ прямой переходъ къ дальнѣйшимъ произведеніямъ Достоевскаго, — къ „Идіоту“ и „Бѣсамъ“. Тутъ, сколько я, по крайней мѣрѣ, понимаю, нашъ авторъ окончательно попадаетъ не на свою дорогу, уклоняясь отъ той, которая дала ему возможность такъ глубоко проявить свое прекрасное дарованіе и свое гуманное сердце. Достоевскій увлекся примѣромъ другихъ—обратился къ тому ряду явленій, которыя вызвали въ нашей литературѣ типы въ родѣ Базарова, Марка Волохова и др. Это бы еще ничего, это было бы даже прекрасно, если бы онъ посмотрѣлъ на нихъ со своей характеристической точки зрѣнія; но нашъ симпатическій авторъ, къ сожалѣнію, сталъ испытывать въ это время вліяніе особаго литературнаго круга, относящагося къ этимъ явленіямъ слишкомъ одностороние. Съ своей прежней точки зрѣнія, Достоевскій посмотрѣлъ бы на многихъ людей, выведенныхъ имъ въ

---

*) Первый разъ напечатанъ былъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1868 г., кн. 1, 2, 4—12.

Въ нашей литературѣ находится очень мало серьезнаго критическаго матеріала, относящагося къ роману „Идіотъ“,—по крайней мѣрѣ, намъ не удалось найти чего-либо болѣе подходящаго для настоящаго сборника. Въ разбросанныхъ по газетамъ рецензіяхъ высказываются большею частью ничѣмъ не мотивированные отзывы объ „Идіотѣ“, заключающіе въ себѣ либо брань, либо похвалу.

**) О. Миллеръ. „Публичныя лекціи“. Спб. 1874 г. и 2-е изд. Спб. 1878 г.
Примѣч. В. Зелинскаго.

„Идіотѣ“ и въ „Бѣсахъ“, какъ на тѣхъ же „несчастныхъ“. Съ новой, усвоенной имъ у другихъ, точки зрѣнія, онъ началъ смотрѣть на нихъ, какъ на бѣсноватыхъ и сумасшедшихъ. Въ „Идіотѣ“ Достоевскій еще не утвердился на этой новой дорогѣ, въ „Бѣсахъ“ онъ окончательно укрѣпляется на ней. „Идіотъ“ въ художественномъ отношеніи слабѣе, онъ страшно растянутъ, мѣстами томительно однообразенъ и скученъ, но за то во многомъ тутъ еще вполнѣ чувствуется прежній Достоевскій, съ его любовью къ „униженнымъ и оскорбленнымъ,“ братски протягивающимъ руку всѣмъ, раздѣляющимъ ту же участь. Въ „Бѣсахъ“ эта симпатическая его сторона сказывается уже весьма слабо, хотя въ художественномъ отношеніи этотъ романъ стоитъ выше, чѣмъ „Идіотъ“.

Основной характеръ „Идіота“ служитъ прекраснымъ дополненіемъ къ прежней галлереѣ лицъ Достоевскаго. Что такое этотъ князь Мышкинъ, послѣдній потомокъ захудалаго рода, круглый сирота, воспитывающійся въ уединеніи за границей по милости друга своего отца, болѣзненный мальчикъ, потомъ юноша, котораго всѣ считаютъ за идіота, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ даже очень уменъ, но прямодушенъ и чистъ какъ ребенокъ? Это, можно сказать, художественное воспроизведеніе темы, весьма распространенной въ безыскусственной народной словесности — это тотъ же любимый народомъ сказочный *Иванушка-дурачокъ*, оказывающійся, какъ извѣстно, только человѣкомъ не „себѣ на умѣ“, не выносящимъ зрѣлища посторонняго горя, постоянно забывающимъ себя для другихъ. Съ точки зрѣнія многихъ изъ числа тѣхъ свѣтскихъ людей, въ кругу которыхъ приходится наконецъ очутиться князю Мышкину, онъ дѣйствительно представляется идіотомъ. Вся его любовь къ Настасьѣ Филипповнѣ, этой, въ сущности, той же, только съ роскошной обстановкой, Сонечкѣ, есть не болѣе, какъ жалость, принимаемая имъ за любовь (это напоминаетъ и любовь Раскольникова къ больной дочери своей квартирной хозяйки). Ему жалко ее, потому что она такъ много вынесла, жалко, что ее хотятъ сбыть на руки человѣку,

который посредствомъ брака съ ней разсчитываетъ поправить свое состояніе. И вотъ князь, пользуясь внезапнымъ поправленіемъ своихъ обстоятельствъ, предлагаетъ ей свою руку. Но это не можетъ не вызвать въ ней, продолжающей, какъ всѣ личности Достоевскаго, чувствовать, во многихъ отношеніяхъ, по-человѣчески, это не можетъ не вызвать въ ней душевной борьбы, воспроизведенной у нашего автора съ его обычною психологическою глубиною. Она полюбила князя, въ него она только и вѣритъ, она хватается за него, чтобы поддержать въ себѣ вѣру и вообще въ человѣческое достоинство, но она боится его погубить, ей совѣстно принять съ его стороны жертву — а ничѣмъ инымъ, кромѣ жертвы, не можетъ она объяснить его рѣшимость связать съ нею свою участь — отсюда въ ней безконечныя колебанія. Но возникающее затѣмъ чувство ревности къ другой, глубокое сознаніе униженія, которому ее подвергаетъ эта другая, желаніе ей отомстить— все это доводитъ Настасью Филипповну до того, что она рѣшается даже сама снова вызвать наружу, чтобы окончательно ею воспользоваться, ту жалость къ себѣ, которая принимается за любовь „идіотомъ". А тамъ опять мысль, что она его этимъ губитъ, а подъ вліяніемъ этой мысли бѣгство изъ-подъ вѣнца! Вотъ основная тема этого романа, и если бы однимъ развитіемъ ея и ограничился авторъ, онъ далъ бы намъ произведеніе, прекраснѣйшимъ образомъ дополняющее прекрасный рядъ его прежнихъ произведеній.

Прекрасенъ и взятый отдѣльно эпизодъ „Идіота",—разсказъ князя Мышкина о презираемой всѣми, за свой полуневольный грѣхъ, Мари, объ этой несчастной дѣвушкѣ, на которую даже пасторъ, проповѣдывающій на похоронахъ ея матери, считаетъ нужнымъ указать пальцемъ: „смотрите, это она ее довела до гроба". Подъ вліяніемъ старшихъ, и дѣти глумились надъ бѣдной Мари, возбуждающей состраданіе только въ „идіотѣ". Но ему удается растолковать малюткамъ, какъ жестоко поступилъ пасторъ, *какъ неугодно* Богу такое обращеніе съ несчастной, какой

грѣхъ съ ихъ стороны—издѣваться надъ ней. И вотъ, когда она умираетъ отъ быстро развившейся въ ней чахотки, тѣ-же дѣти украшаютъ ея гробъ цвѣтами и несутъ его на кладбище. Этотъ эпизодъ, по глубокой гуманности основной мысли, можетъ быть поставленъ наравнѣ съ разсказомъ гр. Л. Н. Толстого „*Люцернъ*“, въ которомъ русскій путешественникъ пораженъ отношеніемъ свободныхъ швейцарскихъ гражданъ и не менѣе гордыхъ своими свободными учрежденіями туристовъ-англичанъ къ бѣдному странствующему музыканту: долго слушая его игру, они не даютъ ему ничего, а презрительно поглядываютъ на человѣка, который ввелъ его въ залу ресторана и гостепріимно его угощаетъ. Авторъ даетъ почувствовать, что и въ самой свободной странѣ возможно своего рода рабство передъ золотымъ тельцомъ и безчеловѣчная гордость въ отношеніи къ людямъ, необласканнымъ его милостью; т. е., что сами по себѣ никакіе либеральные кодексы еще не даютъ того настоящаго духа свободы и человѣчности, который долженъ прежде всего заключаться въ нравственномъ существѣ человѣка.

Совершенно также и Достоевскій, примѣромъ этого пастора, въ пылу религіозной ревности проповѣдующаго *ненависть* къ грѣшницѣ, указываетъ на то, что и живая религіозность не вычитывается изъ религіозныхъ кодексовъ (пасторъ-ли не перечиталъ ихъ вдоль и поперекъ, онъ-ли не обдумалъ всевозможныхъ проповѣдей на всѣ тексты!), а должна, такъ сказать, войти въ самый нравственный организмъ человѣка.

Къ сожалѣнію, этотъ прекрасный эпизодъ вставленъ Достоевскимъ въ романъ, въ которомъ слишкомъ много сторонъ, несоотвѣтствующихъ особенностямъ его таланта и мѣшающихъ впечатлѣнію, производимому основною личностью. Да и самая эта личность надѣлена, какъ и Разумихинъ, взглядами, не вытекающими непосредственно изъ ея существа. Авторъ заставляетъ своего князя Мышкина высказывать взгляды отчасти славянофильскіе, какъ впослѣдствіи ими же надѣлилъ онъ и Шатова въ „Бѣсахъ“.

И этотъ послѣдній, и „идіотъ"—славянофильствуютъ ради отпора, даваемаго самимъ авторомъ тѣмъ направленіямъ, которыя вычитаны изъ „чужихъ книжекъ". Въ „Идіотѣ" эти направленія являются какъ эпизодъ; въ „Бѣсахъ" они занимаютъ уже самое видное мѣсто. Въ „Идіотѣ" мы видимъ эти вычитанныя направленія только въ той молодежи, которая окружаетъ князя и думаетъ воспользоваться долей въ его наслѣдствѣ, опираясь на какое-то право; когда же это право оказывается совершенно мнимымъ, но князь самъ предлагаетъ имъ подѣлиться съ ними,—они съ чувствомъ собственнаго достоинства отвергаютъ то, къ чему сами стремились на основаніи вымышленнаго права. Изъ круга этой молодежи, отличающейся дикимъ смѣшеніемъ самыхъ разнопестрыхъ понятій, особенно выдается чахоточный юноша Ипполитъ. Но онъ уже окончательно боленъ не только физически, но и нравственно. Вспомните повѣсть, которую написалъ онъ на прощанье съ людьми, это непонятное смѣшеніе симпатическихъ и религіозныхъ чувствъ съ мнѣніемъ, что человѣкъ долженъ думать только о себѣ, и что всякая благотворительность глупа и вредна. И эта дикая смѣсь читается передъ тѣмъ моментомъ, когда Ипполитъ,—по давно составленному имъ плану, не дожидаясь столь уже не далекой смерти,—долженъ самъ себя лишить жизни; но самоубійство должно произойти отъ пистолета, въ которомъ не достаетъ капсюля! И неужели весь этотъ нравственный сумбуръ, весь этотъ рядъ аномалій объясняется только тѣмъ, что въ воздухѣ появились какія-то трихины и что наше юное поколѣніе ихъ наглоталось? *).

* * *

Въ „Идіотѣ" Достоевскій воспроизвелъ многое изъ своей собственной жизни. Вотъ что говорится въ его біографіи:

---

*) Въ слѣдующихъ своихъ изданіяхъ (см. „Русскіе писатели послѣ Гоголя", 1890 г. часть I, „Ѳ. М. Достоевскій", страница 164). О. Миллеръ нѣсколько измѣнилъ и дополнилъ приведенную критическую статью объ „Идіотѣ".
Примѣч. В. Зелинскаго.

*) „Въ разсказахъ „Идіота“ о приговоренныхъ къ смерти, заключается цѣлая опытная психологія въ лицахъ въ связи съ религіозно-философскимъ вопросомъ о смертной казни. „Приготовленія тяжелы, разсказываетъ „Идіотъ“. Вотъ когда объявляютъ приговоръ, снаряжаютъ, вяжутъ, на эшафотъ взводятъ, вотъ тутъ ужасно. Народъ сбѣгается, даже женщины“. А въ другомъ мѣстѣ: „крикъ, шумъ, десять тысячъ лицъ, десять тысячъ глазъ—все это надо перенести“, а главное мысль: вотъ ихъ десять тысячъ, а вотъ ихъ никого не казнятъ, а меня-то казнятъ!“ Кто сказалъ, спрашиваетъ „Идіотъ“, что человѣческая природа въ состояніи вынести это безъ сумасшествія? Зачѣмъ такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Можетъ быть и есть такой человѣкъ, которому прочли приговоръ, дали помучиться, а потомъ сказали: „ступай, тебя прощаютъ!“ Вотъ этакій человѣкъ, можетъ быть, могъ бы разсказать. Объ этой мукѣ и объ этомъ ужасѣ и Христосъ говорилъ. Нѣтъ, съ человѣкомъ такъ нельзя поступать“. Въ другомъ разсказѣ „Идіотъ“ говоритъ про человѣка, который „былъ разъ взведенъ, вмѣстѣ съ другими, на эшафотъ, и ему прочтенъ былъ приговоръ смертной казни разстрѣляніемъ за политическое преступленіе. Минутъ черезъ двадцать прочтено было помилованіе, и назначена другая степень наказанія; но однако же въ промежуткѣ между двумя приговорами двадцать минутъ или, по крайней мѣрѣ, четверть часа онъ прожилъ подъ несомнѣннымъ убѣжденіемъ, что черезъ нѣсколько минутъ онъ умретъ... Шагахъ въ двадцати отъ эшафота, около котораго стоялъ народъ и солдаты, были врыты три столба; такъ какъ преступниковъ было нѣсколько человѣкъ. Троихъ первыхъ повели къ столбамъ, привязали, надѣли на нихъ смертный костюмъ... Затѣмъ противъ каждаго столба выстроилась команда изъ нѣсколькихъ человѣкъ солдатъ... Священникъ обошелъ всѣхъ съ крестомъ. Выходило, что остается жить минутъ пять, не больше. Онъ говорилъ,

*) „Біографія, письма“ и проч. (1-й т. Полн. собр. соч. Ѳ. М. Достоевскаго. Спб. 1883 г.).

что эти пять минутъ казались ему безконечнымъ срокомъ, огромнымъ богатствомъ... Онъ умиралъ двадцати семи лѣтъ (тогдашній возрастъ самого Ѳедора Михайловича), прощаясь съ товарищами, онъ помнилъ, что одному изъ нихъ задалъ довольно посторонній вопросъ и даже очень заинтересовался отвѣтомъ. Потомъ... настали... двѣ минуты, которыя онъ отсчиталъ, чтобы *дум*[illegible]*ь про себя*... ему все хотѣлось представить себѣ..., что [illegible]ъ какъ же это такъ: онъ теперь есть и живетъ, а ч[illegible] три минуты будетъ уже *нѣчто*, кто-то или что-то — [illegible] кто же? гдѣ же?... Невдалекѣ была церковь, и вершина собора съ позолоченною крышей сверкала на яркомъ [illegible]нцѣ (церковь Семеновскаго полка хорошо видная съ [illegible]лаца, о дѣйствіи которой на него въ то время Ѳ. М. [illegible]сказывалъ близкимъ). Онъ помнилъ, что ужасно упорно [illegible]трѣлъ на эту крышу и на лучи, отъ нея сверкавшіе... ему казалось, что эти лучи его новая природа, что онъ черезъ три минуты какъ-нибудь сольется съ ними... Неизвѣстность и отвращеніе отъ этого новаго, которое будетъ и сейчасъ наступитъ, были ужасны... Что, если бы не умирать, что, если бы воротить жизнь — какая безконечность! И все это было бы мое!... Эта мысль у него, наконецъ, въ такую злобу переродилась, что ужъ ему хотѣлось, чтобы его поскорѣе застрѣлили“.

* * *

*) Счастливъ писатель, ставшій любимцемъ публики. Каждая строка такого писателя цѣнится публикою такъ, какъ будто-бы она состоитъ не изъ словъ, а изъ чистѣйшихъ брилліантовъ, каждый разсказецъ его, будь онъ даже въ двѣ съ половиною странички, привлекаетъ къ себѣ общее вниманіе, возбуждаетъ толки и сопровождается похвалами. Все это пришло мнѣ на мысль по прочтеніи новаго разсказа г. Тургенева въ январьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“. Разсказъ

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г., № 53. „Журналистика“.
Статья Z.

этотъ называется „Исторія лейтенанта Ергунова“, занимаетъ около двухъ печатныхъ листовъ и содержитъ въ себѣ исторію о томъ, какъ лейтенантъ былъ обобранъ мошенниками. Напиши писатель невѣдомый разсказъ на подобную тему, и ему не придавали бы никакого особеннаго значенія; но подъ „Исторіей“ стоитъ всѣмъ дорогое имя Ив. С. Тургеневъ, и эта коротенькая, незатѣйливая исторія читается съ упоеніемъ и даже восторгами. Впрочемъ, только такой тонкій художникъ, какъ г. Тургеневъ, могъ изъ столь пустенькаго сюжета сдѣлать такую артистически-изящную литературную вещицу. „Идіотъ“, романъ г. Достоевскаго, находящійся въ разсматриваемой нами книжкѣ „Вѣстника“, представляетъ совершенную противуположность разсказу г. Тургенева. Г. Тургеневъ избралъ самый обыденный, простой сюжетъ и наполняетъ свой разсказъ подробностями дѣйствительности, описывая ее съ естественностью, умѣряемой теплымъ поэтическимъ чувствомъ. Г. Достоевскій, напротивъ, сразу бросаетъ своего героя (и вмѣстѣ съ нимъ читателя) въ кругъ сложной интриги и дѣлаетъ какъ этого героя, такъ и окружающихъ его лицъ въ нѣкоторомъ родѣ аномаліями среди обыкновенныхъ людей. Герой г. Достоевскаго молодой человѣкъ, князь Мышкинъ, четыре года лѣчившійся въ Швейцаріи отъ какой-то „нервной болѣзни, въ родѣ падучей или виттовой пляски“, возвращается въ Петербургъ въ началѣ романа. Князь Мышкинъ не только бѣденъ, но, что называется, совершенный голякъ, пріѣзжаетъ онъ въ Сѣверную Пальмиру, никого въ оной не зная, не имѣя понятія о жизни ея обитателей, съ маленькимъ узелочкомъ, заключающимъ все его достояніе, и съ нѣкоторымъ остаткомъ идіотизма, неизгнаннаго лѣченіемъ за границей. Разумѣется, съ такими данными въ Сѣверной Пальмирѣ играть какую-либо роль трудно; но авторъ „Идіота“, бодрствуя надъ княземъ, въ самый же день его пріѣзда вдругъ создаетъ ему такое положеніе, что онъ именно благодаря идіотизму получаетъ вліяніе на всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. Еще на желѣзной дорогѣ Мышкинъ знакомится съ купеческимъ сыномъ Парѳеномъ Рогожинымъ,

который пять недѣль назадъ „убѣгъ" отъ родителей въ Псковъ, а теперь возвращается по смерти этого родителя принять миллiонное наслѣдство. „Убѣгъ" Парѳенъ отъ родителя потому, что, взявъ отъ него десять тысячъ, самовольно на нихъ купилъ въ англійскомъ магазинѣ „подвѣски" и вручилъ эти подвѣски нѣкоей Настасьѣ Филипповнѣ, которую онъ видѣлъ только разъ въ т[illegible] и которая, не будучи камеліей (какъ впослѣ[illegible]ется), приняла ни съ того ни съ сего вруч[illegible]накомымъ купеческимъ сынкомъ подвѣски. Позн[illegible]ъ Рогожинымъ, Мышкинъ отправляется къ [illegible]ччину, жена котораго приходится ему, Мыш[illegible] родственница, какъ говорится, седьмая вода на [illegible]. Генералъ Епанчинъ человѣкъ солидный, дѣловой, ка[illegible]стъ, живетъ роскошно, съ семействомъ. Мышкинъ явл[illegible]нему, и еще въ передней генералъ встрѣчаетъ нѣкоторыя препятствія относительно доступа къ послѣднему: лакей, узрѣвъ мизерность посѣтителя, разумѣется, сомнѣвается въ возможности принятія такого лица бариномъ. Но тутъ начинается помощь идіотизма—князь вступаетъ въ бесѣду съ лакеемъ и вдругъ ни съ того ни съ другого принимается пространно ему проповѣдовать объ ужасѣ смертной казни. Лакей трогается тирадой князя, князь стяжаетъ его благосклонность, и его допускаютъ къ генералу. Тутъ князь обнаруживаетъ, во-первыхъ, простодушіе, во-вторыхъ—необыкновенный каллиграфическій почеркъ. Простодушіе князя дѣлаетъ то, что генералъ Епанчинъ, не стѣсняясь присутствіемъ человѣка, который явился къ нему въ первый разъ, начинаетъ съ своимъ секретаремъ-протеже бесѣдовать о Настасьѣ Филипповнѣ, на которой желаетъ женить одного секретаря и въ которую влюбленъ самъ. Мышкинъ ввязывается въ этотъ разговоръ, сообщаетъ о пріѣздѣ Парѳена Рогожина и разомъ вторгается въ интимныя дѣла Епанчина и секретаря его. Почеркъ князя производитъ такое впечатлѣніе на генерала, что онъ сейчасъ же полагаетъ ему тридцать рублей жалованья и даже квартиру пріискиваетъ. Затѣмъ идіотическаго князя представляютъ генеральшѣ и тремъ ея

дочерямъ-красавицамъ, и тутъ князь вполнѣ развертывается: онъ опять еще пространнѣе, чѣмъ камердинеру, повторяетъ свои мысли о смертной казни и затѣмъ ровно на *одиннадцати* страницахъ безъ отдыха ведетъ сантиментально-жалостный разсказъ о какой-то несчастной швейцарской дѣвицѣ, которая была презираема соотечественниками за преступную любовь и съ горя умерла. Разсказъ этотъ дѣлаетъ то, что Мышкинъ вдругъ пріобрѣтаетъ довѣріе семейства Епанчина, до того пріобрѣтаетъ его, что становится сейчасъ же, непосредственно за разсказомъ, посредникомъ сердечныхъ отношеній секретаря генерала и младшей генеральской дочери, — передаетъ письмо секретаря дѣвицѣ Епанчиной и словесный отвѣтъ сей послѣдней секретарю. Таковы суть происшествія первой части „Идіота“. По истинѣ говоря, герой, едва выпрыгнувшій изъ вагона и вдругъ совершающій столько подвиговъ, чудесенъ, и потому разсказъ г. Достоевскаго имѣетъ характеръ нѣкоторой фантасмагоріи. Большаго покуда мы объ „Идіотѣ“ ничего сказать не можемъ, ибо еще не прозрѣваемъ, къ чему ведетъ свой разсказъ авторъ, и что такое онъ желаетъ выразить въ своемъ романѣ. Прибавимъ только, что, несмотря на видимую неестественность событій, несмотря на обычную манеру г. Достоевскаго заставлять всѣхъ своихъ героевъ говорить на одинъ ладъ и безпрестанно повторять однѣ и тѣ же слова, первая часть читается необыкновенно легко и въ нѣкоторыхъ эпизодахъ ея чувствуется та сила и живость болѣзненныхъ представленій и образовъ, которою невольно затрогивается чуствительность нервныхъ читателей...

*) Идіотъ г. Достоевскаго, кажется вполнѣ безнадеженъ. Я разсказывалъ читателямъ начало первой части этого страннаго романа; ея окончаніе, напечатанное теперь, еще болѣе курьезно.

Можете себѣ представить, что покуда вся первая часть (шестнадцать главъ) занята похожденіями идіота, князя Мышкина, въ первый день по пріѣздѣ его въ Петербургъ. Если

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г., № 92. Продолженіе той-же статьи.

читатели припомнятъ, этотъ князь уже довольно насовершилъ подвиговъ; но сколько онъ ихъ еще совершаетъ въ самое незначительное время, просто уму непостижимо. По моему мнѣнію, всякія разсужденія о фантастичности (чтобъ не сказать нелѣпости) событій и характеровъ первой части „Идіота" излишни: прочтеніе ея убѣждаетъ въ этомъ краснорѣчивѣе доказательствъ и разсужденій. Герой, только что выпрыгнувшій изъ вагона, въ нѣсколько часовъ успѣваетъ свести знакомство съ десяткомъ лицъ, сдѣлаться повѣреннымъ интимныхъ отношеній людей, которые до встрѣчи съ нимъ не подозрѣвали его существованія, получить пощечину, влюбиться съ одного взгляда въ женщину, извѣстную ему только по разсказамъ, забраться къ ней безъ приглашенія на вечеръ, высказать ей тамъ свою любовь и даже предложеніе сдѣлать, даже сочувствіе съ ея стороны добиться и, что называется, въ заключеніе спектакля, объявить публикѣ, что онъ получаетъ милліонное наслѣдство. Все это совершается при самыхъ необыкновенныхъ обстоятельствахъ и отношеніяхъ окружающихъ героя лицъ,—отношеніяхъ, въ которыхъ не добьешься ни смысла ни толку. Лица, группирующіяся вокругъ князя Мышкина, тоже если не идіоты, то какъ будто тронувшіеся субъекты. Тринадцатилѣтніе мальчики у г. Достоевскаго говорятъ не только какъ взрослые люди, но даже на манеръ публицистовъ, пишущихъ газетныя статьи, а взрослые люди, женщины и мущчины, бесѣдуютъ и поступаютъ, какъ десятилѣтніе ребята. Словомъ, романъ можно было бы не только идіотомъ назвать, но даже „Идіотами": ошибки не оказалось бы въ подобномъ названіи. И еще еслибъ все это собраніе нелѣпыхъ лицъ, выдаваемыхъ авторомъ за дѣйствительные и даже интересные характеры, все это сплетеніе нелѣпыхъ событій, пришитыхъ живыми нитками одно къ другому, представлялось читателямъ ради какой-либо сердечной цѣли, тогда еще можно бы извинить неестественность и сказочность романа. Но г. Достоевскій, очевидно, никакой цѣли не имѣетъ и набрасываетъ сцену *за сценой для* собственнаго удовольствія.

Въ авторѣ „Записокъ изъ мертваго дома“ прискорбнѣе, чѣмъ въ комъ-либо другомъ, видѣть подобную небрежность къ своему дарованію. Мнѣ недавно гдѣ-то случилось читать, что теперь у насъ именно прекрасное направленіе водворилось въ отечественной беллетристикѣ: каждый авторъ пишетъ о чемъ ему заблагоразсудится, не соображаясь ни съ какими требованіями времени, не руководствуясь никакими тенденціями, задаваясь только одной идей—высокимъ служеніемъ вдохновляющимъ его лица. По этой теоріи, чѣмъ разнообразнѣе и капризнѣе будутъ сюжеты, на которыхъ авторы потщатся обнаружить свое вдохновеніе, тѣмъ они милѣе для родного искусства. Одинъ, напримѣръ, авторъ задумаетъ изобразить въ трехтомномъ романѣ любовь Тугарина Зміевича къ какой-нибудь вдовѣ тѣхъ дней, когда этотъ герой существовалъ на бѣломъ свѣтѣ, изобразить со всѣми подробностями интимныя отношенія вдовы и Тугарина (на эту тему можно что-нибудь сочинить почище амурныхъ сценъ въ „Повѣтріи“ г. Авенаріуса). Другой сочинитъ пятиактную драму „Несчастіе отъ керосина“, въ которой изобразитъ съ поразительной истиною цѣлое семейство, погибающее въ пламени пожара, приключившагося, по видимому, не отъ чего иного, какъ по отсутствію на лампѣ „тушителя“ г. Кумберга, но тѣмъ не менѣе имѣющаго, по соображеніямъ автора, несомнѣнную связь съ нигилизмомъ и даже съ польскимъ возстаніемъ. Третій измыслитъ повѣсть, въ которой выставитъ страданія героя, преданнаго пороку, ужасныя послѣдствія котораго изображены были въ дни оны съ удивительною рельефностью докторомъ Тиссо и въ наше время изображаются не менѣе геніально петербургскимъ врачомъ г. Розенблюмомъ (спрашиваю, чѣмъ такой герой хуже „Идіота“?). Четвертый создастъ поэму: „Полоскающаяся утка“, въ которой великолѣпными стихами изобразитъ не только всю прелесть картины, представляемой полоскающеюся уткой, но даже обнаружитъ невѣроятно тонкій психологическій анализъ чувствъ этой почтенной птицы. Словомъ, сюжетовъ самыхъ курьезныхъ, самыхъ удобныхъ для написанія на нихъ произведеній, от-

лпчающихся единственно „чистымъ“ искусствомъ, и ничѣмъ болѣе, беллетристы и поэты могутъ прибрать бездну, и разнообразіе этихъ сюжетовъ по теоріи, о которой упоминалось выше, именно будетъ благомъ и добромъ для отечественной литературы и публики. Вотъ, читатель, до какихъ дней дожила наша беллетристика, на какой путь она уклоняется, и какія воззрѣнія въ ней начинаютъ проповѣдываться и примѣняться на практикѣ. Несмотря на примѣры лучшихъ современныхъ западныхъ романистовъ (Гуцкова, Шпильгагена, Диккенса), которые отнюдь не пускаются въ безплодныя болѣзненныя и капризныя фантазіи, а придерживаются въ своихъ произведеніяхъ дѣйствительной почвы и общественныхъ вопросовъ, наши дарованія начинаютъ распѣвать кто въ лѣсъ, кто по дрова, и заниматься выдумками празднаго воображенія и вкуса...

*) Въ іюльской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ окончена вторая часть „Идіота“ г. Достоевскаго. Боже. чего только не насочинилъ г. Достоевскій въ этомъ, поистинѣ говоря, неудачнѣйшемъ изъ своихъ произведеній! Не знаю, какъ кому, а мнѣ этотъ романъ кажется очень прискорбнымъ: я вижу въ немъ беллестристическую компиляцію, составленную изъ множества нелѣпыхъ лицъ и событій, безъ всякой заботливости хотя о какой либо художнической задачѣ. Есть въ произведеніи г. Достоевскаго цѣлыя страницы *буквально непонятныя*. Укажемъ, напримѣръ, на ту главу, гдѣ разсказываются блужданія идіота по городу, передъ припадкомъ падучей болѣзни. Можетъ быть, въ описаніи тѣхъ дикихъ ощущеній, какія авторъ навязываетъ своему больному герою, много истины; но кто же можетъ оцѣнить эту истину, кому могутъ быть интересны эти патологическія ощущенія, кромѣ эпилептиковъ? Рѣшительно непонятно, какимъ образомъ можно посягать въ романѣ на изображеніе подобныхъ анормальныхъ явленій, не имѣя въ виду никакой морали, кромѣ отягощенія головы читателя анализомъ печальнаго и непривлекательнаго болѣзненнаго состоянія.

---

*) *„С.-Петербугскія* Вѣдомости“ 1868 г., № 250 (продолженіе той-же статьи).

Особенно непріятно дѣйствуетъ въ романѣ г. Достоевскаго то, что онъ выводитъ на сцену большое количество лицъ молодого поколѣнія и почти всѣмъ этимъ лицамъ навязываетъ какіе-то искаженные изуродованные, если можно такъ выразиться, припадочные характеры. Молодежь дѣйствующая въ „Идіотѣ“, это—какая-то клика, состоящая изъ раздраженныхъ нравственно субъектовъ. Всѣхъ этихъ молодыхъ людей корчитъ и коробитъ, кого отъ самолюбія, кого отъ низости собственной души, кого, наконецъ, просто отъ физическихъ недуговъ,—всѣ они говорятъ—точно бредятъ, всѣхъ ихъ авторъ романа заставляетъ дѣйствовать нервически — болѣзненно, съ тайной задней мыслью опозорить какія-то ихъ стремленія, очевидно, непріятныя автору.

Если бъ хотя на одну минуту можно было вообразить себѣ, что подобные характеры взяты изъ дѣйствительности. то можно почувствовать не только сожалѣніе, но даже отвращеніе къ жизни, гдѣ юноши въ ранніе и лучшіе годы вырабатываютъ въ себѣ такія больныя, старчески - разслабленныя и растлѣнныя души; но такъ какъ всѣ помянутые характеры суть чистѣйшіе плоды субъективной фантазіи романиста, то, разумѣется, приходится только сожалѣть о несчастномъ настроеніи этой фантазіи.

Быть можетъ, мое впечатлѣніе ошибочно, и я бы желалъ убѣдиться въ этомъ, потому что мнѣ глубоко жаль видѣть дарованіе г. Достоевскаго, упражняющимся въ подборѣ каверзныхъ чувствъ и ощущеній, будто-бы присущихъ современнымъ юношамъ...

* * *

Анализируя изображенныхъ Достоевскимъ эпилептиковъ, г. В. Чижъ между прочимъ говоритъ:

„Несмотря на то, что онъ (Мышкинъ) герой романа и ему посвящено много страницъ, во всемъ романѣ найдется лишь нѣсколько строкъ, драгоцѣнныхъ для психіатра: это описаніе эпилептической ауры. Субъективныя ощущенія

момента, предшествующаго припадку, описаны и великимъ наблюдателемъ и большимъ художникомъ; конечно, субъективныя ощущенія бываютъ разнообразны, наконецъ, бываютъ припадки безо всякихъ субъективныхъ и объективныхъ предвѣстниковъ. Напрасно было бы искать у психіатровъ такого живого описанія, до сихъ поръ никто изъ геніальныхъ эпилептиковъ не познакомилъ насъ такъ краснорѣчиво со своею аурой. Я увѣренъ, что эти строки перейдутъ въ учебники психіатріи, только боюсь, что это будетъ еще не скоро: иностранные ученые еще незнакомы съ произведеніями Достоевскаго, а русскіе не привыкли уважать своихъ геніевъ. Вотъ какъ Достоевскій описываетъ эти субъективныя ощущенія: „въ эпилептическомъ состояніи его была одна степень, почти предъ самымъ припадкомъ, когда вдругъ среди грусти, душевнаго мрака, томленія, мгновеніями какъ бы воспламенялся его мозгъ и съ необыкновеннымъ порывомъ напрягались разомъ всѣ его жизненныя силы. Ощущенія жизни, самосознанія, почти удесятерялись въ эти моменты, продолжавшіеся какъ молнія. Умъ, сердце озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ: всѣ волненія, всѣ сомнѣнія его, всѣ безпокойства какъ бы умиротворялись разомъ, разрѣшались въ какое-то высшее спокойствіе, полное ясной гармонической радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были только предчувствіемъ той окончательной секунды (никогда не болѣе секунды), съ которой начинался самый припадокъ. Эта секунда была, конечно, невыносима... Мгновенія эти были только необыкновеннымъ усиленіемъ самосознанія, если бы надо выразить это состояніе однимъ словомъ—самознанія и въ то же время самоощущенія въ высшей степени непосредственнаго“.

„Если въ ту секунду, то есть въ самый послѣдній сознательный моментъ передъ припадкомъ, ему случалось успѣвать ясно и сознательно сказать себѣ: „да, за этотъ

„Достоевскій, какъ психопатологъ“. М. 1885 г. и „Русск. Вѣстникъ“ 1884 г., № 5—6.

[redacted]

моментъ можно отдать всю жизнь“, то конечно, этотъ моментъ стоилъ жизни... Въ выводѣ, то-есть въ оцѣнкѣ этой минуты безъ сомнѣнія заключалась ошибка, но дѣйствительность ощущенія все-таки нѣсколько смущала его...“ „Минута ощущенія, припоминаемая и разсматриваемая уже въ здоровомъ состояніи, оказывается въ высшей степени гармоніей, красотой, даетъ неслыханное и нежданное дотолѣ чувство полноты, мѣры, примиренія и восторженнаго молитвеннаго слиянія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни...“ „Въ этотъ моментъ, какъ говорилъ онъ, становится понятнымъ необычайное слово о томъ, что времени больше не будетъ.“ Едва ли нужно говорить, что въ *Идіотѣ* Достоевскій остался вѣренъ природѣ; князь Мышкинъ принадлежитъ къ той группѣ тяжело-больныхъ эпилептиковъ, у которыхъ съ ранняго дѣтства частые и подолгу продолжающіеся припадки ведутъ къ продолжительному и глубокому разстройству сознанія, въ особенности процесса восприятія, такъ что этихъ больныхъ въ такомъ состояніи легко принять за идіотовъ. Но при правильномъ лѣченіи и уходѣ такіе больные иногда поправляются; припадки повторяются рѣже, дѣлаются короче, не сопровождаются послѣдовательнымъ разстройствомъ сознанія. Достоевскій только въ этомъ единственномъ случаѣ отдалъ должное практической медицинѣ. Само собой разумѣется, что такой больной долженъ вести вполнѣ гигіеническій образъ жизни. Такая жизнь однако невозможна въ нашемъ обществѣ: припадки вернулись съ прежней силой, опять появилось разстройство сознанія, и Мышкинъ погибъ окончательно. Не знаю, умышленно или нѣтъ, но здѣсь Достоевскій высказалъ великую мысль; причина того, что полное излѣченіе бываетъ рѣдко, заключается не только въ неудовлетворительности практической медицины, но гораздо въ большей степени кроется въ самихъ условіяхъ жизни, въ полномъ пренебреженіи къ діэтикѣ мозга какъ со стороны окружающихъ, такъ и самихъ кандидатовъ на помѣшательство.

Сильнѣйшій драматизмъ этого романа, по моему мнѣнію, состоитъ въ томъ, что окружающіе Мышкина, [illegible]

извѣстной степени образованные, расположенные къ нему и даже его любящіе, и не подумали поберечь его здоровье, а съ чистымъ сердцемъ невѣжества мало-по-малу довели его до неизлѣчимаго, тяжелаго помѣшательства: никто изъ этихъ невольныхъ убійцъ потомъ ни мало и не раскаивался; кто больше любилъ Мышкина, тотъ больше всѣхъ и повредилъ ему. Такимъ образомъ, главное содержаніе романа — это неумышленно систематическое убійство человѣка людьми, желавшими своей жертвѣ всего лучшаго. Чего же можно ожидать отъ людей менѣе расположенныхъ, отъ людей злыхъ! Нѣтъ, никакая медицина, какъ бы она совершенна ни была, не будетъ въ силахъ что-нибудь сдѣлать, пока не проникнутъ въ самое общество хотя бы элементарныя свѣдѣнія о гигіенѣ мозга...

Психіатры всѣхъ странъ единодушно говорятъ, что у эпилептиковъ часто наблюдается болѣзненная религіозность, переходящая въ ханжество (Мышкинъ крайне интересовался религіозными вопросами). Не слѣдуетъ забывать, что магометанская религія была создана эпилептикомъ; эпилептическія видѣнія Анны Ли послужили поводомъ основанія квакерской секты шекеровъ, Свенденборгъ былъ также эпилептикъ. Кажется и Татаринова страдала эпилептическими припадками.

„БѢСЫ".

(1871 г. *)

**) Въ образованіи гражданскихъ обществъ, какъ и во всякомъ историческомъ процессѣ, неизбѣженъ извѣстный осадокъ, въ которомъ скопляются единицы, выдѣляющіяся изъ общихъ формъ жизни, такъ точно, какъ въ химическомъ процессѣ осѣдаютъ на стѣнкахъ сосуда частицы, неспособныя къ химическому соединенію. Объемъ и злокачественность такого осадка обыкновенно увеличивается въ періоды общаго броженія, когда предложенныя къ рѣшенію задачи колеблютъ общественную массу и нарушаютъ спокойное равновѣсіе, въ которомъ она пребывала многіе годы. Въ такія эпохи, подъ видимыми, исторически образовавшимися общественными слоями, накопляется особый подпольный слой, обыкновенно враждебно расположенный къ устроившемуся надъ нимъ общественному организму, и во всякомъ случаѣ совершенно чуждый историческимъ формамъ жизни, подлѣ которой онъ накопился въ прахѣ, представляя собою патологическій наростъ на живомъ тѣлѣ.

Общественное подполье, о которомъ мы говоримъ, образуется не изъ какого-либо опредѣленнаго и однороднаго матеріала. Оно составляется изъ всѣхъ сословій: въ немъ схо-

---

*) Первоначально помѣщенъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ" за 1871 г., въ книгахъ: 1—2, 4, 7, 9—12; и за 1872 г. въ книгахъ 11—12.

**) (А). В. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ." „Русск. Вѣстн." 1873 г., № 8. Примѣч. В. Зелинскаго.

дятся люди всякаго разбора, зараженные недугомъ полуобразованія. „Полунаука, говоритъ авторъ соціальнаго романа, заглавіе котораго приведено нами впереди этой статьи, самый страшный бичъ человѣчества, хуже мора, голода и войны, неизвѣстный до нынѣшняго столѣтія. Полунаука — это деспотъ, какихъ еще не приходило никогда. Деспотъ, имѣющій своихъ жрецовъ и рабовъ, деспотъ, предъ которымъ все преклонилось съ любовью и съ суевѣріемъ, до сихъ поръ немыслимымъ, предъ которымъ трепещетъ даже сама наука и постыдно потакаетъ ему."

Полунаука, полуобразованность, есть именно та сила, которая выбрасываетъ изъ гармоніи жизни отдѣльныя единицы, и вмѣстѣ служитъ связующимъ звеномъ, объединяющимъ эти единицы въ форму общественнаго подполья. Чтобы разъ навсегда ясно опредѣлить предметъ нашей рѣчи, мы должны сказать, что подъ общественнымъ подпольемъ мы разумѣемъ именно *подполье нашей интеллигенціи*, наносный слой, созданный у насъ пролетаріатомъ полуобразованности и вербующій свой контингентъ среди осадковъ образованныхъ классовъ. Все, что потеряло связь съ установившимися формами жизни; что враждебно имъ, что не находитъ себѣ мѣста въ гармоніи историческаго порядка, уходитъ въ подполье, пронизываетъ народный организмъ злокачественными элементами, непримѣтно, но дѣятельно содѣйствующими его разложенію. У насъ, при извѣстной рыхлости нашего общественнаго порядка, выдѣленіе наноснаго слоя происходитъ внѣ всякихъ соціальныхъ причинъ, и есть всего чаще—простое искривленіе мысли, пораженной недугомъ полуобразованности. Нашъ умственный пролетаріатъ возникаетъ не изъ того, чтобъ обиліе интеллигентныхъ силъ превышало у насъ запросъ, предъявляемый на нихъ жизнью, а изъ внутренней несостоятельности нашего образованія Такъ точно у насъ есть мѣстности, въ которыхъ рабочее сословіе поражено безысходною нищетою — не потому, чтобъ эти мѣстности страдали излишествомъ рабочихъ рукъ, но вслѣдствіе собственной несостоятельности рабочаго класса, *пораженнаго* отсутствіемъ трезвости, экономіи и образованія.

Въ этомъ смыслѣ, подполье нашей интеллигенціи есть явленіе вполнѣ патологическое, порожденное безпочвенностію нашей цивилизаціи отъ вчерашняго числа и язвою полуобразованности. Каждый новый моментъ нашего развитія отзывается глухимъ броженіемъ и нерѣдко приводитъ къ тѣмъ сатурналіямъ мысли, съ которыми намъ приходится знакомиться на страницахъ нашей уголовной лѣтописи, и которыя съ такою художественною глубиною раскрыты и изображены во многихъ романахъ г. Достоевскаго. Самые дикіе силлогизмы, самыя уродливыя искаженія мысли и морали находятъ себѣ мѣсто въ этой больной средѣ, приводя мало-по-малу къ окончательному извращенію ума и человѣческой природы...

Писатель, котораго мы назвали и послѣднему произведенію котораго предполагаемъ посвятить эту статью, по свойствамъ своего оригинальнаго таланта особенно чутокъ къ этимъ болѣзнямъ ума, къ этимъ психическимъ недугамъ нашего страннаго времени. Подпольный міръ интеллигенціи нашелъ въ немъ своего сатирика-поэта, соединившаго глубину наблюдающей и анализующей мысли съ замѣчательною силою художественнаго изображенія. Никому изъ нашихъ беллетристовъ не близокъ до такой степени этотъ уклонившійся отъ нормальныхъ путей жизни міръ нашего общественнаго подполья, эти больныя натуры, которыхъ, по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа *Бѣсы*, „съѣла идея,“ и которые съ своимъ психическимъ недугомъ стоятъ на чертѣ, отдѣляющей здороваго человѣка отъ помѣшаннаго. Душевная патологія этой категоріи людей изучена г. Достоевскимъ въ совершенствѣ и составляетъ ему одному принадлежащую область въ нашей беллетристикѣ, его литературную собственность. Свойства таланта этого писателя таковы, что нормальная, здоровая жизнь, ежедневная дѣйствительность, обыкновенно исчезаютъ изъ сферы его наблюденій, заслоняясь изображеніями и анализомъ ненормальныхъ явленій, въ чемъ онъ особенно силенъ. Талантъ такого рода долженъ чуствовать себя совершенно въ своей области, какъ скоро онъ спускается въ наше умствен-

ное подполье, куда почти не проникаетъ ясный дневной свѣтъ, гдѣ всѣ предметы представляются при блѣдномъ, искусственномъ, полуфантастическомъ освѣщеніи. Особенная нервность и лихорадочность, присущая таланту г. Достоевскаго, какъ нельзя болѣе гармонируетъ съ искаженностью этой жизни. Свою силу въ этой совершенно особенной области г. Достоевскій обнаружилъ еще въ романѣ „*Преступленіе и Наказаніе*", прочитанномъ всею Россіей и стоящемъ совершенно уединенно въ нашей литературѣ. Мастерское и полное глубины изображеніе нравственнаго недуга, приводящаго героя этого романа къ безсмысленному преступленію, которое онъ впослѣдствіи искупаетъ раскаяніемъ и возрождается къ новой жизни — обнаружило въ авторѣ особенную чуткость къ болѣзненнымъ явленіямъ духа, носящимся въ воздухѣ, какъ бы въ видѣ какой-то новой эпидеміи и поражающимъ слабые субъекты недугомъ тенденціознаго помѣшательства.

Въ романѣ „Бѣсы" г. Достоевскій раздвинулъ рамки своихъ наблюденій и отъ анализа больной человѣческой натуры перешелъ къ анализу больного общества, обобщая патологическія явленія до степени *болѣзни вѣка*. Идея романа „Бѣсы" прозрачно выразилась въ знаменательномъ эпиграфѣ, взятомъ авторомъ изъ Евангелія отъ Луки... Идея эта приводитъ романъ въ связь съ общимъ направленіемъ нашей современной беллитристики, задавшейся разработкою общественныхъ темъ и изученіемъ нашего положенія съ отрицательной стороны его... Мы уже разсмотрѣли рядъ произведеній общественнаго характера, принадлежащихъ перу г. Писемскаго и видѣли, какъ полно и живо отразилась въ нихъ одна изъ отрицательныхъ сторонъ нашего положенія. Романъ „Бѣсы" исчерпываетъ другую сторону той-же литературно-общественной задачи. „Всѣ язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи" — это въ сущности почти то же, что „вся ложь русской жизни", отразившаяся въ „*Взбаламученномъ морѣ*" *и въ позднѣйшихъ* произведеніяхъ г. Писемскаго. Но та-

лантъ г. Достоевскаго, въ извѣстномъ смыслѣ, прямо противоположный таланту г. Писемскаго, подошелъ къ предмету своей художественной сатиры съ совершенно другой стороны. Для такого крайняго реалиста, каковъ авторъ „*Тысячи душъ*“ и „*Взбаламученнаго моря*“, ложь современной русской жизни, или, лучше сказать, движенія, охватившаго наше общество съ шестидесятыхъ годовъ, представилась въ практическихъ отклоненіяхъ отъ здраваго смысла и морали, и эти отклоненія онъ воспроизвелъ въ живыхъ, реальныхъ типахъ, взятыхъ имъ въ ихъ житейскихъ столкновеніяхъ. Г. Достоевскій, съ его способностью наблюдать и анализовать преимущественно болѣзненныя явленія человѣческой души, задался выслѣдить роковое вліяніе новыхъ идей на слабый умъ и тѣ нравственныя изъявленія, какія извращеніе этихъ идей производитъ въ жалкихъ, внутренно несостоятельныхъ натурахъ, пораженныхъ безсиліемъ и безплодіемъ полуобразованности. Его романъ представляетъ полное изученіе любопытнаго психологическаго вопроса, поставленнаго въ связи съ нашимъ соціальнымъ положеніемъ и со всею суммою нравственныхъ недуговъ, которыми заражена извѣстная часть нашего общества.

Фабула романа „Бѣсы“ отчасти какъ будто заимствована изъ пресловутаго Нечаевскаго дѣла. Оговоримся, что для цѣли, предположенной нами въ настоящей статьѣ, это обстоятельство не имѣетъ никакого значенія. Авторъ воспользовался своимъ матеріаломъ совершенно художественно, взявъ изъ него то, что подходило къ его литературной задачѣ, и обработалъ эти крупныя детали сообразно идеѣ и плану своего произведенія. Выборъ фабулы былъ, конечно, подсказанъ ему тою очевидностью, въ какой Нечаевское дѣло представлялось самымъ характернымъ дѣломъ нашего подполья, наиболѣе отразившимъ на себѣ роковыя искаженія мысли и человѣческой натуры и всѣ симптомы нравственнаго недуга, которымъ пораженъ этотъ темный міръ. Нечаевцы, безъ сомнѣнія, цѣликомъ шли изъ подполья нашей интеллигенціи и могутъ быть признаны самыми яркими его представителями, по крайней мѣрѣ, въ тотъ періодъ его суще-

ствованія, въ какомъ оно было застигнуто судебнымъ процессомъ... Среда эта еще очень мало разработана нашею литературой, и г. Достоевскій едва ли не первый обособилъ ее въ своихъ наблюденіяхъ и изучилъ ее въ той замкнутости, въ томъ уединеніи среди волнующейся кругомъ ея обыденной, практической жизни, которая и составляетъ главную особенность этого общественнаго слоя. Задача была не легкая; только углубляясь вмѣстѣ съ авторомъ въ темныя дебри этого подполья, чувствуешь, сколько трудностей приходилось преодолѣть, чтобы помощью художественнаго освѣщенія заставить выступить изъ мрака самыя темныя извилины этого подпольнаго міра. Сначала странныя, неестественныя краски, которыми авторъ рисуетъ избранную имъ среду, криволинейность изображеній, рѣзкіе тоны, напоминающіе фантасмагорію—ставятъ читателя въ нѣкоторое недоумѣніе. Кажется, будто авторъ ошибкою взялъ фальшивый тонъ и опасается за правильность раздвигающейся дальше и дальше перспективы. Но чѣмъ болѣе подвигается дѣйствіе романа, чѣмъ болѣе накопляется на полотнѣ самыхъ удивительныхъ красокъ и контуровъ, тѣмъ яснѣе начинаешь сознавать, что въ этомъ случаѣ сама жизнь, въ ея подпольныхъ извилинахъ, нарядилась въ противоестественныя краски и изломала свои нормальные пути и очертанія. Мало-по-малу убѣждаешься, что тонъ дѣйствительно взятъ нестерпимо-фальшиво, но не въ романѣ, а въ самой жизни, выступившей изъ своихъ законныхъ формъ и безмѣрно удалившейся отъ своего обычнаго русла. Чувствуешь все безобразіе этой жизни, все уродство этихъ недужныхъ, нравственно-искалѣченныхъ организацій, и сознаешь, что тѣмъ не менѣе авторъ изображаетъ дѣйствительность подпольную.

Главный характеристическій признакъ этой среды, даже вся ея суть заключается, мы сказали, въ ея совершенномъ удаленіи отъ нормальныхъ путей жизни. Въ кружкѣ, который описываетъ авторъ, собрались единицы изъ самыхъ различныхъ общественныхъ слоевъ: тутъ и сынъ аристократки *Варвары* Петровны, и сынокъ Степана Трофимовича,

и вышедшій изъ крѣпостного званія Шатовъ, и инженеръ Кирилловъ, и отставной капитанъ Лебядкинъ, и молоденькій офицерикъ Эркель, и неизвѣстно изъ какого званія и состоянія вышедшіе Толкаченко, Шигалевъ, Виргинскій. Но есть нѣчто общее, родовое, роднящее ихъ всѣхъ до такой степени, что даже всѣ они говорятъ почти однимъ и тѣмъ-же языкомъ, именно языкомъ полуобразованнаго подполья, какимъ, кромѣ ихъ, не говоритъ ни одинъ живой человѣкъ. Эта, повидимому, второстепенная черта составляетъ однако весьма существенный признакъ этой среды, и очень послѣдовательно выдержана авторомъ. Только въ сторонѣ отъ дѣйствительной жизни, въ полуобразованномъ захолустьѣ, внѣ всякихъ общественныхъ связей и соприкосновеній, могъ выработаться этотъ жаргонъ, отчасти носящій на себѣ отпечатокъ нѣкотораго, впрочемъ, весьма умѣреннаго, обращенія съ книжной литературой, и въ то же время своею грамматическою неряшливостью какъ бы выражающій величавое презрѣніе подпольной среды къ выработаннымъ формамъ... русскаго синтаксиса. Совершенная непривычка къ такъ-называемому обществу выразилась въ этой чертѣ такъ же рельефно, какъ и во всемъ складѣ подпольнаго міросозерцанія и житья-бытья. Синтаксическая неряшливость подпольнаго языка чувствуется даже самими обитателями подполья, такъ что они безпрестанно поправляютъ другъ друга въ разговорахъ, подсказываютъ выраженія — какъ бы не сознавая, что поправившій одно нелѣпое выраженіе за минуту предъ тѣмъ сказалъ другое, столь же нелѣпое. Разъ одинъ изъ индивидуумовъ этого кружка даже спросилъ другого, Кириллова: не оттого-ли онъ такъ странно выражается, что долго жилъ за границей? — И Кирилловъ, удивленный такимъ вопросомъ, отвѣчаетъ въ раздумьи: „нѣтъ, не потому, что за границей. Я всегда такъ; я привыкъ“. А задавшій такой вопросъ и не подозрѣваетъ, что самъ онъ выражается ничуть не лучше Кириллова. Эта особенность подпольнаго языка, пестрящаго всѣ страницы романа и вредящая индивидуальности дѣйствующихъ лицъ, нагоняетъ на читателя значительную скуку; но вмѣстѣ съ тѣмъ она много

помогаетъ тому почувствованью изображенной среды, которое непремѣнно выносится изъ романа. Среда эта тѣмъ и отличается, что, при неизбѣжномъ различіи характеровъ, удаленіе ихъ отъ обычныхъ нормъ жизни кладетъ на всѣхъ чрезвычайно яркій специфическій отпечатокъ.

Въ неряшливости рѣчи отпечатывается не только неряшливость мысли, но и весь практическій складъ жизни. Въ самомъ дѣлѣ, трудно даже въ низшихъ подонкахъ человѣческаго общества найти столько нравственнаго и житейскаго разгильдяйства, сколько заключается его въ жизни и нравахъ интеллигентнаго подполья. Эта дикая богема, раскинувшая свой шатеръ на стогнахъ губернскаго города, чуждается самыхъ элементарныхъ законовъ общежитія. Потасовки и пощечины сопровождаютъ чуть не каждую встрѣчу членовъ этого союза, при чемъ получившій оплеуху и давшій ее смотрятъ на эту маленькую случайность такъ точно, какъ если бъ одинъ изъ нихъ высморкался въ носовой платокъ. Они говорятъ другъ другу „мерзавецъ“ и „подлецъ“ такъ же спокойно, какъ другіе говорятъ „здравствуйте“; но при этомъ щепетильны и обидчивы до послѣдней степени, и въ душѣ страстно ненавидятъ и презираютъ другъ друга. Они ведутъ самую свинскую жизнь, съ какимъ-то сладострастіемъ погружаясь въ грязь, которой не только не замѣчаютъ, но скорѣе даже находятъ въ ней „новую, вчера лишь открытую красоту“. Тѣ изъ нихъ, которые по своему происхожденію принадлежатъ къ болѣе порядочному обществу, почти съ наслажденіемъ и словами и поступками стараются доказать, что разорвали всякую связь съ этимъ обществомъ и ежеминутно какъ бы хвастаютъ своимъ переселеніемъ изъ болѣе верхнихъ ярусовъ въ подполье. И они правы, потому что въ той зараженной средѣ, въ которой и ради которой они дѣйствуютъ, нравственное и общественное паденіе человѣка привѣтствуется какъ величайшее торжество надъ историческими предразсудками. Эти недужныя организаціи находятъ какое-то сладострастное наслажденіе въ попраніи всего того, что выше зауряднаго, *плоскаго уровня*. Грязь выступаетъ поразительнѣе, когда

[redacted]

ея касаются бѣлыя руки. „Ставрогинъ, вы красавецъ!“ восклицаетъ въ *Бѣсахъ* молодой Верховенскій въ какомъ-то упоеніи: „знаете-ли, что вы красавецъ! Въ васъ всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я васъ изучилъ: я на васъ часто сбоку, изъ-за угла гляжу! Въ васъ даже есть простодушіе и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно-быть, страдаете и страдаете искренно отъ того простодушія. Я люблю красоту, я нигилистъ, но люблю красоту. Развѣ нигилисты красоту не любятъ? Они только идоловъ не любятъ, ну, а я люблю идола! Вы мой идолъ! Вы никого не оскорбляете, и васъ всѣ ненавидятъ; вы смотрите всѣмъ ровней, и васъ всѣ боятся, это хорошо. Къ вамъ никто не подойдетъ васъ потрепать по плечу. Вы ужасный аристократъ. *Аристократъ, когда идетъ въ демократію, обаятеленъ!* „Такъ устами одного изъ своихъ героевъ авторъ высказываетъ чрезвычайно тонко подмѣченную черту—одинъ изъ тѣхъ позорныхъ инстинктовъ развращенной природы, который играетъ не послѣднюю роль въ сцѣпленіи человѣческихъ единицъ, населяющихъ подполье... Въ другомъ мѣстѣ авторъ еще яснѣе заставляетъ звучать этотъ самый мотивъ въ психологической гаммѣ, которую онъ разыгрываетъ въ своемъ романѣ. „Правда-ли, что вы, спрашиваетъ Шатовъ у Ставрогина, принадлежали въ Петербургѣ къ скотскому сладострастному секретному обществу? Правда-ли, что маркизъ-де-Садъ могъ-бы у васъ поучиться? Правда-ли, что вы заманивали и развращали дѣтей?... Правда-ли, будто вы увѣряли, что не знаете различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастной звѣрской штукой и какимъ угодно подвигомъ, хотя бы даже жертвою жизни для человѣчества? Правда-ли, что вы въ обоихъ полюсахъ нашли совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія?“ Шатовъ переходитъ затѣмъ къ женитьбѣ Ставрогина на полоумной, хромой сестрѣ капитана Лебядкина: „Знаете ли, почему вы тогда женились такъ позорно и подло? Именно потому, что тутъ позоръ и безсмыслица доходили до геніальности! О, вы не бродите съ краю, а смѣло летите внизъ головою. Вы женились по страсти къ угрызеніямъ совѣсти, по сладостра-

стію нравственному. Тутъ былъ первый надрывъ... Вызовъ здравому смыслу былъ уже слишкомъ прельстителенъ! Ставрогинъ и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастіе? чувствовали? Праздный, шатающійся барченокъ, чувствовали?“ Если бы порокъ въ его обыкновенной формѣ былъ исключительною дѣйствующею силою въ этихъ подпольныхъ натурахъ, если бы грязь, въ которой они копошатся съ какимъ-то почти сладострастнымъ упоеніемъ, была результатомъ нищенства, этотъ подпольный міръ мало отличался бы отъ обыкновенныхъ трущобъ, въ какихъ скопляются отребья человѣческаго общества. Но это особый продуктъ нравственнаго и умственнаго недуга, который и есть настоящій герой романа. Не Ставрогинъ, не Верховенскій, не Шатовъ и не Кирилловъ выражаютъ собою идею послѣдняго произведенія г. Достоевскаго. Настоящій герой его есть, какъ мы сказали, психическая гангрена, заразившая весь этотъ подпольный муравейникъ, всѣ эти недужныя организаціи. Еще въ романѣ „*Преступленіе и Наказаніе*,“ Раскольниковъ убиваетъ и грабитъ старуху не для того, чтобы на разграбленныя деньги доставить себѣ извѣстную сумму личныхъ удовольствій, матеріальнаго комфорта; онъ совершаетъ преступленіе потому, что мечтаетъ осуществить этимъ способомъ идею общаго блага, потому что эта *идея съѣла его* — какъ выражается одно дѣйствующее лицо въ новомъ романѣ того же автора. Въ этомъ смыслѣ Раскольниковъ есть истинный родоначальникъ Шатовыхъ, Кирилловыхъ, Шигалевыхъ, всѣхъ этихъ малыхъ бѣсовъ, свившихъ свое гнѣздо подлѣ стараго бѣса, Степана Трофимовича. Ихъ всѣхъ *съѣла идея*, и про каждаго изъ нихъ можно сказать то самое, что сказано авторомъ про Шатова: „Это было одно изъ тѣхъ идеальныхъ русскихъ существъ, которыхъ вдругъ поразитъ какая-нибудь сильная идея, и тутъ же разомъ точно придавитъ ихъ собою, иногда даже навѣки. Справиться съ нею они никогда не въ силахъ, а увѣруютъ страстно, и вотъ вся жизнь ихъ проходитъ потомъ какъ бы въ послѣднихъ корчахъ подъ сва-

лившимся на нихъ и на половину совсѣмъ уже раздавившимъ ихъ камнемъ.“ Эти-то корчи подъ раздавившею ихъ „идеею“ и производятъ ту изумительную умственную и нравственную сатурналію, которая составляетъ внутреннее содержаніе романа, и всѣ эти Ставрогины, Верховенскіе, Кирилловы, Шигалевы постоянно носятся съ извѣстной идеей, пребываютъ въ непрерывномъ процессѣ умственной работы, въ страстномъ напряженіи мысли, приводящемъ однихъ къ умопомѣшательству, другихъ къ отвратительному преступленію. Что-то, когда-то, очень давно запало въ ихъ мозгъ и безпрерывно дѣйствуетъ тамъ и держитъ ихъ въ состояніи умственной придавленности. У Кириллова эта напряженная, изнурительная возня съ идеей приводитъ къ нелѣпѣйшей философской системѣ; у Шигалева она создаетъ соціально-политическую теорію, требующую для своего осуществленія милліонъ голосовъ; Ставрогина и Верховенскаго она бросаетъ въ сладострастіе разврата, низводитъ ихъ на ту послѣднюю ступень скотства, когда въ человѣкѣ пробуждается совершенно животная жажда крови; Шатова она совершенно измочаливаетъ, превращаетъ въ глубоко несчастное существо, одичавшее и человѣко-ненавидящее, и вмѣстѣ способное растаять отъ малѣйшей ласки. Предъ читателемъ проходитъ рядъ лицъ, въ одинаковой степени сдѣлавшихся жертвою непосильной умственной задачи, фанатиковъ идеи, кривыми путями внѣдрившейся въ слабосильный мозгъ. Читатель какъ бы присутствуетъ въ клиникѣ нравственныхъ и душевныхъ болѣзней и читаетъ надъ изголовьями паціентовъ ихъ скорбные листы.

* * *

*) Можно съ различныхъ точекъ зрѣнія различно классифицировать многочисленныя дѣйствующія лица романа г. Достоевскаго. Но я попробую раздѣлить ихъ на нѣсколько категорій съ точки зрѣнія отношенія къ нимъ г.

---

*) Н. Михайловскій. „Литературная и журнальная замѣтки“. („Отеч. Зап.“ 1873 г., № 2) и „Сочиненія Н. К. Михайловскаго“, т. II, Спб. 1881 г.

Достоевскаго, *какъ писателя*, при чемъ и выяснятся особенности его таланта.

Мы найдемъ въ „Бѣсахъ“, во-первыхъ, нѣсколько фигуръ, сдѣланныхъ очень топорно и вовсе г. Достоевскому не принадлежащихъ. Это молодые люди, говорящіе: „нынче нѣтъ привидѣній, а естественныя науки“, дѣвушки, разъѣзжающія изъ города въ городъ, „чтобы заявить о страданіяхъ несчастныхъ студентовъ и возбудить ихъ повсемѣстно къ протесту“, и т. п. Эти шаблонные образы, играющіе въ романѣ послѣднюю роль, авторомъ не продуманы и не прочувствованы и взяты на прокатъ у гг. Стебницкихъ и Ключниковыхъ. Нѣкоторое исключеніе, впрочемъ, составляютъ болѣе или менѣе самостоятельно отдѣланныя и потому болѣе или менѣе человѣкообразныя фигуры женъ Шатова и Виргинскаго. Всю эту группу г. Достоевскій окрещиваетъ именемъ „идеи, попавшей на улицу“.

Затѣмъ идетъ рядъ образовъ, принадлежащихъ г. Достоевскому наравнѣ съ другими русскими беллетристами. Они, разумѣется, очень разнообразны по поэтической концепціи, по своей нравственной идеѣ, по роли, занимаемой ими въ романѣ и проч. Но я ихъ ставлю въ одну категорію потому, что всѣмъ имъ можно подыскать параллели въ произведеніяхъ другихъ нашихъ романистовъ, и всѣ они въ то-же время суть самостоятельныя созданія г. Достоевскаго. Напримѣръ, типъ идеалиста сороковыхъ годовъ эксплуатировался у насъ весьма часто. Г. Достоевскій беретъ его, но беретъ съ нѣкоторыхъ новыхъ сторонъ и потому придаетъ ему свѣжесть и оригинальность, несмотря на избитость темы. Большая часть лицъ этой второй категоріи въ „Бѣсахъ“ удачны, а нѣкоторыя даже превосходны. Если прекрасныя фигуры упомянутаго идеалиста сороковыхъ годовъ, Степана Трофимовича Верховенскаго, и знаменитаго русскаго писателя Кармазинова, читающаго свой прощальный разсказъ Mersi, — впадаютъ мѣстами въ шаржъ, то фигуры супруговъ Лембке положительно безупречны.

Третья категорія лицъ для насъ самая интересная. Здѣсь группируются образы, составляющіе въ русской литературѣ

исключительную собственность г. Достоевскаго. Такихъ довольно много въ „Бѣсахъ“: Ставрогинъ, Шатовъ, Петръ Верховенскій, Кирилловъ, Шигалевъ. Общее между этими лицами то, что всѣ они находятся на границѣ нормальнаго и ненормальнаго состоянія духа. Всѣ они ведутъ странный образъ жизни, всѣ высказываютъ странныя мысли. Весьма важно однако замѣтить, что это не сумасшедшіе. Г. Достоевскій любитъ иногда рисовать и такихъ. Такъ, въ „Бѣсахъ“ есть намеки на временное умопомѣшательство Ставрогина; есть сумасшедшая Лебядкина-Ставрогина; есть сходящій на глазахъ читателя съ ума Лембке. Но не въ этомъ состоитъ спеціальность г. Достоевскаго. Его любимые герои держатся на границѣ ума и безумія, нормальнаго и ненормальнаго состоянія воли. Это или люди, находящіеся въ сильно возбужденномъ состояніи, или мономаны, имѣющіе возможность сочинять и проповѣдывать весьма замысловатыя теоріи...

Несмотря на свою наклонность къ изображенію безумія, г. Достоевскій рѣдко рисуетъ его только какъ процессъ. Въ большинствѣ случаевъ онъ рѣшаетъ при помощи своихъ психіатрическихъ субъектовъ какую-нибудь нравственную задачу, и большею частію придаетъ рѣшенію мистическій характеръ. Онъ, если позволена будетъ нѣкоторая восточность метафоры, разыгрываетъ на струнахъ душевной болѣзни нравственно-политическіе мотивы. Въ „Бѣсахъ“, какъ и въ „Преступленіи и Наказаніи“, какъ, сколько помнится, и въ „Идіотѣ“, онъ устраиваетъ цѣлые оркестры такого рода. Онъ дѣлаетъ это двояко. Либо онъ беретъ какой-нибудь психологическій мотивъ, напр., чувство грѣха и жажду искупленія (мотивъ его особенно интересующій) и заставляетъ его дѣйствовать въ образѣ. Вы видите, напр., что человѣкъ согрѣшилъ, его мучаетъ совѣсть, онъ налагаетъ наконецъ на себя какую-нибудь эпитимію, и тѣмъ достигаетъ душевнаго спокойствія. Это одинъ пріемъ. Онъ былъ примѣненъ г. Достоевскимъ въ „Преступленіи и Наказаніи“. Въ „Бѣсахъ“ неудачную попытку этого рода представляетъ Ставрогинъ. Другой пріемъ состоитъ въ томъ,

что измученному душевною болѣзнію человѣку влагается въ уста извѣстное разрѣшеніе какого-нибудь нравственнаго вопроса. Въ „Бѣсахъ", къ сожалѣнію, преобладаетъ второй пріемъ. Говорю: къ сожалѣнію, потому что пріемъ этотъ, очевидно, невыгоденъ въ художественномъ отношеніи. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ послѣдняго романа г. Достоевскаго говоритъ: „не я съѣлъ свою идею, а моя идея меня съѣла". Это могли бы сказать о себѣ весьма многіе герои г. Достоевскаго. И это типъ безъ сомнѣнія интересный и поучительный. Но одно дѣло показать его какъ типъ, какъ живой образъ, на глазахъ читателя дѣйствительно пожираемый своею идеею. И другое дѣло заставить человѣка безъ устали проповѣдыватъ пришитую къ нему идею. А таковы большею частію герои „Бѣсовъ" (я разумѣю героевъ третьей категоріи, излюбленныхъ героевъ г. Достоевскаго). Они пожираются своею идеею въ совершенно другомъ смыслѣ. Дѣло въ томъ, что у г. Достоевскаго такой громадный запасъ эксцентрическихъ идей, что онъ просто давитъ ими своихъ героевъ. Въ этомъ отношеніи его можно сравнить съ Бальзакомъ... Герои г. Достоевскаго, давимые идеями, по необходимости блѣдны, блѣднѣе, по крайней мѣрѣ, чѣмъ они могли бы быть нарисованы рукою такого мастера. И въ „Бѣсахъ" они особенно блѣдны, здѣсь нѣтъ ни одного образа, равнаго въ художественномъ отношеніи фигурамъ Раскольникова, Свидригайлова въ „Преступленіи и Наказаніи". Недуренъ пожалуй Шигалевъ, но онъ, во-первыхъ, стоитъ въ самомъ заднемъ углу, а во-вторыхъ, не развертываетъ своей идеи вполнѣ, а только показываетъ одинъ, край ея, такъ что не успѣваетъ быть ею придавленнымъ. Вообще же, вмѣсто образовъ *людей, придавленныхъ своими идеями*, въ „Бѣсахъ" фигурируютъ *образы, придавленные идеями, обязательно изобрѣтенными для нихъ авторомъ.*

Позволивъ себѣ эти бѣглыя эстетическія замѣчанія, перейдемъ къ самымъ идеямъ. Хорошо или дурно изображены извѣстные типы, но надо еще знать, умѣстно ли ихъ изображеніе. Надо знать, съ кого г. Достоевскій портреты эти *писалъ и гдѣ* разговоры эти слышалъ.

Въ „Бѣсахъ“ разсказывается исторія, по внѣшнему ходу событій и обстановкѣ поразительно сходная съ такъ называемымъ Нечаевскимъ дѣломъ. Есть тутъ вожакъ, Верховенскій (сынъ), устраивающій тайное общество посредствомъ цѣлаго ряда обмановъ. Онъ водитъ всѣхъ за носъ какимъ-то центральнымъ революціоннымъ комитетомъ; связями съ международнымъ обществомъ рабочихъ; виршами, будто бы въ честь его, „студента“, написанными *Герценомъ*. Есть поддѣльный ревизоръ, присутствующій съ записной книжкой на засѣданіяхъ кружка. Есть студентъ Шатовъ, постоянно враждующій съ вожакомъ Верховенскимъ. Есть сцена убійства Шатова, котораго заманиваютъ въ гротъ въ паркѣ и тамъ сначала пристрѣливаютъ, а потомъ топятъ. Есть нѣкто Толкаченко, „странная личность, человѣкъ уже лѣтъ сорока и славившійся огромнымъ изученіемъ народа, преимущественно мошенниковъ и разбойниковъ, ходившій нарочно по кабакамъ, впрочемъ не для одного изученія народнаго“. И проч., и проч., и проч. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ романистъ точно задался мыслію не отступать отъ свѣдѣній, добытыхъ слѣдствіемъ и судомъ по Нечаевскому дѣлу. Такъ, наприм., отношенія, существовавшія между Нечаевымъ и Ивановымъ, не выяснены. Неизвѣстнымъ и до сихъ поръ остается, хотѣлъ ли Ивановъ сдѣлать доносъ, или онъ въ томъ только подозрѣвался, или наконецъ Ивановъ совсѣмъ по другимъ причинамъ мѣшалъ Нечаеву. Такъ дѣло стоитъ и у г. Достоевскаго. Отношенія Шатова и Верховенскаго весьма неясны: авторъ не позволилъ себѣ ни на волосъ отступать не то что отъ описываемой имъ дѣйствительности, а даже отъ дѣйствительности, какъ она выяснилась слѣдствіемъ и судомъ. Естественное дѣло, что если важная часть фабулы романа взята изъ современной и надѣлавшей шуму исторіи, то мы вправѣ ожидать отъ автора картины современныхъ нравовъ весьма точной. Странно было бы описывать фактическую сторону дѣла съ фотографической скрупулезностью, а содержаніе влагать въ нее фантастическое или вообще несоотвѣтствующее. Но точность поэтической картины есть

нѣчто весьма условное. Въ дѣйствительности есть черты важныя, типическія и случайныя. Если поэтъ самымъ тщательнымъ образомъ и вполнѣ точно обрисуетъ черты случайныя и неважныя, то этимъ еще отнюдь не достигается поэтическая точность картины. И наоборотъ; я понимаю, что художникъ можетъ изобразить, напримѣръ, лиссабонское землетрясеніе двумя, тремя человѣческими фигурами, если сумѣетъ сконцентрировать въ нихъ суть дѣла. Въ какой мѣрѣ точна картина современной жизни, написанная г. Достоевскимъ? Если бы его романъ былъ переведенъ на какой-нибудь иностранный языкъ и попалъ бы такимъ образомъ въ руки людей, мало или вовсе незнакомыхъ съ капризными особенностями нашего даровитаго романиста, то они пришли бы въ крайнее изумленіе. Оставляя пока въ сторонѣ смыслъ всего романа, мы видимъ небольшую группу излюбленныхъ авторомъ героевъ, молодыхъ людей, занимающихся разрѣшеніемъ религіозныхъ вопросовъ, въ которыхъ для нихъ кульминируется вся злоба дня. „Вы атеистъ?“—Да. „Вѣруете вы сами въ Бога?“—Я вѣрую въ Россію, я вѣрую въ ея православіе. Я вѣрую въ тѣло Христово. Я вѣрую, что новое пришествіе совершится въ Россіи.—„А въ Бога? въ Бога?“—Я.... Я буду вѣровать въ Бога. „Вы стали вѣровать въ будущую вѣчную жизнь?“—Нѣтъ, не въ будущую вѣчную, а въ здѣшнюю вѣчную“. „Онъ придетъ, и имя ему человѣкобогъ.—Богочеловѣкъ?—Человѣкобогъ, въ этомъ разница.—„Ужъ не вы ли и лампадку зажигаете?“—Да, это я зажегъ.—„Увѣровали?“—„Богъ необходимъ, а потому долженъ быть, но я знаю, что его нѣтъ и не можетъ быть“. Вотъ вопросы и отвѣты, имѣющіе мѣсто между тремя самыми видными изъ излюбленныхъ героевъ г. Достоевскаго. Изъ этого источника берутъ начало и ихъ соціальныя теоріи. Впрочемъ другія дѣйствующія лица третьей категоріи, Петръ Верховенскій и Шигалевъ, строятъ свои замысловатыя теоріи на другихъ основаніяхъ. Но во всякомъ случаѣ, имѣлъ ли какое-нибудь основаніе г. Достоевскій группировать около *Нечаевскаго* дѣла людей, проникнутыхъ мистицизмомъ? Ду-

маю, что нѣтъ, а тѣмъ паче не имѣлъ онъ права ставить ихъ типами современной русской молодежи вообще. Такіе люди, конечно, возможны и здѣсь, какъ и вездѣ. Но мало ли что возможно. Едва ли русская молодежь такъ пристально занимается мистико-религіозными вопросами. Напротивъ, направленіе ея, вообще говоря, чисто практическое, а если кое-кто изъ нея и занимается соціальными теоріями, то ужъ, конечно, не такого характера, какимъ отличаются теоріи Ставрогина, Шатова, Кириллова. Замѣчательно, что молодые люди, представляющіе у г. Достоевскаго „идею, попавшую на улицу“, тяготѣютъ къ вящему реализму, съ задоромъ объявляютъ, что „нынче нѣтъ привидѣній, а естественная наука“, и т. п. Молодые же люди, „съѣденные своею идеей“, тяготѣютъ въ совершенно противоположную сторону. Обстоятельство это въ романѣ ничѣмъ не мотивировано, а это жаль. Во всякомъ случаѣ, если бы г. Достоевскій принялъ въ соображеніе громадную массу русскихъ молодыхъ людей, стремящихся въ адвокаты, мировые судьи, проводители усовершенствованныхъ путей сообщенія и проч., и проч., и проч.; если бы онъ прибавилъ сюда массу молодыхъ людей, настроенныхъ и серіозно и трезво, наконецъ, если бы онъ остановилъ подольше свое вниманіе на массѣ молодыхъ верхоглядовъ,— то онъ, безъ сомнѣнія, убѣдился бы, что теоріи, подобныя Шатовскимъ, Кирилловскимъ, Ставрогинскимъ, могутъ занимать здѣсь только микроскопически ничтожное мѣсто. Онъ убѣдился бы даже, что Нечаевское дѣло есть до такой степени во всѣхъ отношеніяхъ монстръ, что не можетъ служить темой для романа съ болѣе или менѣе широкимъ захватомъ. Оно могло бы доставить матеріалъ для романа уголовнаго, узкаго и мелкаго, могло бы, пожалуй, занять мѣсто и въ картинѣ современной жизни, но не иначе, какъ въ качествѣ третьестепеннаго эпизода. Но и помимо Нечаевскаго дѣла, гдѣ слышалъ г. Достоевскій, чтобы современные русскіе молодые люди встрѣчали и провожали другъ друга вопросами: вы атеистъ? вы лампадку зажигали? вы увѣровали? Тѣмъ паче, гдѣ слышалъ онъ изъ

устъ молодежи такія идеи. какъ напримѣръ: „народъ есть тѣло Божіе“, „русскій народъ есть народъ богоносецъ“, и т. п. Я не спорю, можетъ быть, онъ все это и слышалъ, но уже, конечно, не имѣетъ права выставлять эти черты, въ качествѣ характерныхъ, типическихъ, на первое мѣсто. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ Парижѣ и въ Берлинѣ существовали клубы самоубійцъ, по статуту которыхъ члены по жребію должны были убивать себя по одному въ годъ. Это фактъ любопытный. Но что бы сказали о писателѣ, который, рисуя картину европейской жизни начала нынѣшняго вѣка, наполеоновскія войны поставилъ бы въ задній уголъ, а клубъ самоубійцъ на первое мѣсто? Писатель этотъ могъ бы быть очень точенъ въ описаніи своихъ героевъ, но несоблюденіе правила художественной перспективы испортило бы все дѣло. Я думаю, что нѣтъ надобности настаивать на пунктѣ, который доступенъ ежедневному наблюденію всѣхъ и каждаго и потому позволяю себѣ сказать афористически; если бы г. Достоевскій нарочно искалъ такой среды, въ которой мистическія теоріи были бы совершенно неумѣстны, то онъ нашелъ бы ее въ современной русской молодежи.

Такимъ образомъ, мы пришли къ чрезвычайно странному и любопытному результату. Г. Достоевскій не пользуется темами, подходящими къ свойствамъ его таланта, и въ то же время втискиваетъ эксцентрическія идеи туда, гдѣ ихъ въ дѣйствительности нѣтъ. Это объясняется очень легко, если мы примемъ въ соображеніе, какъ богатъ г. Достоевскій эксцентрическими идеями. Онѣ, очевидно, его просто мучаютъ, тѣснятся въ его фантазіи въ гораздо даже большемъ количествѣ, чѣмъ художественные образы. Прошу покорно выносить въ головѣ Ивана-Царевича и два поколѣнія невообразимаго разврата и разрушенія, или теорію самообожествленія посредствомъ самоубійства, которую исповѣдуетъ и практикуетъ Кирилловъ. Разъ подобная теорія сложилась въ головѣ автора, она требуетъ исхода. Значитъ, авторъ уже органически не можетъ взяться за беллетристическую эксплуатацію, напримѣръ, духовнаго союза Тата-

риновой или спиритизма. Тамъ есть *свои*, готовыя уже теоріи, *свои* эксцентрическія идеи, а г. Достоевскому надо прежде всего сложить *свое* собственное бремя. И понятно, что удобнѣе всего его сложить туда, гдѣ больше мѣста, гдѣ въ дѣйствительности наименьшее количество эксцентрическихъ идей и теорій. Г. Достоевскому нужны только подходящія рамки, готовое драматическое положеніе и слабый намекъ на возможность эксцентрическихъ идей. Намекъ этотъ долженъ быть, но чѣмъ онъ слабѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ просторнѣе продуктамъ фантастической лабораторіи автора. Конечно, это обобщеніе можетъ показаться слишкомъ поспѣшнымъ. Но я только предлагаю объясненіе, въ пользу котораго говорятъ и еще кое-какія соображенія. Сюда относится вышеупомянутое пожираніе тучныхъ коровъ поэзіи тощими коровами фантазіи людей, находящихся на границѣ ума и безумія. Сюда же относится и самое пристрастіе автора къ этой границѣ. Герои г. Достоевскаго какъ разъ настолько безумны, что имъ позволительно уклоняться отъ самыхъ неопровержимыхъ истинъ, и въ то же время какъ разъ настолько умны, что могутъ излагать довольно связно весьма замысловатыя идеи. Люди нормальные для г. Достоевскаго неудобны, такъ какъ имъ нельзя вложить въ уста эксцентрическую идею. Сумасшедшіе тоже не годятся, потому что тутъ пришлось бы довольствоваться совершенно безсвязною галиматьею.

Выше было сказано, что г. Достоевскій напоминаетъ Бальзака, конечно, не по симпатіямъ своимъ, а только по богатству эксцентрическихъ идей и наклонности къ изображенію исключительныхъ психологическихъ явленій. (Небезынтересно замѣтить мимоходомъ еще одно сходство: фельетонный способъ писанія широко задуманныхъ вещей). Но разница вотъ въ чемъ. Бальзакъ, во-первыхъ, гораздо смѣлѣе, потому что нерѣдко беретъ не только исключительное психологическое явленіе, а нѣчто совершенно невозможное, фантастическое (напримѣръ, Серафитъ). Во-вторыхъ, взявъ какой-нибудь рѣдкій феноменъ, большею частью одностороннее развитіе какой-нибудь страсти, онъ уже за

нимъ только и слѣдитъ, на немъ одномъ, отъ имени его одного только и строитъ свои эксцентрическія теоріи. Вслѣдствіе такой сосредоточенности, романъ получаетъ иногда удивительную силу, идея романа (а не дѣйствующихъ лицъ) вырѣзывается съ необыкновенною ясностью, а вмѣстѣ съ тѣмъ оправдывается и исключительность сюжета. Менѣе плодовитый г. Достоевскій надѣляетъ эксцентрическими идеями всѣхъ, кого только физически возможно надѣлить ими. (Въ „Бѣсахъ" они прорываются [illegible]е у Ѳедьки—каторжника и пьяницы капитана Лебя[illegible]). Носители эксцентрическихъ идей оказываются пр[illegible]омъ придавленными не только нравственно, что и хотѣ[illegible] изобразить г. Достоевскій, а и въ художественномъ о[illegible]шеніи, чего онъ, разумѣется, не желалъ. Въ результ[illegible] получается нѣчто многоцентренное, расплывающееся, [illegible]ъ насильственно пригнанныхъ драматическихъ поло[illegible]і, въ которыхъ чрезвычайно трудно оріентироваться. [illegible]жду тѣмъ въ „Бѣсахъ" г. Достоевскій желалъ быть какъ можно яснѣе. Онъ, во-первыхъ, снабдилъ романъ двумя очень характерными эпиграфами. Одинъ—стихи Пушкина:

Хоть убей, слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?
Въ полѣ бѣсъ насъ водитъ, видно,
Да кружитъ по сторонамъ.

. . . .

Сколько ихъ, куда ихъ гонятъ,
Что такъ жалобно поютъ?
Домового ли хоронятъ,
Вѣдьму ль замужъ отдаютъ?

Другой эпиграфъ взятъ изъ евангельскаго разсказа объ исцѣленіи бѣсноватаго, о томъ, какъ изгоняемые Христомъ бѣсы попросили у него позволенія переселиться въ пасшееся недалеко стадо свиней, и какъ потомъ свиньи бросились въ озеро и потонули. Эпиграфъ этотъ получаетъ въ концѣ романа спеціальное объясненіе. Верховенскій-отецъ, *больной, проситъ* сидѣлку прочитать ему разсказъ объ исцѣле-

нія бѣсноватаго. Та читаетъ, а Степанъ Трофимовичъ предается по этому случаю нѣкоторымъ изліяніямъ.

„Видите,— говоритъ онъ между прочимъ,— это точь въ точь какъ наша Россія. Эти бѣсы, выходящіе изъ больного и входящіе въ свиней—это язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи, за вѣка, за вѣка! Qui cette Russie que j'aimais toujours. Но великая мысль и великая воля осѣнятъ ее свыше, какъ и того безумнаго бѣсноватаго, и выйдутъ всѣ эти бѣсы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будутъ проситься войти въ свиней. Да и вошли уже, можетъ быть! Это мы, мы и тѣ, и Петруша... et les autres avec lui, и я можетъ быть первый, во главѣ, и мы бросимся, безумные и взбѣсившіеся, со скалы въ море и всѣ потонемъ, и туда намъ дорога, потому что насъ только на это вѣдь и хватитъ. Но больной исцѣлится и „сядетъ у ногъ Іисусовыхъ...“ и будутъ всѣ глядѣть съ изумленіемъ“.

Такимъ образомъ г. Достоевскій весьма обязательно самъ даетъ ключъ къ уразумѣнію „Бѣсовъ.“ Но это мало подвигаетъ дѣло впередъ. Еслибы еще г. Достоевскій ограничился первымъ эпиграфомъ:

„Хоть убей слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?“—

то идея романа могла-бы быть, хоть и слишкомъ общею, за то, по крайней-мѣрѣ, ясною. Второй эпиграфъ, въ особенности въ связи съ его объясненіемъ устами Степана Трофимовича, показываетъ только, что идея романа замысловата, что тутъ есть нѣкоторая претензія. Но ключъ къ ея уразумѣнію предлагается въ видѣ аллегоріи, которую и не сразу поймешь. Спрашивается, въ чемъ состоятъ міазмы, нечистота, бѣсы и бѣсенята, въ теченіе вѣковъ копившіеся въ нашемъ больномъ? Кто эти „мы, мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui“, о которыхъ говоритъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій? Кто эти свиньи, въ которыхъ вселяются бѣсы, изгоняемые изъ больной Россіи? въ чемъ,

наконецъ, состоитъ ихъ бѣсовскій элементъ? Въ самомъ романѣ трудно найти отвѣты на эти вопросы. Пожалуй, многіе дѣйствующія лица его дѣйствительно напоминаютъ бѣсноватыхъ, но, конечно, дѣло не въ этомъ прямомъ смыслѣ слова, а въ аллегоріи. Формула „мы, мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui“, обобщаетъ элементы чрезвычайно разнообразные, такъ что не легко усмотрѣть ихъ совпадающія стороны. „Петруша [illegible] les autres avec lui“ представляются, напримѣръ, нам[illegible] е. Степану Трофимовичу Верховенскому, въ видѣ „по[illegible] раба, вонючаго и развратнаго лакея“, который при из[illegible]ыхъ обстоятельствахъ „взмостится на лѣстницу съ но[illegible]ами въ рукахъ и раздеретъ божественный ликъ вели[illegible] идеала (Сикстинскую Мадонну) во имя равенства, за[illegible] и пищеваренія“. Съ своей стороны и Петруша et l[illegible]res avec lui осыпаютъ „насъ“, Степана Трофимовича [illegible]овенскаго, эпитетами, полными ненависти и презрѣнія. [illegible] эти враждебныя отношенія вполнѣ объясняются дѣйствительнымъ внутреннимъ различіемъ обоихъ лагерей. Далѣе, въ каждомъ изъ нихъ мы опять-таки видимъ только различія и различія. Люди, представляющіе собою исключительные психологическіе феномены, уже сами по себѣ составляютъ нѣчто трудно поддающееся обобщеніямъ. А такъ какъ въ „Бѣсахъ“ эти люди суть большею частію только подставки для эксцентрическихъ идей, то становится еще труднѣе стать на такую точку зрѣнія, съ которой всѣ они сливались бы въ понятіе стада бѣсноватыхъ свиней. Въ самомъ дѣлѣ, эксцентрическая идея непремѣнно стоитъ, если можно такъ выразиться, ершомъ, она не имѣетъ ничего общаго съ идеями не эксцентрическими и другими эксц[illegible]рическими, такъ что рядъ подставокъ для эксцентрическихъ идей не подлежитъ никакому синтезу; нѣтъ возможности подвести имъ итогъ. Въ „Бѣсахъ“ это неудобство еще, такъ сказать, многоэтажно: самая фабула романа, Нечаевское дѣло, есть исключительное явленіе русской жизни. И потому, какъ ни старался г. Достоевскій быть яснымъ, онъ этого не достигъ.

Къ счастью, тутъ подвернулся „Гражданинъ“. Потому

ли, что идея „Бѣсовъ“ вообще сильно занимаетъ г. Достоевскаго, или потому, что „Дневникъ писателя“ пишется подъ непосредственнымъ вліяніемъ писанія „Бѣсовъ“, но „Дневникъ“ этотъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ комментарій къ „Бѣсамъ“. Многія мысли „Дневника“, въ томъ числѣ и мысли о соціализмѣ и атеизмѣ, высказаны уже въ „Бѣсахъ“ разными дѣйствующими лицами и въ особенности молодымъ студентомъ Шатовымъ, или, въ переводѣ на языкъ дѣйствительности, убитымъ Ивановымъ. Комментируя „Бѣсовъ“ „Дневникомъ“, мы уяснимъ себѣ многое.

Николай Ставрогинъ, по первоначальному, по крайней мѣрѣ, замыслу автора, долженъ былъ, повидимому, быть самымъ замѣтнымъ изъ дѣйствующихъ лицъ романа, нѣкоторымъ его центромъ. Вышла однако фигура съ претензіями, но крайне тусклая. Шатовъ, Кирилловъ, Лебядкинъ повторяютъ ему одну и ту же фразу: „вспомните, какъ много значили вы въ моей жизни“, но это значеніе остается не выясненнымъ. Шатовъ ждетъ отъ Ставрогина многаго, разсчитывая на его геніальность; Верховенскій Петръ тоже ждетъ отъ него многаго, но въ разсчетѣ на его „необыкновенную способность къ преступленію“. Всѣ видятъ въ немъ отчасти натуру крайне сильную, а отчасти крайне слабую. Гдѣ-то за кулисами дѣйствуетъ Ставрогинъ, въ качествѣ члена тайнаго „сладострастнаго“ общества, „у котораго маркизъ де-Садъ могъ бы поучиться“, которое заманивало и развращало дѣтей?

Когда-то, опять-таки за кулисами, Ставрогинъ „увѣрялъ, что не знаетъ различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастною звѣрскою штукою и какимъ угодно подвигомъ, хотя бы жертвой жизнью для человѣчества, что онъ нашелъ въ обоихъ полюсахъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія“. Словомъ, это что-то очень дурное, необыкновенное, но вмѣстѣ съ тѣмъ что-то очень плоское, будничное. Такъ, напримѣръ, Ставрогинъ давно записался въ граждане кантона Ури, купилъ тамъ маленькій домъ и зоветъ туда съ собою поочереди трехъ, ни въ чемъ между собою несходныхъ женщинъ: экзальтированную Лизу, пре-

данную Дашу и сумасшедшую Лебядкину. Ему кажется все равно съ кѣмъ скоротать свою бурную жизнь, но только непремѣнно съ женщиной, непремѣнно въ маленькомъ швейцарскомъ домѣ, никого не видя, ничего не дѣлая. Всѣ поступки Ставрогина какъ-то изыскано необычайны. И особенно замѣчательно, что г. Достоевскому очень хочется показать, что онъ въ здравомъ разсудкѣ. Онъ даже нарочно для этого сводитъ его на время съ ума, заставляетъ дѣлать безумныя выходки, которыя однако по общему необъяснимо таинственному, инстинктивному убѣжденію свойственны Ставрогину и въ здравомъ умѣ. Романъ даже тѣмъ и оканчивается, что трупъ самоубійцы Ставрогина анатомируютъ и „наши медики по вскрытіи трупа совершенно и настойчиво отвергли помѣшательство". Это послѣднія строки романа. Очевидно, г. Достоевскій хотѣлъ тутъ разрѣшить нѣкоторую психологическую задачу, но не только разрѣшенія какой-нибудь задачи не вышло, не вышла даже постановка ея. Нѣкоторое поясненіе дѣла найдемъ мы въ „Дневникѣ писателя". Тамъ разсказывается слѣдующая исторія. Одинъ мужикъ взялся сдѣлать какую угодно „дерзостную" штуку. Другой и заказалъ ему: пойди причащаться, но причастія не глотай, а возьми въ руку и сохрани. Мужикъ сдѣлалъ. Тогда деревенскій Мефистофель повелъ его въ огородъ, велѣлъ положить причастіе на землю, зарядить ружье и выстрѣлить въ причастіе. „И вотъ только бы выстрѣлить, разсказывалъ потомъ мужикъ,—вдругъ передо мною какъ есть крестъ, а на немъ распятый. Тутъ я и упалъ съ ружьемъ въ безчувствіи". Затѣмъ, мужикъ пошелъ каяться въ грѣхахъ своихъ, почувствовалъ жажду искупленія и страданія, и отправился за совѣтомъ къ „схимнику", монаху-совѣтодателю, который и наложилъ на него подходящую эпитемью. Вотъ разсказъ. Вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ замѣчаній г. Достоевскаго, онъ могъ бы составить прекрасную монографію, въ смыслѣ описанія и разъясненія даннаго случая. Въ качествѣ поэта, г. Достоевскій могъ *бы ограничиться* собственно образнымъ представленіемъ *развитія* „*дерзостной*" мысли, страшнаго страданія, послѣ-

довавшаго за ея осуществленіемъ, и наконецъ наслажденія искупляющимъ страданіемъ. Могла-бы выйти великолѣпная вещь. Если г. Достоевскій не надѣется на силу своего поэтическаго таланта, то онъ могъ-бы, конечно, развести образы нѣкоторыми размышленіями. Но г. Достоевскій ведетъ дѣло въ этомъ отношеніи уже слишкомъ далеко. Онъ видитъ въ дерзостномъ и кающемся мужикѣ символъ ни больше ни меньше, какъ „всего русскаго народа въ его цѣломъ“, и поэтому случаю предается нѣкоторой мало основательной публицистикѣ. Вотъ нѣкоторыя изъ характеристическихъ, по мнѣнію г. Достоевскаго, чертъ русскаго народа въ его цѣломъ. „Это прежде всего — забвеніе всякой мѣрки во всемъ (и замѣтьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся какъ бы какимъ наважденіемъ). Это потребность хватить черезъ край, потребность въ замирающемъ ощущеніи, дойдя до пропасти, свѣситься въ нее на половину, заглянуть въ самую бездну и — въ частныхъ случаяхъ, но весьма рѣдкихъ—броситься въ нее, какъ ошалѣлому, внизъ головой... нѣкоторое адское наслажденіе собственною гибелью, захватывающая дыханіе потребность нагнуться надъ пропастью и заглянуть въ нее, потрясающее восхищеніе предъ собственною дерзостью“. Это одна черта, черта, по мнѣнію г. Достоевскаго, всенародная. Въ частности выразилась она и въ исторіи дерзостнаго мужика. Она же, очевидно, должна была составлять основу характера Ставрогина, ибо нѣкоторыя дѣйствующія лица романа говорятъ о немъ почти тѣми же словами, какія г. Достоевскій употребляетъ для характеристики народа. Потому-то г. Достоевскій такъ и хлопочетъ, чтобы Ставрогина не приняли за сумасшедшаго: онъ долженъ выражать собою одну изъ типическихъ чертъ русскаго народа, и всѣ его безобразія должны объясняться потребностью дерзости.

Другая черта народа состоитъ въ страстной потребности искупить дерзость, грѣхъ. „Съ такою-же силою, съ такою же стремительностію, съ такою-же жаждою самосохраненія и *покаянія русскій* человѣкъ, равно какъ и весь народъ,

и спасаетъ себя самъ, и обыкновенно, когда дойдетъ до послѣдней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчокъ возстановленія и самоспасенія бываетъ серьезнѣе прежняго порыва,—отрицанія и саморазрушенія. То бываетъ всегда на счетъ какъ бы мелкаго малодушія; тогда какъ въ возстановленіе свое русскій человѣкъ уходитъ съ самымъ огромнымъ и серьезнымъ усиліемъ, на отри[illegible]тельное прежнее движеніе свое онъ смотритъ съ презрѣ[illegible]мъ къ самому себѣ. Я думаю, самая главная, самая кор[illegible]ная духовная потребность русскаго народа есть потребнос[illegible] страданія, всегдашняго и неутомимаго, всегда и во все[illegible] Этою жаждою страданія онъ, кажется, зараженъ иск[illegible] вѣковъ. Страдальческая струя проходитъ черезъ всю е[illegible] исторію не отъ внѣшнихъ только несчастій и бѣдъ, а бь[illegible] ключомъ изъ самаго сердца народнаго... Если онъ спос[illegible]енъ возстать изъ своего униженія, то мститъ себѣ за п[illegible]шлое паденіе ужасно, даже болѣе, чѣмъ вымещалъ на другихъ, въ чаду безобразія, свои тайныя муки отъ собственнаго недовольства собою". Вотъ другая черта народнаго русскаго характера, фигурирующая и въ исторіи дерзостнаго мужика. Есть она отчасти и въ Ставрогинѣ. Она прорывается въ немъ отдѣльными вспышками, напримѣръ, когда онъ объявляетъ о своемъ бракѣ съ Лебядкиной, когда она молча выноситъ пощечину отъ Шатова и т. д.

Прорывается, но не доходитъ до конца. Любопытно, что Шатовъ, представляющій собою вообще мнѣнія г. Достоевскаго, посылаетъ Ставрогина къ какому-то Тихону, бывшему архіерею, живущему по болѣзни на покоѣ, къ которому ходятъ за совѣтами. Это, очевидно, тотъ-же схимникъ, монахъ-совѣтодатель, къ которому дерзостный мужикъ идетъ за эпитемьей. Но Ставрогинъ не пошелъ за эпитемьей, не пошелъ за активнымъ, такъ сказать, страданіемъ, а страданія пассивнаго, предложеннаго стеченіемъ жизненныхъ обстоятельствъ, не вынесъ, и повѣсился. Вотъ въ чемъ, значитъ, разница между Ставрогинымъ и Власомъ, какъ г.

Достоевскій зоветъ дерзостнаго мужика, мотивируя весь разсказъ объ немъ извѣстнымъ стихотвореніемъ г. Некрасова:

„Въ армякѣ, съ открытымъ воротомъ,
Съ обнаженной головой,
Медленнó проходитъ городомъ
Дядя Власъ—старикъ сѣдой и т. д.“

И Власъ и Ставрогинъ одинаково чувствуютъ „наклонность къ преступленію“, наклонность, впрочемъ, только порывистую, наклонность согрѣшить для грѣха, для сильнаго ощущенія. Но Власа этотъ грѣхъ не выбиваетъ изъ его жизненнаго сѣдла окончательно; въ концѣ концовъ даже укрѣпляетъ въ немъ. Онъ идетъ искупать свой грѣхъ и въ страданіи искупленія находитъ примиреніе съ самимъ собою. Ставрогинъ этого сдѣлать не въ силахъ. Онъ падаетъ окончательно именно потому, что не можетъ или не хочетъ принять на себя крестъ; вѣрнѣе сказать, не можетъ, силъ не хватаетъ, хоть его и тянетъ къ этому.

Такимъ образомъ, благодаря „Дневнику писателя“, тусклый образъ Ставрогина нѣсколько уясняется. Но мы все таки еще далеки отъ идеи романа,—отъ бѣсовъ, бѣсноватыхъ свиней и больной Россіи. Не ясенъ даже ближайшій пунктъ: что долженъ изображать собою Ставрогинъ, если только онъ не единица, не имѣющая никакого общаго значенія; почему, сохранивъ одну черту народнаго характера, онъ утратилъ другую; почему, наконецъ, у Власа хватаетъ силы на искупленіе, а у Ставрогина нѣтъ. Пойдемъ дальше въ своихъ комментаріяхъ.

Одинъ изъ героевъ „Бѣсовъ“, Кирилловъ, сочинилъ эксцентрическую теорію, сущность которой, на сколько ее понимать можно, состоитъ въ слѣдующемъ: Бога нѣтъ; если бы онъ былъ, то я долженъ бы былъ повиноваться его волѣ; но такъ какъ Бога нѣтъ, то я остаюсь единственнымъ и полнымъ властителемъ своей судьбы и долженъ заявить, что я человѣкъ вольный, никого надъ собой не признаю и никого и ничего не боюсь; такимъ полнымъ актомъ моей воли, или „своеволія“, можетъ быть только са-

моубійство, но самоубійство безъ всякой видимой причины: хочу и баста. Это вяжется у Кириллова съ разными другими вещами и между прочимъ со служеніемъ человѣчеству. Онъ вѣруетъ, что, убивъ себя, онъ докажетъ міру ложь бытія Божія и укажетъ человѣчеству новые пути. Въ силу этой теоріи Кирилловъ и рѣшаетъ убить себя. Этимъ пользуется шайка Петра Верховенскаго и заставляетъ безумца подписать передъ самоубійствомъ записку, въ которой Кирилловъ принимаетъ на себя убійство Шатова. Подписывая, Кирилловъ находится въ какомъ-то истерическомъ состояніи и непремѣнно хочетъ подписаться de Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde, или „еще лучше": gentilhomme—séminariste russe et citoyen du monde civilisé. Немедленно послѣ этихъ словъ Кирилловъ хватаетъ револьверъ и бѣжитъ стрѣляться. Въ словахъ этихъ звучитъ какая-то насмѣшка надъ самимъ собой, какая-то иронія, тѣмъ болѣе необъяснимая, что Кирилловъ, по собственному своему убѣжденію, исполняетъ священный долгъ. И ничто въ предыдущемъ не даетъ ни малѣйшаго намека на смыслъ французской подписи. Очевидно, здѣсь авторъ просто не утерпѣлъ и подсунулъ Кириллову, на свой собственный страхъ, насмѣшливое прозвище, въ устахъ Кириллова совершенно безсмысленное, невозможное. Къ счастію, у насъ есть опять таки „Дневникъ писателя", въ которомъ это самое насмѣшливое прозвище является въ сопровожденіи нѣкотораго объясненія. Въ „Дневникѣ" г. Достоевскій называетъ Герцена gentilhomme russe et citoyen du monde, г. Некрасова „общечеловѣкомъ и русскимъ (gentilhomme'омъ)". Но опять-таки, съ которой стороны могутъ быть подведены къ одному знаменателю гг. Некрасовъ, Герценъ и Кирилловъ.

Мнѣ очень хочется добраться вмѣстѣ съ читателемъ до идеи „Бѣсовъ". Г. Достоевскій имѣетъ полное право требовать, чтобы и къ его мыслямъ и произведеніямъ относились со всевозможнымъ вниманіемъ и осторожностью. Я это дѣлаю, и не моя вина, что это можетъ быть сдѣлано только при помощи цѣлаго ряда отступленій. Такъ ужъ г. Достоевскій свой романъ устроилъ. Но теперь мы сдѣ-

ласмъ, надо думать, уже послѣднее отступленіе, мы у берега.

Я уже говорилъ о любопытномъ совпаденіи кровныхъ, задушевныхъ мыслей г. Достоевскаго, высказываемыхъ имъ въ „Гражданинѣ“, съ идеями Шатова. Въ прошлый разъ я привелъ мнѣніе г. Достоевскаго о тождественности соціализма съ атеизмомъ, мнѣніе, основанное на томъ, что „интернаціоналка“ объявила гдѣ-то, что она „прежде всего общество атеистическое“. Тотъ-же невѣрный аргументъ и тотъ-же нелогическій ходъ мыслей встрѣчается и у Шатова: „Соціализмъ, говоритъ онъ, по существу своему уже долженъ быть атеизмомъ, ибо именно провозглашено съ самой первой строки, что онъ установленіе атеистическое“. Но сходство между Шатовымъ и г. Достоевскимъ не ограничивается этимъ совершенно неправильнымъ показаніемъ. Оно (сходство) до такой степени полно, что, излагая мысли Шатова, можно цитировать „Дневникъ писателя“ и наоборотъ. Но при изложеніи этомъ надо устранить прежде всего одну двусмысленность. И г. Достоевскій и Шатовъ, къ сожалѣнію, играютъ словомъ „Богъ“. Иногда они придаютъ этому слову тотъ-же смыслъ, который ему придается всѣми людьми, какъ вѣрующими всѣхъ исповѣданій, такъ и невѣрующими. Но иногда они разумѣютъ подъ „Богомъ“ нѣчто иное, и именно, кажется, совокупность и высшую точку развитія національныхъ особенностей. Такъ, напримѣръ, они называютъ религіей древнихъ грековъ ихъ философію и искусство, римскимъ богомъ — государство. Куда при этомъ дѣваются Зевесъ и Юпитеръ со всей ихъ святой—неизвѣстно. Г. Достоевскій и Шатовъ иногда громятъ атеистовъ въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, то-есть, въ качествѣ людей, отрицающихъ существованіе личности творца вселенной. И въ то же время Ставрогинъ пишетъ: „Шатовъ говорилъ мнѣ, что тотъ, кто теряетъ связи съ своей землей, тотъ теряетъ и боговъ своихъ, то-есть *всѣ свои цѣли*“. Да въ этомъ же смыслѣ высказываются Шатовъ и г. Достоевскій. А между тѣмъ, на этой двусмысленности, на этой игрѣ словъ основываются многіе

ихъ аргументы. Шатову, какъ человѣку, находящемуся въ постоянно возбужденномъ состояніи, наконецъ, какъ человѣку, не берущемуся никого поучать, это простительно. Но отъ г. Достоевскаго можно бы было требовать большей отчетливости и меньшей игривости. Онъ, вѣдь, романистъ, а теперь и публицистъ, и редакторъ журнала. Любопытно наблюдать процессъ, которымъ обнаруживается это легкомысленное отношеніе г. Достоевскаго къ дѣлу. Шатовъ, смѣшавъ Бога съ богами въ смыслѣ цвѣтовъ и плодовъ народныхъ особенностей, доказываетъ, что человѣкъ, оторванный отъ народной, національной почвы, тѣмъ самымъ уже становится атеистомъ. Доказываетъ онъ это восторженно, но торопливо, нескладно, нелѣпо, что вполнѣ объясняется его ненормальнымъ состояніемъ; съ нимъ „жаръ", онъ только что прожилъ три дня съ мыслію, что его убьетъ Ставрогинъ. И тѣмъ не менѣе г. Достоевскій считаетъ этотъ пунктъ доказаннымъ и говоритъ въ „Дневникѣ": „Герценъ былъ продуктъ нашего барства", gentilhomme russe et citoyen du monde. Въ полтораста лѣтъ предыдущей жизни русскаго барства, за весьма малыми исключеніями, истлѣли послѣдніе корни, расшатались послѣднія связи его съ русской почвой и съ русской правдой. Герцену какъ будто сама исторія предназначила выразить собою въ самомъ яркомъ типѣ этотъ разрывъ съ народомъ огромнаго большинства нашего образованнаго сословія. Въ этомъ смыслѣ это типъ историческій. Отдѣляясь отъ народа, они *естественно потеряли и Бога*. Безпокойные изъ нихъ стали атеистами, вялые и спокойные—„индеферентными" и т. д. (Шатовъ говоритъ почти слово въ слово то-же самое о Бѣлинскомъ). Въ виду этого легкомыслія, я отказываюсь слѣдить за теоріей г. Достоевскаго - Шатова во всей ея полнотѣ. Это просто невозможно. Въ теоріи этой заключается, между прочимъ, такой пунктъ: каждый народъ долженъ имѣть своего бога, и когда боги становятся общими для разныхъ народовъ, то это признакъ паденія и боговъ и народовъ. И это вяжется какъ-то съ христіанствомъ, а я до сихъ поръ думалъ, что для христіанскаго Бога нѣсть эллинъ, ни іудей...

За вычетомъ этой двусмысленности, этой совершенно неприличной игры словъ, воззрѣнія г. Достоевскаго-Шатова сводятся къ слѣдующему. Вѣками сложилась русская почва и русская правда, сложились извѣстныя понятія о добрѣ и злѣ. Петровскій переворотъ раздѣлилъ народъ на двѣ части, изъ которыхъ одна, меньшая, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе теряла смыслъ русской правды, а другая, большая, только слегка подернулась этимъ движеніемъ. Когда первая часть, меньшинство, образованные классы обратили наконецъ свое вниманіе на большинство, на народъ, обратились къ нему даже съ любовью и желаніемъ добра, они уже не понимали его. Если они и любили народъ, то не этотъ, который тутъ, возлѣ нихъ реально существовалъ, а народъ идеальный, созданный ихъ воображеніемъ по западно-европейскимъ образцамъ. А любить идеальный народъ, любить „общечеловѣка“, значитъ презирать или ненавидѣть народъ, существующій въ дѣйствительности. Этого мало. По мѣрѣ удаленія отъ народной правды, народныхъ понятій о добрѣ и злѣ, образованные citoyens du monde теряли *всякое* чутье въ различеніе добра и зла, потому что внѣ народныхъ преданій нѣтъ почвы для такого различенія, на него не способны ни разумъ ни наука. А между тѣмъ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, тянетъ къ этому различенію, и вотъ они мечутся, ищутъ, и ничего не находятъ, а назадъ вернуться уже не могутъ. Они и погибнутъ. Можетъ быть, они увлекутъ за собой временно и народъ, можетъ быть, уже и увлекаютъ, но въ концѣ концовъ Власы скажутъ свое слово и спасутъ себя и насъ.

Такова теорія г. Достоевскаго-Шатова. Шатовъ говоритъ, что это „или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всѣхъ московскихъ славянофильскихъ мельницахъ, или совершенно новое слово, послѣднее слово, единственное слово обновленія и воскресенія“. Увы! кажется, и сомнѣнія не можетъ быть въ этомъ, что это дребедень. Теорія эта, да проститъ мнѣ почтенный авторъ, и слишкомъ стара и слишкомъ ребячески молода, чтобы изъ нея стоило вытаскивать ту крупицу истины, которая въ ней заклю-

чается. Г. Достоевскій справедливо говоритъ, что барство извращаетъ понятія о добрѣ и злѣ, но съ Петра-ли оно началось? Авторъ, повидимому, и самъ догадывается, что гораздо раньше, и что съ Петра она явилась только въ другой формѣ. Онъ говоритъ, что бѣсы и бѣсенята, міазмы и нечистота накопились въ „нашемъ миломъ больномъ за вѣка, за вѣка!" Извѣстно, что это одинъ изъ камней преткновенія славянофильскаго ученія, и мы его трогать не будемъ. Мы воспользуемся только приведенной теоріей для объясненія идеи „Бѣсовъ" и нѣкоторыхъ любопытныхъ соображеній г. Достоевскаго въ „Дневникѣ писателя".

Бѣсноватый больной, — это Россія, въ которую вселились бѣсы, въ точности неизвѣстно когда. Бѣсы — это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко, —это оторванные отъ народной почвы citoyens du monde, это „мы, мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui". Всѣ они сохранили въ себѣ одну черту русскаго народнаго характера, — потребность дерзости, жажду отрицанія и разрушенія. Весь романъ представляетъ рядъ болѣе или менѣе дерзкихъ выходокъ и подвиговъ отрицанія и разрушенія, совершаемыхъ разными типами citoyen'овъ. Одинъ пускаетъ мышь въ кіоту образа, другой надругается надъ самыми святыми чувствами, третій хѣритъ всю вѣковую русскую исторію, четвертый безцѣльно и безсмысленно оскорбляетъ людей, пятый объявляетъ себя богомъ, шестой проповѣдуетъ всеобщій развратъ и проч. и проч. и проч. Все это совершается въ силу особенной черты русскаго характера, заставившей и дерзостнаго мужика, Власа, покушаться на разстрѣляніе причастія. Но изъ Власа бѣсъ забвенія границъ добра и зла немедленно выходитъ, Власъ не теряетъ чувства грѣха и жаждетъ искупленія, страданія. Citoyen'ы не способны къ этому. Отрицая, разрушая, дерзая, не только въ силу народной безсознательной особенности, а и во имя чуждыхъ, общечеловѣческихъ идеаловъ, они не чувствуютъ грѣха, они гордятся имъ, а если и чувствуютъ, то не въ силахъ понести искупляющее страданіе. Они вѣшаются, стрѣля-

ются, окунаются въ омутъ разврата и подлости, впадаютъ въ систематическое, хроническое преступленіе, словомъ, такъ или иначе, одолѣваемые вселившимся въ нихъ бѣсомъ, бросаются со скалы въ море и тонутъ. Возврата, спасенія нѣтъ даже для Шатова, который съ болѣзненною ясностью сознаетъ ужасъ своего положенія. Онъ предлагаетъ Ставрогину нелѣпость, которую и самъ готовъ назвать „кунштюкомъ:“ „добыть Бога мужицкимъ трудомъ.“

„Хоть убей, слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?“

Но вотъ свиньи бѣсноватыя побросались со скалы въ море и потонули. Что же, больной исцѣлился? сидитъ у ногъ Іисусовыхъ? Нѣтъ не исцѣлился, не сидитъ. Иначе г. Достоевскій не писалъ бы своего „Дневника“. Можетъ быть, потому не исцѣлился: что еще не всѣ свиньи перетонули, а можетъ быть и потому, что народились новыя, особенныя, которыхъ г. Достоевскій просмотрѣлъ. Да, онъ многое просмотрѣлъ, онъ *все* просмотрѣлъ...

* * *

*) „Въ юности увлекался... съ лѣтами созналъ свои заблужденія, раскаялся, отрекся отъ прошлаго и строго осудилъ свои юношескія мечтанія“, — вотъ въ короткихъ словахъ исторія такихъ писателей, какъ г. Достоевскій. Я знаю, что нѣкоторые поверхностные умы находятъ это несовсѣмъ благовиднымъ и даже... хуже того. Но, очевидно, что эти поверхностные умы никогда не раскаивались и не отрекались,—въ противномъ случаѣ они должны были бы понять, сколько великаго самоуслажденія заключается въ актѣ публичнаго раскаянія и отреченія. „Глядите на меня, добрые люди, какъ я смѣлъ и независимъ: сегодня я говорю и дѣлаю какъ-разъ противное тому, что говорилъ и дѣлалъ вчера, и я не скрываюсь, не прячусь,—

*) Н. Никитинъ. „Больные люди“. „Дѣло“ 1873 г., №№ 3 и 4.

напротивъ, я открыто и торжественно объявляю, что вчера я былъ однимъ, а нынче другимъ“. И этотъ герой дня сознаетъ себя несравненно выше всѣхъ этихъ ординарныхъ „людишекъ“, которые имѣютъ глупость упорствовать въ увлеченіяхъ своей юности, которые приросли къ своимъ убѣжденіямъ, какъ улитка къ раковинѣ, которые считаютъ измѣну низостью, ренегатство — пошлостью. Разумѣется, если слишкомъ многіе и слишком[illegible]сто будутъ прибѣгать къ этому дешевому (а иногда и [illegible] выгодному) средству самовозвеличенія и самоуслажде[illegible]го можно думать, что „отреченіе“ и „раскаяніе“ утра[illegible] всѣ свои обаятельныя свойства,— изъ актовъ, требую[illegible] нѣкотораго геройства и смѣлости, они превратятся в[illegible]ы самые будничные и ординарные. Можно опасаться[illegible] у насъ это скоро и случится: слишкомъ ужъ много[illegible]ось кающихся и отрекающихся. Конечно, съ болѣе [illegible]і, общественной точки зрѣнія, это фактъ весьма утѣш[illegible]ный: юношескія увлеченія теряютъ свой вредный характеръ и становятся даже въ высокой степени полезными, служа постоянно предлогомъ къ самообличенію и самобичеванію...

Этотъ великій актъ публичнаго самозаушенія въ послѣднее время едва-ли кто производилъ надъ собою съ такимъ геройскимъ самоотверженіемъ, какъ разбираемый мною авторъ „Бѣсовъ“. Что г. Достоевскій въ юности увлекался— это ни для кого не составляетъ тайны. Ни для кого не составляло также тайны, что онъ давно, повидимому, *покаялся* и *отрекся*. Самъ г. Достоевскій употреблялъ всевозможныя усилія, чтобы разсѣять на этотъ счетъ всякія недоумѣнія. Началъ онъ, разумѣется, тихонько и исподоволь съ гг. Страхова, Аполлона Григорьева и незабвенныхъ „кнутиковъ либерализма“, а кончилъ Мещерскимъ, „Гражданиномъ“ и „Бѣсами“. „Русскій Вѣстникъ“ служилъ ему превосходной ступенью изъ стойла „Эпохи“ въ причетническую „Гражданина“; „кнутики либерализма“ и „свистуны изъ за куска хлѣба“ логически привели его къ бѣсовщинѣ г. Стебницкаго. Повидимому, раскаяніе и отреченіе полное: далѣе Лѣскова нельзя-же итти! Понятно, съ

какимъ искреннимъ удовольствіемъ должны были слѣдить прежніе его противники за успѣхами автора „Мертваго дома“ на поприщѣ покаянія. Успѣхи эти казались неподлежащими ни малѣйшему спору и вдругъ... и вдругъ — о, ужасъ! — г. Достоевскій отпирается и открещивается отъ собственнаго покаянія, г. Достоевскій жалуется, что его „не понимаютъ“, что его мысли превратно истолковываются, что его „аллегоріямъ“ придается смыслъ, котораго онѣ вовсе не имѣютъ. Бѣдный г. Достоевскій! Его постигла участь, уже разъ испытанная однимъ изъ его вѣрныхъ соратниковъ по „Эпохѣ“, г. Страховымъ. Сей философъ, въ тѣ дни, „когда намъ было ново сказанье правды и добра“ и когда онъ еще не писалъ о женскомъ вопросѣ, вздумалъ было, порѣшивъ съ цивилизаціею луны, заняться вопросомъ о цивилизаціи Польши. Вопросъ былъ очень тонкій и щекотливый; нашъ философъ, какъ говорятъ, — желалъ разрѣшить его въ смыслѣ гг. Каткова и Аксакова, но на самомъ дѣлѣ рѣшилъ его такъ, что навлекъ на себя нареканіе въ сѣяніи „смуты и крамолы“, и Аксаковъ съ Катковымъ не только не одобрили его, но едва-ли не первые обличили его въ измѣнѣ и призвали къ порядку. Философъ, — какъ, вѣроятно, помнятъ читатели, — совсѣмъ растерялся: онъ публично расплакался и покаялся. Все оказалось однимъ недоразумѣніемъ: философа не поняли; слова его превратно истолковали. Теперь та же исторія повторяется съ г. Достоевскимъ. Лѣтъ восемь тому назадъ написалъ онъ небольшой фантастическій разсказъ, который приняли въ то время за пасквиль на „одно лицо“. Г. Достоевскій, какъ теперь оказывается, очень хорошо зналъ, въ какомъ именно смыслѣ понимается и комментируется его „Крокодилъ въ Пассажѣ“, и однако, онъ тогда молчалъ, а теперь, почти черезъ цѣлое десятилѣтіе, онъ вдругъ начинаетъ увѣрять, что его превратно поняли, и что ему и на умъ не приходило писать пасквиль на упомянутое лицо.

8-го января нынѣшняго (1873) года, тотъ-же Достоевскій написалъ въ „Гражданинѣ“ фельетонъ (такъ называемый „Дневникъ писателя“), въ которомъ увѣрялъ, будто

наши присяжные одержимы маніей прощать преступниковъ, и доказывалъ вредныя и разрушительныя послѣдствія такой странной маніи. Изъ этого фельетона вообще слѣдовало, по логикѣ обыкновеннаго читателя, что авторъ не доволенъ дѣятельностію нашихъ судовъ съ присяжными и отрицательно относится къ правосудію ихъ приговоровъ. Но г. Достоевскій въ слѣдующемъ-же номерѣ „Гражданина" торжественно заявилъ, что его опять не поняли, и что статьѣ его придали такой смыслъ, какого она не имѣла или, по крайней мѣрѣ, не должна была имѣть. Изъ этихъ примѣровъ можно, кажется, заключить, что авторъ „Мертваго дома" обладаетъ печальною способностью говорить не то и не такъ, какъ-бы онъ хотѣлъ сказать; хочетъ онъ, напримѣръ, сказать, что столъ черенъ, а бумага бѣла, а по его словамъ выходитъ, будто столъ сѣръ, а бумага желта и т. п. Несчастное неумѣніе сообразовать свои мысли и желанія съ словами, или, лучше сказать, полнѣйшее отсутствіе такта,— того такта, безъ котораго и умный человѣкъ рискуетъ прослыть за полоумнаго,— вотъ это-то и составляетъ, какъ кажется, характеристическую, болѣзненную особенность таланта г. Достоевскаго. Въ головѣ у него точно сидитъ какой-то *злой духъ* и, помимо воли и желанія бѣднаго автора, постоянно заставляетъ его выдѣлывать такіе поступки и произносить такія рѣчи, отъ которыхъ ему самому впослѣдствіи приходится отрекаться. Теперь онъ отрекается отъ крокодиловской аллегоріи и отъ очевиднаго смысла своихъ фельетонныхъ упражненій въ „Гражданинѣ", завтра онъ будетъ отрекаться отъ того значенія, которое, по мнѣнію всякаго обыкновеннаго читателя, должны имѣть его „Бѣсы". Онъ точно такъ же, какъ и теперь, воскликнетъ съ благороднымъ негодованіемъ: „но гдѣ-же тому доказательства? Принесите мнѣ, что хотите: „Записки сумасшедшаго", оду „Богъ", „Юрія Милославскаго", стихи Фета,—что хотите, и я берусь вамъ вывести тотчасъ-же изъ первыхъ десяти строкъ, вами указанныхъ, что тутъ именно аллегорія о франко-прусской войнѣ или пасквиль на актера Горбунова. —однимъ словомъ, на кого угодно, на кого прикажете".

И г. Достоевскій останется въ наивномъ убѣжденіи, что онъ „жертва вечерняя“, „оскорбленная невинность“, непонятый герой, и что только человѣческая злоба можетъ усмотрѣть въ *гражданскихъ* фельетонахъ, въ его аллегоріяхъ и бѣсахъ — пасквили и инсинуаціи, что они такъ чисты и невинны въ гражданскомъ отношеніи, какъ „безглагольныя“ пѣснопѣнія Фета или „Записки сумасшедшаго“. Мнѣ кажется, что съ г. Достоевскимъ (если судить о немъ по его теперешнимъ отнѣкиваньямъ) случилось то-же, что и съ однимъ изъ его героевъ, описанныхъ въ „Двойникѣ“; читатель, можетъ быть, помнитъ, что въ „Двойникѣ“ авторъ представилъ тонкій и необыкновенно искусный анализъ нѣкотораго *психіатрическаго случая*, характеризующагося *раздвоеніемъ* сознанія. Человѣку кажется (впрочемъ самъ больной иногда этого и не сознаетъ), будто въ немъ сидятъ два человѣка, будто у него не одно, а *два* „я“, каждое *я* ведетъ независимую, самостоятельную жизнь и не только не отвѣчаетъ, но иногда даже и не сознаетъ поступковъ другого *я*. Случай этотъ хорошо извѣстенъ медикамъ и, вѣроятно, не безызвѣстенъ и самому г. Достоевскому. Въ г. Достоевскомъ тоже сидятъ два человѣка, его сознаніе раздѣлилось на два *я*: одно *я* сознаетъ себя неспособнымъ писать пасквили и гордо объявляетъ, что оно „не торгуетъ своимъ перомъ“ и гнушается даже самой мыслей о какихъ нибудь „заискиваніяхъ au haut lieu“. Другое *я* — амикошонствуетъ съ Мещерскимъ, сочиняетъ крокодиловъ, пишетъ инсинуаціи на присяжныхъ и соперничаетъ съ Лѣсковымъ въ „Бѣсахъ“. Я не хочу дѣлать первое *я* отвѣтственнымъ за поступки второго *я*; я вѣрю на слово г. Достоевскому, когда онъ увѣряетъ, будто его „не понимаютъ“, и „невѣрно перетолковываютъ“, т. е. я вѣрю на слово, что г. Достоевскій искренно отказывается отъ солидарности съ нѣкоторыми изъ своихъ поступковъ и съ настоящимъ смысломъ нѣкоторыхъ изъ своихъ писаній. Такимъ образомъ, авторъ „Бѣсовъ“ представляется намъ не просто кающимся и отрекающимся, а *двойникомъ*, одна половина котораго кается и отрекается, а другая отнѣкивается отъ этого покаянія и отреченія.

Случай не совсѣмъ ординарный, но не невозможный; и если вы вспомните, какъ странны и *бѣсноваты* почти всѣ дѣйствующія лица въ повѣстяхъ и романахъ г. Достоевскаго, если вы вспомните, что большинство ихъ отличается какими-нибудь психическими аномаліями, то вы должны будете согласиться, что аномалія самого автора не изъ самыхъ удивительныхъ.

Но дѣйствительно-ли это—только психическая аномалія, а не что-нибудь хуже... или лучше, смотря по возрѣніямъ каждаго? Иными словами, имѣемъ ли мы право вѣрить г. Достоевскому на слово и дѣлать его, такъ сказать, невмѣняемымъ?

По правдѣ говоря, вопросъ этотъ, взятый самъ по себѣ. не особенно важенъ; по крайней мѣрѣ, что касается меня, то я бы не сталъ ни на единую секунду утруждать имъ своего вниманія; оцѣнка нравственнаго достоинства и личнаго характера автора „Мертваго дома" нисколько меня не занимаетъ. Но дѣло въ томъ, что отъ того или другого разрѣшенія этого вопроса зависитъ рѣшеніе и вопроса о художественномъ талантѣ г. Достоевскаго,—а послѣдній литературная критика уже никакъ не можетъ обойти. Вотъ почему мы начнемъ именно съ провѣрки предположенія, допускающаго въ авторѣ не столько сознательную умышленность, сколько болѣзненное настроеніе ума.

Стоитъ только припомнить все, что писалъ г. Достоевскій, въ качествѣ публициста, въ журналѣ своего покойнаго брата, стоитъ вспомнить, какая тенденція была пришита къ роману „Преступленіе и Наказаніе" и какъ многимъ „Бѣсы" позаимствовались отъ „Некуда", стоитъ, наконецъ, припомнить фельетоны „Гражданина", и мы безъ труда поймемъ, почему г. Достоевскій прослылъ за „кающагося и отрекающагося". Но, съ другой стороны, въ публицистическихъ и беллетристическихъ писаніяхъ этого „покаявшагося" грѣшника невольно обращаетъ на себя вниманіе слѣдующее обстоятельство: въ своихъ публицистическихъ статьяхъ г. Достоевскій имѣетъ обыкновеніе выражаться *такъ* неясно, неопредѣленно, такъ мистически-ту-

манно, такъ аллегорично (онъ очень любитъ аллегорію), что легко можно усомниться въ томъ, понимаетъ ли онъ самъ внутренній смыслъ того, что пишетъ. Въ лучшемъ случаѣ, онъ двусмысленъ, потому онъ всегда имѣетъ и будетъ имѣть возможность жаловаться, что его не понимаютъ и превратно толкуютъ. При отсутствіи раздвоенности въ его мысляхъ, такой фактъ было бы трудно объяснить; тѣмъ болѣе, что откровенное покаяніе не должно, повидимому, допускать никакой двусмысленности, никакой неопредѣленности. Еще болѣе двусмысленности и раздвоенности представляютъ два только что упомянутыя беллетристическія произведенія автора „Мертваго дома“. Дѣло въ томъ, что г. Достоевскій во всѣхъ своихъ беллетристическихъ упражненіяхъ исключительно ограничивается анализомъ *психіатрическихъ* аномалій человѣческаго характера, живописаніемъ внутренняго міра психически больныхъ людей. Само собою понятно, что никакія тенденціозныя обобщенія тутъ невозможны: нельзя же по больнымъ людямъ судить о здоровыхъ, и *чертикъ* Достоевскаго всегда остается въ дуракахъ, а самъ Достоевскій всегда имѣетъ предлогъ отнѣкиваться отъ его проказъ. Только одна психическая раздвоенность можетъ объяснить такое удивительное явленіе: съ одной стороны, г. Достоевскій никогда не выходитъ изъ своей спеціальности и постоянно занимаетъ насъ разсказами о душевныхъ состояніяхъ разныхъ идіотовъ, маніаковъ, меланхоликовъ, эпилептиковъ; съ другой — ему очень хочется провести какую-нибудь *покаянную* тенденцію, *нѣчто* обличить и *кого-то* заклеймить. Но такъ-какъ тенденція бьетъ на изобличеніе здоровыхъ людей, а романистъ всегда имѣетъ дѣло съ больными людьми, то его тенденціозность находится въ вѣчномъ разладѣ съ его художественностью, его первое *я* съ его вторымъ *я*. Нагляднѣе всего доказываетъ это послѣднее его произведеніе — „Бѣсы“.

Помимо детальныхъ подробностей, авторъ преслѣдуетъ въ романѣ какую-то не то благонамѣренную, не то мистическую тенденцію; тенденція эта, въ короткихъ словахъ, формулируется такимъ образомъ: всѣ эти ваши, тамъ, „меч-

танія", „начинанія", „новыя люди" и т. п. — все это не болѣе, какъ бѣсы, вышедшіе изъ больной Россіи и, подобно евангельскимъ бѣсамъ, перешедшіе въ *свиней*, т. е. въ „мечтающихъ юношей". „Юношамъ", обороченнымъ въ „свиней", ничего, разумѣется, болѣе не остается, какъ „броситься со скалы въ море" и потонуть; т. е. говоря не метафорически, а юридически, окончить жизнь самоубійствомъ или подпасть подъ дѣйствіе нѣкоторыхъ статей уголовнаго кодекса... Такъ просто, такъ удивительно просто формулируетъ *Бѣсъ* г. Достоевскаго свои отношенія къ окружающей его современности; г. Достоевскій могъ бы превзойти въ подвигахъ покаянія самыхъ аскетическихъ подвижниковъ россійской литературы. Но двойственность его внутренняго міра нейтрализуетъ ядовитость его чертика и подвиги покаянія превращаетъ въ бѣзцѣльное кривляніе. Не будь авторъ двойникомъ, — этого, конечно, никогда бы не могло случиться. Но почему эта двойственность автора почти или, лучше сказать, нисколько незамѣтная въ его первыхъ произведеніяхъ, съ такою откровенною рѣзкостью обнаруживается въ его послѣднихъ писаніяхъ и въ особенности въ „Бѣсахъ"? Я думаю: тутъ-то именно и доказалъ г. Достоевскій, на собственномъ примѣрѣ, что отрицать „философію среды" еще не значитъ эмансипировать себя отъ капризныхъ „вѣяній" этой „среды". „Среда" сыграла съ нимъ злую шутку. „Ты позволяешь себѣ отрицать меня, высокомѣрно относиться ко мнѣ, можетъ сказать ему „среда" — презрительно смотрѣть на людей, которые проповѣдуютъ *мою* философію, — „философію среды" (слово, сочиненное самимъ г. Достоевскимъ), ты усматриваешь въ этой философіи подкопъ подъ общественную нравственность, обезличеніе человѣка, ниспроверженіе основъ уголовнаго, а слѣдовательно, и всякаго другого права, и т. д. Хорошо, посмотри теперь самъ на себя. Что ты такое, какъ не игрушка въ моихъ рукахъ, развѣ ты не продѣлывалъ всѣхъ тѣхъ штукъ, которыя я заставляю тебя продѣлывать? Развѣ ты не мечталъ и не увлекался, когда я мечтала и увлекалась? Развѣ ты не каялся и не отрекал-

ся, когда я каялась и отрекалась? „Среда“ жаждетъ теперь сплетенъ, скандаловъ, Офенбаха и танцъ-классовъ. Давайте больше и больше сплетенъ, скандаловъ, раздражайте сильнѣе спинной мозгъ читателя, заставляйте его волосы подыматься дыбомъ, потѣшайте его, смѣшите его или пугайте, но только не заставляйте его думать и оглядываться. „Г. Достоевскій—человѣкъ среды, и онъ не могъ остаться глухъ къ ея потребностямъ; не онъ одинъ... большинство нашихъ беллетристовъ и публицистовъ на перерывъ спѣшатъ приспособиться къ капризнымъ вожделеніямъ этой среды. Достоевскій поплылъ по теченію вмѣстѣ съ другими, но въ то время, какъ другіе умѣли отдаться этому теченію вполнѣ и нераздѣльно, нашъ бѣдный романистъ поплылъ какъ-то бокомъ, постоянно оборачивая одну половину тѣла назадъ, а другую впередъ. Тутъ-то ему и пришлось раздвоиться. Это была дань „духу времени“. И опять таки, не съ одного него была взята такая дань. Почти всѣ современные (это еще не значитъ *новые*; читатель знаетъ, что новое и современное давно уже перестали быть синонимами) беллетристы были захвачены, какъ бы въ расплохъ новѣйшими требованіями среды. „Нервнаго раздраженія, скандаловъ, ужасовъ, пикантностей“, предъявляетъ имъ среда свой ультиматумъ. А откуда имъ ихъ взять? Въ жизни, правда, никогда не ощущалось недостатка ни въ скандалахъ, ни въ ужасахъ, ни въ чертовщинѣ. Но на бумагѣ ничего не выходитъ; яркія черты дѣйствительности тускнѣютъ и стираются, все становится какъ-то вяло и безцвѣтно, какъ-то мутно и грязно. Въ результатѣ не оказывается не только никакого раздраженія, но даже и никакого пріятнаго препровожденія времени. Въ другомъ мѣстѣ я старался объяснить, почему именно это такъ и должно было случиться. У нашихъ беллетристовъ, въ силу чисто историческихъ причинъ, не могла развиться творческая фантазія, они не способны, какъ и ихъ читатели, ни глубоко чувствовать, ни смотрѣть прямо въ глаза неприглядной дѣйствительности: они способны только резонировать да анализировать, т. е. нагонять скуку, но

скуки и безъ нихъ такъ много, что читатели не знаютъ, куда отъ нея дѣваться. Не обладая ни воображеніемъ ни глубиною чувствъ и въ то же время основательно опасаясь конкуренціи такихъ виртуозныхъ сочинителей скандаловъ, какъ Дрозъ, Габоріо и пр.—наши бѣдные романисты принялись за туземную фабрикацію „ужастей" и „пикантностей". Но тутъ-то и обнаружилась вся бѣдность ихъ творческихъ рессурсовъ; на первыхъ-же шагахъ пришлось обратиться за помощью и совѣтомъ къ полицейскимъ агентамъ, судебнымъ слѣдователямъ и даже просто къ стенографисткамъ окружныхъ судовъ. Конечно, это еще не бѣда, почему же и не позаимствоваться, когда это такъ легко и общедоступно? Матеріалъ самый богатый, повидимому, изъ него можно-бы было выкроить столько романовъ, что на каждаго беллетриста пришлось-бы въ годъ, по скромному расчету, дюжины по двѣ. Но полицейскіе агенты, судебные слѣдователи и стенографы давали только грубые факты, сырье; чтобы воспользоваться ими, нужно было предварительно обработать ихъ, прогнать ихъ, какъ говорится, сквозь горнило творческаго вдохновенія; безъ такой обработки и прогонки они не только не могли произвести на читателя желаемаго эффекта, но скорѣе могли нагнать на него опять таки одну скуку. Что за удовольствіе читать въ двухъ изданіяхъ разсказъ объ одномъ и томъ-же происшествіи, что за удовольствіе, развертывая новый романъ, натыкаться на старую газетную корреспонденцію, на старый стенографическій отчетъ? Притомъ, если фактъ дѣйствительной жизни вклеивается цѣликомъ и безо всякихъ существенныхъ измѣненій въ рамки какой-нибудь вымышленной фабулы, то онъ всегда производитъ впечатлѣніе суконной заплаты на атласномъ платьѣ. Процессъ воспроизведенія и передача дѣйствительно совершившихся фактовъ— это два совершенно различные и, во многихъ отношеніяхъ, діаметрально противоположные процесса, смѣшивать ихъ никогда не слѣдуетъ. Чѣмъ болѣе второй процессъ будетъ вмѣшиваться въ дѣятельность перваго, тѣмъ несовершеннѣе и неудовлетворительнѣе будетъ послѣдній. Беллетристъ,

пичкающій свои романическіе вымыслы сырыми и непереработанными фактами и анекдотами изъ дѣйствительной жизни, перестаетъ быть художникомъ и превращается въ простого хроникера, а подчасъ и въ сплетника. Наши беллетристы способны лишь на живописаніе *внутреннихъ* состояній человѣка, на отдѣлку разныхъ психологическихъ тонкостей и деталей, а между тѣмъ, та-же среда, которая выработала въ нихъ этотъ ограниченный талантъ, та-же среда требуетъ отъ нихъ теперь „пикантнаго“ и „ужаснаго“. За отсутствіемъ у насъ литературы скандалезныхъ мемуаровъ и семейныхъ хроникъ, беллетристамъ по необходимости приходится дѣлать постоянныя вторженія въ область уголовно-полицейскаго права. При нѣкоторомъ навыкѣ и при нѣкоторомъ (хотя бы и весьма поверхностномъ) знакомствѣ съ практикою полицейскихъ сыщиковъ, слѣдователей и т. п. можно, разумѣется, и не придерживаться слишкомъ слѣпо документальныхъ данныхъ, а сочинять уголовные случаи „изъ головы“, какъ это, напримѣръ, дѣлаетъ извѣстный Крестовскій. Но отъ такого „сочинительства“ произведеніе автора не становится ни на волосъ художественнѣе, оно только перестаетъ быть правдоподобнымъ и нерѣдко является, дѣйствительно, стоящимъ „внѣ законовъ“ всякаго здраваго смысла. Впрочемъ, г. Достоевскій не принадлежитъ къ числу подобныхъ „сочинителей“, онъ всегда строго и буквально придерживается „документовъ“; безъ ихъ помощи онъ не въ состояніи сочинить ни одной „ужасти“, даже ни одной сплетни, ни одного скандала. Да, даже простого скандала, если онъ требуется романическимъ вымысломъ, онъ не способенъ изобрѣсти путемъ самостоятельнаго творчества.

Романъ г. Достоевскаго „Бѣсы“ доказываетъ самымъ безспорнымъ образомъ то, что было, впрочемъ, очевидно и по первому его роману „Бѣднымъ людямъ,“—отсутствіе въ авторѣ всякой творческой фантазіи. Напрасно авторъ думалъ впослѣдствіи (въ „Преступленіи и Наказаніи,“ и въ „Идіотѣ“), когда явился спросъ на „ужасное“, дополнить этотъ существенный недостатокъ своего таланта фан-

тастическими вымыслами; напрасно онъ прибѣгалъ къ театральнымъ эффектамъ, безжалостно эксплуатируя и свои собственные нервы и нервы своихъ читателей, — изъ его потугъ ничего не выходило, кромѣ самыхъ безобразныхъ нелѣпостей, во вкусѣ французскихъ беллетристическихъ ремесленниковъ. Только у послѣднихъ фантастическій вымыселъ всегда отличается бол[illegible] смѣлостью, чѣмъ у нашего автора. Въ „Бѣсахъ" о[illegible]ательно обнаруживается творческое банкротство автора [illegible]ѣдныхъ людей": онъ начинаетъ переписывать судебну[illegible]онику, путая и перевирая факты, и наивно вообража[illegible], будто онъ создаетъ художественное произведеніе. [illegible] по большинству нашихъ беллетристовъ, и г. Достоевс[illegible] способенъ лишь на анализъ внутренняго міра человѣ[illegible]ой души, на психологическое резонерство; когда онъ [illegible]одитъ за предѣлы этого внутренняго міра, когда онъ дастъ волю своей творческой фантазіи, когда изъ анализирующаго психолога онъ пытается стать обобщающимъ художникомъ, онъ впадаетъ въ нелѣпость и односторонность, и тутъ-то его талантъ выказывается во всей своей яркости. Вы видите, что дальше психологическаго анализа онъ не можетъ итти, что за предѣлами психологіи онъ совершенно безсиленъ. Но и внутренній міръ человѣческой души доступенъ его анализу только *отчасти*, только въ нѣкоторыхъ своихъ проявленіяхъ; и въ этомъ отношеніи г. Достоевскій мало чѣмъ отличается отъ прочихъ россійскихъ романистовъ. Я уже имѣлъ случай не разъ замѣтить, что наши романисты ограничиваются обыкновенно разработкою одной какой-нибудь группы человѣческихъ чувствъ, душевныхъ настроеній и т. п. одной какой - нибудь стороною человѣческаго характера. Излюбленное чувство ихъ—любовь, излюбленное душевное состояніе—почти всегда раздоръ съ самимъ собою и, такъ сказать, внутренній маразмъ, — привлекаетъ къ себѣ все вниманіе романиста, на нихъ сосредоточивается весь интерессъ воспроизводимой имъ жизни,—все остальное стушевывается и отходитъ на задній планъ. Оттого нашему романисту никогда не удавалось и не удается создавать цѣ-

лостные характеры, но за то часто удавалось и удается съ поразительною рельефностью живописать нѣкоторыя отдѣльныя чувства и изолированныя душевныя состоянія. У г. Достоевскаго есть тоже своя група психическихъ явленій, и ихъ исключительнымъ анализомъ, ихъ постояннымъ воспроизведеніемъ исчерпывается весь его талантъ. Излюбленная имъ група, съ одной стороны, довольно тѣсно примыкаетъ къ тѣмъ душевнымъ состояніямъ, которыя, по преимуществу, эксплуатируются россійскими беллетристами; но, съ другой стороны, она, если хотите, и весьма рѣзко отличается отъ нихъ. Впрочемъ, это различіе, на самомъ дѣлѣ, не такъ велико, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Герои г. Достоевскаго почти всегда ненормальные люди съ рѣзко обнаруживаемыми признаками умственной болѣзни; авторъ съ особенною любовію анализируетъ именно болѣзненныя явленія человѣческой души, извращенія человѣческихъ чувствъ и мыслей; психіатрія — вотъ его спеціальность, и вотъ почему онъ занимаетъ какъ бы исключительное мѣсто въ стаѣ славныхъ нашихъ беллетристовъ; однако тѣ душевныя состоянія, которыя чаще всего воспроизводятся нашими беллетристами, не только не отличаются никакою слишкомъ рѣзкою чертою отъ болѣзненныхъ явленій, воспроизводимыхъ г. Достоевскимъ, но, напротивъ, находятся съ ними въ близкомъ родствѣ: послѣднія составляютъ какъ-бы естественный продуктъ, окончательный результатъ первыхъ. Душевная дряблость и инертность, вѣчная возня съ своими внутренностями, вѣчный разладъ съ самимъ собою, вѣчное резонерство, отсутствіе живой, свободной, чуждой мелко-эгоистическихъ интересовъ дѣятельности, рѣшительная неспособность активнаго сопротивленія гнетущимъ вліяніямъ „среды“, — вотъ основной фонъ, вотъ тѣ существенные моменты, изъ которыхъ по преимуществу слагаются характеры героевъ, живописуемыхъ нашими романистами. Конечно, эти моменты выбраны не случайно, не въ силу какого-нибудь каприза; они дѣйствительно являются господствующими моментами въ характерахъ живыхъ людей нашей мѣщанско-интеллигентной среды,

въ ея семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ, въ ея теоретическихъ идеалахъ и нравственныхъ доктринахъ, во всемъ складѣ ея умственнаго міросозерцанія. Но хотя эти свойства нашего характера находятъ свое полное оправданіе въ условіяхъ нашихъ общественныхъ отношеній, хотя они составляютъ законный продуктъ нашего историческаго образованія, тѣмъ не менѣе въ нихъ нельзя не видѣть здороваго, нормальнаго проявленія психической жизни человѣка. Не составляя сами по себѣ болѣзни, они составляютъ, однако, какъ-бы предверіе болѣзни, почву, въ высокой степени благопріятную для развитія психическихъ аномалій; ими начинается вырожденіе человѣческаго характера,—вырожденіе, оканчивающееся идіотизмомъ, эпилепсіею, нравственнымъ или мыслительнымъ помѣшательствомъ. Особенно легко и почти незамѣтно они переходятъ въ такъ называемую *меланхолію*; въ большей части случаевъ почти невозможно даже опредѣлить, гдѣ кончается та „ветхость внутренняго человѣка", которую воспѣвалъ г. Тургеневъ, и гдѣ начинаются тѣ ясно выраженныя формы умственной болѣзни, которыя съ большимъ искусствомъ анализируетъ г. Достоевскій. Въ произведеніяхъ самого г. Достоевскаго читатель встрѣтитъ множество характеровъ, представляющихъ какъ бы переходную ступень отъ здоровья къ болѣзненному состоянію. Таковъ, напримѣръ, характеръ героя „Бѣдныхъ людей", Раскольникова въ „Преступленіи и Наказаніи", Прокофія въ „Идіотѣ", Вельчанинова въ „Вѣчномъ мужѣ", наконецъ, Степана Трофимовича Верховенскаго въ „Бѣсахъ" и т. д..."

Далѣе, переходя къ анализу дѣйствующихъ лицъ романа „Бѣсы", Никитинъ говоритъ: „Люди изъ „либераловъ-идеалистовъ" à la Верховенскій, или матери изъ категоріи помѣщицъ-самодурокъ à la Ставрогина, имѣли прекрасное обыкновеніе держаться относительно воспитанія своихъ дѣтей спокойнаго правила laissez-faire. Сбывъ ребенка въ какое-нибудь казенное заведеніе, сдавъ на руки гувернеру или учителю, они считали свою воспитательную роль оконченною и тщательно воздерживались отъ всякаго

вліянія на подроставшее поколѣніе. Конечно, это дѣлалось не ради какого-нибудь отвлеченнаго принципа, а просто по лѣни, эгоизму да невѣжеству. Люди, подобные Верховенскимъ и Ставрогинымъ, очень хорошо знали, что въ тепличной атмосферѣ крѣпостного быта дѣти должны были расти чисто-растительною жизнію; отъ нихъ не требовалось ни развитія активной воли, ни воспитанія общественнаго чувства, тѣмъ менѣе образованія, которое бы становилось въ разрѣзъ съ общественнымъ кодексомъ крѣпостныхъ понятій и привычекъ. Такъ какъ будущая карьера ребенка заранѣе опредѣлялась извѣстнымъ служебнымъ рангомъ, и матеріальное его обезпеченіе готовымъ крестьянскимъ оброкомъ, то родительскія заботы о раціональномъ воспитаніи были совершенно излишни. Да и къ чему бы послужило это воспитаніе, если бъ оно и сознавалось въ такой невѣжественной и лѣнивой школѣ. какъ меменьки Ставрогины и папеньки Верховенскіе, когда дальнѣйшее умственное развитіе дѣтей обусловливалось, по преимуществу, интересами и умственнымъ складомъ той среды, въ которую они попадали. Правда, въ большинствѣ случаевъ, интересы и умственное міросозерцаніе этой среды ничѣмъ существеннымъ не отличались отъ интерессовъ и міросозерцанія родителей. Дѣти попадали обыкновенно въ житейскіе тиски такихъ же самодуровъ или такихъ же тряпичныхъ идеалистовъ, какими были и ихъ почтенные папеньки и маменьки. Но съ дѣтьми гг. Верховенскихъ и Ставрогиныхъ приключилась неожиданная штука: въ тотъ самый моментъ, когда имъ пришло время учиться, та среда, которой было препоручено ихъ обученіе. подверглась вторженію нѣкоторыхъ новыхъ, рутинно непредусмотрѣнныхъ, умственныхъ элементовъ. Дѣтей охватилъ потокъ какихъ-то „идей“, ни разу еще не попадавшихъ въ прописи, какихъ-то „высшихъ интерессовъ“, весьма мало гармонировавшихъ съ реальными интерессами ихъ отцовъ. Можетъ быть, эти дѣти, всѣ эти Верховенскіе, Ставрогины, Шатовы. Кириловы, Виргинскіе etc. etc. при иной наслѣдственной организаціи и не оказались бы слишкомъ падкими на „новыя идеи“ и „высшіе интересы“; но организація то ихъ была

ужъ очень воспріимчива. Восковыя свойства нашихъ душъ, конечно, еще не разъ дадутъ себя знать въ нашей послѣдующей исторіи, и имъ мы будемъ обязаны еще многими чудными метаморфозами въ близкомъ будущемъ. Но едва ли хоть одна изъ предстоящихъ намъ метаморфозъ будетъ заключать въ себѣ столько трагическаго элемента, сколько та метаморфоза, которая превра[illegible] законныхъ дѣтищъ гг. Верховенскихъ, Ставрогиныхъ, Ш[illegible]овыхъ, Кирилловыхъ etc. въ „рыцарей идей“. Это была [illegible]осто какая-то глупая и въ то же время безчеловѣчная [illegible]онія судьбы: изъ воска вздумали лѣпить фигуры, предн[illegible]ченныя для мышленія! Какая несообразность! Но это [illegible]ще не все: позволивъ этимъ фигуркамъ думать, желать, [illegible]создавать великолѣпнѣйшіе идеалы, имъ не дали ни ма[illegible]йшей возможности осуществлять свои желанія, пере[illegible]ь теорію въ практику, идеалъ — въ дѣйствительность. [illegible]хъ идеи были какъ бы законопачены въ ихъ головахъ; если имъ и позволялось иногда вылѣзать наружу, то все-таки не иначе, какъ подъ формою все той же абстрактной идеи. Вѣчно носить въ умѣ идеи, которымъ никогда не суждено перейти въ дѣло, т. е. дойти до послѣдняго фазиса развитія каждой мысли, — это уже само по себѣ пытка, и страшно-мучительная пытка. Однако, и это еще было не все. Можно жить, и даже очень пріятно жить, одними идеями, не мечтая объ ихъ практическомъ осуществленіи, если только въ запасѣ имѣется достаточное количество пищи для постояннаго обновленія и развитія этихъ идей. Въ этомъ случаѣ самый процессъ развитія идей до такой степени можетъ увлечь человѣка въ міръ безпечальнаго созерцанія „отвлеченностей“, что до всего прочаго, до практическаго міра реальныхъ конкретностей ему и дѣла никакого не будетъ; онъ станетъ самодовольно наслаждаться въ своемъ царствѣ, и хотя это царство только идеальное царство, но онъ не промѣняетъ его на царство реальное, земное. Какъ бы ни шла въ разрѣзъ дѣйствительность съ его идеалами — это нисколько не разстроитъ его счасливаго настроенія духа, а только еще [illegible]нѣе заставитъ его привязаться къ послѣднимъ и стать

въ сторонѣ отъ первой. Не въ такомъ положеніи очутилось несчастное потомство господъ Верховенскихъ и Ставрогиныхъ. Въ ихъ головы было втиснуто нѣсколько идей, но имъ не надо было никакихъ прочныхъ рессурсовъ для питанія и развитія этихъ идей. Жить идеями, полюбить эти идеи, и въ то же время не имѣть возможности ни осуществлять ихъ во внѣ, ни поддерживать внутренній процессъ ихъ развитія — вотъ по истинѣ великая пытка, способная сломить и *желѣзнаго*, не только *восковаго* человѣчка! И на эту пытку осудила жизнь ничѣмъ неповинное потомство Верховенскихъ и Ставрогиныхъ. Конечно, и сами родители не могутъ тутъ „умыть рукъ“. Не могутъ они сказать: „мы тутъ не причемъ; независящія отъ насъ обстоятельства сдѣлали изъ нашихъ дѣтей то, чѣмъ они никогда не сдѣлались бы, если бы...“ и т. д. Правда, на счетъ идей — отцы неповинны; эти идеи, по большей части, забрались въ юныя головы, какъ уже сказано, безъ отцовской воли и благословенія. Но воскоподобный характеръ, но трусливая пассивность, слабость мозговъ, привычка къ умственной спячкѣ—развѣ это не отцовское наслѣдіе и развѣ не ему обязаны дѣти своей трагической судьбой? Конечно, тутъ были и другія условія, имѣвшія роковое значеніе въ ихъ жизни, но все-таки за ними никогда не слѣдуетъ просматривать вліяніе наслѣдственности. Спору нѣтъ, что дѣйствительность слишкомъ мало гармонировала съ лучшими стремленіями, навѣянными новыми идеями, конечно, требовалось много героизма, чтобы вступить съ нею въ борьбу; все это вѣрно. Однако-жъ вѣрно и то, что борьба, какъ бы она ни была сама по себѣ безнадежна, въ тысячу разъ лучше вѣчнаго приготовленія къ ней, безконечныхъ сборовъ и никогда неосуществляющихся ожиданій. Тамъ все - таки дѣятельность, тамъ жизнь, здѣсь пассивное, сонное прозябаніе. Человѣкъ, вступившій въ борьбу, не чувствуетъ ранъ, наносимыхъ ему вражескимъ оружіемъ, онъ не замѣчаетъ своей крови, ему некогда ни скучать ни отчаиваться; онъ забываетъ о самомъ себѣ, и хотя онъ погибаетъ, но вы не назовете его несчастнымъ. Несчастенъ, глубоко

несчастенъ только тотъ человѣкъ, который падаетъ и изнемогаетъ еще прежде, чѣмъ вступитъ въ реальную борьбу, который самъ вѣчно убиваетъ себя малодушнымъ сомнѣніемъ и, постоянно приготовляясь къ чему-то, постоянно опускаетъ руки, съ отчаяніемъ восклицая: Зачѣмъ? Что изъ этого выйдетъ? Что я могу сдѣлать? При подобномъ настроеніи духа, идея, требующая энергіи, является дѣйствительно мучителемъ человѣка, она тиранитъ его и, взамѣнъ этихъ мученій, не обѣщаетъ ему никакихъ радостей. Разъ попавъ въ человѣческую голову, и не находя тамъ никакихъ матеріаловъ для своего дальнѣйшаго внутренняго развитія и никакихъ средствъ для своего внѣшняго осуществленія на практикѣ, она становится какимъ-то уже чистопатологическимъ явленіемъ. Задержанная въ своемъ логическомъ развитіи, она безпорядочно вмѣшивается во всѣ сферы внутренней жизни человѣка, насильно ввязывается въ такіе психическіе процессы, которые безъ нея совершались бы гораздо правильнѣе; она получаетъ какое-то уродливое, ненормальное развитіе... Прибавьте къ этому тотъ унаслѣдованный болѣзненный темпераментъ, о которомъ я говорилъ выше, и вы легко поймете, что метаморфоза, превратившая „либераловъ-идеалистовъ“, „самодуровъ“, лакействующихъ крѣпостныхъ въ „рыцарей идей“, въ протестантовъ, что эта метаморфоза создала почву, въ высокой степени благопріятную для развитія психическихъ аномалій, умственнаго помѣшательства. Я не хочу этимъ сказать, будто умственное помѣшательство было необходимымъ, естественнымъ продуктомъ тѣхъ психическихъ и общественныхъ условій, при которыхъ росли разные Шатовы, Кирилловы, Верховенскіе и имъ подобные,—что личности, въ родѣ названныхъ, должны быть типическими представителями своего поколѣнія. Нѣтъ, и у этого поколѣнія, несмотря на всѣ благопріятныя обстоятельства, болѣзненное вырожденіе характера уже потому не могло сдѣлаться общимъ, обыденнымъ явленіемъ, что оно имѣло, подобно поколѣнію отцовъ, восковую душу. Восковая душа, облегчивъ съ одной стороны, усвоеніе новыхъ идей, проникновеніе новыми интересами, съ другой, пре-

дохранила юношей отъ печальныхъ послѣдствій метаморфозы, ускорила или, по крайней мѣрѣ, сдѣлала возможнымъ ея обратный процессъ: отъ „рыцаря идеи“ къ либералу-идеалисту, отъ смѣлаго теоретика къ осторожному практику, отъ протестанта къ вялому самодуру или къ пассивно подчиняющемуся человѣку. Восковая душа спасла многихъ отъ отчаянія и самыхъ непримиримыхъ превратила въ тихенькихъ овечекъ; она приспособила большинство къ новымъ или, лучше сказать, новѣйшимъ требованіямъ жизни, и, такимъ образомъ, благодаря ей, дѣтская трагедія окончилась водевилемъ съ переодѣваніями. Восковая душа облегчила непосредственный переходъ дѣтей господъ Верховенскихъ и Ставрогиныхъ въ адвокатуру, земство, пристроила ихъ къ концессіямъ, ко всевозможнымъ акціонернымъ компаніямъ, къ желѣзнодорожному дѣлу, къ обществу поощренія русской торговли и промышленности и т. п. Вообще воскъ, какъ извѣстно, вещество весьма пригодное для выдѣлки маленькихъ фигурокъ, и восковаго рыцаря идей очень легко было перелѣпить въ современнаго Молчалина. Для того, чтобы человѣкъ могъ помѣшаться на идеѣ, нужно, чтобы онъ былъ вообще способенъ крѣпко прилѣпиться къ идеѣ, чтобы она сдѣлалась выдающимся, господствующимъ факторомъ его душевной дѣятельности. Но воскъ очень мягокъ, и вылѣпленныя изъ него формы не отличаются большою прочностью; ихъ безъ особаго труда можно смять и передѣлать. Вотъ почему, какъ я уже сказалъ, помѣшательство, несмотря на условія, несомнѣнно ему благопріятствовавшія, все таки не сдѣлалось явленіемъ общимъ, а скорѣе является, какъ нѣкоторое исключеніе. Но если рѣзко выраженныя формы умственныхъ болѣзней и составляютъ рѣдкое изъятіе изъ общаго правила, то нельзя того же сказать о формахъ, менѣе ясно выраженныхъ, о тѣхъ формахъ, которыя являются какъ-бы переходною ступенью между здоровымъ и больнымъ состояніемъ человѣческой души. Идеи, запертыя въ головахъ, въ уединенное заключеніе и посаженныя на весьма скудную діэту, не могутъ развиваться вполнѣ нормально: желанія, которымъ никогда

не суждено удовлетворяться, не могутъ не оставлять слѣда какой-то приниженности, недовольства на общемъ фонѣ психической жизни. И пока усиленно законопаченныя идеи окончательно не повытряхаются изъ головы, пока не замрутъ желанія и не затушуются высшіе интересы другими интересами, хотя и не столь возвышенными, но за-то болѣе реальными, пока всѣ эти метаморфозы не совершатся въ восковой душѣ юноши, до тѣхъ поръ въ этой душѣ есть много поводовъ къ развитію психическихъ аномалій. Мы указали нѣкоторые изъ нихъ, но еще не всѣ; были и другіе и, быть можетъ, не менѣе существенные. Здѣсь намъ нѣтъ надобности перечислять ихъ отъ перваго до послѣдняго, но нельзя не остановить вниманія, по крайней мѣрѣ, хоть на одномъ изъ нихъ,—на рѣшительномъ преобладаніи интеллектуальной жизни надъ прочими сторонами характера дѣтей. Такое отсутствіе равновѣсія въ отправленіяхъ психическаго организма, взятое само по себѣ, можетъ быть, и не составляетъ недостатка, и во всякомъ случаѣ никто не увидитъ въ немъ болѣзненную аномалію. Но вспомните, что психическій организмъ младшихъ Ставрогиныхъ, Верховенскихъ и др. былъ весьма мало подготовленъ къ подобному казусу; вспомните, что длинный рядъ предшествующихъ генерацій велъ жизнь, по преимуществу, растительную; что у этихъ полу-людей элементъ чувственно-животный рѣшительно преобладалъ надъ элементомъ интеллектуальнымъ; вспомните, что нѣкоторыя изъ этихъ дѣтей, какъ, напр., Шатовъ, непосредственно вышли изъ той среды, „суровой среды“, гдѣ, по мѣткому замѣчанію одного современнаго поэта, „поколѣнія людей живутъ безсмысленнѣй звѣрей и мрутъ безъ всякаго слѣда и безъ урока для дѣтей“. И вдругъ этотъ слабый интеллектъ, непривыкшій къ самостоятельной работѣ, всегда игравшій второстепенную подчиненную роль, возводится на степень главнаго, преобладающаго фактора душевной жизни; ему передаютъ всѣ бразды в' ,тренняго управленія, ему стараются насильственно подчинить тѣ чисто-инстинктивныя проявленія человѣческой природы, которыя еще такъ недавно считались

неподлежащими никакому разумному контролю. Развѣ подобный психическій переворотъ, развѣ это неожиданное перемѣщеніе центровъ тяжести психической жизни не грозитъ весьма серьезными опасностями бѣдному уму дѣтей? Правда, и тутъ восковыя свойства ихъ души помогли имъ и счастливо выручили изъ бѣды; „жизнь по принципу“, надъ которой въ свое время такъ много смѣялись, въ которой. дѣйствительно, часто встрѣчалось не мало нелѣпостей и эксцентричностей, но которая все-таки показывала, что у человѣка преобладаетъ критика надъ рутиною, разумность надъ животностью, — эта жизнь очень скоро выродилась въ пустое и водянистое резонерство, язву нашихъ дней.

Наконецъ, нельзя не указать еще на одно обстоятельство, въ высокой степени благопріятствовавшее болѣзненному вырожденію характеровъ, — это тѣ внѣшнія условія, та матеріальная обстановка, въ которой очутилось большинство дѣтей послѣ отмѣны крѣпостного права. Здѣсь не мѣсто говорить подробно объ этихъ условіяхъ, но никто не станетъ отрицать, что даже съ чисто-гигіенической точки зрѣнія они были крайне неудовлетворительны. Жизнь пролетарія, а именно такую жизнь приходилось вести разнымъ Верховенскимъ, Виргинскимъ, Шатовымъ, Кирилловымъ и т. п., уже сама по себѣ представляетъ весьма мало шансовъ для здороваго развитія человѣческаго организма. Только натуры энергическія, только дѣятельные и мужественные характеры, только люди, привыкшіе къ самостоятельному труду, не раздавленныя ея тяжелымъ бременемъ, только они въ состояніи выйти цѣлыми и невредимыми изъ той тяжелой борьбы, которую она имъ готовитъ. Но потомство людей сороковыхъ годовъ, какъ мы уже знаемъ, не отличалось подобными качествами; имъ негдѣ и некогда было выработаться. Крѣпостное право — завѣщало имъ лѣнь. непривычку къ дѣятельной жизни, пассивность и вялость. И съ такими свойствами имъ пришлось попасть въ обстановку пролетарія! Правда, и это вліяніе не долго имѣло мѣсто. Скоро для дѣтей открылись заманчивыя перспективы

практической дѣятельности: потребовались „дѣятели и сѣятели“, открылись вакансіи въ судебномъ вѣдомствѣ, пошли въ ходъ разные банки, акціонерныя, торговыя, техническія и иныя общества, бѣдняку была брошена довольно вкусная подачка, и настроеніе его духа совершенно измѣнилось. Но все это случилось уже нѣсколько позже. Условія жизни юношества измѣнились, и восковыя свойства его души гарантировали его отъ дальнѣйшихъ [illegible]ственныхъ и нравственныхъ потрясеній. Тѣмъ не менѣе, однако, раньше, какъ мы старались выше объяснить, несомнѣнно существовалъ такой моментъ, когда всѣ условія—и наслѣдственныя предрасположенія, и внѣшняя обстановка, и характеръ воспитанія,—были въ высокой степени благопріятны для развитія психическихъ аномалій, весьма близко приближающихся къ концу пограничной области, отдѣляющей болѣзнь отъ здоровья.

Г. Достоевскій беретъ на себя трудъ анализировать эти аномаліи. Задача, повидимому, вполнѣ соотвѣтствующая его таланту, таланту, весьма искусному въ психіатрическомъ анализѣ и никогда не выходящему за предѣлы этого анализа. Однако, на этотъ разъ работа оказалась совершенно не подъ силу автору. Я уже выше сказалъ, что г. Достоевскій способенъ на анализъ лишь *нѣкоторыхъ* психіатрическихъ явленій; изъ „Бѣсовъ“ оказывается, что это именно тѣ явленія, которыя, такъ сказать, болѣе или менѣе присущи его собственной душѣ; что онъ, какъ и большинство нашихъ беллетристовъ, совершенно неспособенъ къ объективному наблюденію; созерцая собственныя внутренности, наблюдая за проявленіями своей личной психической жизни, г. Достоевскій, какъ истый русскій романистъ, воображаетъ, будто онъ изучаетъ дѣйствительность и создаетъ характеры живыхъ людей. Въ „Бѣсахъ“ авторъ представляетъ намъ цѣлую галлерею помѣшанныхъ юношей: Верховенскаго, Ставрогина (сыновей), Шатова, Кириллова, Шигалева, но ни въ одномъ изъ нихъ вы не увидите ни образа ни подобія живого человѣка, это какіе-то манекены, и къ каждому манекену нашитъ ярлыкъ съ

означеніемъ характера бреда, которымъ онъ одержимъ. Одинъ бредитъ (въ буквальномъ смыслѣ этого слова) проэктомъ будущаго соціальнаго устройства, по которому все человѣчество должно быть раздѣлено на двѣ неравныя части: одна десятая получаетъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми; а эти послѣдніе превращаются въ какихъ-то вьючныхъ животныхъ; и путемъ длиннаго ряда перерожденій достигаютъ состоянія первобытной райской невинности. Другой бредитъ теоріею самоубійства; третій бредитъ теоріею самого г. Достоевскаго, изложенною въ „Гражданинѣ“, *о народѣ-богоносцѣ*, — теоріею, которая отождествляетъ понятіе о Богѣ съ понятіемъ о національности. Четвертый бредитъ теоріею какого-то разрушенія, долженствующаго произойти при помощи всеобщаго разврата, оглупѣнія, мошенничества и подставного Ивана Царевича. Пятый ничѣмъ особеннымъ не бредитъ, но развратничаетъ до самозабвенія, кусается и выкидываетъ всевозможныя эксцентрическія штуки. За вычетомъ бреда, манекены г. Достоевскаго ничѣмъ особеннымъ другъ отъ друга не отличаются: Шатова не распознаешь отъ Кириллова, Верховенскаго отъ Ставрогина и т. п. Ихъ бредъ не находится ни въ какой логической связи съ ихъ характерами, да и характеровъ-то у нихъ никакихъ нѣтъ. Шатовъ и Кирилловъ внѣ сферы своего бреда совсѣмъ какъ бы не существуютъ; Верховенскій сколько-нибудь своеобразенъ только въ своей фанатической исповѣди Ставрогину. Но эта исповѣдь нимало не гармонируетъ съ общимъ характеромъ героя, выкроеннаго по шаблону лѣсковскихъ нигилистовъ. Ставрогинъ — это какое-то блѣдное воплощеніе какой-то мистической теоріи о характерѣ „русскаго человѣка“, подробно излагаемой авторомъ въ фельетонахъ „Гражданина“. Съ точки зрѣнія этой теоріи русскій человѣкъ, съ одной стороны, постоянно хочетъ дерзнуть, съ другой стороны, — дерзнувъ, стремится къ смиренному покаянію и самобичеванію. Такого-то, на все дерзающаго и кающагося человѣка тщится г. Достоевскій изобразить въ взбалмошномъ сынкѣ Варвары Петровны. Впрочемъ,

моментъ покаянія оттѣненъ весьма слабо. Ставрогинъ хотя и терпѣливо сноситъ плюхи „за грѣхи свои", но вообще кается не особенно усердно. За это авторъ истомляетъ его внутренними страданіями, доводитъ до отчаянія и заставляетъ повѣситься. Но, независимо отъ полнаго отсутствія художественности въ изображеніи характеровъ „юныхъ безумцевъ", субъективизмъ автора ъ особою рельефностью высказывается въ содержаніи о бреда, который онъ влагаетъ въ уста своихъ маньяк ъ...

Если бы наше юношество вос тывалось подъ исключительнымъ вліяніемъ достопамятнаго Ивана Яковлевича, если бы оно почерпало всю свою муд ость изъ богословскихъ писаній Хомякова и философскихъ трактатовъ Кирѣевскаго, если бы его, вмѣсто гимназіи и верситетовъ, отправляли въ монастыри и къ отцамъ-схимникамъ, если-бы оно съ пеленокъ было окружено спертою атмосферою семинарской схоластики, казарменной школы и юродствующаго невѣжества,—тогда, и только тогда, изъ его среды могли бы выходить больные, одержимые шатовскимъ и кирилловскимъ бредомъ. Авторъ какъ будто не подозрѣваетъ, что между міросозерцаніемъ сумасшедшаго и міросозерцаніемъ той среды, изъ которой онъ вышелъ, всегда существуетъ самая тѣсная, неразрывная связь. Его занимаютъ тѣ-же вопросы, онъ разрабатываетъ тѣ-же темы, которые занимаютъ и разрабатываются окружающими его людьми; онъ никогда не выходитъ изъ круга *ихъ* интересовъ, *ихъ* мыслей. „Среда" доставляетъ ему весь тотъ психическій матеріалъ, весь тотъ умственный фондъ, изъ котораго его больной мозгъ строитъ свои болѣзненныя представленія и черпаетъ свои idées fixes. Идеи сумасшедшаго отличаются отъ идей породившей его среды не по своему содержанію, а по характеру своего развитія и въ особенности по своимъ отношеніямъ къ прочимъ факторамъ психической жизни человѣка. Какъ ни одинъ человѣкъ не можетъ видѣть во снѣ ничего такого, чего-бы онъ сознательно или безсознательно не передумалъ и не перечувствовалъ наяву,—такъ точно ни одинъ психически больной не можетъ формировать свои идеи независимо отъ данныхъ,

—сознательно или безсознательно усвоенныхъ отъ окружающихъ его людей. Поэтому, по характеру сумасшествія и по содержанію бреда больного, всегда возможно опредѣлить характеръ и міросозерцаніе среды, изъ которой онъ вышелъ. Въ болѣзненныхъ представленіяхъ уродцевъ, созданныхъ не совсѣмъ нормальной фантазіей г. Достоевскаго,—уродцевъ, помѣшавшихся на какихъ-то неопредѣленно мистическихъ пунктахъ,—очевидно, нисколько не отражается міросозерцаніе той среды, — среды лучшей образованной молодежи, изъ которой они вышли. Правда, пунктъ помѣшательства Верховенскаго нѣсколько болѣе правдоподобенъ. Его idée fixe рѣзко отличается отъ туманныхъ фантасмагорій Шатова и Кириллова. Между нею и вопросами, волнующими ту среду, изъ которой вышелъ Верховенскій, дѣйствительно существуетъ нѣкоторая связь, и помѣшательство на ней сына Степана Трофимовича, не представляя никакого абсурда, могло бы, напротивъ, стать очень благодарною темою для психіатрическаго анализа. Но тутъ-то вотъ и обнаружилось все безсиліе авторскаго таланта, способнаго лишь на воспроизведеніе своихъ субъективныхъ ощущеній. Онъ никогда не наблюдалъ и не можетъ себѣ представить, даже въ самыхъ общихъ, я не говорю уже — образныхъ, чертахъ психическое состояніе человѣка, помѣшавшагося на идеѣ разрушенія. Потому идея у него осталась сама по себѣ, а человѣкъ самъ по себѣ; между бредомъ и бредящимъ не существуетъ ни малѣйшей связи. Если бы какой-нибудь шутникъ вырѣзалъ изъ романа тѣ страницы, на которыхъ напечатанъ разговоръ Верховенскаго съ Ставрогинымъ объ Иванѣ Царевичѣ, то читателю и въ умъ бы никогда не пришло, что Верховенскій фанатикъ, одержимый несбыточными идеями. Вообще характеръ этой личности составленъ механически крайне грубымъ и топорнымъ образомъ, изъ двухъ частичекъ, не имѣющихъ между собою ничего общаго: съ одной стороны, авторъ, позаимствовавъ изъ одного стенографическаго отчета нѣсколько біографическихъ данныхъ объ одномъ подсудимомъ, вздумалъ воспроизвести ихъ въ лицѣ своего героя; съ другой стороны,

онъ подслушалъ гдѣ-то чью-то мысль о необходимости „разрушенія“, не понялъ ея, перепуталъ, затѣмъ эту перепутанную мысль облекъ въ формы безсвязнаго бреда и объявилъ, будто этотъ бредъ—idée fixe его героя. Но какой-же читатель этому повѣритъ? Читатель видитъ только плохое олицетвореніе одного стараго стенографическаго отчета и пришитую къ нему бѣлыми нитками какую-то нелѣпость, самимъ авторомъ изобрѣтенную и ничего общаго съ его стенографическимъ олицетвореніемъ не имѣющую. Совершенно не понимая, не имѣя даже ни малѣйшаго предчувствія о тѣхъ психическихъ и физіологическихъ феноменахъ, которые совершаются въ душѣ человѣка, одержимаго какою-нибудь idée fixe, авторъ наивно воображаетъ, будто достаточно заставить человѣка говорить безсвязный отрывочный вздоръ, при томъ вздоръ ни мало несообразный ни съ образомъ жизни этого человѣка, ни съ его поведеніемъ, ни съ дѣятельностію,—и характеръ больного субъекта очерченъ. Благодаря такой забавной мысли, герои романа г. Достоевскаго болѣе походятъ на пьяныхъ или на одержимыхъ острымъ delirium tremens, чѣмъ на хронически больныхъ или вообще на трезвыхъ людей. Когда Верховенскій начинаетъ излагать Ставрогину свое profession de foi, то у послѣдняго прежде всего является вопросъ: „гдѣ онъ успѣлъ напиться?“ Вѣроятно, тотъ-же вопросъ приходилъ на умъ и гостямъ Виргинскаго, присутствовавшимъ при „бредѣ“ Шигалева. Этотъ юноша задался идеею, что онъ изобрѣлъ какое-то удивительнѣйшее рѣшеніе соціальнаго вопроса, котораго до него никто и не подозрѣвалъ, и въ которомъ, по его мнѣнію, заключается все спасеніе человѣчества. „Кромѣ моего разрѣшенія общественной формулы, восторженно восклицаетъ онъ, — не можетъ быть никакого“... „все, что изложено въ моей книгѣ, незамѣнимо, и другого выхода нѣтъ, никто ничего не выдумаетъ“. Но кромѣ этого восторженнаго заявленія ничто не даетъ намъ права заключать, что Шигалевъ дѣйствительно одержимъ какою-нибудь idée fixe. Въ своемъ безсвязномъ бреду онъ даже самъ съ *сю относится* къ своей теоріи. „Я, бредитъ онъ, за-

путался въ собственныхъ данныхъ, и мое заключеніе въ прямомъ противорѣчіи съ первоначальной идеею, изъ которой я выхожу“... Г. Достоевскій не подозрѣваетъ, кажется, что у сумасшедшаго, одержимаго хроническимъ однопредметнымъ помѣшательствомъ, есть своя логика, и логика очень сильная; онъ обыкновенно излагаетъ свои мысли связно, пространно и совершенно спокойно (если только ему не противорѣчатъ); онъ слишкомъ убѣжденъ въ своей правотѣ и непогрѣшимости, онъ слишкомъ проникнутъ возможностью своихъ умозрѣній, чтобы лѣзть изъ-за нихъ на стѣну. Въ его рѣчахъ гораздо больше торжествующаго самодовольства, чѣмъ горячечнаго волненія. При томъ-же, въ настоящее время, при современныхъ успѣхахъ психіатріи, странно воображать, какъ это дѣлаетъ авторъ „Бѣсовъ“, будто мѣстное пораженіе мозга, помѣшательство на одной какой-нибудь идеѣ, можетъ имѣть мѣсто безъ общаго, болѣе или менѣе ясно выраженнаго разстройства всего психическаго организма; будто человѣкъ можетъ возрастить въ своей головѣ безумныя идеи, городить по поводу ихъ всякую чушь, и въ то-же время оставаться совершенно здоровымъ во всѣхъ прочихъ проявленіяхъ своей афективной и интеллектуальной жизни. Только люди, впавшіе во временный горячечный бредъ, подъ вліяніемъ алкоголя или какихъ-нибудь иныхъ сильныхъ нервныхъ потрясеній, представляютъ нѣкоторую аналогію съ юными героями „Бѣсовъ“, въ особенности съ Верховенскимъ и Шигалевымъ. Шатовъ и Кирилловъ въ развитіи своихъ безумныхъ идей обнаруживаютъ болѣе логики, но они все-таки болѣе смахиваютъ на пьяныхъ, чѣмъ на больныхъ. Если бы они слишкомъ часто не впадали въ бредъ, читатель ни за что бы не догадался, что это хроническіе больные, помѣшанные одинъ—на отрицаніи, другой — на исканіи истины. Они бредятъ, „точно по книжкѣ читаютъ“, отчитаютъ—и все кончено и незамѣтно, что они сумасшедшіе. Одинъ Кирилловъ составляетъ нѣкоторое исключеніе и то только потому, что авторъ постоянно заставляетъ его бредить и, кромѣ этого бреда, не знакомитъ насъ рѣшительно ни съ чѣмъ, что

могло бы имѣть хоть какое-нибудь отношеніе къ его внутренней жизни. Вы получаете нѣкоторое понятіе о свойствѣ бреда Кириллова, но у васъ не остается ни малѣйшаго представленія о самомъ Кирилловѣ. О Шатовѣ уже и говорить нечего; это плохое олицетвореніе фельетоновъ „Гражданина" („Дневника писателя"), какъ Верховенскій олицетвореніе стенографическаго отчета, и ни[...]го болѣе. Тутъ опять сказывается все безсиліе художе[...]ннаго таланта автора. Идеи, вложенныя въ уста Шатов[...] Кириллова, очевидно, его собственныя идеи, онъ самъ [...]одумался до нихъ, онъ не подслушалъ ихъ гдѣ-то на ули[...], какъ онъ подслушалъ у кого-то шигалевскую философію и верховенскія теоріи; потому онъ развиваетъ ихъ (т. е. заставляетъ своихъ героевъ развивать) довольно логично до такой степени логично, что даже „Гражданинъ" не [...]рочь позаимствовать у Шатова его мистическія бредни. Видимо, что эти бредни — плоть отъ плоти, кровь отъ крови самого автора. Но за то ими одними и исчерпывается весь характеръ Шатова и Кириллова. Кромѣ отвлеченнаго, абстрактнаго бреда, въ нихъ нѣтъ рѣшительно ничего реальнаго, конкретнаго: онѣ изображаютъ собою одинъ горячечный бредъ и только. Авторъ пережилъ идеи, вложенныя имъ въ уста его двухъ героевъ, но онъ, вѣроятно, не помѣшанъ на этихъ идеяхъ, для него онѣ не болѣе, какъ нѣкоторыя отвлеченныя умозрѣнія, не играющія никакой господствующей роли въ его психической жизни. У него онѣ имѣютъ, такъ сказать, чисто мѣстный характеръ, занимаютъ лишь очень маленькій уголокъ въ его внутреннемъ мірѣ. Если бы значеніе ихъ измѣнилось, если бы онѣ превратились въ деспотическія idées fixes, то и весь внутренній міръ автора измѣнился бы, онъ испыталъ бы такія субъективныя ощущенія, которыхъ теперь и представить себѣ не можетъ. Тогда бы онъ могъ дать намъ если не художественный образъ (онъ, вообще, не обладаетъ способностью къ художественному синтезу) то, по крайней мѣрѣ, вѣрный и правдивый анализъ шатовскаго и кирилловскаго характеровъ. Теперь же онъ далъ намъ лишь анализъ своихъ идей, а изъ однихъ идей, да

еще несомнѣнно нелѣпыхъ, нельзя выкроить характера. Вотъ отчего его Шатовъ и Кирилловъ вышли только манекенами. Но и манекеновъ то онъ не сумѣлъ создать порядочныхъ; вмѣсто того, чтобы соображаться при ихъ построеніи съ тѣми безумными идеями, которыя они должны были воплощать въ себѣ. онъ, подъ вліяніемъ, вѣроятно, своего шаловливаго чертика, вздумалъ соображаться съ тѣмъ несчастнымъ стенографическимъ отчетомъ, изъ котораго уже сдѣлалъ столько ненужныхъ заимствованій и въ которомъ всегда менѣе могъ найти матеріалы, пригодные для своихъ манекеновъ. Въ самомъ дѣлѣ, есть ли какая-нибудь логическая возможность предположить, будто люди, долженствующіе служить олицетвореніемъ московскаго кликушества и философіи „Гражданина“, чтобы эти люди впутались въ тайное политическое общество, руководимое Верховенскимъ и преслѣдующее цѣли, не имѣющія ничего общаго съ ихъ idées fixes? Между міросозерцаніемъ Ставрогиныхъ, Верховенскихъ, Виргинскихъ, Шигалевыхъ и т. п. и міросозерцаніемъ Шатова и Кириллова не было ни единой точки соприкосновенія; то, что волновало и интересовало первыхъ, было совершенно индиферентно для послѣднихъ, и наоборотъ. Зачѣмъ же романисту вздумалось свести всѣхъ этихъ людей вмѣстѣ? Вѣдь, они принадлежали не только къ различнымъ, но и противоположнымъ лагерямъ. Неужели г. Достоевскій не могъ понять, что на манекена, приноровленнаго къ средѣ Верховенскихъ и Ставрогиныхъ, нельзя напяливать кирилловско-шатовскаго міросозерцанія? Неужели его нисколько не шокировала дикая нелѣпость измышленнаго имъ сопоставленія? Безъ преувеличенія можно сказать, что ни одинъ изъ самыхъ даже лубочныхъ беллетристовъ отечественной прессы никогда еще не впадалъ въ такой психическій абсурдъ, никогда еще такъ грубо не нарушалъ самыхъ элементарныхъ правилъ художественнаго творчества, самыхъ законныхъ требованій правдоподобія.

*) Г. Достоевскій, не смотря на безспорный и выходящій изъ ряду талантъ, признаваемый за нимъ даже его литературными врагами, не можетъ назваться любимцемъ русской читающей публики, значительная часть которой просто на просто *боится* его романовъ. Читатель, принимаясь за романъ, въ большинствѣ случаевъ, ищетъ въ немъ легкаго, занимательнаго чтенія, иногда извѣстнаго рода тенденціи, развитія какой-нибудь модной идейки; не прочь онъ, пожалуй, даже отъ драматическаго содержанія, лишь бы драма была въ мѣру и не слишкомъ разстраивала она нервы. Это и понятно: человѣкъ усталъ отъ дневныхъ дѣлъ и заботъ своихъ, ему хочется отдохнуть, развлечься, стряхнуть съ себя хоть минутно пыль своей дѣятельности, часто очень некрасивой — и онъ идетъ къ писателю за развлеченіемъ, а не за тяжелой работой для мысли, за впечатлѣніями болѣе или менѣе легкими, скользящими, а не подавляющими.

Г. Достоевскій не можетъ удовлетворить этимъ требованіямъ. Съ первыхъ же страницъ схватываетъ онъ читателя и увлекаетъ противъ воли въ свое мрачное царство, гдѣ собрано все, что только есть темнаго, больного, мучительнаго, безобразнаго въ нашей общественной и личной жизни. Онъ вскрываетъ такую глубину человѣческаго *я* и освѣщаетъ въ ней такія явленія, что иногда, дѣйствительно, морозъ подиратъ по кожѣ; онъ находитъ выраженіе самымъ неуловимѣйшимъ ощущеніямъ и мыслямъ. Въ этомъ удивительномъ схватываніи и выраженіи неуловимыхъ, но, тѣмъ не менѣе, безспорно существующихъ явленій внутренняго міра человѣка, и заключается вся мощь таланта г. Достоевскаго; въ направленіи этого тончайшаго анализа, имѣющаго дѣло почти исключительно съ темными и болѣзненными проявленіями человѣческой и общественной жизни, и выражается односторонность его таланта. Впечатлѣніе, оставляемое многими изъ его повѣстей и романовъ, можно сравнить съ тяжелымъ сновидѣніемъ, обусловленнымъ ка-

*) Sine Ira. „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1875 г., № 32.

кимъ-нибудь особеннымъ состояніемъ организма: грезится что-то огромное, сложное, иногда съ несмѣтнымъ количествомъ лицъ или событій; все перепутано, все крутится, несется въ какомъ-то вихрѣ, и надо всѣмъ этимъ царитъ одно мучительное, давящее и необычайно сильное ощущеніе. Проснешься — даже не помнишь подробностей этого сна; но испытанное въ немъ ощущеніе сохранилось всецѣло, и никогда его не забудешь.

Подобное впечатлѣніе, разумѣется, помимо мыслей, ими вызванныхъ, оставляютъ, главнымъ образомъ, послѣднія произведенія г. Достоевскаго, всего же болѣе романъ „Бѣсы“. Здѣсь авторъ нѣсколько отходитъ отъ своего исключительно субъективнаго взгляда въ анализѣ внутренняго міра отдѣльнаго человѣка и подвергаетъ анализу тѣ явленія современной общественной жизни, которыя представляются ему странными и безобразными. Что не выдуманы имъ эти явленія, а дѣйствительно существуютъ—въ этомъ долженъ убѣдиться каждый зрячій человѣкъ, не ограничивающій свой кругозоръ тѣсными рамками той сферы, въ которой онъ постоянно вращается. Напрасно авторъ статьи „Русская литература въ 1874 году“, помѣщенной въ 4 № „Недѣли“, говоря объ изданіи журнала „Время“, редакторомъ котораго былъ г. Достоевскій, замѣчаетъ, между прочимъ, слѣдующее: „...Сопоставляя это обѣщаніе съ именемъ г. Достоевскаго, славу котораго въ то время составляли не „Бѣсы“, а „Бѣдные люди“ и потомъ „Записки изъ мертваго дома“, общество встрѣтило новый журналъ съ замѣтнымъ сочувствіемъ...“ Исторія нашей литературы доказываетъ, что сочувствіемъ или несочувствіемъ читателей не всегда еще можно измѣрять значеніе и достоинство литературнаго просвѣщенія, и намъ кажется, что „Бѣсы“ дѣйствительно, встрѣченные весьма многими съ какимъ-то недоумѣніемъ, не смотря на это, все-же представляютъ одно изъ крупнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ явленій современной литературы. Въ романѣ много неяснаго и безпорядочнаго, и онъ напоминаетъ, какъ мы уже сказали, впечатлѣніе тяжелаго сна; но всѣ эти недостатки порождаются сущностью той задачи, кото-

рую взялъ на себя авторъ. Человѣкъ, окруженный атмосферой, въ которую медленно проникаютъ міазмы, не замѣчаетъ существованія этихъ міазмовъ, и если даже оно ему доказано, то нужно необыкновенно развитое обоняніе и много усилій, чтобъ уловить ихъ. Авторъ „Бѣсовъ" живетъ въ нашей атмосферѣ и только необыкновенная чуткость его таланта позволяетъ ему замѣчать окружающіе насъ міазмы. Спѣша уловлять ихъ и подвергать анализу, онъ весь отдается этой работѣ, и вотъ почему не всегда можетъ удовлетворять нѣкоторымъ условіямъ, требуемымъ отъ романиста. Только спокойный взоръ человѣка, находящагося внѣ нашей атмосферы, въ извѣстномъ отдаленіи отъ нашей эпохи, увидитъ итогъ современныхъ явленій, ихъ результаты, и найдетъ въ твореніяхъ г. Достоевскаго богатый матеріалъ для уразумѣнія этихъ явленій. Поэтому намъ кажется, что вполнѣ вѣрная и безпристрастная оцѣнка „Бѣсовъ" возможна только въ будущемъ.

*
* *

*) Если вы имѣли терпѣніе дочитать до конца это произведеніе нашего, когда-то чрезвычайно популярнаго бел-

---

*) „Сіяніе" 1873 г., № 15.

*) Настоящая статейка помѣщается здѣсь, какъ особенно типичный образецъ тогдашнихъ отзывовъ и рецензій о романѣ „Бѣсы", разбросанныхъ почти по всѣмъ газетамъ большой и малой прессы. Хотя и были исключенія въ пользу романа и его автора, но по своей немногочисленности они стушевывались среди общаго крика порицанія „Бѣсовъ" и Достоевскаго. Нападкамъ подвергались со стороны печати, порицавшей романъ, даже тѣ литературные органы, которые позволили себѣ отнестись къ нему одобрительно. Такъ, напр., „Русскій Міръ" (1875 г., № 237), причислившій „Бѣсовъ" „къ лучшимъ и талантливѣйшимъ явленіямъ нашей литературы за послѣдніе годы", былъ неоднократно и зло осмѣянъ. Однако, несмотря на подобное отношеніе критики къ „Бѣсамъ", романъ весьма охотно читался и распространялся въ публикѣ. Этотъ неоспоримый фактъ нѣкоторые критики объясняли тѣмъ, что „Бѣсы" принадлежатъ къ разряду *уголовныхъ романовъ*, которые вошли у насъ въ большую моду со времени введенія въ дѣйствіе новыхъ судебныхъ уставовъ. — Здѣсь же умѣстнымъ считаю, въ видѣ куріоза, напомнить читателямъ слова одного рецензента „Бѣсовъ", характеризующаго какъ свое личное понятіе и отношеніе къ критикѣ, такъ и взглядъ на нее своей-же братіи. „Присяжные наши критики, серьезно говоритъ рецензентъ, — высказались на счетъ романа съ разныхъ точекъ зрѣнія, иные одобрительно, другіе съ бранью, смотря по тому, въ какихъ отношеніяхъ, въ какой степени родства или свойства находился тотъ или другой критикъ къ Өедору Достоевскому". („Искра" 1873, г. № 6).

Примѣч. В. Зелинскаго.

летриста, то, кромѣ чувства досады и даже сильнѣе его, вы почувствуете сожалѣніе, можетъ даже грусть... Вамъ будетъ больно видѣть паденіе писателя, безъ сомнѣнія талантливаго, и паденіе человѣка въ этомъ романѣ, украшавшемъ собою въ прошломъ году страницы „Русскаго Вѣстника“. Теперь литературѣ особенно нужны талантливые и честные дѣятели, а предъ вами еще утрата. Конечно, никто не обвинитъ меня въ голословности сказаннаго: стоитъ сравнить—„Записки изъ мертваго дома“ съ „Дневникомъ писателя“, и тѣмъ г. Достоевскимъ—объ которомъ теперь достаточно сказать только то, что онъ состоитъ редакторомъ „Гражданина“ — и это сравненіе краснорѣчивѣе всего подтвердитъ мое мнѣніе. Да,

Измѣнились и люди и нравы—

и какъ еще измѣнились! Но вмѣстѣ съ тѣмъ должно было измѣниться и дѣйствительно измѣнилось къ нимъ и отношеніе литературы.. Кто не помнитъ, какое производили впечатлѣніе первыя произведенія г. Достоевскаго! Объ нихъ и по поводу ихъ писались критическія статьи, типы его подвергались тщательному анализу, лучшая часть литературы невольно отдавала ему дань уваженія. Теперь-же...— теперь достаточно небольшого библіографическаго отзыва для „сочиненій“ г. Достоевскаго, написанныхъ размашисто, отчасти по пословицѣ — „не любо не слушай, а врать не мѣшай“, густыми красками и кистью маляра, а не художника. Если-же изрѣдка и посвятятъ еще г. Достоевскому довольно обширную статью, то развѣ для того, чтобы яснѣе показать плачевные результаты ренегатства, особенно рѣзко отдѣлить его прежнюю дѣятельность отъ настоящей и въ концѣ концовъ признать его „больнымъ“, а его образы— произведеніями болѣзненно-разстроеннаго воображенія; да и то еще вопросъ: не составляютъ-ли подобныя длинныя статьи „по старой памяти“ ошибки?—Пожалуй, „игра не стоитъ свѣчъ?“ Да, волей неволей приходится признать, что съ романомъ „Преступленіе и Наказаніе“ мы разстались съ прежнимъ г. Достоевскимъ, которому могли сочувство-

вать и о которомъ должны были говорить. Теперь мы имѣемъ дѣло съ совершенно другимъ человѣкомъ. Къ нему критика можетъ отнестись лишь равнодушно или съ презрѣніемъ и съ сожалѣніемъ. Единственное не совсѣмъ пріятное оправданіе его, да и то лишь въ виду прежнихъ заслугъ, извѣстныя слова: не вѣдаютъ то, что творятъ...“

Въ виду ужасовъ и нелѣпостей, измышленныхъ всѣми этими господами, въ виду ихъ безцеремоннаго обращенія съ печатнымъ словомъ и тѣхъ клеветъ, которыя они взводятъ на все молодое и живое, ихъ остается лишь спросить словами поэта, да и то обращаясь въ третьемъ лицѣ, ибо имѣть дѣло съ подобными господами не всегда пріятно:

Съ кого они портреты пишутъ?
Гдѣ разговоры эти слышатъ?

Все это положительно неизвѣстно. А между тѣмъ, чего только, какихъ „происшествій“ и „ужасовъ“ нѣтъ въ романахъ этихъ „сочинителей“! И пожары, и убійства, и сѣти интригъ, и политическая агитація, и разбойники, и разные „тайные агенты“, и чуть даже не сходки и митинги—ну, словомъ всѣ „исчадія революціи“. Помилосердуйте, господа!... Я ничего еще не сказалъ, спеціально относящагося къ „Бѣсамъ“, такъ сильно смущавшимъ г. Достоевскаго. Впрочемъ, послѣ всего сказаннаго нечего и говорить о нихъ. Развѣ можно только прибавить, что въ нихъ есть всѣ „эффекты“ и „махинаціи“, небылицы и ужасы, и нѣтъ, по обыкновенію, только одного: истины, справедливости и жизненной правды...

ЧАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДѢЙСТВУЮЩИХЪ ЛИЦЪ РОМАНА „БѢСЫ".

Степанъ Трофимовичъ Верховенскій.

*) Критикъ „Русскаго Вѣстника" говоритъ, что эта личность по художественной рельефности изображенія представляетъ одинъ изъ самыхъ яркихъ типовъ въ нашей литературѣ. „Степанъ Трофимовичъ Верховенскій—человѣкъ сороковыхъ годовъ. Онъ стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ закопившагося кругомъ его подполья, хотя читатель чувствуетъ, что есть нѣкоторая внутренняя связь между этимъ человѣкомъ и молодыми героями романа. Связь эта весьма знаменательна и неограничивается однимъ только кровнымъ родствомъ съ главнымъ вожакомъ подполья, существуетъ еще несомнѣнное внутреннее родство между безтолковостью и безпринципностью этого смѣшного старика, воплотившаго въ себѣ отрицательную сторону движенія сороковыхъ годовъ, и сатурналіями умственными и нравственными молодого подполья. Указывается такимъ образомъ нѣкоторая преемственность въ развитіи идей, и между двумя поколѣніями кладется мостикъ, на которомъ нѣкоторые крайніе представители того и другого могутъ удобно подать другъ другу руку. Указанія эти весьма знаменательны, такъ какъ въ значительной степени обнаруживаютъ воззрѣнія автора на источникъ, изъ котораго вышли самыя дикія движенія новѣйшаго времени. Степанъ Трофимовичъ, отчасти презирая сгруппировавшееся подлѣ него подполье, отчасти втайнѣ ему сочувствуя (настоящее отношеніе его къ подполью есть вопросъ его личнаго самолюбія), постав-

*) (А). А. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ". „Русскій Вѣстникъ" 1873 г. № 8.

ленъ авторомъ надъ молодымъ поколѣніемъ въ качествѣ нѣкоего pater familias, весьма смѣшного въ глазахъ молодежи и совершенно ею пренебрегаемаго, но родство съ которымъ послѣдняя тѣмъ не менѣе все-таки признаетъ. Это, такъ сказать, старый бѣсъ, данный въ прародители бѣсовской мелюзгѣ, выросшей подъ сѣнью его сѣдинъ.

Внутреннее родство Степана Трофимовича съ молодыми героями романа знаменательно во многихъ отношеніяхъ. Важнѣе всего, конечно, то, что Степанъ Трофимовичъ — тоже *полунаука*, хотя и занималъ въ сороковыхъ годахъ каѳедру въ одномъ изъ университетовъ. Но, при извѣстныхъ недостаткахъ нашего университетскаго устройства, полунаука могла пріютиться на профессорской каѳедрѣ такъ же удобно, какъ и въ редакціи журнала. Въ сороковыхъ годахъ въ нашихъ университетахъ несомнѣнно встрѣчались люди полунауки, возмѣщавшіе такъ-называемыми „высшими взглядами“ отсутствіе серьезной эрудиціи и пользовавшіеся, благодаря тому-же пріему, замѣтною репутаціей. Степанъ Трофимовичъ принадлежалъ именно къ этой категоріи. Продержался онъ на каѳедрѣ очень недолго, вслѣдствіе нѣкоторой незначительной неосторожности, по поводу которой отъ него потребовали объясненій. Онъ успѣлъ прочесть всего только нѣсколько лекцій, „и, кажется, объ Аравитянахъ“, и вообще въ наукѣ сдѣлалъ „не такъ много и, кажется, совсѣмъ ничего“. Успѣлъ онъ также защитить нѣкоторую затѣйливую диссертацію, ловко и больно уколовшую тогдашнихъ славянофиловъ, да еще напечаталъ въ одномъ передовомъ журналѣ „начало одного глубочайшаго изслѣдованія — кажется, о причинахъ необычайнаго нравственнаго благородства какихъ-то рыцарей въ какую-то эпоху, или что-то въ этомъ родѣ“. Глубокое изслѣдованіе это такъ и осталось неоконченнымъ, будто-бы вслѣдствіе запрещенія, а въ сущности просто потому, что авторъ полѣнился его окончить. Имѣлась еще въ бумагахъ Степана Трофимовича поэма „въ лирико-драматической формѣ и напоминающая вторую часть *Фауста*. Увѣряли, будто эту поэму сочли въ свое время опасною“. „Я въ прошломъ

году предлагалъ Степану Трофимовичу ее напечатать — разсказываетъ лицо, отъ котораго авторъ ведетъ свое повѣствованіе — за совершенною ея въ наше время невинностью, но онъ отклонилъ предложеніе съ видимымъ неудовольствіемъ. Мнѣніе о совершенной невинности ему не понравилось“. И вдругъ эту поэму печатаютъ въ заграничномъ революціонномъ сборникѣ, безъ вѣдома Степана Трофимовича...

„Онъ былъ сначала испуганъ, бросился къ губернатору и написалъ благороднѣйшее оправдательное письмо въ Петербургъ, читалъ мнѣ его два раза, но не отправилъ, не зная, кому адресовать. Однимъ словомъ, волновался цѣлый мѣсяцъ; но я убѣжденъ, что въ таинственныхъ изгибахъ сердца былъ польщенъ необыкновенно. Онъ чуть не спалъ съ экземпляромъ доставленнаго ему сборника, а днемъ пряталъ его подъ тюфякъ и даже не пускалъ женщину перестилать постель, и хоть ждалъ каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрѣлъ свысока. Телеграммы никакой не пришло“.

Степанъ Трофимовичъ поспѣшилъ увѣрить себя, что карьера его разбита на всю жизнь „вихремъ обстоятельствъ“, и потому рѣшился посвятить остатокъ дней своихъ, — впрочемъ, двадцатилѣтій — на то, чтобы стоять предъ отчизной „воплощенною укоризной“, по выраженію поэта:

Воплощенной укоризною
Ты стоялъ передъ отчизною,
Либералъ идеалистъ!

Впрочемъ, позированье Степана Трофимовича нисколько не помѣшало ему пристроиться на благородныхъ условіяхъ приживальцемъ къ богатой вдовѣ, генеральшѣ Варварѣ Петровнѣ Ставрогиной, у которой онъ и прожилъ безмятежно цѣлыхъ двадцать лѣтъ, до той самой поры, когда засталъ его рядъ катастрофъ, давшихъ содержаніе роману. Вся суть Степана Трофимовича, какъ родоначальника *бѣсовъ*, заключается именно въ томъ, что онъ былъ полнѣйшимъ представителемъ полунауки сороковыхъ годовъ, отъ кото-

рой современная полунаука естественно ведетъ свое происхожденіе. Въ этомъ качествѣ человѣка полунауки, Степанъ Трофимовичъ привилъ къ своей невиннѣйшей душѣ нѣкоторое количество гражданскихъ мотивовъ, въ силу которыхъ не только безъ всякой основательной причины бросилъ университетскую карьеру, но и сохранилъ на всю жизнь увѣренность въ своемъ совершенномъ превосходствѣ надъ людьми своего поколѣнія, а также, хотя презрительное, но вмѣстѣ съ тѣмъ заискивающее отношеніе къ молодежи, отъ которой онъ все ждетъ какого-то призыва: вы, молъ, Степанъ Трофимовичъ, нашъ отецъ и руководитель, придите къ намъ и ведите насъ. Ожиданіе какой-то телеграммы, о которой иронически замѣчаетъ авторъ, осталось у стараго чудака на всю жизнь. Онъ несомнѣнно принадлежитъ къ категоріи тѣхъ „старыхъ безстыдниковъ", которые никакъ не могутъ забыть своего либеральничанья сороковыхъ годовъ и все ждутъ отъ молодого поколѣнія признанія ихъ гражданскихъ заслугъ. Одни изъ этихъ людей, подобно выведенному въ романѣ знаменитому писателю Кармазинову, продолжаютъ до конца всячески заискивать у молодого поколѣнія, не подозрѣвая, что давно уже сдѣлались въ глазахъ его шутами; другіе, какъ Степанъ Трофимовичъ, глубоко оскорбляются тѣмъ, что гражданскія заслуги ихъ списаны со счетовъ, начинаютъ брюзжать и порою даже прорываются до такой степени, что сами торжественно провозглашаютъ разрывъ съ новымъ движеніемъ. Въ томъ и другомъ случаѣ отношенія этихъ людей къ новому времени и новому поколѣнію составляютъ вопросъ личнаго самолюбія; убѣжденіями эти представители идеалистической полунауки предшествовавшаго періода вообще не богаты, и вздумай молодое поколѣніе хоть немножечко поманить ихъ на свою сторону—они бросятся на встрѣчу съ распростертыми объятіями. Они инстинктивно сознаютъ, что между ними и „новыми людьми" есть дѣйствительная связь—и они не ошибаются.

Со Степаномъ Трофимовичемъ такъ и случилось — его поманили, и онъ бросился съ распростертыми объятіями.

Это случилось въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда на минуту вспомнили о всѣхъ вообще либеральныхъ репутаціяхъ предшествовавшаго тридцатилѣтія. Степанъ Трофимовичъ къ тому времени сильно захандрилъ! мучаясь мыслью, что его забыли, что онъ никому не нуженъ, поэтому и на все тогдашнее движеніе онъ смотрѣлъ въ высшей степени высокомѣрно, именно съ той точки, что „его забыли". И вдругъ въ это-то самое время о немъ вспомнили въ заграничныхъ листкахъ и въ Петербургѣ. Въ газетахъ явилось даже извѣстіе, что онъ умеръ, и кто-то обѣщалъ напечатать его некрологъ...

„Степанъ Трофимовичъ мигомъ воскресъ и сильно пріосанился. Все высокомѣріе его взгляда на современниковъ разомъ соскочило, и въ немъ загорѣлась мечта примкнуть къ движенію и показать свои силы. Варвара Петровна тотчасъ же вновь и вовсе увѣровала и ужасно засуетилась. Рѣшено было ѣхать въ Петербургъ безъ малѣйшаго отлагательства, разузнать все на дѣлѣ, вникнуть лично, и, если возможно, войти въ новую дѣятельность всецѣло и нераздѣльно. Между прочимъ, она объявила, что готова основать свой журналъ и посвятить ему отнынѣ всю свою жизнь. Увидавъ, что дѣло дошло до этого, Степанъ Трофимовичъ сталъ еще высокомѣрнѣе..."

Несмотря, однако, на то, что Степана Трофимовича явно понимали, ему не только не удалось „примкнуть всецѣло къ движенію", но даже случилось быть скандально освистаннымъ...

Разрывъ этотъ разомъ и окончательно опредѣлилъ отношенія Степана Трофимовича къ молодому поколѣнію и ко всему такъ-называемому „движенію". Старый бѣсъ, сидѣвшій въ немъ, не простилъ молодымъ бѣсамъ недостатка уваженія и сохранилъ навсегда оскорбленное и уязвленное чувство. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Степанъ Трофимовичъ нисколько не сомнѣвался въ серьезности всего того дикаго вздора, который началъ на его глазахъ совершаться въ воображаемомъ губернскомъ городѣ, куда авторъ переноситъ разсказъ вслѣдъ за петербургскимъ fiasco. „Движеніе"

осуждалось Степаномъ Трофимовичемъ единственно въ силу того, что его самого при этомъ забыли; но, въ сущности, онъ даже любуется имъ, такъ точно, какъ любуется своимъ сыномъ, которому однакожъ не можетъ простить презрительнаго съ нимъ обращенія. Въ губернскомъ городѣ это" пока не основало въ немъ своего пребыванія настоящее „подполье", кружокъ Степана Трофимовича занимался „самою невинною, милою, вполнѣ русскою, веселенькою, либеральною болтовней". Въ этой болтовнѣ Степанъ Трофимовичъ почерпалъ сознаніе, что „онъ исполняетъ высшій долгъ пропаганды идей". Высокомѣріе все-таки, несмотря на петербургскую неудачу, заставляло его смотрѣть на себя, какъ на нѣкотораго рода центръ, котораго гдѣ-то опасаются; онъ даже не сомнѣвался, что находится подъ секретнымъ полицейскимъ надзоромъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ давно уже стоитъ на заднемъ планѣ, оттертый новыми дѣятелями, однимъ за другимъ наѣхавшими въ городъ и образовавшими въ немъ тотъ своеобразный кружокъ, которому всего болѣе приличествуетъ наименованіе *подполья нашей интеллигенціи*.

* * *

*) Это очень старый и общеизвѣстный характеръ одного изъ представителей такъ называемыхъ людей 40-хъ годовъ. Типъ изъѣзженный; каждая его черточка, каждая деталь были уже много разъ воспроизводимы нашими лучшими беллетристами, и притомъ беллетристами 40-хъ годовъ. Достоевскому пришлось тутъ, слѣдовательно, идти по проторенной дорожкѣ и не столько творить, сколько компилировать. И дѣйствительно, его Степанъ Трофимовичъ не болѣе, какъ компиляція, составленная по извѣстнымъ образцамъ, даннымъ Писемскимъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ и т. п. Во всѣхъ извѣстныхъ типахъ людей 40-хъ годовъ исключительно разрабатывались романистами однѣ

**) Никитинъ. „Больные люди". „Дѣло" 1873 г., №№ 3 и 4.

и тѣ-же стороны характера, одни и тѣ-же свойства, одни и тѣ-же душевныя состоянія привлекали ихъ вниманіе. Оттого, несмотря на то, что этотъ типъ эксплоатировался очень многими, онъ все-таки отпечатлѣлся въ довольно однообразныя формы, сильно отзывающіяся абстрактностью, книжностью. Компиляція г. Достоевскаго отличается тѣми же свойствами, но при всей своей абстрактной односторонности она составлена съ большимъ психическимъ искусствомъ. Къ несчастію только, привычка автора постоянно пускаться въ психическій анализъ, постоянно стараться объяснять и подробно комментировать каждый шагъ, каждый поступокъ, каждую мысль своихъ героевъ, сдѣлала то, что и воспроизведеніе личности Верховенскаго вышло у него болѣе похожимъ не столько на объективное изображеніе характера, сколько на критическую оцѣнку его. Конечно, для критики это очень удобно: авторъ самъ исполнилъ всю работу за нее, и ей остается только заняться простымъ переписываніемъ. Но если мы взглянемъ на дѣло не съ точки зрѣнія интересовъ критики, а съ точки зрѣнія интерессовъ художества, то нельзя не согласиться, что такой способъ отношенія къ изображаемымъ лицамъ очень мало способствуетъ чисто-художественнымъ цѣлямъ. Степанъ Трофимовичъ представляетъ собою не живое воплощеніе конкретнаго характера, а просто психологическій анализъ нѣкоторыхъ выдающихся и наиболѣе общихъ чертъ извѣстнаго типа людей. Я ограничусь здѣсь лишь самою общею характеристикою этихъ чертъ для того, чтобы читатель лучше могъ уяснить себѣ нѣкоторыя изъ тѣхъ общихъ причинъ, которыя вызываютъ наши психическія аномаліи, которыми обусловливаются до извѣстной степени наши умственныя болѣзни. Психическая болѣзнь, умственное вырожденіе подготовляется обыкновенно медленно и постепенно цѣлымъ рядомъ предшествующихъ поколѣній. Въ большинствѣ случаевъ она развивается изъ того умственнаго и нравственнаго наслѣдства, которое отцы завѣщаютъ своимъ дѣтямъ. Конечно, одного наслѣдства, т. е. одного предрасположенія, не всегда еще бываетъ достаточно:

нужны еще *благопріятныя условія*, чтобы, такъ сказать, оплодотворить эти наслѣдственные зачатки умственнаго разстройства; въ противномъ случаѣ болѣзненное предрасположеніе можетъ погибнуть задаромъ, или перейти въ какія-нибудь другія, уже не просто нервныя болѣзни. Однако, съ другой стороны. и однихъ „благопріятныхъ условій", безъ предварительной унаслѣдованной отъ предковъ наклонности, тоже не всегда бываетъ [illegible]статочно. Поэтому, для большей ясности, мы должны ра[illegible]отрѣть, какъ то умственное наслѣдство. которое господа [illegible]ерховенскіе и подобные имъ завѣщали своимъ дѣтямъ, т[illegible]ъ и тѣ внѣшнія условія, при которыхъ развивались эти [illegible]ти. Тогда сами собою опредѣлятся и источникъ и общ[illegible] характеръ ихъ психическихъ аномалій, которыя г. Достоевскій берется анализировать въ своемъ послѣднемъ романѣ и которыя онъ, съ наивностью средневѣковаго аскета, считаетъ за *бѣсовское навожденіе*.

Анализируя характеръ Верховенскаго, г. Достоевскій съ особенною рельефностью оттѣняетъ только нѣкоторыя, впрочемъ, наиболѣе выдающіяся и, такъ сказать, преобладающія свойства людей этого типа—нашихъ отцовъ. Степанъ Трофимовичъ былъ не героемъ, но „лучшимъ человѣкомъ" 40-хъ годовъ; онъ былъ личность заурядная, одна изъ единицъ толпы. Не о немъ, удостовѣряетъ насъ авторъ „Бѣсовъ", сказалъ народный поэтъ: „воплощенной укоризной ты стоялъ передъ отчизной, либералъ-идеалистъ". „Нашъ Степанъ Трофимычъ,—продолжаетъ авторъ,- былъ только подражателемъ сравнительно съ подобными лицами, да и стоять уставалъ и частенько полеживалъ на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и въ лежачемъ положеніи, надо отдать справедливость, тѣмъ болѣе, что для губерніи было и того достаточно. Посмотрѣли-бы вы на него у насъ въ клубѣ, когда онъ садился за карты. Весь видъ говорилъ: карты! Я сажусь съ вами въ ералашъ! Развѣ это совмѣстно? Кто-же отвѣчаетъ за это? Кто разбилъ мою дѣятельность и обратилъ ее въ *ералашъ*? „Э, погибай Россія!" и онъ осанисто козырялъ

съ червей. Своимъ „лежачимъ позированіемъ“ онъ пріобрѣлъ себѣ нѣкоторую репутацію въ городѣ: его считали за человѣка умнаго, отмѣнно либеральнаго и „гонимаго“ за правду. Эта репутація вполнѣ удовлетворяла его тщеславію, и не потому, что его тщеславіе было слишкомъ уже не высокаго полета, а потому, что онъ и взаправду считалъ себя за нѣкотораго „гражданскаго дѣятеля“. Онъ искренно самъ вѣрилъ всю свою жизнь, что въ нѣкоторыхъ сферахъ, его постоянно опасаются, что шаги его постоянно извѣстны и сочтены, и что каждый изъ трехъ, смѣнившихся у насъ въ послѣднія двадцать лѣтъ губернаторовъ, въѣзжая править губерніею, уже привозилъ съ собою нѣкоторую особую и хлопотливую о немъ мысль, внушенную ему свыше...“ Эта мечта льстила самолюбію Степана Трофимовича, но, помимо самолюбія, она была естественною и, такъ сказать, законною дочкою его „заячьей“ трусости. Трусость — это была одна изъ преобладающихъ чертъ его характера. Она заставила его бросить профессуру, она законопатила его въ провинціальномъ городишкѣ, она внушила ему гордую мысль о собственной опасности и сдѣлала въ то-же время „тише воды, ниже травы“. Даже его тщеславіе, такъ непомѣрно развитое у людей 40-хъ годовъ, этихъ вѣчно позировавшихъ лежебоковъ, даже это тщеславіе пасовало предъ его трусостью. Въ 60-хъ годахъ, въ эпоху нашего „renaissance“, о Степанѣ Трофимовичѣ вспомнили въ Петербургѣ, „какъ о бывшей звѣздѣ въ извѣстномъ созвѣздіи“, даже ставили его почему-то на ряду съ Радищевымъ. Кто-то напечаталъ, что онъ умеръ, и обѣщалъ его некрологъ. Нашъ герой не помнилъ себя отъ восторга; безсмысленная помѣщица, г-жа Ставрогина, у которой онъ жилъ въ качествѣ приживальщика, и которая двадцать пять лѣтъ питала къ нему нѣжную дружбу „и давала деньги за его содержаніе, тоже возгордилась славой своего друга; и оба они, не долго думая, покатили въ Петербургъ съ тщеславною мечтою стать au courant „движенія“, а, быть можетъ, даже и во главѣ его. Безсмысленная помѣщица задумала издавать журналъ. Разумѣется,

для честолюбія Степана Трофимовича было-бы очень легко сдѣлаться руководителемъ предполагавшагося изданія, но онъ струсилъ. „Помните,—упрекала его потомъ его самодурная подруга,—„помните, какъ потомъ въ февралѣ, когда пронеслась вѣсть, (?) вы вдругъ прибѣжали ко мнѣ перепуганный и стали требовать, чтобы я тотчасъ же дала вамъ удостовѣреніе, въ видѣ письма, что затѣваемый журналъ до васъ совсѣмъ не касается, что молодые люди ходятъ ко мнѣ, а не къ вамъ, а что вы только домашній учитель, который живетъ въ домѣ, потому, что ему еще не додано жалованье, не такъ-ли? Помните это вы? Вы отмѣнно отличались всю вашу жизнь, Степанъ Трофимовичъ...“ Да, всю свою жизнь онъ отличался подвигами малодушной трусости. Изъ трусости онъ бросилъ и свою ученую карьеру; „какъ то и кѣмъ-то, разсказываетъ авторъ, — перехвачено было письмо къ кому-то, съ изложеніемъ какихъ-то „обстоятельствъ;“ вслѣдствіе чего кто-то потребовалъ отъ него какихъ-то объясненій“. Это до того обезкуражило Степана Трофимовича, что онъ почелъ за лучшее стушеваться и поспѣшилъ принять предложеніе какой-то генеральши Ставрогиной, богатой помѣщицы, которая въ началѣ только ввѣрила ему воспитаніе своего единороднаго сынка, а потомъ сдѣлала его своимъ другомъ и приживальщикомъ.

Мнѣ кажется, что до сихъ поръ недостаточно было обращено вниманія на ту, такъ сказать, хроническую робость, запуганность, которая составляла едва-ли не самую существенную черту характера этихъ „либераловъ — идеалистовъ“, „стоявшихъ передъ отчизной воплощенной укоризной“. А между тѣмъ это душевное состояніе, это постоянное дрожаніе передъ дѣйствительными или воображаемыми опастностями можетъ служить ключомъ къ объясненію всей ихъ жизни, всей ихъ дѣятельности, которая, впрочемъ, всегда ограничивалась „лежаніемъ на боку“, да комическимъ „позированіемъ“. Не то, чтобы они были ужъ очень лѣнивы, или очень дряблы и неспособны, или черезчуръ ограниченны, правда, они не хватали звѣздъ съ неба,

правда, они отличались довольно замѣчательною тупостью; но и эта тупость проистекала главнымъ образомъ изъ трусости: они *боялись* слишкомъ долго и слишкомъ послѣдовательно думать, они старались искусственно усыплять свою мысль, они собственными руками подрѣзывали себѣ крылья; это были, въ нѣкоторомъ родѣ, *нравственные самоубійцы*, и самоубійцы изъ трусости. Думать—это опасно; двигаться, жить—это тоже опасно: всего безопаснѣе лежать на боку, и они превращались въ Обломовыхъ. Ихъ нельзя обвинять за это; ихъ вѣчный страхъ, ихъ малодушная пугливость были естественнымъ продуктомъ всей обстановки ихъ жизни. Они имѣли свою весьма реальную, хотя, быть можетъ, и нѣсколько преувеличенную причину. Можемъ ли мы обвинять наковальню за то, что она дрожитъ и трясется подъ тяжелыми ударами желѣзнаго молота? А эти люди именно и были наковальнею. Удивительно тутъ лишь то, что они не только мирились съ своимъ положеніемъ, но даже какъ бы гордились имъ; повидимому, положеніе человѣка-наковальни на столько непривлекательно, что онъ долженъ бы употреблять всѣ силы выйти изъ него. Они же были довольны! И это ихъ странное довольство объясняется ихъ трусостью. Ихъ умственный кругозоръ, и безъ того довольно ограниченный, съ годами еще болѣе и болѣе съуживался, подъ вліяніемъ гнетущей думы и собственной безопасности. Отсюда вторая черта нашихъ папенекъ изъ „идеалистовъ-либераловъ"—неумѣренное, до уродливости развитое чувство эгоизма, весьма миролюбиво уживавшееся съ довольно честными (говоря, конечно, сравнительно) идеалами, съ весьма гуманнымъ міровоззрѣніемъ. Замѣчательно при этомъ, что эти люди, эгоисты отъ головы до пятокъ, никогда не сознавали своего эгоизма. Они въ минуту самообличенія охотно обвиняли себя во всемъ, но только не въ животномъ эгоизмѣ; они были твердо убѣждены, будто все ихъ существо пропитано какою-то эссенціею любви и нѣжности; они и до сихъ поръ видятъ въ своемъ мягкосердечіи и любвеобиліи главное и самое существенное свое отличіе отъ дѣтей. Они высоко-

мѣрно упрекаютъ свое потомство въ „черствости“ и „безсердечіи“, въ „узкомъ эгоизмѣ“ и, подобно евангельскому фарисею, съ гордостью восклицаютъ: „благодареніе Богу, мы были не таковы“! Да, они были не таковы, они были гораздо хуже. Посмотрите на одного изъ ихъ представителей, на Степана Трофимовича Верховенскаго: не есть-ли онъ воплощенная квинтъ-эссенція эгоизма? Онъ живетъ исключительно личною жизнію; онъ думаетъ только о себѣ; онъ возится съ своимъ „я“, какъ съ какимъ-то чирьемъ; весь свой вѣкъ онъ проводитъ около юбокъ Варвары Петровны Ставрогиной, которая за это поитъ его, кормитъ и даже платитъ за него долги; у него нѣтъ никакихъ серьезныхъ интересовъ, кромѣ интереса собственной безопасности; но сердце его способно только на эгоистическую, исключительную привязанность къ своей „кормилицѣ и поительницѣ“, но и ее-то, предметъ своей двадцатилѣтней любви, онъ постоянно мучитъ и терзаетъ своимъ тщеславіемъ и своею вздорною мелочностью. Внѣ этой привязанности у него не было никакихъ другихъ симпатій; даже къ сыну своему онъ относился какъ человѣкъ посторонній. Забросивъ его въ Петербургѣ, когда онъ былъ еще ребенкомъ, онъ затѣмъ совершенно устранился отъ исполненія какихъ-бы то ни было родительскихъ обязанностей; даже офиціальныхъ обязанностей опекуна онъ не могъ добросовѣстно выполнить: съ имѣніемъ сына онъ обращался, какъ съ своею собственностью, разорилъ его, часть продалъ, надѣлалъ долговъ, и сынку не удалось-бы, вѣроятно, получить съ него ни копейки, если бы та-же добродѣтельная Варвара Петровна не взяла на себя грѣшковъ родителя-идеалиста и не заплатила изъ собственнаго кармана за всю его „родительскую любовь“. И этотъ черствый и безсердечный родитель, который умѣлъ только дать сыну свою фамилію (онъ самъ сомнѣвался, былъ-ли этотъ сынъ — его сынъ, и эти сомнѣнія были извѣстны самому сыну), научилъ его презирать свою мать, наконецъ, разорилъ и научилъ презирать и отца, этотъ родитель вламывается въ амбицію, зачѣмъ этотъ сынъ не нѣжничаетъ съ нимъ, зачѣмъ онъ

къ нему не пылаетъ сыновнею любовью, и позволяетъ себѣ обращаться съ нимъ безъ малѣйшаго лицемѣрія, но за то и безъ малѣйшей церемоніи. Онъ обижается, онъ негодуетъ! Онъ патетически вопрошаетъ: „Скажи мнѣ, наконецъ, извергъ, сынъ-ли ты мой или нѣтъ?“ На это сынъ весьма резонно отвѣчаетъ, что „ему объ этомъ лучше знать... Не ты-ли, припоминаетъ онъ далѣе родителю, — не ты-ли самъ разсказывалъ мнѣ по ночамъ скоромные анекдоты про мою мать? И не все-ли равно тебѣ, твой-ли я сынъ или нѣтъ? Ты рубля на меня не истратилъ, всю жизнь, до шестнадцати лѣтъ меня не зналъ совсѣмъ, потомъ здѣсь ограбилъ, а теперь кричишь, что болѣлъ обо мнѣ сердцемъ всю жизнь и ломаешься предо мной, какъ актеръ!“ Какъ вы думаете, что дѣлаетъ почтенный родитель, выслушавъ эту, хотя и нѣсколько рѣзко выраженную, но тѣмъ не менѣе, совершенно очевидную и безспорную правду? Онъ проклинаетъ непочтительнаго сына и остается въ наивной увѣренности, что сынъ его безсердечный извергъ, а онъ невинно оскорбленная добродѣтель.

Говорятъ, что эгоизмъ есть великая нравственная сила, выроставшая роскошное дерево современной цивилизаціи. Увѣряютъ, что онъ постоянно возбуждаетъ человѣческую дѣятельность, даетъ силы человѣку совершать богатырскіе подвиги, будитъ и изощряетъ его мысль, создаетъ прогрессъ, скопляетъ богатство, развиваетъ науку и завоевываетъ свободу. Пусть все это такъ; но все-таки не всегда это бываетъ такъ. Очень можетъ быть, что при извѣстныхъ условіяхъ эгоизмъ является могучею прогрессивною силою, великимъ двигателемъ цивилизаціи. Предоставьте эгоиста его собственной судьбѣ, поставьте его въ необходимость *самому* всего добиваться и до всего доходить, откройте ему, при этомъ, всюду доступъ, развяжите его руки, дайте ему хоть крошечку ума, и онъ дѣйствительно, подъ вліяніемъ одного своего эгоизма, въ состояніи будетъ продѣлать всѣ тѣ штуки, которыхъ вы отъ него ожидаете: онъ и богатство накопитъ, и науку подвинетъ впередъ, и цивилизацію распространитъ, и прогрессъ ускоритъ, и даже,

если хотите, сдѣлается филантропомъ и защитникомъ „вдовъ и сиротъ“. Но поставьте того-же эгоиста въ другія условія: навяжите ему на руки десяти-пудовыя гири, наполните его желудокъ даровымъ хлѣбомъ, поставьте его, независимо отъ всякихъ его усилій, въ привиллегированное положеніе, пообѣщайте ему коврижку за то только, чтобы онъ какъ можно меньше думалъ и двигался, пропитайте его мозгъ вѣчнымъ, безотчетнымъ страхомъ, и вашъ эгоистъ собственноручно задушитъ въ себѣ всякія человѣческія стремленія, онъ покорно подчинится наложенному на него ярму, онъ безмятежно уединится въ самомъ себѣ, займется созерцаніемъ своего „я“, а ко всему прочему станетъ относиться съ тупою пассивностію лежебока.

Въ такихъ именно условіяхъ находились наши Степаны Трофимовичи. Эгоизмъ подстрекалъ ихъ не къ борьбѣ, а къ подчиненію, онъ побуждалъ ихъ не ко внѣшней дѣятельности, а къ внутреннему самоуглубленію, онъ дѣлалъ изъ нихъ не опытныхъ и энергическихъ практиковъ, не смѣлыхъ теоретиковъ, а пустыхъ и вздорныхъ людишекъ, весь вѣкъ живущихъ на чужой счетъ, постоянно резонирующихъ, постоянно роющихся то въ своей душѣ, то въ душѣ своихъ ближнихъ, постоянно обнжающихся, пикирующихся, суетныхъ, тщеславныхъ, корчащихъ изъ себя какихъ-то „униженныхъ и оскорбленныхъ“, и всегда одинаково пошлыхъ и одинаково безполезныхъ. Впрочемъ, не всегда наши отцы были поставлены въ положеніе Степановъ Трофимовичей. Иногда, и даже довольно часто, внѣшнія условія ихъ жизни, были повидимому, гораздо благопріятнѣе; ихъ эгоизмъ принималъ нѣсколько иное, болѣе дѣятельное направленіе, но, разумѣется, ихъ ближніе не были черезъ это слишкомъ осчастливлены; впрочемъ, ихъ объ этомъ не спрашивали. „Власть имущіе“ отцы (или матери) исправляли въ общественной гармоніи роль молота и, въ качествѣ безсмысленнаго молота, имъ не могло быть никакого дѣла до того, какъ отзываются на наковальнѣ ихъ удары. Они били, производили шумъ и этимъ исчерпывалась вся задача ихъ практической дѣятельности. Дѣятельность

эта давно уже извѣстна у насъ подъ хорошо знакомымъ всѣмъ словомъ *самодурство*. Самодурство было естественнымъ вырожденіемъ эгоизма, съ одной стороны, слишкомъ избалованнаго окружающимъ подобострастіемъ крѣпостной эпохи, съ другой, поставленнаго въ условія, совершенно непригодныя для какой-бы то ни было дѣятельности...

Степанъ Трофимовичъ не былъ злопамятенъ, но за-то онъ былъ очень самолюбивъ и до крайности обидчивъ, хотя и состоялъ въ скромной роли приживалки. Онъ донекалъ Варвару Петровну Ставрогину письмами, наполненными безконечными пререканіями, извиненіями, претензіями, слезными покаяніями и т. п.

Онъ писалъ къ ней, живя даже съ ней въ одномъ домѣ, въ экстренныхъ случаяхъ, по два раза въ день. Какъ ни мелочна такая подробность, а она бросаетъ очень яркій свѣтъ на характеръ этого человѣка: она показываетъ, до какой степени всѣ его мысли и интересы исключительно поглощались его личными отношеніями, его тщеславнымъ „я“. Вообще, исторія этой „странной дружбы“ (такъ ее называетъ и самъ авторъ), исторія, составленная съ мастерскимъ искусствомъ и обнаруживающая въ авторѣ большую психологическую наблюдательность, эта исторія вполнѣ можетъ убѣдить каждаго, что если ея герои и не больные, то, во всякомъ случаѣ, ихъ нельзя назвать и здоровыми людьми; ихъ нравственный характеръ обнаруживаетъ несомнѣнные слѣды начинающагося вырожденія; сами-же они стоятъ, такъ сказать, на рубежѣ, отдѣляющемъ здоровье отъ болѣзни. Рубежъ этотъ очень неопредѣленъ, достаточно какого-нибудь одного обстоятельства, чтобы совершенно уничтожить его и почти, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, свести Степана Трофимовича съ ума. Дѣйствительно, ссора съ Варварой Петровной, болѣе крупная, чѣмъ всѣ предшествующія, охлажденіе, которое онъ замѣтилъ въ ней, оскорбительныя предложенія, которыя сдѣлала ему его „самодурная подруга“, не считавшая нужнымъ щадить его нравственное достоинство, все это окончательно потрясло его умственный аппаратъ. Наговоривъ глупостей и сдѣлавъ

скандалъ на томъ литературномъ вечерѣ, о которомъ я уже упоминалъ, онъ убѣжалъ домой, просидѣлъ нѣкоторое время въ заперти, никого къ себѣ не пуская, затѣмъ надѣлъ шинель и высокіе сапоги и, взявъ всѣ имѣющіяся у него деньги, въ количествѣ 40 рублей, пустился въ путь-дорогу. Какъ, куда, зачѣмъ? Онъ этого самъ не зналъ. Онъ просто вышелъ за городъ на большую дорогу и пошелъ по ней, куда глаза глядятъ. Въ умѣ его смутно мелькала мысль, что онъ идетъ къ какому-то „marchand" наниматься въ гувернеры. Но гдѣ обрѣтается этотъ marchand, кто онъ такой, и существуетъ-ли вообще во всей Россіи какой-нибудь marchand, который-бы могъ нуждаться въ услугахъ Степана Трофимовича, всѣ эти вопросы если и приходили на умъ, то только на минуту, и онъ не трудился пріискивать отвѣтовъ на нихъ. Онъ, по словамъ автора, находился какъ бы въ *забытьи*, „основательно разсуждать или хоть отчетливо сознавать было для него невыносимо". Встрѣтившись съ мужиками, которые подсадили его на телѣгу и подвезли къ близъ лежащей деревнѣ, онъ обнаружилъ въ своихъ разговорахъ съ ними всѣ признаки несомнѣннаго умственнаго разстройства. Въ деревнѣ онъ наткнулся на какую-то особу, торговавшую книгами, еще не старую, и плѣнился ею. Мысль о мнимическомъ купцѣ какъ-то испарилась изъ его головы, и вмѣсто нея явилась другая, не менѣе блистательная, идея: вмѣстѣ съ миловидной книгоношей распространять въ народѣ евангеліе. Замѣтьте при этомъ, Степанъ Трофимовичъ всю свою жизнь считалъ себя вольтеріанцемъ и даже гордился своимъ вольнодумствомъ; теперь тотъ-же Степанъ Трофимовичъ вдругъ преобразился въ отчаяннаго скептика. Затѣмъ Степанъ Трофимовичъ начинаетъ городить безсвязную нелѣпость и, наконецъ, самъ чувствуетъ, что онъ, какъ говорится, сбился съ панталыку. „Я ужасно сбился, признается несчастный, я никакъ не могу вспомнить, что я хотѣлъ сказать. О, блаженъ тотъ, кому Богъ посылаетъ всегда женщину, и я думаю даже, что я въ нѣкоторомъ восторгѣ. И на большой дорогѣ есть высшая мысль! вотъ, вотъ, что я хотѣлъ ска-

зать, про мысль...“ и т. д. Въ этотъ періодъ умственнаго разстройства Степану Трофимовичу пришла въ голову геніальная мысль „о бѣсахъ, вошедшихъ въ молодое поколѣніе“. Г. Достоевскому такъ понравилась эта идея, что онъ положилъ ее въ основу своего романа. Что сказать объ авторѣ, который руководится въ своемъ творчествѣ бредомъ сумасшедшаго? Впрочемъ, Богъ съ нимъ. Бредъ Степана Трофимовича продолжался не долго, и г. Достоевскому не удалось позаимствоваться у него слишкомъ многимъ. Доѣхавъ съ своей книгоношей до другого села, онъ внезапно занемогъ, и черезъ нѣсколько дней умеръ.

Степанъ Трофимовичъ постоянно находился въ перемежающейся лихорадкѣ самоуниженія и самовозвеличенія. То онъ плевалъ на себя, то съ тщеславною гордостію смотрѣлъ черезъ плечо на своихъ ближнихъ. Г. Достоевскій очень тонко подмѣтилъ этотъ замѣчательный психологическій феноменъ и ярко очертилъ его въ отношеніяхъ своего героя къ подругѣ его Варварѣ Петровнѣ. Въ минуты самовозвеличенія Степанъ Трофимовичъ третировалъ свою подругу съ поистинѣ комическимъ высокомѣріемъ; въ эти минуты ему казалось, что Варвара Петровна боится его удивительныхъ талантовъ, завидуетъ ему, преклоняется передъ его гигантско-умственною силою и питаетъ преступныя намѣренія эксплоатировать своего даровитаго друга въ своихъ личныхъ интересахъ. Эти тщеславныя идеи до такой степени овладѣвали его умомъ, что онъ былъ даже не въ силахъ таить ихъ про себя; онъ откровенно сообщилъ ихъ не только своимъ друзьямъ, но даже и самой Варварѣ Петровнѣ. Варвара Петровна, никогда ничего не забывавшая, записывала въ своемъ сердцѣ забавныя претензіи своего друга, и потомъ, черезъ много лѣтъ, жестоко мстила за нихъ. Ее не смягчало даже то обстоятельство, что у ея друга эти припадки самовозвеличенія быстро смѣнялись припадками самоуниженія, что вслѣдъ за письмами (хотя онъ могъ видѣться съ ней ежеминутно, потому что жилъ въ одномъ домѣ, но онъ имѣлъ обыкновеніе, какъ уже было замѣчено выше, формулировать свои душевныя

состоянія въ эпистолярной формѣ), наполненными тщеславными притязаніями, упреками и высокомѣрными назиданіями, она получала письма, въ которыхъ ея другъ униженно просилъ ее не вмѣнять ему въ осужденіе его гордости, въ которыхъ онъ смѣшивалъ себя съ грязью, и ее ставилъ на недосягаемый пьедесталъ. Въ эти свои несчастныя минуты Степанъ Трофимовичъ считалъ себя едва-ли не за самаго жалкаго и ничтожнаго человѣка во всемъ мірѣ. Онъ не болѣе, какъ простой приживальщикъ богатой помѣщицы; она его благодѣтельница, и онъ настолько наглъ и безчестенъ, что принимаетъ ея благодѣянія! Да это-ли одно? Онъ сына своего ограбилъ. онъ крѣпостныхъ своихъ проигрывалъ въ карты, онъ ведетъ праздную, пошлую жизнь, онъ измельчалъ до того, что напивается пьянымъ и убиваетъ время за игрою въ ералашъ? О, какъ онъ жалокъ и ничтоженъ! Въ послѣднее время, какъ повѣствуетъ авторъ, Степанъ Трофимовичъ все чаще и чаще „началъ впадать въ хандру и въ шампанское". Болѣзнь или, лучше сказать, симптомы—предвѣстники болѣзни, принимали все болѣе и болѣе угрожающую форму и привели его, наконецъ, къ этой роковой катастрофѣ, которая стоила ему жизни. Впрочемъ, исходъ могъ быть и другой. Степанъ Трофимовичъ могъ бы впасть, напримѣръ, въ тихій идіотизмъ и окончить свою жизнь „выжившимъ изъ ума" старикомъ. Этотъ исходъ былъ очень обыкновененъ въ жизни людей, подобныхъ ему. Конечно, ихъ не называли идіотами, но это дѣлалось только изъ приличія или же по невѣжеству.—Я не хочу, разумѣется, этимъ сказать. что всѣ эти люди, или даже большинство ихъ, кончили сумасшествіемъ или идіотизмомъ. Подобная мысль шла-бы, очевидно, въ разрѣзъ съ фактами; я хочу только сказать, что при данныхъ условіяхъ ихъ жизни и ихъ психической организаціи, такой конецъ былъ весьма возможенъ, а при извѣстныхъ обстоятельствахъ, въ родѣ, напр., тѣхъ, въ которыя авторъ ставитъ Степана Трофимовича, даже неизбѣженъ. Не случись этихъ обстоятельствъ (скандала на литературномъ вечерѣ, ссоры съ Варварой Петровной, сватовства на Дашенькѣ и т. п.),

Степанъ Трофимовичъ могъ бы мирно и спокойно дожить свой вѣкъ, не обнаруживая никакихъ рѣзкихъ признаковъ умственнаго разстройства. Жизнь-же большинства нашихъ отцовъ и матерей, изъ среды интелигентнаго мѣщанства и „дворянскихъ гнѣздъ“, представляла такъ мало поводовъ къ сильнымъ душевнымъ волненіямъ, такъ рѣдко выходила изъ своей обычной колеи, что зародыши ихъ умственныхъ болѣзней не находили достаточно пищи для своего развитія; умственныя болѣзни являются обыкновенно, какъ справедливо замѣчаетъ одинъ психіатръ, продуктомъ дѣятельнаго умственнаго напряженія. Только тамъ, гдѣ умственная жизнь, нервная дѣятельность достигаютъ высшихъ формъ своего развитія, только тамъ является возможность ясно выраженныхъ формъ умственнаго разстройства. У низшихъ животныхъ, у дикихъ и полуцивилизованныхъ народовъ, случаи помѣшательства очень рѣдки, и при томъ самое помѣшательство носитъ характеръ афективнаго помѣшательства, т. е. почти исключительно ограничивается болѣзненнымъ разстройствомъ въ сферѣ чувствъ. Часто умственныя аномаліи, какъ и вся умственная жизнь, находятся у нихъ еще въ зародышѣ, и до такой степени перепутываются и смѣшиваются съ здоровыми, нормальными проявленіями человѣческаго организма, что никому и на умъ не приходитъ видѣть въ нихъ какую-нибудь особенную болѣзнь. Но умственная жизнь развивается, а вмѣстѣ съ нею развиваются и зародыши ея аномаліи, развиваются и принимаютъ, наконецъ, такія рѣзкія формы, что уже теперь никто не ошибется насчетъ ихъ истиннаго значенія и не смѣшаетъ ихъ съ здоровымъ состояніемъ человѣка. Такимъ образомъ, развитіе умственныхъ болѣзней прямо пропорціонально умственному прогрессу, развитію цивилизаціи. Это не значитъ, что ихъ порождаетъ цивилизація; нѣтъ, цивилизація (я употребляю это слово исключительно въ смыслѣ умственнаго прогресса) дѣлаетъ только *явнымъ* то, что до нея было *скрытымъ*, развиваетъ тѣ сѣмена, которыя запали въ человѣческую душу, когда человѣкъ былъ еще тупымъ невѣждою, когда его окружали ненормальныя условія дикой

или полуцивилизованной жизни. За эти-то условія, за его прежнюю дикость, она и заставляетъ его расплачиваться. Какъ мстительная Немезида—она никого не забываетъ, она тщательно сберегаетъ и дурныя и хорошія сѣмена, и зародыши здороваго развитія, и зародыши болѣзненнаго вырожденія, она не дѣлаетъ выбора, она съ одинаковою заботливостію вскармливаетъ и возращаетъ и „зерна и плевелы". Кто виноватъ, что плевелы разрослись? Конечно, тотъ, кто ихъ посѣялъ... Конечно, ни чрезмѣрно развитый эгоизмъ, ни чрезмѣрно развитое чувство страха, ни безпричинная тоска, перемежающаяся съ безпричиннымъ самовосхищеніемъ, ни самодурство, взятыя сами по себѣ, еще не составляютъ никакой умственной болѣзни, но они составляютъ то, что на языкѣ психіатровъ можетъ быть названо „insant temperamont", *нездоровое* умственное состояніе. Такой „insant temperament" не всегда ведетъ къ умственному разстройству, но, передаваясь по наслѣдству, и при благопріятныхъ обстоятельствахъ онъ, въ большинствѣ случаевъ, вырождается въ помѣшательство. Условія, среди которыхъ жили наши Степаны Трофимовичи, какъ я уже сказалъ, мало благопріятствовали подобному вырожденію: почти совершенное отсутствіе дѣятельной нервной жизни, царящая кругомъ умственная спячка — вотъ что ихъ гарантировало отъ умственныхъ болѣзней. Зародыши умственныхъ аномалій остались зародышами и въ этомъ видѣ перешли по наслѣдству къ ихъ дѣтямъ. Условія жизни послѣднихъ были, какъ всѣмъ извѣстно, нѣсколько иными, чѣмъ первыхъ.

Петръ Степановичъ Верховенскій.

*) Петръ Степановичъ сразу оцѣнилъ Шигалева: „Шигалевъ геніальный человѣкъ!" восклицаетъ онъ, стараясь увлечь Ставрогина въ свои планы. „У него хорошо въ тетради — у него шпіонство, у него каждый членъ общества смотритъ одинъ за другимъ и обязанъ доносомъ. Каж-

*) (А.). А. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ". „Русскій Вѣстникъ 1873 г., № 8.

дый принадлежитъ всѣмъ, а всѣ каждому. Всѣ рабы и въ рабствѣ равны. Въ крайнихъ случаяхъ клевета и убійство, а главное—равенство. Первымъ дѣломъ понижается уровень образованія, наукъ и талантовъ. Высокій уровень наукъ и талантовъ доступенъ только высшимъ способностямъ, не надо высшихъ способностей! Высшія способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшія способности не могутъ не быть деспотами и всегда развращали болѣе, чѣмъ приносили пользы: ихъ изгоняютъ или казнятъ. Цицерону отрѣзывается языкъ, Копернику выкалываютъ глаза, Шекспиръ побивается каменьями, вотъ шигалевщина! Рабы должны быть равны: безъ деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но въ стадѣ должно быть равенство, и вотъ шигалевщина:

— Ха-ха-ха! Вамъ странно? Я за шигалевщину!“

Система такимъ образомъ найдена. Она до такой степени соотвѣтствуетъ міросозерцанію подполья, что Петръ Степановичъ, глава и коноводъ всего подпольнаго міра, самый практическій и дѣятельный человѣкъ въ своей средѣ, не находитъ нужнымъ вставить въ программу революціонной организаціи свое собственное слово, и безусловно принимаетъ „тетрадку“ длинноухаго Шигалева, котораго даже въ подпольномъ кружкѣ считаютъ шутомъ или помѣшаннымъ.

Дѣйствительно, шигалевщина составляетъ послѣднее слово отвратительнаго безумія, къ которому можетъ привести болѣзнь подпольнаго міра въ ея самой острой формѣ — квинтъ-эссенцію дѣйствующихъ во тьмѣ стремленій и инстинктовъ. Петръ Степановичъ находитъ, что Шигалевъ— геній, въ родѣ Фурье, только смѣлѣе и сильнѣе. И дѣйствительно, шигалевщина имѣетъ то великое преимущество, что регулируетъ не одну только внѣшнюю сторону будущей организаціи человѣчества, разрушаетъ не одну только матеріальную силу стараго общества, но бьетъ по его нравственнымъ силамъ, опрокидываетъ тотъ творящій факторъ, дѣйствіемъ котораго создалась историческая жизнь. Что такое для Шигалева петролеумъ? Матеріальное разру-

шеніе не составляетъ для него конечной цѣли. Въ западной Европѣ, гдѣ революціонные элементы вышли изъ экономическаго и соціальнаго неравенства, подпольная агитація можетъ удовлетворяться политическимъ равенствомъ, уничтоженіемъ дворянскихъ привилегій, организаціей труда, разрушеніемъ частной собственности. Но Петръ Степановичъ не удовлетворится этимъ. Что ему, напримѣръ, въ уничтоженіи дворянскихъ привилегій, когда онъ самъ дворянинъ, и, слѣдовательно, нисколько не страдаетъ отъ политическаго неравенства? Неравномѣрное распредѣленіе капиталовъ также не сильно его озабочиваетъ: онъ самъ наслѣдовалъ извѣстную собственность, онъ не нуждается въ дневномъ пропитаніи, присутствіе въ обществѣ крупныхъ собственниковъ не слишкомъ его шокируетъ. Есть въ этомъ старомъ, культурномъ, историческомъ обществѣ другого рода неравенство, котораго онъ не въ состояніи перенести, противъ котораго сосредоточена вся его ненависть, и не его только, но болѣе или менѣе всѣхъ противообщественныхъ и недовольныхъ элементовъ. Это—неравенство духовное, присутствіе въ обществѣ высшихъ способностей, высокаго уровня науки, образованности и таланта. И потому-то онъ такъ безусловно стоитъ за шигалевщину, что она выражаетъ собою, въ самой рѣзкой и острой формѣ, непримиримую вражду противъ духовнаго неравенства, отвѣчая тайнымъ, можетъ быть, даже не всѣми и не всегда сознаваемымъ вожделѣніямъ интеллигентнаго подполья. Цицерону отрѣзать языкъ, Копернику выколоть глаза, Шекспира побить камнями—вотъ что можетъ насытить распутное самолюбіе Петра Степановича...

Дойдя до этой точки, больная мысль Петра Степановича уже ни предъ чѣмъ не останавливается. Онъ понимаетъ, что современный порядокъ созданъ именно тѣмъ творящимъ факторомъ, который онъ называетъ присутствіемъ въ человѣческомъ обществѣ высшихъ способностей. Слѣдовательно, прежде всего надо устроиться такимъ образомъ, чтобы въ новомъ обществѣ этимъ высшимъ способностямъ ло мѣста. Мысль его доходитъ до сатурналіи, до бѣ-

снованія. „Не надо образованія, довольно науки! восклицаетъ онъ. И безъ науки хватитъ матеріалу на тысячу лѣтъ... Жажда образованія есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вотъ уже и желаніе собственности. Мы уморимъ желаніе: мы пустимъ пьянство, сплетни, доносъ; мы пустимъ неслыханный развратъ; мы всякаго генія потушимъ во младенчествѣ. Все къ одному знаменателю, полное равенство... Но нужна и судорога; объ этомъ позаботимся мы, правители. Полное послушаніе, полная безличность, но разъ въ тридцать лѣтъ. Шигалевъ пускаетъ и судорогу, и всѣ вдругъ начинаютъ поѣдать другъ друга, до извѣстной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущеніе аристократическое...“

Это очень похоже на бредъ сумасшедшаго, но и сумасшедшіе въ фантастическихъ построеніяхъ своей мысли отправляются отъ извѣстныхъ данныхъ, которыя они принимаютъ за положительныя. Петръ Степановичъ тоже наблюдаетъ данныя; онъ чувствуетъ, что въ воздухѣ носится нѣчто чадное, пьяное, какая-то безпринципность, какой-то „безпорядокъ умовъ.“ Онъ находитъ, что время близится, что почва достаточно подготовлена. Въ шутку подсмѣиваясь надъ легковѣріемъ „знаменитаго писателя, Кармазинова, создавшаго себѣ, изъ своего прекраснаго далека, фантастическое представленіе о положеніи дѣлъ въ Россіи, Петръ Степановичъ увѣряетъ его, что *все* кончится къ Покрову; но, подсмѣиваясь надъ Кармазиновымъ, онъ и самъ наполовину вѣритъ своей шуткѣ.

Кирилловъ.

*) Авторъ не объясняетъ, подъ какими вліяніями образовалась эта эксцентрическая натура. Мы знаемъ только, что Кирилловъ съ Шатовымъ „долго лежали вмѣстѣ“ въ Америкѣ, и, конечно, много выстрадали. Онъ выступаетъ

*) (А). А. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ“. „Русскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 8.

въ романѣ уже съ созрѣвшею психическою болѣзнью, съ выработанною философскою системой, которая, при всей своей нелѣпости, есть результатъ умственнаго усилія, продуктъ мысли, болѣзненно, но сильно напряженной. Онъ еще болѣе, чѣмъ Шатовъ, придавленъ идеей и корчится подъ тяжестью ея; это маньякъ, съ задатками эпилептика. При недостаткѣ вѣры, столь обыкновенномъ въ людяхъ нашего вѣка, у него нѣтъ индифферентизма, и въ этомъ все его несчастье. Онъ не можетъ остановиться на одномъ легонькомъ отрицаніи; въ немъ есть потребность убѣжденнаго невѣрія, отрицательной вѣры, какъ для другихъ бываетъ настоятельна потребность положительной вѣры. Отправляясь отъ отрицанія, онъ напряженно выслѣживаетъ въ своемъ воспаленномъ мозгу рядъ силлогизмовъ, которые приводятъ его къ мысли о самоубійствѣ. „Если Богъ есть, разсуждаетъ Кирилловъ, то вся воля Его, и изъ воли Его я не могу. Если нѣтъ, то вся воля моя, и я обязанъ заявить своеволіе. Я обязанъ себя застрѣлить, потому что самый полный пунктъ моего своеволія — это губить себя самому.“ Конечно, никогда болѣе странная религіозно философская система не рождалась въ человѣческомъ мозгу; но дѣло не въ системѣ. Важно то, что въ лицѣ Кириллова мы видимъ человѣка, который въ нашъ практическій и индифферентный вѣкъ, когда философскіе и религіозные вопросы занимаютъ почти однихъ спеціалистовъ, израсходовалъ всю свою жизнь на эти вопросы, изсушилъ надъ ними свой мозгъ и наконецъ пустилъ себѣ пулю въ лобъ единственно для того, чтобы поставить послѣднюю точку къ своей теоріи... Насколько такое явленіе годится для обобщеній, къ какимъ прибѣгнулъ авторъ въ концѣ своего романа, насколько онъ выражаетъ собою дѣйствительную болѣзнь своего вѣка—это другой вопросъ, къ которому мы еще обратимся. Впрочемъ, въ самомъ романѣ практическія требованія вѣка какъ бы возстаютъ противъ идеализма Кириллова: самоубійство изъ-за идеи представляется чѣмъ-то до того неестественнымъ, неправильнымъ, что знаменитая „кучка“ спѣшитъ утилизовать его для своихъ пра-

ктическихъ цѣлей, убѣдивъ Кириллова въ предсмертной запискѣ принять на себя убіеніе Шатова и прочія преступленія революціонной пятерки.

Самъ Кирилловъ вовсе не принадлежитъ къ революціонному типу; онъ слишкомъ равнодушенъ ко всякимъ практическимъ результатамъ для того, чтобы увлекаться соціальною перестройкой общества. Онъ принадлежитъ къ тѣмъ нервнымъ, идеальнымъ натурамъ, которыя сосредоточиваются всецѣло на напряженной дѣятельности духа. Ему открываются минуты „вѣчной гармоніи,“ онъ наклоненъ къ галлюцинаціи и эпилепсіи. „Есть секунды, объясняетъ онъ Шатову, ихъ заразъ приходитъ всего пять или шесть. и вы вдругъ чувствуете присутствіе вѣчной гармоніи, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человѣкъ въ земномъ видѣ не можетъ перенести. Надо перемѣниться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Какъ будто вдругъ ощущаете всю природу и вдругъ говорите: да, это правда. Богъ когда міръ создавалъ, то въ концѣ каждаго дня созданія говорилъ: да, это правда, это хорошо. Это... это не умиленіе, а только такъ, радость.“ Въ этомъ состояніи эпилептической прозрачности духа, Кирилловъ чувствуетъ бремя земной оболочки; по его мнѣнію, человѣкъ долженъ переродиться физически для того, чтобы достигнуть предназначеннаго ему состоянія высшаго счастія, вѣчной гармоніи. „Если болѣе пяти секундъ, повторяетъ онъ, то душа не выдержитъ и должна исчезнуть. Въ эти пять секундъ я проживаю жизнь и за нихъ отдамъ всю мою жизнь, потому что стоитъ. Чтобы выдержать десять секундъ, надо перемѣниться физически. Я думаю, человѣкъ долженъ перестать родить. Къ чему дѣти, къ чему развитіе, коли цѣль достигнута? Въ Евангеліи сказано, что въ воскресеніи не будутъ родить, а будутъ, какъ ангелы Божіи. Намекъ“... Такія исключительныя натуры, какъ Кирилловъ, могутъ быть только случайнымъ матеріаломъ въ рукахъ дѣйствительныхъ революціонеровъ. И Кирилловъ въ самомъ дѣлѣ случайно столкнулся съ Верховенскимъ, случайно

присталъ къ тайному обществу, отъ котораго когда-то пользовался матеріальною помощью. Онъ соглашается прикрыть своею смертью ихъ гнусное дѣло только потому, что ему *все равно*. На минуту онъ даже возмущается мерзостью преступленія, но опять приходитъ къ тому прозрачному равновѣсію духа, въ которомъ человѣку *все равно*.

* * *

*) По словамъ г. Чижа, эпилептикъ Кирилловъ представляетъ собою весьма сложную картину психическаго разстройства. „Достоевскій не дастъ намъ полной исторіи его болѣзни, говоря медицинскимъ языкомъ, а ограничивается только указаніемъ на нѣкоторые болѣзненные симптомы. Въ жизни мы далеко не всегда можемъ вполнѣ изслѣдовать больного, и очень часто наше сужденіе бываетъ основано только на отрывочныхъ наблюденіяхъ, полученныхъ цѣною большихъ усилій. Это зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ: или больной находится въ неблагопріятныхъ условіяхъ для наблюденія (напримѣръ, живетъ дома или въ дурно устроенномъ заведеніи для душевно-больныхъ), или же онъ тщательно скрываетъ какъ отъ врача, такъ и отъ окружающихъ его свои болѣзненные симптомы. Такая скрытность больныхъ обусловливается или самымъ характеромъ болѣзни; напр., больной думаетъ, что онъ сдѣлалъ открытіе, которое всѣ хотятъ у него украсть; или же нерѣдко бываетъ такъ, что больной, замѣтивъ, что его считаютъ помѣшаннымъ, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ его взглядовъ и поступковъ, хочетъ добиться, чтобы его считали здоровымъ и обманываетъ наблюдателей. Судебная психіатрія можетъ представить много примѣровъ тому, какъ многимъ талантливымъ психіатрамъ приходилось подолгу наблюдать больного, для того чтобы придти къ какому-нибудь заключенію; да и то въ концѣ концовъ являлось разногласіе между экспертами; самая-же существенная причина

*) В. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ". „Русскій Вѣстникъ" 1884 г., № 5 и 6, и отдѣльное изданіе, Москва 1885 г.

нашего частаго непониманія больного, это то, что природа неисчерпаема; напрасно люди создаютъ классификаціи, схемы, пытаются подвести отдѣльныя явленія подъ общія рубрики; всѣ эти усилія зачастую оказываются безплодными. Природа создаетъ новыя комбинаціи отдѣльныхъ явленій въ самой прихотливой, мало понятной намъ связи симптомовъ между собой, и человѣку поневолѣ приходится сознаться, что составленная имъ схема только съ натяжкой можетъ быть принаровлена къ данному случаю. Конечно, разумный изслѣдователь не обвинитъ въ такомъ случаѣ ни природы ни науки, а только постарается сколько возможно сильнѣе освѣтить для себя наукой новый фактъ и сознается, что многое для него непонятно. Наконецъ, нельзя забывать, что для каждаго отдѣльнаго человѣка истина доступна только въ соотвѣтственной его способностямъ и трудолюбію степени. Все это нужно было припомнить для того, чтобы приступить къ разбору болѣзненнаго состоянія Кириллова.

Можетъ-быть, Достоевскій въ данномъ случаѣ только снялъ фотографическій снимокъ съ дѣйствительности, и не его вина, что получилось что-то для насъ не совсѣмъ ясное. Но такъ какъ, можетъ-быть, изслѣдованіе самаго талантливаго психіатра не могло бы разъяснить больше относительно болѣзни Кириллова, то остается ограничиться указаніемъ на то, что упомянулъ Достоевскій, отказавшись отъ попытки объяснить себѣ всю сумму паталогическихъ явленій въ связи между собой.

У Кириллова были эпилептическіе припадки. Вотъ что испытывалъ онъ въ эти моменты: „Есть секунды, ихъ всего за-разъ приходитъ пять или шесть, и вы вдругъ чувствуете присутствіе вѣчной гармоніи, совершенно достигнутой..." „Это чувство ясное и неоспоримое..." — „Всего страшнѣе, что такъ ужасно ясно и такая радость".

Уже однихъ этихъ припадковъ достаточно, чтобы съ большею вѣроятностію утверждать, что Кирилловъ былъ эпилептикъ, такъ какъ, благодаря изслѣдованіямъ послѣдняго времени, мы знаемъ, что эпилептическіе припадки нерѣдко

не имѣютъ общеизвѣстнаго вида, то-есть не состоятъ изъ потери сознанія съ клоническими и тоническими судорогами. Рядомъ работъ Гризингера и другихъ изслѣдователей доказано, что эпилептическіе припадки могутъ состоять изъ приступа головокруженія, сопровождаемаго какъ бы опьяненіемъ, спутанностью мыслей; появляется смутный, похожій на сновидѣніе бредъ. Со временемъ такіе припадки могутъ перейти въ настоящіе, обыкновенные. Кромѣ того, Кирилловъ страдалъ упорною безсонницей, приступами тоски (часто бываетъ у эпилептиковъ) и наконецъ высказывалъ идеи, которыя правильнѣе всего назвать бредовыми. Насколько Кирилловъ ихъ высказывалъ, это слѣдующія: главный аттрибутъ божества — воля, своеволіе; безспорнымъ проявленіемъ воли будетъ самоубійство; поэтому онъ, рѣшившійся на самоубійство—человѣко-богъ или богъ. Какъ Кирилловъ дошелъ до этихъ идей, много-ли времени онъ посвятилъ на это, неизвѣстно (Кирилловъ уже съ этимъ бредомъ является на сцену), поэтому мы не можемъ прослѣдить, какъ онъ заболѣлъ. Естественно является другой путь объясненія: Кирилловъ эпилептикъ, у него идея бреда, что онъ богъ; не бываютъ-ли такія бредовыя идеи у эпилептиковъ, и если да, то какъ онѣ развиваются и почему?

Идеи бреда подобнаго содержанія наиболѣе характерны для эпилепсіи. Едва ли больные съ другими формами болѣзни такъ часто говорятъ о Богѣ, какъ эпилептики; нѣмецкіе психіатры даже считаютъ специфическимъ для эпилепсіи частое упоминаніе о Богѣ, бредъ религіознаго содержанія, какъ они называютъ Gottnomenclatur.

Впрочемъ, правильная оцѣнка этого частаго бреда эпилептиковъ сдѣлана весьма недавно: религіозный бредъ при эпилепсіи появляется какъ въ слѣдъ за припадками, такъ и независимо отъ нихъ; больные считаютъ себя богомъ, святыми, видятъ себя вознесенными на небо; отличительною чертой такого бреда эпилептиковъ служитъ его чудовищность и сказочность; а что можетъ быть фантастичнѣе бреда Кириллова? Естественно, что результатомъ такого

бреда будетъ самодовольное настроеніе больныхъ, горделивое отношеніе, какъ существа высшаго ко всему; такъ Кирилловъ, человѣкъ по характеру крайне добродушный, ко всему относится свысока; даже самообладаніе Ставрогина не возбудило въ немъ уваженія или удивленія. Онъ счастливъ по своему, несмотря на то, что окружающая дѣйствительность крайне непригдядна; погруженный въ свои идеи бреда, онъ нѣсколько мѣсяцевъ проводитъ въ созерцательномъ настроеніи, нисколько не интересуясь тѣмъ, что происходитъ вокругъ него. Природа, повидимому, не отказала въ своеобразномъ счастіи и этимъ несчастнымъ.

Только исключительные умы могутъ находить столько наслажденія въ работѣ мысли, какъ нѣкоторые душевнобольные, съ громаднымъ трудолюбіемъ и большою любовью разрабатывающіе свои идеи бреда, ни мало не смущаясь ни окружающею ихъ обстановкой ни отсутствіемъ адептовъ своего ученія.

Шатовъ.

*) Шатовъ до извѣстной степени стоитъ въ сторонѣ отъ пресловутой „кучки“, сгруппированной Петромъ Степановичемъ въ губернскомъ городѣ. По своимъ убѣжденіямъ онъ даже въ полномъ разрѣзѣ съ подпольными революціонерами. Въ ранней молодости и онъ стоялъ въ ихъ рядахъ и даже эмигрировалъ безъ всякой основательной причины. За границей женился онъ на бойкой русской барышнѣ, изъ гувернантокъ; прожили они вдвоемъ недѣли съ три, и потомъ разстались, какъ вольные и ничѣмъ не связанные люди, тоже и по бѣдности“. Жена вскорѣ затѣмъ сошлась съ Ставрогинымъ, а мужъ уѣхалъ въ Америку, гдѣ бѣдствовалъ вмѣстѣ съ Кирилловымъ года три.

Тамъ онъ рѣзко измѣнилъ свои убѣжденія, изъ атеиста и революціонера сдѣлавшись человѣкомъ вѣрующимъ. Впрочемъ, жизнь до такой степени взломала его, что онъ по-

*) (А). А. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ“. „Русскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 8.

терялъ характеръ и сталъ неспособенъ ни къ какой дѣйствующей роли. Камень придавилъ его, по выраженію автора, и вся послѣдующая жизнь его должна проходить въ корчахъ подъ этимъ камнемъ. Онъ застрялъ на распутьи жизни въ мучительной борьбѣ здравомыслія съ безхарактерностію и безволіемъ, отличающимъ русскихъ людей этого типа. Разорвавъ съ эмиграціей и революціей, онъ однако не могъ пристать ни къ какому дѣлу, ни къ какой установившейся формѣ жизни, и остался въ подпольѣ, измученный, страдающій, одинокій, сознающій всю мерзость среды и не находящій изъ нея выхода. Обстоятельства толкнули его въ кучку; но внутренно онъ давно разорвалъ съ нею, и однако плетется подлѣ нея, единственно потому, что внѣ ея нѣтъ ничего, къ чему бы онъ могъ приткнуться. Открытая, широкая жизнь идетъ мимо его, какъ нѣчто совершенно чуждое: вышедшій изъ подполья, одичалый, неспособный ни къ какому практическому дѣлу, онъ видитъ себя замкнутымъ въ заколдованномъ кругѣ, среди трагической необходимости жить съ людьми, которыхъ искренно, убѣжденно презираетъ. „Я слышалъ, говоритъ онъ своей женѣ, что ты будто-бы презирала меня за перемѣну убѣжденій. Кого жъ-я бросилъ? Враговъ живой жизни, устарѣлыхъ либералишекъ, боящихся собственной независимости; лакеевъ мысли, враговъ личности и свободы, дряхлыхъ проповѣдниковъ мертвечины и тухлятины! Что у нихъ: старчество, золотая средина, самая мѣщанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство безъ собственнаго достоинства, равенство, какъ сознаетъ его лакей или какъ сознавалъ французъ 93 года... А главное, вездѣ мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!“ Въ этой неотвратимости—жить въ средѣ, такъ искренно презираемой, заключается весь трагизмъ людей, вышедшихъ изъ подполья и внутренно съ нимъ разорвавшихъ.

И вотъ въ ту минуту, когда заколдованный кругъ готовъ совсѣмъ замкнуться вокругъ несчастнаго Шатова, когда неестественное положеніе его между „кучкой“ и *надпольною жизнью* должно окончательно изломать и придавить

его, судьба неожиданно указываетъ ему выходъ. Жена его, брошенная за границею Ставрогинымъ, возвращается къ нему, чтобы подъ его нищенскимъ кровомъ дать жизнь чужому ребенку. И Шатовъ до того измученъ, до того придавленъ, что въ этомъ столкновеніи, видитъ спасительный выходъ къ возрожденію... Но ему не суждено было выступить на новую дорогу: неестественныя отношенія его къ „кучкѣ" привели къ кровавой катастрофѣ, которою оканчивается романъ.

Ставрогинъ.

*) Ставрогинъ даже вообще мало говоритъ: у него болѣзнь сидитъ болѣе въ крови, чѣмъ въ мозгу, и вмѣсто того чтобы создавать системы à la Шигалевъ или Кирилловъ, онъ предпочитаетъ удивлять прямо своими поступками... Это зараженная кровь въ той-же степени, какъ и зараженный мозгъ. Еще при самомъ вступленіи въ свѣтъ, онъ вдругъ какъ-то дико закутилъ. „Не то, чтобъ онъ игралъ или очень пилъ; разсказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленныхъ рысаками людяхъ, о звѣрскомъ поступкѣ съ одною дамой хорошаго общества, съ которою онъ былъ въ связи, а потомъ оскорбилъ ее публично. Что-то даже слишкомъ ужъ откровенно-грязное было въ этомъ дѣлѣ." Разжалованный въ солдаты и очень быстро вновь выслужившійся, онъ опять появляется въ Петербургѣ, но уже совершенно въ другомъ обществѣ. „Доискались, что онъ живетъ" въ какой-то странной компаніи, связался съ какимъ-то отребьемъ петербургскаго населенія, съ какими-то безсапожными чиновниками, отставными военными, благородно-просящими милостыню, пьяницами, посѣщаетъ грязныя ихъ семейства, дни и ночи проводитъ въ темныхъ трущобахъ и Богъ знаетъ въ какихъ закоулкахъ, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится." Вотъ въ этомъ-то *стало-быть*,

*) (А.) А. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ." „Русскій Вѣстникъ" 1873 г., № 8.

ему нравится и заключается единственная причина и единственное объясненіе всѣхъ его поступковъ, заставившихъ Петра Степановича предполагать въ немъ „необыкновенную способность къ преступленію.“ Отсутствіе въ мозгу всякихъ сдерживающихъ рефлексовъ, органическая порча крови, болѣзненная развращенность, которая „въ обоихъ полюсахъ находитъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія“; собственно политической закваски въ этой натурѣ нѣтъ никакой, и онъ остается очень равнодушенъ къ дѣлу, въ которое всею силою тянетъ его молодой Верховенскій. Когда послѣдній объясняетъ ему планъ политической организаціи и программу тайнаго общества, Ставрогинъ дѣлаетъ замѣчаніе, которое заставляетъ Верховенскаго воскликнуть: „О, будьте поглупѣе, Ставрогинъ, будьте поглупѣе!“ Дѣйствительно, Ставрогинъ умнѣе подпольныхъ дѣятелей, хотя онъ на половину помѣшанный человѣкъ; его преимущество въ томъ, что его заразила не политическая и не соціальная идея. Въ политикѣ онъ настолько трезвъ, что когда Петръ Степановичъ развиваетъ предъ нимъ изумительный планъ дѣйствія революціоннаго общества, онъ серьезно задаетъ себѣ вопросъ: „если этотъ человѣкъ пьянъ, то гдѣ-же онъ успѣлъ напиться“?—„Охоты нѣтъ, такъ я и зналъ“! восклицаетъ съ унынiемъ Верховенскій, когда тотъ рѣшительно отказывается отъ предложенной ему роли Ивана-царевича.

* * *

*) Въ Раскольниковѣ художникъ изобразилъ состояніе *вѣрующаго отрицанія*, которое было не рѣдкостью въ приснопамятную эпоху шестидесятыхъ годовъ. Понятно само собою, что на этомъ дѣло не могло остановиться: колесо, пущенное подъ гору, продолжало свое движеніе. На рубежѣ слѣдующаго десятилѣтія мы опять встрѣчаемся и на этотъ разъ уже съ цѣлою компаніей отрицателей въ по-

*) *П. А. Звѣревъ.* „Русь“ 1884 г., № 1.

вомъ романѣ Достоевскаго „Бѣсы.“ Во главѣ компаніи стоитъ Николай Ставрогинъ. Это новый Раскольниковъ, на котораго протекшее десятилѣтіе положило яркую печать. Въ сущности содержаніе мысли какъ у него, такъ и у всей компаніи, осталось прежнее: ни до чего новаго они не додумались за это время. Но отношеніе къ этому содержанію совсѣмъ не то, что было прежде. Раскольниковъ отрицалъ страстно, вѣрующе, ибо отрицаніе далось ему не легко: чтобы отказаться отъ своихъ прежнихъ вѣрованій, чтобы отрицать то, что ранѣе было предметомъ его поклоненія, чтобы разбить наслѣдственные кумиры, ему довелось, быть можетъ—провести не одну безсонную ночь. То было выстраданное, дорого купленное отрицаніе, и потому понятно, съ какою сердечностью относился къ нему Раскольниковъ. Это чувство интимной привязанности къ отрицательнымъ выводамъ своей мысли, беззавѣтная вѣра въ нихъ, поддерживалась и усиливалась тѣмъ отпоромъ, который должны были встрѣтить новыя идеи въ жизни: приходилось отстаивать ихъ право на существованіе, приходилось бороться за ихъ признаніе. А все, за что человѣкъ борется, уже по одному этому дорого и близко его сердцу. Ничего подобнаго нѣтъ въ Ставрогинѣ. Отрицаніе не было въ немъ плодомъ его пытливой мысли; оно не проникало въ его сердце болѣзненнымъ мучительнымъ процессомъ; онъ не страдалъ, не мучился утратою прежнихъ вѣрованій. Отрицаніе перешло къ нему по наслѣдству; оно пробиралось въ его душу постепенно и безболѣзненно. Кто былъ его первымъ учителемъ въ этомъ дѣлѣ — онъ и самъ бы не могъ сказать: ученіе носилось въ воздухѣ и невольно захватывало собою всякаго живого человѣка. Не встрѣчая прежней энергіи противодѣйствія, упрочивъ, такъ сказать, свои права гражданства,—медленнымъ ядомъ вливалось оно въ душу человѣка, глубоко и прочно западало въ ней. Оно не было уже предметомъ вѣры; оно стало предметомъ холоднаго знанія, которое ровно ничего не говоритъ сердцу, какъ не говоритъ ему сухая математическая формула. Что люди поклонялись когда-то ложнымъ богамъ—это казалось столь

простою и безспорною истиною, о которой не стоитъ и говорить, какъ не стоитъ говорить о томъ, что дважды два—четыре. Но если само отрицаніе утратило свою обаятельную силу, если уже оно ничего не говоритъ нашему сердцу, то что же любить, что ненавидѣть, чего добиваться, къ чему привязаться душою, зачѣмъ, наконецъ, жить?—Ради заботы о ближнихъ? ради облегченія страданій униженныхъ и оскорбленныхъ? ради водворенія счастія на землѣ? Все это, конечно, высокія и святыя цѣли, но не для Ставрогина. Во имя чего дорожить ему этими цѣлями? Ставрогинъ стоитъ на ступени отрицанія, на которой онъ ничего не приметъ на вѣру, зря; онъ не способенъ на мѣсто сброшенныхъ кумировъ воздвигать новые идеалы. Такъ во имя чего же стремиться ко всему этому? Ужъ опять не во имя ли „общаго блага?“ Но Ставрогинъ хорошо знаетъ цѣну этой идеи, и она уже не плѣняетъ болѣе его мысли. Онъ спокойно и холодно все отрицающій, не видитъ и не знаетъ, зачѣмъ онъ явился на свѣтъ Божій и для чего существуетъ. Неужели же онъ, отрицаніе котораго приводитъ къ мысли о безцѣльности и безсмысленности своего личнаго существованія, будетъ хлопотать и ставить задачею жизни, чтобы столь же безцѣльно и безсмысленно существовали другіе? Нѣтъ, человѣкъ не отступающій передъ выводами своей мысли, онъ не сдѣлаетъ этого, и онъ, дѣйствительно, этого не дѣлаетъ. Отрицаніе,—холодное, безстрастное, неумолимое отрицаніе,—убило въ немъ все. смерчомъ пронеслось оно по его психическому міру и съ корнемъ вырвало въ немъ всѣ живые побѣги; оно выжало его душу и обратило ее въ полную и совершенную пустыню. Это уже не живой человѣкъ, любящій и ненавидящій: онъ ко всему относится безучастно и не знаетъ болѣе ни радости ни горя. Онъ живетъ изо дня въ день, колотится какъ рыба объ ледъ и не ищетъ даже исхода. Единственное чувство, которое еще не замерло въ немъ, это чувство тоски гнетущей, мучительной, ужасной:

Цѣли нѣтъ передо мною;
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ!

могъ бы воскликнуть Ставрогинъ вмѣстѣ съ великимъ поэтомъ. Чтобы избавиться отъ этой невыносимой тоски, которую онъ носитъ въ своемъ сердцѣ, ему остается одно— искать развлеченія: въ чемъ-нибудь потопить, чѣмъ-нибудь заглушить гнетущее чувство. И Ставрогинъ развлекается всѣмъ, что попадется ему на глаза, ни передъ чѣмъ не останавливаясь, ничего не щадя, не заботясь даже о самомъ себѣ. Сегодня онъ смиренно сноситъ тяжкое публичное оскорбленіе, завтра безъ особой нужды играетъ на дуэли своею жизнію, послѣ завтра губитъ встрѣтившуюся ему дѣвушку, которую, однако, вовсе не любитъ. Къ тому, другому и третьему онъ относится одинаково безучастно; онъ дѣлаетъ все это потому, что хочетъ заглушить въ себѣ смертельную тоску, которая его душитъ. Помните у Пушкина: Фаустъ приказываетъ съ тоски потопить корабль, на который указываетъ ему на концѣ сцены Мефистофель. Ну, вотъ это именно то душевное состояніе, которое переживаетъ Ставрогинъ, хотя оно происходитъ у него отъ другихъ причинъ, чѣмъ у Фауста. Зачѣмъ потопить? кому и для чего это нужно!—Да такъ, чтобы хоть немножко забыться. Дѣло позволительное тѣмъ болѣе, что чего же жалѣть тѣхъ далекихъ пловцовъ, которые такъ же, какъ и онъ, безсмысленно живутъ и прозябаютъ? Но прихотливыми забавами не заглушить тоски и не наполнить содержаніемъ безцѣльной жизни. И вотъ, естественно, въ одну изъ минутъ, когда тоска сказалась съ особою силою, Ставрогинъ кончаетъ съ собою. Мы, впрочемъ, не знаемъ, какъ собственно онъ кончаетъ: быть можетъ, онъ лѣзетъ въ петлю такъ же спокойно и безучастно, какъ дерется на дуэли; въ смерти, быть-можетъ, онъ видитъ новое, еще неиспытанное имъ, развлеченіе и съ любопытствомъ идетъ къ нему навстрѣчу. Какъ бы тамъ ни было, но конецъ Ставрогина вытекаетъ съ необходимостью изъ всего про-

шлаго этого жалкаго человѣка. Однако, возлѣ Ставрогина цѣлая компанія, предводимая Петромъ Верховенскимъ, которая какъ будто дѣлаетъ что-то, стремится къ чему-то. Но Боже! Это опять развлекающаяся компанія, и развлекается она ужаснымъ дѣломъ: для счастья людей — она губитъ одного изъ своихъ членовъ и прикрывается самоубійствомъ другого. Что же? Это убійство товарища—результатъ увлеченія, въ которомъ убійцы будутъ горько раскаиваться?— О, нѣтъ, никакъ! Это дѣло холоднаго разсчета, и дѣльцы уже не новички, чтобы поддаваться той непростительной слабости, жертвою которой дѣлается Раскольниковъ. Убійство нужно имъ для осуществленія плана, имѣющаго сдѣлать людей счастливыми. Этотъ планъ не работа возбужденной фантазіи, а плодъ спокойнаго обсужденія. Компанія относится и къ своему плану и къ предполагаемому убійству дѣловымъ образомъ,—такъ точно, какъ всякій другой отнесся бы къ какому-нибудь практическому вопросу. Въ ней, въ этой компаніи, тотъ-же духовный строй, что въ Ставрогинѣ: тотъ съ тоски губитъ себя, а эти губятъ другого, чтобы на его погибели основать общее дѣло, которымъ они развлекаются. Безцѣльность, пустота души, полныя и совершенныя потемки внутри и внѣ, непроницаемый мракъ, окутывающій человѣка,—вотъ тѣ характерныя черты, которыми отмѣчаетъ усопшій писатель состояніе отрицанія, низведеннаго на степень холоднаго и безстрастнаго *знанія*. Ни въ своей ни въ чужой жизни нѣтъ уже болѣе смысла, нѣтъ и цѣны ей; не существуетъ ни правыхъ ни ложныхъ путей, да и вообще нѣтъ никакихъ путей, которые вели бы къ чему-либо, стоющему хлопотъ.

„Хоть убей, слѣда не видно!
Сбились мы; что дѣлать намъ"?...

восклицаетъ въ отчаяніи Достоевскій, ставя этотъ стихъ эпиграфомъ своихъ „Бѣсовъ".

Варвара Петровна Ставрогина.

*) Представительницею поколѣнія родителей-самодуровъ являются въ романѣ Достоевскаго помѣщица и генеральша Варвара Петровна Ставрогина. Особа эта, какъ и „другъ“ ея, Степанъ Трофимовичъ, много разъ уже, въ различныхъ костюмахъ, отрекомендовывалась русскимъ читателямъ; г. Достоевскій точно такъ же скомпилировалъ характеръ деспотической помѣщицы, какъ онъ скомпилировалъ и характеръ Верховенскаго. И вторая компиляція, какъ и первая, отличается тѣмъ-же отсутствіемъ художественной конкретности, и тѣмъ-же, хотя и одностороннимъ, но въ высшей степени тонкимъ и остроумнымъ психологическимъ анализомъ. Я, впрочемъ, не стану здѣсь останавливаться на разборахъ этого характера. Достаточно сказать только, что Варвара Петровна представляетъ собою какъ-бы „дополнительный цвѣтъ“ по отношенію къ Степану Трофимовичу. Основной фонъ того или другого характера одинаковы: это болѣзненно-развитое себялюбіе, дѣлающее изъ своего „я“ высшее и конечное средоточіе всей своей жизни и дѣятельности. У одного только это себялюбіе приняло направленіе пассивной самосозерцательности, совершенно, впрочемъ, безобидной для окружающихъ его лицъ, у другой выродилось въ самодурный деспотизмъ. Само-собою понятно, что „дружба“ обоихъ этихъ эгоизмовъ не имѣетъ въ себѣ ничего привлекательнаго: оба друга двадцать лѣтъ взаимно одинъ другого мучаютъ, одинъ другому отравляютъ послѣднія спокойныя минуты жалкаго существованія.

Въ характерѣ этой дружбы рельефно обрисовывается, между прочимъ, вся пошлось и безсодержательность, вся мелочность и тупая ограниченность людей разсматриваемаго типа. Чрезъ двадцать лѣтъ оказалось, что оба друга жаждали не простой дружбы, а взаимной любви, но во все это время ни у одного изъ нихъ не хватало смѣлости, чтобы взглянуть истинѣ прямо въ глаза и отдать себѣ ясный

*) П. Никитинъ. „Вольные люди“. „Дѣло“ 1873 г., №№ 3 и 4.

отчетъ въ своихъ чувствіяхъ. А между тѣмъ оба они были большіе охотники до само-анализированія. Но это такъ всегда бываетъ съ малодушными резонерами: резонеръ любитъ всегда пріискивать къ своимъ чувствамъ сотни самыхъ хитро-сплетенныхъ комментарій и оправданій, но всѣ они обыкновенно одинаково далеки отъ истины. Какъ трусъ, резонеръ инстинктивно избѣгаетъ послѣдней; онъ всегда предпочитаетъ то, что льститъ (хотя и на время) пустому тщеславію. Впрочемъ, у Варвары Петровны тутъ дѣйствовала не столько трусость, сколько болѣзненное самолюбіе. Какъ можно, чтобы она, генеральская вдова, богатая помѣщица, унизилась до любовныхъ объясненій хотя и съ другомъ, но все-же „другомъ", сравнительно съ нею весьма ничтожнымъ, состоящимъ при ней въ качествѣ приживалки". Но глупость ихъ взаимныхъ отношеній не исчерпывается однимъ этимъ двадцатилѣтнимъ недоразумѣніемъ. Они запоминали каждую мелочь, ставили „въ лыко" каждую строку, а потомъ при случаѣ (а часто даже и безъ всякаго случая) подпускали другъ другу всякія шпильки; особенно памятлива была насчетъ всякаго вздора Варвара Петровна. Однажды Степанъ Трофимовичъ, слушая разсказъ одного заѣзжаго гостя барона о слухахъ по поводу предстоящей крестьянской реформы, не вытерпѣлъ и крикнулъ: „ура"; это взволновало Варвару Петровну, и она не спустила даромъ своему другу его неосторожное восклицаніе. Когда баронъ уѣхалъ, она молчала минуты три, а потомъ вдругъ „блѣдная, со сверкающими глазами, обернулась къ ничего не подозрѣвавшему „другу" и шопотомъ процѣдила: „я вамъ этого не забуду". И дѣйствительно, разсказываетъ авторъ, „тринадцать лѣтъ спустя, въ одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его и такъ-же точно поблѣднѣла, какъ и тринадцать лѣтъ назадъ, когда въ первый разъ попрекала..."

Варвара Петровна не умерла, но, по всей вѣроятности, она впала въ такое состояніе, въ которомъ даже и неопытный психіатръ усмотритъ симптомы умственной болѣзни. По крайней мѣрѣ, у нея еще раньше являлись та-

кія дикія и нелѣпыя фантазіи (въ родѣ, напр., сватовства Даши на Степанѣ Трофимовичѣ), что признать ее вполнѣ здоровою никогда нельзя было; подъ гнетущимъ вліяніемъ самодурнаго и ограниченнаго эгоизма, ея характеръ долженъ былъ съ годами точно такъ-же вырождаться, какъ вырождался характеръ Степана Трофимовича, подъ вліяніемъ эгоизма трусливаго, малодушнаго, пассивно-созерцательнаго самообожанія. Только вырожденіе въ томъ и другомъ случаѣ принимало различныя формы. У одной оно переходило въ „періодъ предвѣстниковъ“ неистовства (такъ называемой маніи), у другого въ меланхолію. Внезапные порывы неистовства или приступы гнетущей тоски, эти психіатрическіе феномены, были самымъ обыденнымъ явленіемъ въ жизни нашихъ папенекъ и маменекъ, нашихъ Варваръ Петровнъ и Степановъ Трофимовичей.

Эркель.

Эркелю хотя предоставлена въ романѣ весьма второстепенная роль, но индивидуальность его отмѣчена авторомъ очень ярко. Это былъ „дурачокъ“, но такой, у котораго только главнаго царя не было въ головѣ, а маленькаго подчиненнаго толку было довольно, „даже до хитрости“. „Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, мало разсудочной, вѣчно жаждущей подчиненія чужой волѣ натуры“. Чувствительный и даже добрый, дѣлившійся со старушкой матерью своимъ скуднымъ жалованьемъ, онъ „быть можетъ, былъ самымъ безчувственнымъ изъ убійцъ Шатова, и безъ всякой личной ненависти, не смигнувъ глазомъ, присутствовалъ при его убіеніи“. Авторъ замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ, что „еслибъ онъ встрѣтился съ какимъ-нибудь преждевременно развращеннымъ монстромъ, и тотъ подъ какимъ-нибудь соціально-романическимъ предлогомъ подбилъ его основать разбойничью шайку, а для пробы велѣлъ убить и ограбить перваго встрѣчнаго мужи-

*) (А). А. Авсѣенко. „Общественная психологія въ романѣ.“ „Русскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 8.

ка, то онъ непремѣнно бы пошелъ и послушался. „Подобные фанатики „послушанія“, беззотвѣтно подчиняющіеся всякой чужой волѣ, достаточно нахальной, чтобъ импонировать имъ, въ такой же степени составляютъ пригодный революціонный матеріалъ, какъ и фанатики крови и рѣзни, подобные Шигалеву.

Фонъ-Лембке.

*) Развитіе буйнаго помѣшательства, или, говоря правильнѣе, суммы болѣзненныхъ симптомовъ, называемыхъ буйствомъ, не законченное въ повѣсти *Двойникъ*, съ необычайною полнотой и живостью описано въ другомъ произведеніи, явившемся почти на четверть вѣка позже: въ *Бѣсахъ*. Но, какъ и у всякаго крупнаго художника, тутъ нѣтъ повторенія, основная тема та же, но разработана другая варіація этой темы, такъ что въ одно и то же время мы имѣемъ и болѣе всестороннее изученіе и разъясненіе раньше недосказаннаго.

Фонъ-Лембке второстепенная личность въ этомъ романѣ, но характеристика его, какъ въ здоровомъ, такъ и въ больномъ состояніи, останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя.

Достоевскій не говоритъ о причинахъ помѣшательства Лембке; послѣднею дѣйствующею причиной были семейныя дрязги, безпокойство за служебное положеніе и усиленное напряженіе умственной дѣятельности. А что это напряженіе достигало высокой степени, ясно уже изъ того, что нелегко, хотя бы и плохо, разыгрывать роль губернатора человѣку, проводившему время въ клееніи игрушекъ; задача не легкая перейти отъ столь несложной работы къ управленію людьми.

Прежде всего появился періодъ угнетеннаго настроенія; жена его, женщина вообще интеллигентная, замѣтила въ немъ уныніе еще мѣсяца за два до того, какъ помѣшатель-

*) В. Чижъ. „Достоевскій, какъ психопатологъ“. „Русскій Вѣстникъ“ 1884 г., №№ 5 и 6, и отдѣльное изд. М. 1885 г.

ство вполнѣ обнаружилось; посторонніе, какъ это обыкновенно и бываетъ, ничего ненормальнаго не замѣчали.

Если бы нужно было доказывать, что Достоевскій—глубокій наблюдатель въ сферѣ психопатологіи, то указанія на одну эту подробность было бы достаточно. Едва ли можно допустить, чтобы только случайно въ двухъ произведеніяхъ, такъ рѣзко отличающихся другъ отъ друга, авторъ отмѣтилъ одно и то же обстоятельство; неужели и въ исторіи Голядкина и въ исторіи Лембке указаніе на предшествовавшій періодъ мрачнаго настроенія ничего не значащая обмолвка со стороны автора? Между тѣмъ, какъ психіатрамъ нужно было много времени и труда, чтобы подмѣтить это явленіе, Достоевскому оно дѣлается извѣстнымъ, благодаря только его личнымъ наблюденіямъ.

Угнетенное состояніе духа въ этотъ періодъ обыкновенно бываетъ выражено такъ слабо, что только близкіе люди замѣчаютъ перемѣну въ характерѣ больного; и только когда помѣшательство разовьется вполнѣ, они отдаютъ себѣ уже ясный отчетъ въ замѣченномъ ими.

Ничѣмъ не мотивированное измѣненіе настроенія у Лембке сопровождалось сосредоточенностью, равнодушіемъ къ дѣйствительности его окружающей; появилась безсонница. Мало-по-малу стала замѣтна значительная перемѣна въ характерѣ. Сдержанный, спокойный, настойчивый, Лембке дѣлается уступчивымъ относительно вещей серіозныхъ, мелочно требовательнымъ относительно пустяковъ, крайне раздражительнымъ, болтливымъ, откровеннымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ появляется переоцѣнка собственныхъ достоинствъ, хвастливость, неспособность понять болѣе сложныя обстоятельства. Благовоспитанный, скромный и сдержанный, Лембке пускается въ откровенности съ Петромъ Верховенскимъ, говоритъ ему о своемъ фантастическомъ для простого губернатора могуществѣ, поддается на грубую лесть и не понимаетъ, что его грубо обманываютъ. Пока, конечно, ничего абсолютно болѣзненнаго нѣтъ; помѣшательство вѣдь развивается постепенно, и рѣдко можно провести рѣзкую границу, гдѣ кончаются поступки здороваго и на-

чинаются выходки больного. Во всякомъ случаѣ поведеніе Лембке за этотъ періодъ, принимая во вниманіе его прежній характеръ, по меньшей степени странно. Еще страннѣе, какъ наивная и безцѣльная хвастливость Лембке предъ женой тѣмъ, что онъ справится съ десятью губерніями, вышлетъ гувернантку изъ губерніи „съ казакомъ“, такъ и то, что этотъ образецъ благовоспитанности и приличія бросается съ кулаками на обожаемую имъ жену.

На слѣдующій день его слова и поступки кажутся и многимъ болѣе чѣмъ странными. Появилась усиленная возбудимость чувствъ, благодаря чему всѣ впечатлѣнія, получаемыя сознаніемъ, оттѣняются и сопровождаются сильными душевными волненіями, вмѣстѣ съ чрезмѣрнымъ ускореніемъ процесса представленій. Воспоминаніе о вчерашней ссорѣ съ женой вызываетъ столь сильное душевное волненіе, что онъ бросаетъ важныя дѣла (а онъ былъ человѣкъ аккуратный) и ѣдетъ за ней, не успѣлъ еще доѣхать—новыя представленія, новое настроеніе: хорошее утро, окружающія поля производятъ столь сильное впечатлѣніе на этого обыкновенно деревяннаго чиновника, что онъ сходитъ съ коляски и рветъ цвѣты. Такіе ребяческіе, слабо мотивированные поступки весьма характерны для даннаго періода болѣзни. Вслѣдствіе повышенной возбудимости хорошее утро и поля такъ сильно повліяли на Лембке, что онъ, какъ ребенокъ отдается этому впечатлѣнію, забывъ о женѣ и о дѣлахъ. Легко себѣ представить, какъ при такомъ состояніи должно было подѣйствовать извѣстіе, сообщенное частнымъ приставомъ Флибустьеровымъ о томъ, что рабочіе шпигулинской фабрики собрались на площади съ цѣлью принести жалобу губернатору. Въ такомъ состояніи, вслѣдствіе высокой возбудимости чувства и быстрой смѣны представленій, при безграничномъ въ то же время ихъ сочетаніи, наступаетъ быстрая смѣна самыхъ разнообразныхъ аффектовъ. Вслѣдствіе этого извѣстія развился гнѣвный аффектъ, гнѣвное настроеніе духа производитъ въ свою очередь вторичныя воспроизведенія соотвѣтственныхъ представленій, какъ попытку объяснить себѣ причины столь

сильнаго волненія, то-есть является тотъ же процессъ, какъ и при развитіи идей бреда у меланхолика. У Лембке всплываютъ на поверхность сознанія старыя предположенія, прежде почти невѣроятныя для него самого, что на рабочихъ вліяли прокламаціи, Петръ Верховенскій и т. п.: но теперь для него это уже непреложный фактъ. Такія представленія опять, какъ это всякому понятно, сами дѣйствуютъ на гнѣвное настроеніе и поддерживаютъ его. Представленія эти, въ противоположность меланхоліи, гдѣ они имѣютъ стойкій характеръ, здѣсь носятъ характеръ вихря идей. Такъ какъ при чрезмѣрномъ ускореніи и возбужденіи всѣхъ психическихъ актовъ и при недѣятельности всѣхъ задерживающихъ представленій, *я* субъекта оказывается безсильнымъ противостоять этому процессу возбужденія, то душевныя волненія проявляются при помощи химическаго и двигательнаго аппаратовъ. Даже такихъ наблюдателей какъ Флибустьеровъ и кучеръ поразило выраженіе лица Лембке въ то время, когда тотъ срывалъ цвѣты. На площади онъ держалъ себя такъ неприлично по внѣшности, что даже люди, не видящіе ничего предосудительнаго въ публичной экзекуціи, и тѣ не одобрили его горячности.

Чрезмѣрное ускореніе хода представленій естественно ведетъ къ безсвязности ихъ, къ ассоціаціи идей низшаго порядка, то-есть ассоціаціи, обусловленной созвучіемъ или сходствомъ самихъ словъ: такъ Лембке, услышавъ фамилію частнаго пристава Флибустьерова, при его докладѣ о томъ, что рабочіе пришли на площадь, вдругъ называетъ самихъ просителей „флибустьерами“ (фаланстеры, фурьеристы, вотъ вѣроятно что мелькало въ разгоряченномъ сознаніи), летитъ на площадь, кричитъ безсмысленныя слова „на колѣни“, „флибустьеры“, и ни мало не колеблясь, не разобравъ и даже не сдѣлавъ попытки разобрать дѣло, распоряжается объ экзекуціи. При бездѣйствіи всѣхъ задерживающихъ моментовъ, представленій о законѣ и могущей угрожать отвѣтственности, чувствъ справедливости и приличія, старой привычки къ порядку, такое распоряженіе

вытекаетъ само собой, какъ у грубаго человѣка, когда тотъ лѣзетъ драться, при сопротивленіи ему въ чемъ-нибудь. Лембке не могъ разсуждать и не успѣлъ отдаться новымъ настроеніямъ, а въ его состояніи настроеніе и представленія быстро переходили въ дѣйствія.

То же самое мы видимъ въ его послѣдующей бесѣдѣ со Степаномъ Верховенскимъ. Лембке только отчасти узнаетъ его; до сознанія не сразу доходитъ и впечатлѣніе зрѣнія и слуховыя воспріятія; онъ не слышитъ, что собственно ему говорилъ Верховенскій, а кричитъ фразы, попавшія ему на языкъ подъ напоромъ занимающихъ его представленій о пропагандѣ, о заблуждающемся юношествѣ и т. п. Когда же онъ окончательно узнаетъ Верховенскаго и видитъ Блюма, то картина мѣняется, пріобрѣтаютъ живость представленія о неудачно сдѣланномъ обыскѣ, о скандалѣ отсюда вытекающемъ, и вотъ только-что сѣкшій людей Лембке униженно проситъ прощенія, чуть не плачетъ. Жена его, пользуясь этою перемѣною, на время заставляетъ его подчиниться себѣ, но вновь поднятый разговоръ о лекціяхъ производитъ волненіе въ Лембке, и онъ дѣлаетъ скандалъ въ гостиной жены.

Достоевскій безъ малѣйшей натяжки создалъ поразительную картину человѣка власть имущаго, съ полевыми цвѣтками въ рукахъ распоряжающагося поркой невинныхъ людей на публичной площади, среди негодующей и одобряющей публики. Что еще болѣе оттѣняетъ реальность и выразительность этой картины, это зависимость всей кутерьмы отъ простой случайности: не будь фамилія частнаго пристава Флибустьеровъ, вѣроятно, не было бы и такого трагическаго конца. Не знаю, можно ли лучше, сохраняя полную правдивость, заставить читателя содрогнуться и задуматься. Если вспомнить многое изъ прошлаго и посмотрѣть на жизнь вокругъ, то много найдемъ такихъ же Лембке, дѣйствующихъ столь же разумно, какъ и онъ. Впрочемъ, пояснять дальше выразительность этой картины излишне; я хотѣлъ только указать, какъ мастерски пользовался Достоевскій своимъ знаніемъ психопатологіи для созданія наиболѣе выразительныхъ картинъ.

Однако такіе больные еще могутъ успокаиваться; посторонним они кажутся даже здоровыми, но и въ эти сравнительно свѣтлые промежутки, при внимательномъ наблюденіи, видны болѣзненныя явленія: сильное мозговое возбужденіе перешло въ угнетеніе. Лембке сдѣлался вялъ, безучастенъ, не могъ уже заниматься дѣлами до вечера слѣдующаго дня, когда новыя, сильно подѣйствовавшія впечатлѣнія (крики публики, человѣкъ, танцующій кверху ногами) вызвали прежнее состояніе, но еще въ сильнѣйшей степени; онъ сталъ говорить безсмыслицу, то есть слова, первыми попавшія на языкъ: „пожаръ въ головахъ“, „обыскать всѣхъ“ и т. п. Какъ и всякій буйный больной, онъ проявляетъ усиленную дѣятельность и подвижность, ѣдетъ на пожаръ, тамъ суетится безо всякаго толку, кричитъ, бѣгаетъ и наконецъ бросается помогать старухѣ тащить изъ загорѣвшагося дома перину. Одни и тѣ же законы руководили имъ все время: та же болѣзненная возбудимость чувства, повышенные аффекты, ускоренное теченіе представленій при отсутствіи контролирующихъ моментовъ.

Мнѣ кажется, что этимъ примѣромъ Достоевскій показалъ, какимъ путемъ человѣкъ можетъ дойти до нарушенія всѣхъ законовъ; конечно, у Лембке все это выразилось очень рѣзко, но суть дѣла остается та же. Кто знаетъ, не будутъ ли наши потомки смотрѣть на нашихъ Лембке, какъ мы смотримъ на Нерона, и такое проявленіе душевной болѣзни, какъ у Лембке, будетъ имѣть быстрое и соотвѣтственное послѣдствіе—заключеніе въ больницу. Если бы Лембке приказалъ шпигулинскихъ рабочихъ повѣсить, то, конечно, полицеймейстеръ не усомнился бы, что его начальникъ сошелъ съ ума, между тѣмъ какъ подобныя приказанія въ извѣстныя эпохи ни въ комъ не возбуждали сомнѣнія относительно состоянія умственныхъ способностей Лембокъ того времени.

Елизавета Николаевна Дроздова.

*) У Елизаветы Николаевны Дроздовой истерическій характеръ выразился не такъ рѣзко, какъ у Лизы Хохлаковой („Братья Карамазовы“). Елизавета Николаевна можетъ даже считаться здоровою дѣвушкой и пользоваться свободой; такихъ дѣвушекъ въ образованномъ классѣ весьма много; однако при неблагопріятныхъ условіяхъ эти зачатки болѣзни могутъ развиться вполнѣ. Кромѣ того, нужно сказать, что относительно Елизаветы Николаевны Достоевскій нѣсколько идеализуетъ: онъ описалъ только хорошія стороны ея характера; гораздо чаще, однако, съ тою порывистостью и измѣнчивостью, которыя составляютъ сущность характера Елизаветы Николаевны, проявляются эгоистическія, низменныя стремленія; истерическія проявляютъ себя чаще капризами, чѣмъ благородными поступками. Поэтому образъ Елизаветы Николаевны представляется неяснымъ, неестественнымъ, неизмѣримо слабѣе очерченнымъ, чѣмъ образъ Лизы (само собой разумѣется, что я говорю только съ медицинской точки зрѣнія) **).

---

*) В. Чижъ. „Достоевскій, какъ психопатологъ.“ „Русскій Вѣстникъ“ 1884 г., №№ 5 и 6 и отдѣльное изданіе М. 1885 г.

**) Кромѣ помѣщенныхъ здѣсь критическихъ выдержекъ о романѣ „Бѣсы“, интересующіеся могутъ прочитать о немъ отзывы еще въ слѣдующихъ періодическихъ изданіяхъ: „Дѣло“ 1871 г., № 11, стр. 54—75 (статья, подъ заглавіемъ „Невинныя замѣтки“); „Голосъ“ 1873 г., № 18; „Искра“ 1873 г., № 6; „Новое Время“ 1873 г., № 16 (рец. А. С.); „Русскій міръ“ 1872 г. № 315 и 1873 г., № 5 („Очерки текущ. литер.“); „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1871 г., №№ 65 и 250, 1872 г., №№ 15 и 345, 1873 г., №№ 6 и 13; „Сынъ Отечества“ 1873 г., № 40; „Биржевыя Вѣдомости“ 1872 г., № 83 и „Одесскій Вѣстникъ“ 1872 г., № 83.

Примѣч. В. Зелинскаго.

9

„ПОДРОСТОКЪ“.

(1875 г.) *).

**) По поводу „Бѣсовъ“ мнѣ уже разъ приходилось бесѣдовать о талантѣ г. Достоевскаго; сознаюсь, поводъ этотъ былъ выбранъ не особенно удачно. „Бѣсы“, безспорно, одно изъ самыхъ слабыхъ, самыхъ „нехудожественныхъ“ произведеній автора „Преступленія и Наказанія“. Я старался объяснить тогда „нехудожественность“ и „слабость“ этого романа, главнымъ образомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ вышелъ изъ своей сферы и забрался въ такія палестины, гдѣ его художественный инстинктъ неспособенъ ничего видѣть, кромѣ обратной стороны медали... Дѣло въ томъ, что г. Достоевскій, хотя и безспорно талантъ крупный, но въ высшей степени односторонній. Главная сила этого таланта заключается въ психологическомъ анализѣ. Очень немногіе изъ современныхъ художниковъ — тутъ ужъ я имѣю въ виду не однихъ только русскихъ беллетристовъ — умѣютъ такъ глубоко заглядывать въ человѣческую душу, какъ онъ. Однако, какъ ни глубокъ этотъ анализъ, но онъ все-таки страдаетъ крайнею односторонностью. Копаясь во внутреннемъ мірѣ человѣка, авторъ съ особенною любовью останавливается лишь на нѣкоторыхъ его сторонахъ и почти совершенно игнорируетъ

---

*) Первоначально былъ помѣщенъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1875 г., въ книгахъ: 1, 2, 4, 5, 9, 11 и 12.

**) П. Никитинъ. „Литературное попурри“. „Дѣло“ 1876 г., № 5.

Примѣч. В. Зелинскаго.

остальныя. Вслѣдствіе этого почти всѣ дѣйствующія лица въ его произведеніяхъ являются людьми односторонними, не вполнѣ нормальными, весьма сильно смахивающими на паціентовъ изъ сумасшедшаго дома. Въ ихъ психической жизни нѣтъ ни порядка ни гармоніи, она почти всегда находится подъ фатальнымъ гнетомъ одного какого-нибудь психическаго мотива — одного какого-нибудь чувства или мысли. Сосредоточивая на этомъ преобладающемъ мотивѣ все свое вниманіе, авторъ, по необходимости, долженъ утрировать его, доводить до болѣзненной напряженности. Онъ смотритъ на человѣческую душу сквозь увеличительное стекло, и это стекло онъ всегда наводитъ лишь на извѣстныя душевныя состоянія, на извѣстныя явленія и факты психическаго міра; эти-то излюбленныя имъ состоянія, явленія и факты всегда выдвигаются у него на первый планъ, принимаютъ чрезвычайные непропорціонально огромные размѣры и, само-собою понятно, производятъ на читателя рѣзкое, сильное, нерѣдко потрясающее впечатлѣніе.

Съ эстетической точки зрѣнія, это, если хотите, большой недостатокъ. Авторъ не въ состояніи создать цѣлостнаго, всесторонне, гармонически-развитаго художественнаго характера. Всѣ его герои, говоря словами одного изъ дѣйствующихъ лицъ въ „Подросткѣ“, это—„люди безумія“. Тою-же печатью „безумія“ запечатлѣнъ у него обыкновенно и самый планъ романа. И это вполнѣ понятно: отъ столкновенія „безумныхъ людей“ ничего другого и произойти не можетъ, кромѣ вещей дикихъ, нелѣпыхъ, безумныхъ. Какъ въ ихъ внутреннемъ мірѣ, такъ и въ ихъ жизни, все поражаетъ васъ своею странностью, безпорядочностью, несообразностью, своею неожиданностью. Событія слѣдуютъ одно за другимъ безъ всякой, повидимому, внутренней необходимости; элементъ случайнаго является преобладающимъ элементомъ и поверхностный читатель долженъ составить себѣ очень невыгодное мнѣніе о художественной фантазіи автора. А между тѣмъ у этой фантазіи есть своя логика, и логика весьма послѣдовательная. Авторъ ни на минуту

не забываетъ, съ какого рода субъектами онъ имѣетъ дѣло; онъ понимаетъ, что подобные субъекты не могутъ такъ говорить и такъ поступать, какъ говорятъ и поступаютъ обыкновенные нормальные люди. То, что для послѣднихъ будетъ и странно, и случайно, и дико, и нелѣпо, то для первыхъ вполнѣ естественно, разумно и логично.

Но какъ бы ни былъ авторъ правъ съ своей точки зрѣнія, во всякомъ случаѣ его произведенія, благодаря только что указаннымъ причинамъ, никогда не производятъ и не могутъ производить цѣлостнаго художественнаго впечатлѣнія. Правда, въ нихъ попадаются отдѣльныя мѣста и вводные эпизоды (въ родѣ, напримѣръ, разсказа чиновника Ермолаева (?) *) въ романѣ „Преступленіе и Наказаніе“, или эпизода съ Олей—въ „Подросткѣ“), въ высшей степени замѣчательные по своей художественной правдѣ, но эти отдѣльныя мѣста и эпизоды совершенно теряются и исчезаютъ въ общей массѣ несообразностей и уродливостей.

Поэтому повторяю опять то, что уже я, кажется, говорилъ по поводу „Бѣсовъ“, и что гораздо раньше меня высказывалъ Добролюбовъ по поводу „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“:—значеніе г. Достоевскаго, какъ художника съ чисто-эстетической точки зрѣнія, очень и очень не велико. Въ самомъ дѣлѣ, эстетика требуетъ отъ художника прежде всего художественной правды. Но вотъ именно этому-то ея основному, элементарному требованію,—въ которомъ, впрочемъ, уже содержатся и всѣ остальныя ея требованія.— г. Достоевскій никогда не удовлетворялъ и не можетъ удовлетворить; художественная правда, какъ и правда научная, есть ничто иное, какъ правильное обобщеніе частныхъ единичныхъ явленій; она отличается отъ послѣдней только тѣмъ, что выражается не въ отвлеченной логической формулѣ, а въ живомъ конкретномъ образѣ. Но для того, чтобы обобщеніе было правильно, чтобы въ немъ не было никакихъ натяжекъ, никакой искуственности, никакого произвола, необходимо обладать способностью отличать въ явле-

*) Критикъ, вѣроятно, имѣлъ въ виду Мармеладова.
Примѣч. В. Зелинскаго.

нія случайное отъ постояннаго, ненормальное отъ нормальнаго, второстепенное отъ главнаго. Г. же Достоевскій если и обладаетъ этой способностью, то только въ весьма и весьма слабой степени. Особенность его таланта въ томъ-то именно и состоитъ, что онъ всегда склоненъ исключительное, анормальное, временное, преходящее, случайное возводить въ нѣчто постоянное, нормальное, преобладающее. Не говоря уже о томъ, что его „художественнымъ взорамъ“, какъ замѣчено выше, доступны лишь нѣкоторые уголки человѣческой души и что поэтому его художественныя наблюденія страдаютъ односторонностью, онъ даже и въ этихъ хорошо знакомыхъ ему уголкахъ, даже и въ этихъ одностороннихъ наблюденіяхъ никогда почти не въ состояніи сохранить вполнѣ объективнаго безпристрастія; всегда онъ что-нибудь да вложитъ отъ себя, что-нибудь прикраситъ, расцвѣтитъ, преувеличитъ и исказитъ.

Въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, это, если можно такъ выразиться—хотя я знаю, что выраженіе не вполнѣ соотвѣтствуетъ моей мысли—субъективно-пристрастное отношеніе къ наблюдаемымъ явленіямъ переходитъ за предѣлы всякаго благоразумія и приличія... Происходитъ ли это отъ автора сознательно или безсознательно — рѣшить это, конечно, трудно, потому что роль критика не есть роль психіатра. Однако, въ большинствѣ случаевъ, эту особенность авторскаго творчества, по всей вѣроятности, слѣдуетъ объяснять тѣмъ, что Бѣлинскій, въ одномъ разговорѣ съ Достоевскимъ, называлъ „блудодѣяніемъ таланта“ (см. „Дневникъ писателя“, № 2. февраль, стр. 48). Объ этомъ „блудодѣяніи“ самъ г. Достоевскій очень недурно говоритъ въ своемъ „Дневникѣ“. „Мнѣ кажется, откровенно сознается онъ, говоря, очевидно, о себѣ, хотя имѣетъ въ виду другихъ,— мнѣ кажется, чрезвычайно рѣдко человѣкъ способенъ совладать съ своимъ дарованіемъ, и что, напротивъ, почти всегда талантъ порабощаетъ себѣ своего обладателя, такъ сказать, какъ бы схватывая его за шиворотъ (да, именно въ такомъ унизительномъ нерѣдко видѣ мы находимъ самого г. Достоевскаго) и унося его на весьма далекія раз-

стоянія отъ настоящей дороги. У Гоголя гдѣ-то (забылъ гдѣ) одинъ враль началъ о чемъ-то разсказывать и, можетъ-быть, сказалъ бы правду, „но сами собою представились такія подробности“ въ разсказѣ, что уже никакъ нельзя было сказать правду“. „Во всякомъ талантѣ есть всегда эта нѣкоторая, почти неблагодарная, излишняя „отзывчивость“, которая всегда тянетъ увлечь самаго трезваго человѣка въ сторону.

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ...

или тамъ что-бы ни случилось, тотчасъ же и пошелъ, и пошелъ человѣкъ, и взыгралъ, и размазался, и увлекся“... Въ томъ же „Дневникѣ“ г. Достоевскій удачно сравниваетъ талантливаго человѣка съ однимъ московскимъ купчикомъ, которому папаша оставилъ, послѣ своей смерти, капиталъ. У купчика была мамаша; она тоже вела какую-то коммерцію и — запуталась. Чтобы выручить ее, нужно было заплатить много денегъ. Купчикъ очень любилъ мамашу, но все-таки платить за нее не сталъ: „Все-же намъ нельзя никакъ безъ капиталу. Это чтобы капиталу нашего лишиться — это намъ никоимъ образомъ невозможно, потому какъ намъ никакъ невозможно, чтобы самимъ безъ капиталу“. — „Примите за аллегорію, говоритъ Достоевскій, — и приравнивайте талантъ къ капиталу, что даже и похоже, и выйдетъ такая рѣчь: „это чтобъ намъ безъ блеску и эффекту — это намъ никоимъ образомъ невозможно, потому какъ намъ никакъ невозможно, чтобы намъ совсѣмъ безъ блеску и эффекту“.

Примѣните всѣ эти мѣткія и неглишенныя остроумія замѣчанія къ таланту автора „Идіота“, „Бѣсовъ“, „Подростка“, „Преступленія и Наказанія“, и вы безъ всякихъ дальнѣйшихъ комментаріевъ поймете его частыя уклоненія „на весьма далекія разстоянія отъ настоящей дороги“; вы поймете, почему онъ иногда „и сказалъ бы правду, но сами собою представляются такія подробности въ разсказѣ, что ужъ правды никакъ нельзя сказать“... Талантъ его, видите ли, обладаетъ „почти неблагодарною“, излишнею от-

зывчивостью, а отзывчивость эта такого рода, что чуть „тамъ что случилось“ — убьетъ ли студентъ ростовщика, нагрубитъ-ли дочь своему отцу, всплыветъ ли наружу какое-либо ловкое мошенничество,—онъ сейчасъ же „и помелъ, и пошелъ, и взыгралъ, и размазался, и увлекся“.

Очень можетъ быть, что эта „неблагодарная“ отзывчивость, эта наклонность къ безсознательному вранью присуща болѣе или менѣе всякому таланту. Такъ, по крайней мѣрѣ, утверждаетъ самъ г. Достоевскій; ему и книги въ руки! Кому-же лучше и судить о талантѣ, какъ не самому таланту. Но, во всякомъ случаѣ, его-то таланту она присуща въ наивящшей степени, такъ что въ плодахъ этого таланта всего труднѣе провести границу, гдѣ собственно оканчивается вранье и начинается правда... Мало того, она составляетъ характеристическую особенность его художественнаго творчества.

Этой особенности критика никогда не должна терять изъ виду: только непрестанно памятуя о ней, она можетъ придти къ правильной оцѣнкѣ характеровъ, воспроизводимыхъ авторомъ, и уберечься отъ тѣхъ увлеченій и отъ того „блудодѣйствованія“, въ которое самъ онъ такъ часто впадаетъ.

Однако, позвольте, замѣтитъ намъ, пожалуй, придирчивый читатель,—позвольте: если г. Достоевскій, какъ вы изволили сказать, не даетъ намъ цѣлостныхъ, художественныхъ характеровъ, если онъ все свое вниманіе обращаетъ на явленія болѣе или менѣе исключительныя, на такія душевныя состоянія, которыя относятся скорѣе къ области психіатріи, чѣмъ психологіи, то какой же особенный интересъ могутъ представлять его произведенія для обыкновеннаго критика, для критика не спеціалиста по душевнымъ болѣзнямъ?“.

Для критика-эстетика — весьма небольшой, готовъ съ этимъ безусловно согласиться. Но вѣдь наша же критика (по крайней мѣрѣ, петербургская критика) и не претендуетъ на эпитетъ „эстетической“. Эстетическія красоты, художественныя достоинства и недостатки того или другого беллетристическаго произведенія интересуютъ ее очень мало,

почти даже совсѣмъ не интересуютъ. *Какъ* живописуетъ авторъ—этотъ вопросъ для нея не особенно существенъ. Для нея несравненно важнѣе вопросъ, *что* онъ живописуетъ и представляетъ-ли или не представляетъ собою это *что* какой-нибудь общественный интересъ.

И вотъ именно съ этой-то точки зрѣнія общественнаго интереса произведенія г. Достоевскаго и представляютъ критикѣ весьма благодарный и весьма обильный матеріалъ. Хотя живописуемыя имъ душевныя состоянія и относятся болѣе къ психіатріи, чѣмъ къ психологіи, но, въ большинствѣ случаевъ, ихъ болѣзненный, патологическій характеръ зависитъ не столько отъ самой природы, сколько оттого, что авторъ черезчуръ ужъ ихъ утрируетъ, черезчуръ выставляетъ ихъ на первый планъ, черезчуръ размазываетъ и разукрашиваетъ. Они отъ него получаютъ непропорціонально-сильное освѣщеніе, а потому и кажутся исключительными, ненормальными. Но вотъ, именно благодаря этому обстоятельству, ихъ пониманіе значительно облегчается, они становятся видимыми для самыхъ близорукихъ людей, а критика черпаетъ въ нихъ драгоцѣнный матеріалъ для характеристики цѣлаго типа не только отвлеченныхъ чувствъ и страстей, но и живыхъ, конкретныхъ характеровъ.

Разумѣется, все это было-бы не особенно важно, если бы эти явленія нашего внутренняго міра, тѣ „душевныя состоянія“, на которыхъ авторъ останавливаетъ свое исключительное вниманіе, если бы они, взятыя сами по себѣ, не имѣли никакого другого значенія, кромѣ чисто-медицинскаго, если бы они не находились ни въ какомъ болѣе или менѣе непосредственномъ отношеніи къ общественнымъ интересамъ. Въ этомъ случаѣ произведенія автора могли бы подлежать лишь спеціальной, научно-медицинской критикѣ; для критики-же публицистической они имѣли бы столько-же, если не менѣе, значенія, сколько они имѣютъ для критики эстетической.

Но вотъ въ томъ-то и дѣло, что въ романахъ г. До-

зывчивостью, а отзывчивость эта такого рода, что чуть „тамъ что случилось“ —убьетъ ли студентъ ростовщика, нагрубитъ-ли дочь своему отцу, всплыветъ ли наружу какое-либо ловкое мошенничество,—онъ сейчасъ же „и пошелъ, и пошелъ, и взыгралъ, и размазался, и увлекся“.

Очень можетъ быть, что эта „неблагодарная“ отзывчивость, эта наклонность къ безсознательному вранью присуща болѣе или менѣе всякому таланту. Такъ, по крайней мѣрѣ, утверждаетъ самъ г. Достоевскій; ему и книги въ руки! Кому-же лучше и судить о талантѣ, какъ не самому таланту. Но, во всякомъ случаѣ, его-то таланту она присуща въ наивящшей степени, такъ что въ плодахъ этого таланта всего труднѣе провести границу, гдѣ собственно оканчивается вранье и начинается правда... Мало того, она составляетъ характеристическую особенность его художественнаго творчества.

Этой особенности критика никогда не должна терять изъ виду: только непрестанно памятуя о ней, она можетъ придти къ правильной оцѣнкѣ характеровъ, воспроизводимыхъ авторомъ, и уберечься отъ тѣхъ увлеченій и отъ того „блудодѣйствованія“, въ которое самъ онъ такъ часто впадаетъ.

Однако, позвольте, замѣтитъ намъ, пожалуй, придирчивый читатель,—позвольте: если г. Достоевскій, какъ вы изволили сказать, не даетъ намъ цѣлостныхъ, художественныхъ характеровъ, если онъ все свое вниманіе обращаетъ на явленія болѣе или менѣе исключительныя, на такія душевныя состоянія, которыя относятся скорѣе къ области психіатріи, чѣмъ психологіи, то какой же особенный интересъ могутъ представлять его произведенія для обыкновеннаго критика, для критика не спеціалиста по душевнымъ болѣзнямъ?“.

Для критика-эстетика — весьма небольшой, готовъ съ этимъ безусловно согласиться. Но вѣдь наша же критика (по крайней мѣрѣ, петербургская критика) и не претендуетъ на эпитетъ „эстетической“. Эстетическія красоты, художественныя достоинства и недостатки того или другого беллетристическаго произведенія интересуютъ ее очень мало,

почти даже совсѣмъ не интересуютъ. *Какъ* живописуетъ авторъ—этотъ вопросъ для нея не особенно существенъ. Для нея несравненно важнѣе вопросъ, *что* онъ живописуетъ и представляетъ-ли или не представляетъ собою это *что* какой-нибудь общественный интересъ.

И вотъ именно съ этой-то точки зрѣнія общественнаго интереса произведенія г. Достоевскаго и представляютъ критикѣ весьма благодарный и весьма обильный матеріалъ. Хотя живописуемыя имъ душевныя состоянія и относятся болѣе къ психіатріи, чѣмъ къ психологіи, но, въ большинствѣ случаевъ, ихъ болѣзненный, патологическій характеръ зависитъ не столько отъ самой природы, сколько оттого, что авторъ черезчуръ ужъ ихъ утрируетъ, черезчуръ выставляетъ ихъ на первый планъ, черезчуръ размазываетъ и разукрашиваетъ. Они отъ него получаютъ непропорціонально-сильное освѣщеніе, а потому и кажутся исключительными, ненормальными. Но вотъ, именно благодаря этому обстоятельству, ихъ пониманіе значительно облегчается, они становятся видимыми для самыхъ близорукихъ людей, а критика черпаетъ въ нихъ драгоцѣнный матеріалъ для характеристики цѣлаго типа не только отвлеченныхъ чувствъ и страстей, но и живыхъ, конкретныхъ характеровъ.

Разумѣется, все это было-бы не особенно важно, если бы эти явленія нашего внутренняго міра, тѣ „душевныя состоянія“, на которыхъ авторъ останавливаетъ свое исключительное вниманіе, если бы они, взятыя сами по себѣ, не имѣли никакого другого значенія, кромѣ чисто-медицинскаго, если бы они не находились ни въ какомъ болѣе или менѣе непосредственномъ отношеніи къ общественнымъ интересамъ. Въ этомъ случаѣ произведенія автора могли бы подлежать лишь спеціальной, научно-медицинской критикѣ; для критики-же публицистической они имѣли бы столько-же, если не менѣе, значенія, сколько они имѣютъ для критики эстетической.

Но вотъ въ томъ-то и дѣло, что въ романахъ г. До-

стоевскаго затрогиваются обыкновенно *) такія психическія явленія, которыя играютъ весьма видную роль въ жизни извѣстныхъ классовъ, извѣстной среды нашего общества, и которыя представляютъ, слѣдовательно, весьма любопытный матеріалъ для оцѣнки общественнаго и умственнаго состоянія этой среды, этихъ классовъ.

Въ двухъ своихъ первыхъ большихъ произведеніяхъ— въ романахъ „Бѣдные люди“ и „Униженные и оскорбленные“—и во многихъ другихъ мелкихъ очеркахъ авторъ выдвигаетъ на первый планъ и съ необыкновенною подробностью анализируетъ ту группу явленій, то „душевное состояніе“, которое по преимуществу характеризуетъ русскихъ интеллигентныхъ забитыхъ людей, пришибленныхъ судьбою и обстоятельствами, постоянно оскорбляемыхъ и попираемыхъ мимоидущими счастливцами, трепещущихъ, запуганныхъ, то безсловесныхъ и приниженныхъ, то озлобленныхъ и ожесточенныхъ. Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ, Голядкинъ, Прохарчинъ, наконецъ, личность болѣе интеллигентная — Иванъ Петровичъ (въ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“) — съ одной стороны; Ихменевъ, Нелли, Свидригайловъ, Рогожинъ и т. п. — съ другой — все это представители „забитыхъ“ людей, воплощающихъ въ себѣ, хотя и въ различныхъ степеняхъ, одни и тѣ-же чувства, одно и то-же душевное состояніе. У однихъ только это душевное состояніе проявляется въ какой-то холопской приниженности, въ вѣчномъ оплевываніи своего собственнаго человѣческаго достоинства, въ непрестанномъ самоуниженіи, въ какой-то кроткой, почти даже трогательной безотвѣтности и безобидности. У другихъ, напротивъ, въ злобномъ ожесточеніи на все и всѣхъ, въ постоянномъ недовольствѣ самимъ собою, въ глухомъ, затаенномъ протестѣ, проявляющемся обыкновенно наружу въ какихъ-нибудь дикихъ,

---

*) Я говорю обыкновенно, но не исключительно. Независимо отъ этихъ явленій, представляющихъ, такъ сказать, общій интересъ, авторъ любитъ останавливаться и на явленіяхъ уже чисто-патологическихъ, какъ, напр., на анализѣ симптомовъ, сопровождающихъ падучую болѣзнь, на раздвоеніи нашего „я“ и т. п. Анализъ этотъ у него превосходенъ, но литературной критикѣ тутъ нечего дѣлать. Пусть этимъ занимаются гг. Балинскіе и Чечоткины.

безсмысленныхъ и совершенно нецѣлесообразныхъ формахъ. Первые прячутся, трепещутъ, не пелохнутся, дышать даже боятся; послѣдніе самодурничаютъ, бушуютъ, и за отсутствіемъ дѣйствительнаго самоуваженія, напускаютъ на себя суетную гордыню и усвоиваютъ себѣ пренебрежительно-злобный взглядъ на всѣхъ окружающихъ ихъ людей.

Но обо всѣхъ этихъ характерахъ мы здѣсь не будемъ распространяться; критика уже сказала о нихъ свое слово и дала имъ надлежащую оцѣнку. „Приниженные“ и „ожесточенные“ исчерпали, повидимому, полный типъ „забитыхъ“ и „несчастныхъ людей“. Итогъ былъ подведенъ,— итогъ не особенно утѣшительный. „Мы нашли,—такъ заканчиваетъ критикъ свою статью „о забитыхъ людяхъ“,— что забитыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ личностей у насъ много въ среднемъ классѣ, что имъ тяжко и въ нравственномъ и въ физическомъ смыслѣ, что, несмотря на наружное примиреніе съ своимъ положеніемъ, они чувствуютъ его горечь, готовы на раздраженіе и протестъ, жаждутъ выхода... Гдѣ этотъ выходъ, когда и какъ онъ совершится—это должна показать сама жизнь“.

Съ тѣхъ поръ, какъ были написаны эти строки, прошло много времени и утекло много воды. Что-же найденъ ли выходъ, указана-ли его жизнь? Въ самомъ этомъ вопросѣ заключается уже и отвѣтъ на него. Но дѣло не въ отвѣтѣ; его заранѣе можетъ предугадать даже и такой проницательный критикъ, какъ г. Заурядный. Дѣло въ томъ, что хотя выходъ-то и по сіе время еще не отысканъ, но безцѣльное и безсмысленное озлобленіе перестало удовлетворять наиболѣе развитую и сравнительно наиболѣе счастливую часть забитыхъ людей. Они, эти наиболѣе развитые и счастливые, поняли, наконецъ, что сколько тамъ ни ворчи и не злись, а легче отъ этого не будетъ. А между тѣмъ и примириться имъ съ своимъ положеніемъ никакъ было невозможно, да и выбиться-то изъ него казалось еще невозможнѣе. Они стали задумываться, мысль напряженно работала; идеи наростали за идеями; умъ все болѣе и болѣе отвлекался отъ будничной. практической

дѣятельности, все дальше и дальше уносился въ безпечальную область отвлеченныхъ идеаловъ. Скоро оказалось, что въ этой-то области и слѣдуетъ искать спасенія. Входъ въ нее никому возбраненъ не былъ; она гостепріимно открывала свои объятія всякому желающему. И такъ—какъ она при этомъ обѣщала душевное спокойствіе (по крайней мѣрѣ, хоть на время) и забвеніе, то, разумѣется, желающихъ оказалось не мало. И вотъ на мѣсто, или, лучше сказать, рядомъ съ людьми „ожесточенными" и „озлобленными", появились теперь люди идейные. Первые искали выхода въ чувственной разнузданности, въ дикихъ и безумныхъ порывахъ животныхъ чувствъ и инстинктовъ; вторые— въ мірѣ идей и „высшихъ идеаловъ."

Такимъ образомъ, идейные люди представляютъ третью, наиболѣе интеллектуальную, категорію забитыхъ людей. Анализу ихъ „души" г. Достоевскій посвятилъ „Преступленіе и наказаніе" и „Подростка." Въ первомъ изъ этихъ произведеній анализъ этотъ крайне одностороненъ и не полонъ, а въ „Подросткѣ" онъ достигаетъ той глубины, той обстоятельности и той сравнительной объективности, никогда, однакожъ, неспособной отрѣшиться—какъ мы замѣтили выше,—отъ чисто-субъективнаго элемента, благодаря которымъ автору такъ хорошо удалось воспроизвести въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ господствующее настроеніе души забитыхъ людей двухъ первыхъ категорій, — людей „приниженныхъ" и „ожесточенныхъ." И мнѣ кажется, романъ „Подростокъ" г. Достоевскаго имѣетъ почти такое же значеніе для оцѣнки *идейныхъ* забитыхъ людей, какое имѣлъ его первый романъ („Бѣдные люди") для оцѣнки людей типа Дѣвушкиныхъ, Голядкиныхъ и имъ подобныхъ.

Вотъ почему критика, не вполнѣ еще забывшая свое прошлое, критика, оставшаяся вѣрною къ своимъ принципамъ и не утратившая сознанія своихъ обязанностей и своихъ задачъ, должна отнестись къ этому роману съ особеннымъ вниманіемъ. Я это и постараюсь сдѣлать, хотя, сознаюсь напередъ, въ немъ собрано такъ много драгоцѣннаго матеріала для характеристики души русскаго „идей-

наго человѣка“, что заранѣе отказываюсь исчерпать ихъ вполнѣ и всесторонне. Ограничусь только опредѣленіемъ наиболѣе общихъ чертъ и наиболѣе существенныхъ особенностей людей этого типа,—типа, хотя и новаго, но уже отжившаго, сходящаго со сцены, уступающаго свое мѣсто людямъ иного закала, иного характера...

„Идейные люди“ вырабатывались и развивались на той-же почвѣ, которая выростила Дѣвушкиныхъ, Голядкиныхъ, Прохарчиныхъ и т. п. Они состоятъ съ ними въ самомъ близкомъ родствѣ, они родные братья Ивановъ Петровичей (герой „Униженныхъ и оскорбленныхъ“, отъ лица котораго ведется разсказъ), законныя дѣти Ихменевыхъ, Свидригайлъ, Версиловыхъ и иныхъ представителей поколѣнія „отцовъ“. Не радостно проходило дѣтство этихъ дѣтей подъ кровомъ ихъ разоренныхъ, ожесточенныхъ и „униженныхъ и оскорбленныхъ“ родителей. Они росли въ загонѣ; съ самыхъ раннихъ лѣтъ имъ приходилось быть невольными свидѣтелями униженія ихъ отцовъ; на ихъ глазахъ оплевывались и оскорблялись самыя святыя права и человѣческія чувства... Мало того, имъ самимъ не разъ доводилось подвергаться этому процессу оплеванія и пассивно подчиняться господству безсмысленной, дикой силы. Прежде, чѣмъ они начали что-нибудь понимать, прежде, чѣмъ они начали мыслить, они уже были озлоблены и ожесточены. Озлобленный, „униженный и оскорбленный“ ребенокъ—всегда эгоистъ. Они и были эгоистами, они и выросли эгоистами. эгоизмъ навсегда остался выдающеюся и наиболѣе существенною чертою ихъ характера.

Ну что же могло выйти изъ подобныхъ подростковъ? Повидимому—копіи отцовъ, вторыя изданія Дѣвушкиныхъ, Голядкиныхъ, Свидригайлъ, Рогожиныхъ, Ихменевыхъ и ихъ близнецовъ. Разумѣется, такъ-бы и случилось, такъ-бы и должно было случиться, еслибы нѣкоторыя посторонніи обстоятельства не вмѣшались въ дѣло и не внесли нѣкоторой смуты, хаоса и взаимнаго недоразумѣнія въ темный и таинственный міръ забитыхъ людей. Вѣковѣчные устои ихъ жизни на минуту пошатнулись, почва заколебалась

подъ ихъ ногами. Каждый почувствовалъ себя *какъ будто* независимѣе, а въ то-же время и *безпомощнѣе*. Начались сомнѣнія и вопросы: „Да какъ-же теперь быть? Да что-же изъ этого выйдетъ? Да неужели-же и взаправду приходитъ конецъ всему тому, къ чему такъ и привыкли и о чемъ уже такъ давно перестали думать „униженные и оскорбленные?“ Явился спросъ на *мысль*. Сознавалась необходимость приспособиться къ новымъ формамъ жизни, къ новымъ условіямъ житейской обстановки. И какъ разъ, въ эту-то, можно сказать, роковую минуту дѣти Версиловыхъ, Ихменевыхъ и др. вступали въ тотъ возрастъ, который изъ всѣхъ человѣческихъ возрастовъ отличается наибольшею воспріимчивостью, наибольшею „отзывчивостью“ на всѣ впечатлѣнія внѣшняго міра. Само собою понятно, для нихъ не могло пройти безслѣдно то, что смутило даже ихъ отцовъ. Имъ пришлось *задуматься*, задуматься крѣпко о самихъ себѣ,—о чемъ никогда не задумывались ихъ родители. Такимъ образомъ, ихъ развитіе получило неожиданный толчокъ, выбившій ихъ изъ обыкновенной колеи, заставившій ихъ рано встать на собственныя ноги и прокладывать себѣ новые, еще непротоpенные пути. Въ сущности-же новы[е п]ути мало чѣмъ отличались отъ старыхъ, но все-таки они требовали нѣкоторыхъ особыхъ приспособленій; явилась необходимость въ нѣсколько иной дрессировкѣ, чѣмъ та, чрезъ которую проходили отцы. Дрессировка была неумѣлая, такъ-сказать, пробная, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что многіе изъ нихъ даже поотстали отъ отцовъ по части цѣлостности и законченности характера. Въ жизнь имъ, дѣйствительно, пришлось вступать какими-то неоперившимися *подростками*. Однако уже и въ этихъ неоперившихся подросткахъ можно было прослѣдить двѣ господствующія черты отцовскаго типа, на которыя я указывалъ выше. Въ характерѣ однихъ ясно обрисовывалась наслѣдственная приниженность и забитость, ищущая отрады и утѣшенія въ уединенномъ созерцаніи своего реальнаго ничтожества въ настоящемъ и своего возможнаго возвышенія въ будущемъ. Въ характерѣ другихъ

на первый планъ выступало то злобно-эгоистическое ожесточеніе, которое нерѣдко приводило отцовъ къ самымъ возмутительнымъ и самымъ безсмысленнымъ злодѣйствамъ.

Но у дѣтей эти черты значительно видоизмѣнились. Дикая разнузданность темныхъ эгоистическихъ инстинктовъ приняла видъ болѣе благообразный, но за то и болѣе омерзительный. Разгулъ озлобленной натуры, безумные порывы „униженнаго и оскорбленнаго“ человѣка, выродились въ холодный, разсчетливый развратъ, въ самую ординарную нравственную испорченность. Свидригайловы и Рогожины заставляютъ васъ по временамъ содрогаться; Ламберты и Тришатовы внушаютъ къ себѣ одно лишь презрѣніе, и даже не презрѣніе, а какое-то гадливое... сожалѣніе. Нравственные безумцы выродились въ нравственныхъ идіотовъ. Этого требовали новыя условія жизни; заурядное мошенничество, „накостничанье“ изъ-за угла, „потихоньку и помемножку,“ стало теперь дѣломъ болѣе выгоднымъ и менѣе опаснымъ сравнительно съ „злодѣйскими“ чудодѣйствіями „широкихъ натуръ“. Широкимъ натурамъ пришлось сократиться. Дѣти это уразумѣли и сократились... по крайней мѣрѣ, на первое время. Не меньшей метаморфозѣ подверглась и другая типическая черта забитыхъ людей. Мечты отцовъ оказались уже совсѣмъ неутѣшительными для дѣтей; горизонтъ ихъ мысли на столько расширился, что Дѣвушкинская философія перестала ихъ удовлетворять; она годилась только до тѣхъ поръ, пока „устои жизни“ были настолько тверды и непоколебимы, что въ голову забитыхъ людей и мысли даже не могло запасть о ихъ переходномъ состояніи и тлѣнности. Дѣвушкинъ былъ, напр., рѣшительно не въ состояніи себѣ представить, какъ можетъ начальство „не задавать тону“ своему подчиненному и приниженному. „Да вѣдь на томъ и свѣтъ стоитъ, разсуждаетъ онъ,—что всѣ мы одинъ передъ другимъ тону задаемъ, что всякъ изъ насъ одинъ другого распекаетъ. Безъ этой предосторожности и свѣтъ-бы не стоялъ и порядка-бы не было.“ Далѣе, онъ твердо вѣровалъ, что „всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому

опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человѣка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ."

Разъ человѣкъ усвоилъ себѣ такую философію, онъ необходимо долженъ не только примириться съ некрасивой дѣйствительностью, но даже и умиляться передъ нею, находить свой міръ лучшимъ изъ наилучшихъ міровъ. Его мечты и утопіи не могутъ идти далѣе несбыточныхъ желаній сдѣлаться вдругъ генераломъ, жениться на богатой купчихѣ, заслужить благоволеніе начальства и т. п. Голядкинъ (въ „Двойникѣ"), желая какъ-нибудь утѣшиться послѣ всѣхъ своихъ жизненныхъ неудачъ, превращаетъ себя, въ мечтахъ, конечно, въ идеально-ловкаго, умнаго, красиваго, пронырливаго и находчиваго малаго, отъ котораго всѣ безъ ума, который всюду принимается съ распростертыми объятіями и который не только не трепещетъ, но, въ нѣкоторомъ родѣ, даже за носъ водитъ свое начальство. Онъ испытываетъ невыразимое удовольствіе сравнивая самимъ имъ созданнаго, идеальнаго Голядкина (двойника) съ Голядкинымъ реальнымъ. Онъ находитъ, что послѣдній все-таки лучше перваго, и эта мысль успокоиваетъ его.

Разумѣется, подобными игрушками „дѣти" не могли уже болѣе тѣшиться. Утративъ вѣру (подорванную въ нихъ самою жизнію) почти во все то, во что вѣрили ихъ отцы, они не могли успокоиться на ихъ философіи и, подобно имъ, примириться съ житейскими невзгодами и вообще со всею массою разныхъ „прижимокъ," оскорбленій и униженій. Отсюда само собою понятно, что ихъ „идеи" должны были рѣзко отличаться отъ ребяческихъ фантазій ихъ отцовъ. Понятно также, въ чемъ именно должно было состоять это различіе. Впрочемъ, если-бъ даже для нѣкоторыхъ изъ читателей это было и непонятно, то пусть они обвиняютъ въ этомъ не меня, а самого автора. Самъ Достоевскій говоритъ о содержаніи этихъ идей или черезчуръ

двусмысленно, или... или черезчуръ ужъ глупо. Руководится-ли онъ въ этомъ случаѣ какими-нибудь посторонними соображеніями, или же онъ и въ самомъ дѣлѣ не понимаетъ и путаетъ—рѣшать этого я не берусь, да оно и неособенно интересно. Для характеристики идейныхъ забитыхъ людей важно не столько самое содержаніе „идеи,“ сколько ея общее направленіе и въ особенности ихъ отношеніе къ ней. Каково-же это общее направленіе и какъ относятся къ „идеѣ“ мечтательные барчуки? Это само собою выяснится изъ анализа характера одного изъ ихъ представителей, Аркадія Макаровича Долгорукаго, незаконнаго сына помѣщика Версилова и одной изъ его крѣпостныхъ „дѣвокъ.“

*) Долгорукій былъ незаконнорожденный сынъ, помѣсь дворянской и мужицкой крови. Отца и матери онъ до 17 лѣтъ совсѣмъ не зналъ. „Съ дѣтства, разсказываетъ онъ,—меня отдали въ люди, для комфорта Версилова (отца)“. До семи лѣтъ жилъ онъ гдѣ-то въ деревнѣ, потомъ отдали его на „выучку“ въ пансіонъ къ Тушару, „плотненькому французику, лѣтъ сорока пяти и дѣйствительнаго парижскаго происхожденія, разумѣется, изъ сапожниковъ... человѣку глубоко необразованному“. Пансіонъ считался аристократическимъ, въ немъ воспитывались все „князья и сенаторскія дѣти“. Незаконный сынъ являлся въ нѣкоторомъ родѣ пятномъ среди этихъ княжескихъ и сенаторскихъ свѣтилъ, поэтому Тушаръ потребовалъ надбавки къ условленной платѣ. Ему отказали; онъ, разумѣется, пришелъ въ негодованіе. „Я припоминаю, говоритъ Подростокъ,—какъ онъ (т. е. Тушаръ), весь багровый, вошелъ тогда въ нашу классную, съ письмомъ въ рукахъ, подошелъ къ нашему большому дубовому столу, за которымъ мы всѣ шестеро что-то зубрили, крѣпко схватилъ меня за плечо, поднялъ со стула и велѣлъ захватить мои тетрадки. „Твое мѣсто не здѣсь, а тамъ“, указалъ онъ мнѣ крошечную комнатку налѣво изъ передней, гдѣ стоялъ простой столъ, плетеный

*) „Дѣло“ 1876 г., № 6. (Продолженіе той-же критики).

стулъ и клеенчатый диванъ... Я перешелъ съ удивленіемъ и очень оробѣвъ, — никогда еще со мною грубо не обходились... А между тѣмъ недѣли двѣ я ужасно важничалъ передъ товарищами, хвастался моимъ синимъ сюртукомъ и моимъ папенькой Андреемъ Петровичемъ. И вдругъ такой афронтъ!" Въ первую минуту, однако, Подростокъ еще не понималъ, что такое случилось и за что разгнѣвалось на него начальство. Когда Тушаръ вышелъ изъ классной, я сталъ переглядываться съ товарищами и пересмѣиваться; конечно, они надо мною смѣялись, но я о томъ не догадывался и думалъ, что мы смѣемся оттого, что намъ весело. Тутъ какъ разъ налетѣлъ Тушаръ, схватилъ меня за вихоръ и давай таскать. „Ты не смѣешь сидѣть съ благородными дѣтьми, ты подлаго происхожденія и все равно, что лакей!" И онъ пребольно ударилъ меня по моей пухлой румяной щекѣ. Ему это тотчасъ-же понравилось, и онъ ударилъ меня во второй и въ третій разъ. Цѣлый часъ просидѣлъ я, закрывшись руками, и плакалъ-плакалъ..."

Съ этого дня жизнь мальчика въ пансіонѣ совсѣмъ измѣнилась. Тушаръ вымещалъ на немъ свою злобу по поводу несбывшейся надежды на прибавку платы; онъ всячески унижалъ и оскорблялъ его передъ „князьями и сенаторскими дѣтьми", желая, быть можетъ, внушить имъ возвышенное мнѣніе о своемъ собственномъ происхожденіи. Впрочемъ „билъ онъ меня какихъ-нибудь мѣсяца два. Я, помню, все хотѣлъ его чѣмъ-то обезоружить, бросался цѣловать его руку и цѣловалъ ее и все плакалъ. Товарищи смѣялись надо мною и презирали меня, потому что Тушаръ сталъ употреблять меня иногда, какъ прислугу, приказывалъ подавать себѣ платье, когда одѣвался... Кончилъ онъ тѣмъ, что полюбилъ болѣе пинать меня колѣнкомъ сзади, чѣмъ бить по лицу; а черезъ полгода такъ даже сталъ меня иногда ласкать; только нѣтъ-нѣтъ, а въ мѣсяцъ разъ навѣрное побьетъ для напоминанія, чтобы не забывался..."

„Была-ли во мнѣ злоба? Не знаю, можетъ быть, и была. Странно, во мнѣ всегда была, и, можетъ быть, съ самаго перваго дѣтства, такова черта: коли уже мнѣ сдѣлали зло,

унизили окончательно, оскорбили глубоко, до послѣднихъ предѣловъ, то всегда тутъ-же являлось у меня неутолимое желаніе пассивно подчиниться оскорбленію и даже пойти впередъ желаніямъ обидчика: „На-те, вы унизили меня, такъ я еще пуще самъ унижусь, вотъ, смотрите, любуйтесь!“ Тушаръ билъ меня и хотѣлъ показать, что я лакей, а не сенаторскій сынъ, и вотъ я сейчасъ-же самъ вошелъ въ роль лакея. Я не только подавалъ ему одѣваться, но я самъ схватывалъ щетку и начиналъ счищать съ него послѣднія пылинки, вовсе уже безъ его просьбы или приказанія, самъ гнался иногда за нимъ со щеткою, въ пылу лакейскаго усердія, чтобы смахнуть какую-нибудь послѣднюю соринку съ его фрака, такъ что онъ самъ останавливалъ меня иногда: „Довольно, довольно, Аркадій, довольно“. Онъ придетъ, бывало, сниметъ верхнее платье, а я его вычищу, бережно сложу и накрою клѣтчатымъ шелковымъ платочкомъ. Я знаю, что товарищи смѣются и презираютъ меня за это, отлично знаю, но мнѣ это-то и любо. „Коли захотѣли, чтобы я былъ лакей, ну, такъ вотъ я и лакей: хамъ, такъ хамъ и есть“. Пассивную ненависть и подпольную злобу въ этомъ родѣ я могъ продолжать годами...“

Въ этомъ мастерскомъ анализѣ прекрасно обрисовывается одна изъ характеристическихъ особенностей „души“ забитаго человѣка. Забитый человѣкъ — когда онъ даже злобствуетъ и протестуетъ,—старается (впрочемъ, не старается, это у него само собою выходитъ) такъ злобствовать и такъ протестовать, чтобы этого никто не замѣтилъ; онъ забирается какъ можно глубже въ сокровенныя нѣдра своей души и тамъ только позволяетъ себѣ ворчать и хмуриться. Онъ протестуетъ, но протестуетъ весьма оригинальнымъ способомъ: его бьютъ по одной щекѣ, онъ подставляетъ другую. „Бей, бей сколько влѣзетъ, чѣмъ больше будешь бить, тѣмъ мнѣ лучше! Что взялъ? Ты думалъ меня обидѣть, а я вѣдь нисколько не обижаюсь, напротивъ, мнѣ это доставляетъ даже нѣкоторое удовольствіе“. Да, какъ это ни странно, а это такъ: забитый человѣкъ находитъ

наслажденіе въ созерцаніи своего самоуничиженія. Ему пріятно поразить своихъ притѣснителей неожиданнымъ сюрпризомъ. Когда Подростка заподозрили на рулеткѣ у Зерщикова въ кражѣ денегъ, онъ крикнулъ на всю залу: „Донесу на всѣхъ, рулетка запрещена полиціей". „Клянусь, говоритъ онъ, — что и тутъ было нѣчто подобное: меня унизили, обыскали, огласили воромъ, убили, ну, такъ знайте-же всѣ, что вы угадали: я не только воръ, но я и доносчикъ".

Но, само собою разумѣется, этотъ протестъ собственными своими боками и щеками, протестъ рабскаго безсилія, не можетъ вполнѣ успокоить забитаго человѣка, не можетъ примирить его съ окружающею дѣйствительностью. И вотъ онъ или создаетъ себѣ особую философію, подобную философіи Дѣвушкина, или, подобно Аркадію Макаровичу, уединяется въ себя, отрекается отъ людей и всецѣло погружается въ міръ фантазіи и воздушныхъ замковъ. Аркадій Макаровичъ (Подростокъ), по его собственнымъ словамъ, только тогда и былъ счастливъ, когда, „ложась спать и закрываясь одѣяломъ, начиналъ уже одинъ, въ самомъ полномъ уединеніи, безъ ходящихъ кругомъ людей и безъ единаго отъ нихъ звука, пересоздавать жизнь на иной ладъ." „Самая яростная мечтательность, разсказываетъ онъ,— сопровождала меня вплоть до открытія „идеи", когда всѣ мечты изъ глупыхъ разомъ стали разумными и изъ мечтательной формы романа перешли въ разсудочную форму дѣйствительности". У всякихъ мечтаній, у всякой фантазіи непремѣнно есть своя логика. Эта логика безсознательно приводитъ человѣческій умъ къ извѣстнымъ обобщеніямъ, въ которыхъ сливается и исчезаетъ все частное, единичное и отрывочное. „Идея" Подростка именно и была однимъ изъ такихъ обобщеній. Она весьма послѣдовательно вытекала изъ его положенія. О чемъ всегда мечтаетъ голодный? О вкусномъ обѣдѣ. О чемъ мечтаетъ больной? О здоровьи. О чемъ мечтаютъ люди непривлекательной наружности, конфузливые, неловкіе, ненаходчивые? О чемъ мечталъ Голядкинъ? Онъ воображалъ себя свѣтскимъ, развяз-

нымъ и весьма недурнымъ собою молодымъ человѣкомъ, который вездѣ умѣетъ найтись, всюду пролѣзть, который не постоитъ за словомъ, передъ которымъ таютъ сердца всѣхъ барышенъ и настежь отворяются двери начальническихъ кабинетовъ, аристократическихъ салоновъ и даже таинственныхъ будуаровъ великосвѣтскихъ красавицъ. О чемъ же долженъ мечтать человѣкъ, ежеминутно сознающій свое безсиліе, свою бѣдность, необезпеченность и рабскую зависимость отъ окружающихъ людей? Понятно, онъ будетъ мечтать именно о томъ, чего у него нѣтъ: о силѣ, о могуществѣ, о независимости. Объ этихъ предметахъ онъ именно и мечталъ, „легши на постель и закрывшись одѣяломъ“.. Сначала эти мечты были „глупы“, неясны, спутаны. Но „подъ ними работала, получившая уже толчокъ, до извѣстной степени уже возбужденная мысль мальчика-юноши. Мысль эта черпала свои матеріалы изъ окружающей жизни и изъ ограниченнаго, неполнаго, односторонняго опыта Подростка. Эта жизнь и этотъ опытъ убѣждали юношу, что у людей, конечно, у тѣхъ людей, которыхъ онъ зналъ,—во всѣхъ ихъ дѣлахъ и отношеніяхъ самую главную, самую выдающуюся роль играютъ деньги и богатство. Только богатый человѣкъ можетъ дѣлать все, что вздумаетъ, только богатаго всѣ уважаютъ, только ему все прощается и все забывается. И какъ это легко сдѣлаться богатымъ! Для этого не нужно обладать никакими чрезвычайными талантами, не нужно быть ни особенно умнымъ, ни особенно благороднымъ, ни особенно ловкимъ и находчивымъ; нужно только умѣть копить деньги“. Умѣть копить деньги,—но вѣдь это именно дѣло посредственности, дѣло человѣка, не способнаго ни на какія увлеченія, ни дурныя, ни хорошія, ни на какія сильныя страсти, ни на какія возвышенныя идеи,—человѣка, привыкшаго ко всякаго рода лишеніямъ, съ ограниченными потребностями, безъ претензій и излишней гордости,—однимъ словомъ, человѣка самаго зауряднаго, даже ничтожнаго. „Деньги, разсуждаетъ Подростокъ, — это единственный путь, который приводитъ на первое мѣсто даже самое

ничтожество". Какъ же не схватиться за этотъ путь человѣку забитому, самоуничижающемуся, сознающему свое безсиліе и въ то же время мечтающему о силѣ и могуществѣ? Пусть я не особенно уменъ, разсуждаетъ Подростокъ, но разъ у меня деньги—меня прославятъ чуть-чуть не геніемъ. „Я, напримѣръ, знаю по зеркалу, что моя наружность мнѣ вредитъ, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богатъ, какъ Ротшильдъ, кто будетъ справляться съ лицомъ моимъ и не тысячи-ли женщинъ, только свисни, налетятъ ко мнѣ съ своими красотами? Я даже увѣренъ, что онѣ сами совершенно-искренно станутъ считать меня подъ конецъ красавцемъ".

Подростокъ разсуждалъ, какъ видите, вполнѣ логично. И сколько подростковъ разсуждаютъ точно такимъ же образомъ! Для сколькихъ изъ нихъ, какъ и для него, всѣ мечты о силѣ, о могуществѣ и т. п., воплощаются въ идею о деньгахъ!

Попавъ на эту идею, Аркадій Макаровичъ сдѣлалъ ее главнымъ предметомъ своихъ уединенныхъ мечтаній, своихъ ночныхъ бдѣній. Мало-по-малу она стала его господствующею идеею, его idée fixe; онъ весь ушелъ въ нее, она примиряла его съ дѣйствительностью, она его утѣшала и успокоивала. Постоянно вдумываясь и развивая ее, онъ окончательно формулировалъ ее такимъ образомъ: „Хочу стать Ротшильдомъ, стать такъ-же богатымъ, а именно, какъ Ротшильдъ", — не просто богатымъ, а именно, какъ Ротшильдъ. Чтобы достичь осуществленія этого желанія, нужно одно лишь „упорство (въ накопленіи денегъ) и непрерывность". Средства, которыя выбираетъ человѣкъ для достиженія своей цѣли, всегда въ извѣстной степени опредѣляются его характеромъ. И въ этомъ отношеніи для характеристики забитаго идейнаго человѣка весьма интересно познакомиться съ мечтами Подростка о томъ, какимъ образомъ считалъ онъ возможнымъ осуществить свою завѣтную идею—стать Ротшильдомъ. Несомнѣнно, что эта идея—въ нѣсколько иной, быть можетъ, постановкѣ — преслѣдуетъ очень многихъ, и старыхъ, и юныхъ, и забитыхъ и не-

забитыхъ личностей. Всѣ (за исключеніемъ развѣ самаго ничтожнаго меньшинства) гоняются за деньгами, за богатствомъ, за „наживою“; исканіе богатства — это одинъ изъ самыхъ всеобщихъ и самыхъ могущественныхъ двигателей человѣческой дѣятельности. Анна Андреевна (законная дочь Версилова, слѣдовательно, сестра по отцѣ, Подростка) и князья Сокольскіе, и Катерина Николаевна, и самъ Версиловъ, и Ламберты, и Тришатовы, и Стебельковы — всѣ они одержимы желаніемъ заполучить побольше денегъ и разбогатѣть. Подростокъ въ этомъ случаѣ законный сынъ своей среды, онъ воплощаетъ въ себѣ ея самый насущный интересъ, ея господствующую идею. Однако Анна Андреевна, князь Сокольскій, Стебельковъ, Тришатовъ, Ламбертъ etc. дѣйствуютъ, такъ сказать, безсознательно; пріобрѣтеніе денегъ — это для нихъ не отвлеченная, теоретическая идея, какъ у Подростка, а простой, малоосмысленный эгоистическій интересъ, выгода; они не пытаются даже идеализировать этой выгоды, они не скрываютъ и не прячутъ ея, какъ нѣчто святое, завѣтное, напротивъ, они открыто ее заявляютъ какъ вещь самую ординарную, всѣмъ извѣстную и для всѣхъ понятную. Они не подходятъ къ ней разными извилинами и окольными путями; они идутъ прямо, не слишкомъ задумываясь передъ средствами. Нужно продать себя—они съ удовольствіемъ себя продадутъ, какъ дѣлаетъ Анна Андреевна; требуется поддѣлать фальшивый вексель или акціи—они поддѣлаютъ, подобно Стебелькову; нужно, чтобъ выманить деньги, пуститься въ шантажъ— они займутся шантажомъ (Ламбертъ, Тришатовъ) и т. п. Болѣе хищные изъ нихъ не отступятъ передъ открытымъ грабежомъ и убійствомъ, если обстоятельства и сила характера выведутъ ихъ на большую дорогу.

Но человѣкъ забитый и запуганный никогда не рѣшится практиковать этихъ нелегальныхъ и нерѣдко черезчуръ смѣлыхъ средствъ. Онъ будетъ собирать по грошамъ, собирать на основаніи такихъ-то и такихъ-то статей закона, прятать собранное и мало-по-малу скапливать свой, собственнымъ трудомъ, законно пріобрѣтенный капиталецъ.

Вмѣсто того, чтобы дерзновенно запускать лапу въ карманъ ближняго, онъ будетъ не допивать, не доѣдать, лишитъ себя всего необходимаго. На Волгѣ, на одномъ изъ пароходовъ, умеръ какъ-то одинъ нищій, ходившій въ лохмотьяхъ, собиравшій милостыню, всѣмъ тамошнимъ хорошо извѣстный. У него, послѣ смерти, нашли зашитыми въ рубищѣ до трехъ тысячъ кредитными билетами. Этотъ нищій—типъ пріобрѣтателя-капиталиста изъ забитыхъ людей. Онъ, какъ и всякій хищникъ, одержимъ страстью къ деньгамъ, къ богатству, но пріобрѣтаетъ онъ это богатство путями самыми невинными и, если хотите, самыми наивными; онъ урываетъ кусокъ не у сосѣда, а у себя самого, онъ накапливаетъ (впрочемъ, очень рѣдко) тысячи, но не на чужой, а на свой собственный счетъ. Забитый, приниженный человѣкъ боится всякаго риска, всякаго смѣлаго предпріятія; онъ вполнѣ доволенъ и тѣмъ, если ему удастся утянуть хоть маленькую крошечку съ роскошнаго стола счастливцевъ. Дальше этой крошечки его честолюбіе не идетъ. Хоть мало, но вѣрно, — вотъ его девизъ. „Не сули журавля въ небѣ, дай синицу въ руки" — вотъ его любимая пословица.

„Не задолго до французской революціи, разсуждаетъ Подростокъ, — явился въ Парижѣ нѣкто Лоу и затѣялъ одинъ въ принципѣ геніальный проэктъ. Весь Парижъ взволновался, акціи Лоу покупались на расхватъ, до давки. Въ домъ, въ которомъ была подписка, сыпались деньги, какъ изъ мѣшка, но и дома, наконецъ, не достало... подписка перешла, наконецъ на улицу, но негдѣ было писать. Тутъ одному горбуну предложили уступить на время свой горбъ, въ видѣ стола, для подписки на немъ акцій. Горбунъ согласился... Нѣкоторое время спустя, всѣ обанкротились, все лопнуло, вся идея полетѣла къ чорту, и акціи потеряли всякую цѣну. Кто же выигралъ? Одинъ горбунъ, именно потому, что бралъ не акціи, а наличные луидоры". Ну-съ, восклицаетъ нашъ забитый идейный человѣкъ, — я вотъ и есть тотъ самый горбунъ!"

Дѣлать изъ своей спины подставку, на которой совер-

шаются тысячныя и милліонныя аферы, и получить за это нѣсколько луидоровъ, но наличными, — таково, по мнѣнію забитыхъ людей, вѣрнѣйшее и удобнѣйшее средство зашибить себѣ копейку. Имъ не нужно ни предпріимчивости, ни отваги, ни находчивости, ни даже ума; имъ нужно одно только терпѣніе, гибкость спины и ничѣмъ непоколебимая выносливость. Такъ именно и понималъ это дѣло Аркадій Макаровичъ. Путь наживы представлялся ему не иначе, какъ путемъ „схимническихъ подвиговъ“ и аскетическаго самоистязанія. И какъ только „идея“ запала въ его голову, онъ сейчасъ же началъ приготовлять себя къ схимничеству и производить надъ собою различные аскетическіе эксперименты. Прежде всего онъ сталъ пріучать себя къ голоданію. Съ этою цѣлью, — разсказываетъ онъ самъ, — я въ первый мѣсяцъ ѣлъ только одинъ хлѣбъ съ водой. Чернаго хлѣба выходило не болѣе двухъ съ половиною фунтовъ ежедневно... Я устроилъ такъ, чтобы обѣдъ мнѣ приносили въ мою комнату (онъ жилъ тогда уже не у Тушара, а у нѣкоего учителя Николая Семеновича). Тамъ я его просто истреблялъ: супъ выливалъ въ окно, въ крапиву, или въ кой-какое другое мѣсто, говядину или кидалъ въ окно собакамъ, или, завернувъ въ бумагу, клалъ въ карманъ и выносилъ потомъ вонъ, и все прочее. Мѣсяцъ выдержалъ, можетъ быть только нѣсколько разстроилъ желудокъ; но съ слѣдующаго мѣсяца я прибавилъ къ хлѣбу супъ, а утромъ и вечеромъ по стакану чаю, и, увѣряю васъ, такъ провелъ годъ въ совершенномъ здоровьѣ и довольствѣ, а нравственно — въ упоеніи и въ непрерывномъ тайномъ восхищеніи“... Не удовлетворившись этой пробой, я сдѣлалъ и вторую; на карманные расходы мои... мнѣ полагалось ежемѣсячно по пяти рублей... Я положилъ изъ нихъ тратить лишь половину. Это было очень трудное испытаніе, но черезъ два слишкомъ года, по пріѣздѣ въ Петербургъ, у меня въ карманѣ, кромѣ другихъ денегъ, было семьдесятъ рублей, накопленныхъ единственно изъ этого сбереженія“.

Но если для опредѣленія натуры забитаго человѣка въ

высшей степени характерною чертою является его взглядъ относительно того, какъ „капиталъ пріобрѣсти“, то не менѣе характерную черту представляютъ также и его мечты о томъ, какъ онъ будетъ пользоваться этимъ пріобрѣтеннымъ капиталомъ. Зачѣмъ и во имя чего обрекаетъ онъ себя на жизнь аскета? Съ какою цѣлью подготовляетъ онъ себя къ „подвигамъ схимничества“? Можетъ быть, онъ хочетъ на время только помучить свою плоть, чтобы потомъ сторицею вознаградить себя за всѣ свои лишенія? Можетъ быть, онъ не болѣе, какъ хитрый и разсчетливый эгоистъ? Можетъ быть, имъ руководятъ соображенія въ родѣ слѣдующихъ: „потерплю, помучаюсь, сокращусь до поры, до времени, но ужъ за-то потомъ, когда сдѣлаюсь Ротшильдомъ, тутъ-то я развернусь, тутъ-то я покажу всѣмъ этимъ людишкамъ, которые теперь издѣваются надо мною, топчутъ меня въ грязь, какъ я силенъ и могучъ; я заставлю ихъ пресмыкаться передо мною, лизать мои руки... я отомщу имъ—хотя бы даже своимъ великодушіемъ — за все, за все“...

Дѣйствительно, такъ разсуждаютъ очень многіе изъ забитыхъ людей... Но это еще не самые забитые люди, въ нихъ еще живетъ желаніе протеста, можетъ быть, дикаго, безсмысленнаго, однако, все-таки протеста. Они не могутъ на-столько примириться съ своимъ „унизительнымъ и оскорбительнымъ“ положеніемъ, чтобы не чувствовать жгучей потребности, хоть разъ, хоть на одну минуту, выйти изъ него и дать волю своимъ вѣчно подавляемымъ, вѣчно сдерживаемымъ „страстямъ и похотямъ“. Они еще думаютъ о возмездіи, въ глубинѣ ихъ души еще таится нѣкоторая надежда, ихъ натура не окончательно надломлена, она еще способна къ реакціи; они согнулись, притихли, принизились, но они еще могутъ когда-нибудь, при благопріятныхъ условіяхъ, выпрямиться и разогнуться во весь ростъ. Люди же совсѣмъ забитые, не могутъ даже и этого: они до такой степени ушли внутрь себя, что ихъ уже оттуда ничѣмъ не выгонишь. Дайте имъ деньги, силу, могущество—они не воспользуются ими; они откажутся отъ вла-

сти, и съ руками, полными золота, будутъ жить нищими. „Будь только у меня могущество,—разсуждалъ Подростокъ,— мнѣ и не понадобится оно вовсе; увѣряю, что самъ, по своей волѣ, займу вездѣ послѣднее мѣсто. Будь я Ротшильдъ, я бы ходилъ въ старенькомъ пальто и съ зонтикомъ. Какое мнѣ дѣло, что меня толкаютъ на улицѣ, что я принужденъ перебѣгать въ припрыжку по грязи, чтобы меня не раздавили извозчики. Сознаніе, что это я, самъ Ротшильдъ, даже веселило бы меня въ ту минуту. Я знаю, что у меня можетъ быть обѣдъ, какъ ни у кого, и первый въ свѣтѣ поваръ; съ меня довольно, что я это знаю. Я съѣмъ кусокъ хлѣба и ветчины, и буду сытъ моимъ сознаніемъ“. Пусть надъ ними смѣются и топчутъ ихъ въ грязь—они не станутъ протестовать, съ нихъ вполнѣ достаточно одного сознанія, что они могутъ сдѣлать. „О, мечтаетъ идейный человѣкъ — пусть обижаетъ меня этотъ нахалъ генералъ на станціи, гдѣ мы оба ждемъ лошадей; если бы зналъ онъ, кто я, онъ побѣжалъ-бы самъ ихъ запрягать и выскочилъ бы сажать меня въ скромный тарантасъ... О, пусть, пусть эта страшная красавица, эта дочь этой пышной и знатной аристократіи, случайно встрѣтясь со мною на пароходѣ или гдѣ-нибудь, косится и, вздернувъ носъ, съ презрѣніемъ удивляется, какъ смѣлъ попасть въ первое мѣсто, рядомъ съ нею, этотъ скромный и плюгавый человѣчекъ съ книжкою или газетою въ рукахъ! Но, если бъ только она знала, кто сидитъ подлѣ нея!“...

Вникните-же въ душевное состояніе человѣка, способнаго разсуждать такимъ образомъ. Онъ такъ освоился съ своимъ „униженнымъ,“ затертымъ положеніемъ, что въ его головѣ даже и мысли не является высвободиться изъ него. Онъ можетъ себя представить Ротшильдомъ, но Родшильдомъ забитымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ,“ гордымъ однимъ только внутреннимъ сознаніемъ, что я, молъ, все-таки Ротшильдъ! Богатство и сила нужны ему не для того, чтобы дѣйствительно, реально отстаивать свои человѣческія права, а только для того, чтобы имѣть право

сказать себѣ: „могъ бы и я воспользоваться всѣми этими правами, да самъ не хочу!" Я зналъ одного юношу. Ему пришлось очень долго прожить въ одномъ захолустьѣ, въ такомъ мѣстѣ, куда „Макаръ телятъ не гонялъ;" жить было скверно, дѣлать было рѣшительно нечего: юноша по цѣлымъ днямъ лежалъ на ободранномъ диванѣ у своей старой и ворчливой хозяйки и мечталъ, мечталъ,—конечно, о томъ счастливомъ времени, когда онъ получитъ возможность жить, гдѣ вздумается, и дѣлать, что хочется. Наконецъ, онъ ее получилъ, и... что вы думаете, какъ онъ ею воспользовался? Онъ остался у своей старой хозяйки и продолжаетъ лежать на своемъ ободранномъ диванчикѣ, по-прежнему мечтая... о чемъ же? Да вотъ о томъ, куда бы могъ поѣхать, что-бы онъ могъ сдѣлать... если бы захотѣлъ! „Стыдитесь, писали ему товарищи, — не мучьте себя добровольно: возвращайтесь къ намъ, у насъ много для васъ найдется дѣла. Неужели еще вамъ не надоѣла ваша праздная и безполезная жизнь, неужели вамъ не опротивѣло общество Макаровыхъ телятъ!"— „Когда я читаю эти письма, говорилъ онъ мнѣ,—я испытываю неизъяснимое наслажденіе. Я сознаю, что я могу быть человѣкомъ полезнымъ, могу дѣло дѣлать, что за мною что-то стоитъ, что я, однимъ словомъ, хотя и маленькая, а все-таки возможная сила!"—Но отчего же вы не хотите изъ возможной силы стать силою дѣйствительною?"—„Да потребности никакой не чувствуется. Мое сознаніе вполнѣ меня удовлетворяетъ, я внутренно счастливъ, а больше мнѣ ничего и не надо!" А между тѣмъ, замѣтьте, это былъ совсѣмъ не какой-нибудь лѣнтяй и нентюхъ по природѣ. Напротивъ, въ прежнее время онъ отличался необыкновенною подвижностью и дѣятельностью, притомъ-же былъ одержимъ самыми возвышенными и благородными стремленіями. Но продолжительное сожитіе съ Макаровыми телятами до такой степени сузило и ограничило не только его нравственныя, но даже и чисто-физическія потребности, до такой степени разслабило его жизненную энергію, что у него пропала всякая охота приниматься за какое-нибудь дѣло, что онъ неспособенъ даже перемѣнить своего образа

унизили окончательно, оскорбили глубоко, до послѣднихъ предѣловъ, то всегда тутъ-же являлось у меня неутолимое желаніе пассивно подчиниться оскорбленію и даже пойти впередъ желаніямъ обидчика: „На-те, вы унизили меня, такъ я еще пуще самъ унижусь, вотъ, смотрите, любуйтесь!“ Тушаръ билъ меня и хотѣлъ показать, что я лакей, а не сенаторскій сынъ, и вотъ я сейчасъ-же самъ вошелъ въ роль лакея. Я не только подавалъ ему одѣваться, но я самъ схватывалъ щетку и начиналъ счищать съ него послѣднія пылинки, вовсе уже безъ его просьбы или приказанія, самъ гнался иногда за нимъ со щеткою, въ пылу лакейскаго усердія, чтобы смахнуть какую-нибудь послѣднюю соринку съ его фрака, такъ что онъ самъ останавливалъ меня иногда: „Довольно, довольно, Аркадій, довольно“. Онъ придетъ, бывало, сниметъ верхнее платье, а я его вычищу, бережно сложу и накрою клѣтчатымъ шелковымъ платочкомъ. Я знаю, что товарищи смѣются и презираютъ меня за это, отлично знаю, но мнѣ это-то и любо. „Коли захотѣли, чтобы я былъ лакей, ну, такъ вотъ я и лакей: хамъ, такъ хамъ и есть“. Пассивную ненависть и подпольную злобу въ этомъ родѣ я могъ продолжать годами...“

Въ этомъ мастерскомъ анализѣ прекрасно обрисовывается одна изъ характеристическихъ особенностей „души“ забитаго человѣка. Забитый человѣкъ — когда онъ даже злобствуетъ и протестуетъ,—старается (впрочемъ, не старается, это у него само собою выходитъ) такъ злобствовать и такъ протестовать, чтобы этого никто не замѣтилъ; онъ забирается какъ можно глубже въ сокровенныя нѣдра своей души и тамъ только позволяетъ себѣ ворчать и хмуриться. Онъ протестуетъ, но протестуетъ весьма оригинальнымъ способомъ: его бьютъ по одной щекѣ, онъ подставляетъ другую. „Бей, бей сколько влѣзетъ, чѣмъ больше будешь бить, тѣмъ мнѣ лучше! Что взялъ? Ты думалъ меня обидѣть, а я вѣдь нисколько не обижаюсь, напротивъ, мнѣ это доставляетъ даже нѣкоторое удовольствіе“. Да, какъ это ни странно, а это такъ: забитый человѣкъ находитъ

наслажденіе въ созерцаніи своего самоуничиженія. Ему пріятно поразить своихъ притѣснителей неожиданнымъ сюрпризомъ. Когда Подростка заподозрили на рулеткѣ у Зерщикова въ кражѣ денегъ, онъ крикнулъ на всю залу: „Донесу на всѣхъ, рулетка запрещена полиціей". „Клянусь, говоритъ онъ, — что и тутъ было нѣчто подобное: меня унизили, обыскали, огласили воромъ, убили, ну, такъ знайте-же всѣ, что вы угадали: я не только воръ, но я и доносчикъ".

Но, само собою разумѣется, этотъ протестъ собственными своими боками и щеками, протестъ рабскаго безсилія, не можетъ вполнѣ успокоить забитаго человѣка, не можетъ примирить его съ окружающею дѣйствительностью. И вотъ онъ или создастъ себѣ особую философію, подобную философіи Дѣвушкина, или, подобно Аркадію Макаровичу, уединяется въ себя, отрекается отъ людей и всецѣло погружается въ міръ фантазіи и воздушныхъ замковъ. Аркадій Макаровичъ (Подростокъ), по его собственнымъ словамъ, только тогда и былъ счастливъ, когда, „ложась спать и закрываясь одѣяломъ, начиналъ уже одинъ, въ самомъ полномъ уединеніи, безъ ходящихъ кругомъ людей и безъ единаго отъ нихъ звука, пересоздавать жизнь на иной ладъ." „Самая яростная мечтательность, разсказываетъ онъ,— сопровождала меня вплоть до открытія „идеи", когда всѣ мечты изъ глупыхъ разомъ стали разумными и изъ мечтательной формы романа перешли въ разсудочную форму дѣйствительности". У всякихъ мечтаній, у всякой фантазіи непремѣнно есть своя логика. Эта логика безсознательно приводитъ человѣческій умъ къ извѣстнымъ обобщеніямъ, въ которыхъ сливается и исчезаетъ все частное, единичное и отрывочное. „Идея" Подростка именно и была однимъ изъ такихъ обобщеній. Она весьма послѣдовательно вытекала изъ его положенія. О чемъ всегда мечтаетъ голодный? О вкусномъ обѣдѣ. О чемъ мечтаетъ больной? О здоровьи. О чемъ мечтаютъ люди непривлекательной наружности, конфузливые, неловкіе, ненаходчивые? О чемъ мечталъ Голядкинъ? Онъ воображалъ себя свѣтскимъ, развяз-

нымъ и весьма недурнымъ собою молодымъ человѣкомъ, который вездѣ умѣетъ найтись, всюду пролѣзть, который не постоитъ за словомъ, передъ которымъ таютъ сердца всѣхъ барышенъ и настежь отворяются двери начальническихъ кабинетовъ, аристократическихъ салоновъ и даже таинственныхъ будуаровъ великосвѣтскихъ красавицъ. О чемъ же долженъ мечтать человѣкъ, ежеминутно сознающій свое безсиліе, свою бѣдность, необезпеченность и рабскую зависимость отъ окружающихъ людей? Понятно, онъ будетъ мечтать именно о томъ, чего у него нѣтъ: о силѣ, о могуществѣ, о независимости. Объ этихъ предметахъ онъ именно и мечталъ, „легши на постель и закрывшись одѣяломъ“. Сначала эти мечты были „глупы“, неясны, спутаны. Но „подъ ними работала, получившая уже толчокъ, до извѣстной степени уже возбужденная мысль мальчика-юноши. Мысль эта черпала свои матеріалы изъ окружающей жизни и изъ ограниченнаго, неполнаго, односторонняго опыта Подростка. Эта жизнь и этотъ опытъ убѣждали юношу, что у людей, конечно, у тѣхъ людей, которыхъ онъ зналъ,—во всѣхъ ихъ дѣлахъ и отношеніяхъ самую главную, самую выдающуюся роль играютъ деньги и богатство. Только богатый человѣкъ можетъ дѣлать все, что вздумаетъ, только богатаго всѣ уважаютъ, только ему все прощается и все забывается. И какъ это легко сдѣлаться богатымъ! Для этого не нужно обладать никакими чрезвычайными талантами, не нужно быть ни особенно умнымъ, ни особенно благороднымъ, ни особенно ловкимъ и находчивымъ; нужно только умѣть копить деньги“. Умѣть копить деньги,—но вѣдь это именно дѣло посредственности, дѣло человѣка, не способнаго ни на какія увлеченія, ни дурныя, ни хорошія, ни на какія сильныя страсти, ни на какія возвышенныя идеи,—человѣка, привыкшаго ко всякаго рода лишеніямъ, съ ограниченными потребностями, безъ претензій и излишней гордости,—однимъ словомъ, человѣка самаго зауряднаго, даже ничтожнаго. „Деньги, разсуждаетъ Подростокъ, — это единственный путь, который приводитъ на первое мѣсто даже самое

ничтожество“. Какъ же не схватиться за этотъ путь человѣку забитому, самоуничижающемуся, сознающему свое безсиліе и въ то же время мечтающему о силѣ и могуществѣ? Пусть я не особенно уменъ, разсуждаетъ Подростокъ, но разъ у меня деньги—меня прославятъ чуть-чуть не геніемъ. „Я, напримѣръ, знаю по зеркалу, что моя наружность мнѣ вредитъ, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богатъ, какъ Ротшильдъ, кто будетъ справляться съ лицомъ моимъ и не тысячи-ли женщинъ, только свисни, налетятъ ко мнѣ съ своими красотами? Я даже увѣренъ, что онѣ сами совершенно-искренно станутъ считать меня подъ конецъ красавцемъ“.

Подростокъ разсуждалъ, какъ видите, вполнѣ логично. И сколько подростковъ разсуждаютъ точно такимъ же образомъ! Для сколькихъ изъ нихъ, какъ и для него, всѣ мечты о силѣ, о могуществѣ и т. п., воплощаются въ идею о деньгахъ!

Попавъ на эту идею. Аркадій Макаровичъ сдѣлалъ ее главнымъ предметомъ своихъ уединенныхъ мечтаній, своихъ ночныхъ бдѣній. Мало-по-малу она стала его господствующею идеею, его idée fixe; онъ весь ушелъ въ нее. она примиряла его съ дѣйствительностью. она его утѣшала и успокоивала. Постоянно вдумываясь и развивая ее, онъ окончательно формулировалъ ее такимъ образомъ: „Хочу стать Ротшильдомъ, стать такъ-же богатымъ, а именно, какъ Ротшильдъ“, — не просто богатымъ, а именно, какъ Ротшильдъ. Чтобы достичь осуществленія этого желанія. нужно одно лишь „упорство (въ накопленіи денегъ) и непрерывность“. Средства, которыя выбираетъ человѣкъ для достиженія своей цѣли, всегда въ извѣстной степени опредѣляются его характеромъ. И въ этомъ отношеніи для характеристики забитаго идейнаго человѣка весьма интересно познакомиться съ мечтами Подростка о томъ, какимъ образомъ считалъ онъ возможнымъ осуществить свою завѣтную идею—стать Ротшильдомъ. Несомнѣнно, что эта идея—въ нѣсколько иной, быть можетъ, постановкѣ — преслѣдуетъ очень многихъ, и старыхъ, и юныхъ, и забитыхъ и не-

забитыхъ личностей. Всѣ (за исключеніемъ развѣ самаго ничтожнаго меньшинства) гоняются за деньгами, за богатствомъ, за „наживою“; исканіе богатства — это одинъ изъ самыхъ всеобщихъ и самыхъ могущественныхъ двигателей человѣческой дѣятельности. Анна Андреевна (законная дочь Версилова, слѣдовательно, сестра по отцѣ, Подростка) и князья Сокольскіе, и Катерина Николаевна, и самъ Версиловъ, и Ламберты, и Тришатовы, и Стебельковы — всѣ они одержимы желаніемъ заполучить побольше денегъ и разбогатѣть. Подростокъ въ этомъ случаѣ законный сынъ своей среды, онъ воплощаетъ въ себѣ ея самый насущный интересъ, ея господствующую идею. Однако Анна Андреевна, князь Сокольскій, Стебельковъ, Тришатовъ, Ламбертъ etc. дѣйствуютъ, такъ сказать, безсознательно; пріобрѣтеніе денегъ — это для нихъ не отвлеченная, теоретическая идея, какъ у Подростка, а простой, малоосмысленный эгоистическій интересъ, выгода; они не пытаются даже идеализировать этой выгоды, они не скрываютъ и не прячутъ ея, какъ нѣчто святое, завѣтное, напротивъ, они открыто ее заявляютъ какъ вещь самую ординарную, всѣмъ извѣстную и для всѣхъ понятную. Они не подходятъ къ ней разными извилинами и окольными путями; они идутъ прямо, не слишкомъ задумываясь передъ средствами. Нужно продать себя—они съ удовольствіемъ себя продадутъ, какъ дѣлаетъ Анна Андреевна; требуется подделать фальшивый вексель или акціи—они подделаютъ, подобно Стебелькову; нужно, чтобъ выманить деньги, пуститься въ шантажъ— они займутся шантажомъ (Ламбертъ, Тришатовъ) и т. п. Болѣе хищные изъ нихъ не отступятъ передъ открытымъ грабежомъ и убійствомъ, если обстоятельства и сила характера выведутъ ихъ на большую дорогу.

Но человѣкъ забитый и запуганный никогда не рѣшится практиковать этихъ нелегальныхъ и нерѣдко черезчуръ смѣлыхъ средствъ. Онъ будетъ собирать по грошамъ, собирать на основаніи такихъ-то и такихъ-то статей закона, прятать собранное и мало-по-малу скапливать свой, собственнымъ трудомъ, законно пріобрѣтенный капиталецъ.

Вмѣсто того, чтобы дерзновенно запускать лапу въ карманъ ближняго, онъ будетъ не допивать, не доѣдать, лишитъ себя всего необходимаго. На Волгѣ, на одномъ изъ пароходовъ, умеръ какъ-то одинъ нищій, ходившій въ лохмотьяхъ, собиравшій милостыню, всѣмъ тамошнимъ хорошо извѣстный. У него, послѣ смерти, нашли зашитыми въ рубищѣ до трехъ тысячъ кредитными билетами. Этотъ нищій—типъ пріобрѣтателя-капиталиста изъ забитыхъ людей. Онъ, какъ и всякій хищникъ, одержимъ страстью къ деньгамъ, къ богатству, но пріобрѣтаетъ онъ это богатство путями самыми невинными и, если хотите, самыми наивными; онъ урываетъ кусокъ не у сосѣда, а у себя самого, онъ накапливаетъ (впрочемъ, очень рѣдко) тысячи, но не на чужой, а на свой собственный счетъ. Забитый, приниженный человѣкъ боится всякаго риска, всякаго смѣлаго предпріятія; онъ вполнѣ доволенъ и тѣмъ, если ему удастся утянуть хоть маленькую крошечку съ роскошнаго стола счастливцевъ. Дальше этой крошечки его честолюбіе не идетъ. Хоть мало, но вѣрно, — вотъ его девизъ. „Не сули журавля въ небѣ, дай синицу въ руки“ — вотъ его любимая пословица.

„Не задолго до французской революціи, разсуждаетъ Подростокъ, — явился въ Парижѣ нѣкто Лоу и затѣялъ одинъ въ принципѣ геніальный проэктъ. Весь Парижъ взволновался, акціи Лоу покупались на расхватъ, до давки. Въ домъ, въ которомъ была подписка, сыпались деньги, какъ изъ мѣшка, но и дома, наконецъ, не достало... подписка перешла, наконецъ на улицу, но негдѣ было писать. Тутъ одному горбуну предложили уступить на время свой горбъ, въ видѣ стола, для подписки на немъ акцій. Горбунъ согласился... Нѣкоторое время спустя, всѣ обанкротились, все лопнуло, вся идея полетѣла къ чорту, и акціи потеряли всякую цѣну. Кто же выигралъ? Одинъ горбунъ, именно потому, что бралъ не акціи, а наличные луидоры“. Ну-съ, восклицаетъ нашъ забитый идейный человѣкъ, — я вотъ и есть тотъ самый горбунъ!“

Дѣлать изъ своей спины подставку, на которой совер-

шаются тысячныя и милліонныя аферы, и получить за это нѣсколько луидоровъ, но наличными, — таково, по мнѣнію забитыхъ людей, вѣрнѣйшее и удобнѣйшее средство зашибить себѣ копейку. Имъ не нужно ни предпріимчивости, ни отваги, ни находчивости, ни даже ума; имъ нужно одно только терпѣніе, гибкость спины и ничѣмъ непоколебимая выносливость. Такъ именно и понималъ это дѣло Аркадій Макаровичъ. Путь наживы представлялся ему не иначе, какъ путемъ „схимническихъ подвиговъ“ и аскетическаго самоистязанія. И какъ только „идея“ запала въ его голову, онъ сейчасъ же началъ приготовлять себя къ схимничеству и производить надъ собою различные аскетическіе эксперименты. Прежде всего онъ сталъ пріучать себя къ голоданію. Съ этою цѣлью, — разсказываетъ онъ самъ, — я въ первый мѣсяцъ ѣлъ только одинъ хлѣбъ съ водой. Чернаго хлѣба выходило не болѣе двухъ съ половиною фунтовъ ежедневно... Я устроилъ такъ, чтобы обѣдъ мнѣ приносили въ мою комнату (онъ жилъ тогда уже не у Тушара, а у нѣкоего учителя Николая Семеновича). Тамъ я его просто истреблялъ: супъ выливалъ въ окно, въ крапиву, или въ кой-какое другое мѣсто, говядину или кидалъ въ окно собакамъ, или, завернувъ въ бумагу, клалъ въ карманъ и выносилъ потомъ вонъ, и все прочее. Мѣсяцъ выдержалъ, можетъ быть только нѣсколько разстроилъ желудокъ; но съ слѣдующаго мѣсяца я прибавилъ къ хлѣбу супъ, а утромъ и вечеромъ по стакану чаю, и, увѣряю васъ, такъ провелъ годъ въ совершенномъ здоровьѣ и довольствѣ, а нравственно — въ упоеніи и въ непрерывномъ тайномъ восхищеніи“... Не удовлетворившись этой пробой, я сдѣлалъ и вторую; на карманные расходы мои... мнѣ полагалось ежемѣсячно по пяти рублей... Я положилъ изъ нихъ тратить лишь половину. Это было очень трудное испытаніе, но черезъ два слишкомъ года, по пріѣздѣ въ Петербургъ, у меня въ карманѣ, кромѣ другихъ денегъ, было семьдесятъ рублей, накопленныхъ единственно изъ этого сбереженія“.

Но если для опредѣленія натуры забитаго человѣка въ

высшей степени характерною чертою является его взглядъ относительно того, какъ „капиталъ пріобрѣсти“, то не менѣе характерную черту представляютъ также и его мечты о томъ, какъ онъ будетъ пользоваться этимъ пріобрѣтеннымъ капиталомъ. Зачѣмъ и во имя чего обрекаетъ онъ себя на жизнь аскета? Съ какою цѣлью подготовляетъ онъ себя къ „подвигамъ схимничества“? Можетъ быть, онъ хочетъ на время только помучить свою плоть, чтобы потомъ сторицею вознаградить себя за всѣ свои лишенія? Можетъ быть, онъ не болѣе, какъ хитрый и разсчетливый эгоистъ? Можетъ быть, имъ руководятъ соображенія въ родѣ слѣдующихъ: „потерплю, помучаюсь, сокращусь до поры, до времени, но ужъ за-то потомъ, когда сдѣлаюсь Ротшильдомъ, тутъ-то я развернусь, тутъ-то я покажу всѣмъ этимъ людишкамъ, которые теперь издѣваются надо мною, топчутъ меня въ грязь, какъ я силенъ и могучъ; я заставлю ихъ пресмыкаться передо мною, лизать мои руки... я отомщу имъ—хотя бы даже своимъ великодушіемъ — за все, за все“...

Дѣйствительно, такъ разсуждаютъ очень многіе изъ забитыхъ людей... Но это еще не самые забитые люди, въ нихъ еще живетъ желаніе протеста, можетъ быть, дикаго, безсмысленнаго, однако, все-таки протеста. Они не могутъ на-столько примириться съ своимъ „унизительнымъ и оскорбительнымъ“ положеніемъ, чтобы не чувствовать жгучей потребности, хоть разъ, хоть на одну минуту, выйти изъ него и дать волю своимъ вѣчно подавляемымъ, вѣчно сдерживаемымъ „страстямъ и похотямъ“. Они еще думаютъ о возмездіи, въ глубинѣ ихъ души еще таится нѣкоторая надежда, ихъ натура не окончательно надломлена, она еще способна къ реакціи; они согнулись, притихли, принизились, но они еще могутъ когда-нибудь, при благопріятныхъ условіяхъ, выпрямиться и разогнуться во весь ростъ. Люди же совсѣмъ забитые, не могутъ даже и этого: они до такой степени ушли внутрь себя, что ихъ уже оттуда ничѣмъ не выгонишь. Дайте имъ деньги, силу, могущество—они не воспользуются ими; они откажутся отъ вла-

сти, и съ руками, полными золота, будутъ жить нищими. „Будь только у меня могущество,—разсуждалъ Подростокъ,— мнѣ и не понадобится оно вовсе; увѣряю, что самъ, по своей волѣ, займу вездѣ послѣднее мѣсто. Будь я Ротшильдъ, я бы ходилъ въ старенькомъ пальто и съ зонтикомъ. Какое мнѣ дѣло, что меня толкаютъ на улицѣ, что я принужденъ перебѣгать въ припрыжку по грязи, чтобы меня не раздавили извозчики. Сознаніе, что это я, самъ Ротшильдъ, даже веселило бы меня въ ту минуту. Я знаю, что у меня можетъ быть обѣдъ, какъ ни у кого, и первый въ свѣтѣ поваръ; съ меня довольно, что я это знаю. Я съѣмъ кусокъ хлѣба и ветчины, и буду сытъ моимъ сознаніемъ“. Пусть надъ ними смѣются и топчутъ ихъ въ грязь—они не станутъ протестовать, съ нихъ вполнѣ достаточно одного сознанія, что они могутъ сдѣлать. „О, мечтаетъ идейный человѣкъ — пусть обижаетъ меня этотъ нахалъ генералъ на станціи, гдѣ мы оба ждемъ лошадей; если бы зналъ онъ, кто я, онъ побѣжалъ-бы самъ ихъ запрягать и выскочилъ бы сажать меня въ скромный тарантасъ... О, пусть, пусть эта страшная красавица, эта дочь этой пышной и знатной аристократіи, случайно встрѣтясь со мною на пароходѣ или гдѣ-нибудь, косится и, вздернувъ носъ, съ презрѣніемъ удивляется, какъ смѣлъ попасть въ первое мѣсто, рядомъ съ нею, этотъ скромный и плюгавый человѣчекъ съ книжкою или газетою въ рукахъ! Но, если бъ только она знала, кто сидитъ подлѣ нея!“...

Вникните-же въ душевное состояніе человѣка, способнаго разсуждать такимъ образомъ. Онъ такъ освоился съ своимъ „униженнымъ,“ затертымъ положеніемъ, что въ его головѣ даже и мысли не является высвободиться изъ него. Онъ можетъ себя представить Ротшильдомъ, но Родшильдомъ забитымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ,“ гордымъ однимъ только внутреннимъ сознаніемъ, что я, молъ, все-таки Ротшильдъ! Богатство и сила нужны ему не для того, чтобы дѣйствительно, реально отстаивать свои человѣческія права, а только для того, чтобы имѣть право

сказать себѣ: „могъ бы и я воспользоваться всѣми этими правами, да самъ не хочу!“ Я зналъ одного юношу. Ему пришлось очень долго прожить въ одномъ захолустьѣ, въ такомъ мѣстѣ, куда „Макаръ телятъ не гонялъ;“ жить было скверно, дѣлать было рѣшительно нечего: юноша по цѣлымъ днямъ лежалъ на ободранномъ диванѣ у своей старой и ворчливой хозяйки и мечталъ, мечталъ,—конечно, о томъ счастливомъ времени, когда онъ получитъ возможность жить, гдѣ вздумается, и дѣлать, что хочется. Наконецъ, онъ ее получилъ, и... что вы думаете, какъ онъ ею воспользовался? Онъ остался у своей старой хозяйки и продолжаетъ лежать на своемъ ободранномъ диванчикѣ, по-прежнему мечтая... о чемъ же? Да вотъ о томъ, куда бы могъ поѣхать, что-бы онъ могъ сдѣлать... если бы захотѣлъ! „Стыдитесь, писали ему товарищи, — не мучьте себя добровольно: возвращайтесь къ намъ, у насъ много для васъ найдется дѣла. Неужели еще вамъ не надоѣла ваша праздная и безполезная жизнь, неужели вамъ не опротивѣло общество Макаровыхъ телятъ!“— „Когда я читаю эти письма, говорилъ онъ мнѣ,—я испытываю неизъяснимое наслажденіе. Я сознаю, что я могу быть человѣкомъ полезнымъ, могу дѣло дѣлать, что за мною что-то стоитъ, что я, однимъ словомъ, хотя и маленькая, а все-таки возможная сила!“—Но отчего же вы не хотите изъ возможной силы стать силою дѣйствительною?“—„Да потребности никакой не чувствуется. Мое сознаніе вполнѣ меня удовлетворяетъ, я внутренно счастливъ, а больше мнѣ ничего и не надо!“ А между тѣмъ, замѣтьте, это былъ совсѣмъ не какой-нибудь лѣнтяй и нептюхъ по природѣ. Напротивъ, въ прежнее время онъ отличался необыкновенною подвижностью и дѣятельностью, притомъ-же былъ одержимъ самыми возвышенными и благородными стремленіями. Но продолжительное сожитіе съ Макаровыми телятами до такой степени сузило и ограничило не только его нравственныя, но даже и чисто-физическія потребности, до такой степени разслабило его жизненную энергію, что у него пропала всякая охота приниматься за какое-нибудь дѣло, что онъ неспособенъ даже перемѣнить своего образа

жизни. Сознаніе, что онъ можетъ и за дѣло взяться, и жизнь свою иначе устроитъ, если только захочетъ — это сознаніе вполнѣ его удовлетворяло и утѣшало даже. Но вѣдь это-же эгоизмъ, самый грубый, самый возмутительный эгоизмъ? Да, читатель, самый грубый, самый возмутительный эгоизмъ. Эгоизмъ есть неизбѣжное, логическое слѣдствіе человѣческой забитости; и чѣмъ болѣе человѣкъ забитъ, чѣмъ болѣе его „оскорбляютъ и унижаютъ," тѣмъ сильнѣе развивается въ немъ потребность „уйти отъ людей," махнуть рукою на всѣ ихъ дѣла, замкнуться „въ себѣ самомъ," замуравить въ тѣсной клѣткѣ своего „внутренняго сознанія" всѣ свои „человѣческія стремленія, все свое человѣческое достоинство," — иными словами, тѣмъ эгоистичнѣе, чѣмъ безчеловѣчнѣе онъ становится.

Г. Достоевскій вѣрно и тонко подмѣтилъ эту характерную черту забитыхъ людей. Всѣ они у него эгоисты, отчасти меланхолики, избѣгающіе общества, вѣчно замкнутые въ своемъ маленькомъ, микроскопическомъ „я." Въ Подросткѣ этотъ эгоизмъ обнаруживается всего реальнѣе; по всей вѣроятности, происходитъ это отъ того, что онъ, въ качествѣ человѣка идейнаго, вѣчно резонирующаго, очень любитъ копаться въ подонкахъ своей души. Онъ выталкиваетъ изъ нея всю грязь, размазываетъ и любуется ею. Для насъ открывается, такимъ образомъ, возможность, безъ малѣйшаго труда съ нашей стороны, весьма основательно ознакомиться съ сокровеннѣйшими мотивами его больной, надорванной и искалѣченной души. „Съ двѣнадцати лѣтъ, говоритъ онъ,—т. е. почти съ зарожденія правильнаго сознанія, я сталъ не любить людей... я никакъ не могу всего высказать даже близкимъ людямъ, т. е. могъ-бы, да не хочу, почему-то удерживаюсь... Я недовѣрчивъ, угрюмъ и несообщителенъ. Опять-таки я давно уже замѣтилъ въ себѣ черту, чуть не съ дѣтства, что слишкомъ часто обвиняю, слишкомъ наклоненъ къ обвиненію другихъ... Я не находилъ ничего въ обществѣ людей, какъ ни старался, а я старался; по крайней мѣрѣ, всѣ мои однолѣтки, всѣ мои товарищи, всѣ до одного оказывались ниже меня мыслями;

я не помню ни единаго исключенія. Да, я сумраченъ, я безпрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти изъ общества.. я не вижу ни малѣйшей причины дѣлать людямъ добро. И совсѣмъ люди не такъ прекрасны, чтобы объ нихъ такъ заботиться...“

На собраніи въ кружкѣ Дергачева — куда нашъ герой попалъ, впрочемъ, совершенно случайно—Подростокъ слѣдующимъ образомъ излагаетъ свое profession de foi: „Пока у меня есть два рубля, я хочу жить одинъ, ни отъ кого не зависѣть и ничего не дѣлать даже для того великаго будущаго человѣчества, работать на которое приглашали господина Крафта. Личная свобода, т. е. моя собственная-съ, на первомъ планѣ, а дальше знать ничего не хочу... Что мнѣ за дѣло до того, что будетъ черезъ тысячу лѣтъ съ этимъ вашимъ человѣчествомъ, если мнѣ за это по вашему кодексу, ни любви, ни будущей жизни, ни признанія за мною подвига? Нѣтъ-съ, е[illegible] такъ, то я самымъ преневѣжливымъ образомъ буду жить для себя, а тамъ хоть бы всѣ провалились!“ Эти слова не нуждаются въ комментаріяхъ. Но это были не одни только слова. Аркадій Макаровичъ не только въ своихъ мысляхъ, но и въ своихъ поступкахъ, въ своихъ отношеніяхъ къ окружающимъ и даже самымъ близкимъ ему людямъ, является эгоистомъ,—эгоистомъ тщеславнымъ, подозрительнымъ, до болѣзненности самолюбивымъ. Подъ вліяніемъ этого эгоизма онъ, быть можетъ, самъ того не желая, постоянно мучитъ, терзаетъ и оскорбляетъ и свою мать и своего отца —которыхъ тѣмъ не менѣе онъ очень любилъ,—онъ кокетничаетъ своею незаконнорожденностью (хотя юридически онъ считался законнымъ сыномъ законнаго супруга своей матери—Долгорукаго) и „тѣмъ самымъ, какъ справедливо замѣчаетъ Версиловъ,—онъ разоблачаетъ тайну матери и изъ-за какой-то ложной гордости тащитъ ее на судъ передъ первою встрѣчною грязью“. Онъ дуется и отстраняется отъ людей, которыхъ считаетъ или которые считаются чѣмъ-нибудь лучше его. Разъ какъ-то „въ минуту восторженности,“ онъ расхвалилъ своего знакомаго Васина. „И что же? Въ тотъ-же

вечеръ, говоритъ онъ,—я уже почувствовалъ, что гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхваливъ его, я тѣмъ самымъ принизилъ передъ нимъ себя.“ „Съ самыхъ низшихъ классовъ гимназіи, признается онъ далѣе,—чуть кто изъ товарищей опережалъ меня или въ наукахъ, или въ острыхъ отвѣтахъ, или въ физической силѣ, я тотчасъ-же переставалъ съ нимъ водиться и говорить.“

Ради чисто-личнаго, эгоистическаго чувства, онъ входитъ въ товарищество съ глубоко презираемымъ имъ шантажистомъ Ламбертомъ, выдаетъ ему тайну любимой женщины и вступаетъ съ нимъ въ заговоръ, съ цѣлью погубить ее. То-же личное чувство заставляетъ его хранить документъ, ему не принадлежащій и весьма важный для той особы (Катерины Николаевны), которой онъ обязанъ былъ, по собственному сознанію, немедленно передать его. Когда онъ узнаетъ, что его сестра состоитъ въ связи съ княземъ Сокольскимъ—на счетъ котораго онъ жилъ,—у него прежде всего является мысль: „какъ это она могла *его* обманывать? *его* подвергать позору? какъ этотъ князь долженъ *его* презирать и т. п. Его *я* стоитъ у него на первомъ планѣ: онъ только о *себѣ* думаетъ, о *себѣ* заботится. А между тѣмъ онъ очень любитъ сестру, онъ ей вполнѣ сочувствуетъ, но какъ ни сильна эта любовь, какъ ни велико это сочувствіе, они не въ силахъ побороть въ немъ голоса уязвленнаго самолюбія, эгоистическаго тщеславія...

„Однако, позвольте, замѣтитъ читатель, — вы представляете душу забитаго идейнаго человѣка въ такихъ черныхъ краскахъ, что самъ собою навязывается вопросъ: если это правда, то чѣмъ-же тогда отличается этотъ идейный человѣкъ отъ какого-нибудь безыдейнаго Ламберта, Тришатова, даже Стебелькова? Неужели только тѣмъ, что онъ болѣе ихъ забитъ, что онъ менѣе ихъ способенъ на активный протестъ—тотъ единственно доступный имъ протестъ, который выражается у нихъ въ формѣ грубаго и хищнаго стяжанія?“ Нѣтъ, это не совсѣмъ или, лучше сказать, это совсѣмъ не такъ. У Подростка есть *идея,* и какая бы ни

была эта идея, а все-же она ставитъ его неизмѣримо высоко сравнительно съ разными Ламбертами, Стебельковыми и Тришатовыми; она свидѣтельствуетъ о *человѣчности* его натуры, она — та „божія искра,“ которая выдѣляетъ его изъ толпы безыдейныхъ, пресмыкающихся рабовъ. Подумайте-ка, въ самомъ дѣлѣ, почему это онъ, забитый подростокъ, могъ развиться до „идеи,“ а какой-нибудь Ламбертъ не могъ? Оба они воспитывались подъ давленіемъ болѣе или менѣе тождественныхъ условій, учились даже въ одномъ и томъ же пансіонѣ, у „толстенькаго французика“ Тушара. Жизненные факты, съ которыми имъ приходилось сталкиваться, должны были оставлять въ ихъ душѣ почти одинаковые слѣды, почти однородныя впечатлѣнія. Мало того, эти одинаковыя впечатлѣнія привели ихъ къ выводу болѣе или менѣе одинаковому: „стремись къ богатству, въ немъ все твое спасеніе.“ Но вотъ тутъ-то и начинается различіе: у одного этотъ выводъ остается на степени полубезсознательнаго, почти инстинктивнаго, мало осмысленнаго влеченія; у другого онъ претворяется въ идею, въ принципъ, въ теорію; одинъ всецѣло отдается теченію своихъ эгоистическихъ похотей и вожделеній; другой — ставитъ на ихъ мѣсто идею и ей старается подчинить свою жизнь, свою дѣятельность. Разница огромная, но чѣмъ же она обусловливается, отчего зависитъ? Мнѣ кажется отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, отъ большой впечатлительности или, выражаясь словами г. Достоевскаго, большей „отзывчивости идейныхъ людей; во вторыхъ, отъ преобладанія у нихъ интеллектуальной стороны надъ чувственною, аффективною. Это преобладаніе и эта отзывчивость находятся между собою въ тѣсной связи и составляютъ одну изъ выдающихся особенностей забитыхъ людей этой категоріи. Объясненіе этой особенности съ психологической точки зрѣнія не представляетъ большого затрудненія.

Представьте себѣ человѣка, совершенно устраненнаго отъ всякой самостоятельной, активной дѣятельности,—человѣка, привыкшаго считать себя въ обществѣ за нуль и дѣйствительно постоянно играющаго въ немъ роль нуля,—

что ему остается дѣлать, если въ немъ сохранилась хоть какая-нибудь искра человѣчности, какъ не удалиться въ свое внутреннее *я*, въ міръ идей, въ безпечальную область вѣчнаго само-созерцанія и самораскапыванія? Всѣ его дѣятельныя, активныя способности, нигдѣ не находя себѣ никакого приложенія, поневолѣ отупѣютъ и мало-по-малу совершенно атрофируются. Его психическая жизнь получитъ одностороннее, уродливое направленіе; созерцательныя наклонности разовьются въ ущербъ всѣмъ остальнымъ и идейная сторона станетъ преобладающею стороною его душевнаго міра. Отсюда само собою вытекаетъ, съ одной стороны, то преувеличенное значеніе, которое придаетъ человѣкъ своимъ „идеямъ“; съ другой—его неспособность относиться вполнѣ трезво и реально къ впечатлѣніямъ, дѣйствующимъ на него извнѣ: онъ разсматриваетъ ихъ, такъ сказать, сквозь увеличительное стекло,—стекло черезчуръ субъективное, а потому онъ рѣдко умѣетъ правильно координировать ихъ: одно какое-нибудь впечатлѣніе данной минуты затмеваетъ собою на время не только впечатлѣнія непосредсвенно предшествовавшія и существующія, но и впечатлѣнія, уже сложившіяся въ идею. Такимъ образомъ, идея отходитъ на задній планъ, въ самыя темныя, сокровенныя глубины души, гдѣ она часто прозябаетъ по цѣлымъ годамъ, а иногда и всю жизнь человѣка. Мало-по-малу между идеею и человѣкомъ утрачивается всякая тѣсная органическая связь; она живетъ сама по себѣ, а онъ самъ по себѣ, и хотя онъ по прежнему находитъ въ ней свое утѣшеніе и свою отраду, но, въ сущности, она уже не имѣетъ надъ нимъ никакой силы; онъ продолжаетъ ей поклоняться, но уже больше по привычкѣ, по преданію: онъ все еще готовъ видѣть въ ней своего бога, но этотъ богъ мертвый, безвластный и бездѣятельный, это — окаменѣлый, бездушный кумиръ.

Да, такова печальная, роковая судьба идеи нашихъ идейныхъ людей изъ забитыхъ. Они никогда почти не въ состояніи послѣдовательно выдержать ее, не въ состояніи надолго остаться вѣрными ей, даже мысленно. О практи-

ческомъ проведеніи ея въ жизнь я уже не говорю: практическое приложеніе идей къ жизни нерѣдко (чтобы не сказать — всегда) сталкивается съ такою массою всевозможныхъ чисто-внѣшнихъ препятствій, что преодолѣть ихъ, разумѣется, не подъ силу пассивно-созерцательной, эгоистической натурѣ нашего идейнаго человѣка. Однако, было-бы въ высшей степени несправедливо сваливать все на одни эти „внѣшнія препятствія". Я далекъ отъ мысли умалять ихъ значеніе, но не слѣдуетъ его и преувеличивать. Возьмите вы хоть, напримѣръ, Подростка. Авторъ, относящійся вообще отрицательно къ господствующимъ идеямъ нашихъ идейныхъ людей и совершенно даже ихъ не понимающій (что онъ уже многократно доказалъ и чего онъ, впрочемъ, и не скрываетъ), — авторъ вложилъ въ его голову хотя довольно смѣшную, если хотите, нелѣпую, но тѣмъ не менѣе весьма скромную и въ высшей степени благонамѣренную идею — идею обогатиться, отказывая себѣ во всемъ необходимомъ, сдѣлаться Ротшильдомъ, скапливая деньги по грошамъ и копейкамъ. Можетъ быть, это черезчуръ ужъ наивно, однако, совершенно невинно и вполнѣ законно. Трудно себѣ представить, чтобы при ея практическомъ осуществленіи могли встрѣтиться какія-нибудь серьезныя „внѣшнія препятствія". Кому какое дѣло, что Аркадій Макаровичъ копитъ себѣ потихоньку деньжонки, продаетъ съ барышомъ купленныя на аукціонѣ вещи и играетъ потихоньку на биржѣ? Дѣятельность весьма почтенная и ни малѣйшимъ внѣшнимъ запретамъ неподлежащая. Вспомните при этомъ, что у Аркадія Макаровича потребности самыя умѣренныя, что онъ можетъ, если захочетъ, питаться однимъ хлѣбомъ, насчетъ жилья не брезгливъ и считаетъ 20 копеекъ въ день суммою вполнѣ достаточною для своего содержанія. При такихъ условіяхъ, почему бы, кажется, и не осуществить ему своей идеи? А вѣдь онъ даже и не пытается, а между тѣмъ онъ всюду носится съ нею, какъ съ писанной торбой; онъ гордится ею, воскуряетъ ей фиміамы, ищетъ въ ней защиты и утѣшенія отъ житейскихъ невзгодъ. „Идея утѣшала меня,

разсказываетъ онъ самъ, — въ позорѣ и ничтожествѣ"... Всѣ его слабости и „мерзости"... какъ-бы прятались подъ нею; она, такъ сказать, все облегала и все заволакивала предо мною".

И, однако, чуть только онъ наталкивается на какой-нибудь фактъ, способный въ данный моментъ произвести на него сильное впечатлѣніе, это впечатлѣніе, хоть бы оно и совершенно не гармонировало съ „идеею", сейчасъ-же заслоняетъ послѣднюю и пріобрѣтаетъ рѣшительное господство въ его душѣ. Рѣшаетъ онъ, напримѣръ, что для осуществленія „идеи" ему необходимо копить деньги и избѣгать всякихъ излишнихъ расходовъ. Прекрасно. Онъ начинаетъ копить, скопилъ даже малую толику, и вдругъ все это пошло прахомъ, и пришлось начинать процессъ «самоистязанія» и копленія сызнова. Угораздило кого-то подбросить ребенка къ Николаю Семеновичу, у котораго онъ жилъ въ послѣднее время, въ Москвѣ. Николай Семеновичъ рѣшилъ отослать подкидыша въ воспитательный домъ. Будущій Ротшильдъ воспротивился; онъ внезапно почувствовалъ приливъ какой-то материнской нѣжности къ младенцу; онъ ни за что не захотѣлъ разстаться съ нимъ. А такъ какъ Николай Семеновичъ, хотя и не былъ одержимъ идеею сдѣлаться Ротшильдомъ, но, тѣмъ не менѣе, былъ весьма расчетливъ, то онъ и отказался самымъ категорическимъ образомъ принять къ себѣ «божію благодать». Тогда Аркадій Макаровичъ, не долго думая, торжественно заявилъ, что онъ самъ берется платить за ребенка. Дѣйствительно, онъ потратилъ на него половину скопленнаго капитала и, вѣроятно, потратилъ бы и весь, если бы ребенокъ, сжалившись надъ его слабодушіемъ, не умеръ во время. „Изъ исторіи съ Риночкою (такъ звали ребенка). я убѣдился, сознается Подростокъ,—что никакая идея не въ силахъ увлечь, по крайней мѣрѣ, меня до того, чтобы я не остановился вдругъ передъ какимъ-нибудь подавляющимъ фактомъ и не пожертвовалъ ему разомъ всѣмъ тѣмъ, что уже годами труда сдѣлалъ для идеи". По пріѣздѣ въ Петербургъ „подавляющихъ фактовъ" явилось такъ много,

„остановки“ повторялись такъ часто и были такъ продолжительны, что „идея“ совершенно стушевалась. Одинъ разъ только, въ первые дни по пріѣздѣ, онъ попытался кое-что сдѣлать для ея осуществленія: сходилъ на аукціонъ, купилъ тамъ старенькій альбомъ за два рубля пять копеекъ и тутъ-же перепродалъ его какому-то господину, у котораго съ этимъ альбомомъ были связаны нѣжныя воспоминанія, за десять рублей; выгодная сдѣлка привела его въ неописанный восторгъ: нажить за одинъ разъ семь рублей девяносто пять копеекъ — это былъ дебютъ весьма удачный. Однако онъ не поощрилъ его на дальнѣйшіе подвиги. Напротивъ, несмотря на то, что обстоятельства сложились весьма благопріятно для осуществленія его „идеи,“ что ему представлялись случаи поживиться не какими-нибудь жалкими семью рублями, а цѣлыми тысячами, онъ ни разу не пожелалъ воспользоваться этими случаями, и не только ничего не предпринималъ для своего обогащенія, по всѣми силами самъ старался разорить себя. Чуть только завелись у него деньги, онъ, вмѣсто того, чтобы пускать ихъ въ выгодные коммерческіе обороты или „копить,“ сталъ ихъ проматывать, завелъ себѣ лихача, началъ франтить, таскаться по ресторанамъ и игорнымъ домамъ, проигрывалъ огромные куши въ рулетку (хотя рулетка и вообще азартныя игры совсѣмъ не входили въ его планы обогащенія) и вообще велъ себя, какъ самый легкомысленный и безпечный шалопай. Мечты объ аскетической жизни, о кускѣ черстваго хлѣба, объ обѣдахъ черезъ два дня (это для экономіи), о маленькомъ, грязномъ углѣ,—мечты, которыя недавно еще наполняли его душу восторгомъ, разлетѣлись въ прахъ при первомъ столкновеніи съ возможностью кутить у Бореля, кататься на рысакахъ, играть въ рулетку и т. п. А что же „идея“? „Идея“ потомъ, ждала; все, что было, было лишь „уклоненіемъ въ сторону;“ почему же не повеселиться? утѣшаетъ онъ себя. „Вотъ тѣмъ-то и скверна моя „идея“, сознается онъ далѣе, — что допускаетъ всѣ уклоненія“... Происходитъ-же это, по его мнѣнію, оттого, что „идея эта слишкомъ тверда и радп-

кальна“... Имѣя въ умѣ нѣчто неподвижное, всегдашнее, сильное, которымъ страшно занятъ, какъ бы удаляешься тѣмъ самымъ отъ всего міра въ пустыню, и все, что случается проходитъ лишь вскользь мимо главнаго... И кромѣ того, главное въ томъ, что имѣешь всегда отговорку: Э, у меня „идея“, а то все мелочи!“ Это объясненіе справедливо, конечно, только отчасти. Дѣйствительно, онъ, благодаря тому обстоятельству, что считалъ себя „человѣкомъ идеи,“ что онъ твердо вѣрилъ, будто всегда можетъ и, рано или поздно, но непремѣнно осуществитъ ее, будто она такъ „сильна и радикальна“, что ничто не вырветъ ее изъ его души, — благодаря этой иллюзіи, онъ все себѣ извинялъ и во всемъ себя оправдывалъ. „Почему, въ самомъ дѣлѣ, разсуждалъ онъ,—не повеселиться, почему не развлечься? Жизнь долга, а идея всегда останется при мнѣ, измѣнить ей я не могу, значитъ и безпокоиться не о чемъ, еще успѣю и для нея поработать“.

Къ несчастію, Подростокъ не понималъ, какъ этого не понимаютъ очень многіе изъ нашихъ идейныхъ людей, что его вѣра въ „силу и радикальность“ идеи была чистѣйшимъ заблужденіемъ. „Сильна и радикальна“ была она лишь до тѣхъ поръ, пока онъ исключительно жилъ одною лишь внутреннею жизнью. Но едва онъ столкнулся съ новыми, еще не знакомыми ему впечатлѣніями, едва обстоятельства вывели его изъ его „скорлупы“, какъ его идея мгновенно утратила всю свою жизненность, всю свою твердость.

Онъ, конечно, не могъ выбросить ее изъ своего сознанія: онъ къ ней слишкомъ привыкъ, притомъ-же она возвышала его въ его собственныхъ глазахъ, она льстила его самолюбію и утѣшала въ „трудныя минуты“ жизни. Но онъ болѣе не церемонился съ нею, онъ сталъ относиться къ ней, какъ къ старому, покладливому другу, запросто, фамильярно: „не велика ты птица, и подождать можешь. Вотъ справлюсь съ другими дѣлами, тогда на досугѣ и твоими займусь!“ Разумѣется, досуга этого никогда не оказывалось, а „другія дѣла“ — все осложнялись и запутыва-

лись... „Идея ждала, ждала... да такъ-таки и не дождалась, и, конечно, никогда ничего не дождется... Я говорилъ выше, что сходящее теперь со сцены поколѣніе забитыхъ интеллигентныхъ людей, не имѣя силъ вполнѣ примириться съ окружающею ихъ дѣйствительностію и неспособное удовлетвориться философіею Дѣвушкиныхъ, схватилось за „идею", какъ утопающій хватается за соломинку; оно видѣло въ ней единственный исходъ изъ своего положенія. Повидимому, идея должна бы была придать этимъ людямъ ту бодрость и силу, въ которыхъ у нихъ всегда чувствовался недостатокъ; вдохновенные и окрыленные ею, они, казалось, смѣло и мужественно пойдутъ на бой и пробьютъ себѣ дорогу къ свѣту и жизни. Были наивные оптимисты, которые возлагали на нихъ эти надежды; сами же они ни минуты не сомнѣвались, что ужъ „за свою-то идею они постоятъ!" Но что-же оказалось въ результатѣ? Надежды оптимистовъ оправдали лишь очень немногіе, большинство-же, подобно Подростку, все откладывало да откладывало служеніе идеѣ", откладывало до тѣхъ поръ, пока она превратилась изъ живой силы въ какой-то головной хламъ, въ нѣчто „яйца выѣденнаго нестоющее". Стальной мечъ, съ которымъ идейные люди готовились идти въ бой, оказался картоннымъ, желѣзный молотъ, которымъ они хотѣли горы разбивать — хрупкимъ и ни на что негоднымъ булыжникомъ. Я старался объяснить, почему это такъ случилось и необходимо должно было случиться. Но я могъ здѣсь указать только лишь на одну категорію причинъ, на причины, такъ сказать, чисто психологическія, обусловливаемыя характеристическими особенностями души „забитаго человѣка". Понятно, что кромѣ этихъ причинъ, тутъ дѣйствовало также и самое содержаніе идей и ихъ отношенія къ основнымъ потребностямъ, интересамъ и привычкамъ идейнаго человѣка.

Эти причины заслуживаютъ полнаго вниманія критики, и она имѣетъ (что самое главное) полную возможность разъяснять и анализировать ихъ. Я отчасти и пытался это сдѣлать по поводу лицъ, выведенныхъ въ романѣ г-жи

Алѣевой. *) Романъ же г. Достоевскаго не представляетъ для подобнаго анализа никакого годнаго матеріала.

Устами Николая Семеновича самъ авторъ признаетъ, что „идея“, вложенная имъ въ голову своего героя, „отличается оригинальностью“ и совсѣмъ не похожа на тѣ идеи, на которыя набрасываются большею частью молодые люди текущаго поколѣнія“. Оригинальность ея имѣетъ, однако, чисто условный характеръ: она оригинальна лишь по отношенію къ той извѣстной категоріи „идейныхъ людей“, одного изъ представителей которой авторъ хочетъ видѣть въ своемъ Подросткѣ. Но она совсѣмъ не оригинальна по отношенію къ той средѣ, изъ которой вышли эти люди. Среда эта, какъ я уже говорилъ, только и живетъ мыслію о наживѣ; къ „обогащенію“ къ „накопленію“ направлены всѣ ея самые завѣтные помыслы, всѣ ея стремленія, вся ея дѣятельность. Потому „идея“ Подростка вполнѣ гармонируетъ съ ея интересами, привычками и потребностями. Въ этомъ-то и заключается ея коренная фальшь, такъ какъ существенная особенность „идеи“ реальныхъ подростковъ въ томъ именно и состоитъ, что она находится, обыкновенно, въ рѣзкомъ противорѣчіи съ интересами и потребностями, унаслѣдованными ими отъ породившей ихъ среды. Авторъ проглядѣлъ этотъ фактъ. Отсюда созданный имъ герой, какъ онъ ни реаленъ въ нѣкоторыхъ частностяхъ, въ общемъ является личностью совершенно фантастическою и въ дѣйствительной жизни если и возможною, то развѣ только какъ рѣдкое исключеніе.

Такимъ образомъ, и послѣдній романъ г. Достоевскаго (какъ и нѣкоторые изъ предыдущихъ, въ особенности „Бѣсы“), несмотря на мастерской анализъ характеристическихъ особенностей души „забитаго идейнаго человѣка“, далеко не удовлетворяетъ той жизненной правдѣ, на которую реальная критика смотритъ, какъ на одинъ изъ главныхъ критеріевъ, опредѣляющихъ общественное значеніе всякаго

*) Смотри также статью „Беллетристы-метафизики и беллетристы-эмпирики“, главы, посвященныя повѣстямъ г-жи Смирновой.

художественнаго произведенія, и которая одинаково обязательна какъ для первосортнаго художника, такъ и для скромнаго беллетриста-ремесленника.

* * *

*) Г. Достоевскій въ своемъ романѣ или длинной повѣсти „Подростокъ" указываетъ на одну изъ печальныхъ сторонъ современнаго общества: на массу задумывающихся и рано озлобленныхъ дѣтей. Можно приписывать это явленіе той или другой причинѣ, можно не соглашаться на счетъ средствъ, которыми оно должно быть устранено, но не признать его невозможно. Пистолетные выстрѣлы, которыми въ разныхъ мѣстахъ нашей великой и малой, и бѣлой Россіи, и принадлежащихъ ей областяхъ разсчитываются съ опостылѣвшей имъ жизнью подростки, почти дѣти, страшное свидѣтельство ненависти къ жизни, которая можетъ жить только въ рано озлобленныхъ душахъ.

Г. Достоевскій, въ героѣ своей повѣсти, даетъ глубоко вѣрный психическій анализъ душевной жизни рано озлобленнаго подростка. Хотя положеніе героя его исключительно, но въ немъ есть и многія общія стороны, уясняющія и общественное печальное явленіе. Подростокъ его, незаконный сынъ барина Версилова, идеалиста сороковыхъ годовъ, создавшаго свою, но далеко не оригинальную теорію мистическаго возрожденія Россіи. Идеализмъ не мѣшалъ герою дѣлать весьма некрасивые вещи, и въ томъ числѣ преданную ему и боготворившую его женщину обратить въ игрушку прихоти, разлучить ее съ сыномъ и отдать мальчика въ дряннѣйшій пансіонъ къ какому-то французу спекулятору и лакею въ душѣ. Когда въ пансіонѣ узнаютъ о происхожденіи ребенка, и промотавшійся отецъ перестаетъ платить за него, то мальчику приходится выносить всю горечь униженія, обидъ и грубыхъ оскорбленій. Изъ него дѣлаютъ лакея, и онъ находитъ какую-то злобную радость

*) „Дѣтскій Садъ" 1876 г., № 9.

унижаться еще болѣе. Самъ онъ еще до этого униженія былъ лакеемъ въ душѣ. Онъ постыдился своей матери передъ генеральскими и княжескими дѣтьми. Она пріѣхала за сотни верстъ повидаться съ нимъ, а у него не нашлось для нея ни одного любящаго слова ни одного взгляда. Въ немъ было одно желаніе развязаться поскорѣе съ простою женщиною, которая конфузила его, вызывая дерзости и насмѣшки великосвѣтскихъ товарищей. Предразсудки барства оказываются второю причиною порчи юноши—первою было отсутствіе любви. Потребность ея сказывалась въ немъ и приливомъ обожанія къ отцу, котораго онъ видѣлъ когда ему минуло восемь лѣтъ, блестящимъ красавцемъ, талантливымъ любителемъ-актеромъ, вызывавшимъ восторгъ слушателей,—и горькими слезами. когда онъ по ночамъ призывалъ свою мать.

Въ даровитыхъ и сильныхъ дѣтскихъ и юношескихъ натурахъ задавленная любовь высказывается мистицизмомъ, мечтами облагодѣтельствовать весь міръ, осушить всѣ слезы; а ранняя озлобленность въ дѣтствѣ дикими вспышками, и также, когда проснется мысль, мечтами о ломкѣ для пересозданія всего общества. Но подростокъ былъ натурой очень дюжинной, онъ былъ, какъ самъ отзывался о себѣ: ординарная посредственность,—и онъ составилъ себѣ особый планъ, создалъ свою идею, которая спасла его отъ разныхъ увлеченій. Хотя подростокъ годами лелѣялъ эту идею и звалъ ее своей, но она была вовсе не его идеей, т. е. не оригинальнымъ созданіемъ его міра, а просто отравой міазмами, носившимися въ воздухѣ и которые онъ вдохнулъ въ себя. Подростокъ затѣялъ стать Ротшильдомъ и это процессомъ копленія денегъ, и Ротшильдомъ, не ради наслажденій, которыя покупаются золотомъ, а ради сознанія той силы, которую дастъ оно. Онъ будетъ жить какъ бѣднякъ, ходить оборванцемъ и, встрѣчая презрительные взгляды толпы, думать: „Если бы вы знали какъ я богатъ, вы всѣ бы поклонились мнѣ; я бы могъ васъ всѣхъ купить.“ Въ нашъ вѣкъ, когда поклоненіе золотому тельцу достигло такихъ возмутительныхъ размѣровъ, не удиви-

тельно, что подростку, вынесшему униженіе, пришла „идея“ захватить въ свои руки ту силу, передъ которою ползаютъ общества. Но какъ безхарактерный подростокъ, онъ не выдерживаетъ до конца искуса, котораго требовала отъ него идея. Онъ могъ выносить страшныя лишенія ради этой „идеи“, пока не увидѣлъ соблазновъ столицы; но разъ увидѣлъ ихъ, онъ окунулся въ омутъ всевозможныхъ увеселеній, доставляемыхъ сѣверной Пальмирой, и идея была забыта. Это главныя психическія струны подростка. Входить въ разборъ запутанной интриги, гдѣ всѣ лица дѣйствуютъ какъ безумные, полоумные или сумасшедшіе, было бы излишне для цѣли настоящей замѣтки.

Подростокъ терзается среди этихъ интригъ, терзается всего болѣе оттого, что не видитъ въ окружающихъ его лицахъ того душевнаго благообразія, на сколько могутъ догадаться, по запутанному и горячешному изложенію повѣсти, люди, знающіе кровную потребность подростковъ, выросшихъ въ озлобленіи и рано задумывавшихся надъ своей жизнью—это потребность идеала, потребность руководящей нити въ жизни,—вотъ чего ищутъ и слабые безхарактерные подростки, ихъ же имя—легіонъ, вотъ чего ищутъ и другія болѣе энергическія и сильныя натуры, выросшія въ условіяхъ, которыя, хотя и иныя по формѣ, но въ сущности были тѣми же самыми, какъ и условія, выработавшія „Подростка“ г. Достоевскаго.

Подростку нужно видѣть людей, которые всю жизнь свою проявляли бы „душевное благообразіе“, т. е. правду, честность, человѣчность. Онъ находитъ такое благообразіе только у Макара Иваныча,—типа русскаго странника и богомола изъ дворовыхъ, грамотныхъ и понатершихся между барами въ томъ смыслѣ, что интересуются политикой и многими вещами, вообще чуждыми другимъ странникамъ изъ народа. У Макара Ивановича не было разлада между словомъ и дѣломъ. Онъ всю жизнь положилъ на то, что считалъ своей правдой. Версиловъ, отецъ героя, предметъ его обожанія, всю жизнь говорилъ только красивыя слова *о Россіи*, человѣчествѣ и пр., да занимался ролью „бабь-

яго пророка“, и продѣлывалъ всю жизнь разныя несообразности, и красивыя и некрасивыя. Версиловъ былъ еще изъ лучшихъ. Ахмакова, которую подростокъ въ концѣ концовъ ставитъ на пьедесталъ, пустая мечтательница. Она „одного безумія человѣкъ“ съ Версиловымъ: а это безуміе— жажда общаго счастія, но жажда до того платоническая, что для нея не ударятъ палецъ о палецъ, не дѣлаютъ того, чтобы дать счастье хоть десятку людей, не смотря на то, что у Ахмаковой состояніе, и что Версиловъ промоталъ ихъ цѣлыхъ три.

Подростокъ въ концѣ примиряется съ окружавшими его людьми и раскаивается въ томъ, что упрекалъ ихъ за неимѣніе душевнаго благообразія людей, искренно любившихъ его, видитъ несостоятельность своей „идеи“ и выказываетъ благое желаніе учиться и, только научившись, уже выдумывать свои идеи...

Здравомыслъ повѣсти въ письмѣ, излагающемъ мораль ея, говоритъ, что гибель другихъ и всѣ шатанія „Подростка“ произошли оттого, что расшатались всѣ преданія семьи. Но юный князь Сокольскій наслѣдовалъ всѣ семейныя преданія, и не только семейныя, но и родовыя, и они не спасли его отъ самыхъ грязныхъ поступковъ. Идеи другого рода оказываются также безсильны. Версилова всѣ его идеи о мистической роли Россіи не спасли отъ мыканья за разными сильными ощущеніями, мыканья, которое превратило его въ изломаннаго и выжившаго изъ ума старика въ тѣ годы, когда общество вправѣ требовать сознательнаго и зрѣлаго труда отъ человѣка. Мистическая любовь къ Россіи и прозрѣніе будущаго ея мистическаго величія не дала силъ для жизни, такъ видно изъ хода повѣсти, хотя авторъ держится иного взгляда на своего героя. Отрицательное чувство прямо ведетъ къ гибели. Авторъ показываетъ то на Крафтѣ. Крафтъ, по френологическимъ и физіологическимъ даннымъ пришелъ къ выводу, что русскіе—низшая раса, и что они обречены идти позади Европы; Крафтъ не могъ вынести этого убѣжденія, нашелъ, что не для чего жить, когда происхожденіе роковымъ обра-

зомъ обрекаетъ его на низшую роль, и пустилъ себѣ пулю въ лобъ.

Въ повѣсти г. Достоевскаго есть еще два разряда подростковъ, которые отстоятъ другъ отъ друга такъ далеко, какъ антиподы. Одни: Тришатовъ и К-я шантажистовъ, но о нихъ и говорить нечего. Это ядовитые паразиты общества, но и въ одномъ изъ нихъ живетъ сожалѣніе о прошлой чистой жизни, хотя чистота эта была чистотой узенькаго мѣщанства. Другой разрядъ гибнущей молодежи — гибнетъ только внѣшней гибелью. Нравственныя силы ея цѣлы. Мы говоримъ только объ этомъ вопросѣ съ психической стороны и не вдаемся въ разборъ ни стремленій ни увлеченій ихъ, которыя составляютъ область публицистическаго журнала, а не педагогическаго. Съ педагогической точки зрѣнія мы можемъ замѣтить автору ложные выводы, которые онъ дѣлаетъ по поводу гибнущей молодежи, напримѣръ Крафта. Крафта погубила не идея отрицанія, а погубилъ индивидуализмъ, доведенный до болѣзненной крайности. Убѣдившись по френологіи и физіологіи, что русскіе низшая раса, другой юноша положилъ бы всѣ силы на работу, чтобы поднять эту расу, несмотря на убѣжденіе, что ему не видѣть результата своей работы. Исторія показала бы ему примѣръ низшихъ расъ, ставшихъ высшими и передовыми, и высшихъ расъ, выродившихся въ наше время. Тутъ дѣло было-бы въ томъ: *я* не могу жить въ той средѣ, въ какой *я* хотѣлъ бы жить, быть членомъ той расы, которая была бы достойна *меня*, и потому я не хочу вовсе жить. А долгъ работы на пользу общую — этого долга чужды люди, которые ставятъ свое „я" центромъ тяготѣнія всей жизни. И некому, научить молодежь, несмотря на легіоны желающихъ поучать ее. Право ученія покупается вліяніемъ, а гдѣ люди, имѣющіе вліяніе? Подростки видятъ изрѣдка Версиловыхъ и постоянно Здравомысловъ, въ родѣ автора поучительнаго письма, содержащаго мораль повѣсти; умѣренныхъ и аккуратныхъ Молчалиныхъ, хотя они и опрятнѣе Грибоѣдовскаго героя, также держатся благоразумной пословицы. „моя хата

съ краю“. Чтобы имѣть вліяніе на молодежь, нужно имѣть самому руководящую нить жизни, нужно душевное благообразіе, которое эту руководящую нить видитъ въ идеѣ правды, долга человѣчности и не допускаетъ разлада между словомъ и дѣломъ. У г. Достоевскаго этимъ душевнымъ благообразіемъ надѣленъ одинъ Макаръ Ивановичъ изъ героевъ, а изъ героинь Софья и дочь ея. Руководящая нить жизни героинь—чисто женская любовь, вся жизнь ихъ отдана любимому человѣку—душевное благообразіе очень дешеваго сорта. Душевное благообразіе Макара Ивановича постановило цѣль не отъ міра сего, но и въ этой цѣли видна болѣе широкая натура. Макару Ивановичу нужно спасеніе всей братіи. Макаръ Ивановичъ изболѣлъ душой о горѣ и неправдѣ міра и ищетъ спасенія тамъ, гдѣ онъ по уровню своего образованія могъ искать его. Для спасенія подростковъ нужны люди такіе-же цѣльные, какъ и Макаръ Ивановичъ, но которые показали-бы имъ примѣръ душевнаго благообразія отъ міра сего.

* * *

*) Хотя „Подростокъ“ и говоритъ, что „идея“ поглотила всю его жизнь, но это невѣрно. Онъ забываетъ объ ней, желая проникнуть таинственность, окружающую поступки и характеръ его настоящаго отца, Версилова, котораго разгадать ему почему-то необходимо нужно. Этого мало: онъ впутывается въ интригу и даже почти затѣваетъ ее, нося въ своемъ карманѣ документъ, способный сильно повредить женщинѣ, играющей роль въ таинственной исторіи Версилова. Онъ умышляетъ что-то сложное и удивительное почти въ той же мѣрѣ, какъ и его „идея“, и держитъ себя со всею многозначительностію опытнаго интригана. Но несмотря на все это, „подростокъ“ не совсѣмъ еще изломанъ, въ немъ замѣтны искреннія, добрыя, юношескія движенія. Такова исторія съ Аринavailableочкой... Кромѣ подоб-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1875 г. № 32.

ныхъ сердечныхъ движеній „подростка", въ немъ замѣчается еще молодая горячность сужденій, весьма характеристичная и милая, при освѣщеніи которой нашъ почтенный авторъ воспользовался своимъ даромъ юмора, которымъ всегда пересыпаны, какъ цвѣтами, его мрачныя произведенія. Юморъ г. Достоевскаго, по силѣ и оригинальности, въ большинствѣ случаевъ напоминаетъ юморъ Диккенса. Разговоры „подростка" съ старымъ княземъ Сокольскимъ, у котораго онъ служитъ чѣмъ-то въ родѣ домашняго секретаря или компаньона, отъ перваго до послѣдняго чрезвычайно оригинальны. Возьмемъ для примѣра сужденія юнаго кандидата въ Ротшильды объ женщинахъ: „Я не люблю женщинъ за то, что онѣ грубы, за то, что онѣ неловки, за то, что онѣ не самостоятельны и за то, что носятъ неприличный костюмъ!.. Грубы. Подите въ театръ, подите на гулянье. Всякій изъ мужчинъ знаетъ правую сторону, сойдутся и разойдутся, онъ вправо и я вправо. Женщина, т. е. дама— я объ дамахъ говорю— такъ и претъ на васъ прямо, даже не замѣчая васъ, точно вы ужъ такъ непремѣнно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готовъ уступить, какъ созданію слабѣйшему, но почему тутъ право, почему она такъ увѣрена, что я это обязанъ, вотъ что оскорбительно! Я всегда плевался, встрѣчаясь. И послѣ того кричатъ, что онѣ принижены и требуютъ равенства; какое тутъ равенство, когда она меня топчетъ или пихаетъ мнѣ въ ротъ песку!"

— Песку! (это восклицаніе изумленнаго стараго князя).

Да; потому что онѣ неприлично одѣты; это только развратный не замѣтитъ. Въ судахъ запираютъ же двери, когда дѣло идетъ о неприличностяхъ; зачѣмъ же позволяютъ на улицахъ, гдѣ еще больше людей? Онѣ сзади себѣ открыто фру-фру подкладываютъ, чтобъ показать, что бельфамъ; открыто! Я вѣдь не могу не замѣтить, и юноша тоже замѣтитъ, и ребенокъ, начинающій мальчикъ, тоже замѣтитъ; это подло. Пусть любуются старые развратники и бѣгутъ, высуня языкъ. но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идетъ по бульвару,

а сзади пуститъ шлейфъ въ полтора аршина и пыль мететъ; каково идти сзади: или бѣги обгоняй, или отскакивай въ сторону, не то и въ носъ и въ ротъ она вамъ пять фунтовъ песку напихаетъ. Къ тому же, это шелкъ, она его трепletъ по камню три версты, изъ одной только моды, а мужъ пятьсотъ рублей въ сенатѣ въ годъ получаетъ: вотъ гдѣ взятки-то сидятъ. Я всегда плевался, вслухъ плевался и бранился“...

Вотъ какимъ грознымъ и опаснымъ противникомъ дамъ выступаетъ „подростокъ“; но послѣ своей рѣчи онъ самъ попадается въ просакъ. Старикъ князь дѣлаетъ замѣчаніе, которое очень нравится юношѣ. „Совершенно вѣрно, великолѣпно! вскричалъ я въ восхищеніи. Въ другое время мы бы тотчасъ-же пустились въ философскія размышленія на эту тему, на цѣлый часъ; но вдругъ меня какъ-бы что-то укусило, и я весь покраснѣлъ. Мнѣ представилось, что я, похвалами его бонмо, подлещаюсь къ нему передъ деньгами („подростокъ“ долженъ былъ получить свое первое жалованье), и что онъ непремѣнно это подумаетъ, когда я начну просить. Я нарочно теперь упоминаю объ этомъ. — Князь, я васъ покорнѣйше прошу выдать мнѣ сейчасъ же должныя мнѣ вами деньги, пятьдесятъ рублей, за этотъ мѣсяцъ, выпалилъ я залпомъ и раздражительно до грубости“...

Намъ кажется, что эта маленькая сценка и дальнѣйшее ея продолженіе прекрасны по тонкости и вѣрности психическаго анализа. Такихъ сценокъ не одна, не двѣ — ихъ много, и рядомъ съ ними окончательно блѣднѣютъ недостатки романа, заключающіеся, главнымъ образомъ, въ томъ, что авторъ набираетъ массу дѣйствующихъ лицъ, какъ-то ихъ скучиваетъ и въ одинъ какой-нибудь день выставляетъ столько событій, что очень легко въ нихъ запутаться. Это старый его недостатокъ, положимъ, и неособенно важный, но который тѣмъ не менѣе способствуетъ неясности впечатлѣнія, оставляемаго цѣлымъ произведеніемъ.

*) Талантъ г. Достоевскаго общепризнанъ, и особенности его давно всѣмъ извѣстны и достаточно объяснены критикой: поэтому заводя рѣчь о его послѣднемъ произведеніи, мы не имѣемъ въ виду вновь характеризовать это оригинальное дарованіе, создавшее въ нашей литературѣ какъ бы особую спеціальность. Къ сожалѣнію, въ той-же мѣрѣ всѣмъ извѣстно, что романы г. Достоевскаго, всегда прекрасно задуманы, очень неравны въ исполненіи. Дарованіе его какъ бы не хочетъ знать никакой послѣдовательности въ своемъ развитіи, и о немъ никакъ нельзя сказать, чтобы оно правильно и постоянно шло впередъ. Тотчасъ послѣ произведенія чрезвычайно сильнаго и талантливаго, г. Достоевскій можетъ дать произведеніе сравнительно очень слабое. *Подростокъ*, по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ менѣе удавшимся его романамъ. Задуманъ онъ, какъ это всегда бываетъ у г. Достоевскаго, очень хорошо. Авторъ хотѣлъ, повидимому, показать намъ происхожденіе и развитіе зла въ человѣческой природѣ, захваченнаго почти изъ самаго зародыша — того особеннаго, страннаго, больного зла, которое граничитъ съ мечтами о высшей нравственности и съ грязью самаго отвратительнаго порока. Авторъ, какъ кажется, хотѣлъ вновь и съ особенною глубиною анализировать искаженную, больную жизнь, которая судорожно трепещетъ въ его предыдущемъ романѣ — *Бѣсахъ*, и въ изученіи которой онъ показалъ столько проницательности и тонкаго, почти осязающаго пониманія самыхъ извращенныхъ движеній человѣческой природы. Но, можетъ быть, въ самой задачѣ этой уже лежала причина не совсѣмъ удачнаго ея исполненія, именно въ томъ обстоятельствѣ, что эта задача является какъ бы дальнѣйшимъ развитіемъ темы, разработанной въ предыдущемъ произведеніи. Художники рѣдко съ полнымъ успѣхомъ возвращаются къ мотивамъ, однажды уже исчерпаннымъ; для силы и свѣжести вдохновенія необходимо, чтобы художественная идея впервые овладѣла мыслью и воображеніемъ. Образы рису-

---

*) А. Авсѣенко. „Русскій Вѣстникъ“ 1876 г., № 1. (Литературное Обозрѣніе).

ются крупно и осязательно только тогда, когда они впервые являются художнику; какъ только онъ исчерпался надъ ними, творческая сила уже не возвращается къ нимъ съ прежнимъ напряженіемъ и подъемомъ. Между тѣмъ *Подростокъ*, очевидно, вышелъ изъ того-же самаго настроенія, въ которомъ писались *Бѣсы*. Среда, изображаемая въ обоихъ романахъ, почти одна и та-же: это то самое подполье русской интеллигенціи, которое мы старались охарактеризовать въ нашей статьѣ о *Бѣсахъ*. Наблюдается она въ *Подросткѣ* опять почти съ той-же самой стороны, какъ и въ предыдущемъ романѣ, — со стороны разъѣдающаго нравственнаго зла, со стороны искривленныхъ, болѣзненныхъ путей, какими въ этой средѣ тайно проростаетъ мысль, стремящаяся къ освобожденію. Но, очевидно, высота настроенія въ обоихъ романахъ не одна и та-же. Вся эта фантасмагорія, съ силою отразившаяся, когда впервые овладѣла воображеніемъ автора, при вторичномъ воплощеніи своемъ напоминаетъ только игру рефлексовъ. Въ *Бѣсахъ* мы находимъ крупные, яркіе образы, между которыми фигура Степана Трофимовича навсегда останется въ числѣ самыхъ оригинальныхъ и художественныхъ типовъ, созданныхъ русскою литературою. Въ *Подросткѣ* типъ Версилова, представляющій, собственно говоря, только собирательное отраженіе прежнихъ героевъ г. Достоевскаго и понемногу напоминающій каждаго изъ нихъ, рисуется довольно неясно, безъ тѣхъ индивидуальныхъ чертъ, которыя превращаютъ сложившійся въ мысли и въ воображеніи образъ—въ живое лицо. Даже его нравственная личность, его міросозерцаніе, что у г. Достоевскаго всегда выходитъ особенно глубоко и тонко, на этотъ разъ неясно и расплывчато.

Заговоривъ о послѣднемъ романѣ г. Достоевскаго, нельзя не сдѣлать еще одного замѣчанія. Его тема—нравственная болѣзнь, овладѣвающая человѣкомъ и повергающая его въ глубину порока и разврата. Но эта тема весьма опасная и скользкая. Изображеніе нечистыхъ явленій психической и соціальной жизни едва ли можетъ быть предметомъ романа внѣ извѣстныхъ границъ, полагаемыхъ установивши-

мися требованіями приличія и вкуса. Романъ—не спеціальная книга, предназначенная для извѣстнаго, ограниченнаго круга читателей. Все грамотное общество составляетъ публику романиста. Поэтому мы думаемъ, что изображая грязь и ужасъ нравственнаго паденія, романистъ не долженъ переступать черты, за которой кончается художественное впечатлѣніе и начинается неопрятное анатомированіе зараженнаго организма. Г. Достоевскій въ послѣднемъ романѣ часто переходитъ за такую черту. Въ *Подросткѣ* есть подробности, возмущающія образованное чувство, есть грязность, по нашему мнѣнію, рѣшительно непозволительная въ литературномъ произведеніи. О нихъ приходится тѣмъ болѣе пожалѣть, что они вовсе не вызваны требованіями такъ-называемаго реализма; напротивъ, факты и сцены, наиболѣе непривычные въ этомъ романѣ, наименѣе близки къ дѣйствительной жизни, наименѣе реальны. Для примѣра укажемъ хотя бы на эпизодъ о бѣдной дѣвушкѣ, объявившей въ газетахъ, что ищетъ уроковъ (въ первой части романа): приключенія, какія пришлось испытать этой дѣвушкѣ, рѣшительно невозможны въ дѣйствительной жизни и совершенно *ненужны* въ романѣ.

Позволяя себѣ всѣ подобныя замѣчанія, мы не желали бы однако привести читателя къ заключенію, что романъ *Подростокъ* не заслуживаетъ его вниманія. Мы, напротивъ, думаемъ, что талантливый писатель не можетъ произвесть что-либо окончательно неудавшееся, что дарованіе въ чемъ-нибудь непремѣнно скажется, и что самыя ошибки его въ высшей степени любопытны и поучительны. *Подростокъ* во всякомъ случаѣ неизмѣримо выше и интереснѣе произведеній той литературной кухмистерской, въ которой изготовляется обычная беллетристика *Отечественныхъ записокъ*. Авторъ въ этомъ романѣ находится въ своей сферѣ; онъ имѣетъ дѣло съ тою именно жизнью, которую особенно хорошо умѣетъ изображать. Поэтому въ романѣ есть прекрасныя страницы, отчасти выкупающія неудовлетворительность цѣлаго, есть вѣяніе серіозной мысли, подымающее

[redacted]

произведеніе гораздо выше заурядныхъ продуктовъ беллетристическаго ремесла.

* * *

*) Новое произведеніе одного изъ крупнѣйшихъ талантливыхъ писателей нашего времени—печатавшееся въ истекшемъ году въ „Отечественныхъ запискахъ“ — какъ всѣ произведенія генія О. М. Достоевскаго, прежде всего, оригинально. Въ этой оригинальности, въ этой неожиданности, съ первой минуты завязки, продолжающейся до послѣдняго момента развязки,—одна изъ главныхъ прелестей таланта Достоевскаго, какъ романиста, одна изъ главныхъ интересныхъ сторонъ каждаго изъ его произведеній. Этому завѣту оригинальности и неожиданности г. Достоевскій не измѣнилъ въ своемъ новомъ романѣ. Вдругъ сѣлъ онъ за столъ, взялъ перо въ руки и изъ-подъ этого пера сталъ выростать изъ среды современнаго, самаго что ни на есть нынѣшняго общества петербургскаго и московскаго „Подростокъ“.

Что это за подростокъ? Онъ незаконный сынъ какой-то дворовой дѣвушки и какого-то помѣщика Версилова, брошенный въ самую глубь бушующаго житейскаго моря въ обѣихъ столицахъ. Подростокъ этотъ пишетъ свои „Записки“, то-есть свою автобіографію. Интересъ романа поддерживается все время двумя сторонами: во-первыхъ, психическимъ міромъ самого „Подростка“, въ томъ безконечномъ разнообразіи идей и впечатлѣній съ ихъ оттѣнками, на которое г. Достоевскій такой мастеръ; и во-вторыхъ, рядомъ приключеній и типовъ, сталкивающихся съ героемъ автобіографіи и ярко освѣщающихъ и личность этого героя и картины современнаго умственнаго состоянія того общества, которое принято называть интеллигенціей. Нельзя сказать, чтобы всѣ эти типы и картины были привлекательны своимъ содержаніемъ, но ни на одну минуту не забываешь, читая этотъ романъ, что во всемъ этомъ клокочетъ и кипитъ жизнь, носятся какъ по землѣ въ первый

*) „Гражданинъ“ 1876 г., № 4.

день творенія, элементы чего-то цѣльнаго и живого, — идеи, способныя оплодотворяться. Прочитавъ этотъ романъ, вы не раздавливаетесь имъ, вы не бросаетесь головою въ подушку, чтобы ничего не хотѣть и все позабыть. Вы поставлены въ неизбѣжную необходимость думать, думать и думать.

* * *

Старикъ Сокольскій страдаетъ одною и тою же формой душевной болѣзни, что и князь К. въ „Дядюшкиномъ снѣ". т.-е. *старческимъ слабоуміемъ*. Г. Чижъ производитъ анализъ болѣзненныхъ симптомовъ обоихъ этихъ лицъ вмѣстѣ.

*) „За исключеніемъ немногихъ любимцевъ судьбы, говоритъ онъ, обыкновенно люди со старческимъ мозгомъ становятся болѣе осторожны въ своихъ сужденіяхъ и намѣреніяхъ; способность умственнаго усвоенія уменьшается, воображеніе не имѣетъ прежней пылкости и живости, мышленіе происходитъ медленнѣе, память слабѣетъ, кругъ идей дѣлается болѣе ограниченнымъ, воля не столь твердою. По мѣткому выраженію Legrand-du-Saulle старикъ laudator temporis acti; онъ живетъ преимущественно своимъ прошлымъ, консервативенъ, ничему новому не довѣряетъ. Но если старческое измѣненіе характера и развивается постепенно, то все-таки это не исключаетъ возможности въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣлить: когда это измѣненіе достигло степени старческаго слабоумія. Самымъ рѣзкимъ симптомомъ, извѣстнымъ даже вообще образованнымъ людямъ, старческаго слабоумія будетъ ослабленіе памяти настоящаго, при чемъ память о событіяхъ прежней жизни еще сравнительно сохранена. Напримѣръ, Сокольскій, вообще хорошо помнящій свою прежнюю жизнь, долго не узнаетъ Версилова, котораго не видалъ лишь нѣсколько дней, забываетъ о данномъ имъ дочери обѣщаніи не принимать его, такъ же какъ и причины этого обѣщанія, и снова вступаетъ съ нимъ въ дружескую бесѣду. Князь. К., еще

*) „Достоевскій, какъ психопатологъ". „Русскій Вѣстникъ" 1884 г., №№ 5 и 6. и отдѣльное изданіе. М. 1885 г.

[redacted]

кое-что разсказывающій о томъ, что съ нимъ было нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, не помнитъ, въ чьемъ онъ домѣ въ данное время, гдѣ онъ только что былъ и что онъ только что обѣщалъ. Очевидно, что измѣненный старческій мозгъ не въ состояніи съ должною ясностью воспринимать и воспроизводить представленія: образы же прошлаго, воспринятые еще здоровымъ мозгомъ, остаются. Вотъ это-то обыкновенно и ставитъ въ тупикъ профановъ, особенно если имъ приходится имѣть дѣло съ лицами выдающагося ума, пораженными старческимъ слабоуміемъ; такіе больные живо передаютъ прошлое и удивляютъ слушателей глубиной своихъ сужденій, поскольку они повторяютъ на память свои прежнія мысли. Напримѣръ, страдающій старческимъ слабоуміемъ дипломатъ можетъ съ полною подробностью передать всѣ обстоятельства Вѣнскаго конгресса, дать блистательную характеристику дѣятелей того времени и положенія Европы, но о современныхъ событіяхъ и лицахъ онъ способенъ сказать только вздоръ и не помнитъ, въ какомъ теперь онъ домѣ. Вообще стоитъ заставить такихъ больныхъ говорить о недавно прошедшемъ, высказать сужденіе о настоящемъ,—тотчасъ за недостаткомъ памяти способности создавать правильныя сужденія и за не имѣніемъ въ запасѣ уже готовыхъ сужденій по данному обстоятельству, станетъ яснымъ слабоуміе этого лица, такъ какъ рядомъ съ живымъ разсказомъ и вѣрными сужденіями о прошедшемъ, мы получимъ безсвязные отрывки и безсмысленныя сужденія; словомъ, сдѣлается очевиднымъ, что человѣкъ сталъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде“.

Это особенно хорошо изображено Достоевскимъ: Сокольскій высказываетъ мѣткія, во всякомъ случаѣ не банальныя мнѣнія, и въ то же время не способенъ обсудить самыхъ простыхъ обстоятельствъ, случившихся въ его семьѣ за послѣднее время.

Такіе больные путаютъ обыкновенно настоящее съ прошедшимъ, и въ разговорѣ легко уклоняются въ сторону, совершенно забывая, какъ первоначальную тему разговора, такъ и то, съ кѣмъ они говорятъ; они всецѣло поглоща-

ются еще живыми сравнительно образами прошлаго, и блѣдная для нихъ дѣйствительность перестаетъ существовать. Естественно, что незнакомымъ со всею прежнею жизнью субъекта бесѣда ихъ становится непонятною; такъ часто бывало между Сокольскимъ и Версиловымъ.

Рядомъ съ этимъ, конечно, больные легко утомляются умственною работой, вслѣдствіе чего они только на сравнительно короткое время способны къ умственному напряженію. Сокольскій, по мѣткому выраженію Версилова, размякалъ; онъ начиналъ говорить безсмысленный вздоръ, лицо теряло осмысленное выраженіе, вся фигура казалась опущенною, разслабленною. Дѣйствительно, такъ какъ психическое напряженіе обусловливаетъ выраженіе лица и всего тѣла, то вмѣстѣ со временнымъ прекращеніемъ или, по крайней мѣрѣ, ослабленіемъ этого напряженія теряется и выраженіе, какъ это мы постоянно наблюдаемъ у находящихся въ глубокомъ снѣ и опьянѣніи. Эти быстро и часто появляющіяся ослабленія умственной дѣятельности нерѣдко наблюдаются у лицъ, страдающихъ старческимъ слабоуміемъ.

Наконецъ, при старческомъ слабоуміи иногда замѣчаются бредовыя идеи преслѣдованія, что не пропущено Достоевскимъ при изложеніи этого страданія. Сокольскій ко всѣмъ относится недовѣрчиво, всюду видитъ заговоръ противъ себя; по его наблюденію, у всѣхъ какіе-то подозрительные глаза. Князю также кажется, что его дворовые люди враждебно противъ него настроены, что кучеръ покушался на его жизнь. Но естественно, что, подобно всѣмъ идеямъ, и эти мысли о преслѣдованіи только на короткое время удерживаются сознаніемъ и, не входя въ связь съ другими представленіями, не достигаютъ надлежащаго развитія. Насколько впечатлѣнія слабо воспринимаются такими больными, Достоевскій прекрасно объяснилъ примѣромъ князя, который никакъ не могъ оріентироваться, во снѣ или наяву онъ сдѣлалъ предложеніе выйти за него замужъ; у нихъ иногда даже развиваются идеи бреда, почерпнутыя *изъ сновидѣній*, такъ какъ они уже не въ силахъ *различать* дѣйствительность отъ сновидѣній. Въ данномъ слу-

чаѣ мы видимъ также хорошій примѣръ того, какъ искусно фактъ изъ области патологіи эксплуатированъ ради цѣлей романиста.

При этой болѣзни настроеніе обыкновенно становится крайне измѣнчивымъ; ребяческая веселость и смѣхъ у Сокольскаго вдругъ, безо всякой внѣшней причины, переходятъ въ глубоко угнетенное настроеніе, при чемъ появляется и безсонница, почти неизбѣжный спутникъ старческаго слабоумія.

Наконецъ, какъ непремѣнный симптомъ болѣзни, появляется тупость чувства, и конечно прежде всего нравственнаго: у Сокольскаго видно полное безучастіе какъ ко всѣмъ общественнымъ интересамъ, такъ и къ положенію собственной семьи; у князя К., находящагося въ болѣе глубокомъ періодѣ болѣзни, эта тупость чувства достигла уже такой сильной степени, что онъ не тяготится своимъ положеніемъ лишеннаго свободы и возможности жить такъ, какъ онъ привыкъ и любилъ. Остается уже немного стимуловъ, способныхъ возбуждать погасшія чувства; только половое чувство легко возбудимо, что вмѣстѣ съ притупленіемъ нравственныхъ чувствованій и исчезновеніемъ контролирующихъ и задерживающихъ представленій ведетъ къ рѣзкому проявленію эротическаго настроенія. Благовоспитанный Сокольскій съ Версиловымъ, мало знакомымъ ему, и по лѣтамъ и по общественному положенію, весьма отъ него далекимъ, постоянно ведетъ циническій разговоръ о женщинахъ; окружаетъ себя молоденькими дѣвушками-воспитанницами и, наконецъ, дѣлаетъ предложеніе дѣвушкѣ, годящейся ему во внучки. Князь приходитъ въ совершенный восторгъ при взглядѣ на двухъ декольтированныхъ танцующихъ дѣвочекъ-подростковъ и сравнительно долго находится подъ вліяніемъ этого впечатлѣнія; также дѣлаетъ предложеніе, и счастливъ, считая себя женихомъ. Судебная психіатрія богата случаями самаго грубаго оскорбленія нравственности такими больными: жертвами этихъ преступленій чаще всего бываютъ дѣти. Не менѣе того извѣстна страсть ихъ жениться, и нерѣдко, такъ какъ они, благодаря совершенному незнакомству публики со психіатріей,

считаются здоровыми, совершаются браки, влекущіе за собою и болѣе скорую смерть, и разореніе семьи, потому что только развратныя женщины съ корыстною цѣлью, какъ это и выставлено Достоевскимъ, могутъ дѣлаться женами этихъ больныхъ. Если мы припомнимъ, какъ много несчастій въ общественной и частной жизни происходитъ оттого, что никто во время не умѣетъ констатировать развитіе старческаго слабоумія, то эти характеристики Достоевскаго имѣютъ даже практическое, дидактическое значеніе; но, конечно, нужно частое и многократное повтореніе, чтобъ извѣстныя истины вошли въ сознаніе общества.

Какъ естественное послѣдствіе бѣдности представленій, слабости сужденія, отсутствія умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, является слабость воли; Сокольскій подчиняется своей дочери, князь посторонней женщинѣ. Но естественно, что они могутъ подчиняться всякому приказанію; князя, ѣдущаго въ гости, пересаживаютъ изъ экипажа и везутъ совсѣмъ въ другое мѣсто. Обѣщанія, имъ данныя, не имѣютъ никакого значенія, такъ какъ онъ ихъ забываетъ; притомъ-же у него представленія вообще слабо связаны съ отвѣтственными чувствами, поэтому для него самого эти обѣщанія вовсе не обязательны. Изъ этого видно, какого бдительнаго надзора требуютъ эти больные.

Во всякомъ случаѣ, если Достоевскій и не далъ полнаго очерка старческаго слабоумія, то въ обѣихъ „исторіяхъ болѣзни" нѣтъ ни одной дѣланной, невѣрной черты; основныя явленія указаны и разработаны вполнѣ достаточно; изученіе этихъ обоихъ лицъ необходимо для ознакомленія со старческимъ слабоуміемъ." *).

---

*) Кромѣ помѣщенныхъ здѣсь критическихъ отзывовъ о „Подросткѣ", еще можно указать на слѣдующія періодическія изданія, въ которыхъ говорится объ этомъ романѣ: „Биржев. Вѣдом." 1876 г., №№ 8 и 29; „Иллюстр. Недѣля" 1875 г., № 49; „Кіевскій Телеграфъ" 1875 г., № 19 и 1876 г., № 6; „Новое Время 1875 г. № 55; „Новороссійск. Телеграфъ" 1875 г. № 43; „Новости" 1875 г., №№ 31, 65, 120 и 148; „Одесск. Вѣсти." 1875 г., №№ 36 и 58; „Пчела" 1876 г., № 1; „Русск. Міръ" 1875 г., № 237; „С.-Петерб. Вѣд." 1875 г., №№ 32, 58, 272; „Сынъ Отечества" 1875 г. №№ 64, 116 и 226; „Тифлисск. Вѣстникъ" 1876 г., № 195 (замѣтка на критическую статью Никитина въ „Дѣлѣ").

Примѣч. В. Зелинскаго.

РѢЧЬ Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО о А. С. ПУШКИНѢ *).

**) Нельзя, безъ особенно глубокаго, сердечнаго сочувствія, прослушать или прочесть прекрасную статью Ѳ. М. Достоевскаго о нашемъ безсмертномъ Пушкинѣ, прочтенную въ засѣданія Общества Любителей Россійской Словесности и напечатанную въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ". Статья эта произвела на слушателей и читателей сильнѣйшее, едва-ли когда-либо прежде ощущавшееся впечатлѣніе. Да и не могла она не произвести у насъ, особенно теперь, такого потрясающаго дѣйствія. Мы всѣ чувствуемъ себя страждущими какимъ-то тяжкимъ, неопредѣленнымъ, но гнетущимъ недугомъ: одни изъ насъ мечутся, какъ угорѣлые, не ставя ни въ грошъ ни своихъ отношеній къ прочимъ людямъ ни собственной жизни; другіе, хотя съ виду какъ будто спокойные, однако страдаютъ немного менѣе первыхъ, и если не пускаются въ отчаянныя попытки, то почти столько же удручены существующимъ порядкомъ вещей; а большинство населенія, т. е. стадная его часть, кое-какъ перебивается, исправляетъ обычныя, необходимыя работы, живетъ со дня на день, не мудрствуя лукаво, но оно далеко не наслаждается существующимъ и охотно прислушивается ко всякимъ жалобамъ и осужденіямъ. При

*) Произнесена была—въ 1880 г. въ Москвѣ, во время открытія памятника А. С. Пушкину. Первый разъ напечатана въ Московскихъ Вѣдомостяхъ за 1880 г., № 162, и во второй съ комментаріями—въ „Дневникѣ Писателя" Достоевскаго за 1880 г.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) А. Кошелевъ. „Русская Мысль" 1880 г., № 10. „Отзывъ по поводу слова, сказаннаго Ѳ. М. Достоевскимъ на Пушкинскомъ торжествѣ".

такомъ общемъ настроеніи, слова Ѳ. М. Достоевскаго, пропитанныя душевною и духовною скорбію, указывающія, хотя и весьма сдержанно и не вполнѣ вѣрно, ея причины и источники, но возбуждающія надежды, по крайней мѣрѣ, въ будущемъ, на исцѣленіе, произвели и не могли не произвести какъ на слушателей, такъ и на читателей, сильнаго, животворнаго дѣйствія. Почти въ первый разъ раздалось у насъ, въ многочисленномъ собраніи и въ здѣшней печати, серьезное, глубоко прочувствованное и обдуманное слово. Могли ли мы остаться глухи и въ немъ безучастны?

Вполнѣ раздѣляя мнѣніе г. Достоевскаго на счетъ достоинствъ и заслугъ нашего безсмертнаго Пушкина, на счетъ великой будущности русскаго народа и тяжести нынѣшняго нашего положенія, мы не можемъ однако согласиться съ нѣкоторыми утвержденіями Ѳ. М. Онъ называетъ Пушкина пророкомъ и даже по преимуществу, таковымъ. Мы думаемъ, что всякій геніальный поэтъ и даже геніальный человѣкъ вообще—болѣе или менѣе пророкъ. Пророчество есть свойство и достоинство всякаго геніальнаго человѣка, говорящаго или пишущаго или дѣйствующаго, не на основаніи какихъ-либо данныхъ, соображеній и заключеній, которыя могутъ быть ошибочны, а по внушенію глубокаго чувства, которымъ онъ проникнутъ, и внутренняго, пожалуй, даже безсознательнаго прозрѣнія будущаго. Пушкинъ, исполненный народныхъ чувствъ и ими одушевленный, былъ, конечно, пророкомъ; но это не составляетъ отличительной его черты. Болѣе чѣмъ кто-либо изъ поэтовъ онъ отличался, какъ справедливо замѣтилъ г. Достоевскій, способностью перевоплощаться не только въ свой народъ, но даже въ чужеземцевъ. Пушкинъ, хотя воспитанный въ семействѣ, пропитанномъ духомъ французской литературы и во времена ея у насъ общаго господства, однако, силою своего генія, такъ перенесся въ бытъ и чувства нашего народа и такъ проникся его духомъ, что заговорилъ языкомъ, роднымъ для каждаго изъ насъ, высказывалъ то, *что мы всѣ* чувствовали и думали, но чего не могли вы-

разить, и открывалъ намъ насъ самихъ. Онъ такъ очертилъ и передалъ намъ характеры Алеко, Онѣгина, Татьяны, инока-лѣтописца и нѣкоторыхъ другихъ личностей, что мы ихъ видимъ, осязаемъ и должны сказать: никто, ни до ни послѣ Пушкина, такъ вѣрно, живо и глубоко не постигалъ и не олицетворялъ русскаго человѣка. Но тутъ не пророчество, а ясновидѣніе или ясновѣдѣніе настоящаго. Вотъ, кажется намъ, отличительная черта Пушкина. Былъ у насъ другой поэтъ, котораго изреченія часто повторяются и видимо изъ области предсказанія переходятъ въ дѣйствительность—его болѣе чѣмъ кого-либо можно признать поэтомъ-пророкомъ. Стоитъ вспомнить или прочесть стихотворенія А. С. Хомякова, и нельзя не быть пораженнымъ его даромъ прозрѣнія. Его „Орелъ“ „Мечта“, „Островъ“, его нѣсколько стихотвореній „Россія“. его „Мы родъ избранный“, „Вставайте, оковы распались“, и пр. пр., сущностью и языкомъ дѣйствительно являютъ въ Хомяковѣ вдохновеннаго пророка. Всѣ его произведенія, отъ перваго и до послѣдняго, проникнуты однимъ духомъ, согрѣты живою вѣрою и исполнены высокихъ нравственныхъ чувствъ. Хомяковъ, какъ поэтъ, философъ и богословъ, у насъ еще далеко не оцѣненъ по достоинству; причиною тому—наша недостаточная развитость. Потребовалось намъ полвѣка для оцѣнки Пушкина—поэта ясновидца и ясновѣдца; авось, по истеченіи другого полвѣка, мы доростемъ и до оцѣнки поэта-пророка и философа-богослова. Г. Достоевскій говоритъ, что не было въ мірѣ поэта, который обладалъ такою способностью всемірной отзывчивости, какъ нашъ Пушкинъ. Съ этимъ нельзя не согласиться; но г. Достоевскій прибавляетъ: „и эту то способность, *главнѣйшую способность нашей національности*, онъ именно раздѣляетъ съ народомъ нашимъ, и тѣмъ главнѣйше онъ и народный поэтъ“. Вполнѣ согласны, что Пушкинъ народный поэтъ, и прибавимъ—первой степени; но что отзывчивость вообще составляетъ главнѣйшую способность нашей народности—это, кажется намъ, не вѣрно; и мы глубоко убѣждены, что не это свойство утвердило за Пуш-

кинымъ достоинство народнаго поэта. Не споримъ, что отзывчивость есть одна изъ чертъ характера нашего народа вообще: онъ радушно, даже съ любовью относится къ другимъ людямъ, даже къ туркамъ и татарамъ; но онъ вовсе не расположенъ въ нихъ перевоплощаться. Если мы, люди „цивилизованные“, и за границею и у себя дома, такъ отзывчивы къ другимъ, что часто и легко перестаемъ быть самими собою и приносимъ въ жертву другимъ и языкъ, и обычаи, и даже наши убѣжденія; то это происходитъ не отъ того, что мы русскіе, не въ силу народнаго духа, въ насъ пребывающаго, а вслѣдствіе зыбкости нашего положенія, происшедшей отъ разрыва нашего съ народомъ, отъ невозможности для насъ вполнѣ усвоить чужое и отъ поврежденности въ насъ коренныхъ русскихъ свойствъ и началъ. Отзывчивость русскаго человѣка не есть, думаемъ, отличительное, и тѣмъ еще менѣе главнѣйшее свойства его духа, а принадлежность его какъ человѣка вообще и, въ особенности, какъ народа, только недавно вступившаго на міровое поприще и чувствующаго потребность усвоить себѣ то, что человѣчествомъ до него узнано и сдѣлано. Отзывчивость конечно помогла Пушкину стать народнымъ поэтомъ; но не она утвердила его въ этомъ достоинствѣ: свойства болѣе существенныя и проявленныя въ характерахъ Татьяны и инока-лѣтописца и вообще въ твореніяхъ поэта утвердили за нимъ это высокое значеніе.

Не могу также согласиться со слѣдующимъ мнѣніемъ г. Достоевскаго: „Что такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея, въ конечныхъ цѣляхъ своихъ, ко всемірности и ко всечеловѣчности?“ Думаемъ, что это стремленіе также вовсе не составляетъ отличительной черты характера русскаго народа. Всѣ народы, всѣ люди болѣе или менѣе съ сознаніемъ или безъ сознанія, стремятся осуществить идею человѣка—это задача каждаго изъ насъ. До сихъ поръ съ сознаніемъ мы менѣе другихъ народовъ ее исполняемъ или даже стремимся къ ея исполненію. Взгляните на француза, нѣмца или англичанина. Они всѣ

убѣждены въ своемъ міровомъ значеніи и разнятся между собою только въ томъ, въ какихъ отношеніяхъ считаютъ себя обязанными быть къ прочимъ людямъ. Французы убѣждены, что они умнѣе, просвѣщеннѣе и ловче всѣхъ, и что потому они обязаны просвѣщать міръ и заправлять его дѣлами. Нѣмцы убѣждены, что они соль земли, должны распространять свое владычество по всему міру, ради его блага, и что человѣчество достигнетъ совершенства только тогда, когда все будетъ подчинено Германіи и всѣ превратятся въ германцевъ. Англичане считаютъ міръ существующимъ для нихъ, что ихъ интересамъ все должно быть подчинено и что они не могутъ не быть всемірными владыками. Даже евреи и поляки не покидаютъ до сихъ поръ мысли о предназначеніи своемъ быть первымъ народомъ въ мірѣ. Нашъ народъ всего менѣе питаетъ такія чувства и заявляетъ такія домогательства; онъ объ мірѣ мало заботится и одушевленъ преимущественно добрымъ расположеніемъ къ людямъ, съ которыми онъ поставленъ въ сношенія. Россія никогда не предпринимала войнъ ради завоеваній; ея владычество распространилось такъ, въ силу обстоятельствъ, почти вопреки ея желаніямъ. Наши войны съ Турціею, а въ особенности послѣдняя, предприняты были не съ цѣлью утвердить наше если и не господство, то вліяніе на востокѣ, а просто по долгу совѣсти и еще болѣе въ силу обстоятельствъ. Для насъ, для нашего народа славяне по преимуществу единовѣрцы, а турки враги вѣры Христовой; а потому мы считаемъ долгомъ помогать первымъ и бороться съ послѣдними.

Одушевленіе, возбужденное въ Россіи востаніемъ босняковъ и герцоговинцевъ, борьбою сербовъ съ турками и затѣмъ собственною нашею съ ними войною, было, конечно, дѣло народное; но при этомъ стремленіе ко всемірности и всечеловѣчности было не при чемъ. Братолюбіе, приверженность къ ученію Христову и чувство долга—вотъ что одушевляло русскій народъ и что составляетъ основу его духа и дѣйствій. Если мы, не многіе изъ народа, подъ часъ и лелѣемъ мысли о всемірности и всечеловѣчности въ

будущемъ, то въ этомъ вовсе не заключается отличительной черты нашего народнаго духа. Вполнѣ признаемъ и убѣждены, что славянскому племени и русскому православному народу въ особенности предстоитъ великая будущность, что ему предлежатъ къ разрѣшенію великія задачи и что ему суждено, въ свое время, вложить свою лепту въ общечеловѣческую сокровищницу; но никакъ не можемъ согласиться, чтобы такое стремленіе составляло отличительную черту нашего народнаго духа. Потому, быть можетъ, и предстоитъ ему совершить многое, что скромны его желанія и требованія. Но да не подумаетъ кто-либо, что мы предназначаемъ русскому народу разыгрывать роль юродиваго и ждать, чтобы ниспала на него манна небесная. Конечно, нѣтъ. Онъ долженъ неусыпно, неустанно, всѣми силами трудиться надъ умноженіемъ ввѣренныхъ ему талантовъ. На Бога надѣйся, а самъ не плошай.

Г. Достоевскій мастерски и вполнѣ вѣрно очертилъ характеры пушкинскихъ героевъ: Алеко, Онѣгина и Татьяны, и вполнѣ справедливо сказалъ, что въ нихъ проявленъ русскій человѣкъ глубже и живѣе, чѣмъ въ какихъ-либо русскихъ произведеніяхъ. Съ полнымъ сочувствіемъ повторяемъ слова г. Достоевскаго. „Типъ этотъ (Алеко) вѣрный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный и надолго у насъ, въ нашей Русской землѣ поселившійся. Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнутъ. И если они не ходятъ уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ, въ ихъ дикомъ своеобразномъ бытѣ, своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонѣ природы отъ сбивчивой и нелѣпой жизни нашего русскаго—интеллигентнаго общества, то все равно ударяются въ соціализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходятъ съ новою вѣрою на другую ниву и работаютъ на ней ревностно, вѣруя, какъ и Алеко, что достигнутъ въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобъ успокоиться:

дешевле онъ не примирится,—конечно, пока дѣло только въ теоріи. Это все тотъ же русскій человѣкъ, только въ разное время явившійся. Человѣкъ этотъ, повторяю, зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой Петровской реформы, въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ Русскихъ, и тогда при Пушкинѣ, какъ и теперь въ наше время, служили и служатъ мирно въ чиновникахъ, въ казнѣ или на желѣзныхъ дорогахъ и въ банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже науками занимаются, читаютъ лекціи — и все это регулярно, лѣниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безо всякаго поползновенія бѣжать въ цыганскіе таборы или куда-нибудь въ мѣста, болѣе соотвѣтствующія нашему времени. Много, много,—что полиберальничаютъ съ „оттѣнкомъ европейскаго соціализма, „но которому приданъ нѣкоторый благодушный русскій характеръ.—но вѣдь все это вопросъ только времени. Что въ томъ, что одинъ еще не начиналъ безпокоиться, а другой уже успѣлъ дойти до запертой двери и объ нее крѣпко стукнулся лбомъ. Всѣхъ въ свое время то же самое ожидаетъ, если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь „избранныхъ“, довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать черезъ нихъ покоя.“

Сдѣланная нами выписка длинна; но слова г. Достоевскаго такъ глубоко прочувствованы и обдуманы, что начавши разъ выписывать, мы съ трудомъ и здѣсь остановились. Дѣйствительно, мы, люди называемые „цивилизованные“, думаемъ, что достигнемъ въ нашемъ фантастическомъ дѣланіи какихъ-то высокихъ цѣлей и счастья не только для себя, но и для прочихъ людей. Мы думаемъ нашими усиліями создать рай на землѣ, и нѣтъ предѣла нашимъ мечтамъ и надеждамъ. Да, мы великіе фантазеры! А это отчего? Конечно не оттого, что мечтательность ле-

житъ въ основѣ нашего народнаго характера. Нѣтъ! Русскій человѣкъ по природѣ весьма практиченъ и вовсе не расположенъ предаваться игрѣ воображенія. Это думаемъ и говоримъ не мы одни: это признается и иностранцами, которые хотя нѣсколько насъ изучили; сверхъ того, это несомнѣнно, кажется, доказано всею нашей исторіей: непрактическій народъ не могъ бы, въ теченіе тысячи лѣтъ, основать, утвердить и возвеличить въ мірѣ такого государства, какъ наша существующая имперія. Собственно мы фантазеры не по природѣ, а въ силу внѣшнихъ обстоятельствъ; намъ душно, намъ скучно; дѣйствительная наша жизнь не представляетъ намъ ничего отраднаго. Всѣ наши идеалы мы должны переносить Богъ вѣсть куда, ибо здѣсь мы не можемъ не только стремиться къ ихъ осуществленію, но почти не имѣемъ къ чему ихъ даже приткнуть. Стремленіе къ осуществленію мечтательныхъ затѣй не составляетъ свойства русскаго духа; напротивъ, какъ произведеніе нашей оторванности отъ народа, нашего искусственнаго одиночества и всей окружающей насъ обстановки, оно составляетъ принадлежность только меньшинства русскихъ людей, хирѣющихъ и чуть-чуть не безумствующихъ. Это болѣзненное состояніе усиливается и поражаетъ все большее и большее число людей. Къ прискорбію оно тяготитъ всего болѣе молодежь и людей чувствующихъ избытокъ жизненныхъ силъ. Конечно, между нашими, такъ называемыми, народниками соціалистами-революціонерами есть и люди, дѣйствующіе по расчету и имѣющіе въ виду въ мутной водѣ ловить рыбу; но число ихъ весьма незначительно и большинство этихъ несчастныхъ — люди увлеченные или увлекающіеся. Причиною, почвою къ тому— пустота и духота нашей жизни. Дайте намъ чѣмъ существеннымъ заняться, надъ чѣмъ потрудиться; не запрещайте намъ того, другого, десятаго; не стѣсняйте насъ и тутъ и тамъ—и мечты и утопіи будутъ нами покинуты, и мы примемся за дѣло съ такою же ревностью и неустрашимостью, съ какими мы совершили освобожденіе крестьянъ и перешли Балканы.

[redacted]

Въ заключеніе не можемъ не поблагодарить Ѳ. М. Достоевскаго особенно за то, что, при торжествѣ Пушкина, онъ не ограничился воздаініемъ хвалы и признательности нашему великому поэту, но, проникнутый его духомъ, захватилъ глубже и обратилъ вниманіе на злобу дня, и, указаніемъ ея причинъ и источниковъ, пособитъ, быть можетъ, ея опредѣленію и устраненію. Да поможетъ намъ Богъ днесь въ этомъ самомъ насущномъ для насъ дѣлѣ!

* * *

*) Рѣчь г. Достоевскаго производитъ странное впечатлѣніе. Несомнѣнно, что эта рѣчь талантлива, горяча и искренна; прибавьте къ этому духъ мистицизма, проникающаго ее съ начала до конца, и вы до нѣкоторой степени поймете то сильное впечатлѣніе, которое она произвела на слушателей. Очевидно, она дѣйствовала болѣе на нервы, чѣмъ на умъ слушателей. Вообще г. Достоевскій мастеръ дѣйствовать на нервы. Высказанное имъ въ своей рѣчи по поводу Пушкина proffession de foi не новость. Онъ не разъ его высказывалъ въ своихъ произведеніяхъ устами тѣхъ или другихъ героевъ. Это—какое-то туманно-неопредѣленное исканіе „правды", проповѣдь смиренія и любви съ оттѣнкомъ мистицизма и съ нѣкоторымъ запахомъ постнаго масла. То-же самое и въ его рѣчи, когда она касается завѣтныхъ убѣжденій и идеаловъ художника. Глубокая вѣра слышна въ его словахъ. Несомнѣнная любовь къ народу чувствуется въ его рѣчи, и вмѣстѣ съ тѣмъ, когда вы прочтете рѣчь, у васъ остается нѣкоторое недоумѣніе, и вы остаетесь въ какомъ-то туманѣ. Вы не знаете, что именно хочетъ сказать художникъ, вы не можете, такъ сказать, перевести его идеаловъ на понятный языкъ. Вы глубоко чувствуете что-то несомнѣнно-правдивое, вы слышите по временамъ оригинальныя мысли, вы видите, что передъ вами много передумавшій талантливый писатель, но

*) „Дѣло" 1880 г., № 7. „Пушкинскій юбилей и Рѣчь Достоевскаго." Статья О. Н.

въ общемъ, повторяю, является нѣчто безплотное, какое-то „откровеніе“ въ духѣ Анфантена. И языкъ рѣчи г. Достоевскаго носитъ характеръ именно проповѣдническій. Въ тонѣ звучитъ пророческая нота. Онъ не говоритъ, а проповѣдуетъ, и такъ-какъ проповѣдь его глубоко искренна, то понятно, что этотъ оригинальный характеръ ея еще болѣе дѣйствуетъ на нервы слушателей.

Я не стану касаться тѣхъ мѣстъ его рѣчи, въ которыхъ онъ опредѣляетъ значеніе Пушкина, какъ народнаго поэта. Замѣчу только, что эта часть рѣчи мастерски обработана, хотя съ основными положеніями оратора и нельзя вполнѣ согласиться. Насъ, впрочемъ, занимаетъ не эта часть рѣчи, а тѣ мѣста ея, въ которыхъ авторъ говоритъ о русскихъ страдальцахъ и пророчески рисуетъ великую будущность русскаго человѣка, и въ качествѣ „всечеловѣка“, призваннаго сказать новое слово Европѣ. Говоря, что Пушкинъ въ лицѣ Алеко и Онѣгина геніально отмѣтилъ „того несчастнаго скитальца въ родной землѣ, того историческаго русскаго страдальца, столь исторически необходимо явившагося въ оторванномъ отъ народа обществѣ нашемъ“, г. Достоевскій переходитъ къ современнымъ скитальцамъ и говоритъ слѣдующее:

„Эти русскіе бездомные скитальцы продолжаютъ и до сихъ поръ свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнутъ. И если они не ходятъ уже въ наше время въ цыганскіе таборы искать у цыганъ въ ихъ дикомъ, своеобразномъ быту своихъ міровыхъ идеаловъ и успокоенія на лонѣ природы отъ сбивчивой и нелѣпой жизни нашего русскаго интеллигентнаго общества, то все равно ударяются въ соціализмъ, котораго еще не было при Алеко, ходятъ съ новой вѣрой на другую ниву и работаютъ на ней ревностно, вѣруя, какъ и Алеко, что достигнутъ въ своемъ фантастическомъ дѣланіи цѣлей своихъ и счастья не только для себя самого, но и всемірнаго. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобъ успокоиться; дешевле онъ не примирится — конечно, пока *дѣло только* въ теоріи. Это все тотъ-же русскій человѣкъ,

только въ разное время явившійся. Человѣкъ этотъ, повторяю, зародился какъ-разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой петровской реформы въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы. О, огромное большинство интеллигентныхъ русскихъ, и тогда, при Пушкинѣ, какъ и теперь, въ наше время, служили и служатъ мирно въ чиновникахъ, въ казнѣ или на желѣзныхъ дорогахъ и въ банкахъ, или просто наживаютъ разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читаютъ лекціи, — и все это регулярно, лѣниво и мирно, съ полученіемъ жалованья, съ игрой въ преферансъ, безъ всякаго поползновенія бѣжать въ цыганскіе таборы или куда-нибудь въ мѣста болѣе соотвѣтствующія нашему времени. Много-много, что полиберальничаютъ „съ оттѣнкомъ европейскаго соціализма", которому приданъ нѣкоторый благодушный русскій характеръ,—но вѣдь все это вопросъ только времени. Что въ томъ, что одинъ еще и не начиналъ безпокоиться, а другой уже успѣлъ дойти до запертой двери и объ нее крѣпко стукнулся лбомъ? Всѣхъ въ свое время то-же самое ожидаетъ, если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь „избранныхъ", довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобы и остальному огромному большинству не видать черезъ нихъ покоя. Алеко, конечно, еще не умѣетъ правильно высказать тоски своей: у него все это какъ-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природѣ, жалоба на свѣтское общество, міровыя стремленія, плачъ о потерянной гдѣ-то и кѣмъ-то правдѣ, которую онъ никакъ отыскать не можетъ. Тутъ есть немножко Жанъ-Жака Руссо. Въ чемъ эта правда, гдѣ и въ чемъ бы она могла явиться и когда она именно потеряна, конечно, онъ и самъ не скажетъ, но страдаетъ онъ искренно.

Фантастическій и нетерпѣливый человѣкъ жаждетъ спасенія, пока лишь преимущественно отъ явленій внѣшнихъ; да такъ и быть должно: „правда, дескать гдѣ-то, внѣ его, можетъ быть, гдѣ-то въ другихъ земляхъ, европейскихъ,

напримѣръ, съ ихъ твердымъ историческимъ строемъ, съ ихъ установившеюся общественною и гражданскою жизнью“. И никогда-то онъ не пойметъ, что правда прежде всего внутри его самого, да и какъ понять ему это: онъ вѣдь въ своей землѣ самъ не свой, онъ уже цѣлымъ вѣкомъ отученъ отъ труда, не имѣетъ культуры, робокъ, какъ институтка, въ закрытыхъ стѣнахъ, обязанности исполнялъ странныя и безотчетныя, по мѣрѣ принадлежности къ тому или другому изъ четырнадцати классовъ, на которые раздѣлено образованное русское общество. Онъ пока всего только оторванная носящаяся по воздуху былинка. И онъ это чувствуетъ и этимъ страдаетъ, и часто такъ мучительно!“

Въ этихъ словахъ въ первый разъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, вы слышите, что за русскими „скитальцами“ послѣдняго времени хоть признано право страданія. И это знаменательно слышать изъ устъ художника, нерѣдко въ своихъ романахъ представлявшаго *скитальцевъ* „извергами“ и „чудовищами“, знаменательно особенно послѣ всего того, что говорилось вообще о „скитальцахъ“ въ нашей безшабашной печати. Такъ, вѣроятно, поняла это мѣсто и та молодежь, которая сдѣлала овацію г. Достоевскому, и такъ хотѣлось-бы понять и намъ. Но найдутся многіе, которые во что-бы то ни стало захотятъ непремѣнно придать иное значеніе этимъ словамъ, и они до нѣкоторой степени правы. Дальнѣйшія мѣста рѣчи какъ-будто опровергаютъ мѣсто, нами приведенное, но, повторяю, даже и за обмолвку (если-бы это была, къ несчастью, обмолвка) нельзя не быть благодар[illegible]. „Обмолвки“ эти такъ нужны въ наше смутное время! Осуждая затѣмъ этого гордаго „человѣка“, этого „скитальца“, г. Достоевскій прочитываетъ ему такое правоученіе:

„Смирись, гордый человѣкъ, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной нивѣ“, вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму.„ Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ; найди себя въ себѣ, подчини себѣ, овладѣй *собой*, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не

внѣ тебя и не за морем̃ъ гдѣ-нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его.

Не у цыганъ и нигдѣ—міровая гармонія, если ты первый самъ ея не достоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить". Какое это „великое дѣло" и какая это „правда", разумѣется, почтенный романистъ не объясняетъ, и эта часть рѣчи остается туманной и какъ-бы опровергаетъ другую часть.

Но еще болѣе страннымъ является увѣреніе романиста, что мы въ теченіе двухъ вѣковъ служили болѣе Европѣ, чѣмъ себѣ самимъ сознательно, такъ какъ г. Достоевскій не думаетъ, „чтобъ отъ неумѣнья лишь нашихъ политиковъ это происходило".

Такимъ образомъ всѣ войны, которыя мы вели за возстановленіе чужихъ престоловъ и царствъ, поддерживая деспотизмъ, оказывается, мы вели потому, что, по словамъ романиста, „народы Европы и не знаютъ, какъ они дороги намъ!" Нечего сказать, хорошее проявленіе любви, если въ самомъ дѣлѣ чувствовали, что они служатъ Европѣ, а не творятъ волю начальства...

Въ концѣ концовъ совѣтующій „гордому человѣку" смириться и „овладѣть собой", нашъ романистъ высказываетъ пророчество, что русскій человѣкъ будетъ „всечеловѣкомъ" и что впослѣдствіи „будущіе, грядущіе люди" скажутъ „новое слово" Европѣ и укажутъ исходъ европейской тоскѣ въ русской душѣ...

Опять-таки въ этомъ, хотя и гордомъ пророчествѣ, есть, быть можетъ, зерно истины, но все это такъ запутано, что нужно скорѣй угадывать, чѣмъ слышать. Невольно припоминается не такое слово другого знаменитаго писателя, который съ болью говорилъ, что онъ въ Европѣ ни близ-

каго ни хорошаго выхода не видитъ, и, между прочимъ, писалъ, что „въ естественной непосредственности нашего сельскаго быта, въ шаткихъ и неустоявшихся экономическихъ и юридическихъ понятіяхъ, въ смутномъ правѣ собственности, въ отсутствіи сильнаго мѣщанства и въ необычайной усвоимости чужого — мы имѣемъ шагъ передъ народами усталыми и сложившимися". Этотъ языкъ понятенъ. Сочувствуете вы или не сочувствуете, но вы понимаете автора, потому что у него есть опредѣленные идеалы.

Но нашего романиста трудно понять, потому что у него мистицизмъ затемняетъ и тѣ проблески истины, которые порой являются, хотя и въ фантастическомъ видѣ. И вотъ почему рѣчь его, производившая потрясающее впечатлѣніе на слушателей, въ чтеніи производитъ далеко не то впечатлѣніе, несмотря на талантливость. Вотъ почему она даже пришлась по плечу „Московскимъ Вѣдомостямъ", гдѣ она напечатана, и можетъ вызывать, съ одной стороны, вѣнки со стороны молодежи, а съ другой — одобреніе „Новаго Времени".

* * *

*) Самымъ крупнымъ событіемъ на Пушкинскомъ праздникѣ, по общему отзыву, была рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго. Она затмила все, произнесенное другими ораторами въ честь величайшаго нашего поэта. Она надолго останется въ памяти не только тѣхъ, кто ее слышалъ, но и тѣхъ, кто, не имѣя возможности присутствовать на праздникѣ, прочелъ ее печатно. Такой успѣхъ рѣчи знаменитаго романиста вполнѣ понятенъ: она заключаетъ въ себѣ и оцѣнку Пушкина, какъ *народнаго* русскаго поэта, и исповѣданіе вѣры самого г. Достоевскаго, выраженное съ тою силою убѣжденія, которая подавляетъ, если и не всегда убѣждаетъ другихъ. Каждый, кто слышалъ или читалъ г. Достоевскаго, знаетъ, какъ трудно *не подчиниться* ему въ то

*) А. Градовскій. „Голосъ" 1880 г., № 174. „По поводу рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго".

[redacted]

время, какъ онъ говоритъ, или пока вниманіе читателя приковано къ страницамъ его произведеній. Только потомъ возникаютъ въ умѣ читателя или слушателя разныя сомнѣнія; только потомъ испытываетъ онъ чувство нѣкоторой неудовлетворенности и желаетъ еще поразспросить и разъяснить кое-что.

Позволяемъ себѣ представить здѣсь нѣкоторыя сомнѣнія, овладѣвшія лично нами, въ надеждѣ, что ни читатели ни самъ г. Достоевскій не заподозрятъ въ насъ намѣренія нанести какой-нибудь „ущербъ" достоинству рѣчи. Но вопросъ, затронутый ораторомъ, имѣетъ слишкомъ большое общественное значеніе и нуждается въ разностороннемъ его объясненіи, не оставляющемъ мѣста справедливымъ сомнѣніямъ.

Рѣчь Достоевскаго содержитъ въ себѣ, какъ уже сказано, двѣ вещи: оцѣнку Пушкина, какъ народнаго поэта, и нѣкоторое исповѣданіе вѣры самого оратора. Во всей рѣчи чувствуется, что Пушкина коментируетъ именно авторъ „Братьевъ Карамазовыхъ" и отъ этого зависитъ, по нашему мнѣнію, недостаточное освѣщеніе Пушкинскихъ типовъ и довольно смутный выводъ изъ рѣчи.

Пушкинскіе типы освѣщены недостаточно; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ они были освѣщены *невѣрно*. Напротивъ: никому, быть можетъ, не удалось проникнуть въ суть пушкинской поэзіи такъ глубоко, какъ Ѳ. М. Достоевскому. Но онъ не далъ этимъ типамъ полнаго объясненія именно потому, что связалъ ихъ не со всѣмъ послѣдующимъ движеніемъ нашей литературы, а исключительно со своимъ міросозерцаніемъ, представляющимъ много слабыхъ сторонъ.

Объяснимся. Г. Достоевскій обращается, прежде всего, къ тому типу, въ которомъ впервые выразилась вся мощь пушкинскаго генія, къ типу Алеко. Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу:

„Въ Алеко Пушкинъ отыскалъ и геніально отмѣтилъ того несчастнаго *скитальца* въ родной землѣ, того *историческаго* русскаго страдальца, столь исторически необхо-

димо явившагося въ *оторванномъ* отъ народа обществѣ нашемъ. Типъ этотъ вѣрный и схваченъ безошибочно, типъ постоянный, и надолго у насъ, въ нашей русской землѣ поселившійся". Это совершенно вѣрно, и нельзя не признать большой заслуги г. Достоевскаго въ томъ, что онъ установилъ историческую связь между типомъ, созданнымъ впервые Пушкинымъ въ Алеко, и тѣми типами „скитальцевъ", которые такъ художественно были выведены авторами „Кто виноватъ", „Рудина" и друг. Но остается объяснить, откуда взялись эти „скитальцы", эти мученики, оторванные отъ народа?

Г. Достоевскій мало останавливается на этомъ вопросѣ, хотя важность его явствуетъ изъ слѣдующихъ словъ оратора: „человѣкъ этотъ зародился какъ разъ въ началѣ второго столѣтія послѣ великой петровской реформы, въ нашемъ *интеллигентномъ* обществѣ, оторванномъ отъ народа, отъ народной силы". Итакъ, „скитальцы" суть яркіе представители нѣкоторой общей болѣзни. Они сознали ее, они „забезпокоились", по выраженію оратора, въ то время, какъ другіе сидѣли и сидятъ еще спокойно, занимаясь службою, разными предпріятіями и, даже, наукой—„и все это регулярно, лѣниво и мирно". Но очередь дойдетъ и до нихъ.

„Всѣхъ, говоритъ г. Достоевскій—въ свое время тоже самое ожидаетъ, *если не выйдутъ на спасительную дорогу смиреннаго общенія съ народомъ*. Да пусть и не всѣхъ ожидаетъ это: довольно лишь избранныхъ, довольно лишь десятой доли забезпокоившихся, чтобъ и остальному огромному большинству не видать черезъ нихъ покоя".

Вопросъ, стало быть, не въ избранныхъ „страдальцахъ", *а во всей русской интеллигенціи*. Ее нужно спасти отъ грозящей ей бѣды и бѣды большой. Но, прежде всего, посмотримъ, въ чемъ же бѣда. Корень бѣды, говорятъ намъ, *въ отчужденіи* отъ народа. Что же произвело это отчужденіе?

Изъ словъ г. Достоевскаго, что Алеки зародились во второмъ столѣтіи послѣ реформы Петра, можно бы заклю-

чить, что вина отчужденія, въ этой реформѣ, втолкнувшей высшіе классы въ формы западно-европейскаго просвѣщенія. Но ораторъ, очевидно, былъ далекъ отъ такого банальнаго объясненія, потому что онъ же видитъ славу Пушкина именно въ его „всемірной отзывчивости". Притомъ, если бъ г. Достоевскій и принялъ такое объясненіе (что̀ было бы несоотвѣтственно его уму и таланту) оно, все-таки, ничего не объяснило бы и не принесло бы никакой практической пользы.

Такъ или иначе, но уже два столѣтія мы находимся подъ вліяніемъ европейскаго просвѣщенія, дѣйствующаго на насъ чрезвычайно сильно, благодаря „всемірной отзывчивости" русскаго человѣка, признанной г. Достоевскимъ за нашу національную черту. Уйти отъ этого просвѣщенія намъ некуда да и незачѣмъ. Это фактъ, противъ котораго намъ ничего нельзя сдѣлать, по той простой причинѣ, что всякій русскій человѣкъ, пожелавшій сдѣлаться просвѣщеннымъ, *непремѣнно* получитъ это просвѣщеніе изъ западно-европейскаго источника, за полнѣйшимъ отсутствіемъ источниковъ русскихъ. Затѣмъ, предусматривая даже сильное развитіе русской науки, русскаго искусства и т. д., мы должны будемъ признать, что всѣ эти вещи выростутъ на почвѣ западно-европейскаго просвѣщенія, подобно тому, какъ послѣднее выросло на почвѣ греко-римской культуры. Такимъ образомъ, практически вопросъ объ „отчужденіи" русской интеллигенціи отъ народа ставится слѣдующимъ образомъ:

Отчего просвѣщенная часть русскаго общества относилась *отрицательно* къ явленіямъ русской жизни и, потому, выработала изъ себя отрицательные же типы „скитальцевъ"? Это положеніе чрезвычайно трагическое и требующее выхода, потому что „забезпокоившихся", по выраженію г. Достоевскаго, было довольно, и они не давали покоя всѣмъ другимъ. Г. Достоевскій заговорилъ объ этихъ типахъ, основываясь на поэзіи Пушкина. Но Пушкинъ, выводя Алеко и Онѣгина съ ихъ отрицаніемъ, не показалъ, что именно „отрицали" они, и было бы въ высшей сте-

пени рискованно утверждать, что они отрицали именно „народную правду“, коренныя начала русскаго міросозерцанія. Этого не видно нигдѣ.

Но дѣйствительно, міръ тогдашнихъ скитальцевъ былъ міромъ, отрицавшимъ другой міръ. Для объясненія этихъ типовъ, необходимы другіе типы, которыхъ Пушкинъ не воспроизвелъ, хотя и обращался къ нимъ по временамъ со жгучимъ негодованіемъ. Природа его таланта мѣшала ему спуститься въ этотъ мракъ и возвести въ „перлъ созданія“ совъ, сычей и летучихъ мышей, наполнявшихъ подвальные этажи русскаго жилища. Это сдѣлалъ Гоголь—великая оборотная сторона Пушкина. Онъ повѣдалъ міру, отчего бѣжалъ къ цыганамъ Алеко, отчего скучалъ Онѣгинъ, отчего народились на свѣтъ „лишніе люди“, увѣковѣченные Тургеневымъ. Коробочка, Собакевичи, Сквозники-Дмухановскіе, Держиморды, Тяпкины-Ляпкины—вотъ тѣневая сторона Алеко, Бельтова, Рудина и многихъ другихъ. Это фонъ, безъ котораго непонятны фигуры послѣднихъ. А, вѣдь, эти гоголевскіе герои были русскими—ухъ, какими русскими людьми! У Коробочки не было міровой скорби, Сквознякъ-Дмухановскій превосходно умѣлъ объясняться съ купцами, Собакевичъ насквозь видѣлъ своихъ крестьянъ, и они насквозь видѣли его. Конечно, Алеки и Рудины всего этого вполнѣ не видѣли и не понимали; они просто бѣжали, куда кто могъ: Алеко къ цыганамъ, Рудинъ въ Парижъ умирать за дѣло, для него совершенно постороннее.

Итакъ, намъ представляется, прежде всего, недосказаннымъ, что „скитальцы“ отрѣшались отъ самаго существа русскаго народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящаго времени нисколько не опредѣлены предѣлы ихъ отрицанія, не указанъ его объектъ, такъ сказать. А пока не опредѣлено это, мы не въ правѣ произнести о нихъ окончательное сужденіе.

Тѣмъ менѣе въ правѣ мы опредѣлять ихъ, какъ „гордыхъ“ людей, и видѣть источникъ ихъ отчужденія въ этомъ сатанинскомъ грѣхѣ. Нельзя, конечно, отрицать въ этихъ типахъ значительной доли гордости; мало того: нельзя не

видѣть въ нихъ и великой дозы себялюбія, выразившагося въ такихъ трагическихъ чертахъ въ исторіи Алеко. Но и гордость и себялюбіе не были ихъ первоначальными грѣхами, не были и первою причиною ихъ „скитальчества“, физическаго или духовнаго. Совершенно напротивъ: гордость и себялюбіе явились *результатомъ* ихъ отчужденія, долговременнаго отрицательнаго отношенія ко всему окружающему, плодомъ ихъ одиночества. Черты эти неприглядны—спора нѣтъ. По временемъ они отвратительны, и не даромъ Пушкинъ развѣнчивалъ своихъ героевъ. Но не въ нихъ суть болѣзни: они ея симптомы, ея придатокъ. Лечить симптомы и оставлять корень болѣзни едва ли разсудительно. Вотъ почему мы не можемъ согласиться вполнѣ со слѣдующею моралью, выведенною г. Достоевскимъ изъ исторіи Алеко:

„Смирись, гордый человѣкъ, и, прежде всего, сломи свою гордость; смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего, потрудись на родной нивѣ—вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму“.

Что гордость и праздность суть пороки, это не подлежитъ сомнѣнію. Но въ данномъ случаѣ, все-таки, остается нерѣшеннымъ: гордость: относительно чего? праздность—почему? Передъ чѣмъ „гордились“ эти люди? Почему они не находили себѣ дѣла въ „родной нивѣ“?

Не рѣшенъ вопросъ, передъ чѣмъ гордились „скитальцы“, остается безъ отвѣта и другой—передъ чѣмъ слѣдуетъ „смириться“. Г. Достоевскій останавливается на этихъ вопросахъ такъ, какъ будто бы вся суть дѣла въ личныхъ качествахъ „гордящихся“ и не желающихъ „смириться“. Объясняя, что долженъ познать „гордящійся скиталецъ“, онъ говоритъ ему:

„Не *внѣ* тебя правда, а въ тебѣ самомъ, *найди себя въ себѣ, подчини себя себѣ*, овладѣй собою, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя, не за моремъ гдѣ-нибудь, а прежде всего *въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою*. Побѣдишь себя, смиришь себя, и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь свое

великое дѣло и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо пополнится жизнь твоя и поймешь, наконецъ, народъ свой *и святую его правду*. Не у цыганъ и нигдѣ міровая гармонія, если ты первый самъ ея не достоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надо заплатить".

Въ этихъ строкахъ г. Достоевскій выразилъ „святая святыхъ" своихъ убѣжденій, то, что составляетъ одновременно и силу и слабость автора „Братьевъ Карамазовыхъ". Въ этихъ словахъ заключенъ великій *религіозный* идеалъ, мощная проповѣдь *личной* нравственности, но нѣтъ и намека на идеалы *общественные*. Г. Достоевскій призываетъ работать надъ собой и смирить себя. Личное совершенствованіе въ духѣ христіанской любви есть, конечно, первая предпосылка для всякой дѣятельности, большой или малой. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ люди, лично совершенные въ христіанскомъ смыслѣ, непремѣнно образовали совершенное общество. Позволимъ себѣ привести примѣръ.

Апостолъ Павелъ поучалъ рабовъ и господъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. И тѣ и другіе могли послушать и обыкновенно слушали слово апостола; они *лично* были хорошими христіанами, но *рабство* черезъ то не освѣщалось и оставалось учрежденіемъ безнравственнымъ. Точно также г. Достоевскій, а равно и каждый изъ насъ, зналъ превосходныхъ христіанъ-помѣщиковъ и таковыхъ же крестьянъ. Но *крѣпостное право* оставалось мерзостью передъ Господомъ, и русскій Царь-Освободитель явился выразителемъ требованій не только *личной*, но и *общественной* нравственности, о которой въ старое время не было надлежащихъ понятій, несмотря на то, что „хорошихъ людей" было, можетъ быть, не меньше, чѣмъ теперь.

Личная и общественная нравственность не одно и то же. Отсюда слѣдуетъ, что никакое *общественное* совершенствованіе не можетъ быть достигнуто *только* черезъ улучшеніе личныхъ качествъ людей, его составляющихъ. Приведемъ опять примѣръ. Предположимъ, что. начиная съ 1800 года, рядъ проповѣдниковъ христіанской любви и смиренія при-

нялся бы улучшать нравственность Коробочекъ и Собакевичей. Можно ли предположить, чтобъ они достигли отмѣны крѣпостного права, чтобъ не нужно было *властнаго* слова для устраненія этого „явленія“? Напротивъ, Коробочка стала бы доказывать, что она истинная христіанка и настоящая „мать“ своихъ крестьянъ, и пробыла бы въ этомъ убѣжденіи, несмотря на всѣ доводы проповѣдника Пойдемъ дальше. Предположимъ, что въ тѣ времена проповѣдникъ подошелъ бы къ скептическому и невѣрующему Алеко и наполнилъ бы его душу истинами христіанства. Вышелъ ли бы изъ Алеко полезный общественный дѣятель? Едва ли. Вѣрнѣе предположить вотъ что: Алеко-христіанинъ не побѣжалъ бы къ цыганамъ и не сдѣлался бы мужемъ несчастной Земфиры. Онъ ушелъ бы въ монастырь и обратился бы въ старца Зосиму. Форма „отчужденія“ и скитальчества измѣнилась бы. Но много ли выиграло бы оттого общество?

Улучшеніе людей въ смыслѣ *общественномъ* не можетъ быть произведено только работой „надъ собой“ и „смиреніемъ себя“. Работать надъ собой и смирять свои страсти можно и въ пустынѣ и на необитаемомъ островѣ. Но, какъ существа *общественныя*, люди развиваются и улучшаются въ работѣ, *другъ подлѣ друга, другъ для друга* и другъ съ другомъ. Вотъ почему въ весьма великой степени общественное совершенство людей зависитъ отъ совершенства *общественныхъ учрежденій*, воспитывающихъ въ человѣкѣ если не христіанскія, то гражданскія доблести. Съ этой именно точки зрѣнія, причину „скитальчества“ должно искать не въ однихъ личныхъ качествахъ „скитальцевъ“, а въ качествахъ общественныхъ учрежденій прежняго времени. Теперь бы нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей „гордости“ и не хотѣли смириться передъ „народною правдою“. Никто никогда не отрицалъ прекраснѣйшихъ качествъ русскаго человѣка. Скажемъ больше: если въ душѣ лучшихъ изъ этихъ „скитальцевъ“ первой половины нашего столѣтія и сохранился какой-нибудь помыселъ, то это былъ именно помыселъ о народѣ; самая жгучая изъ ихъ нена-

вистей была обращена именно къ рабству, тяготѣвшему надъ народомъ. Пусть они любили народъ и ненавидѣли крѣпостное право по своему, по „европейски“, чтó ли. Но кто же, какъ не они подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостного права? Чѣмъ могли, и они послужили „родной нивѣ“, сначала въ качествѣ проповѣдниковъ освобожденія, а потомъ въ качествѣ мировыхъ посредниковъ первой очереди. Значительная часть даже скитальцевъ не отрицала, что въ глубинѣ русскаго духа таится нѣчто величавое въ нравственномъ смыслѣ. Но позволительно сказать, что это „прекрасное“ было прикрыто толстымъ слоемъ грязи и что народная „правда“ какъ-то странно выражалась въ „кривосудіи“ отжившихъ учрежденій.

Теперь мы дошли до самаго важнаго пункта въ нашемъ разномысліи съ г. Достоевскимъ. Требуя смиренія передъ народной правдой, передъ народными идеалами, онъ принимаетъ эту „правду“ и эти идеалы, какъ нѣчто готовое, незыблемое и вѣковѣчное. Мы позволимъ себѣ сказать ему—нѣтъ. *Общественные* идеалы народа находятся еще въ процессѣ *образованія*, *развитія*. Ему еще много надо работать надъ собою, чтобъ сдѣлаться достойнымъ имени великаго народа. Еще слишкомъ много неправды, остатковъ вѣкового рабства, засѣло въ немъ, чтобъ онъ могъ требовать себѣ поклоненія, и сверхъ того, претендовать еще на обращеніе всей Европы на путь истинный, какъ это предсказываетъ г. Достоевскій.

Странное дѣло! Человѣкъ, казнящій гордость въ лицѣ отдѣльныхъ скитальцевъ, призываетъ къ гордости цѣлый народъ, въ которомъ онъ видитъ какого-то всемірнаго апостола. Однимъ онъ говоритъ: „смирись!“ Другому говоритъ: „возвышайся!“

Послушаемъ, къ чему г. Достоевскій предназначаетъ Россію:

„Впослѣдствіи, я вѣрю въ это, мы, т. е., конечно, не мы, а будущіе, грядущіе русскіе люди, поймутъ уже всѣ до единаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно значить: стремиться внести примиреніе въ евро-

пейскія противорѣчія уже *окончательно,* указать исходъ европейской тоскѣ въ своей русской душѣ, *всечеловѣчной и всесоединяющей,* вмѣстить въ него съ братскою любовью *всѣхъ* нашихъ братьевъ, а, въ концѣ-концовъ, можетъ быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармоніи, братскаго *окончательнаго* согласія всѣхъ племенъ по христову евангельскому закону".

Словомъ, совершится то, чего не предсказываетъ и апокалипсисъ! Напротивъ, тотъ предвѣщаетъ не „окончательное согласіе", а окончательное „несогласіе" съ пришествіемъ Антихриста. Зачѣмъ же приходить Антихристу, если мы изречемъ слово „окончательной гармоніи"?

А пока что, мы не можемъ справиться даже съ такими несогласіями и противорѣчіями, съ которыми Европа справилась давнымъ давно, долбимъ азбучные азы и выпускаемъ теперь изъ своей среды такихъ „апостоловъ", которые давятъ всю Европу именно *озлобленіемъ* своимъ, и даютъ странное понятіе „о всепримиряющей" русской душѣ.

Правильнѣе было бы сказать и современнымъ „скитальцамъ" и „народу" одинаково: *смиритесь* передъ требованіями той общечеловѣческой гражданственности, къ которой вы, слава Богу, пріобщились, благодаря реформѣ Петра. Впитайте въ себя все, что произвели лучшаго народы — учители ваши. Тогда, переработавъ въ себѣ всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумѣете проявить и всю силу вашего *національнаго* генія, внести и свою долю въ сокровищницу всечеловѣческаго. Ни одинъ народъ не получилъ всемірно-историческаго значенія, не возвысившись на степень народности, и каждая народность въ свое время проходила черезъ школу всечеловѣческаго, какъ прошли ее народы Европы въ эпоху среднихъ вѣковъ и возрожденія.

А тутъ, не сдѣлавшись какъ слѣдуетъ народностью, вдругъ мечтать о всечеловѣческой роли! Не рано ли? Г. Достоевскій гордится тѣмъ, что мы чуть не два вѣка служили Европѣ. Признаемся, это „служеніе" вызываетъ въ насъ нерадостное чувство. Время ли вѣнскаго конгресса и

вообще эпохи конгрессовъ можетъ быть предметомъ нашей „гордости“? То ли время, когда мы, служа Меттерниху, подавляли національное движеніе въ Италіи и Германіи и косились даже на единовѣрныхъ грековъ? И какую ненависть нажили мы въ Европѣ именно за это „служеніе“!

Нѣтъ, затвердимъ и замѣтимъ разъ навсегда, что истинно-всечеловѣческое значеніе мы можемъ пріобрѣсти только послѣ того, какъ мы разовьемся и укрѣпимся въ качествѣ народности, умѣющей и могущей дѣлать *свое* общественное дѣло, какъ мы, воспринявъ свободно начало общечеловѣческой культуры, откроемъ пути и средства для нашего творчества, которое безъ того навсегда останется въ видѣ зародыша, давая міру однихъ нелѣпыхъ „самоучекъ“, начиная отъ самоучекъ-механиковъ и кончая самоучками—„революціонерами“.

Тогда выступитъ въ полномъ блескѣ „народная правда“, на этотъ разъ уже нескрытая и неспрятанная подъ семью замками, а сіяющая какъ солнце. Тогда не будетъ уже мѣста скитальцамъ, или, лучше сказать, имъ будетъ мѣсто, за общимъ народнымъ трудомъ. Тогда исчезнутъ и глупыя мечты о „всемірномъ счастьи“, потому что каждый пойметъ, что отдѣльный человѣкъ можетъ служить человѣчеству только *чрезъ* свой народъ и что внѣ этого народа ему нигдѣ нѣтъ мѣста. Коротко говоря: нужно только смѣло и бодро идти по пути, открытому съ 1861 года, когда устранена была главная причина нашего „скитальчества“. То, что мы видимъ теперь, есть только *наслѣдіе* временъ минувшихъ и, мы вѣримъ въ это, типы нашихъ скитальцевъ не суть типы „постоянные“. Они прейдутъ вмѣстѣ съ ростомъ русскаго общества и народа. Въ заключеніе мы просимъ Ѳ. М. Достоевскаго извинить намъ выраженія, которыя онъ сочтетъ рѣзкими, хотя мы и старались говорить съ нимъ тѣмъ языкомъ, какого онъ вправѣ требовать по своимъ достоинствамъ. Но живость тона показываетъ, что вопросъ, возбужденный Ѳ. М. Достоевскимъ, столь же близокъ намъ, какъ и ему.

*) Не многимъ писателямъ доводится получать такія удовольствія, какія получилъ недавно г. Достоевскій: его произведеніе—рѣчь о Пушкинѣ—признано „событіемъ“; оно признано „геніальнымъ“; авторъ слышалъ и читалъ это, и теперь не оставляетъ читателя въ неизвѣстности объ этомъ пунктѣ. Печатая свою рѣчь единственнымъ *годовымъ* выпускомъ *ежемѣсячнаго* изданія, авторъ прибавилъ къ ней предисловіе и комментаріи, въ которыхъ обязательно объясняетъ—въ чемъ именно заключается „событіе“.

Можно, пожалуй, согласиться, что это—событіе, но событіе довольно печальное, особенно если бы надо было думать, что тѣ, кто привѣтствовалъ рѣчь г. Достоевскаго, съ тѣмъ же сочувствіемъ привѣтствовали бы изданныя имъ теперь толкованія,—какъ самъ г. Достоевскій въ этомъ видимо увѣренъ.

Мы не станемъ передавать содержанія ни рѣчи ни толкованій, первая была не разъ перепечатана и изложена, вторыя также довольно извѣстны. Основныя мысли таковы: величіе Пушкина состоитъ особенно въ томъ, что онъ, какъ великій художникъ, есть совершеннѣйшій выразитель русскаго народнаго духа—именно способности его къ всемірной отзывчивости и всепримиренію; геній русскаго народа изъ всѣхъ народовъ наиболѣе способенъ „вмѣстить въ себя идею всечеловѣческаго единенія, братской любви, трезваго взгляда, прощающаго враждебное, различающаго и извиняющаго несходное, снимающаго противорѣчія“; „стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ русскимъ и значитъ только стать братомъ всѣхъ людей, *всечеловѣкомъ*“; русскій народъ особенно (или единственно) понялъ христіанскую истину, и т. д. Эту и подобныя положенія въ рѣчи г. Достоевскаго связаны были съ возвеличеніемъ Пушкина; въ томъ настроеніи, въ которомъ была аудиторія послѣ длиннаго ряда торжественныхъ чествованій памяти великаго поэта, она готова была наконецъ и къ крайней идеализаціи, даже къ преувеличенію. Рѣчь г. Достоевскаго

*) „Вѣстникъ Европы“ 1880 г., № 10. „Литературное Обозрѣніе“. Статья В. В.

могла пройти какъ патріотическій порывъ, какъ чувствительный идеализмъ и, при всѣхъ крайностяхъ, могла, въ условіяхъ обстановки, возбудить сочувствіе въ людяхъ болѣе трезвыхъ—тѣмъ примирительнымъ оттѣнкомъ, который являлся въ ея заключеніи.

Но этого было мало г. Достоевскому. Овація, кажется, была причиной, что онъ и совсѣмъ потерялъ мѣру; въ истолкованіяхъ, которыми онъ снабдилъ свою рѣчь, кажется, вѣрнѣе отразился настоящій характеръ его идей, нежели въ рѣчи.—Еще наканунѣ Пушкинскаго праздника, въ литературномъ кругу обратила на себя вниманіе статейка газеты „Берегъ“: статейка извѣщала, что на предстоящемъ Пушкинскомъ праздникѣ готовится либеральная демонстрація,—и успокоивала публику, что гг. *Катковъ и Достоевскій* сумѣютъ дать этой демонстраціи должный отпоръ.—Почитателямъ г. Достоевскаго было очень неловко видѣть его имя въ этомъ союзѣ и въ этой усмирительной рѣчи. Съ подобнымъ характеромъ теперь и выступаетъ г. Достоевскій. Если „Рѣчь“, какъ мы сказали, имѣла отчасти примирительныя намѣренія, то комментаріи—строжайшее обличеніе „либераловъ“, которые просто сгоняются со свѣту. Особенный, частный поводъ къ обличенію подала статья пр. Градовскаго; но г. Достоевскій обобщилъ свой отвѣтъ до цѣлаго обвиненія противъ либераловъ вообще, прошедшихъ и настоящихъ.

Что сказать объ этомъ походѣ противъ „либерализма“?

Первое, что спорить правильно противъ г. Достоевскаго нѣтъ никакой возможности; потому что изложеніе его не есть вовсе послѣдовательное развитіе какой-либо мысли, а раздражительное словоизверженіе ясно показывающее, что авторъ резоновъ слушать не намѣренъ, что имъ овладѣла страсть и то жестокое настроеніе, при которомъ аргументація невозможна и безполезна.

Эта страсть—крайне неумѣренное самолюбіе, это настроеніе—мистицизмъ. Одинъ изъ критиковъ настоящаго выпуска „Дневника писателя“ провелъ очень вѣрную параллель между произведеніемъ г. Достоевскаго и „Выбранными

Мѣстами“ Гоголя; дѣйствительно, сходство поразительное. —Самолюбіе и мистицизмъ—всего меньше логика. Аргументы мистицизма витаютъ въ такой сферѣ, гдѣ раціональное разсужденіе невозможно;. онъ разсуждаетъ наитіями, провидѣніями, откровеніями; логическія противорѣчія его не затрудняютъ: къ мнѣніямъ, идущимъ отъ противоположной точки зрѣнія, онъ питаетъ крайнюю вражду и нетерпимость. Очень справедливо было замѣчено, что самый стиль „Дневника“ повторяетъ „Выбранныя Мѣста“ Гоголя: рядомъ съ возвышенной, или съ высокопарной проповѣдью идетъ вульгарная сплетня, христіанская „любовь“ и „братство“ съ крайнимъ озлобленіемъ; тонъ—высокомѣрный и прорицательскій. Г-нъ Достоевскій не замѣтилъ, что, осуждая западную Европу на погибель (она „рухнетъ“, „завтра же“ или въ слѣдующее же десятилѣтіе), онъ повторялъ Гоголя, который дѣлалъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ то же самое предсказаніе, которое однако доселѣ не осуществилось: Европа покамѣстъ не „рухнула“. — И какая же будетъ причина этого уничтоженія Европы? — то, что „стучится“ четвертое сословіе, т. е. желаетъ пріобрѣсти себѣ право на человѣческое существованіе,—какъ всегда, въ цѣлой всемірной исторіи, „стучались“ тѣ, кому жизнь становилась невыносима; ну, а наши крестьяне не могли бы „постучаться“? Были уже въ исторіи примѣры, что и они довольно безпокойно „стучались“. Политическіе пріемы г. Достоевскаго противъ „либерализма“ опять не новы; это—повтореніе старыхъ (еще сороковыхъ годовъ) нападеній противъ славянофиловъ на „Петербургъ“ и „петербургскій періодъ“, но повтореніе слабое, непослѣдовательное и иногда очень некрасивое. Г. Достоевскій не дѣлаетъ никакихъ различій между „либералами“: всѣ они одинаковые враги „народныхъ началъ“, „развратители“ народа.— Читатель пусть понимаетъ какъ знаетъ: кто эти либералы? Съ одной стороны, это—непріятные г. Достоевскому писатели и публицисты; съ другой стороны, онъ замѣчаетъ съ непостижимымъ для насъ азартомъ, что де „и настоящая полиція вѣдь у насъ теперь либеральна, отнюдь не менѣе

возопившихъ на меня (г. Достоевскаго) либераловъ“. Фразу эту можно было бы объяснить только желаніемъ сбить либераловъ въ одну кучу съ „полиціей“, вѣдомствомъ не весьма популярнымъ. Одна услужливая къ г. Достоевскому газета припомнила, какъ-бы мимоходомъ, что гр. Шуваловъ пользовался въ Европѣ репутаціей человѣка очень „либеральныхъ“ взглядовъ... Что къ ненавистнымъ „либераламъ“, которыхъ г. Достоевскій караетъ, принадлежитъ та доля литературы, которая не дѣлитъ его своеобразныхъ измышленій, это понятно; приспѣшники г. Достоевскаго стали и прямо называть такія изданія;—но затѣмъ г. Достоевскій накидывается и на такихъ „либераловъ“, которые о православіи говорятъ: „Le Pravoslavie“. *Кого* онъ разумѣетъ здѣсь, остается непонятно; потому что въ литературныхъ нашихъ кругахъ, сколько намъ извѣстно, такая терминологія вовсе не употребляется. Кто же это? и если такіе люди есть, то что́ общаго между *этими* людьми и литературой? Недостатокъ смысла въ такомъ огульномъ обвиненіи граничитъ съ недобросовѣстностью. Можно было бы не обращать вниманія на подобное прихотливое „теченіе мыслей“ г. Достоевскаго и предоставить ему наслаждаться легкимъ торжествомъ надъ его непріятелями, но онъ имѣетъ своихъ поклонниковъ. Не знаемъ, какъ далеко идетъ ихъ поклоненіе; но если они видятъ въ г. Достоевскомъ не только писателя, увлекающаго ихъ своими художественными произведеніями, но и публициста, своего руководителя въ общественныхъ вопросахъ,—то имъ слѣдуетъ серьезно подумать о качествѣ получаемыхъ наставленій...

Но откуда же взялся этотъ ненавистный „либерализмъ“? Онъ взялся, очевидно, отъ собирающейся рухнуть Европы; но какъ это случилось, все ли было дурно въ этомъ либерализмѣ, или было въ немъ что-нибудь полезное, — этого адептъ г. Достоевскаго никакъ не пойметъ: въ прорицаніяхъ безнадежная путаница.

Отъ комментаріевъ возвращаемся опять къ „Рѣчи“. Въ концѣ ея г. Достоевскій говоритъ о „всемірной отзывчивости“ Пушкина, въ которой именно выразилась народность

его поэзіи, народность нашего будущаго: „ибо что̀ такое сила духа русской народности, какъ не стремленіе ея въ конечныхъ цѣляхъ своихъ ко всемірности и ко всечеловѣчности“? И далѣе объясняетъ, что такимъ стремленіемъ была и Петровская реформа.

„Въ самомъ дѣлѣ, — говоритъ ораторъ, что такое для насъ Петровская реформа, и не въ будущемъ только, а *даже и въ томъ, что уже было, произошло, что уже явилось воочію?* Что означала для насъ эта реформа? *Вѣдь не была же* она только усвоеніе европейскихъ костюмовъ, обычаевъ, изобрѣтеній и европейской науки. Вникнемъ, какъ дѣло было, поглядимъ пристальнѣе. Да, очень можетъ быть, что Петръ первоначально только въ этомъ смыслѣ и началъ производить ее, т. е. въ смыслѣ ближайше утилитарномъ, но впослѣдствіи, въ дальнѣйшемъ развитіи имъ своей идеи, Петръ несомнѣнно повиновался нѣкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дѣло, къ цѣлямъ будущимъ, несомнѣнно огромнѣйшимъ, чѣмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ. Такъ точно и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомнѣнно уже ощутилъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же нѣкоторую дальнѣйшую, несравненно болѣе высшую (sic) цѣль, чѣмъ ближайшій утилитаризмъ, — ощутилъ эту цѣль опять-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но однако же и непосредственно и *вполнѣ жизненно*. Вѣдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному *возсоединенію*, къ единенію всечеловѣческому! Мы не враждебно (какъ казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ полною любовью приняли въ душу нашу геній чужихъ націй, всѣхъ вмѣстѣ, не дѣлая преимущественныхъ племенныхъ различій, умѣя инстинктомъ, почти съ самаго перваго шагу различать, снимать противорѣчія, извинять и примирять различія, и тѣмъ ужъ выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только-что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловѣческому возсоединенію со всѣми племенами великаго Арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человѣка есть

безспорно всеевропейское и всемірное.... О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у насъ недоразумѣніе, хотя исторически и необходимое“.

При извѣстномъ смягченіи идеализаціи этого разсужденія, мы съ нимъ были бы отчасти согласны. Ораторъ зашелъ даже такъ далеко, что мы нашли бы даже, что онъ нѣсколько потерялъ мѣру въ увлеченіи своего краснорѣчія: „О, народы Европы и не знаютъ, какъ они намъ дороги“ и пр. Такъ въ „Рѣчи“. Обращаемся къ комментарію; но тамъ уже нѣчто совсѣмъ иное; тамъ цѣлая словно обвинительная тирада противъ взятаго у Европы либерализма, и оказывается, что „два послѣдніе вѣка“, т. е. именно Петровская реформа и ея развитіе, были величайшимъ зломъ и преступленіемъ, которыя г. Достоевскій навязываетъ тому же несчастному либерализму. Козломъ отпущенія подвергнулся профессоръ Градовскій, осмѣлившійся сдѣлать нѣсколько возраженій на „Рѣчь“. „Вы, г. Градовскій, безжалостно укоряете Россію за ея неустройство. А *кто* мѣшалъ ей устроиться во *всѣ эти два послѣдніе вѣка*, и особенно въ послѣднее пятидесятилѣтіе? А вотъ все, подобные вамъ, русскіе европейцы, г. Градовскій, которые у насъ *всѣ два вѣка* не переводились, а теперь особенно на насъ насѣли. Кто врагъ органическому и самостоятельному развитію Россіи на особенныхъ ея народныхъ началахъ? Кто насмѣшливо не признаетъ даже существованія этихъ началъ и не хочетъ ихъ замѣчать? Кто хотѣлъ *передѣлать* (?!) народъ нашъ, фантастически, „возвышая его до себя“— по просту надѣлалъ все такихъ же, какъ сами, либеральныхъ европейскихъ человѣковъ, отрывая, отъ времени до времени, отъ народной массы по человѣчку (!!) и *развращая* его въ европейца даже хоть фалдочками мундира? Этимъ я не говорю, что европеецъ—развращенъ; я говорю только, что передѣлывать русскаго въ европейца такъ, какъ либералы его передѣлываютъ, есть сущій развратъ зачастую. А вѣдь въ этомъ то состоитъ весь идеалъ *ихней* программы дѣятельности (!!): именно въ отлупливаніи (?) по человѣчку отъ общей массы—экой абсурдъ!“

Дѣйствительно, экой абсурдъ вся эта тирада! На кого направлены всѣ эти обвиненія? Когда же это либералы, „подобные“ г. Градовскому (т. е. люди профессорскаго и журнальнаго круга?), бывали у насъ такъ сильны, что могли „два вѣка“ мѣшать Россіи устроиться? Когда они были врагами ея самостоятельнаго развитія? и т. д. На дѣлѣ, если гдѣ были пламенныя стремленія къ широкому и свободному устройству Россіи, то именно въ лучшихъ литературныхъ и профессорскихъ кругахъ — еще начиная со временъ Ломоносова; а мѣшали этому люди совсѣмъ иныхъ круговъ, которые не скупились противъ первыхъ никакими помѣхами, запретами, даже осужденіями и ссылками.... Г-нъ Достоевскій не можетъ этого не знать — и перевирать такимъ образомъ исторію непозволительно для писателя, себя уважающаго. И послѣ этой характеристики европеизма, что-же могутъ означать приведенныя выше слова г. Достоевскаго о Петровской реформѣ, объ общечеловѣческомъ возсоединеніи и т. д.? Эти слова что нибудь значатъ, и въ такомъ случаѣ — обязываютъ; иначе, самъ авторъ дѣлаетъ ихъ пустымъ словоизверженіемъ.

И какое странное историческое понятіе о „двухъ послѣднихъ вѣкахъ“, за неудовлетворительность которыхъ г. Достоевскій упрекаетъ „либераловъ“, какъ будто въ самомъ дѣлѣ они, а не кто иной, завѣдывали судьбами русскаго народа!

Способъ полемики съ противниками, принятый г. Достоевскимъ, отличается большой простотой. Надо вывести „либерала“, будто бы излагающаго систему своихъ мнѣній, и заставить его говорить уродливыя безсмыслицы, которыя авторъ тотчасъ побѣдоносно опровергнетъ. Страницы 6—8 составляютъ перлъ такого рода полемики. Напримѣръ, „западники“ (или, что то же, „либералы“), говорятъ у г. Достоевскаго слѣдующимъ образомъ: „Въ народѣ русскомъ, такъ какъ ужъ пришло время (?) высказаться вполнѣ откровенно, мы видѣли лишь косную массу, у которой намъ нечему учиться, *тормозящую*, напротивъ развитіе Россіи къ прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и

передѣлать—если ужъ невозможно и нельзя органически, то по крайней мѣрѣ механически, то есть *по просту* (!!) заставить ее разъ навсегда насъ слушаться, *во вѣки вѣковъ*. А чтобы достигнуть сего послушанія, вотъ и необходимо усвоить себѣ гражданское устройство *точь въ точь* (?!) какъ въ европейскихъ земляхъ, о которыхъ именно теперь пошла рѣчь. Собственно же народъ нашъ нищъ и *смердъ* (?), какимъ онъ былъ всегда, и не можетъ имѣть ни лица ни идеи. Вся исторія народа нашего есть абсурдъ, изъ котораго вы (разумѣется, г. Достоевскій, или славянофилы, къ которымъ онъ себя сопричислилъ) до сихъ поръ чортъ знаетъ что выводили... Надобно, чтобъ имѣло исторію лишь одно наше интеллигентное общество, которому народъ долженъ служить лишь своимъ трудомъ и своими силами.... Чуть мы выучимъ человѣка изъ народа грамотѣ, тотчасъ же и заставимъ его нюхать Европы, тотчасъ же начнемъ обольщать его Европой... Если же народъ окажется неспособнымъ къ образованію, то устранить народъ“. (!!!).

Объ этомъ „устраненіи народа“, желаемомъ „западниками“, г. Достоевскій разсказываетъ еще такой анекдотъ. Обличая „обезличенное, лакейство“. подражаніе Европѣ, якобы проповѣдываемое западниками, онъ восклицаетъ: „Да куда же дѣвать тогда русскій-то организмъ? Понимаютъ ли *эти господа* что такое организмъ! А еще толкуютъ о естественныхъ наукахъ! „Этого народъ не позволитъ“, сказалъ по одному поводу, года два назадъ, одинъ собесѣдникъ одному *ярому* западнику. „Такъ *уничтожить народъ*“ (??), отвѣтилъ западникъ спокойно и величаво. И былъ онъ не кто-нибудь, а одинъ изъ представителей нашей интеллигенціи. Анектотъ этотъ вѣренъ“ (стр. 4).

Анекдотъ, можетъ быть, вѣренъ, какъ вѣрно то, что есть на свѣтѣ очень глупые люди; намъ сомнительно одно, чтобы это могъ быть, „представитель“ интеллигенціи.

Правда, г. Достоевскій дѣлаетъ оговорку, что онъ „не осмѣливается вложить приведенныя сейчасъ безсмыслицы въ уста тѣхъ, которые жали мнѣ руку (по произнесеніи рѣчи), но и въ уста многихъ, *очень многихъ*, просвѣщен-

нѣйшихъ изъ нихъ, русскихъ дѣятелей и вполнѣ русскихъ людей, *несмотря на их теоріи*, почтенныхъ и уважаемыхъ русскихъ гражданъ. Но въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же было приводить мнѣніе шушеры за мнѣніе всѣхъ „либераловъ“. Подобный пріемъ не есть пріемъ добросовѣстный. Признаемся, намъ сомнительно, чтобы даже шушера могла высказать мысль объ „уничтоженіи народа“. Не было-ли это сказано г. Достоевскому на смѣхъ? Словомъ—уши вянутъ.

И такъ нашему благополучію мѣшаетъ только Европа и ея наши приверженцы. Но, погодите, „*ваша* Европа рухнетъ,“ *завтра же* рухнетъ“ (г. Достоевскій повторяетъ это нѣсколько разъ—стр. 4, 36, 37), и тогда „и вы гг. доктринеры, можетъ быть, схватитесь и начнете искать у насъ народныхъ началъ“... Попрекнувши г-на Градовскаго Христомъ, авторъ продолжаетъ: „Вы спросите: какіе же могутъ быть у насъ свои общественные и гражданскіе идеалы мимо Европы? Да, общественные и гражданскіе, и наши общественные идеалы—лучше вашихъ европейскихъ, крѣпче вашихъ и даже—о, ужасъ!—либеральнѣе вашихъ! Да, либеральнѣе, потому что исходятъ прямо изъ организма народа нашего, а не лакейско-безличная пересадка съ запада“. Читатель заинтересованъ; онъ ожидаетъ узнать, наконецъ, „эти идеалы“ и лучше и крѣпче вашихъ, „но, увы! не узнаетъ.“ Теперь я, конечно, не могу объ этомъ распространяться, *ну хоть* потому одному, что и *безъ того* статья длинна вышла.“ Отчего это „конечно“, отчего г. Достоевскій не можетъ высказать своихъ идеаловъ,—ради которыхъ онъ однако злорадно пророчитъ Европѣ гибель „повсемѣстную“, общую и ужасную“, ради которыхъ онъ извелъ столько небывальщинъ на „либерализмъ“,—непостижимо; „ну хоть“—вовсе не резонъ, потому что, если ужъ г. Достоевскій не хотѣлъ печатать длинной статьи, то смѣло могъ бы на половину сократить свои филиппики и удѣлить мѣсто для изложенія „идеаловъ“...

Въ концѣ г. Достоевскій спохватился: „скажутъ еще, пожалуй, что я моимъ отвѣтомъ *уничтожилъ весь смыслъ*

моей „Рѣчи“, гдѣ самъ призывалъ обѣ партіи русскія къ единенію и примиренію и признавалъ законность той и другой“. Онъ утверждаетъ, что, напротивъ, смыслъ его „Рѣчи“ еще болѣе „закрѣпленъ“,—но объ этомъ читатель можетъ самъ составить понятіе, закрѣпленъ ли онъ, или, напротивъ, вмѣсто нѣкоторой примирительности „Рѣчи“, въ комментаріяхъ господствуетъ одно раздражительное озлобленіе.

Надо думать, что изложенію идеаловъ будетъ посвященъ слѣдующій годъ „Дневника“. Г-ну Достоевскому уже совѣтовали покинуть туманную фразеологію и говорить точнѣе,—иначе подумаютъ, что онъ „лавируетъ“: съ „крѣпкими идеалами“ этого бы не слѣдовало дѣлать. Нѣсколько болѣе точности не мѣшаетъ и въ статистическихъ счетахъ. Авторъ не однажды ссылается на восемьдесятъ милліоновъ *русскаго* народа (именно *русскаго*, потому что рѣчь идетъ о свойствахъ и идеалахъ русской *народности*). Но восемьдесятъ милліоновъ (теперь считаютъ уже девяносто, или за девяносто) составляютъ цифру населенія русской имперіи, а вовсе не русскаго народа, владѣющаго идеалами; въ восьмидесяти или девяноста милліонахъ заключено, кромѣ русской, множество иныхъ народностей, кромѣ православныхъ—милліоны католиковъ, протестантовъ, евреевъ, магометанъ, даже сотни тысячъ язычниковъ. Собственно же *русскаго* народа полагаютъ только тридцать пять милліоновъ. Кромѣ статистики желательно, чтобы въ будущихъ разсужденіяхъ г. Достоевскаго не были забываемы элементарные историческіе факты, и не былъ совершенно отвергаемъ здравый смыслъ.

*
* *

*) Если бы собрать все то, что было написано умнаго и глупаго по поводу „знаменитой“ рѣчи г. Достоевскаго, сказанной имъ на Пушкинскомъ праздникѣ, то вышло бы

*) „Новости и Биржевая газета“ 1880 г., № 296. „Литературная хроника“. Статья В. Ч.

довольно объемистое и не лишенное интереса собраніе брошюръ и статей, въ которыхъ нашъ, по преимуществу журнальный, міръ высказался болѣе или менѣе оригинально и откровенно, не только по отношенію къ самому Достоевскому, но также и по отношенію ко всѣмъ нашимъ общественнымъ вопросамъ. Съ одной стороны, г. Достоевскій превозносился до небесъ: поклоненіе его „невѣроятному“ таланту, геніальной глубинѣ его „идей“, его „изумительной“ искренности—отняли, какъ кажется, у поклонниковъ нашего беллетриста всякое самообладаніе; съ другой стороны, столь же неумѣренны, столь же односторонни оказались его противники: они отказывали г. Достоевскому не только въ талантѣ, не только въ идеяхъ, но даже и въ простомъ здравомъ смыслѣ. По ихъ мнѣнію, онъ, просто, изувѣръ и мистикъ, не отличающійся даже новизной своихъ изреченій, такъ какъ все то, что онъ теперь проповѣдываетъ съ такимъ паоосомъ и блескомъ, какъ г. Аксаковъ назвалъ его рѣчь, еще прежде не менѣе блистательно и не менѣе своеобразно, было высказано Гоголемъ въ его „Перепискѣ съ друзьями“. Этотъ послѣдній взглядъ былъ высказанъ въ „Новостяхъ“ моимъ почтеннымъ и уважаемымъ сотоварищемъ, Коломенскимъ Кандитомъ, который съ обычнымъ своимъ остроуміемъ сдѣлалъ эту параллель между г. Достоевскимъ и Гоголемъ. И дѣйствительно между этими двумя первоклассными талантами, охваченными мистицизмомъ подъ конецъ ихъ карьеры, существуетъ несомнѣнное и поразительное сходство,—сходство тѣмъ болѣе знаменательное, что мистицизмъ Гоголя и мистицизмъ г. Достоевскаго вызваны въ сущности одпѣми и тѣми-же общественными причинами. Не разъ уже указывалось на печальную судьбу русскихъ писателей, изъ которыхъ самые талантливые, самые своеобразные умирали въ молодости: Пушкинъ, Лермонтовъ, Кольцовъ, Веневитиновъ, не говоря уже о другихъ, болѣе близкихъ къ намъ. Ихъ ранняя смерть въ большинствѣ случаевъ объясняется общественными причинами. Гораздо любопытнѣе, я думаю, другое явленіе, въ сущности еще болѣе печальное: мистицизмъ, противъ ко-

тораго не могутъ устоять многіе изъ русскихъ писателей: вспомнимъ Чаадаева, перешедшаго въ католицизмъ, вспомнимъ Гоголя, захлебнувшагося тѣмъ-же самымъ мистицизмомъ и умершаго съ голоду, потому, что онъ не хотѣлъ принимать никакой пищи; вспомнимъ г. Достоевскаго, катящагося теперь по той же самой наклонной площади мистическихъ „идей“ и уже договорившагося до болѣе чѣмъ странныхъ взглядовъ... Столь частыя повторенія одного и того-же явленія не могутъ быть, разумѣется, объяснимы однѣми лишь частными и случайными причинами; очевидно, въ нашей общественной атмосферѣ существуетъ эта мистическая зараза и въ гораздо большей, можетъ быть, степени, чѣмъ это кажется на первый взглядъ.

Рѣчь г. Достоевскаго и защита ея, предпринятая въ его „Дневникѣ писателя“, тѣмъ не менѣе, принесли несомнѣнную пользу русскому обществу. Г. Достоевскій коснулся въ своей рѣчи и въ своей защитѣ самыхъ существенныхъ вопросовъ русской общественной жизни, коснулся талантливо, прямо и откровенно, и этимъ далъ возможность другимъ высказаться столь-же откровенно и столь-же прямо по тѣмъ-же вопросамъ. Правда, что этимъ „другимъ“, казалось бы, никто не мѣшалъ высказаться и раньше, не дожидаясь рѣчи г. Достоевскаго. Но что прикажете дѣлать? Мы какъ-то усвоили себѣ пагубную привычку ничего не говорить безъ повода, безъ особеннаго случая. Г. Михайловскій, напр., говоритъ очень простую и очень симпатичную мысль, придираясь къ какому-то весьма посредственному разсказу г. Круглова и облекая свою мысль въ какое-то ненужное глубокомысліе; г. У. даже придумываетъ случаи, когда намѣренъ говорить о нашей деревнѣ; г. Щедринъ отправляется въ Германію и Парижъ съ тѣмъ, чтобы говорить объ урядникахъ... Наша критика точно также говоритъ лишь „по поводу“. Нашъ критикъ вовсе не заботится о художественномъ произведеніи, которое ему приходится анализировать: въ немъ онъ ищетъ лишь „повода“ говорить о томъ, что его интересуетъ, что у него наболѣло, что его тревожитъ... Такъ дѣлаетъ и г. Кавелинъ, обращаясь къ г. Достоев-

скому съ письмомъ „по поводу“ знаменитой рѣчи, письмомъ, напечатаннымъ въ послѣдней книжкѣ „Вѣстника Европы“!

Г. Кавелинъ, какъ кажется, по преимуществу—писатель „по поводу“. Этотъ пріемъ онъ усвоилъ себѣ болѣе, чѣмъ кто-либо другой. Такъ, „по поводу“ статьи г. Сѣченова онъ написалъ цѣлую книгу о психологіи; „по поводу“ какой-то статейки онъ написалъ о „деревнѣ“; „по поводу“ какихъ-то разговоровъ съ какимъ-то художникомъ онъ написалъ чуть-ли не цѣлый разсказъ объ эстетикѣ; „по поводу“ бюста Мефистофеля работы Антокольскаго онъ высказалъ очень много умныхъ вещей въ томъ-же „Вѣстникѣ Европы“. Теперь „по поводу“ странностей г. Достоевскаго г. Кавелинъ въ эпистолярной формѣ (которую онъ какъ-то особенно облюбилъ) высказываетъ также очень много умныхъ и дѣйствительно своеобразныхъ взглядовъ.

Само собой разумѣется, что и здѣсь не обходится безъ „необычайнаго таланта“, „всегдашней искренности“ и „глубокихъ убѣжденій“ г. Достоевскаго, но при эпистолярной формѣ это, конечно, понятно. Отдавъ, такимъ образомъ, дань вѣжливости, г. Кавелинъ приступаетъ къ анализу идей г. Достоевскаго и прежде всего касается вопроса о славянофилахъ и западникахъ. Для г. Кавелина вопросъ этотъ принадлежитъ уже прошедшему; названіе западниковъ и славянофиловъ вовсе не идетъ къ новымъ направленіямъ русской мысли. Въ настоящую минуту, между мыслящими и серьезными людьми нѣтъ ни одного, который-бы изъ теоретическихъ предразсудковъ смотрѣлъ свысока на наши народныя массы или думалъ, что Россія есть листъ бѣлой бумаги, на которомъ можно писать все, что угодно. Всякій очень хорошо понимаетъ, что какъ отдѣльныя лица, такъ и націи имѣютъ свой характеръ, свои особенности, свою физіономію; съ другой стороны, г. Кавелинъ точно также убѣжденъ, что теперь нѣтъ ни одного мыслящаго и серьезнаго русскаго человѣка, который-бы не понималъ, что новыхъ условій, созданныхъ въ Россіи реформою Петра, нельзя вычеркнуть изъ исторіи; что, какъ бы мы лю-

бовно ни смотрѣли на народныя массы, нельзя признать ихъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ теперь существують, идеаломъ совершенства. Въ настоящую минуту г. Кавелинъ усматриваетъ въ русскомъ обществѣ два различныхъ направленія. Одно,—основываясь на воспитательномъ характерѣ общественныхъ учрежденій, ждетъ всего хорошаго только отъ ихъ перестройки, въ полномъ убѣжденіи, что хорошія учрежденія перевоспитають людей и разовьютъ въ нихъ тѣ качества и свойства, которыя необходимы для благоустроеннаго общежитія и которыхъ намъ, къ сожалѣнію, пока не достаетъ въ значительной степени. Другое направленіе, исходя изъ той-же нашей неустроенности, не признаетъ всемогущества учрежденій и, усматривая источникъ всего зла въ нашемъ нравственномъ состояніи, дѣйствительно крайне незавидномъ, указываетъ, помимо учрежденій, на разныя средства для поднятія у насъ нравственности. Г. Кавелинъ не отрицаетъ нѣкоторой исторической преемственности этихъ двухъ новыхъ направленій съ западниками и славянофилами, но думаемъ, что взгляды славянофиловъ и западниковъ были первыми незрѣлыми попытками самостоятельной критики, между тѣмъ, какъ новыя направленія переносятъ русскіе вопросы на чисто теоретическую почву и тѣмъ придаютъ имъ общечеловѣческое значеніе. Г. Кавелинъ убѣжденъ, что коренное зло европейскихъ обществъ, не исключая и русскаго, заключается въ недостаточномъ развитіи и выработкѣ внутренней, нравственной и душевной стороны людей; онъ думаетъ, что *новое слово*, котораго многіе ожидаютъ, будетъ заключаться въ новой, правильной постановкѣ вопроса о нравственности въ наукѣ, воспитаніи и практической жизни, и что это живительное слово скажемъ, именно, мы, русскіе. На чемъ основываетъ г. Кавелинъ этотъ послѣдній выводъ онъ не говоритъ, потому что нельзя же считать доказаннымъ аргументомъ ссылку на „смѣлыя чаянія“ русскихъ молодыхъ умовъ, на „неясныя представленія“ о будущемъ значеніи русскаго и славянскаго міровъ въ судьбахъ міра, или на успѣхъ рѣчи г. Достоевскаго.

Тутъ я даже вижу нѣкоторое противорѣчіе со стороны г. Кавелина. Надѣясь, что „новое слово" о нравственности въ наукѣ, воспитаніи и практической жизни скажемъ мы, русскіе, онъ ниже опровергаетъ самого себя, говоря, что „взглядъ г. Достоевскаго на нравственныя качества русскаго народа вызываетъ серьезныя недоразумѣнія." Если г. Достоевскій превозноситъ простоту, кротость, смиреніе, доброту русскаго народа, то другой, съ неменьшимъ основаніемъ, укажетъ на его наклонность къ воровству, обманамъ, плутовству, пьянству, на дикое, безобразное отношеніе къ женщинѣ. Кто-же правъ? Вопросъ, по мнѣнію г-на Кавелина, неразрѣшимый, потому что, разсуждая о нравственности и безнравственности, мы обращаемъ вниманіе не на то, какъ народъ относится къ предмету своихъ вѣрованій и убѣжденій, а на то, *что* составляетъ ихъ предметъ, а это *что* есть результатъ исторіи, развитія, культуры. Поэтому, чтобы правильно оцѣнить народъ, слѣдуетъ говорить не о его нравственныхъ достоинствахъ и недостаткахъ, которые могутъ измѣняться, а о характеристическихъ свойствахъ его духовной природы. Но и тутъ г. Кавелинъ находитъ великое „недоразумѣніе". Онъ прямо говоритъ, что не въ состояніи дать точнаго отвѣта на вопросъ: есть-ли такія характерныя черты у русскаго народа? Конечно, русскій народъ богато одаренъ отъ природы, но въ чемъ состоитъ эта природная даровитость—этого никто не знаетъ, потому что говорить, напр., о живости, подвижности, юркости и бойкости ума, — значитъ, ничего еще не говорить, такъ какъ это—признаки всякаго народа въ юности. Говорятъ, что мы — страшные реалисты. Полноте, какіе мы реалисты, мы просто живые юноши. Г. Достоевскій восхищается нашею способностью „перевоплощенія въ геніи чужихъ націй, перевоплощенія почти совершеннаго." Помните, — это не болѣе, какъ свойство даровитаго и умнаго даже не юношескаго, а младенческаго народа. Словомъ, какую вы-бы ни взяли черту русскаго народа,—всѣ доказываютъ замѣчательную его даровитость и, въ то же время, большую его юность,—возрастъ, ког-

да нельзя еще угадать, какая у талантливаго юноши выработается духовная физіономія.

Изъ всего этого выводъ ясенъ; взглядъ г. Достоевскаго на нашъ простой народъ — какъ на хранителя христіанской правды, на наши образованные классы—какъ на отщепенцевъ отъ этой правды, на Алеко, Бельтовыхъ, Тентетниковыхъ — какъ на представителей этого отщепенства, все это въ глазахъ г. Кавелина не выдерживаетъ критики. Вглядитесь, прибавляетъ г. Кавелинъ очень остроумно и очень основательно, въ типы простыхъ русскихъ людей, которые насъ такъ подкупаютъ и дѣйствительно прекрасны: вѣдь это нравственная красота младенческаго народа. Первою ихъ добродѣтелью, считается, совершенно по восточному, устраниться отъ зла и соблазна, по возможности ни во что не мѣшаться, не участвовать ни въ какихъ общественныхъ дѣлахъ. Такихъ людей, какъ Алеко, г. Достоевскій считаетъ разорвавшими связь съ народомъ изъ гордости. Помилуйте! Да вѣдь это тѣ-же „восточные люди", которые изъ „великой печали сердца", отъ непорядковъ въ общественной и частной жизни, или изъ любви къ европейскому общественному и домашнему строю, бросали все и удалялись кто за-границу, кто на житье въ деревню. Это тѣ-же пустынножители и обитатели скитовъ, тѣ-же „смирные люди" нашихъ селъ, только съ другими идеалами. Будь европеецъ на ихъ мѣстѣ, онъ сталъ-бы осуществлять, по мѣрѣ возможности, свои идеалы въ большомъ или маломъ кругодѣйствіи, который отвела ему судьба, боролся-бы, сколько хватаетъ силъ, съ обстановкой и скоро-ли, долго-ли, а, въ концѣ концовъ, перестроилъ-бы ее на свой ладъ; мы же, восточные люди, бѣжимъ отъ жизни и ея напастей, предпочитая остаться вѣрными нравственному идеалу во всей его полнотѣ и не имѣя потребности, или не умѣя водворить его, хотя-бы отчасти въ окружающей дѣйствительности, исподволь, продолжительнымъ, выдержаннымъ, упорнымъ трудомъ.

И такъ, по одному и тому-же вопросу мы имѣемъ два совершенно различныхъ отвѣта. Г. Достоевскій въ рус-

скомъ народѣ видитъ полнѣйшее осуществленіе христіанскихъ идеаловъ, во всей ихъ нравственной чистотѣ, между тѣмъ, какъ г. Кавелинъ въ томъ же самомъ народѣ видитъ лишь „восточныхъ человѣковъ“, находящихся еще на первой стадіи своего развитія! Откуда такое различіе въ мнѣніяхъ по вопросу столь важному, касающемуся не только лично каждаго изъ насъ, но также и нашего ближайшаго будущаго, нашихъ упованій, нашихъ общественныхъ идеаловъ? Въ томъ, что г. Кавелинъ говоритъ *не* для краснаго словца, а г. Достоевскій — *не* изъ желанія порисоваться своимъ пророческимъ идеализмомъ,—въ этомъ, конечно, не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Оба они говорятъ очень искренно, очень серьезно, вовсе не отшучиваясь и вовсе не желая сказать что-либо своеобразное и необычное; а, между тѣмъ, оба говорятъ совершенно различныя вещи. На этотъ вопросъ я могу дать лишь приблизительный отвѣтъ: не говоря уже о томъ, что русскій народъ terra incognita и что, слѣдовательно, о немъ можно говорить рѣшительно все, что угодно, я вижу и въ самомъ пріемѣ гг. Достоевскаго и Кавелина нѣчто противуположное, непримиримое: г. Достоевскій, такъ сказать, сердцевидецъ, мистикъ по складу ума, живущій чувствомъ, не признающій выводовъ разума, не знающій логики, и поэтому, отыскивающій во всемъ лишь то, что онъ желаетъ отыскать; между тѣмъ, какъ г. Кавелинъ—умъ объективный, по преимуществу логическій, мало довѣряющій увлеченіямъ чувства и, какъ кажется, слишкомъ полагающійся на непогрѣшимость логики. Съ точки зрѣнія логики и фактовъ, мы, несомнѣнно, „восточные люди“; съ точки зрѣнія любви, вѣры и надежды, мы, конечно, осуществляемъ христіанскіе идеалы. Г. Достоевскій со взорами, устремленными на будущее и наполненными слезами умиленія предугадываетъ въ насъ всѣ добродѣтели; г. Кавелинъ, осматриваясь на прошедшее со скептической улыбкой, видитъ въ насъ лишь восточныхъ младенцевъ. Признавая, до извѣстной степени, взглядъ г. Кавелина, я бы сдѣлалъ, однакожъ, нѣсколько другой выводъ. Г. Кавелинъ высказы-

ваетъ пожеланіе, чтобы мы, не превращаясь въ европейцевъ, перестали быть восточными людьми, а были-бы тѣмъ, чѣмъ мы есть—русскими. Я же сказалъ-бы, что намъ давнымъ-давно пора перестать быть „восточными человѣками“ и стать просто европейцами; отъ того мы не сдѣлаемся менѣе русскими. Вѣдь и французъ—европеецъ, но это не мѣшаетъ ему быть въ одно и то же время и европейцемъ и французомъ. Желательно было-бы, чтобы и мы, не напяливая на себя высокихъ добродѣтелей, которыхъ, можетъ быть, у насъ и нѣтъ, какъ нѣтъ ихъ и у другихъ народовъ, были-бы, въ одно и то-же время, европейцами и русскими. Когда это случится, то, повѣрьте, прекратятся и всѣ наши разговоры о томъ, что мы такое и что изъ себя изображаемъ.

[redacted]

Stanford University Libraries

3 6105 011 716 516

Stanford University Lil
Stanford, Californi

Return this book on or before d

OCT 14 '67	JUN 1987
DEC 26 '67	
MAY - 9 1968	
FEB 1 1 1968	
JAN 10 '69	NOV 4 1989
JAN -6 1986	